СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ 20–30-х ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ 20–30-х ГОДОВ

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ
КОНСТАНТИН ФЕДИН
СЕМЕН ПОДЪЯЧЕВ
ОЛЬГА ФОРШ
АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ-ПРИБОЙ
ИВАН КАСАТКИН
ФЕДОР ГЛАДКОВ
ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ
ВЛАДИМИР БАХМЕТЬЕВ
МАРИЭТТА ШАГИНЯН
БОРИС ЛАВРЕНЕВ
РУВИМ ФРАЕРМАН
ЕФИМ ЗОЗУЛЯ
ИВАН СОКОЛОВ-МИКИТОВ
АННА КАРАВАЕВА
ВЛАДИМИР ЛИДИН
ЮРИЙ ТЫНЯНОВ
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ
МИХАИЛ СЛОНИМСКИЙ
А.ЗОРИЧ
ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ
ВЕНИАМИН КАВЕРИН
ВИКТОР КИН
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
БОРИС ГОРБАТОВ

СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ 20–30-х ГОДОВ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1987

84 Р 7
С 56

Составление и комментарии
Г. П. Турчиной и И. Д. Успенской

Вступительная статья
В. М. Акимова

С $\frac{4702010200 - 1380}{080\ (02) - 87}$ 1380 — 87

ПУТИ РАССКАЗА

В 1985 году издательство «Правда» выпустило в свет сборник «Советский рассказ 20—30-х годов». Но рамки одной книги не позволили в полной мере отразить все многообразие имен, представлявших советскую литературу тех лет. Предлагаемый вниманию читателей сборник — своеобразное продолжение уже вышедшей книги.

И в то же время это не просто количественное прибавление. Перед читателями во многих отношениях новая книга, потому что неповторим каждый настоящий художник, берущийся за перо, чтобы сказать свое слово о жизни и человеке.

В сравнении с прежним предлагаемый сборник еще меньше претендует на «антологичность», на то, чтобы представлять одни шедевры и образцы, он не хрестоматиен, в нем нет систематического подбора произведений «на тему» и с определенной целью. В книге не так уж много «образцовых», «блестящих» и «классических» рассказчиков (хотя есть и те, и другие, и третьи), а круг произведений и авторов еще шире и неканоничней. Сборник свободно следует за движением рассказа тех лет.

Здесь, может быть, и заключено его своеобразие и оправданность, его особенное, свое место среди многих книг прозы, издаваемых сегодня.

А с другой стороны, нельзя не увидеть, что почти все авторы сборника — это давно известные, нередко знаменитые и талантливые прозаики, правда, многие из них получили признание читателей прежде всего не в жанре рассказа.

Все знают романиста Александра Фадеева, автора «Разгрома» и «Молодой гвардии». А как рассказчик он почти совсем не известен...

А кто слышал о рассказах драматурга Вс. Вишневского, автора знаменитой «Оптимистической трагедии»? Впрочем, и в его малой прозе он остается верным своим матросам-братишкам...

И многие другие писатели этого сборника — Константин Федин, Владимир Бахметьев, Ольга Форш, Федор Гладков, Виктор Кин, Вениамин Каверин — прежде всего романисты. Вспоминаешь «Цемент», «Одеты камнем», «Преступление Мартына», «По ту сторону», «Два капитана», «Города и годы»...

...Так вот, не знаю, как читателя, а меня просто потрясли своей остротой и злободневностью давным-давно написанные рассказы Ф. Гладкова «Зеленя» и Ивана Касаткина «Летучий Осип» (оба — 1921 год). Они обнажают жестокую, ставшую сегодня особенно тревожной правду о человеке в испепеляющем огне войны. Привлекли тонкие, пронизанные печалью и раздумьем о жизни рассказы «Пыль» И. Соколова-Микитова и «Тишина» Константина Федина. В остром рисунке встают персонажи цикла О. Форш «Обыватели». А сокровенное, родственно-чуткое знание крестьян-

ской жизни в рассказах уже в те годы старого писателя Семена Подъячева? А блеск безжалостной, разоблачительной иронии Ю. Тынянова в единственном в сборнике рассказе на историческом материале «Малолетный Витушишников»? А смелый анализ рефлексии «нового человека» в рассказе В. Бахметьева «Люди и вещи»? А эксперименты с жанром рассказа у таких разных писателей, как неистовый романтик Вс. Вишиевский, совсем забытый Ефим Зозуля с его идеей цикла новелл «Тысяча», этакого своеобразного «социологического» сколка с судеб и облика новой массы? А жадный к новым впечатлениям действительности, неутомимый путешественник Михаил Лоскутов или ироничный «газетчик» Виктор Кин...

Словом, при чтении немало виделось по-новому, вспоминалось, обо многом думалось...

Бесспорно, что свои «главные книги» некоторые из авторов написали в другом жанре.

Но несомненно и то, что в жанр рассказа они внесли свое обширное знание жизни и ее особое видение.

Под напором жизни возникали новые, неожиданные, невиданные в прежней новеллистике гибриды. Несовпадение художественной потребности с канонами приводило к явлениям переходным, новым, необычным: в рафинированный, тонкий сосуд рассказа вливался жгучий, острый сок жизни, ее небывалого брожения...

Все это приводило к оживлению старого жанра, увеличивало его силу и емкость. Рассказ становился современным и живым. В этом — тоже заслуга «нерассказчиков» перед жанром рассказа.

И, наконец, включение новых имен, порою забытых или полузабытых, таких, как И. Касаткин, В. Лидин, В. Бахметьев, П. Романов, Е. Зозуля, А. Зорич (иные из них забыты совсем несправедливо),— это ведь тоже шаг к правде и полноте охвата нашего литературного прошлого.

* * *

О своеобразии связей жанра и жизни думаешь, читая, например, рассказ Мариэтты Шагинян «Агитвагон» (1923). Он начинается так: «Я пошел на репетицию при зеленых третьего июня прошлого года. Концерт мы ставили пятого июня при налете казаков, а повторили его десятого — уже при красных». Привычный ко всему рассказчик, актер провинциальной труппы, как нечто само собою разумеющееся, между прочим, отметил величайшую подвижность т о й действительности. Это не просто смена событий и обстоятельств. Тут торжествует трагический динамизм бытия; тут чередуются жизнь и смерть, и в этом чередовании человеку нужно не просто выжить, но открыть какой-то новый смысл жизни.

Есть оттенок внутренней иронии в том, как в «Агитвагоне» объясняется жанровая суть рассказа — словами того же актера-рассказчика, который все больше увлекает своих слушателей историей одного из пережитых им событий. Они в нетерпении ждут развития сюжета, а он поначалу сдерживает и вразумляет их: «Некуда спешить... рассказ, как монпасьешку, только дурак грызет, а умный на языке держит да исподволь посасывает».

А на деле — какое там «исподволь посасывает»!

На нас — и на героев рассказа — обрушивается вихрь смертельных неожиданностей. Агитвагон с безоружными, в сущности,

людьми был атакован белоказачьим разъездом. Всех подвергли насилию — кого застрелили, кого избили, а комиссара из Москвы посадили на кол!

...Так что внутренний смысл рассказа прямо противоположен гурманской эстетике жанра, иронически предлагаемой рассказчиком.

Думается, что эта ситуация может быть эстетически истолкована и в более общем плане. Рассказ тех лет оказывался самым нетерпеливым современником события, он хотел всегда быть «здесь», в текущем дне, прикасаться к «злобе его», к живому и остро отзывающемуся нерву действительности. Вообще, если сравнить литературу с нервной системой культуры, то, условно говоря, рассказу принадлежит роль «рецепторов», органов чувств: он осязает, видит, слышит, чувствует непосредственный жгучий вкус жизни больше, чем какой-либо другой жанр прозы (стоит добавить, что в те годы граница между рассказом и очерком, рассказом и фельетоном порою бывает малоощутима — мы увидим это и в настоящем сборнике). Рассказ — это мгновенный сосредоточенный взгляд, неотложная художественная реакция на происходящее «здесь» и остро проникающее в душу.

Перелистывая страницы произведений, вошедших в сборник, видишь, как часто они лиричны, «сказовы», напряженно-личны. Слишком близок был в те годы «материал» к «рассказчику», слишком был он значим для него. Неудивительно, что проблемы и вопросы, возникающие перед персонажем, автор зачастую переживает не со стороны, а самые общие проблемы — как свои личные.

Это тем более понятно, что главным содержанием рассказа стало в те годы осмысление небывало новой ситуации, когда человек (и персонаж, и рассказчик, а нередко и автор) оказывался в стремительно и круто меняющейся действительности.

На склоне лет Ольга Дмитриевна Форш вспоминала о своей жизни и работе в послереволюционное время: «Плуг истории глубоко перепахивал русскую жизнь — и в городе, и в деревне. Старый быт, порожденный прежними социальными отношениями, рушился, хотя и не сдавался без боя. И мне, как писателю, очень важно было всматриваться в эти изменения, огромные и всеохватывающие».

В эти «огромные и всеохватывающие изменения» важно было всматриваться всем. И все всматривались.

Из цикла «Обыватели», созданного Ольгой Форш в 1921 году, в сборник вошли рассказы «Климов кулак» и «Живорыбный садок».

Это все сплошь — результаты «всматривания» в работу плуга, перепахивающего русскую почву. Что он выворачивает на поверхность, какое тайное в людях становится явным? Рассказы О. Форш — подлинные, как говорили в прошлом веке, «физиологические очерки», аналитические этюды с натуры, увлеченное штудирование этого небывалого и вдруг оказавшегося обозримым жизненного материала.

Старая Россия была страной многоукладной, социально контрастной, в разрезе — на редкость многоликой и «подробной»; столько в ней было групп, сословий, занятий, такая была прихотливая и сложная сословная пестрота... И вот после революции внешне все уравнивается, сменяется всеобщим равенством: вместо «степенств», «благородий» и «превосходительств», «высочайших»

и «светлейших» утверждается «гражданин» как знак социального равенства, побеждает революционное, партийное «товарищ»! Но как же быть многоликим прежним людям старой России, как быть «бывшим»? Что значит перейти в новое состояние? Как сменить социальную прописку, переменить душу, а не только внешность? В те годы этот процесс нередко начинался со смены имени. Поэт Николай Олейников в стихотворении «Перемена фамилии» писал:

Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной,
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой...

Но все было совсем не просто, в том числе и для героя Олейникова:

Я шутки шутил! Оказалось,
Нельзя было этим шутить.
Сознанье мое разрывалось,
И мне не хотелося жить...

Муки разорванного сознания переживают персонажи не только рассказов О. Форш, но и герои «Пыли» И. Соколова-Микитова, «Тишины» К. Федина, «В бухте «Отрада» А. Новикова-Прибоя, «Агитвагона» М. Шагинян...

Поверхностная перестройка дается легко. Бывший лихач Игнат из рассказа «Корректив» (это произведение в сборник не вошло.— *Ред.*) быстро схватывает новую «конъюнктуру» в годы нэпа: «При нэпе к каждому отдельному случаю революционный корректив полагается. Сумей попасть в точку...» Для Игната «корректив» заключается в том, что своих седоков он может под угрозой насилия обдирать как липку, вымогая у них чаевые. Но поверхностное приспособление к новому времени ведет к аморализму. Так что Игнату и игнатам еще только предстоят настоящие усилия душн — или они будут сметены наступившим временем.

Куда глубже в душу человека, переживающего трудный переход, погружаемся мы в рассказе О. Форш «Климов кулак». Стоит в этой связи вспомнить, что судьба героини этого произведения во многом напоминает судьбу писательницы. Как и Васса Петровна, Ольга Форш работала в 90-е годы прошлого века «на голоде» в Тульской губернии, в так называемых «толстовских столовых», она пережила немало переворотов и потрясений гражданской войны, находясь в 1919 году на Украине...

Как примирить прежний опыт с тем, что происходит сейчас в судьбе Вассы Петровны, в один страшный день потерявшей и мужа, и дочь — их у нее на глазах затоптала озверевшая толпа? Как сохранить в себе доброту и человечность, как не окаменеть душой, пройдя через все тяготы войны?

Тетя Таня, простая русская женщина, выхаживающая после тяжкого нервного потрясения Вассу Петровну, говорит ей, утратившей было смысл жизни: «Раньше смерти грех помирать». «Без душевного капиталу никого нет на свете; только мусором сверху завален, разгреби — заблестит».

В этих словах — народная мудрость, в них — укоризна душевной слабости и поддержка в трудную минуту. И норма человеческой жизни.

Вассе Петровне нужно искать людей, нужно прислониться к иной силе, если своя вдруг изменила. И она идет к людям. Война, белогвардейский террор разбудили в людях темные силы, создали деморализованную, несчастную и одновременно страшную толпу. Долг человека, русского интеллигента до конца противостоять темноте и ожесточению, черпая силы в народном сердце и подвиге.

«Климов кулак» — один из лучших рассказов сборника, показывающий возможности жанра, его способность вскрывать тонкие и сложные структуры человеческой души, показывать — в сжатом и сильном образе — опыт всей человеческой нелегкой жизни.

Утонченному психологизму «Климова кулака» противостоит своеобразный жанровый «этнографизм» другого рассказа, названного «Живорыбный садок». Ни рыбы, ни садка в этом произведении нет, но зато весело, мастерски, наблюдательно, цепко и точно воспроизведена одна из сцен эпохи гражданской войны и разрухи. Сцена бытовая, если это можно назвать спокойным словом «быт». Знает ли, например, читатель, что такое пассажиры «буферные», «досчаные», «крышные», «самостойные»? Догадывается?! Верно: пассажир «крышный, особливо на санитарке (санитарном поезде.— *В. А.*), за милую душу едет. У санитарки борток есть по краю, ну, один к другому лягут, брезентом укроются, утрясутся. Досчаному тоже житье: наладил досточку, промежду вагонов сел, подоткнулся, по очереди обмерзшее греет, то руку, то ногу, а буферный, без доски, самостойный, его и бьет, и сечет, его сама родная матушка позабыла...»

Вот так, по свидетельству рассказчика-очевидца, и ездили люди в поездах в 1919 году. Взята одна из странных и небывалых, но ставших обычными и неизбежными ситуаций и засвидетельствована.

Для художника ситуация интересна еще и тем, что в этих странных, так сказать, экстремальных обстоятельствах жизни раскрывается человек, притом так глубоко и полно, как никогда не раскроется он в обычных обстоятельствах. Несколькими годами раньше Александр Блок говорил в статье «Интеллигенция и революция»: «Те из нас... кого не «изомнет с налету вихорь шумный», окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ». Немалую долю этих сокровищ, добытую своими способами, вынес из потока времени и рассказ тех лет.

Стоит повнимательнее вникнуть в его открытия и откровения о человеке в переломную пору.

Возьмем рассказы о «бывших». Тут любопытно отметить частичное совпадение «натуры» у Федина и Соколова-Микитова (оба они пишут о вернувшихся на барское пепелище бывших помещиках, бессильных и безвредных, пригретых мужиками из жалости). Обращает на себя внимание не только минорно-элегическая нота снисходительной жалости к тем, кто уже не способен быть хозяином жизни. Внезапно, словно бы непреднамеренно оттесняя этот сюжет, встает иная тема. Из-за фигуры слабого, почти безжизненного барина Алмазова в рассказе «Пыль» («Городская обтрепанная одежонка висела на нем, как на голом колу, соломенная шляпа съехала на затылок, обнажив немужицкое, нездорово загоревшее лицо с детским ртом и испуганными глазами. На шляпе, на длинных ресницах, на небритой русой бороде густым налетом ле-

жала серая пыль») поднимается как символ новой силы и власти «огромный мужик с широкими, как ворота, плечами», объявляющий барину без злобы, но и без снисхождения окончательный мирской приговор: «Теперь ты есть пыль. Пальцем тебя никто не зачепит. Не пужайся».

И пусть в «Тишине» Федина и в «Пыли» Соколова-Микитова фигуры «бывших» стоят вроде бы в центре картины; вдруг они начинают уходить в глубину, затуманиваться, выцветать, а на первый план выходит народ, мужик, крестьянин, подлинный хозяин земли, ее пахарь и защитник: «Воды, брат, утекло много... Время было — упаси бог,— всего перепробовали, теперя вспомянуть тошно. Нынче мало-мальски опять на своем, подошли к обзаведенью. И хлебушка есть...»

И с особой пронзительностью понимаешь, что ушла навсегда целая эпоха, прежняя многовековая жизнь, бессильная противостоять правде и праву другого, нового хозяина жизни, человека земли и труда, принявшего на себя ответственность за новую русскую историю. Это и драма, и возмездие, и радость бесконечного обновления жизни. Но бунинской деревне пропета отходная — не случайно у Соколова-Микитова, особенно же у Федина, ощутимы в звучании прозы бунинские интонации.

И вместе с тем нельзя не почувствовать, что во внимании к этому моменту смены хозяев на русской земле есть и забота о своего рода преемственности: не иссякает в народе добро, не убавляется «душевного капиталу», как говорит одна из героинь в рассказе «Климов кулак»: войны и разрухи, бури истории не должны обесценить духовных сокровищ, вычерпать родники живой воды народной доброты, стремления к справедливости и правде.

Это ощутимо в подтексте многих рассказов, написанных порою в весьма напряженных обстоятельствах, когда горячее дыхание недавних жестоких классовых битв еще не остыло.

Тяготение к «деревенскому» материалу естественно и неизбежно в литературе тех лет — и в большой прозе, в романах Л. Леонова, М. Шолохова, Ф. Панферова, С. Клычкова, И. Макарова, П. Замойского, и в малой прозе. Включенные в сборник рассказы Ивана Касаткина, С. Подъячева, П. Романова, В. Лидина и другие расширяют наше представление о том, что такое была русская деревня в послеоктябрьские годы, чем она жила, какие силы в себе несла, какой вышла из недавних коллизий истории и оказалась накануне новых коллизий.

Точен выразительный народный язык в непритязательных, каждым штрихом, каждой деталью правдивых рассказах Семена Подъячева — «Новые полсапожки» (1922) и «Понял» (1923). Драма вторжения «нового быта» в традиционные обычаи деревни развернута в рассказе П. Романова «Голубое платье» (1928). Пантелеймон Романов — теперь писатель почти забытый — был одним из весьма читаемых беллетристов 20-х годов. Он, хорошо зная деревню, с большим вниманием разбирается в рассказе в невольной вине и в смятении чувств крестьянина Спиридона, ставшего по трагическому стечению обстоятельств убийцею своей жены.

Умелый, искусно и расчетливо написанный рассказ «Звенит золотая пшеница» (1926) принадлежит перу Владимира Лидина, одного из популярных тогда новеллистов. Может, кое в чем

и пренебрегая эмпирическим правдоподобием, Лидин рисует деревню, крестьян как носителей бессмертной земной силы, равной вечно плодоносящим силам самой природы. Эта многозначительная аллегория развернута в сюжете декоративном и исключительном. И скажу в заключение — никто из трех названных прозаиков ни в чем друг друга не повторяет, видя в деревне, в судьбах крестьян одну из главных сил в возникновении и укреплении новой, советской России.

Перечитывая сегодня рассказы тех лет о гражданской войне (а их особенно много), нельзя не заметить, что иные из них в контексте современных проблем мира и войны воспринимаются кое в чем по-новому.

Теперь очевиднее, чем когда-либо, становится, что война обрушилась на человека, его душу, его чувства огромным грузом, нести который нелегко всем, тем более когда этот груз ложится на плечи тех, кто по самой сути своей далек от войны,— мирных жителей, женщин, детей...

Именно в этом фокусе сходятся многие рассказы тех лет: и уже упоминавшиеся ранее «Живорыбный садок» О. Форш, «Агитвагон» М. Шагинян. Обжигающая и жестокая действительность войны встает в рассказах Ф. Гладкова, И. Касаткина, А. Новикова-Прибоя, А. Фадеева...

Зверски уничтожена беляками семья мирного крестьянина в «Летучем Осипе» Касаткина. И с той поры он — тяжко травмированный пережитым — сам ищет смерти, готовый на все, ибо жизнь потеряла для него смысл. Осип готов мстить и мстить, ни перед чем не останавливаясь. «И заметь,— говорят о нем,— прольет еще он крови... этих... самых». А ведь был он «кроткий совсем человек... Вот какая тяжесть-то свисла над этой головушкой, ежели понять хорошенько». Так уже в этом рассказе, написанном в далеком 1921 году, на самой грани минувшей войны, советская литература показала несовместимость войны с нормами общечеловеческими.

Тем более это относится к судьбам детей, захваченных огненными вихрями войны. Сильное впечатление оставляет перечитанный сегодня рассказ «Зеленя» Федора Гладкова: в схватке между казаками и иногородними на равных сражаются и погибают — и в бою, и принимая жестокую казнь от рук «победителей» — дети. Шестнадцать лет крестьянскому сыну Титке, того меньше рабочему пареньку Борису, у которого белые убили отца-комиссара. Ненависть и жажда мести выжгли в нем все остальные чувства. «Я ненавистью сильный»,— говорит он. Это они-то и есть «зеленя», юное поколение народа, терпящее жестокую потраву, уязвленное в самую душу, такую отзывчивую и так легко ранимую...

Нелегко дается выбор даже человеку зрелому, но своей мирной профессией далекому от той грани, за которой нормой становятся насилие и смерть. Драматические переживания старого моряка-механика, поставленного обстоятельствами на эту грань, привлекли писателя-мариниста А. Новикова-Прибоя (рассказ «В бухте «Отрада», 1924). Нелегко даются герою нечеловеческие перегрузки войны, вынуждающие мирного человека переступать то, что веками было под строжайшим нравственным запретом.

При всей четкости позиций писателей, полной определенности их идейных симпатий и антипатий рассказ двадцатых годов, как и все лучшее в нашей литературе, исходил из того, что нет не-

преодолимой грани между «старой» Россией и Россией «новой»; выработанные веками нравственные ценности не должны быть отброшены, в муках, в драматическом выборе происходит сложный и необходимый акт духовной преемственности. Глубинное народное нравственное наследие должно быть полно воспринято и развито в стране, сбросившей иго классового неравенства и социальной несправедливости.

Это было хорошо понято нашими писателями, выступавшими, как правило, против заявлявших о себе порою догматической узости и сектантской односторонности.

С большим интересом читается ранний рассказ двадцатитрехлетнего Александра Фадеева «Один в чаще» (1924—1925). В годы гражданской войны, совсем юным, он был, как известно, в большевистском подполье на Дальнем Востоке, сражался в партизанских отрядах, а затем в Красной Армии.

В этом произведении писатель воспроизводит по-своему экстремальную ситуацию: после тяжелого боя, в котором был почти разгромлен партизанский отряд, герой рассказа по кличке Старик, оторвавшись от погони, на несколько дней остается один на один с собою и — с тайгой, с природой.

Тогда в нем начинают происходить странные и непривычные превращения. «Всю сознательную жизнь он, почти забывая о собственном существовании, занимался другими людьми — людьми своего класса. И в этом занятии, заключавшем основной смысл и неосознанную радость его жизни, участвовала гораздо больше его голова, чем тело». В ситуации смертельной опасности, впервые переживаемой со всей глубиной, в нем «крылато и бурно, как вспугнутая птица, полыхала необъятная радость, радость здорового, оставшегося в живых тела».

Но, в сущности, как выясняется по ходу сюжета, не одно «тело» проснулось в этом человеке, ведшем «головную» жизнь.

Его все более охватывает понимание того, что жизнь не сводится к тому рассудочному, умозрительному существованию, которое прежде было его образом жизни. Есть другой мир, огромный, живой и прекрасный, отрыв от которого страшно вредит самому «делу». «Старик вдруг почувствовал мощное и плавное дыхание вечно живого тела... Какой контраст!..— подумал он с непонятным ему ощущением тоскливой, щемящей грусти.— Все-таки в городе очень сумбурно, а главное, чувствуется в людях усталость, а это очень опасно для них и для дела».

Молодой писатель мастерски строит сюжет, держит нас в напряжении, рисуя на фоне таежной жизни большую внутреннюю работу, которую проделывает его герой, преодолевая в себе прежние однобокие представления о жизни, о людях, о деле. Вышел Старик из тайги, переменившись — став душевно богаче, сложнее, глубже чувствуя и понимая мир, в котором жил и боролся. Суровый ригоризм «дела», понял он, ограничивает возможности человеческой жизни, ее самоценность. И лишь пройдя через этот искус самопознания, Старик восстанавливает полноту связей с миром: «Никогда еще не испытывал он такой безграничной любви к этой широкой, родящей хлеб долине, к звонкому солнцу и тихому бездонному небу».

В рассказе А. Фадеев, можно сказать, одним из первых в нашей прозе вступает в большой и сложный разговор о том, каким будет, каким должен быть и каким не следует быть н о в о м у

человеку. Понятно, что особенно интересны в этом исследовании, так сказать, «стыковые» сюжеты — там, где человек из «старого» состояния переходит в «новое», где «старое» и «новое» взаимодействуют между собой, иной раз в остром конфликте. Пример фадеевского рассказа весьма характерен, но являет, нужно сказать, еще сравнительно мирную картину такого процесса.

Нередко все происходило куда острее и непримиримее.

Велико было требовательное давление эпохи на человека: шла выработка новой программы гуманизма. Время, понятое некоторыми писателями порою чересчур прямолинейно и узко, выдвигало «заказ» на человека волевого, рационального, чуждого каким-либо внутренним сложностям и переживаниям. Такая «идея» человека предполагала стопроцентную активность, обращенную на решение текущих актуальных задач. Все, что этой «идее» не соответствовало, следовало с негодованием и презрением отклонить.

С подобной ситуацией мы сталкиваемся в рассказе А. Караваевой «Пескариха» (1928).

Рассказывая об одной дорожной встрече, писательница резко противопоставляет две своеобразные фигуры переходного времени; одна из них внутренне продолжает классический тип русской провинциальной женщины, своеобразной «душечки», этакой гончаровской Пшеницыной — домовитой, мягкой, тихой, мечтающей о доме, спрятавшемся в кусты сирени, живущей заботами семьи. Она, однако, чувствует, что время требует от нее другого,— и ломает себя, приспосабливается, поступает по принципу: «все так делают». И в то же время сама эта провинциальная «душечка» испытывает если не страдание, то по крайней мере существенный дискомфорт: «Я ведь не такая, как всем надо... Вот и запрешь бедою душу на замочек; внутри-то у тебя тихо-тихо, а ты должна вертеться в этом вечном шуме».

Приспосабливается «душечка» неумело, неискренне, скрыть этого не может, чем вызывает законное раздражение своей попутчицы. Рассказ и ведется от лица непримиримой, воинствующей «активистки», которая, выслушав исповедь этой провинциальной «душечки», обливает ее негодованием. Вспоминая щедринского «премудрого пескаря», который прятался от жизни в нору, она-то и называет свою случайную попутчицу «пескарихой»: только пескари теперь, говорит она, не прячутся, а живут среди людей; маскируясь, «выходят из нор и смешиваются с людской волной».

По всему тону рассказа видно, что писательнице по душе именно «активистка», хотя сегодня с этим можно и поспорить.

Вообще же говоря, время разрешило этот конфликт, в те годы казавшийся таким непримиримым, и разрешило в пользу человеческого многообразия. Следы размышления над этим конфликтом мы видим не только в рассказе «Пескариха».

Наша литература немало потрудилась над тем, чтобы понять сложную природу человеческих ценностей, которые должны быть во всей полноте востребованы новым миром, социалистическим обществом.

Мне кажется, с этой точки зрения стоит внимательно прочитать очень интересный рассказ Владимира Бахметьева «Люди и вещи» (1929).

Произведение это не переиздавалось лет сорок, а между тем в нем можно узнать многие черты и по сей день распространенной, особенно в «левых» течениях за рубежом, психологии так называемого «революционного экстремизма». В свое время эта психология получила заметное распространение и у нас в молодежной пролетарской среде. Бахметьев сосредоточенно — с глубокой симпатией к своему молодому герою и в то же время с нескрываемой горечью — показывает, как она уродует человека, как путает и извращает человеческие отношения.

Герой бахметьевского рассказа — непримиримый враг вещей, доходящий до демонстративного аскетизма. Его бешеная ненависть к вещам — тоже мотив, звучащий сегодня вовсе не так уж безосновательно. Разве не стоит прислушаться к таким словам: «самою большою из всех радостей почитается та, когда он (человек.— *В. А.*) берет себе в полное свое владение вещь, и чем больше вещей, оказывающихся в его распоряжении, тем сильнее и шире радость».

Но в рассказе суть дела не в вещах, а в людях и их взаимоотношениях. «Вещизм» сложным путем проникает в души даже тех, кто с ним борется.

Вот характерное признание героя — заводского парня, рабкора, в начале рассказа: «Самая большая страсть моя — борьба с людьми... Я делаю все, что в силах, чтобы п о д т а л к и в а т ь людей. Меня за это многие ненавидят, готовы отшвырнуть, растоптать. Борюсь! Ненависть моя особенная, она сродни пылкой любви, только чище и деятельнее ее, потому что не стремится к обладанию».

Однако это не совсем верно сказано: «не стремится к обладанию». Стремится! Только «обладание» тут особенное — власть над душами, над поведением людей, над их выбором, симпатиями и наклонностями.

Не «вещами» (он в них не нуждается), но человеческими душами хотел бы управлять герой рассказа. Он, конечно, хочет всем людям хорошего, но — только по своему усмотрению. Развивает вулканическую энергию, действуя «для людей», но — совершенно не считаясь с ними, готовый загонять их силой в тот «рай», который устраивает «для них» по собственному выбору. Одновременно, сам того не замечая, подвергает насилию и свою душу и души близких ему людей.

Кончается рассказ благополучно: рабочий парень понимает крайности своего экстремизма, восстанавливает отношения не только с любящей его женщиной, но — что еще важнее — с большим и сложным миром, с куда большей полнотой начинает понимать необходимость видеть всю сложность жизни, в совершенствование которой он столь пылко, но прямолинейно стремится вложить свою энергию и любовь.

Здесь не место вести подробный разговор обо всей сложнейшей проблематике, связанной с осознанием концепции «нового человека» в литературе послеоктябрьских десятилетий. Можно обозначить лишь принципиально необходимые ориентиры. Теперь нам ясно, что «нового человека» нельзя было создавать по принципу от обратного, отрицая духовные накопления прошлого, что его нельзя было сконструировать умозрительно, что новый человек должен был вмещать в себя колоссальные богатства духа, а

не стремиться напролом к аскетической псевдореволюционной схиме, как это было с персонажем замечательного «Рассказа о необыкновенном» А. М. Горького (см. сборник «Советский рассказ 20—30-х годов».— М.: Правда, 1985, с. 7—9).

Понятны те напряженные усилия творческого духа, которых потребовало у писателей осознание связей нового героя советской литературы с прошлым, с глубинными процессами истории, с серьезно осмысливаемыми проблемами жизни современной и грядущей.

Для жанра рассказа на рубеже 20-х и 30-х годов были, как мы видим, характерны разнородные тенденции в «выработке» концепции «нового человека», в овладении жизненным материалом, с ним связанным.

Может быть, наиболее популярным стал в те годы путь восприятия человека и его истолкования в связи с его работой. Каков он в деле, таков он и по сути своей, не без оснований полагали литераторы тех лет. «Производственный» рассказ (если искать более или менее условное определение) стал таким путем к человеку, к освоению его новых «параметров».

В сборник включены рассказы В. Каверина «Страус Фома», «Последняя ночь», «Возвращение» (все — 1930 год), написанные после поездки по стране, после встреч с людьми разных поколений. Эти люди проверяются прежде всего отношением к работе. У «Последней ночи» драматический сюжет: трактористы как бы случайно «запахали» своего механика, «наемника», не доверяющего даже собственной расчетливости. Трактористы в гневе на человека-чужака, которому, по его собственному признанию, «все равно кому служить, какому правительству, какому государству». Чрезвычайно плотные по литературному письму, рассказы В. Каверина дают почувствовать насыщенную, напряженную атмосферу времени, возникающую из столкновения разных идей человека, разных человеческих философий. Осваивается не только непаханая земля, перепахиваются умы и души, и происходит это нередко в формах жестких, нетерпимых, ставящих «на кон» все ценности человека, требующих чрезвычайных усилий мысли и совести. Рассказы пронизаны предчувствием гармонии, но дается она дорогой ценой.

Своим путем к новому человеку шел в те годы писатель-новеллист Ефим Зозуля. Его опыт так и не был завершен, но в свое время привлек заинтересованное внимание.

Новеллы из цикла «Тысяча»: «Парикмахерша», «Васеха», «Петров», «Герой», «Хлеб» — крохотные, в полторы-две страницы наброски, заметки, моментальные портреты самых разных людей. Писатель предполагал, что если написать такие вот портреты людей, отражающие какие-нибудь характерные, «представительные» их стороны, собрав по черточкам, деталям то, что вошло в жизнь человека, то в этом «мозаичном» коллективном образе возникнет облик нового общества. Сегодня прозу Зозули назвали бы опытом социальной типологии; и опыт этот интересен скорее потому, что является свидетельством литературно-общественных настроений тридцатых годов, нежели подлинным плодотворным писательским путем к познанию человека. Но в самой литературной «мозаике» тех лет, несомненно, «Тысяча» Зозули по-своему типична, характерна и заслуживает читательского внимания.

Некоторая социологическая заданность, рационалистический «каркас», введенный в человека, ощутимы порою в произведениях литературы тридцатых годов, особенно к концу десятилетия. Это видно и на примере таких рассказов, как «Задушевный разговор» (1937) Ивана Касаткина, «На реке» (1937), «Начало» (1939) Рувима Фраермана, и других произведений. В литературе этих лет, особенно посвященной современности, становится заметным налет иллюстративности, которая превращает роман, пьесу или рассказ из исследования и открытия жизни в наглядные картинки, поясняющие тот или иной тезис, притом нередко имеющий недолгое хождение. Рассказы этих лет, за редкими исключениями, малоудачны.

Счастливым отступлением от этого оказалась превосходная книга Бориса Горбатова «Обыкновенная Арктика» (1937—1938). Из нее вошли в сборник одни из лучших произведений этого цикла — рассказы «Роды на Огуречной земле» и «Дружба».

В этих произведениях есть много характерного для литературных исканий тех лет: интерес к человеку в новых, нередко трудных обстоятельствах работы, в данном случае — в условиях Арктики, которая энергично осваивалась в тридцатые годы. Человек показан здесь в коллективе друзей и единомышленников, таких же энтузиастов и тружеников, как и он сам. Эти люди с упоением, страстью и искренностью воспринимают свою жизнь и жизнь своего общества как счастливую и светлую судьбу. Превыше всего для них — дело, порученное им обществом. «Он был синоптик до мозга костей,— пишет Горбатов о своем герое,— синоптик по страсти, по призванию, по душевному влечению, как бывают летчики по призванию, художники по вдохновению, доменщики по рождению и крови». Метеорология была, повторяет писатель, «профессией его души».

Такие люди наполняют страницы «Обыкновенной Арктики». Но, присмотревшись к ним, видишь, что они куда лучше и выше этой характеристики, казалось бы, блестящей. Нет, эти люди отнюдь не исключительные фанатики своего дела, не «исполнители», пусть даже мастерски овладевшие профессией, но ничего, кроме нее, не признающие. Их души вовсе не столь узко ориентированы, как это может поначалу показаться,— лишь на профессию, лишь на «дело».

Исключительные условия их жизни и работы в Арктике позволяют писателю увидеть и показать подлинно лучшие качества «нового человека». Трудные испытания с особой полнотой проявляют не только его профессионализм. С людьми «нового человека» связывают доброта и человечность, ставшие подлинным средоточием его существа Так было в истории с хирургом Сергеем Матвеевичем («Роды на Огуречной земле»), который сумел стать всемогущей силой добра и спасения жизни — новорожденной жизни. Да и все вокруг поняли в этот ответственный момент главное: нет ничего на свете выше самоотверженной заботы одного человека о другом человеке. И коллектив людей именно в этом акте любви и заботы наиболее полно раскрывается.

Оттого-то рассказы Б. Горбатова и производят сегодня, когда Арктика во многом стала иной, куда более обжитой и освоенной, впечатление настоящего человеческого открытия, победы над схематизмом и иллюстраторством в изображении «нового человека».

В тридцатые годы в рассказ, как и во всю литературу, широкой струей влился географически новый жизненный материал: в Арктике нашел своих героев Борис Горбатов, на землях Аскании-Нова — Вениамин Каверин, на Дальнем Востоке — Александр Фадеев, в Средней Азии — Михаил Лоскутов...

Последнее имя сегодня мало известно. Михаил Лоскутов не сделал в литературе многого из задуманного, но его жадное внимание к жизни советской Средней Азии, поездки, встречи, разговоры с людьми (а он владел двумя азиатскими языками — узбекским и туркменским), участие в знаменитом каракумском автопробеге, бесконечные странствия по степной и пустынной «глубинке» — это выразительный и характерный пример литературного поведения в те годы. С документальной точностью и деловитостью писатель соединяет воодушевление; внимание к новостройкам, «новому человеку» сливается у него с раздумьем о том, как в эту жизнь вживаются люди «старого» мира. В дальнем каракулеводческом совхозе во глубине туркменских степей оказалась старая учительница музыки из «бывших» («Немного в сторону», 1938). И можно догадываться о многом, что пережила она и что переживает: «Я думаю о своей странной жизни и не знаю, кто мне ответит на мои вопросы». Да сама же и отвечает! Она видит, что жизнь не остановилась, что душевные богатства старой учительницы, ее «музыка» нужны простым рабочим и их детям. «...В общем все они простые, хорошие и славные люди. Я начинаю их понимать».

Когда старая учительница умирает, ее хоронят всем совхозом, и директор говорит: «Начатое ею дело мы будем продолжать». Разные, казалось бы, непримиримые струи сливаются, образуя одно общее течение. Впрочем, в народной глубине эти струи всегда были едины.

...В том, что рассказ активно осваивал жизнь, ее новые слои, можно увидеть яркое свидетельство интенсивности творческой энергии самой действительности: ведь рассказ, как жанр, приходит обычно на «обжитое» место, он полон внимания к тому, что уже вошло в наш обиход, в привычку, что перестало быть редкостью. Вот почему нет экзотики в азиатских рассказах Лоскутова, вот почему «обыкновенной» была Арктика у Горбатова. Шло не только хозяйственное, экономическое открытие «одной шестой земного шара», как любили говорить мы о нашей стране в тридцатые годы. Происходило освоение культурное, духовное, шло вовлечение этих пространств и проблем во внутренний мир советского человека. Через рассказы осуществлялось качественно новое сближение литературы с действительностью.

Конечно, старыми жанровыми средствами этого было бы не добиться. Рассказ обновлялся, вбирая в себя струи нового опыта — человеческого, социального, художественного. Он учился быть чутким к тому, что его раньше вроде бы «не касалось», он становился экспрессивнее, лиричнее, порою сливаясь с другими малыми жанрами — очерком, фельетоном (например, у В. Кина, А. Зорича), взаимодействуя с другими искусствами, особенно рожденными двадцатым веком. Стоит, например, прочитать рассказ В. Вишневского «Бронепоезд «Спартак», чтобы увидеть сильное влияние поэтики кинематографа: монтаж кадров, смена планов, закадровый голос автора... Это рассказ без традицион-

ного психологизма, с захлестывающей голоса героев патетикой и публицистикой авторского монолога.

И, разумеется, продолжал существовать, развиваться классический рассказ, представленный здесь убедительно и образцово К. Фединым, И. Соколовым-Микитовым, О. Форш, В. Бахметьевым, П. Романовым...

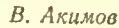
* * *

Время великих потрясений оплодотворило рассказ своей грозовой энергией, увело его от эпигонства, бытописания, мелочей жизни к постановке больших вопросов, по словам Горького, «вопросов духа» и судеб народных и человеческих; отвертываясь от бытовщины, от пустопорожней немочной развлекательности, рассказ шел к людям и рядом с людьми в их новых судьбах, вместе с ними постигая «прекрасный и яростный мир».

Сегодня, через десятилетия, видишь это особенно отчетливо.

И в этой плодотворной оглядке на прошлый опыт, в возможности самопознания и самооценки, начать которую никогда не поздно,— польза чтения и перечитывания в наше время того, что было написано много лет назад по потребностям, пробужденным другим временем.

В. Акимов



СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ 20–30-х ГОДОВ

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

ОДИН В ЧАЩЕ

ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ «ТАЕЖНАЯ БОЛЕЗНЬ»

1

«Старик» проснулся на таежной прогалине — в багряной, облитой солнцем траве.

Он не удивился, что лежит один на незнакомом месте. Но прошлое, такое недавнее и близкое, было подернуто туманной дымкой, будто отодвинулось вдаль, стало чужим. Он ощущал *новое* в себе и вокруг. Оно слагалось из тончайших неуловимых переживаний, которым нет имени, но самым важным, существенным, незабываемым было ощущение себя и, прежде всего, своего тела. Он чувствовал, как живет, как дышит в нем каждый атом, каждая клетка. Казалось, стоит хоть немножко пошевелиться — и заиграют, запляшут насыщенные живым и горячим мускулы. Он осязал даже мельчайшие неровности почвы под собой. Когда закрывал глаза, на каждой ресничке чувствовал солнце и вбирал, ловил его жадными веками. Где-то у виска размеренно билась тоненькая жилка, и, казалось, впервые он ощущает ее биение. Будто не было тут раньше никакой жилки!.. Даже ласковый шорох засыхавшего пырея проникал не только в уши, но во все поры тела, ощущался всем существом от пяток до кончиков волос.

Старик живо приподнялся на локте, тряхнул головой, осмотрелся. Таежная прогалина ничем не отличалась от тех, на которых частенько приходилось спать в последнее время. Но она показалась ему необыкно-

венно, несказанно красивой в золотисто-желтом уборе осеннего листопада. Это впечатление было тем более странным, что раньше он либо не замечал окружающей природы, либо она имела для него чисто практический интерес.

Старик происходил из той породы неугомонных людей, жизнь которых богата внешними и внутренними переживаниями и ощущениями. Но *эти* были новы и особо значительны для него. До сих пор он слишком мало — гораздо меньше, чем это допускал даже его род деятельности,— обращал внимание на себя. Всю сознательную жизнь он, почти забывая о собственном существовании, занимался другими людьми — людьми своего класса. И в этом занятии, заключавшем основной смысл и неосознанную радость его жизни, участвовала гораздо больше голова, чем тело. Проснувшись на заброшенной таежной прогалине, Старик впервые почувствовал, что кровь играет в нем, как свежий кленовый сок, а жилы туги и звонки как тросы.

В первые минуты он не подумал о том, хорошо ли это или плохо. Может быть, в новых ощущениях крылись неведомые опасности, но он не мог знать этого теперь и просто, бесхитростно наслаждался.

Ему вспомнилось почему-то, как с неделю тому назад у речного откоса подошел к нему тонконогий Федорчук и, насильно перебирая трясущимися губами, сказал:

— Что нам теперь...— Он замялся, очевидно отыскивая наиболее значительное и безнадежное слово для выражения своей мысли, и, не найдя его, снова повторил:— ...что нам теперь... делать? Или уже все кончено?..

Справа от них тянулись нависшие над пересохшим оврагом густые вербовые заросли. Оттуда доносилась бойкая ружейная трескотня, и пули с визгливым чмоканьем проносились над головами.

Впервые разглядев как следует безвольную, опущенную фигуру Федорчука, Старик подумал, как неосмотрительно областной комитет распределяет людей. Человека, годного самое большее к расклеиванию прокламаций, он прислал в качестве организатора партизанских отрядов. Надо же было, черт возьми, иметь голову на плечах!

Но растерянные, опустошенные глаза Федорчука робко просили о поддержке. И хотя Старику не верилось, что кто-нибудь выберется живым из этой гиблой, изрезанной летними водами долинки, он бодро хлопнул парня по плечу и пошутил, как всегда добродушно и весело щурясь:

— Дурило! Мы еще только начинаем. Неужели ты думаешь, что *они*,— тут он неопределенно ткнул пальцем в вербовые заросли,— полезут за нами на Эрльдаго́ускую тропу?.. Нет уж, брат, дудки, этот номер не пройдет!..

Федорчук не знал, что на свете не существует никакой Эрльдагоуской тропы, и немножко приободрился.

В тот момент ничего похожего на переживания сегодняшнего дня у Старика не было и не могло быть. Тогда он ни разу не подумал о себе,— наоборот: больше, чем когда-либо, забыл про свое существование. Хотелось только утешить Федорчука и других, таких же как Федорчук, с такими же бледными и растерянными лицами. Все они жадно прижимались к земле, казавшейся им последним убежищем до и после смерти, и бестолково стреляли по вербовым зарослям сквозь плохо прикрывавший их обнаженный и колючий кустарник. Старик замечал, как некоторые украдкой срывали с фуражек красные бантики.

Не было этих переживаний и потом, когда в течение недели их гнали все выше и выше, пока не стиснули совсем в паршивой деревушке в верховьях Эрльдаго́у. Там, на прокуренном и заплеванном постоялом дворе, даубихинский спиртонос Стыркша сообщил последнюю новость· голову Старика оценили в тысячу рублей. Походная типография атамана Калмыкова сотнями разбрасывала по падям листки с приметами Старика и обещаниями всевозможных благ (на том и этом свете) за поимку живого или мертвого.

Старик почувствовал, что на него устремились десятки испуганно-вопросительных глаз. Но не только потому, что на него смотрели другие, а и потому, что собственная личность меньше всего интересовала его в эти дни, он стал беспечно шутить и смеяться.

— Вот не было печали,— сказал он, приподымая насмешливо прямые жесткие брови.— Додумались же, сукины дети! Чудаки, право...

Но его никто не поддержал. Стыркша вынул изо рта обгорелую трубку с чубуком в виде оскаленной собачьей пасти и, сплюнув желтую от никотина слюну, сказал:

— Смеяться тут нечего. Мою голову оценяли и в старое и новое время. Не скажу, чтоб уж очень дорого, но жить даже с дешевой бывает несладко.

Он по привычке погладил против шерсти растрепанные, лишайного цвета усы и, снова зажав трубку зубами, пояснил:

— Вы и без того бегаете, как зайцы, а тут гайка совсем заслабит. Потому — соблазн! Знает тебя всякий мальчонка, а тысяча рублей — пущай «сибирками» — деньги немалые.

Утром их вышибли из деревушки, прижали к таежному хребту, и Старик почувствовал на собственной шкуре, что спиртонос был прав.

Это последнее бегство сохранилось в памяти наиболее четко и, как видно, имело для Старика наибольшее значение.

Бежало около сорока человек. Но Старика узнали по плотной угловатой фигуре, по крепкому затылку, по буйным седеющим волосам. Его сразу выделили из всех. Назойливые свинцовые мухи затенькали, завизжали над ним обильней и яростней, чем над всеми остальными вместе. Казалось, весь огонь, вся злобная ненависть людей под горой сосредоточились только на нем. Ощущение было, будто пули задевают волосы, даже пушок на ушах. Их визгливое сюсюканье зловеще отдавалось в мозгу.

Он бежал в гору через валежины, разрывая цепкий широколистый виноградник, захлебываясь росистой паутиной, проваливаясь на каждом шагу в гнилую древесину. Залпы летели широкие, раскатистые, рассыпчато-гулкие, как горные обвалы. Привычным ухом он различал, как в перебойный треск винтовок вплетался округло-четкий плач японских карабинов. Огненными нитками — настойчиво, жестко, бесстрастно — строчили бездушные пулеметы. Казалось, пули дробятся в ветвях на мириады электрических искр, насыщают воздух колюче-ржавой пламенной пылью, и ею дышат люди, обжигая легкие.

Последний человек, которого он увидел недалеко от себя, была отрядная сестра. Окруженный смертельным

свинцовым роем, Старик чувствовал, что все инстинктивно сторонятся его. Но сестра по неопытности держалась близко. Ее матово-смуглое, красивое лицо перекосилось от ужаса. Спутавшиеся каштановые волосы непослушно трепались на ветру. Она цеплялась юбкой за корявое ломье и несколько раз падала с жалобными возгласами.

Даже в тот момент, когда все, казалось, желало *его* смерти, Старик прежде всего подумал не о себе, а о другом человеке, который мог погибнуть возле. Он крикнул:

— Не приближайтесь ко мне!.. Вы слышите?.. Не теряйте из виду остальных!..

Сестра вскинула на него глаза, наполненные слезами и жутью, и сказала не столько ему, сколько себе:

— Мы не уйдем отсюда живыми...

Старик почувствовал, как что-то суровое и нежное, неизбывно жалостливое рванулось и затрепетало в сердце. А когда через несколько секунд он посмотрел в ее сторону, она лежала, опрокинувшись через бревно, уткнувшись головой в пропахший спиртом, прелый листозём, и ее гибкое тело исходило последней дрожью.

Старик понял, что это смерть и что смерть ужасна. Но еще лучше понял он,— вернее, почувствовал всем нутром,— что *жизнь* прекрасна и радостна и что он любит жизнь,— хочет и будет жить во что бы то ни стало, ибо самое страшное — лежать вот так, опрокинувшись через бревно, уткнувшись носом в мертвую землю, и знать, что через несколько секунд тебя не станет. И потому, что сердце Старика работало неутомимо, как машина, а ноги стихийно, стремительно, мощно несли над землей послушное тело, и потому, что все его насыщенное волей и бегом существо напряженно рвалось к жизни, молило о жизни, цеплялось за жизнь мельчайшими клеточками, фибрами, жилками,— он выдержал этот полуверстный пробег под огнем на вздыбленные кручи Али́ня. Это был пробег израненного зверя через чащу, бурелом, карчи. Но он вырвался все-таки на хребет... вырвался — взмыленный, изодранный и ярый, но живой!

Напрягая последние силы, перевалился через мшистый, изъеденный козьими тропами гребень и, полный неутолимой злобы, свалился у подножий густоиглого

пихтача. Он весь дрожал от напряжения. Жилистое, исцарапанное тело изнемогало в бессильной ярости. Он сам не мог бы сказать, чего в нем больше: усталости, торжества или бешенства. Хотелось снова высунуться за гребень и выхаркнуть двуногому зверью в желтых околышах.

— Смотрите! Вот моя голова!.. Вы оценили ее в тысячу рублей! Но она никогда не достанется вам — она сидит еще слишком крепко для вас!..

Он насильно разжал судорожно стиснутые зубы и затих, прижавшись к земле разгоряченной щекой.

За хребтом глухо рычали автоматы. Пули с визгом буравили повисшее над хвоей осеннее, голубовато-серое небо. Старик чувствовал, как в прижатом к земле ухе копошится какой-то надоедливый жучок, которому, очевидно, не было никакого дела до всего происходящего, а другим настороженно ловил каждый звук за хребтом.

Стрельба нарастала, как прибой.

Старик превозмог усталость и, крепко сжав винчестер, откидывая корпус назад, чтобы не упасть, побежал под гору. Когда ввалился в сырое и темное ущелье, с гребня снова трахнуло тяжелыми гулкими залпами и... «та-та-та»...— залился хриплым безудержным лаем пулемет.

Яростно закусив губу, Старик помчался вниз по ключу. Ущелье раздалось неширокой лесистой долиной. Он вымок от росы, отяжелел и фыркал, как изюбрь. Инстинктивно огибал выраставшие перед глазами осенне-алые кусты, прогнившие валежины, затаившие испуганный мышиный писк, навалы сухостоя. Ноги спотыкались о вросшие в землю, проржавевшие мохом и плесенью коричнево-слизкие валуны.

А со всех сторон обнимала его хвойноиглая, златолистая, сухотравная, напоенная осенней тишиной тайга. За желтым ветвистым кружевом уж не таился зверь. (Незнаемыми тропами ушел он к главному становику, в далекие дебри Садучара.) Трепетной утренней бирюзой играли ключи под нежарким солнцем. Печально и тихо, как слезы, звенели по листьям янтарные ро́сы. Засыхавшая осока шуршала в заводях зазывно, маняще-таинственно. В золотистом таежном увядании, в запавшей в паутине грусти, в унылых и скорбных, опустевших, забытых зверем чащах хотел

жить, казалось, только один измученный и загнанный человек.

Он бежал до тех пор, пока не смолк позади ружейный говор, пока хоть каплю сил мог выжать из себя. А исчерпав последние, приткнулся в траву взлохмаченной потной головой и, слушая идущие будто из-под земли толчки чужого неугомонного сердца, заснул.

И, видно, в те минуты, когда шелестело на висках свинцовое дыхание смерти, когда лежал на хребте, прижавшись к хвое чутким, настороженным ухом, когда ломился без дороги в лесном багряном золоте, а после спал в облитой осенним солнцем траве, все его существо незримо перерождалось. Но, проснувшись, Старик впервые почувствовал, что кровь играет в нем, как свежий кленовый сок, а жилы туги и звонки, как тросы.

Он сидел на прогалине с сурово сжатыми губами, а внутри, прорываясь сквозь смутную тоску одиночества, крылато и бурно, как вспуганная птица, полыхала необъятная радость, радость здорового, оставшегося в живых тела. Он вытянул вперед руку, с силой напружил мышцы и с какой-то детской радостью подумал: «А ведь я чертовски здоров!..» Было так приятно сознавать это, что он даже удивился, как не замечал раньше. Ему стало смешно и даже обидно, что у него в тридцать лет седые волосы и его зовут «Стариком». «А ведь как бежал... бежал-то как?.. Ах, дья-авол!..» Он засмеялся с мальчишеским задором, наслаждаясь, как ребенок, сознанием своей силы. Несколько раз сгибал и выпрямлял ногу. Она ныла слегка после чрезмерной работы. Где-то у таза играл твердый, мускулистый шарик, сквозь кожаную штанину проступали мышцы, упругие и крепкие, как корни. Положительно, он никогда не замечал этого раньше! Он действительно переродился наново.

Старику не хотелось уходить, солнце пригрело его, он готов был весь день провести на этой прогалине. Лежа на спине с закрытыми глазами, нарочно отгонял мысли о будущем и думал о том, как это хорошо, что он все-таки остался жив, какая хорошая и приветливая попалась ему прогалина и как хорошо, светло и чудесно кругом, несмотря на осень. Он думал также, что если бы раньше в каждый час своей жизни он испытывал то необыкновенное радостное чувство, которое владело им на этой прогалине, то его работа и вся

его жизнь, и без того казавшаяся неплохой, были бы еще интересней и привлекательней.

Наконец он заставил себя подняться. Тщательно подвел итоги имуществу: провизии нет, теплой одежды нет, шапку потерял... спички?.. Испуганно схватился за карман. Здесь! Достал коробку и бережно пересчитал: семнадцать штук. При внимательном отношении хватит дней на восемь.

Вскинул винчестер за плечо, постоял несколько секунд, прислушиваясь к себе и вокруг, и, бодро насвистывая, зашагал книзу.

2

Утреннее, нарочито веселое настроение долго не покидало Старика в пути. Непролазно-цепкий кустарник загораживал ему дорогу, но он уверенно раздвигал его крепкими руками и неутомимо шел вперед. Ноги упруго тонули в мягком настиле опавших листьев, каждый шаг отдавался во всем теле хмельным и радостным зудом. И мысли Старика были необычайно просты и примитивны — исключительно практические мысли о том, как лучше пройти. То он пролезал, согнувшись, под поваленным деревом и думал: «Вот отогну еще эту веточку, а потом шмыгну вправо — там меньше кустов». Или: «...нет, лучше пролезть по ту сторону ясеня... Перейду овражек по бревну и прямо двинусь вдоль ключа». Старик знал, что нарочно думает о таких вещах, отгоняя беспокойные заботы о будущем, которые своим неопределенным содержанием («...куда я выйду? Да выйду ли я вообще отсюда? Что ожидает меня в ближайшем жилье? Может быть, то же, что осталось позади?..») могли нарушить его душевное равновесие.

Через некоторое время захотелось есть — первое, что омрачило его бездумное и беззаботное состояние. Он подобрал с земли несколько кедровых шишек и уселся на камне возле ключа. Заходящее солнце било откуда-то сбоку тепловато-осенним светом, и под ним таежный лист и мох, устилавшие ключевую низину, отливали червонно и бархатно. Склонившись над ключом, Старик долго разглядывал свое лицо. За последние недели оно заросло жесткой чернявой щетиной, где-то под глазами залегли усталые складки. Но все же это было мужественное, энергичное лицо, и оно понра-

вилось Старику. Раньше он никогда не интересовался им, месяцами не заглядывая в зеркало.

Снова любовное ощущение своего тела овладело им. Он сидел, раскинувшись широко и вольно, и гордился тем, что заросшее мужественное лицо, пытливо смотрящее из воды, принадлежит ему. Но когда раздался вблизи какой-то шорох, Старик отскочил в сторону, не помня себя от испуга. И хотя тут же заметил, что тревога была ложной, насилу удержался от непреодолимого желания спрятаться за ближайшим кустом. Сердце, сорвавшись с тормозов, зачастило короткими и быстрыми ударами.

...Так вот как! Оказывается, сегодняшний день принес ему не только безмятежное любование собой, но и голую, неприкрытую боязнь за жизнь? Так, значит, в том, что он приобрел на таежной прогалине, таятся не только прекрасные возможности, но и кой-что другое, враждебное всей его природе? Ведь раньше он не знал страха, а теперь жаль было лишиться сильного тела и никогда не увидеть «мужественного» лица, которым только что восхищался?!

Старик не успел еще разобраться в нахлынувших вопросах, как новая мысль помимо воли сковала его члены. Он вспомнил, что карательные экспедиции водят с собой собак-ищеек, и в ужасе оцепенел. Разве не могла увязаться за ним одна из таких ищеек, и все нечеловеческое напряжение сегодняшнего утра окажется напрасным?! Он боязливо прислушался и осмотрелся по сторонам. Но лес стоял безмолвен и неподвижен, только ручей звенел по камню тихим серебряным звоном да где-то далеко посвистывал одинокий рябчишка. Тогда Старик опустился на камень и засмеялся чужим, враждебным смехом — прерывисто, хрипло, зло.

Тайга шутила с ним злые, нехорошие шутки, это она смеялась над ним беззубо и мертво, грозила корявыми пальцами обомшелых елок. Но она не знает, видно, с кем имеет дело! Человек, способный руководить сотнями и тысячами *людей,* не может и не должен бояться таежных шуток! И, насильно заглушая всякие проявления страха, Старик начал доказывать себе так же логично и несокрушимо, как это он делал в свое время другим людям, что если бы у преследовавшего его отряда были собаки-ищейки, то они нашли бы его,

еще когда он спал на таежной прогалине. «Допустим даже, что их привели позднее,— наставительно и строго рассуждал Старик, как будто он говорил все это Федорчуку,— но тогда, сколько ни волнуйся, они рано или поздно все равно найдут тебя. Так уж лучше вести себя спокойно и не праздновать труса, чтобы не потерять к себе всякого уважения...» Он не замечал, что во время этих рассуждений его уши чутко ловили каждый шорох. Он ужаснулся б, если бы знал, что они приобрели способность шевелиться, как у зверя!

И когда он тронулся в путь, казалось, что кто-то неведомо страшный норовит вцепиться ему в спину, и мелкие мурашки бегали по спине. Но он упорно боролся с этим ощущением,— то замедлял шаги, то принимался петь, то останавливался, как бы поправляя обувь,— не оглядывался до тех пор, пока привычный ритм ходьбы не вернул ему душевного равновесия.

Вечером Старик снова испытал смутную тревогу человека, не привыкшего к лесному одиночеству. Нужно было разводить костер, но он заранее содрогался от мысли, что это будет единственная светлая точка во всей тайге. Казалось, враждебные ночные силы уставятся на нее тысячами глаз. А без огня с таинственно-мохнатых елей стекала в сердце тоскливая жуть, тело зябко ежилось от сырости. Собирая хворост, Старик нарочно как можно сильнее трещал ломьем, с грохотом разбивал его о стволы. Гнетущая ночная тишина окутывала, засасывала, давила его. Но Старик не хотел подчиниться тишине! Он ломал даже те сучья, которые не тяжело было дотащить целыми; несколько раз, изменяя своим целомудренным привычкам, похабно и скверно выругался.

А потом, тоскливо сидя у огня, грыз набившие оскомину орехи и думал, что если бы удалось опустошить даже весь кедровник, и то б он не смог насытиться такой мелочью. Он злобно швырнул шишку в огонь и, безнадежно обхватив колени липкими от смолы руками, задумался...

...Интересно, как теперь в городе? Сенька Данилов из Центрального штаба должен поехать скоро для связи. Старик ясно представил себе Сеньку Данилова с его сухим, казенным лицом, редкими усиками и безразличными, неизвестного цвета глазами. Ночью, крадучись по темным слободкам, он проберется на квар-

тиру к Крайзельману. После обычных приветствий и поцелуев, во время которых все его лицо распустится неожиданно в доброй и светлой улыбке, он снова оденет на себя сухую, казенную личину, начнет рассказывать без всякого выражения, почти газетным языком:

— Такого-то числа части атамана Калмыкова совместно с японцами и чехословаками предприняли общее наступление на наши отряды...

Будет перечислять по очереди: такого-то числа разгромили такой-то отряд (тут он покажет по карте, где этот отряд стоял), такого-то числа — такой. Наконец, дойдет до Старика. В этом месте предупреждающе замигает веками, и снова лицо его станет живым, грустным и добрым. Дрогнувшим, изменившимся голосом он забормочет:

— А еще, брат Крайзельман, паршивая новость... Старик пропал без вести... Дурацкая там какая-то история вышла... Голову его оценили — вот у меня листок...

И, странно смутившись, он полезет за пазуху. А Крайзельман, схватившись за голову, опустится над столом и будет причитать:

— Что вы наделали... ай-я-я-яй, что вы наделали...

Он наверняка прослезится, может быть достанет платок. А потом, разнервничавшись, забегает по комнате — маленький, толстенький, лохматый,— начнет кричать:

— Как же вы не сумели уберечь? Вот и посылай вам членов областкома!.. То небось грязью обливали,— члены, мол, областкома пороха боятся... А вот как уберечь... раззявы!..

Успокоившись, он будет раза три предупреждать, чтоб Данилов больше никому не рассказывал.

— ...Знаешь ведь, какое тут настроение? Упадок! Ребята в десятках только на Старика и надеются. Это *партийные* ребята. А что на заводах?..— Тут Крайзельман по склонности преувеличивать выпалит что-нибудь оглушающее: — Там на него молятся! Если до них такая вещь дойдет, так ведь тут какой провал?! А мы забастовку Временных мастерских облаживаем... Нет, нет! никому не рассказывай, пусть один комитет знает...

Но сам он не выдержит первый и под величайшим секретом выболтает обо всем «Соне Большой». (В ин-

вентаре областного комитета числится еще «Соня Маленькая».) В ближайший вечер соберется у «поэта Миколы» на 6-й Матросской вся партийная молодежь. Чех — Ма́лек, разумеется, «совсем случайно», притащит несколько банок спирта, и, когда заложат основательную толику (сколько раз Старик убеждал их не пить, но они всегда сваливали на «тяжелую обстановку»), Соня не утерпит:

— Это, ребята, конечно, большой секрет, но... в сопках дела швах... Старик пропал без вести...

И хотя почти ни у кого не остынет желание попеть и повеселиться, несмотря на грустную новость (народ все молодой, а близкие люди гибнут уже не в первый раз), но все будут стыдиться перед собой и перед другими такого скверного чувства, будут пить молча, угрюмо, сосредоточенно, пока с Малеком не сделается припадок. Он грохнется на пол и, разрывая на груди рубашку, начнет кричать:

— Под-дайте мне Массарика — я его з-зарежу!!

А на завтрашний день к вечеру вся организация и все заводы будут знать о тяжелом положении в сопках и о пропаже Старика.

Он представлял все, до мельчайших подробностей,— тесная, плотно набитая людьми каморка на 6-й Матросской вставала перед ним во всей своей неприглядности: душно, накурено, наплевано, налито на столах. У людей потные, возбужденные, пьяные лица. «Там, в городе,— думал Старик,— люди живут нервами и головой, и более слабых тянет к вину, к дурману (он вспомнил, что Малека жена нюхает даже кокаин), чтобы забыть про нервы, про голову, как будто можно в вине и в дурмане найти отдых и забвение...»

— А здесь?..— неожиданно спросил он вслух. И, оторвавшись от своих мыслей, вопросительно посмотрел вокруг.

Стояла ровная, невозмутимая тишина. Чуть-чуть шипели в огне мокрые валежины, багрово-красные искры рассевал костер. Со всех сторон обступала густая, непроглядная и непролазная темь — непоколебимая темь, как стена. И оттуда, из темноты, тянуло здоровым, крепким и свежим, медвяно-спиртовым запахом хвои, прелого листа, теплой осенней ночи. Осень стояла сухая и пахучая. В той самой тишине, которая несколько часов тому назад, казалось, заглушала вся-

кие проблески жизни, Старик почуял вдруг мощное и плавное дыхание вечно живого тела.

«Какой контраст!..— подумал он с непонятным ему ощущением тоскливой, щемящей грусти.— Все-таки в городе очень сумбурно, а главное, чувствуется в людях усталость, и это очень опасно для них и для дела. А здесь — покой и первобытная тишина. Она пугала меня весь день. Но здесь свежо и здорово, здесь нет усталости, и, несмотря на осень, несмотря на ночь,— неслышная и незримая для непосвященного,— идет вечная, негасимая жизнь...» Он бросил в огонь хворостинку, и яркая вспышка смолистой хвои обдала его теплом и горьким, щиплющим глаза дымом. «Но ведь в городе не только дурман и усталость? — подумал он, обтирая слезы, невольно выступившие на глазах.— И почему мне вспомнилось именно то, как выпивают ребята, и вся скверная обстановка их частной жизни?.. И что это вообще происходит со мной сегодня?..» Старик не поспевал осмыслить того неясного процесса, который происходил в его душе, рождая совершенно незнакомые, чуждые его натуре переживания и ощущения. «Там, в городе, тоже идет своя, насыщенная живой человеческой кровью жизнь и борьба. Эта жизнь есть в то же время и моя. И откуда это,— почему это нужно было противопоставить, то, что происходит в городе, здешней тишине и покою?.. Нет, не в том дело, что нужно,— как узнать теперь, что нужно и не нужно? — это пришло само, но почему пришло?.. *И это очень опасно для меня»*,— вдруг подумал он, сразу испугавшись новой мысли и заминая ее другими.

Ему представлялось теперь, как известие об его исчезновении попадет на судостроительный завод, где после семилетнего перерыва он снова работал в последнее время, скрываясь от колчаковской контрразведки.

Утром, с опозданием на пять минут, «поэт Микола» прибежит в инструментальную. (Такое опоздание Микола называл «академическим», хотя за него вычитали из получки, как за целый час.) Разумеется, он, как всегда, в засаленной, наполненной стихами робе и в широченных джутовых галифе. (Из этой материи обычно шьют мешки под бобовые орехи.) Из одного кармана торчит у него газета, а из другого вобла, колбаса или

что-нибудь в этом роде. Он лихо вытащит из кармана коробку первосортного «Триумфа», долго, с «фасоном», будет стучать по крышке, и, только когда откроет, обнаружится, что в коробке — махорка. Усатый Кунферт, залезая в нее чуть ли не ногами, из вежливости спросит:

— Это у тебя какая? «Казак» или «Золотая рыбка»?..

Но Микола окинет его многозначительным взглядом чудных, огромных глаз и, склонившись к уху, шепнет:

— Старик наш без вести пропал... Вчера у меня ребята были, так сказали. Голову его какой-то чудак оценил в пятьдесят тысяч рублей,— факт!.. Только это большой секрет... понял?.. Усатый черт.

Купферт, долго не понимая, в чем дело, будет без толку закручивать и снова раскручивать тиски, неизвестно для чего поковыряет ногтем ржавую плашку, вопросительно поплюет по сторонам махорочными крошками. Потом он подымет голову и скажет:

— Микола!.. Ты знаешь,— они продешевили...

Первый же токарь, пришедший сменить резец, или слесарь — за метчиком или плашкой, уйдет посвященным в тайну самим Миколой, разумеется, с напутствием, «что это большой секрет», и т. д. И к обеденному перерыву о событиях в сопках узнают решительно все, начиная от опутанного огненными змеями сопливого и вихрастого вальцовщика Федьки и кончая угрюмым сталеваром Денисовым. Одни будут радоваться, другие горевать, третьи бояться даже одной той мысли, что им что-то известно о находящемся в немилости у начальства Старике. Но подавляющее большинство примет это известие с угрюмой сосредоточенностью и еще сильнее уйдет в себя, где неустанно, невидимо происходит большая и скрытая коллективная работа. Эти не выскажут никакого суждения,— выслушают и отойдут молча. А потом под урчанье станков, под злобный шелест трансмиссий, под лязг и грохот прокатных станов, под львиный, адовый рык мартена они будут сверлить, строгать, вальцевать, плавить и думать не только о Старике, но о многом-многом другом.

Старик сидел, согнувшись у костра в безнадежной позе, и душа его по-прежнему ныла от непонятного,

щемящего, тоскливого чувства, как будто все то, о чем он думал, было и родным, и душевно близким ему, но уже почти невозможным для него, потому невозвратно далеким. Он снова вопросительно посмотрел вокруг, но темь стояла по-прежнему глухая и сытая, несокрушимая, как стена. И небо с неведомо куда ведущим Млечным Путем смотрело нерадушно и молчаливо.

3

Утром Старик поднялся с мучительным ощущением голода. Желание и способность съесть в любой момент все что угодно стало с этой минуты его неотъемлемым свойством. Он беспрерывно жевал кедровые орехи, виноград, виноградные листья, попаренные над огнем грибы, какие-то неведомые корешки — и все-таки не мог насытиться. Порой удавалось подстрелить белку или рябчика — он неумело поджаривал их на угольях и съедал полусырыми,— но проходил небольшой промежуток времени, и снова мучительно, жадно, неутолимо хотелось есть.

Но зато не менее мучительные, противоречивые мысли и настроения совсем покинули его. Если бы он не был так голоден, можно б было сказать, что он сроднился с новой обстановкой. Вкрадчивые лесные шорохи больше не пугали его. Темнота не казалась страшной, ноздри привычно вбирали пряные таежные запахи. И мысль больше никогда не возвращалась к прошлому, как будто жизнь Старика началась с пробуждения на таежной прогалине, а до этого ничего не было.

Иногда неясные видения прошлого вставали перед ним во сне. То он переживал свой первый арест, то бегство из чехословацкого лагеря. Почему-то особенно часто рождалась в сонном мозгу картина обыска, рыжий длинноусый чех с бородавкой на щеке вынимал из шкафа томики энциклопедии Брокгауза и Ефрона и, обнаружив аккуратно уложенные у стенки трехлинейные патроны, кричал другому:

— Братче, подпоручику!.. Здесь цела куца па́тронов!

Старик нервно вздрагивал во сне, но, просыпаясь утром, не помнил ничего; судорожно ежился от крепкого утреннего холодка, быстро умывался в ключе и тотчас же принимался за поиски пищи.

Ему казалось, что он идет уже очень долго,— он потерял бы счет дням, если бы количество израсходованных спичек не указывало на пройденное время: Старик тратил ежедневно по две — в обед и вечером,— и спичек осталось девять. Он так привык к однообразному ритму ходьбы, что постепенно стал забывать окружающее. На пятый день пути попались старые порубки. Хвоя уступала место листвяку, кустарник заметно редел. Но Старик не замечал этих перемен, пока смутное, беспокойное ощущение чего-то нового под ногами не заставило его очнуться. Он остановился, окинул тайгу недоумевающим взглядом и, наконец, понял, что уже с полчаса идет по тропе.

Сердце его заколотилось бурно и радостно. Он сорвался с места и почти побежал. С каждым шагом чувствовал прилив свежих, неуемных сил, снова каждая жилка заиграла в нем, и даже мучительные ощущения голода потеряли свою остроту.

Так дошел он до редкой березовой рощицы; стройные стволы берез чернели широкими опоясками ободранной коры. Старик понял, что где-нибудь неподалеку находится дегтярный завод. Пройдя еще с сотню саженей, почуял горький запах кедрового дыма, а через несколько минут стали доноситься ядреные и сочные удары топора по дереву. Крадучись вдоль кустов, он проковылял еще несколько шагов. В просвете меж деревьев замаячила чья-то голова в коричневой, выжженной солнцем войлочной шляпе. Старик спрятался за деревом и осторожно выглянул.

На вытоптанной, обрамленной березками лужайке стояла под навесом из кедровой коры дегтярная печь с трубой и узеньким деревянным желобком. Она, как видно, не работала. Горький кедровый дым сочился из земляного бугра над смолокурной ямой. Рослый, сутулый и кривоногий мужик с лицом кирпичного цвета, обросшим волнистой светло-русой бородой, степенно и неторопливо рубил кедровое смолье. Веснушчатый курносый парнишка без шапки сидел неподалеку возле шалаша и тоже что-то строгал.

Старик бесшумно вышел на лужайку и, громко крикнув, сказал:

— День добрый!..

Мужик испуганно поднял голову и выронил топор. Парнишка шмыгнул глазами на вновь прибывшего и

замер на месте в том положении, как его захватил Старик,— с согнутой рукой и ножиком под недоконченной стружкой.

— Ну, чего испугались? — сказал Старик, стараясь придать голосу хоть оттенок приветствия. Но язык и гортань не повиновались ему, и голос звучал враждебно и глухо.

— Смолу гоните, что ли?..— продолжал он, чувствуя, что только разговором можно доказать свое человеческое происхождение.

Кирпичное лицо с волнистой бородой вернулось к жизни. Мужик опустился на обрубок; не глядя на Старика, попробовал улыбнуться, махнул безнадежно рукой, снова попробовал улыбнуться и снова махнул и, наконец, тяжело переведя дух, сказал:

— Ф-фу... твою мать!.. Ну, напугал...

Покачал досадливо головой в войлочной шляпе и, все еще не придя в себя, повторил:

— Н-ну, напугал... ей-богу... Вот напугал!..

И, вскинув на Старика маленькие зеленоватые глазки, в которых играли и насмешка — досада на себя, и неприязнь — обида на непрошеного гостя, он хмуро и укоризненно спросил:

— Откедова это тебя, черта патлатого?

Никто не учил Старика, как нужно вести себя в тайге при встрече с незнакомыми людьми, но он усвоил это стихийно, как все, что приходилось делать за четыре с половиной дня таежного пути. Не своим — грубым, хриплым и резким голосом сказал:

— А ты поговори еще немного!.. Где был, там нету...

И откровенная грубость эта к человеку была так же необычной, непрошено новой, как все, что он переживал в эти дни.

— Пожрать давай,— продолжал он, с непонятным удовлетворением наблюдая, как мелкоглазое лицо мужика принимало приниженное и подобострастное выражение.— Четыре дня не жрал, это тебе не деготь гнать!..

Сидя на обрубке дерева, он жадно, по-волчьи, почти не жуя, глотал сало, картошку, соленые огурцы, песочные гречишные лепешки, крепо зажав винчестер между колен и бросая вокруг исподлобья сторожкие, недоверчивые взгляды. Длиннобородый смолокур сто-

ял, растерянно опустив руки, не зная, куда девать свое несуразное тело, и его зеленоватые глаза смотрели ждуще-покорно, как будто так и нужно было, что неизвестно откуда пришедший человек распоряжался его добром, как своим. Было во всей его рослой, но сутулой и обобранной фигуре — в волнистой светло-русой бороде, в грязных полотняных штанах с отвисшей мошонкой — что-то унизительно-жалкое, но Старик не чувствовал этого: ему теперь тоже казалось это естественным.

Только веснушчатый парнишка был чем-то несказанно доволен и смотрел на Старика с нескрываемым любопытством и восхищением. Он долго вертелся вблизи, наконец, осмелев, ткнул пальцем в заржавевший винчестер, спросил неуверенно:

— Дальнобойная?..

— Не тронь! — сказал Старик сурово.— Деревня далеко? — спросил у смолокура.

— Девять верст,— ввернул веснушчатый парнишка.— Ариадной звать...

— Что?

— Деревню звать Ариадна,— пояснил смолокур, наклоняя голову и шпырнув парнишку глазами.

— Отряд какой в деревне стоит или нет?

— Не знаю, давно не был...

— Стоит отряд, я знаю! — снова ввернул парнишка, млея от радости.— Дубова отряд, я знаю... Пятьдесят два пеше, шишнадцать конно!..

Старик расспросил еще о японцах и казаках. О японцах никто ничего не слыхал, а казаки стояли в Ракитном — в двадцати верстах от Ариадны.

— Это пиджак чей, твой? — кивнул вдруг Старик, заметив возле шалаша потрепанный надёван.— Я возьму его...

Он сказал это совершенно спокойно, как будто иначе и не могло быть. На самом деле это тоже было ново: раньше он никогда не взял бы чужого *лично для себя* и притом — насильно. Может показаться, что в подсознании Старика шевельнулось: «Пиджак, мол, нужен мне для поддержания моего существования, а я — человек, нужный для большого, не личного своего дела»?.. Но нет,— он взял пиджак просто для себя, взял потому, что был гол. И — что всего важнее — *он сам знал это.*

Когда напяливал старенький надёван, веснушчатый парнишка отвернулся в сторону, и Старик заметил: на курносом лице играла лукавая и ехидная, относящаяся к смолокуру улыбка.

— Мальчишка — сын твой? — спросил Старик, впервые улыбнувшись сам за четыре дня.

— Нет, нанятый... сирота он...

— Тятьку казаки вбили,— вставил парнишка, сияя васильковыми глазами,— в партизанах был. А мамку изнасилили и тоже вбили...

Старик подарил ему патрон от винчестера и, попрощавшись, заковылял по тропе, все учащая шаги и не оглядываясь.

Он вышел из тайги так же неожиданно, как и вошел. Она раздалась перед ним совсем внезапно, необъятной небесной ширью, неохватным простором убранных полей. Налево, куда хватал глаз, стлались скошенные, не по-осеннему жаркие нивы. Далеко, у кудрявой ленты вербняка, загородившей гурливую речонку, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя — веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина, из куржавого облака блесткой половы и пыли вырывались чуть слышные голоса, сыпался мелкий бисер возбужденного девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты. Через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена бело-розовых облаков — соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко.

Ласковый ветер, пахнущий сеном и скошенной рожью, обнял Старика, закурчавил волосы, защекотал лицо — и необъятное, неизбывное чувство простора охватило его. Никогда еще не испытывал он такой безграничной любви к этой широкой, родящей хлеб долине, к звонкому солнцу, к тихому бездонному небу. Слезы навертывались на глаза, хотелось пасть на землю и крепко, не чувствуя боли, прижаться к жесткой ржаной щетине. И когда он шагал по накатанной дороге, ему казалось, что жизнь впервые разворачивается перед ним, широкая, светлая и радостная, и душа его ликующе пела и об этой неисчерпаемой радости, и о несказанной красоте мира.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

I

В 1920 году по условиям перемирия, заключенного с японским командованием, части Приморской группы отошли на тридцать километров от железной дороги, за нейтральную зону. Второй Вангоуский отдельный батальон отошел в глубокий таежный тыл, в село Ольховку. Батальон должен был построить там зимовья и склады на случай новой партизанской войны.

Наступил август. Давно уже были построены зимовья и склады, а никто не вез ни продовольствия, ни снаряжения. Про батальон точно забыли. В течение месяца бойцы получали по горсти пшена на день.

Решили тогда послать двух отделенных командиров, Федора Майгулу и Трофима Шутку, в ближайшую хлебородную долину — просить помощи.

Федор Майгула и Трофим Шутка были уроженцы южных уссурийских районов, односельчане и одногодки. Они дружили между собой. Это были настоящие парни — рослые, как ясени. Майгула любил помечтать. В свободное время он мог часами лежать на траве и смотреть, как облака плывут по небу, как играет солнце на стволах деревьев, как падают тени утром, в полдень и вечером и меняются краски. А Шутка все хотел знать, что от чего происходит, и любил всякое мастерство, и всякое мастерство спорилось в его быстрых руках. Он был подвижный и веселый, как его фамилия.

Чтобы не заблудились они в окружных болотах, их пошел проводить до правильного ключа местный тигролов и партизан Кондрат Фролович Сердюк — старик ростом с Петра Великого, но куда пошире и бородатый. Русая борода его была поразительной мощности и непомерной длинноты.

К тиграм он относился ласково, но без уважения, называл их не иначе, как «котами». За жизнь свою он не менее тридцати «котов» скрутил живьем, а переколотил их, как сам говорил, «и счету нет». Живых тигров он поставлял торговой фирме Куиста для германских зверинцев, а убитых — китайским купцам на лекарства.

Все тело и лицо Кондрата Фроловича было в шрамах и царапинах, правая рука между локтем и кистью сплошь искромсана тигровыми зубами. Как-то с двумя сыновьями он выследил самку, водившую трех полувзрослых котят. Охотники преследовали зверей недели три, не давая самке поохотиться. Под конец котята вовсе обессилели. Самка, отбиваясь от собак, вертелась вокруг да около по тайге, никак не удавалось ее пристрелить. До сумерек повязали двух котят и хотели третьего, да сгоряча, не разобрав в темноте, Кондрат Фролович вместо котенка налетел на самку. Он наскочил на нее сбоку с веревкой в руках и грудью сшиб старуху со всех четырех лап,— опомнился только тогда, когда ее оскаленная пасть возникла над ним и страшный рев едва не оглушил его. Старику ничего не оставалось, как загнать собственную руку в разверстую перед ним пасть поглубже. Тигрица, стеня и задыхаясь, грызла его руку, а сыновья Кондрата Фроловича, боясь стрелять, чтобы не попасть в отца, по очереди били ее винчестерами по голове, пока не сломали винчестеры. И уж сам старик, изловчившись, с левой руки запустил ей кинжал под сердце.

Вынужденный месяцами молчать в лесу, Кондрат Фролович любил поговорить на людях и всю дорогу занимал Шутку и Майгулу степенным своим разговором.

Разговор начался с того, что Майгула спросил:

— И как это ты, дед, тигров не боишься? Ведь злые!

— А чего мне их бояться, коли я знаю, они больше меня боятся,— сказал старик.— Правда, охотнички наши любят порассказывать: мол, на того кот напал, на того — медведь, да то все не истинно. Самый дикой зверь норовит от человека уйти. Зверь напротив человека идет, уж когда ему деваться некуда. Страшней зверя, как человек, в тайге нет.

Тут Кондрат Фролович от зверей перешел к человечеству, и выяснилось, что о человечестве он самого тяжелого мнения.

— Люди не только зверю, они друг другу страшны, человек сам себе страшен,— говорил старик.— Годов тому двадцать водил я экспедицию — один образованный полковник места наши на карту снимал. Раз он мне говорит: «До чего ты, Кондрат Фролович, простой,

как ребенок, у тебя и глаз детский». А я ему говорю: «Что ж глаз, когда в сердце у меня коршун».—«Нет, говорит, человек ты очень благородный, а все оттого, что ты на природе живешь». А я ему говорю: «От природы в нас не может быть благородства. Когда б мы, мужики, над ней господа были, может, и было б в нас от нее благородство, а мы по ней ходим. По будням ворочаем ини до кровавого пота, а в праздники с устатку водку пьем, а к вечеру друг друга режем,— тоска да ненависть в нас от нее, а благородства нет».— «А посмотри, говорит, на гольдов: совсем дикой народ, а живут на природе, как дети, разве нет в них благородства?» — «Благородство в них есть,— это я ему говорю,— да это, говорю, потому, что у них промеж себя братский закон, а природа для них — мачеха, и они ее боятся». Так и не переговорил он меня. Да и правда: плохо, очень плоховато мы живем. И сколько ни бьемся за правильность, а оно все на старое. Землетрясение, что ли, какое на людей напустить? Пущай бы уж всю землю перетрясло. Поди, те, кто живы б остались, по-новому жить начали. От страху,— пояснил старик и, посмотрев на парней серыми своими глазами, улыбнулся.

Так дошли они до ключа и сели под кедром перекусить перед тем, как расстаться. Поели, и вдруг Кондрат Фролович говорит:

— А не завидую я вам, ребята. Страшная ваша путь-дорога. Ведь это какая тайга? Это тайга мертвая. Тут ни птица, ни зверь не водится, и ветр сюда не достигает. Тишь-то какая!

Он снял шапку и прислушался, и глаза у него стали какие-то лешачьи. Майгула и Шутка тоже подняли головы и прислушались. Непролазная чаща, как стена, стояла перед ними, ни один лист не шевелился — ни дуновения, ни шороха, только ключ слабо звенел. Парни покосились на старика, потом друг на друга и, по молодости лет, рассмеялись.

2

А правда, чаща тут была такая, что солнце редко где пробивало ее. Тысячи лет стояла она так, нерушимая. Не шевелясь, как изваянные, высились кругом папоротники в рост человека. Воздух был душный,

влажный. Почва вся состояла из павших от старости гнилых, обомшевших деревьев. Иной раз Майгула и Шутка по пояс проваливались в *труху*.

Они шли и все говорили о том о сем. Вначале они говорили оттого, что вырвались из скучного сидения в Ольховке и им было весело. А потом стали говорить оттого, что страшно было молчать: такая немыслимая стояла кругом тишина.

Ночью они долго сидели у костра, глядя в огонь.

Утром Майгула пошел набрать в котелок воды для чая. Спустился к ключу, только хотел нагнуться — и задрожал. Через ключ перекинулось, в плесени, дерево, а на дереве, свернувшись кольцами, выложив на них круглую плоскую головку, лежал громадный полоз и смотрел на Майгулу. Кольца у полоза были все в изумрудах. В глазах его, застывших на Майгуле, стояли две золотые точки. Все молчало вокруг, только ключ чуть слышно звенел.

Майгула трясущейся рукой зачерпнул воды и пошел к стану, удерживаясь, чтобы не побежать. Подумал было взять винтовку, вернуться и убить полоза, но не смог заставить себя: уж очень страшно было возвращаться к ключу.

Вечером парни неожиданно для себя поссорились. Шутка начал разводить костер, а Майгула сказал, что не надо разводить костра. Он сам не знал, почему ему не хочется, чтобы горел костер. А боялся он костра потому, что ему казалось: как только огонь разгорится, станут они оба на виду, и вся сила тьмы и тишины обрушится на них и задавит их. Но Шутка знал, что в тайге всегда вернее с костром.

И они стали спорить, не замечая сами, что спорят не в голос, а шепотом.

Майгула шипел:

— И так тепло. Завернемся в шинельки, да и уснем.

А Шутка шипел в ответ:

— С огнем надежнее. И чего ты боишься?

Майгула злился, что его обвиняют в трусости, и шипел:

— Это ты, видать, боишься без огня. А и так тепло.

— Вот не знал, что ты эдакий!— сердился Шутка.— А с огнем надежнее.

Костер они все-таки развели, но кашу поели, не глядя друг на друга, и легли не вместе, как в прошлую

ночь, по разные стороны костра. Утром встали с опухшими глазами, злые.

Весь день они боялись разговаривать, чтобы не поссориться, и не глядели друг на друга. В этот день они перевалили две большие сопки. А вечером уже и Шутка не стал разжигать костер.

Майгуле хотелось сказать:

— Ага! Стало быть, и ты такой, как я. Небось теперь видишь, что страшно?

Но ему не хотелось признаться в том, что ему самому страшно, да и боялся он, что Шутка из упрямства разожжет костер, и тогда обоим станет еще страшнее.

Они легли по разные стороны лесины, завернувшись в шинели, и всю ночь ворочались без сна, поводя ушами, как звери.

Утром обнаружилось, что Майгула на вчерашней дневной стоянке забыл топорик, и они снова поссорились.

— Не знал я, что ты такой раззява! — злобно говорил Шутка.

Майгула смотрел на него темными от ненависти глазами и говорил:

— Ты ж сумы увязывал... Это ж ты, ты сумы увязывал!

И стали они друг другу вконец отвратительны. Шутке казалось, что Майгула много ест (так что им на дорогу не хватит), и губы у него толстые, противные, и что Майгула ленится и все приходится делать ему, Шутке,— и костер в обед разводить, и котелок мыть, и сумы увязывать. А Майгуле было ясно теперь, что Шутка только прикидывался веселым, а на самом деле был хитрый человек, подлый человек. И Майгула все вспоминал, что семья Шутков слыла на селе за воров.

Они теперь совсем не говорили друг с другом. Ненависть их росла день ото дня, но они боялись сцепиться. Они боялись того, что в ссоре один убьет другого, и тогда оставшийся живым погибнет в этой чаще от тоски и страха. Ночами они ложились порознь и не спали,— кое-как отсыпались днем. Казалось им, идут они уже целый век. И когда однажды к ночи, задыхаясь от усталости, влезли они на знаменитый по крутизне и дикости Бархатный перевал, оба не поверили: от-

крытое звездное небо раскинулось над ними. Дул ветер. Тайга лежала глубоко внизу, в звездном свете.

Едва дождавшись утра, они начали спускаться с перевала. И только спустились к другому ключу, как что-то зафырчало в ольховнике, и оба шарахнулись в стороны,— таким ужасным показался им этот внезапный звук после стольких дней тишины. Это вылетел из кустов табун рябчиков. Шутка и Майгула с недоверием смотрели на этих живых тварей.

Тут тайга стала редеть, и к полудню они вышли в долину, залитую солнцем. Веселая речка преграждала им путь. На той стороне расстилались поля под синим-синим небом. Бабы жали пшеницу.

Парни разделись и кинулись купаться. Они долго барахтались в холодной воде, фыркая и улыбаясь про себя. Потом Шутка *сказал:*

— Выбрались все-таки, а?— и засмеялся.

Они впервые за всю дорогу посмотрели друг другу в глаза и заметили, как оба похудели и пожелтели. Майгуле стало жаль Шутку,— он замигал и отвернулся.

3

В долине, куда вышли Майгула и Шутка, стоял Сучанский полк, и этот полк окружным путем доставил продовольствие Вангоускому батальону.

А потом началась новая партизанская война, и длилась она до 1922 года, пока ни одного вооруженного японца не осталось на нашей земле. В этой войне бились до конца и Шутка, и Майгула, и Кондрат Фролович Сердюк.

Когда война кончилась, Кондрат Фролович вернулся в Ольховку и стал по-прежнему ловить тигров, только уже не для германских, а для советских зверинцев. А Шутка и Майгула пошли учиться.

Прошло еще двенадцать лет.

И Кондрат Фролович, и Шутка, и Майгула начинали свою жизнь как люди незаметные, простые. А теперь все трое стали большими людьми, известными всей стране.

Тигров, которых ловил Кондрат Фролович, можно было видеть в зверинцах и зоологических садах Москвы, Ленинграда, Харькова, Тифлиса. И дети, когда ходили смотреть зверей, уже знали, что вот этот тигр

пойман знаменитым уссурийским охотником Кондратом Фроловичем Сердюком, колхозником села Ольховки.

Шутка стал строителем железных дорог. Он строил их и на Урале, и в Казахстане, и на Хибинах, и на Кавказе. По его дорогам ездили люди, многие из которых в жизни не видели железных дорог: вотяки, казахи, карелы, лезгины. И на начальных станциях каждый мог видеть Доску почета, где среди других фамилий значился и Трофим Шутка.

А Майгула научился писать красками картины на полотне. Картины его выставлялись в Москве, в Баку, в Горловке, в Магнитогорске. И всюду говорили, что его картины воспитывают людей в духе новой жизни.

В 1934 году, осенью, Майгула поехал на родину. Он не узнавал знакомых мест, да и люди стали другими. Вдоль старой Уссурийской дороги на сотни и тысячи километров прокладывались вторые пути. Ночами Майгула, не отрываясь, смотрел в окно и видел огни тракторов, и слышал урчание, заглушавшее шум поезда,— тракторы подымали зябь.

На станциях было много войск. Бойцы ладно одеты, обуты. Когда поезд долго стоял на станции, Майгула подходил и смотрел, как бойцы учатся. Они учились хорошо. Парень, недавно из деревни, мог разобрать и собрать пулемет и назвать каждую его часть, знал обязанности бойца в бою и был готов к самопожертвованию.

Над огромными пространствами тайги реяли самолеты. Их мощный клекот то и дело врезался в шум поезда, тени самолетов скользили по желтым колхозным полям, по синим водам рек и озер. Самолет стал такой же принадлежностью родного пейзажа, как жаворонок или голубь.

Майгула смотрел на все это влажными глазами и думал: «Вот она, та земля, которую корчевали мой отец, братья, я сам,— земля, смоченная нашим потом, нашими слезами, нашей кровью. И вот люди стали жить на этой земле хорошо...»

Волнение его достигло предела, когда поезд подошел к той самой станции, от которой отступил когда-то в Ольховку Вангоуский батальон. Майгула выскочил на перрон и вдруг увидел перед собой Трофима

Шутку — в синих галифе, с орденом Ленина на груди и в тапочках на босу ногу.

— А, Федя,— сказал Шутка так, как будто они расстались не двенадцать лет назад, а сегодня,— ты куда едешь?

— А ты как здесь?— вскричал Майгула.

Они спрашивали, но не успевали отвечать: целовались и встряхивали друг друга за плечи. Они по-прежнему были здоровые парни, только Шутка начисто облысел,— одни рыжеватые бровки, как кусточки, торчали на его лице, а у Майгулы голова пошла сединой, как у бобра.

Наконец Майгула сказал, что он едет навестить стариков, а Шутка — что он строит здесь новую железную дорогу. Тут Майгуле стало ясно, что ничего не сделается со стариками, ждавшими его двенадцать лет, если они подождут еще несколько дней. И он слез с поезда.

4

Дорога, которую строил Шутка, проходила через ту самую мертвую тайгу, где четырнадцать лет назад Шутка и Майгула хотели и боялись убить друг друга. Она была готова почти до Бархатного перевала, а должна была пройти до самого моря.

Думали ли парни, когда стояли под звездным небом на гребне Бархатного перевала, что одному из них предстоит уничтожить этот перевал начисто? А между тем это было так. Шутка готовился взорвать Бархатный перевал. Он заложил в него двадцать шесть вагонов аммонала — случай, невиданный за все время существования людей на земле. Перевал, знаменитый на весь край, стоял начиненный, как пирог с капустой, и только ждал, когда его съедят. Прибыл даже человек с двумя аппаратами, большим и маленьким, чтобы заснять этот взрыв на кино и потом показывать его всем людям.

Вечером они втроем поехали в закрытой дрезине по дороге, построенной Шуткой, а к утру уже были в Ольховке: они наметили прихватить с собой Кондрата Фроловича.

В Ольховке как раз шло распределение доходов. По пыльной улице двигался обоз с зерном — пятна-

дцать подвод, и на каждой по шесть, а то и по семь мешков. Все это зерно заработала семья колхозника Ивана Прутикова.

Позади обоза перед группой колхозников шел оркестр в пять труб. Каждая труба играла по-разному, так что нельзя было идти в ногу. Но на трубах пышно сверкало солнце, на возах полыхали кумачные флаги, и всем было очень весело.

Когда обоз подкатил ко двору Ивана Прутикова, председатель колхоза кинулся отворять ворота, а оркестр заиграл громче — каждая труба по-разному. Семья Прутиковых — шестнадцать душ вместе с детьми — высыпала из избы на двор. Иван Прутиков — мужичок рябенький, как наперсток, выбежал к воротам, остановился и прижал к груди сплющенные кулачки.

Председатель достал бумажку и начал читать, сколько семья Прутикова выработала трудодней и сколько ей причитается хлеба. Но Иван Прутиков не слышал председателя, а все прижимал к груди сплющенные кулачки и спрашивал:

— Это мне? Это все мне?

Он был так испуган своим богатством, что все, даже собственные дети, стали смеяться над ним. Кинооператор, вынув из чехла маленький аппарат, стал наводить его то на обоз, то на оркестр, то на Ивана Прутикова. А Майгула стоял, утирая слезы, и думал о том, как трудно все это передать красками на полотне: в жизни все изменялось, все двигалось вперед, а на полотне все получалось неподвижным.

Они застали Кондрата Фроловича дома. Кондрат Фролович, в очках, сидел за столом и разглядывал детский глобус. Старик повертывал его из стороны в сторону обеими руками, как врач повертывает голову больного, рассматривая больное горло или глаз.

Услышав приветствия, старик снял очки и сказал:

— Гости-то какие!..

Он был еще могуч, только борода его сплошь взялась сединой, и он, чтобы по ночам не пугать детей, укоротил ее почти втрое.

— Видишь, какой он стал благородный! — сказал Шутка, подмигнув Майгуле.

— Теперь я могу быть благородным,— степенно согласился старик и даже не улыбнулся. Потом, ткнув глобус огромным указательным пальцем, он сказал: —

Я все гляжу, сколько морей на сей планете. Очень их многовато. Нам подводные лодки надо строить. Побольше подводных лодок...—И он так крутнул глобус, что все великие моря и страны слились в одно пестрое.

К Бархатному перевалу они ехали уже вчетвером. Ехали медленно,— тут рельсы были уложены только начерно.

Конечно, теперь ничего нельзя было узнать от прежнего. Мертвая тайга вдоль всей дороги была порублена, побита взрывами так, что одни щербатые пеньки торчали, как гнилые зубы. Дрезина то углублялась в темное ущелье, то ползла по каменным насыпям такой высоты, что пространства с обеих сторон казались пропастями. Все тот же бежал ключ, но берега его оголились. Там, где его пересекала дорога, прокинулись деревянные мосты. Даже смешно было бы искать то место, где Майгула видел полоза!

Уже стемнело, когда они сошли с дрезины. Они пошли по грязной дороге вдоль неоконченной насыпи. Возле бараков и палаток горели костры. Строители ужинали. Впереди ревел застрявший в грязи грузовик, и фары его ярко светились в ночи.

— Распугали тигров твоих, дед! — сказал Майгула.

— Ничего! Мой век уже кончился,— спокойно отвечал Кондрат Фролович.

5

А наутро погиб Бархатный перевал. Майгула и старый тигролов наблюдали взрыв на расстоянии двух километров, с небольшой сопки, из-за укрытия, откуда видны были и седловина перевала, и вся тайга вокруг в желтых и синих пятнах. На этой же сопке примостился и кинооператор с большим аппаратом на треноге.

Они видели суетню людей на ближних оголенных сопках, слышали голос Шутки, который ругал кого-то на чем свет стоит. Потом суетня прекратилась, люди спрятались, стало очень тихо.

И вдруг вся масса Бархатного перевала стала медленно расти в воздухе, а в том месте, где была седловина перевала, стремительно взнялась к небу тяжелая черная туча. Вначале туча столбом поднялась вверх, а потом медленно стала раздаваться вширь. И только

тогда послышался звук взрыва, и в лицо ударило воздухом, и видны стали отдельные глыбы, летящие в пыли и в дыму.

Звук взрыва не был похож на пушечный выстрел или удар грома — нет, это был глухой, подземный гул, наполнивший собой все пространство вокруг и волнами прошедший под землей так, что Майгула и Кондрат Фролович ощутили его не только ухом, а и всем телом. Вырвавшиеся из тучи камни, как ядра, начали крушить деревья под самой сопкой, за которой прятались Майгула и Кондрат Фролович. Весь воздух наполнился тарахтящими и свистящими звуками, в которых точно слились вместе и конский топот, и стрекот молотилок, и свист каких-то гигантских прутьев. Отдельные камни стали попадать и на их сопку, один с силой врезался в землю, метрах в двух от кинооператора. А тот, весь в поту, в мыле, все крутил и крутил ручку своего аппарата.

Когда все кончилось, в воздухе долго стоял желтовато-серый туман, более густой у самого места взрыва. Потом туман развеялся, и стало видно, что края седловины широко раздались, осели и в самой середине ее зияет глубокий провал, в котором громоздятся развороченные груды камней; за ними проступала дальняя небесная голубизна.

Тайга вокруг бывшего Бархатного перевала была начисто разметена, разнесена в щепки. Вся местность лежала голая, в серой пыли, осыпанная камнями и огрызками стволов. И даже по склону сопки, где укрывались Майгула и Кондрат Фролович, у многих деревьев были срезаны вершины.

Но самое удивительное выяснилось на третий день после взрыва. На строительство приехал степенный седоватый старичок, оказавшийся профессором, заведующим сейсмической станцией. Станция отметила землетрясение в этом районе, и профессор приехал выяснять причины. Он долго не мог поверить, что землю по собственной воле потряс Трофим Шутка, а когда поверил, обрадовался, как ребенок.

Профессору подарили мешок кедровых шишек и вместе с Кондратом Фроловичем отправили домой на дрезине. Старики, подружившись, всю дорогу высовывали из окна седые головы и были так похожи друг на друга, что обоих можно было принять и за мужиков, и за профессоров.

КОНСТАНТИН ФЕДИН

ТИШИНА

Зимы проходили одинокие, скудные и молчаливые. Единственная узкая тропа, вмятая глубоко в сугробы, вела от калитки к реке, на деревню. Во дворе сугробы лежали вровень с навесами, и через открытую с осени дверь в кухню надувало снегу.

Александр Антоныч проводил дни и ночи в одной комнате, с маленькими окнами, выходившими на короткий участок сухопарого гнилого осинника. По углам комнаты были рассованы остатки усадебного добра — кучерской армяк, замазанные темным воском улейные рамы, убранная оловяшками шлея, рваный патронташ. По стенам, обитым еловой корою, висели порыжевшие фотографии в рамочках, волчьи лапы, векшины шубки. На полке, вперемежку с изодранными книгами, валялись крылья и хвосты глухарей, тетерок, расстрелянные патроны и целые вороха какого-то заплесневелого пыльного хлама.

Когда Александру Антонычу надоело сидеть на примятой жесткой постели, он лез на чердак. Там он оставался полчаса, иногда — час и приносил с собою охапку старых альбомов, письмовников и книжек. Целыми днями он просиживал над выцветшими строками витиеватых стишков, над рецептами всевозможных лекарств и обходительными письмами неизвестных племянников и внуков. Если иссякало любопытство, стишки и письма сваливались в угол, или на книжную полку, или в печь.

Иногда заходил Тит, бледный белоусый мужик, отряхивался, приседал на краешек кровати и долго молчал, поджав руками живот, точно от боли. Александр Антоныч изредка покашивался на Тита, мирно и привычно ожидая, что он скажет. Тит вставал, подбирался к шлее, колупал оловяшки ногтем, прикидывал на руке, сколько может весить сбруя, и говорил:

— Уступил бы, Антоныч, шлею-то. Зачем тебе?

— Куплю кота, поеду на коте пахать, понадобится...

— На коте!

Тит опять садился, поджимал живот, предлагал:

— Хочешь пуд?

— Мало.

— Большекромый. Ну, пуд да воз дров. Дрова-то нужны поди?

— В лесу дров много.

— То в лесу...

Уходя, уже напялив шапку, в дверях Тит добавлял:

— Ну, хочешь, бабу пришлю в придачу, пусть приберет.

— Мало.

К концу зимы выходил весь хлеб, мужики становились прижимисты, больше все посуляли, звали к себе, кто завтракать, кто вечерять.

Тогда Александр Антоныч подпоясывался веревкой, нахлобучивал картуз, заматывал вокруг поднятого воротника цветной кушак и уходил. За околицей он выдирал хворостину, обламывал ее и ступал на лесную дорогу. Лес принимал его тихо и просто. По плечам и картузу недвижные ели похлопывали тяжелой снежной нависью. С верхушки на верхушку перелетала свинцово-серая векша. Александр Антоныч смотрел за ней, пока она исчезала, потом говорил:

— В гаюшку спряталась, от дрянь...

Шаги его замедлялись, он стягивал потуже пояс, начинал дергаться, словно его давила шуба, озираться и вздыхать. Меж деревьев в легкую порошу был вкраплен путаный след, и Александр Антоныч пригибался, заглядывал под нависи, сходил с дороги и подолгу рассматривал заячьи петли.

Вдруг впереди него сорвался с березы и гулко забил крыльями черныш. Он остановился, вскинул голову, его руки дрогнули, он послушал, как всколыхнулся,

загудел и стих лес, потом внезапно переломил хворостинку об колено, бросил обломки в сторону и повернул назад.

Придя в Архамоны, он зашел в избу Осипа, разделся, сел за стол и на вопрос хозяина, далеко ли ходил, жестко сказал:

— В лес ходил, прогуляться...

Когда повечеряли, Александр Антоныч попросил:

— Дай мне, Осип, меру картошки взаймы.

— Взаймы? Взаймы я тебе, Антоныч, не дам.

— Куплю ведь, расплачусь.

— Кабы ты у меня так попросил, я бы тебе, может, и две отсыпал. А взаймы для тебя нету...

Провожал за ворота Александра Антоныча сам хозяин и был бессловесен и строг. А когда Александр Антоныч растопил у себя печку и, обмотав одеялом ноги, уставился на огонь, в комнату вошла Осипова дочка Таня и звонко, непривычно для этих стен, для старого усадебного хлама, письмовников и альбомов, оттяпала:

— Вам тятенька велел завтра поутру за картошкой приттить. До свиданьица.

И ушла...

По веснам происходили частые переделы, и мужики галдели на сходах, снаряжали ходоков в уезд и привозили землемеров. Но озимь на холмах горела ярко, как до переделов, как всегда, и поднятый пар был по-прежнему густо-коричнев, точно созрела греча. Александр Антоныч вырастал на полголовы, и в походке его появлялось что-то мужичье — упругое и качкое. Он отыскивал в мусоре облезлую палку со стертым наконечником и шел на яровое. Взгляд его со старческой остротой вымерял череду полос, цеплялся за припадавших к бороздам коней, и веки чутко вздрагивали от холодного, дувшего с поднятой земли ветра. Он стоял на холме, один, высокий, худой, обтянутый черной поддевкой, тяжело попирая взмет сапогами и палкой. Далеко в поле он узнавал Осипа, Тита, Максима, Осипову Таню, Лукерью — ладных архамонских мужиков и баб. Потом он медленно шел к пашне, останавливался по очереди у каждого поля, поджидая, пока плуг подойдет к дороге, и перекидываясь тогда двумя-тремя словами с пахарем.

По утрам, просыпаясь и прислушиваясь к тишине, Александр Антоныч знал, что нынче зацветает ярица, или наливается рожь, или колосится усатый ячмень. Он ходил по деревне, от двора к двору, заглядывая в окна и ворота, и, если никто не звал его в избу, шел к лесу. По пути, в полях, встречал он то, что ожидал встретить, вставая с постели: цвела и шелестела белесая ярица, иль наливалась и бухла рожь, или голубели низкие, тонкие льны.

За лесом пастух Агап водил стадо. Александр Антоныч не спеша разыскивал Агапа, спрашивал:

— Что слышно?

— А ни волосня,— отвечал Агап,— на-ка, поешь.

У Агапа испитое, в бороздинках и узелках лицо, путаные с проседью кудри и глаза радостные, быстрые. Глядеть на него, сидя под осиной и пожевывая липкий, тяжелый хлеб, хорошо, и Александр Антоныч часами смотрел, как шныряет между пальцев Агапа кочедык и перевивается послушное лыко.

И в эту пору, летом, пробовал Александр Антоныч уходить.

Шагая по своим дорогам, мимо знакомых полос, тропинкой через луга, глядел он себе под ноги, и тогда в прочных его коленях, в твердом упоре подожка обозначалось упрямство странника. Но как-то нечаянно скоро оставались за спиной знакомые проселки и вдруг буйно-голубая полоса напоминала ему, что, когда цветут льны, хорошо идет в норота рыба, и он поворачивал назад, к Агапу.

Агап большой охотник до рыбы, и нет нужды долго упрашивать его бросить стадо на подпаска. В усадебном дворе он наспех починяет старый сак и волочит его к речонке. В воду он сходит не раздеваясь, в портах, онучах и лаптях. В самом глубоком месте вода доходит ему до пояса и течение надувает рубаху пузырем, точно ветер. Агап несет сак сначала над головой, потом, облюбовав местечко, круто окунает снасть в воду, мотней по течению. Обойдя сеть и став против пял, он принимается выковыривать лаптем курчажины под бережком, ямки и западины под камнями. Потом быстро подсачивает и выбирает из мотни добычу.

— Есть, е-есть! — кричит он переливчатым своим пастушьим голосом и кидает на берег виляющих хвостами серебряных головлей, налимов и плотву.

Александр Антоныч ходит за Агапом по берегу, подбирает и кладет в мешок рыбу и ждет, когда Агап выползет покурить и очистить мотню от ила и водорослей. Тогда Александр Антоныч спрашивает, не надоело ли мужикам кормить его ни за что ни про что и не думают ли они выжить его из Архамонов. Может, ему убраться подобру-поздорову в город или еще куда-нибудь? Поди у мужиков был какой разговор?

— А какой у них может быть разговор? — говорит Агап.— Вреда от тебя нет никакого, делать ты ничего не смыслишь, разве что охотоваться. Да и то теперь порошку нет.

— Ну все-таки должны же они что-нибудь обо мне говорить?

— А что о тебе говорить? Дикий барин, бродит себе и бродит, а уйти ему небось некуда, пускай живет. Вона барыня-то из Рагозного вернулась.

— Верну...— Александр Антоныч привстал и тотчас снова сел, крепко уткнув кулаки в землю.

— Вот он где самый головель держится, вот по рясе, видишь рясы-то сколько? Ну-ка!

И Агап полез в зеленые космы водорослей. Александр Антоныч ни о чем его не расспрашивал и уху хлебал без охоты, молча и хмуро.

Оставшись наедине, он долго и неподвижно, как зимой, сидел среди пыльного хлама своей комнаты, закрыв глаза и пошевеливая отвислыми сухими губами. Заснул он сидя.

А на рассвете пошел к речке, умылся с песком вместо мыла и зашагал в Рагозное.

Он знал, что там встретит. Шесть лет назад собравшиеся с округи крестьяне порешили разделить именье Таисы Родионовны между двумя деревнями. Дележ начался с усадебного дома, и часа через три по его старым комнатам гулял и посвистывал ветер. В доме остались только обои с невыгоревшими темными кругами и полосками на тех местах, где прежде висели картины. В стекле на деревнях была большая нужда, и окна усадебного дома больше не светились на солнце. Что до самой Таисы Родионовны, то мужики, пока занимались дележом, держали ее на замке в риге, а как прибрали в усадьбе все к рукам, выпустили и сказали:

— Ты, Таиса Родионовна, редкая дворянка, и к тому — старая девка. По этому случаю мы постановили

оставить тебя на семена. Ступай с богом куды твоя душа желает...

Александр Антоныч слышал об этом не раз, но он больше тридцати лет не бывал в Рагозном и теперь озирался по сторонам, не узнавая хорошо известных мест. Верстах в трех от усадьбы он прислушался. Непрестанный гул поднимался над холмом, за которым лежало поместье. Был он тяжел и глубоко подмывал всю округу, точно валили где-то густой многолетний дубняк. Пока Александр Антоныч взбирался на холм, гул становился жиже, распадался на внезапные взмахи гомонов, воплей, и вдруг трещащее, надсадное гарканье грачевника вырвалось точно из земли и заклокотало под ногами. Над парком, катившимся по склону, взлетали то в одиночку, то стайками, то целыми тучами черные птицы. Широкие сучковатые верхушки лип, насколько хватало глазу, кишели и переливались исчерна-лиловыми перьями.

Вправо от дороги, лицом к парку, стоял заброшенный дом. Он побурел, крыша его наполовину провалилась, но по-прежнему стройны были колонки и белы антаблементы. Железная труба, торчавшая из оконца пристройки, похожей на сени, попыхивала реденьким дымком. Александр Антоныч пошел на дымок.

Навстречу ему близилась женщина в плисовой кофте, перехваченной у пояса тесемкой. Кофта висела на ее плечах, как мешок, и плечи острыми бугорками подпирали голову. Поравнявшись с нею подле усадебного дома, Александр Антоныч открыл было рот, да так и остался стоять, наклонившись вперед и чуть-чуть занеся одну ногу, чтобы шагнуть.

Из-под напущенного на лоб платка глянули круглые, очень светлые, почти бесцветные глаза, и широко раздвинутые, узкие брови так распахивали взгляд этих глаз, что казалось, только они одни занимали собою все лицо.

— Таиса Родионовна,— тихо сказал Александр Антоныч.

— Да,— ответила она,— Таиса Родионовна.

За грачиным гарканьем не было слышно ее слов, но он так ясно уловил их, как будто они возникли в нем самом. Он наклонился к ее уху:

— Я хотел повидать вас. Можно?

Таиса Родионовна повела рукою к дому:

— Милости прошу.

В комнатке было тесно, неубрано, от кургузой печки пахло непросохшей глиной, и Таиса Родионовна, переставляя жестяной чайник, мызгала по глине болтавшуюся полу своей плисовой кофты. Александр Антоныч был в этой комнатенке громоздок и подбирался, ежился на дырявом венском стуле, в уголке.

Таиса Родионовна, устало рассказывая о своих мытарствах, ни разу не посмотрела на гостя, а гость, словно украдкой, следил за ней, боязливо выжидая, когда круглые бесцветные глаза распахнутся прямо на него.

— Попробовала я города, нечего сказать. Везде хорошо, а дома лучше.

— Как же вы теперь? — спросил Александр Антоныч.

— А как вы? — отозвалась Таиса Родионовна.

Александр Антоныч хотел ответить, но взгляд его наткнулся на порыжевшую фотографию, прибитую к стенке. Портрет был облит светом, солнце — видно — только что подобралось к нему через окно, снимок ожил, черты лица на нем стали отчетливы, крепки, молоды, и Александр Антоныч узнал в них себя. Он остолбенел. Рука его, протянутая к чашке, застыла, лоб и лысина потемнели от прилившей крови, он долго не мог сказать ни слова. Вдруг он поднялся, развел руки и пролепетал:

— Не понимаю! Как я — не понимаю! Не могу понять. Эти шесть лет... Да что шесть лет! Тридцать четыре года.

Он взглянул на Таису Родионовну. Светлые глаза ее сузились, помутнели, затенились упавшими бровями и гневно смотрели на него в упор.

— Кто старое вспомянет...

Голос ее надломился, и погодя она тускло произнесла:

— Как-нибудь проживу. Долго ли теперь? Вот только грачи покою не дают, гаркают с самой зари.

— Паршивая птица, грязная птица, воронья порода,— засуетился Александр Антоныч и стал прощаться...

Путь в Архамоны показался ему коротким, но когда он вошел в деревню, усталость подкосила ему ноги, и он опустился на бревна, накатанные перед избой.

В конце улицы на деревню вползала луна, малиновая, как разрезанный пополам арбуз. В темноте через

дорогу перебегали девки, заслоняя луну, сбиваясь в кучки и сладко повизгивая. Издали докатывался лай проходной частушки, которому подбрехивала басовитая гармонь. Парни приближались медленно, сзывая деревню на игрище:

Архамонская деревня —
Чем она украшена?
Елками, березами,
Девками, карёзами.

Сошлись у гладких, объерзанных кряжей, лежавших на улице, ребята — табунками, вразбивку, девки — стеной.

Поодиночке, вразвалочку подходили к Александру Антонычу, словно обнюхивали его, успокаивались: свой.

Девки сразу, без сговора, затянули песню. Пронзающие голоса их закружились над головами и метелью понеслись вдоль улицы. Но сами они стояли неподвижно, степенно, плечом к плечу, словно на запоинах в тесной горнице. Парни посасывали табачок, слушали. Когда девки смолкли, они грохнули гармонью. От ее бреха все кругом закачалось, избы пошли ходуном, и девичий выводок взволновался: то одна, то другая девка отделялась от подружек, выступала вперед. Вдруг с бревен соскочил паренек-коротышка, схватил подвернувшуюся девку за руку, поволок на круг перед ребятами, скоморошничая и смеясь. Визги заглушили гармонь, выводок опять скучился, ребята принялись на него наседать.

Луна поднялась на цыпочки, глянула на деревню сверху, побледнела, вытянулась. В свете ее Александр Антоныч видел мелькание темных беспокойных рук, круглых спин и бедер. Все чаще высокие парни заслоняли собою девок, гармонь, поперхнувшись на писклявых нотках, замолкла и тотчас ринулась в многоголосую польку.

— Тусте! — крикнул кто-то из ребят.

Бросились по сторонам, стали под углом — девки опять выводком, кучкой, парни врассыпную. Максим-красноармеец, привезший из города «тусте», вывел за руку Таню Осипову, обнял ее и повел. Таня танцевала в лапотках, в коротком, по колена, зипунке. Платок на ней был подобран за ворот, и голова ее казалась ма-

ленькой. Зипунок был сшит в талию, туго стягивал грудь и чуть-чуть раздувался на поворотах, показывая подолы сарафана и передника. Пока Максим вел ее по прямой, она хоронила от него свое лицо, креня голову на дальнее от кавалера плечо. При поворотах она сразу запрокидывала и оборачивала голову к Максиму, тот по-городски косил на нее глазом, и они неслышно и складно бежали опять по прямой назад. Танец весь и состоял в легком беге взад-вперед, но Таня была гибка и мягка, как молодой кленок, и всякий шаг ее был танцем, каждое движение подчинено кавалеру, и подчиненность эта была простой и чистой.

Танины подружки и парни стихли. Мальчишки, озорничавшие и шнырявшие между ног, разиня рты, стояли неподвижно. Гармонь приглохла, нет-нет шумно вздыхая, точно задремавшая телушка.

Александр Антоныч, приподнявшись на руках, следил за Таней. Она была похожа на девочку, и стройность ее тела, колыхание одежды круг подгибавшихся колен казались неуловимыми, почти навьими в лунном блеске. И правда, не на́вий ли кружился перед глазами Александра Антоныча? Не Аксюша ли поднялась из земли, чтобы напомнить, как много лет назад закружила она молодого архамонского барина?

Был он тогда женихом и, дожидаясь свадьбы, что ни день катал в Рагозное любоваться на Таису Родионовну. И вот так же, как теперь, вернувшись под вечер в Архамоны, натолкнулся на игрище. По широкому кругу, в лад песне и присвистам, ускользала от лихого плясуна Аксюша, словно над землей перебирая босыми ногами. Александр Антоныч примчался из Рагозного на взмыленном коне, спешился едва не на полном ходу и сам весь дрожал от скачки и вечернего холодка, будто конь. Так, не переведя духа, и впился в плясунью. Потом все ходил поодаль игрища, пощелкивая кнутом по голенищам. Той же ночью Аксюша встретила зарю в усадьбе. Александр Антоныч стал наезжать в Рагозное реже и подолгу с Таисой Родионовной не засиживался — приспела уборка сена, в городе объявились хлопоты.

Как-то поутру он прохаживался у себя в гостиной, в смуглой тени опущенных занавесей. Нежданно позади него распахнулась дверь, и веселый хохот ворвался в комнату. Александр Антоныч схватился за

грудь, стараясь застегнуть рубашку, но пальцы не слушались, и весь он словно потерял над собою власть — ноги его выделывали какую-то пляску, голова пряталась в ворот, подбородок трясся, он то приглаживал спутанные волосы, то опять принимался за пуговицы.

— Тая, Таечка,— бормотал он.

Таиса Родионовна хохотала:

— Господи, сонуля, какой сону-уля!

— Вот сюда, прошу тебя, Тая, вот в эту дверь, пока я оденусь, вот в эту...

Но тут открылась другая дверь, и прямо против Таисы Родионовны остановилась Аксюша. Смех оборвался. На лице Таисы Родионовны несколько секунд еще оставалась улыбка, потом оно искривилось, точно в судороге, голова и грудь подались вперед, к Аксюше, и окоченело напряглись. Аксюша стояла простоволосая, с голыми, сильными руками, босиком. Сначала взор ее был прост и растерян, потом она повела чуть приметно губами и оглядела Таису Родионовну с ног до головы. Следом за тем она вдруг качнулась, поведя круто широкими бедрами раз, другой, колыхнув рубашку и сделав два маленьких шага. Улыбка ее расплылась по всему лицу, и она перекинула волосы с груди на спину каким-то озорным движеньем головы. Тогда Таиса Родионовна с силой оторвала от нее свой взгляд, подошла быстро к Александру Антонычу, неловко, отрывисто ударила его по темени и бросилась вон. Пока все это продолжалось, она ни разу не взглянула на Александра Антоныча, словно его и не было в комнате, а все только вытягивалась навстречу Аксюше так, что стала страшной, побагровев от напряженья. И, кинувшись к выходу, она тоже не взглянула на него, а ударила его будто вскользь, по пути, и, может быть, поэтому удар вышел неловкий, по голове, не по лицу. Александр Антоныч принял удар не шелохнувшись, бледный, с открытым ртом.

Как только Таиса Родионовна скрылась, он ринулся на Аксюшу, подняв кулаки, но не тронул ее и побежал из комнаты с хриплым стоном:

— Тая, Тая!

На крыльце, сквозь шелест листвы и кустов, он расслышал удалявшийся лошадиный топот...

Через неделю он поехал в Рагозное и получил ответ в передней комнате:

— Барышня приказали сказать, чтобы вы больше приезжать не трудились.

Он выждал еще месяц и поехал снова. Но Таиса Родионовна, оказалось, где-то гостила. Почти год спустя он отправил ей письмо. Оно пришло назад, нераскрытым, с его же нарочным...

Это утро в усадьбе никогда не вставало в памяти Александра Антоныча с такой отчетливостью, как теперь. Он тяжело поднялся с бревен и пошел к реке.

На кругу, после танца Тани, завозились мальчуганы, подняв пыль и расталкивая взрослых. У спуска к броду, из-за угла прилегшего набок сарая, вышмыгнул девичий табунок, прыснул смехом, притих. Несогласные, визгливые голоса догнали Александра Антоныча у самого настила:

Чей-то домик,
Шитое крылечко.
Там мое колечко
И мой платочек.

Он снял сапоги и вошел в воду. Речка была по-осеннему прозрачна, мелкие камни настила блестели, как жестяные стружки, крутизна берегового обвала в сторону от брода была черной. Лунный свет захолодил собою усадебные ели, и они стояли помертвелые, недвижные, словно огромные комнатные растения.

Александр Антоныч, необутый, шел по светлой дороге за своей тенью, катившейся перед ним прямым темным столбом. Был он безучастен к земле, по которой ступал, и тишина, простертая над ней, казалась ему беззвучной и холодной, как лунный свет. Добравшись до своей берлоги, он упал на постель, но тотчас встал, завесил окна одеялом и армяком, и только тогда, в густой, плотной темноте, улегся снова. Где-то поблизости усадьбы укала ночная птица, и плач ее был единственным звуком, перекликавшимся этой ночью с грузными всхлипами Александра Антоныча. Он лежал пластом, глубоко вдавив собою постилку, как поваленное дерево — перегной. В конуре, откуда никакие вопли не достигли бы живой души, наедине с покрытым пылью хламом, он давился слезами, зарывая лицо в тряпье, точно на него из каждой щелки смотрели чужие глаза...

Наутро он разыскал Агапа, созывавшего теплых, дымившихся паром коров в пестрое стадо. На просьбу Александра Антоныча Агап отсыпал ему в карман со-

ли, отломил кусок пирога, дал напиться пахтанья. Когда Александр Антоныч кивнул ему головой и зашагал прочь, он дернулся следом за ним, взмахнул нелепо руками и дрогнувшим голосом крикнул:

— Антоныч!.. ты этово... вертайся, Антоныч... случае чего!..

Потом, забыв про стадо, смотрел на спину Александра Антоныча, мерно горбившуюся с каждым шагом, мелькавшую в кустах молодняка, пока она не исчезла...

У холма, скрывавшего Рагозное, когда на полях начали попадаться стайки черных птиц, Александр Антоныч свернул с дороги и пошел наискось по озимому клину. Грачи вытягивали шеи, раздумчиво чистили лапками клювы, один за другим подымались и лениво перелетали на новое место. Оттуда они провожали пришельца выпяченными бусинками глаз, холодных и блестких, как стекляшки. Потом укладывали поудобнее на спине крылья и раздраженно втыкали стертые до белизны клювы в землю.

Александр Антоныч зашел в парк с дальней от усадьбы стороны, глухой, обросшей кустами, забитой валежником и лиственной прелью. Кое-где лежали пышные, чуть увядшие макушки молодых дубков да протянулись тяжелые лесины, которые нельзя было отсюда вывезти, не повалив кругом все деревья. С мощных липовых сучьев свисали бесчисленные сухие ветки, выпавшие из гнезд и застрявшие в густой листве. Гнезда кучились округ стволов черными лоханями, заслоняя редкие просветы неба. То на одной, то на другой верхушке показывалось распущенное крыло, ударяло по воздуху, пряталось за ветвями. Птицы улетели на поля, но отдельные стайки гомонились в грачевнике, и немолчный, крикливый гвалт заглушал обычные шорохи парка. Здесь не было никакой жизни, кроме жизни овладевших парком птиц, и казалось, самые деревья не росли и цветы не пахли. По земле червивыми грибами-поганками стлался помет, и сырая трава под ним бурела и никла, как при дороге. Листва рябила пестрыми пятнами, точно источенная личинкой, каждый сучок был засижен, как насест, и мрачный, торжественный строгий парк показался Александру Антонычу громадным заброшенным курятником.

Он вернулся к озимям, вытащил из разрушенной сгороды длинную легкую жердь и снова зашел в парк. Пирог, который ему дал Агап, он завернул в поддевку и положил у сваленной лесины. Выбрав дерево, густо заселенное птицей и раскинувшее широко нижние свои сучья, Александр Антоныч принялся за работу.

Жердь хватала невысоко, но с нижних веток легко можно было снять все гнезда. Они нанизывались на заостренный конец жерди и скатывались по ней, осыпая с головы до ног сором, прутьями, перьями, листом. Черным туманом повис в воздухе пух, колыхаясь с каждым взмахом жерди. Работа спорилась сначала, и скоро нижние ветви липы были очищены от гнезд. Но, обнажившись, эти ветви открыли доступ к верхним, загнезденным глуше и прочнее. Потревоженные грачи закружились стайками над макушей липы, подняв всполох на весь грачевник. Птиц-домоседок оказалось больше, чем думал Александр Антоныч. Они все ниже и ниже залепляли собою деревья, со всех сторон обступая разоренную липу, надседаясь до свиста и визгливого крика.

Александр Антоныч взобрался на очищенный нижний сук, упрочился поудобней и принялся с ожесточением сшибать верхние гнезда. Но удары жерди ослабевали, не нанося никакого вреда гнездам, промах следовал за промахом, жердь точно налилась чугуном, стала неуклюжей и внезапно вырвалась из рук. Тогда Александр Антоныч спустился наземь. Отдохнув, он поднял голову. Верхние ветви были по-прежнему густо уснащены гнездами и кишели теперь опустившимися на разор птицами. Тогда Александр Антоныч решил разрушать одни нижние гнезда, которые можно было достать с земли. И он пошел неумолимо мерно в глубь парка, сбивая, разворачивая, растрясая на пути птичьи гаюшки с такой злобой, словно одолеть грачевник было целью всей его жизни, и отдыхая только тогда, когда против воли опускались руки.

Птицы догаркали о своем бедствии до самых дальних полей, и со всех концов к парку неслись стремительные черные снизки. Широким темным валом, охватившим Рагозное, с воплем, в котором утопала окрестность, грузно кружила грачиная стая. От нее отрывались стайки, падая плитами на угнезденные, живые от птичьей суеты верхушки лип и дубов, а в это вре-

мя нестройные кучки птиц взвивались над парком, догоняя рокотавший в небе черный вал.

Когда, измученный, грязный, с исцарапанными руками, Александр Антоныч прошел вдоль всего участка и перед ним открылась усадьба, он увидел Таису Родионовну. Она шла из деревни той дорогой, на которой он встретил ее днем раньше, и ему почудилось, что она заторопилась к дому. Он сжал в руках жердь и двинулся назад, в парк, круша на пути ветви и сучья с уцелевшими гнездами. Временами колени его подкашивались, он опускался, сидел с вытаращенными глазами, потный, растерзанный, и оголтелые птицы метались над ним, почти шаркая острыми крыльями по его голове. Потом он опять вставал и опять набрасывался на деревья. Дойдя до кряжа, под которым был спрятан завтрак, он бросил жердь, накинул на плечи поддевку и пошел прочь от парка. Миновав озими, подле кустов, закудрявивших старые пни, Александр Антоныч разостлал поддевку, присел и взялся за пирог. Но вдруг пошатнулся, упал ничком и заснул. Сквозь розоватый сумрак катился к нему глухой гомон опустившихся на гнезда грачей...

На рассвете другого дня Таиса Родионовна выглянула через оконце в парк. Птицы воронками взвились над липами, и гарканье их было еще тревожней чем с вечера. К полудню небо затянуло пепельными тучами, зябкими, почти осенними, и ветер пригнул потемневшие макушки к восходу. Громадная стая, без устали кружившая в воздухе, точно по ухабам взобралась ввысь, замерла там, растворенная хмурой серизною туч, и сплошным пластом упала на деревья. И следом за птицами посыпались на землю быстрые капли дождя, завивая дорожные колеи прозрачными колечками пыли. Тогда Таиса Родионовна укуталась платком и пошла в парк. Шаги ее были торопливы и сильны, как сильна и взволнованна была уверенность, что Александр Антоныч — в парке. Грачевник смолк, дождь тарахтел по верхушкам и гнездам, как по соломенной кровле, влажный полумрак пробирался гущиною стволов, с озимей тянуло пряным укропным запахом. Таиса Родионовна позвала:

— Александр Антоныч!..

Над головой загоношились грачи. Она крикнула сильней:

— О-о!

Мерный шум дождя нерушимо катился дальше. Она дошла до конца старых дорожек, то останавливаясь, то бросаясь в сторону, высматривая, ожидая, ища. Парк был привычно пуст, и только под ногами топорщились растрепанные лохани сбитых гнезд.

Она вернулась домой медленно, устало, с затаенной тупою тоской. И по тому, что небо по-летнему скоро разметало тучи, и зелень засветилась несметными солнцами, и опять загаркали грачи, ей показалось, что настал и прошел еще целый день, такой же медленный, усталый, такой же тоскливый, как все ее дни.

Александр Антоныч появился в Рагозном спустя сутки. В Архамонах он поискал пороху, сходил в соседние деревни поспрошать охотников, но кругом сидели без припасов, давно бросили чистить дробовики и только покрякивали, то глядя, как бекасы топчут на болотах грязь, то слушая по утрам клохтанье тетерок. О стрельбе нечего было и думать. Он выбрал загодя новую жердь и взялся за дело без раздумья, как плотник берется тесать доску. Он забирался на поваленные стволы, карабкался по сучьям, тряс, раскачивал, тормошил ветви и, свалив, рассыпав одно гнездо, без передышки набрасывался на другое.

Сквозь расчищенные просветы застенчиво падали на землю теплые вздрагивающие пятна солнца, но они были редки, а плотная заслона гнезд на вершинах деревьев лежала нетронутой и черной. Александр Антоныч попробовал растеребить ее камнями. Он набрал на меже кругляшей, захватил их в полу поддевки, как баба — картошку, ссыпал под дерево в кучу. Метил подолгу, неторопливо, выбрав гнездо, плохо подпертое развилкой ветви, и камень бросал четким, отрывистым движением. Но высокие гнезда вяло раскачивались под ударами, роняли несколько прутиков и по-прежнему цепко держались за ветви.

Александр Антоныч прислонился к дереву. Руки его не разгибались в локтях и торчали сухими корягами, отекшие, изорванные. Он сгорбился, осел и сполз по стволу на землю, словно из него вынули весь костяк.

Неожиданно он заметил, как из кольца птиц, обступивших его со всех сторон, выпорхнул ширококрылый грач и бесстрашно, плавно опустился над его головой. Нахохленная, встрепанная птица с разинутым клювом уставилась выпяченным глазом в упор на Алек-

сандра Антоныча. Ему показалось, что птица была густо-лилова, с каким-то огненным отливом, и в разинутом клюве ее дымился острый язык. Он закусил губу, медленно поднял с земли кругляш, тихо занес его над головой и бросил. Грач вскинулся в воздух, царапнул когтями по стволу, трепеща скатился наземь, распустил крылья и прилег. Александр Антоныч оторвался от дерева, подбежал к птице. Но она рванулась из-под рук, забила одним крылом в воздухе и, волоча другое по земле, скачками, взмахами, натыкаясь на стволы, понеслась вперед.

Александр Антоныч слышал, как за спиной вздрогнул парк от истошного птичьего вопля, как этот вопль наседал на него сзади, разрастался в бурю, ломил и мял на своем пути кусты, сучья, валежник. Он чувствовал, что стая преследует его по пятам, видел, как обгоняли его отдельные птицы, кружась и припадая к подбитому грачу. Но он безоглядно несся за трепыхавшей, бившей крылом птицей, перескакивал через лесины, разминался с деревьями, ломал и гнул встречные ветки. И вот он прихлопнул грача тяжелой дрожавшей рукою, поднял его, с размаху ударил о дерево, обернулся круто и, шагнув встречу стаи, швырнул в ее гущу размягшим, теплым трупом. Птицы шарахнулись на деревья.

А он остановился, растопырив сжатые в кулаки руки, исступленный и перекошенный, в окруженье покойных, прямых стволов.

Вдруг сзади на его плечо опустилось что-то тяжелое. Он отскочил. Против него стояла Таиса Родионовна. Глаза ее были ясны, и ровно, неторопливо она подозвала его поднятой рукою. Он качнулся как пьяный. Она тихо взяла его за руку и повела из парка...

Сидя у стола, в тесной прибранной каморке, Александр Антоныч исподлобья следил за хозяйкой и виновато поджимал губы, когда она поворачивалась к нему лицом. Пальцы его, растянутые на коленях, подергивались, как у больного.

Кончив хлопоты, Таиса Родионовна живо спросила:

— Ну, отошли немножко?

Не ослышался ли он? Может быть, ему почудилось, что в ее голосе мелькнула нежность? Он робко потянулся к ней. Радостное, покойное тепло заструилось из ее распахнутых глаз.

— Что вам пришло на ум мучить себя?

— Таиса Родионовна, они вам покою не дают, они...

— Да вам-то что?

— Таиса Родионовна...

— Ну, что, добрый вы чудак, что?..

— Вы не знаете... вся моя жизнь, вся жизнь... вы...

— Ш-ш-ш! Будет вам! Надо ужинать и спать. Вот возьмите...

И он послушно брал все, что она подавала. И когда после ужина она повела его в пустынную комнату с разбитым окном и указала постланную в углу старую кровать, Александр Антоныч схватил ее руку и, задыхаясь, несколько раз прошептал:

— Простили, боже мой, простили? простили?

Она осторожно высвободила руку и, уходя, внятно и добро сказала:

— Покойной ночи...

Первый момент пробужденья Александр Антоныч пережил так, как будто проснулся у себя, в Архамонах, среди знакомого до соринки хлама. Чуть доносились пересвисты птиц, листва шумела далеким прибоем. Но память быстро развернула последний день в Рагозном, и он очнулся.

По выцветшей стене протянулась оранжевая, еще холодная полоса солнца. Александр Антоныч вскочил и выбежал на крыльцо. Утро плыло, розовое, парное. Бронзовые полосы на холме волновались медленно и сонно. С клевера несло свежим холодком росы.

Парк высился безмолвной глухой стеной: грачи покинули свое гнездовье. Тишина невидным покрывалом колебалась над округой.

Александр Антоныч потянулся, кости его хрустнули сильно и молодо, он громко вздохнул.

— Перемены, что ль, ждешь, грача-то прогнал? — услышал он раскатистый оклик.

По дороге в поле, следом за плугом, вставленным в салазки, шел крестьянин. Он кивнул головой и лукаво прищурился.

— На яровое, что ли? — крикнул Александр Антоныч.

— На картошку!

— Погоди, я тоже пойду!

Он забежал в комнату, натянул сапоги, захватил поддевку, спрыгнул с крыльца и, догнав мужика, пошел с ним рядом.

СЕМЕН ПОДЪЯЧЕВ

НОВЫЕ ПОЛСАПОЖКИ

1

Задолго еще до праздника, когда только что подуло теплом и начало помаленьку таять, жена Ивана Захарыча стала приставать к нему насчет полсапожек.

— Девке четырнадцатый год пошел,— говорила она,— скоро замуж выдавать думать надо, праздник великий на дворе, а она босиком ходит. Обуться не во что. Иди в город, купи тама ей хоть какие-нибудь подержанные. Сам посуди: праздник, все радуются, гулять пойдут на улицу, а она дома сиди.

— Ладно,— всякий раз давал ей на ее слова согласие Иван Захарыч,— куплю. Готовь лимонов, а купить дело не хитрое: пошел да купил — всего и дела. Лимонов, говорю, готовь, а за мной дело не встанет — куплю. Только вот где взять-то их? Родить ежели,— не могу: канплекция не та. Может, ты не родишь ли, а?

— А уж ты дурака-то не валяй! Не молоденькой небось! Тятя детям. Тебе, дураку, во всем смешки. Добыть надо. Достать.

— Укажи, откеда достать-то, я достану.

В таких разговорах дело дотянулось до страстной, и накануне четверга, когда в городе обыкновенно был рынок, жена пристала «без короткого» к Ивану Захарычу, чтобы он рано утром шел в город и покупал бы там дочери, тринадцатилетней девочке Феньке, полсапожки. Лимонами они к этому времени сколотились.

В четверг утром она разбудила его чем свет, «до петухов», когда только что еще чуть-чуть начало белеть в окнах.

Спавший по-привычке на печке, несмотря на страшную духоту и теплынь в вросшей в землю небольшой восьмиаршииной избенке, Иван Захарыч неохотя, с ворчанием спустился оттуда и в полупотемках, осторожно шагая через спавших вповалку на полу ребятишек, прошел к столу в передний угол.

— Зажгла бы ты покеда лампочку, что ли,— сказал он,— не видать ни фига. Эк тебе не спится! Ранину эдакую подняла. Не успею, что ли?

— Когда мне спать-то? — ответила ему на это худенькая, маленького роста, востроносая жена его.— Спать-то некогда. Бегаю все в хлев, гляжу: не дал ли бог коровку? Не отелилась ли? Жду с часу на час.

— Другая неделя пошла, ты все ждешь,— сказал Иван Захарыч.— Ничего-то вы, бабы-дуры, не понимаете...

— Ты много понимаешь! Молчи уж! Нонче жду. Беспременно должна быть. Все вымя, как распорками, расперло у ней.

— Дай бог,— сказал Иван Захарыч,— не худое бы дело для праздника.

— Ежели, бог даст, телочку принесет, на племя пустим, а бычка попоим недельки две да продадим. Каки деньги охватим! — сказала жена, заранее радуясь будущему бычку или телке.— Только бы благополучно растелилась. Нонче, говорят, поветрие, что ли, такое, все с баранцами, все неблагополучно.

Иван Захарыч промолчал и начал обуваться. Пока он копался с сапогами, натягивая их на грязные портянки, пока ходил на мост за дверь умываться,— в избенке делалось светлее. Свет как-то, точно боясь чего или стыдясь того, что он осветит, робко и медленно вливался через маленькое оконце в избу.

На полу, на разостланной соломе, прикрывшись сверху какими-то дерюжками, спали ребятишки Ивана Захарыча — три мальчика и девочка, та самая Фенька, для которой он шел сегодня в город за полсапожками. Фенька эта спала с краю, ближе к двери, и, проснувшись, молча лежала, слушая, о чем говорят тятька с мамкой. Когда Иван Захарыч совсем собрался в поход, она приподнялась и робко сказала:

— Тять, ты мне на высоких каблуках, смотри, выбирай! Таки, как у Машки Звонцевой.

— Рожна тебе! «На высоких каблуках». Спи! — сказал ей на это Иван Захарыч.— «На высоких каблуках»,— передразнил он ее.— Давай денег — на высоких куплю. Баловство одно. Спроси вон у матери, она росла, в твои годы, спроси, что носила?

— Ну, мало что прежде было! — отозвалась жена.— Теперь по-другому пошло. Люди не те. Да и что ж, самделе, не разумши же девке ходить.

— Пойдешь и разумши,— сказал Иван Захарыч и добавил: — От чужого добра не стыдно и заплакамши пойти. Ну, я готов. Как погода-то? Не подстыло? Эх, да и ходьба-то теперь горевая! Так вот уж только мать баловница пристала, а то бы ни в жись не пошел.

— Ладно уж, ладно, а ты иди знай! Будешь теперь собираться пять часов. Не дождешься тебя. Деньги-то взял? На хлеба. Смотри, мешочек не потеряй, назад принеси. Приходи скорей. Делать тебе там нечего — купил да назад.

— По эдакой дороге не много наскачешь,— ответил Иван Захарыч, надевая картуз и беря мешочек с хлебом.— Дожидайтесь. Приду ужо — самовар готов бы был. Лошади-то не забудь дать. Немного сена давай. Поаккуратней. Не вали зря-то! Сена-то всего ничего остается, а весна-то вон она нонче какая, не то, что летось: об эту пору пахать выехали.

— Иди, иди! Ладно уж! Диви я не знаю.

Иван Захарыч поправил на голове картуз и, сказав: «Ну, покеда всего хорошего»,— вышел из избы.

Жена нагнулась к окну и посмотрела, как он сошел с крыльца и, выйдя под окнами на дорогу, направился по ней к видневшемуся вдали лесу.

— Пошел,— сказала она.— Ну, дай бог в час! Фенька, не спишь?

— Нет, мамынька, не сплю. Я уж давно не сплю, слушаю! — отозвалась с полу дочь каким-то возбужденным, радостным голосом.— Не сплю.

— Рада небось? — спросила мать тоже веселым голосом.

— Страсть! А купит?

— Ну, вот! Знамо, купит. За этим и пошел. Нешто ему жалко? Он из последнего рад. Бедность вот только нас одолела. Ну, да авось поправимся. Теперь усе уж не то, что допрежь было. Забыла, как по миру-то ходила?

— Помню, мамынька, где забыть!

— А теперь, слава богу, не ходим. Другим подаем. Корова отелится, нонче жду, молоко будет. Хлебушка еще покеда есть. Картошка. Живы будем. Полсапожки у тебя будут.

— Я их в праздник надену!

— Знамо, наденешь,— и, отвечая, очевидно, на свои мысли, продолжала: — Мы-то что живем — в тепле, в сухоте, как-никак сыты, а вот люди-то живут. Отец вон говорил про голодающих, в ведомостях читали намедни,— мертвых едят. Вот где горе-то! Да в эдакой-то, не дай бог, праздник. Подумать, дочка, только! А мы здесь что видим? Н-да! Так-то вот! А ты вставай-ка! Все равно уж теперь не уснешь. Иди-ка убирай скотину, а я печку затоплю, за водой сбегаю. Вставай, матушка, привыкай!

— Эх, принесет ужо тятя полсапожки на высоких каблуках, надену... Эх! — сбросив с себя дерюжинку и вскочив на ноги, радуясь, воскликнула Фенька.— Хорошо-то как, мамынька, весело!

— То-то, дура,— ответила, улыбаясь, мать.— А ты отца благодари. Хороший он у нас, простой. Ну, одевайся, иди, а я затоплю печку, сварю картошки. Поедим да убираться к празднику в избе будем.

II

Иван Захарыч выйдя из избы, отправился по дороге через поле, почти уже совсем оголившееся от снега, над которым, радуясь разгоравшейся зорьке, трепеща крылышками, пели как-то особенно радостно, точно звонили в серебряные колокольчики, жаворонки.

Деревня, где жил Иван Захарыч, стояла в глухом месте, и от большой дороги далеко, и от станции далеко, и от города, куда он шел, тоже не близко. Деревня была небольшая, всего двенадцать дворов. Езды к ней и из нее было мало, разве только свои мужики проедут. Дорога до леса, где он шел, местами еще была покрыта ледком, и идти приходилось то через лужи, то по льду, то по грязи. Не доходя до лесу, дорога заворачивала влево, около болота, покрытого водой. Около берегов этого болота летали с каким-то особенным, похожим на плач, криком чибисы.

В лесу еще там и сям лежал снег, и от него поднимался какой-то особенный, пахучий туман. Лес уже жил новой, весенней жизнью. В него уже налетели пернатые гости, наполняя и пробуждая его от зимней спячки своими разнохарактерными голосами. Деревья — то высокие, могучие и прямые, как свечи, ели, гордо возносящие свои зеленые кроны к голубому весеннему небу, то развесистые березы, то толстые корявые осины — стояли тихо и как-то задумчиво-величаво, точно какое могучее, знающее свою силу войско.

Иван Захарыч выломал себе палку и, помахивая ею, шел не торопясь через этот лес. Когда он миновал его и опять вышел в поле, солнце уже взошло и било ему прямо в лицо. Здесь, где он шел теперь, дорога была лучше, и идти было весело. По сторонам бежали ручейки, и рокочущие струйки воды блистали, переливаясь на солнышке, как серебряные. Где-то за полем, на опушке мелкорослого осинника, слышно было, как токовали тетерева и кричали, перелетая с места на место, белоносые грачи.

До города считалось верст семнадцать. Расстояние это, несмотря на плохую дорогу, Иван Захарыч прошел как-то незаметно. Человек он был нрава веселого, по-своему любил природу, радовался и весеннему дню, и яркому солнышку, и пению птиц, и открывшимся из-под снежного покрова озимым, покрытым еще зимней плесенью, как паутиной. Шел он, думал свои думы и улыбался про себя, представляя картину, как купит своей дочке полсапожки, принесет их ужо домой, как она их примеряет, как будет рада и как ему самому, видя ее радость, тоже будет радостно. Несколько раз он принимался петь тоненьким голосом любимую свою песню: «Когда я был слободный мальчик»,— но пение как-то не выходило, он бросал и, присев, где посуше, доставал кисет, зажигал «динаму», закуривал и сидел несколько минут, отдыхая и греясь на солнышке.

Версты за три до города он догнал знакомого нищего Маркелыча, который тоже зачем-то шел в город, и остальную дорогу вплоть до города шел вместе с ним. Маркелыч шел в грязных, растоптанных лаптях, с сумочкой за спиной и, после того как поздоровался с Иваном Захарычем, видимо обрадовавшись ему,

принялся жаловаться на свою жизнь и ругать Советскую власть. С его слов выходило, что виноват не он сам, Маркелыч, не умевший устроить свою жизнь, а виноваты «энти-то вот, дьяволы-то, которые все по-своему-то сделали».

— Допрежь,— говорил он, спотыкаясь на ходу, поспешая за Иваном Захарычем, шлепая лаптями по грязи,— бывало, к празднику-то Христову все у меня было. Подавали-то нешто так? Бывало, отворотят тебе ломоть-то во какой — фунта три, а нонче погодишь. Не дают. Боятся. Другой и дал бы, да боится, напугали: «А-а-а, скажут, у него, знать, хлеба много. Отобрать!» Придут да отымут — всего и дела. Безобразие пошло во всем. Разбежалось стадо без пастуха. Некому загонять. Загулял пастух. Сам ты посуди, Иван Захарыч, нешто без царя мысленно?

— Н-да,— соглашался Иван Захарыч,— пастух нужен, да только не для всех, а для овец круговых. Это ты верно сказал. Ну, а я про себя скажу, мне все едино — есть царь, нет ли, я, нечего бога гневить, худого не видал от нынешней власти. Я, прямо надо говорить лучше живу, ничем прежде жил. Ей-богу, не вру!

— А чем лучше-то?! — как будто даже обидевшись, воскликнул Маркелыч.— Нашел чего хвалить! Говорить-то об них нехорошо, не токмо что. Слышал, нонче вот, говорят, из собора обирать будут украшения.

— Нет, не слыхал.

— Ну вот, а толкуешь. Вот до чего дело дошло: храмы грабить. Золото, серебро, каменья драгоценные давай, значит, им, а они ишь продадут их да хлеба голодающим купят. Вот ведь что удумали, а?! Что скажешь насчет этого?

— Да что скажу: ежели по себе судить, как я голодал, бывало... Жена брюхата ходила, тяжелая, мы все дома сидим, а она побежит, бывало — да зимнее-то время, холодище, вьюга — по миру. Ждем, ждем ее! Придет к вечеру пустая. Взвоет, бряхнется, а ребятишки — на нее глядя, а я сижу, молчу. Так вот, думается, в те поры не токмо что украшенье с иконы украсть да продать, а самое бы икону-то продал на хлеб. Ей-богу, и греха нет. Так и здеся. Ежели точно взято да на хлеб голодным — хорошее дело. Я тоже за это стою.

— Чудак человек! — воскликнул Маркелыч.— Да нешто голодным-то попадет?! Гы, го-о-лодным! Ничего им не попадет — все сами слопают. Жидовская штука, дураку, кажись, и тому понятно.

— Болтай ногами-то! — перебил его Иван Захарыч.— Нельзя этого сказать. Не верю я. Врут, кому надо, а по-моему, опять скажу, хошь ты сердись, хошь не сердись, хорошее дело.

— Ты что же,— пройдя немного молча, спросил Маркелыч,— комуния тоже, что ли, а? Больно за них стоишь-то!

— Комуния не комуния а по правде надо делать, помогать друг дружке. Я вот, недалеко ходить, про себя скажу, про наших православных хрисьян. У меня вот изба падает, а лесу мне отвели, дали, привезти его на место надо теперь. И недалеко перевозить-то, а что я один сделаю? Думаю: дай попрошу помочь православных! Попросил: так, мол, и так, православные, давайте всей деревней перевезем. По разу, по два всего и съездить придется. Так что же думаешь, поехали? Ни один не поехал. У того лошадь отощала, у этого — подсанков нет. Так и не поехали. А что, кажись, мирским бы делом, плюнуть всего! Вот в чем, друг, дело-то. А кабы мы все-то объединились, у нас бы дело-то скорей бы пошло, а одному-то — пословица говорит — и у каши не споро.

— Всяк о себе должен прежде всего думать,— упрямо сказал Маркелыч,— а это что за человек, коли своя крыша упала, а он чужую кроет? Грош ему цена.

— Да ты вот весь век по миру ходишь, а все у тебя ничего нет, у одного-то,— сказал Иван Захарыч.— Ешь мирской хлеб, а сам ничего никому не даешь.

Маркелыч обиделся.

— Я — убогий человек,— сказал он.— С меня взять нечего. Я — нищий.

— Какой ты убогий! Набаловался ты, не в обиду будь тебе сказано, работать не любишь, вот тебе поэтому большевики-то, комуния-то, и не по вкусу. Какникак, а они всех, брат, работать приучили.

— Работа дураков любит! — ответил на это Маркелыч и больше до самого города не стал говорить с Иваном Захарычем, как тот ни старался навести его на это.

III

В городе они расстались. Маркелыч побежал к собору узнать, что там делается, а Иван Захарыч по старой привычке, прежде чем идти на рынок, направился в трактир. Трактир был около рынка, переполненного уже народом. Двери трактира не успевали затворяться, и Иван Захарыч, войдя в этот трактир, долго не мог найти места. Наконец ему собрали, но не одному, а вместе с какими-то двумя бабенками. Сидя за чаем, он разговорился с этими бабенками. Рассказал, кто, и откуда, и зачем пришел. Бабенки, выслушав его, дали ему совет, где и у кого покупать полсапожки.

— Ты гляди, родной,— говорили они,— кимряки туда привозят. Смотри, у них не вздумай взять. Наградят таким товаром — бросишь.

— А я почем знаю: кимряки ли, нет ли,— сказал Иван Захарыч.— Кто их разберет, на лбу не написано.

Бабенки охотно, точно это было ихнее собственное дело и забота, научили его, где и у кого купить.

— Подороже дашь, да зато благодарить будешь.

Иван Захарыч послушал их и, напившись чаю, пошел покупать. Сверх всякого чаяния, он очень скоро нашел и сторговал полсапожки такие именно, как надо, как просила Фенька, на высоких каблуках. Обрадовавшись покупке, он, довольный и веселый, пошел пошляться по рынку. Домой еще обратно идти было рано, а на рынке было весело, и для него, давно не бывавшего в городе, любопытно. Он ходил, приценялся к товару, который ему вовсе был не нужен, ахал, узнав цену, и отходил, говоря: «Нет, не надо. Не для нашего рыла», слушая посылаемые ему вдогонку ругательства.

Утомившись от бесцельного шатанья по рынку в толпе незнакомых людей, слушая крик, ругань, божбу, Ивану Захарычу захотелось посидеть, отдохнуть да и потом трогаться ко дворам. Подсчитав свои капиталы, он подумал что-то, усмехнулся, махнул рукой и опять пошел в трактир.

— Посижу маленько еще,— сказал он сам себе,— отдохну. Послушаю, про что люди говорят, да и домой.

В трактире на этот раз народу было гораздо меньше, и Иван Захарыч без всякого труда занял в заднем отдаленном углу, около ободранной печки, стол. Грязный, худой, как скелет, половой, измученный и злой, швырнул ему на стол «пару», потребовал вперед деньги, долго разглядывая их на свет — не фальшивые ли,— ушел.

Несколько раз, пока Иван Захарыч сидел, к его столу подходили какие-то подозрительные попрошайки-нищие, «коты», которым Иван Захарыч отказывал, говоря каждый раз: «Бог подаст». Под конец, когда он думал было уходить, к его столу подошла откуда-то взявшаяся — Иван Захарыч не заметил откуда,— какая-то баба вместе с девочкой-подростком, одинаковой по росту с его дочерью Фенькой. Она, эта баба, а сбоку у ней девочка, как-то крадучись, робко и боязно, пододвинулась к столу, где сидел Иван Захарыч, и баба, поклонившись сперва глубоким поясным поклоном, тихо и жалобно сказала:

— Подай, Христа ради, голодающим...

Пока она говорила, ее девочка, стоя сбоку, жадными, голодными глазами смотрела на ломоть хлеба, лежавший на мешочке на столе у Ивана Захарыча. Иван Захарыч заметил, как она смотрит, и, зная по опыту, что это значит, молча взял ломоть и, подавая его девочке, сказал:

— На-ка, ягодка, покушай!

— Спасибо тебе, кормилец,— еще ниже поклонившись, сказала баба, а девочка взяла ломоть и сейчас же поднесла его ко рту, жадно впустив в мягкий, душистый край его белые острые зубы.

Иван Захарыч глядел на нее, вспомнил вдруг почему-то свою Феньку и почувствовал, как у него защекотали подступившие к горлу слезы. Человек он был, как уже и говорено, добрый, мягкосердечный, отзывчивый на чужое горе, не понимавший пословицы, что, мол, «сытый голодного не разумеет» или «сытое брюхо к добру глухо».

— Давно ты эдак-то? — спросил он бабу.

— Хожу-то?

— Да. Дальняя, что ли? Откуда? Как ты сюда попала-то?

Баба стала рассказывать долгую, грустную и страшную повесть о том, что она дальняя, с Волги,

что у них «божьей немилостью» все выгорело в поле, что есть стало нечего. Рассказывала, как они бились, как, не находя больше никакого выхода, бросили все и пошли куда глаза глядят. Как добрались до Москвы, как муж ее заболел здесь и умер («хоронить было не в чем, завернуть не во что»), оставя ее одну с девочкой, и как она теперь вот ходит, не знамо где, просит и живет, как она выразилась, «хуже последней собаки».

— А ты где-нибудь девочку-то пристроила бы,— сказал, выслушав ее, Иван Захарыч.— В люди бы отдала. Гляди, ишь она у тебя вовсе извелась, вся, разута, раздета.

— Пробовала, батюшка, кормилец, просить. Не берет никто. Кому мы эдакие-то нужны? Смерть моя. Связала она меня по рукам, по ногам. Здоровье мое вовсе плохое, спаси бог, свалюсь, куда ее деть? Об себе-то и не тужу, я стерплю, а ей-то, родной ты мой, тяжко. Дитя ведь еще. Сам ты посуди. Подумай-ка, легко ли?

Она не удержалась, не могла больше говорить и заплакала.

Ивана Захарыча эти слезы и весь вид ихний, в особенности девочки, резнули по сердцу. Жалко ему стало их той особенной, глубокой, захватывающей, человеческой жалостью, которая вместе и терзает сердце, и наталкивает его на все хорошее. Он молчал, но у него уже там где-то, на дне души, кто-то шевелился и шептал ему, что надо делать.

— Мне бы ее хоть на эти дни-то куда девать,— продолжала баба,— на праздник-то на светлый принял бы кто. Ножки бы, кажись, тому расцеловала! Пожила бы, покеда просохнет, а там бы я ее взяла. Наказанье мне с ней. Как ходить-то теперь? Вон она в чем ходит!

Иван Захарыч давно уже видел без этой указки, «в чем она ходит», и вдруг как-то совершенно неожиданно, точно кто-то другой заставил его сделать так, сказал:

— Я, пожалуй, возьму у тебя ее на время; а там увидим, что делать.

И как только он сказал это, сразу почувствовал, точно какая-то гора свалилась с плеч и что душу его

заливает какое-то особенное чувство, хочется плакать и смеяться.

Баба повалилась ему в ноги и заплакала.

— Батюшка, отец родной, кормилец,— лепетала она, захлебываясь слезами.— Да не господь ли тебя на нас послал для праздника? Ба-а-тюшка! Кормилец!

IV

Часа через полтора, рассказав бабе, где ей его найти, как называется деревня, как пройти к ней, Иван Захарыч вышел за город уже не один, а с девочкой, с новой дочкой, как он называл ее.

Ноги у девочки обуты были в какие-то рваные калижки, обмотанные грязными мокрыми тряпками. Она хлюпала ими, идя за Иваном Захарычем, и он видел, что идти ей дальнюю дорогу так, как она шла, нельзя.

«Все равно, что босиком идет»,— думал он, глядя на нее, и, пройдя верст шесть-семь, не вытерпел, остановился, сел на бережок канавы, где посуше и где грело солнышко, и сказал:

— Ну-ка, садись, разувайся! Надевай-ка, на, эти вот новые-то полсапожки. Ничего им не сделается. Обновляй! А там, дома, увидим, что делать. Не убьют небось! Поругают да бросят. Простуду тебе, что ли, сам-деле, схватить? Это выходит: шуба висит, а шкура дрожит... Обувай-ка!

Девочка послушно и робко стащила с своих ног грязные тряпки вместе с калижками. Обтерла полой ноги и обула новые полсапожки, как раз пришедшиеся ей по ноге.

— Важно-то как! — воскликнул Иван Захарыч.— Ей-богу, чисто вот на тебя сшиты! Идем теперь. Вот, придем, удивятся дома-то! Ждут небось!

Дома его действительно ждали, и Фенька проглядела все глаза, сидя у окошка и глядя на дорогу.

Она первая увидала идущего по дороге со стороны леса Ивана Захарыча и закричала:

— Мамынька, гляди-ка, тятя идет! Не один идет. Ведет с собой девочку какую-то.

— Ну, болтай там не дело-то! Какую девочку? — сказала мать.

— А эна, гляди. Ей-богу, ведет кого-то!

Мать поглядела в окно и сказала:

— Взаправду ведет кого-то. Может, попутчица какая.

Между тем, пока они делали разные предположения относительно того, кто это идет с ним, Иван Захарыч подходил к избе и знал, что ему сейчас попадет. Девочка, робея, маленькими шажками следовала за ним.

Подойдя к избе, он пропустил девочку на крыльцо вперед, вошел с ней на мост и, отворив дверь в избу, пропустил опять девочку вперед через порог и вошел в избу.

Жена, дочь, мальчишки — все сгрудились около стола и, разинув рты, глазели на вошедших.

— Вот и я! — сказал Иван Захарыч, снимая картуз.— Здорово живете! Бог милости прислал,— улыбаясь виноватой улыбкой, добавил он, глядя на свою бабу.

— Это кого же ты привел-то? — спросила жена.

— А так... сиротинка одна... голодающая.

— А полсапожки купил? Где они?

— Купил. Знамо, купил. Эна они на ней, на сиротинке, надеты. Идти ей не в чем. Разумши она. Дал надеть, покуда до дому. А чего им сделается-то?

— Мошенник! — закричала жена.— Да что же это такое, а? Да зачем ты ее привел-то? Полсапожки новые надел. С ума сошел, знать, а?

Фенька, молча стоявшая, слушавшая и наблюдавшая все это, заплакала.

— Своя дочь разута, а он чужую обул. Мошенник ты, мошенник! Ра-а-сточитель! Не хозяин ты дому! Как не хотела за тебя идтить, нет, уговорили добрые люди. Пошла, дура! Вот теперь и майся!

— Чего вы орете-то? Она сейчас скинет их. Чего им сделалось-то?

И, обратившись к вновь прибывшей девочке, сказал:

— А ты их не бойся, ягодка! Они ничего. Так это они. Разувайся, сымай. Теперь, пришли домой, и босиком хорошо.

Девочка поспешно сняла башмаки и виновато стояла, не зная, что делать.

— Ну, вот, на тебе твои полсапожки на высоких каблуках,— сказал Иван Захарыч, подавая Феньке

полсапожки.— Чего ты плачешь-то? Съела она их, что ли? Обувай, на, меряй. Оботри сперва.

Фенька просветлела. Схватила полсапожки, села на пол и начала примерять.

— В самый раз, тять,— сказала она, обувшись,— аккурат по ноге.

— Ну, то-то вот, а ты плакать! Чего им сделалось? Сказал — куплю, и купил. Давайте теперь чай пить. Собирайте на стол.

— А эту-то куда ж ты привел? Зачем? — кивнув на девочку, спросила жена.

— Куда привел? Домой, к нам,— ответил Иван Захарыч и, закурив, начал рассказывать жене то, что произошло с ним в городе.

Жена, по мере того как он говорил, все чаще поглядывала на девочку, робко стоявшую на полу, босую и жалкую в своем убожестве.

— О, господи! — воскликнула она, дослушав рассказ.— Вот горе-то! Подумать только!

И, помолчав немного, спросила:

— Что ж нам с ней делать-то?

— А пущай живет, господь с ней! — просто и весело ответил Иван Захарыч.— Чай, не объест. Обмыть ее надо.

— Сами-то мы...— начала было жена, но не договорила и заплакала.

— Об чем ты, дура?! — крикнул Иван Захарыч, удивившись ее слезам.— Эва, дура-то! Возьмите ее! Глаза-то у тебя на мокром месте.

— Об себе я вспомнила,— всхлипывая, ответила жена.— Мы, бывало, тоже. Я по миру-то, бывало, а не подает-то никто. Придешь, бывало, а вы голодные... рев! О, господи, батюшка! Вспомнишь вот, как самим-то было, так и другим поверишь. Ну что ж, Христос с ней, пущай живет. А тебя как звать-то? — обратилась она к девочке.

— Наськой! — ответила та и улыбнулась, показывая белые зубы.

А вечером, когда горела в избе лампочка и было тепло и прибрано, можно было наблюдать такую картину: Фенька, новая девочка, мальчишки с белыми головами сидели на полу и поочередно примеряли новые полсапожки, а Иван Захарыч сидел на скамейке, курил и, посмеиваясь, говорил им:

— А вы, робят, свою комуну устройте: один, значит, походит в полсапожках — другому даст, другой походит — третьему даст. Так у вас дело-то и пойдет кругом, и никому не обидно.

ПОНЯЛ

Старик Илья Васильевич Неробков был на собрании, куда силком затащил его сосед, кум Иван Звонарев, ездивший недавно в Москву на выставку и возвратившийся оттуда другим, непохожим на прежнего кума Ивана, человеком, с каким-то особенным азартом рассказывающим встречному и поперечному про то, что он там видел, и как его принимали, и как он был на заводе, где видел и понял, что рабочие не даром «жрут» хлеб, как до своей поездки, с чужих слов, орал он, а что они работают и ихняя работа «куда тяжелее нашей».

— Пойдем, кум,— тащил он упиравшегося Илью Васильевича,— послушаем, что человек говорить будет. Не для себя он из городу приехал, а для нас. Неловко не идти, совестно. Диви бы у тебя дела какие; а то на печке лежишь да со снохой ругаешься. Идем. Слышал я, про германцев будет говорить, какая у них там сейчас заварошка идет.

— На кой рожон мне твои ерманцы? Знаю я их,— говорил Илья Васильевич,— спасибо! Сына у меня в войну убили, а я иди слушай про них! Не пойду!

Но все-таки в конце концов кум уломал его, и он пошел с ним.

Собрание происходило в помещении исполкома. Народу собралось человек сорок. Ждали еще, но больше никто не пришел, и приехавший из уезда докладчик приступил, сделав предварительно небольшое предисловие, к своему докладу. Докладчик, как оказалось, приехал дельный. Умело, толково и просто, не пересыпая свою речь чужими, непонятными для слушателей словами, нарисовал он картину того, что теперь творится в Германии, и еще лучше и проще показал, «разжевал и в рот положил» то, почему мы должны и обязаны внимательно следить за борьбой германского трудового люда — рабочих.

Забившись позади всех в угол, Илья Васильевич внимательно слушал его, и чем больше слушал простую, понятную и горячую речь, тем все больше и больше, выше и выше поднималась перед его глазами какая-то темная занавеска, и за этой занавеской, когда наконец она поднялась совсем, он, к удивлению своему, увидал то, чего раньше до этого не видал и не хотел видеть.

А увидал он и понял, что сына его убили не те «ерманцы», такие же простые подневольные солдаты, как и его сын, а те, о ком говорил докладчик, те, которые сейчас стараются задушить и принизить таких же, как и его сын, для того чтобы делать с ними, что им хочется, и гнать их, как «круговых овец», на убой, в огонь и в воду.

«Так вот оно в чем дело-то,— думал он,— вот им чего надо-то! А я-то, дурак, думал... Где же я прежде-то был?»

Ушел он с собрания встревоженный и пораженный тем новым, что закопошилось в его душе, и теми новыми, неожиданно увиденными им картинами, которые показал ему докладчик, открыв темную, постоянно висевшую перед его глазами занавеску.

А занавеска эта действительно висела перед ним постоянно.

Как только он, без малого шестьдесят лет тому назад, родился, так сейчас же первый повесил ее перед ним поп, после того как выкупал зимой в какой-то лоханке, называемой купелью, наполненной холодной водой. С тех пор эта занавеска тьмы перед ним не отдергивалась, а, напротив, около нее приставлены были слуги, которые, как хорошие цепные псы, откормленные и жирные, стерегли ее, и если случалось, что находились люди, которые хотели и старались поднять эту занавеску, для того чтобы показать ему, что за ней,— на этих людей псы, караулившие ее, бросались и разносили в клочья.

Так он и жил за этой занавеской и дожил до старости, не делая самостоятельно ничего, а делая только то, что приказывали люди, караулившие занавеску.

Грамоте его не учили. «Баловство одно. На кой она нам! Жили без нее и проживем без нее»,— говорили ему, когда он был молодой, и то же самое твердил он, когда стал «тятя детям».

«Ходи в церковь, молись за царя с царицей, исправляй праздник Миколу и Ягорья, слушай и бойся начальства, начиная с урядника, живи в грязи, жри хлеб да картошку, ворочай, как лошадь, плати оброки» — вот все, что он усвоил в своей жизни, и никогда ему в голову не приходила мысль, проходя мимо барского имения, мимо барской кухни, где с утра до ночи шла стряпня, и повар с поваренком, одетые в какие-то белые балахоны, стучали ножами по столу, рубя мясо, и откуда всегда шел в открытые окна завлекательный дух, заставлявший невольно глотать слюни,— никогда не приходила мысль о том, почему же это так, за какие особенные достоинства люди, которых он называл «господами», живущие рядом с этой кухней, в роскошном доме, нарядные и красивые, постоянно, изо дня в день жрут приготовленные для них на этой кухне различные блюда, а он, Илья Васильевич, боится пройти мимо этой кухни и жрет у себя дома, в вонючей и грязной избе, какую-то мурцовку или полугнилую картошку, от которой только пучит живот.

Почему это так? Об этом он не думал и не мог думать, ибо те, которые закрыли перед его глазами занавеску, все силы употребляли на то, чтобы он, Илья Васильевич, знал, что для него так самим господом поставлено жрать картошку, а для них — все лучшее, ибо они «белая кость», а он «черная», они «благородные», а он и ему подобные — «чернять», «хамы», «подлые людишки».

И никогда также не приходило ему в голову, и не казалось странным, что он почему-то быстро стаскивал со своей головы картуз или шапку, издали, еще за версту, увидя идущего барина, и отвешивал ему поклоны, на которые тот едва кивал головой и проходил мимо него, кланяющегося, так же равнодушно-презрительно, как мимо какой-нибудь паршивой собачонки.

Не удивлялся он и тому, что, например, рядом с его деревней начинались владения какой-то старой, выжившей из ума княгини, тянувшиеся и лесами, и полями, и всякими угодьями на пол-уезда, незнаемые ею, а охраняемые и управляющими, и приказчиками, и сторожами...

Как так она владеет всеми этими ненужными ей угодьями, по какому праву, почему — он не знал, а думал, что так надо и что все от господа бога, которым

его пугали и попы и все: «бог накажет» или «терпи, бог терпел и нам велел», «здесь перетерпишь, зато там, на том свете, хорошо тебе будет»... И он действительно терпел и молился каким-то своим богам, нарисованным в разных видах на досках: то бородатым, то без бороды, то изображению женщины с тремя руками; то какому-то скачущему на белой лошади всаднику с длинным копьем в руке, поражающему этим копьем в открытую пасть страшного хвостатого змея.

День за днем, год за годом тянулась жизнь его по эту сторону занавески, где все было темно, убого, приниженно, забито, и когда наконец нашлись люди, которым ценою неимоверных усилий и борьбы удалось побороть слуг, стерегущих занавеску, он, жизнь которого была сплошная тьма, ничего уже не мог и упрямо не хотел видеть, а, как выведенный из темницы на яркий солнечный свет узник, закрывался и отворачивался от этого света.

Придя к себе домой, в избу, он застал сноху свою, жену другого (первого убили в германскую войну) сына, высокую, худую, чахоточную бабу, ругавшую сынишку Ваньку, только что возвратившегося из школы, за то, что он сел за стол есть, не помолившись предварительно богу, «не перекрестя лба», как она выражалась, в угол над столом, где висело несколько штук разного калибра икон в ризах и без них.

— Чему вас учат тама, оглашенных? — визгливо кричала она так, что звенело в ушах. — «Богородицу деву радуйся» и тае до сей поры, третья зима пошла, бегаешь, не знаешь!

— Да нас этому не учат, — говорил сынишка. — Чего ты пристала ко мне? Поди сама к учителю, да и скажи ему!

— А что же ты, чертенюк, грубиян, думаешь, не схожу! Ища как схожу-то! Ишь ты, нахватался там! Да нешто матери-то так отвечают? Бить-то вас некому! Вон, — обернулась она к пришедшему Илье Васильевичу, — спроси у дедушки, что он тебе скажет про ученье-то про ваше!

— Дедушка сам читать и то не умеет, чего у него спрашивать-то? Он сам ничего не знает!

И, к удивлению снохи, дедушка, постоянно, каждый раз ругавший внука по этому поводу пуще ее, на этот раз угрюмо, точно про себя, ответил:

— И правда твоя, сынок, ничего не знаю.

Ответив так, он молча, с каким-то особенным, таинственно-угрюмым видом разделся и полез на печку.

— Что это ты? Аль тама, на собранье-то, вышло что? — удивившись, спросила сноха.

Илья Васильевич промолчал.

— Чего молчишь-то? — крикнула она.— Аль, говорю, вышло что?

— Ничего не вышло,— уже забравшись с кряхтеньем на печку, ответил оттуда Илья Васильевич.

— Аль нездоровится?

Илья Васильевич опять промолчал.

— Что это на тебя наехало? — не унималась сноха.— Подшивал бы сапоги, ничем по собраниям-то на старости лет шляться! Какого рожна там услышишь, чему научишься? Постыдился бы, диви моло-денькай!

— А здесь чему у тебя научишься? — буркнул Илья Васильевич.

Сноха еще больше удивилась и, помолчав, не зная, что сказать, крикнула:

— Белены, что ли, объелся?.. Тьфу! Есть-то хочешь?

— Не хочу,— ответил Илья Васильевич и, повернувшись на бок, лицом в угол, замолчал.

Сноха поговорила, поворчала что-то и, видя, что он упрямо молчит, все еще продолжая удивляться, ушла из избы убирать скотину, сказав перед уходом сынишке:

— Сиди дома, неслух! Никуда у меня не ходи. Ишь назябся — посинел весь. Ходишь только обувь треплешь. Шут вас возьми и с ученьем-то с вашим! Бери книжку, садись читай, а уйдешь ежели — голову, ужо приду, проколочу до мозгов!

Она ушла. Ванька, чувствуя, что у него озябли ноги, обутые в несколько раз чиненные, с заплатками, сапожонки, быстро разулся и, боясь своего сердитого, постоянно пробиравшего и ругавшего его «вольницей проклятой» деда, крикнул в направлении к печке:

— Дедушк, а дедушк!

— Ну, что тебе? — отозвался с печки Илья Васильевич.

— У меня ноги иззябли страсть как! Я к тебе на печку полезу. Не заругаешь?

— Полезай,— опять отозвался Илья Васильевич.

Ваиюшка быстро вскочил на приступку, а с нсе, как кошка, вскарабкался на печку.

— Полезай к стенке,— сказал Илья Васильевич, поворачиваясь иавзиичь.— Лезь на меня.

Ванька перелез через него и улегся, поставив ноги подошвами иа теплое место.

— Шибко, знать, озябли иоги-то? — помолчав, спросил Илья Васильевич, и Ванюшка с большим удовольствием услыхал, что дедушка спросил это не так, как прежде, а каким-то другим, точно ие его, ласковым голосом.

— Не особеиио, дедушк!

Помолчали... Илья Васильевич покряхтел, зевиул и сказал:

— А я вот иа собрание ходил. Никогда не был, а тут вот вздумал: дай, мол, схожу, послушаю.

Ваиюшка молчал, не зиая, что сказать на это.

— Долго слушал,— продолжал Илья Васильевич.— Дельио человек приезжий говорил. Н-да. Хорошо! Думал я, призиаться, пустое дело там, языком трепать приехал, трепло, очки втирать нашему брату, аи дело-то вои какое! Лежу вот все, да и думаю: правду говорил человек. Н-да! Эх, ушли мои годы, Ванюшка!

— А уж тебе иебось миого, дедушк, годов? — спросил Ванюшка, радуясь, что он так с иим говорит.

— Мие-то? — переспросил Илья Васильевич.— Много! Миого,— повторил ои с удареиием.— А что толку-то? Эхма!

Ои молчал, и долго молчал, что-то думая. Молчал и Ванюшка, слыша, как дедушка сопит иосом и как у него что-то булькает в горле.

— Чему в училище-то ноиче вас учили? — после молчаиия начал опять Илья Васильевич.

— Ничему ие учили.

— Как так?

— Мы, дедушка, к празднику готовимся. Училище убираем.

— Это к какому же празднику? Словно никаких праздников нету! Ягорий наш ежели — не скоро. Веденье — то же самое.

— Чудак ты, дедушка! — воскликнул Ванюшка.— Да разве это праздники? Неужели ты не знаешь — наш праздник!

— Какой такой «наш»?

— Какой, какой! Наш! День Октябрьской революции. Эва, неужли забыл? В прошедшем году гуляли. Опять теперь будем... Стихи учили. И я говорить буду. Спектакль. С флагом ходить будем. Из города гостинцев привезут. Петь будем. Приходи и ты смотреть.

— Куда уж мне! — усмехнувшись, ответил Илья Васильевич и, помолчав, добавил: — Где уж нам! Мы свое отжили. Допрежь этого не было.

— А что же было? — спросил Ванюшка.

— Что было-то, говоришь? — переспросил Илья Васильевич.— Что было-то? А вот что было. Теперь вот только, на краю могилы, я, сынок, понял, что было. Да вот он, локоть-то, близок, возьми его, а не укусишь!

И вдруг, очевидно отвечая на свои собственные мысли, заговорил каким-то странным, дрожащим, волнуясь и торопясь, голосом, от которого Ванюшке стало страшно, про то, что было. И чем больше говорил он, тем все больше и больше Ванюшке становилось страшно, а когда под конец услыхал он, что дедушка вдруг, точно побитая собачонка, жалобно затявкал, парнишка заплакал, закричал, обхватив его в потемках руками:

— Дедушка, не надо! Золотой мой, не надо! Дедушка, не плачь! Дедушка, не надо!

ОЛЬГА ФОРШ

ЖИВОРЫБНЫЙ САДОК

Было уже так, что никуда не уехать. Первое — друзья запугивают: и то вам будет и это...

А не будет, так сами вы, как Иван Петрович: все претерпел, человек домой, слава богу, ехал — стоп, на узле дерутся; пересел восточней — опять до узла; пересел западней, пересел северней — всюду дерутся. Вылез Иван Петрович из вагона, лег под куст, кричит: «Никуда больше не еду, замерзать тут хочу». Силком взяли, чуть живого, в теплушку обратно.

А Еропенников все-таки: взял и поехал.

— Презираю,— говорит,— беспорядки и внезапности. Вожделенно мне первобытное состояние... в недрах.

Ну что же: преодолел друзей. Мерз на добычу билета, мерз на погрузку в поезд.

С первого разу редкий погрузится. Народу столько, что, попав в гущу, можно оставить старую повадку стоять на собственных ногах и, поджав их за ненадобностью, остаться висеть в воздухе, не выпуская из рук чемодана только из соображения, чтобы вместо собственного он не стал вдруг чужим. Но у кого еще сохранилось доверие к ближнему, тот чемодан свой может выпустить; и, выпущенный на свободу, он останется висеть в воздухе, потому что всем набивший оскомину закон притяжения, не в пример прочим доселе столь же твердым законам, аннулировался здесь уже сам собой.

Еропенникову новое состояние невесомости начинало почти нравиться, и брезжила надежда: авось так само собой, да еще с чемоданами, и внесет его в дверцы вагона.

Но не тут-то было: перед самой дверцей вагона — реставрация старого притяжения, и наивных с чемоданами, взаимно избиваемых, снесло в сторону, а в вагон, громоздясь друг на друга, как бараны в отаре, попали одни скептики, доверяющие при всех обстоятельствах жизни только собственным силам.

И вот уже не видно дверцы: держась за плечи, за ноги или только за хлястик, как осиное гнездо, чернеется куча на буферах, на подножках, на крыше; так облепленный роем, под звон выбиваемых стекол, ушел первый поезд мимо наивных, неприспособившихся уезжать.

Наконец при помощи знакомого борца и учителя пластики по Далькрозу Еропенникову влезть удалось.

— Вот вам край дивана, под самое окошко,— сказал Еропенникову проводник,— до полночи досидите, и двинетесь; полсуток всего и прождать!

— Стекло тут выбито, вы б мне другое местечко...— Еропенников полез было в бумажник...

— Под ветром в таком набитии одно спасение, знающий пассажир за битое особенно платит... К вечеру столько тут понапрет, что и с битым окошком сомлеете.

И ведь правду сказал проводник: «сомлевали». К полночи, когда не только у всех зажатых в купе, у самого «Гаврилыча» — так звали кругом паровоз — заегозили мурашки в колесах, и он, зарычав, решил-таки двинуться, окно затянули одеялом. С непривычки до того стало душно, что очень скоро сверху, кроме несметного количества сапог, сникла еще чья-то бесчувственная голова.

— Ишь застрельщик...— хохочет армия,— всех перекатает, как на море!

Голову подхватили, отвернув одеяло, подставили ветру — ничего, отошел, завалился обратно под сетку. И снова при дрожащем свете поставленной в пустую банку от консервов свечи — сапоги и пронели двух сестер милосердия. Внизу еще дама в плюшевой шубе, все прочее: солдаты, офицеры и «центрофлот». Золотятся над свечой яркие буквы круглой

бескозырки, а дальше почти что тьма, и словно не люди, а среди груды шинелей вкраплены только кусочки людей: где кисть, где рука или ухо; такая давка, все в кучу...

Сестрица при толчке не удержалась наверху, как с горки съехала по спине одного на спину другому и дальше на пол, поджала ноги, устроилась.

— Военное время, и чего, женский пол, дома не сидите, тоже вот едете? — сказал высокий солдат с усами и подусниками словно бы николаевских времен.

— Всем надо, а нам нет?

— Поговори с ей,— усмехнулся рыжий,— полную праву и они себе выпросили.

— Э-эх, женский пол, сказать бы хотелось, да как бы в толк взять, вас не обидеть.

— Ну, пожалуйста...

— Ну, скажем, и вам дали полную праву, а ведь тебя сам бог вроде как обидел. Сколько ваших теперь видал: и на бочку другая вскочит, с бочки деркотит, трудится, вякает, а ей-ей — не слыхать, ровно мыша пищит,— голос вам птичий даден. А к голосу и разум у вас не тот, а опричь всего — рожать вам и рожать без отмены!

— Это точно, нам рожать не выйдет,— засмеялся рыжий, и обрадовались, загрохотали и с верху и с полу.

— Вот как! — вспыхнула сестрица.— Ну хорошо, оставим женщин с детьми, а девушки, они чем плоше парня?

— Не скажи: смолоду парень как раз вострый, голос у него свой,— это он как женится, так осядет. А у девки голос означится, когда она бабой станет да горе спознает; горе бабе разум прочистит, ну а прыть-то собьет, так что, как ни поверни, для женского пола судьба — что волк для теля.

— Сама девка, что телка,— сказал веселый сверху,— какова буренкой выйдет?

— Девка, известно, полчеловека,— подхватил и рыжий,— баба — это точно. Да если мужик у ее плохой или она вдовая, сама всю работу справляет,— у нас такая есть, Алексаха,— почище старосты была; такой бабе правов давай не давай, и не спросит — возьмет.

— Не тот управитель, кого видать! — опять крикнул веселый.— Управитель — он спрятанный...

Рыжий не унимается:

— Про девку поговорка у нас есть. Плохой мужик смекнуть не может, так ему скажут: это и девке понять!

— Уймись, рыжий, сестрицам обидно: сестрицы, не обижайтесь, рыжих и во святых нет...

— Да я ничего, сестрицы, по мне пущай всем по справедливости дают, и женску полу... Только объяснить — им разницы мало.

Большой солдат с подусниками — атаман всего люда, зажатого без движений на четверо суток на двух длинных нижних и верхних диванах, на полу и на ручках, вплоть до бывшего в былое время прохода для кондукторов и толстого обера.

Атаман не пускает новых, он же приводит в себя «сомлевающих».

Сколько здесь людей, считал и не счел Еропенников. Только покрутил туда-сюда головой — и поплыл из глаз огарок, и схолодало под ложечкой. Как рыба, выброшенная на берег, ловит жадно открытым ртом долетающие с камней брызги, заторопился он глотать воздух, припав к полосатому, ветром надутому одеялу.

На остановках могло б быть облегчение: одеяло решили отдергивать, и спускать за окно атамана, увешанного чайниками. Но потому ли, что на линии шли бои, или просто от независимости машиниста поведенье Гаврилыча безрассудно. То станет зря в чистом поле и час битый свистит, бездельник, а на почтенной какой-нибудь станции, где в прежнее время шел из буфета дух жареных пирожков, где цвел на перроне красноголовый начальник станции, как большой мак между тонких травинок — барышень, вышедших на курьерский, —там Гаврилыч, как бешеный, пронесется мимо.

Охал Еропенников, понимая: это машинист грубо подчеркивал для буржуев, что нет уж прежнего мака, ни барышень, ни — главное — жареных пирожков!

Все соскочило, все спуталось, все мгновения жизни, обречен сейчас на внезапности обыватель, а ему б в

первобытные недра, ему чтоб хоть на самой, на главной станции чай попить.

Вдруг ввалились, занося кулаки, бодаясь головами, какие-то люди, из ледяного, что ли, дома, такой густой пар от них в теплом вагоне, лиц не видать, и они, ровно вилами в бок, рраз... густо, бессмысленно, зверино, словно топором бьют, произносят.

Тяжело, все сжались, молчат.

— Не обижайтесь, сестрицы,— с деликатностью шепчет атаман,— нельзя на них обижаться: ведь они — «буферные».

И через минуту, когда люди не перестают, а все круче да круче, с знанием дела, атаман прибавляет:

— И полагать надо, не «дощаные» они, а «самостойные» — этим похуже и «крышного». «Крышный», особливо на санитарке, за милую душу едет. У санитарки борток есть по краю, ну, один к другому лягут, брезентом укроются, утрясутся. «Дощаному» тоже житье: наладил досточку, промежду вагонов сел, подоткнулся, по очереди обмерзшее греет, то руку, то ногу, а «буферный», без доски, «самостойный», его и бьет и сечет, его сама родная матушка позабыла.

— И «крышному» свалиться — момент,— говорит рыжий,— я сам «крышным» был, знаю: если не санитарка, так края как обмерзнут — забудешься и съедешь, словно на салазках; у нас так двое съехало.

«Самостойные» отогреваются, умолкают, вдруг обрушиваются кто куда, больше на сидящих на полу, и мгновенно храпят; на их место вваливаются с тем же ритуалом новые «буферные», и «крышные», и «дощаные», и опять бессмысленно и зверино рубит голос дымящихся в тепле людей.

— Вам тут чаи, кофеи, и в тепле, ровно индюк к пасхе, а мы мерзни, мы дохни... Печенки за вас прострелены, и еще иди вас защищай. Так вот нету мне нонче отечества; куда плюнул, там мне отечество — пропадай головушка!

И опять атаман деликатно:

— Сестрицы, мадам, не отчаивайтесь, иначе ему невозможно. Его подморозило, и к железу его пригвоздило, я сам был «буферный» — ой, лютел...

И все лютеют: к третьему дню пропали последние условия самого бедного, самого насущного существования человека. В дверь не пройти, полазили было, в

окошко, да все, кроме атамана, ослабли, не едят ведь, не пьют...

— Откуда у вас, атаман, такая прыть лазить да бегать?

— Я на воле человеком был...— И поправляется: — Человеком в паштетной.

— Какой ужас,— говорит сестрица,— и в уборную не пройти.

— И не пройдешь,— хрипят из засады,— мы мерзли — ты спала; хотишь навсегда меняться? А на времечко — будьте здоровы!

— Товарищи,— вступается атаман,— товарищи, ежели вы сознательные, «буферные» — одно слово! Извиняйте, сестрица, становитесь мне на спину и, с богом, за окошко. Я сам был «буферный», ой, лютел!

И все лютеют. За окна прыгать окончательно невозможно; чем дальше, тем беспардонней Гаврилыч. Чуть перекинутся ноги наружу — он фырк и рванет.

Облютели: невесть куда едут, невесть сколько езды, бессонные, голодые, со стаканчиком снега в руке, злыми глазами стерегут, чтобы не влез кто в окошко. Едва появится свежая голова:

— Пустите, товарищи!

— Кипятком тебя! — пугнет рыжий.

И такое услышит голова, что и руки отцепит. Скорей хрустнет по снегу — да к другому окну.

Ко всем злей зажатые на диванах, а к «буферным» — дивное дело! — словно б добрей. Вот уже говорят атаману сестрицы:

— Снесите-ка им туда, в засаду, чаю.— И сахару вынимают.— Нам нельзя, пусть хоть они-то попьют.

Свежая голова, еще не промучилась с ихнее, и потому — кипятку горячего! А «буферных», когда самим стало плохо, «буферных» душой приняли — им еще похуже...

А Еропенников на какой станции ни выйдет, чтобы в вожделенное тихое место, в первобытные недра попасть,— так сейчас назад. Нет тихой станции. Всюду далеко в степи армия, повозки, беженцы, все соскочило, все спуталось, течение жизни нарушено.

Однако выскочил Еропенников. Проболтался ночь на вокзале среди всяких беженцев. От них услышал, что жизнь всего легче как раз там, откуда он уехал. Дождался поезда — и назад!

Н. Секавиной

КЛИМОВ КУЛАК

I

Тяжкий стоял дух над городом. Густой, клейкий, ни с чем не сравнимый дух — трупный.

Трупом несло с гористых и низких мест города, из особняков и садов.

Разрыта земля, обнажено разложение, настежь ворота анатомического театра. Там навалены трупы, как туши предпасхальные,— ищи своего кто ищет.

Влечет тлетворный дух — и тянутся. Как за дудкой сказочного крысолова.

Идет тот, кому нужен один лишь на свете, свой, родной, «пропавший без вести», идут и другие, так себе люди, идут на зрелище.

Но все: одними входят — выходят иными. На весь остаток жизни, навсегда, до смерти выходят иными. И не лучше, чем были. Кровь родит кровь.

Было жарко. Был безоблачный синий день, и сверкала река. Но все это было будто не вправду, не живое; про это было известно, и словами надо было так называть. А на самом-то деле, по чувству людей, над городом висело багрово-оранжевое, как облако над вулканом, и было душно и красно в глазах.

От опознанных лиц на раздутых пятнистых трупах и боль, и злоба, и мука нечеловечья. У иных же лиц не было... безголовые, с одной нижней челюстью.

Густо, душным клубком, с той силой, как пар гонит машину, гнало людей по улицам. И не могли удержать волю, чего-то не сделать... Без порядка, сквозные стали души, им не сдержать себя.

Шел черный человек к анатомическому театру; другой, таких же средних лет, в картузе, с очень светлыми волосами шел навстречу ему, из анатомического. Белый носовой платок держал он у лица; шел, вздрагивая плечами,— может быть, он рыдал. Один черный, другой светлый, оба средних лет. Так отметил бы их всякий. Но для Вассы Петровны было иначе.

Тот, черный,— он муж, Иван Сергеич. И высматривала она его из окошка высокого дома, наискосок, уже второй день безотходно.

Подозрительных эти дни не доводили. Ивана Сергеича, если словят, не доведут: и в городе он известен, и паспортишко рисовый...

И вот жив Иван Сергеич! Сейчас войдет, щей попросит. В подполье бороду отрастил, теперь не всякий узнает, а все-таки...

— Скорей, Ирочка!— зовет Васса Петровна дочку.— Перехвати папу, скажи — в доме обыски, пусть опять идет к тете Тане на Нижний базар, я туда же сейчас. Да незаметно смотри, всюду слежка.

— Учи ученого!— Ирочка, беленькая сестра милосердия, скатилась с лесницы, и вот уж она на углу. Будто так загляделась на витрину. Ждет, чтобы отец с ней поравнялся.

И не видит Ирочка, что у нее за спиной случилось. А Васса Петровна из окна своего все видит и смотреть не кончит до конца.

Светло-русый, тот, что вышел из анатомического театра, поравнялся с Иваном Сергеичем. Он все держал белый платок у лица. Все сильнее дрожали его плечи, и по тому, как руки его теребили платок и как особенно голубели глаза его, видно было: сверх сил его было оно, то, что вынес он с собой; сверх возможности донести ее была ноша его. Сына нашел...

Как убит, кем, с кого спрашивать?!

И вот он глазами ярко голубеет в глаза Ивану Сергеичу. В черные, быстрые глаза. Домой Ивану Сергеичу хоть бы на минутку забраться, а засады вот нет ли? По сторонам бегают его черные быстрые глаза.

А голубоглазому про свое лишь мерещится. И берет он Ивана Сергеича за плечи и говорит скоро-скоро...

Иван Сергеич вздрагивает. Отмахивается. Он удивлен, он тут ни при чем, он ничего про это не знает.

— Ни при чем!— кричит светлый.— Не знаешь, как там мертвый лежит, так узнаешь.

И револьвер из кармана. Раз, два. В упор в Ивана Сергеича. За минуту ведь не знал его вовсе и сейчас-то не знает; а нельзя не убить... Подозрительный попался. Убить надо.

— Иван Сергеич!

Вассе Петровне кажется, она на всю улицу, она на весь мир крикнула, а она — всего лишь губами, без звука, как в страшном сне.

Да ведь сон это Васса Петровна видит и каменная, безмолвная стоит.

А вот на улице, у витрины с открытками,— точно, крик неслыханный...

Сестра милосердия крикнула, рванулась... и бежать не может. Это беленькая Ирочка к папе.

Иван Сергеич после выстрелов осел на траву под забором безмолвно. Сидел, повернув голову, шевельнул губами. Голубоглазый в ответ раз, раз... еще. Иван Сергеич чуть помедлил, раздумывая, падать ли совсем, и, качнувшись, зарылся лицом в траву.

Сбегалась толпа. Два военных, придерживая шашки, стремились с горы, а голубоглазый еще и еще спускал свой курок, хотя пуль уже не было.

Опять какой вдруг крик. Ирочка бежит и кричит. Белая косынка, как голубиные крылья, бьется по плечам. А Васса Петровна, каменная статуя у окна, все видит, все слышит — сама ни рукой, ни ногой. И нет голоса.

Бежит Ирочка к траве, где лег Иван Сергеич. Серое платье, белая косынка.

У травы толпа. И те, военные, с шашкой.

— Папа! — кричит Ирочка.— За что папу... звери!

И ревет толпа:

— А за то самое... Даром не убьют.— И толкают Ирочку, не пускают к отцу.

Что сказала она? Вдруг вахмистр или другой кто, усы рыжие, по голове ее — рраз! Ирочка упала. Обступили, сомкнули круг.

И топтали...

Вот конные. Разгоняют нагайкой. Самосуд? Кто зачинщики? Уводят многих. На извозчике светловолосого. Отняли у него револьвер, а он и пустыми пальцами щелк... спускает курок.

Опустело. Подымают на носилки одно тело с травы от забора, другое подымают с мостовой. Серое платье, и не белая у Ирочки — от крови красная косынка.

Стоит Васса Петровна, каменная, у окна, не оторвется. Долго чернеют ей туфельки на недвижных ногах Ирочки. И вот опять спешно идут по своим де-

-лам новые чужие люди мимо этих мест. Никто не смотрит. Часта сейчас кровь на улице.

Васса Петровна, как недавно Иван Сергеич, откачнулась назад. Чуть помедлила и съехала совсем на пол, стукнув звонко затылком о паркет.

II

. . . .

Был еще голод, а уже в газетах его отменили. И, как всегда, обрадовались люди, что забота с плеч долой, жертвовать перестали. Но голод все еще был, и отменить его не могли. Иван Сергеич из таких работников, которых не видать, не слыхать, а в самую трудную минуту они тут.

На частные средства наладил Иван Сергеич в Булатовке столовую, помощников привлек, курсистку Вассу Петровну... Иван Сергеич — высокий, быстрый человек — разъяснил сразу, в чем дело, сам в первый раз провел по избам.

Ну, какой в лицо хватил крепкий мороз! Как скрипел снег под валенками, и какие шли они оба красивые, и стыдясь своих чувств, и желая думать только о деле.

Седые деревья с толстыми черными воронами качали белые ветки в небе, глубоком, таком густом, как синяя эмаль. А встречный ямщик Федосеич, заворачивая в неизменный свой кабачок, забористо так зовет: «Други -молодежь, составьте канпанию!»

Обмерзшие черные крыши из прогнившей соломы, грязный утоптанный снег вокруг изб, мальчишки по пояс в тятькиных сапогах...

Ведь все это видит сейчас Васса Петровна, как тогда видела. Под неусыпным тети Тани взглядом отходит болезнь. И не одна — две делаются Вассы Петровны. Изболевшая, пожилая у окна на кресле сидит, ловкими руками, как механизмом заводным, одно за другим шьет — без работы не может. А другая, лет на пятнадцать моложе, здоровая, лицо ветру навстречу, по следам старым ходит. Перед концом своим? Или, напротив того, что-нибудь высмотреть хочет, чтобы дальше ей жить...

Вот столовая.

— До свиданья,— говорит Иван Сергеич,— до вечера. Смотрите внимательно: на вашем полном усмотрении, кого накормить. По графам впишете, а вечером...

И хоть глаза его, хоть бородка кудрявая, дрогнувшая под улыбкой, не об одном только деле говорят, твердо он произносит:

— Вечером проверять будем записи.

И Васса Петровна:

— Проверять записи.

А в сто̀ловой-то! С непривычки, будто на банном полке, неразбериха в дыму. На столе миски с хлёбовом, перед столом скамейки. Молодухи, и дети, и старые наперерыв, взапуски тычут ложки в хлёбово...

— Ой, важно Гашка сготовила, для навару таракацев впустила!

— Проглоти, сытей будешь!

— Лукерью, баушку нашу, впиши. Капитоновы мы,— пищит в ухо Вассе Петровне бабочка,— отпятили Лукерью по злобе по одной.

— Гладкие вы,— хватил парень,— лошадь у вас ды корова...

— Это мы, мы гладкие?! На корову-то ртов...

И, не передохнув, сыплет бабочка:

— Свекруха, свекор, Марья да Дарья, да старый, да бабенька, да еще...

— Припишу,— не выдерживает Васса Петровна, крестом метит Лукерью в графленой книге.

— А когда крест Лукерье — и меня захрести.

— А меня стряпухой заставь: слышь, Гашка грязно готовит, тараканцев нашли...

А Гашка полоротая:

— Я, я тараканцев?! Да штоб они тебе в рот...

Сцепились бабы. Смеется изба. Стоит Васса Петровна с графленой своей книгой, смеется. Смеется она и сейчас.

— Чего ты? — с испугом к ней тетя Таня и на голову руку кладет. Ведь засмеялась впервые после долгих недель Васса Петровна.

— Это я, тетя Таня, прежнее... пересматриваю.

— А подай тебе бог,— говорит тетя Таня, крепкая, бывалая старуха. Многих людей она отходила от черной скорби; при ней в петлю не влезешь.

— Поищи,— скажет,— нет ли чего за душой! — И настоит: кому ласкою, кому гневом.

А поищет человек — и найдет. Без душевного капиталу никого нет на свете; только мусором сверху завален, разгреби — заблестит.

III

В тот же день вечером говорит Иван Сергеевич потупясь, самому невесело:

— В Москву надо съездить, распутица скоро, живой помощи ждать ниоткуда нельзя, авось там сберу.— А потише прибавил: — И с женой порешить надо вчистую, чтобы свободным вернуться.

Тут впервые, как невеста с женихом, целовались.

. . . .

Нет Ивана Сергеича, а дела-то — не обраться. На рассвете вскочит с жесткой скамьи, еще сон не прошел, еще не поймет, кто она, что ей здесь, Васса Петровна, а уж на улицу, на свежий, на утренний, неутоптанный снег, в черные избы. Входит — выходит. В лиловые графы лиловым карандашом ставит цифры...

Тут — Парфеновых шестеро, ни дров, ни скота. Там — Егоровы: и баран, и коровушка, да ребят, что орехов, подсыпано. Кого вписать, кого вычеркнуть?

Вдруг навстречу рыжий староста и грузный, в черной рясе, о. Савелий.

— Черт его ядрами кормит, копной набит, в кожу зашит, не к добру встреча! — И тихонько плюется Авдотья курносая.

А староста с ядом:

— Что задумчива, Васса Петровна! С фонарем волшебным приехала, а пословицу знаешь? Мак семь лет не рожал, а неурожаю не слыхано!

— Графские книжки давать придержитесь.— И корит батюшка старым, потухшим взором, и шелестит седой бородой, зовет к себе чайку выпить — без гордости...

— Книжки Толстого одобрены, а чай пить мне некогда...

И дальше Васса Петровна — больных принимать.

— Тебе они афронту не спустют,— пугает Авдотья-вестунья,— дай срок!

У крыльца с болезиями старый и малый, обступили: в подошвы ветер играет, пес колеии жует, корешки мозжит...

Далеко доктор, и не любят лечиться у доктора. За средствами ходят в столовку. Лечил тут декохтом чертежиик, от декохта спился, лечил землемер, сейчас лечит Васса Петровиа.

. . . .

Стоит пред глазами дорога: сугробы — провалы. То взметет сани на гору — иазад голову запрокииешь, и с черного неба вдруг яркие спустятся звезды, иизко-низко, рукой достать; то лошадеика как ухнет под гору, и боднешь головой в ямщика. В глазах: бедный огонь в деревенском окне лампадой дрожит. А в избе? В избе сизая мгла, и овчины, и копоть. С воздуха тяжко дышать. На скамье, лицом в фартук, баба воет.

— Где хворые

— Вон на лежанке; помрут — чем хороиить?

— Ой, бабонька, цветик лазоревый, дай-ко мне, дай! — Одна бредит, другая чуть дышит высохшим ртом.

Отец ледяиой водой из бочки поит — студеиая, оиа ей послаще.

Вся деревия вымирала. А они: «Вымирать пришло время — и мрем».

В тот деиь, как к Вассе Петровие пришло короткое письмо от Ивана Сергеича, две строчки всего: «Ради детей помирился с жеиой. Прощайте...» — Вассу Петровиу увез лохматый мужик за много верст. Божилась ему, что лечить ие умеет, встал иа колени и стоял, пока ие села в сани. Уже во второй избе вышли деньги, компрессы, лимоны. А тиф был ие в двух — во всех избах! И во все надо было пойти.

И что делала Васса Петровиа? С пустыми руками, без зиаиий, без гроша. Люди с поклоиами, и на коленях, с такою мольбой...

Калеиым железом рвало сердце, огоиь бежал в жилах. Вот вииовного кого-то к ответу, к ответу! За всю эту горькую, звериную жизнь. И сами собой клались руки иа эти горящие детские, бабьи, мужицкие головы, и что говорилось, что? Где с угля прыскала, где воду с сахаром, где стих, где молитву.

. . . .

Шли дни и шли недели, снег протаял. То тут, то там журчала вода под тончайшим льдом. Мыслей не было о своей искалеченной жизни, ни о чем своем. И как это вышло?

Многие чужие жизни вошли, и вот — хоть нет ей первого бала, как для Наташи Ростовой, а для себя одна лишь разбитая первая любовь,— как обострены, как умножены силы, какой многоводною, щедрой рекой течет она, курсисточка Васса Петровна, со скотьим лечебником, без гроша, леча водой с сахаром и — кто разберет их — какими словами! И едут-идут, по избам разносят: «Знахарка приезжая...»

И что удивительно: никогда потом, и после того, как все-таки пришел к ней Иван Сергеич, и долгие годы прожили, никогда таких минут больше не было. Так грозно, так ярко — блистательно.

Значит, в этих минутах правда была, такая, что и сейчас ею бы жить.

Только нет. Там же, тогда же убил эту правду Климов кулак.

Дойдет до этого места Васса Петровна и станет. По самому сердцу хватил, отшиб охоту на «прекрасное, доброе, вечное». Дуракам его сеять. В свою личную жизнь скупо, жадно ушла Васса Петровна. И вот оборвалось — нет жизни. Из-под забора унесли Ивана Сергеича, унесли Ирочку. Долго чернели недвижные туфельки.

А сейчас закрыть глаза: все ярче те пальцы пустые, что без револьвера все щелк, щелк... спускают курок.

Долгую жизнь прожила Васса Петровна, а какую память от этой жизни в могилу ей взять?

Пустые пальцы да Климов рыжий кулак.

IV

Нет слез у Вассы Петровны; как окаменела тогда у окошка, так она и сейчас каменной бабой, ходит ли, сидит ли за работой. А тетя Таня по-старинному ей: «Ты б поплакала, слезой душа разрешается. Раньше смерти грех помирать».

На кладбище идти надо мимо тюрьмы. И перед тюрьмою большая толпа. От самых железных ворот, далеко в пустырь три хвоста хвостят. Трое первых

людей к холодным прутьям голову тесно притиснут — на щеке рубец долго красный,— на минутку родных своих увидят — и назад; на смену им новая тройка. С утра до сумерек этот черед.

А в ответ этим, притиснутым к железу ворот, через двор, напротив, за решеткой окна, одна за одной, как отрубленные,— три головы. На миг выступят — и другие на смену.

Улыбка у всех на зеленом лице, блеснут вдруг глаза, от родных глаз зажгутся. Со стороны — игра как игра. Да у многих она последняя...

Старушонка одна, как турок на земле, пред воротами сидит. Кащеевыми сухими пальцами в прутья вцепилась. На ней ярко-зеленая шляпка-капор, ярко-огневой цветок настурции. Издалека видать, как рябину в зеленой листве. Старушка личиком востреньким всунулась между прутьев. К воротам как винтами привинчена — не согнать. Да ее и не гнали — ни сторожа, ни хвосты. Второй месяц ходит, кому мешает? Весу в ней, ровно в курице,— над головой ее шел черед.

Остановилась тетя Таня, знакомых нашла. А Васса Петровна видит: цветок настурции закивал вдруг кому-то, так вот и бьется на своем стебельке, огненный на ярко-зеленом капоре.

— Это бабушка для внучки такую клумбу надела,— говорит Вассе Петровне все узнавшая тетя Таня,— это чтобы внучка увидела. В окошке она...

Бледная, с светлой косой, еще девочка, кивнула, махнула белым платком, и уж нет ее, лицо чье-то строгое, в пенсне.

А бабушка крепче руками за прутья, остреньким носом в щель пролезть хочет, бьет о железо оранжево-красным цветком на резиновом тонком стебле.

Вдруг на пустом тюремном дворе движенье: вышел главный в галифе, кожаной куртке, приказал сторожам. Откуда-то стали таскать сторожа скамьи, табуреты, обрубки и стулья. Покоем расставили. Подошел один к часовому, сказал: «Отогнать приказано от ворот, выводить скоро будут».

Плач, крики и обморок, и кто-то прямо в лужу на колени.

— Дурачье,— покраснел тот, в галифе. Подбежал, закричал: — Граждане, сделано постановление о совместном фотографировании заключенных с тюрем-

ным персоналом, после чего всем амнистированным воля. Освободите проезд!

Отхлынули от ворот, расселись на камнях в пустыре. Только бабушку не отнять от ворот. Мертвой хваткой взяла прутья, хоть руки отпиливай.

— Из ума выжила,— сказал сторож,— оттащите ее, не то водой отлить надо.

— Чего отливать? На воротах пусть едет с цветником со своим!

Ключом щелкнули молодцы, с визгом двинули широко настежь огромные железные створы. Подмяло бабку, вскочила, и проворно так во двор как юркнет. Поймали. В охапку сгреб сторож, посадил бабку на камни, приказал смотреть в оба. Тетя Таня и Васса Петровна сели рядом, под руки держат. У всех других своя забота, не до чужой им старухи.

Плачет бабка как малый ребенок.

— Чего плачешь, бабушка? Фотографию снимать будут.

Не верит:

— Глаза отводят, убьют их!

И все кругом белые — не верят. Хоть давно ходят слухи: перед уходом этот раз решили не казнить, а всех выпустить.

— Стулья вынесли, посадят, привяжут, и всех — пулеметами.

— Граждане, не создавайте панику,— успокаивает учитель, широкий очкастый человек.— Граждане, для расстрела стульев не нужно, поверьте опыту: два раза ставили к стенке.— И рассказывает...

Принес сторож огромный серый занавес, растянули за стульями на столбах. От серого бабушке новые страхи. Знать, покроют их всех одним саваном...

— Это фон, бабушка, это фон, чтоб фотография удалась.

Огромный автомобиль с начальством, газетчиками с так себе френчами и фотографом. Въезжает, грузно прыгая по камням, в самый двор. Устанавливает фотограф треногий аппарат. С него черным шлейфом свисает до самой земли покрывало. И что-то зловеще-хищное, марсианское в этих отчетливых тонких ногах, в большом ящике вместо головы с ниспадающим черным шлейфом на пустом тюремном дворе, перед пустыми стульями и серым натянутым фоном.

— Пулемет это спрятанный...— шепчет бабушка.

— Пулемет...— говорят в стороне.

— У пулемета не та компетенция,— учит мужчина.— Но чтоб тут не скрылся вновь изобретенный, глазу незримый, смертоубийственный свет — в том божиться не стану.

— Без проволок телеграф провели — очень просто, и свет незримый открыли.

— Когда газами немцы травили...

— Черта с два фотография! Посымают визитные... с головой.

— Граждане, не создавайте панику!

Фотограф будто угадал по долетевшему от ворот гулу, что его аппарат вызывает волнение, засучив рукава, как фокусник, объясняющий фокус, галантно снял черный покров и показал публике обыкновенный фотографический аппарат.

Все успокоились. Только бабка свое:

— Убьет, родимые, свет незримый, убьет!

Вот открыли двери тюрьмы. Один по одному, щурясь от забытого солнца, испуганно двигались люди. Не верили и они. Однако сели на стулья, на пни и поленья. Начальствующее лицо прыгнуло на сиденье автомобиля и стало держать речь. Слова отнес ветер, но по отеческому звуку речи, по мягкому взмаху руки похоже было: так былой предводитель дворянства говорил голодающим речь перед раздачей зерна от казны.

Бабушка высмотрела на бревне свою бледную внучку, вздрогнула — замерла.

Отговорил свою речь начальник — фотограф выбежал маленьким шагом, приподнял покрывало, снял крышку с объектива. Жантильно просчитал: «Раз! Два! Три!» — и, чуть щелкнув, надел крышку снова.

— Шурочка! — крикнула бабушка.— Шурочка...— И, как белка, влетела в ворота и дальше. К бабушке бросились.

На половине тюремного двора старуха крылато взмахнула черными рукавами и легла на бревно. Проалел яркий цветок и потух; сорвался со стебелька.

Бабушку подняли, окружили. Обняла ее свободная, только что сфотографированная вместе с тюремным начальством Шурочка. Не двигалась бабушка. Померла.

V

Живет бледная Шурочка, круглая сирота, у тети Тани. Позаботились об ней люди, и то начальство, что фотографировать всех затеяло, то — особые милости ей оказало. И одета сейчас, и обута, и за ученье взялась, и поправилась: вот радость бы бабушке — прежде-то как нуждались! Только нет ее. Бабушка от фотографии на тюремном дворе померла. А от внучки ее, Шурочки, повеселело в чужом доме.

Стала Васса Петровна на кладбище ходить. И хоть по-старинному верно: от слез душа разрешается,— кому нету слез, не заплачет. У одного горе — вода полая, у другого — смола горючая. Без просвета, тяжко лежит смола, а загорится огнем — сгорит. Кому свет дает,— себе легкость. Только б сгореть ей.

Сидит Васса Петровна на кладбище. Всюду нищий песок, цветов нет, жарко лето, далеко вода, нанять сторожа — нету денег.

Но лучше цветов над этой братской нежно-желтой могилой развевает закат свои цветистые перья, веет ветер и в синюю ночь прямо с неба, как римские свечи, срываются звезды и сгорают, не долетев.

Здесь, на кладбище, Васса Петровна досматривает последнее, что осталось ей досмотреть. Ведь нельзя же так помереть: от личного счастья — в памяти пустые щелкают пальцы — раз, два... от служенья людям — рыжий страшный кулак!

Не на желтой могиле заплакала Васса Петровна, нет, а когда плакать совсем было нечего. Шурочка новое платье надела: «Это первое, говорит, не из старых чехлов; мечта была у бабушки платье на мне такое увидеть». А сама Шурочка уж веселая — свое юность берет. Васса Петровна тут в первый раз горько-горько... И не то что старушку так жаль, а всех как есть на свете. За жизнь эту жалко, за то, что все шатко-валко, сейчас есть — завтра нет, и не понять никому, ничего не понять...

И вот никакая злоба, никакая боль, один такой простор в душе! Любовь покрывающая, как у матери разве. Только бы выпрямить, поддержать, растворить собой эту глупость и горе, только б исправить, не тяжелой, а легкой пусть станет земля.

И тут вдруг Климов кулак Васса Петровна не заметила как простила. То всю жизнь, как камень, носила, от мира широкого отвернулась, в свое личное кошкою прижилась, как все приживаются, чтоб сытней да теплей на своем на домашнем насесте. И вот нету больше насеста, ничего ровно нет, седина снег просыпала... А в душе вдруг, как в самые юные годы, какая вновь сила! Опять грозно так. Так ярко-блистательно. На неравный могучий бой!

Пока человек в котле жизни кипит, разве свою судьбу ему можно понять? И что знает он про себя: когда жив он, когда мертвый? А выплеснет вон, отшибет предсмертным ударом — поймет. Ярлыки привычные всем менять надобно: где скорбь непроглядная — росток жизни новой.

VI

В деревне в последний месяц Васса Петровна отдала свою комнату семье Агафоновых: у них был мороз, и ребята в кори. Ту самую комнату, где с Иван Сергеичем целовались...

Перебралась к Фиминой тетке.

— Морячиха зовется тетя, по дяденьке,— говорит Фима.— В благовещенье дяденька к луже примерз — отдирали, вот и прозвали его Моряком. Страшна Морячиха: ведьмиста, щербата зубом, глаза — зеленые мыши, так и шарят глаза.

— Горницу дешево не отдам — господская горница!

А она — пристройка над черной избой, ветром подбита, с голубиным окном, сквозь щели дым облаками.

Еще письмо от Ивана Сергеича, только деловое: столовую закрывать, помощи нет. За амбары — приедет, расплатится сам после пасхи. Вечером рыжий староста приходил. Хитрил, подхихикивал, к себе опять звал, к чаепитию. И к о. Савелию звал насчет книжек графа Толстого, на особый разговор. И опять ему Васса Петровна:

— Книжки все одобрены, а чай пить люблю дома.

— Сколько курице ни квохтать — петухом не кукарекать!

Уходил староста рыжий и злой, как Малюта Скуратов. У дверей обронил:

— А столовую закрыть тебе в добрый час!

Наутро чуть свет — ватага. Из-за пазухи вынули книжки — хвать об пол: эти книжки от дьявола, не священские — графские!

Швыряют дети толстовские рассказы, Авдотья шепчет на ухо:

— Никто тебе, милушка, яичка теперь не продаст, староста с батюшкой наставляли... скорей, грят, уберется, сомуститница. Антонов мальчишка как стал твою книжку читать — кура-то, кура...

— Что кура?

— Кура снесется — яечко проклюнет. Домекнулись — знамение. Графские книжки разводишь, а он антихрист и есть. Целовальник в казенке доказывал, наш парнишка со шклянкой стоял: знает граф, кто у турка украл гроб господень...

. . . .

Последнюю ночь не спала Васса Петровна. Все о мужиках — как их оставить! Три месяца тут прожила, жизни своей не видала, родных-знакомых забыла. И сейчас одни их дела да болезни... Вот Павлюк кричит: спьяну мышь проглотил, свербит в брюхе мышь, гнездо делает. Вон Клим с тихим, древним лицом. Подошва ноги — не подошва, целина взрытая, раны да струпы. Напоролся в лесу на сучок, на совесть ему колдун заплевал, притер порохом, а оно и прикинься! Дивился Клим, что Васса Петровна чистотой да компрессами ноги к прежнему привела, и, как в бога, в нее поверил. Душу выложил до тайного: как не свою, чужую бабу любил, и как хомуты у тестя пропил, и как не пить зароки давал, и как знать ему надо, что есть на свете. Каждый день ходил Клим: «Уедешь, ну какая мне жизнь опять? Запью горькую в твою память».

Утром к Вассе Петровне пришли все из столовой. Сжались у стенки, затаились, заклубилось в мыслях, вот-вот со зла, с рыву начнут. А что начнут?

Опешила Васса Петровна и без долгого разговора:

— Столовая закрывается, денег у меня нет, уезжаю!

Загугнели, как рой.

— Денег нет? А где жертвенно? Руки липкие, у одного костра греетесь.

В двери сыпались парни, и бабы, и дети.

— С чего заведующий стрекача дал?

— Деньги сбираем мы сами, поймите...— пробует Васса Петровна.

— Мы понимаем, это мы досконально,— щурится сморщенный Вася Сморчок.— Мужику беда, как пыжику; на него и с кровли не каплет! Не видать от вас миру анбарного обеспечения.

— Знать по рылу каких свиней!

Бездельные парни выперли дурачка Петрушку. В руке у него распухший, старый молитвенник:

— А ну, почитай, не рассыпется ль! Да воскреснет бог и да расточатся...

— Графская, графская,— шипят бабы. И юлит, кружит Авдотья курносая, чай с сахаром тащит и ткет бабью свару, подзуживает: «За анбары не плочено, жертвенно не роздано...»

И то вниз съегозит Авдотья, в избу к Морячихе, и там народу полно, то на розвальни сядет, судачит с Сашкой Чувером, до станции нанятым ямщиком.

Увидела Васса Петровна своего Клима с тихим, древним лицом — от души отлегло. И сейчас в суматохе разбинтовала в последний раз бинт, и Клим, ухмыляясь на чистую ногу, сказал:

— Мидаль тебе, Васса Петровна, мидаль за отличие.

А через минуту он самый...

Поцеловалась Васса Петровна с Климом, с ближайшими бабами, взялась за свои вещи.

— Вещи тянет, дядя Моряк! — взвизганула вниз в избу Авдотья.

И сейчас как медведь вверх по лестнице... Вспухшая голова глянула — скрылась. А вслед Морячиха. Ну, ведьма! Седые космы как змеи, зеленый глаз рысью с чемодана на подушки — все ль тут? Прыгнула, вырвала вещи.

— За анбары залог оставляй!

— Ивана Сергеича мало знаете? Он заплатит, он брал...

— Хорош парень, плохого не скажешь,— вымолвил Клим,— а за анбары платить нада, это уж так, дело мирское...

— После пасхи вернется, и заплатит, и столовую снова откроет...

— Держи карман, воротится! Ему мирская башка — тесом крыта. Не подумал — утек. И ты этак-то...

Были тут люди, по доверию приносившие Ивану

Сергеичу на сохранку кровные гроши. Верили больше, чем казначейству. Но сказали и те: не воротится.

— Чего молчишь? — наседает Морячиха на синего от водки, страшного Моряка.— Куроцап, ободрать тебя — и башмаков не выйдет!

Моряк проскрипел:

— Вешши в залог,— и сел на чемодан.

— Што это разорались? — протиснулся Сашка Чувер.— Поедем, што ль, Васса Петровна, а когда безобразие, я урядника призову!

— Сама я не дешевле твово урядника,— взвилась Морячиха,— я земле — владельщица, я дама!

Не робкой кобылы жеребята...

А Вася Сморчок, бочком щурясь:

— Где такой кавалер, а ну, покажись! Егория первой степени за хоробрость. На голове у парня чуть взошло, а под носом и вовсе еще не засеяно!

— Ободрали и втикають...

— От антихриста, графские...

— Забрать вешши в залог! Им што свое, што мирское.

— Едем, што ль, Васса Петровна? — И городской, бывалый Сашка Чувер схватил чемодан, Васса Петровна взялась за подушки.

И вот возможно ли, было ли это? Чей это сильный кулак? Вздутые жилы, рыжие волосы. Поднялся кулак — рраз... Климов кулак.

Ну, а тот, во френче, в кожаной куртке, разве фотографией хотел убить бабушку? Своя у него линия: по его линии на этот раз фотографировать надо. А про то, каков человек, что он знает-думает, кому дело? И нет встреч у людей.

Своя у Вассы Петровны была линия, а против нее своя у мужика была правда, как же им было встретиться?

. . . .

Шить Васса Петровна бросила. Шурочке все свое отдала, взяла узелок легонький, говорит тете Тане:

— Прощайте, я здорова опять, силы много.

Решила к мужикам тем в Булатовку. А как с места двинулась — последнюю свою линию потеряла. Где еще там Булатовка! Разговорилась в вагоне и попала на ближайший завод. Там станет не нужна — пойдет дальше. Своей линии нет — бери кому надо.

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ-ПРИБОЙ

В БУХТЕ «ОТРАДА»

В волнах Балтийского моря мерно покачивался наш пароход, преодолевая встречный ветер и ночной мрак, держа курс к далеким берегам Англии, а в кают-компании при свете электрической лампочки пожилой и полный механик рассказывал мне свою историю.

...Я, если хотите знать,— человек мирный. Во время каких-нибудь скандалов и столкновений других люблю держать нейтралитет. Это уж в моем характере. О политике люблю только послушать, но почти не занимаюсь ею. Для этого, я полагаю, есть другие люди, которые могут протанцевать на острие ножа и не обрезаться. А мое дело — знай работай. Это у меня с детства, из деревни, где вместе с отцом я немало земли переворочал.

Должен сказать, что на военной службе мне везло. Начал я с матроса второй статьи, как полагается нашему брату, а на второй год уже плавал кочегаром. Потом благодаря своему старанию добился, что меня назначили в школу машинистов самостоятельного управления. Через два года успешно кончил ее. Дальше пошло само собой: дослужился до судового кондуктора, а после революции получил звание механика. Правда, для этого мне пришлось потратить двадцать с лишком лет упорного труда. За это время много судов переменил. Плавал на броненосцах, крейсерах, миноносцах, подводных лодках. И, не хвастаясь, скажу, что всю судовую механику на практике прошел

и знаю ее так, как едва ли знает любой мусульманский мулла свой коран.

При царском режиме я не особенно любил власть — она всегда казалась чужой, не народной. Правда, воевал за нее, но только потому, что нельзя было не воевать. А тут еще об измене заговорили. Под яростным натиском немцев ломалась Россия, слезами и кровью истекал народ. Наконец всплыл Гришка Распутин. Все это очень раздражало меня, но не настолько, чтобы я мог зашипеть, как волна у скалы, и стать революционером... Нет, я честно исполнял свою работу.

А революция все-таки пришла, пришла помимо меня. Ураганом налетела она и развеяла всю старую власть, как мусор. Скажу откровенно — в груди моей загорелось новое солнце. Вместе с другими я чувствовал себя перерожденным. Дальше этого мне не хотелось идти. Однако недолго продолжались медовые месяцы. Истории неугодно было справляться с моими желаниями, и она продолжала разворачиваться по-своему. В революционной стране еще раз произошла революция. Потом, как вам уже известно, началась гражданская война.

Все это очень не нравилось мне. Я насторожился.

Еще раз повторяю, что я человек мирный, люблю тишину и покой. И все-таки циклон революции одним крылом захватил и меня. До сих пор не могу без дрожи вспомнить об одном случае, какой выпал на мою долю.

В то время я находился на далекой окраине России — в царстве белых. Отсюда именно поднимались «спасители» отечества. Забряцали сабли, засияли разные погоны, до генеральских включительно. К восставшим присоединились попы, благословляли их на ратный подвиг золотыми крестами и усердно служили молебны. Везде, бывало, только и слышишь:

— За возрождение родины!

Хотели и меня мобилизовать, но этот номер не прошел: я уже отпраздновал сорок девятые именины. Поступил механиком на коммерческий пароход «Лебедь». Судно это было небольшое, в тысячу тонн, и годами чуть ли не ровесник мне.

По-прежнему я строго держался своего правила — сохранять во всем нейтралитет. От политики подальше, а труд, где бы он ни происходил, всегда останется

только на пользу человечества. Так, по крайней мере, я думал тогда.

Мобилизовали моего старшего сына Николая. Прослужил он несколько месяцев, а потом, не будь дурным, взял да и дезертировал из армии. Явился голубь домой.

— Здравствуйте, папа и мама!

Так мы и ахнули с женою. Сколько хлопот наделал нам, сколько страху нагнал на своих родителей.

Что, думаем, теперь делать?

Далеко на севере есть приятель у меня, верный друг — Саим. Решаю отправить сына к нему. Иначе пропадет парень. А там — сам черт его не найдет!

Говорю:

— Поезжай, Николай, к Саиму. Дам денег. Переждешь у него, пока вся эта кровавая суматоха не кончится. А там, глядишь, и домой благополучно вернешься.

Парень он у меня работящий и послушный. Против родителей никогда и ни в чем не возражал. Грех пожаловаться. Любимец мой. А тут заупрямился.

— Не для того,— говорит,— я из армии убежал, чтобы прятаться, как налим под камнем. Я хочу сражаться за правду...

— Какая,— спрашиваю,— тут правда, когда поднялся брат на брата и кровь на свою кровь пошла?

Нет, не уговорить его. Одно — стоит на своем. До слез ведь довел нас с женою.

Ушел в сопки к партизанам.

Тяжелое горе свалилось на мою седую голову. Задумался я. Сделаю рейс, вернусь домой, и что же? Чувствую безотрадную пустоту в своей собственной квартире. Жена в слезах, увидит меня — начинает пилить:

— Брось ты на этих лиходеев работать. Как тебе не стыдно против родного сына идти?

Она у меня из простых, малограмотная, но женщина хорошая.

Возражаю ей:

— Мое судно не военное, а коммерческое. Ты это сама знаешь. Значит, я сохраняю нейтралитет.

— Подумать только, какое слово выдумал! А мне наплевать на твой нейтралитет...

Есть у меня сынишка, Павлик, черноглазый крепыш, такой шустряга, каких мало на свете. Ему тогда только что на пятнадцатый перевалило. Услышав наш разговор с женою, заявляет самым серьезным образом:

— Идем, папа, к партизанам, и больше никаких.

Смотрю на него, сдвинув брови.

— Откуда это тебе в голову пришло?

Обиженно отвечает:

— Егоркин отец вместе с партизанами сражается. А мы что глядим? Буржуям, что ли, продались?

Егорка Сурков на год старше моего сына, дружит с ним. А отец его — бывший токарь из Петрограда, служил машинистом на «Лебеде» и за месяц до этого сбежал с парохода.

Постучал я по столу кулаком.

— Вот что, Павлик, такие мысли выкинь из головы. Чтобы я больше не слыхал об этом. Тебе учиться надо. Слышишь?

Мальчонка насупился, как галчонок в ненастье, и басит.

— Слышу. Я, поди, не глухой.

— Еще что скажешь?

— Трусишь ты...

Обидно мне стало. Щелкнул я его раза два по голове. И что же вы думаете? Вместо того, чтобы испугаться, выпалил мне:

— Я все равно к красным убегу.

Ну, думаю, все на свете пошло вверх торманом. Революция запутывает в хитроумный узел и мою семейную жизнь — не распутать.

Дошло до того, что свет стал не мил. И чуяло сердце, что этим беда не ограничится.

Так и случилось.

Выбрали меня в правление союза моряков. Не хотелось идти на такой ответственный пост и в такое грозное время. Отказывался, долго упирался, — уговорили.

Продолжаю плавать на своем «Лебеде», а после каждого рейса хожу на собрания, общественные дела выполнять. Присматриваюсь вокруг — власть круче и круче заворачивает вправо. А тут еще иностранные войска появились, помогают нашим генералам творить черное дело. Вся жизнь в наморднике, как будто ни-

когда и не было революции. И морякам плохо — прижимают. Работы по горло.

Получаю сведения от Николая. Жив и здоров он. Сообщает, что сила их увеличивается, растет. Я все чаще начинаю задумываться о целях моего сына.

Грозовые тучи нависли над Россией. И вся она — в пожарах и дыму, в крови и в слезах, распинаемая гражданской войной. Шарахается народ из стороны в сторону, от одной власти к другой, добивается своего счастья. А кто доподлинно знает, где скрывается солнце правды? Я только одно замечаю, что история идет своим чередом, движется вперед — не прямо, а с какими-то громаднейшими зигзагами. Куда приведут эти запутанные пути?

Позднее у меня началось прояснение. Правда, я не очень-то восторгался красными. Я понимаю так: пусть в прошлом человек был только кладбищенским сторожем, а революция может поставить его во главе государства, если соответствует у него голова. А тут слишком просто поняли слова из «Интернационала»: «Кто был ничем, тот станет всем...» Отсюда — был баран, стал барон: на автомобиле запузыривает. Другой никуда больше не годен, как только быкам хвосты накручивать, а он в кабинете заседает, и без доклада к нему не входи. Много и других уродств замечал я. Но наряду с этим среди красных есть действительно головы.

Неужели, думаю, они не выведут народа на путь лучшей жизни? Сравниваю: а что среди белых? Одна мутная пузырчатая пена. Что это за «спасители» родины, которые опираются на штыки иностранных войск? Таким образом, постепенно, под влиянием разных событий, мой нейтралитет изветшался и не мог уже больше спасать меня от революции, как дырявый зонтик от дождя. Куда-то нужно примыкать. Мое сочувствие переходит на сторону, где находится старший сын. Я начинаю увлекаться общественной работой. И все чаще произношу: мы, что пришли от полей и фабрик, от рудников и заводов, и они, что спустились с парадных подъездов и нарядились в золотые погоны. Сквозь кровавую мглу уже стала мерещиться другая жизнь, обновленная в купели революции.

Однажды прихожу в союз моряков, а там — засада. Схватили меня, скрутили.

— Механик еще, а негодяем заделался,— говорит один из охранников.

Обычное мое спокойствие взорвалось.

— Я никогда негодяем не был и вам не советую быть.

— Молчать! — кричит тот и браунингом размахивает.— А то сразу заткну глотку свинцом!..

Никогда я раньше не думал, что могу так разозлиться. Выпячиваю грудь, налезаю:

— Не испугаешь. Я уже пожил на свете. Бей!

— Посмотрим, что через несколько дней запоешь.

— Подумайте лучше о том, как бы вам не пришлось запеть вавилонскую песню.

Вот ведь до чего сорвался — сам в петлю полез.

Засадили меня в трюм железной баржи. Нас там набралось человек с полсотни. А с арестованными тогда расправлялись очень просто: уводили баржу в море и выбрасывали людей за борт — рыбам на пищу.

Смотрю на своих товарищей — обреченность в их глазах. И у самого остро ноет сердце. Думается, как теперь дома, знают ли, в каком положении я нахожусь? Никнет моя седая голова, копошатся безотрадные мысли, как пойманные раки в ящике,— нет выхода. Начинаю раскаиваться, что напрасно отступил я от своего постоянного правила — во всем быть осторожнее.

Однажды на военной службе я так же вот сорвался, но сейчас же все дело поправил. В то время я был машинным квартирмейстером. Дело произошло пустяковое. Один мой приятель, тоже машинный квартирмейстер, спрятал на судне бутылку водки, принесенную с берега. Никто об этом не знал, кроме меня. И бутылка все-таки пропала. Встретился я с приятелем на шкафуте. Он вдруг на меня набросился.

— Ты бутылку взял?

Я загорячился.

— Ты что — обалдел? Знаешь ведь, что водку совсем не пью.

Слово за слово — схватились. Он мне два зуба вышиб, а я ему нос набок своротил. Не знаю, до каких пор мы лупили бы друг друга, если бы не услыхали грозный оклик:

— Стойте! Что вы делаете?

Глянули — перед нами старший офицер. Сразу оба вытянулись.

— Играем, ваше высокоблагородие! — первый ответил я.

— Играете? — переспросил старший офицер и посмотрел строго на наши окровавленные физиономии.

— Так точно — играем, ваше высокоблагородие, — подтвердил и мой приятель.

Что оставалось старшему офицеру делать? Расхохотался, схватившись за живот, а нас послал умываться. Таким образом мы избавились от карцера.

С тех пор за всю военную службу у меня ни одного скандала не было.

Однако я отвлекся. Вернусь к своей барже. Два дня просидел я в ней, а на третий вызвали меня на допрос в охранку.

— Что вы, господин Раздольный, делали в правлении союза моряков?

Следователь, штабс-капитан Аносьев, сидит по одну сторону стола, а я по другую. В его лице ничего нет зверского, о чем я понаслышался от других. Напротив, самое безобидное лицо с маленькой русой бородкой и короткими усами. На голове — прямой пробор, такой ровный, точно бритвой по линейке проведен.

Я показание даю спокойно, не торопясь, обдумываю каждое слово. Упираю больше всего на то, что политикой, мол, мы не занимались, что наши задачи чисто экономические. Наворачиваю так складно, точно веревочку вью. Следователь подпер руками голову, слушает устало и смотрит на меня так, как будто во всем со мною соглашается. А потом вдруг спрашивает тихо, почти дружески:

— А где находится ваш старший сын, Николай?

Во рту у меня сразу стало сухо.

— До сих пор в армии служил. Вам об этом лучше знать.

Следователь откинулся на спинку стула и повысил голос:

— Да, мы лучше знаем. Мы знаем, что одно время он скрывался у вас на квартире, а теперь разбойничает вместе с партизанами.

Я почувствовал, что следователь свалил меня в гроб.

— Может быть, господин Раздольный, вам неизвестно и то, что правление союза моряков — и вы в том числе — снабжало партизан оружием?

Надо мною захлопнулась крышка, и нечем стало дышать.

Только и мог я ответить:

— Ничего не знаю.

Раздался новый звонок. Явились вооруженные люди. Штабс-капитан Аносьев, кивнув в мою сторону головой, спокойно приказал:

— Уберите его.

Опять я очутился в железной барже. Таскали и других на допросы. Целую неделю так продолжалось. А потом началась сортировка — кого на свободу, кого в тюрьму. На барже нас осталось всего пятнадцать человек. С этих пор в нашем мрачном трюме поселилась смерть. Люди перестали есть, быстро чернели, часто вскакивали по ночам. Безнадежно было, хоть вздребезги расшиби свою голову. Днем у выходного люка беспрерывно сторожили часовые, а на ночь, кроме того, он закладывался тяжелыми лючинами и запирался на замок. Что нам оставалось делать? Мы ждали-ждали, когда баржу возьмут на буксир и поведут в море. С поразительной ясностью представлялось, как на шею каждого из нас привяжут мешок с углем и начнут выбрасывать за борт. А родственникам сообщат, что арестованных выслали в Советскую Россию. Так, по крайней мере, поступали со всеми, кто попадал в трюм этой страшной баржи до нас. Об этом мы хорошо знали и заранее до дрожи ощущали на себе холод глубокой бездны.

Все съежились и притихли перед неизбежностью. Особенно мучительны были те моменты, когда к барже приближалось какое-нибудь паровое судно. Шум гребных винтов приводил нас в оцепенение. Сердце падало от страшной догадки: не за баржей ли пришли? Бледнели лица, безжизненно отвисали посиневшие губы. Некоторые, не мигая, смотрели пустыми глазами на люк. От страха с двумя началась рвота, как при морской болезни...

Так повторялось каждый день.

В баржу к нам неожиданно попал и машинист Сурков. Его привезли вечером. Это был крупный человек, немного сутулый, но крепкий, как якорная да-

па. Его лохматые волосы были засорены трухой от сена. Он заговорил бойко и весело, точно попал не к смертникам, а на именины:

— Вот и я к вам, товарищи! Здорово бывали!

Все бросились к нему, обступили тесным кольцом.

— Рассказывай, что делается на свете.

— Дела хорошие. Красные войска прут вперед на всех фронтах. Что? Партизаны?

Сурков оглянулся и возбужденно зашептал:

— Скоро у нас будет дивизия. Рабочие и крестьяне — порох. Каждый день прибывают к нам новые люди. И оружие есть. Три дня тому назад и я отправил в отряд полсотни ручных гранат, несколько винтовок и один пулемет. Что? Откуда взял? Солдаты передали и сами перешли к нам. Восемь человек. Караульные. А наша разведка? Каждый день получаем сведения из города. Все знаем, что там делается, знаем даже, что кушают белые генералы. Про одно только не знаю,— куда это запропастился мой сорванец?

— Кто это — сорванец? — осведомились мы у машиниста.

Не отвечая, Сурков вдруг обратился ко мне:

— Ты, старик, ничего не слыхал про своего пистолета?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Да Павлушка-то твой и Егорка мой — где?

Что-то жуткое повисло в трюмном воздухе. Я обалдело смотрел на Суркова, приоткрыв рот. А он, несуразно высокий, нагнулся надо мною, сразу потемнел и выдавил кривыми губами:

— Да, брат, оба исчезли. Не то их арестовали, не то еще что случилось...

Сообщение товарища сдавило мне горло. Как я не сдох в эту ночь? Железное дно баржи показалось необыкновенно холодным. Все тело дрожало, как в лихоманке. Много раз я поднимался, переспрашивал Суркова и снова ложился, оглушенный его ответами. Весь мир представлялся мне в виде сумасшедшего дома...

Днем Сурков заявил нам:

— Раз я засыпался — и засыпался безнадежно,— то мне нечего больше ждать.

— А что можно поделать? — спросил кто-то.

Сурков сжал кулаки. Гневом загорелись коричневые глаза.

— С моей силой да чтобы умирать смиренным ягненком? Нет! Я поступлю иначе...

Он попросился у стражи «оправиться». Его вывели наверх. Вскоре мы услышали рев голосов, топот ног и ружейные выстрелы. Что случилось там? Мы ничего не знали. Только больше уже не видели ни нашего Суркова, ни того курносого часового, что повел его наверх.

После этого другой часовой угрожающе бросил нам:

— Вас всех нужно перерезать.

Пример машиниста не заразил нас. Мы сидели на дне баржи, скрюченные, безвольные, уныло ожидающие своего смертного часа.

На второй день я услышал голос сверху:

— Раздольный! Выходи!

В первый момент мне стало холодно, точно я оброс ледяной корой, но сейчас же бросило в жар.

Когда высадились на берег, я не знал, куда ведут меня часовые. Ноги потеряли свою упругость и гнулись, точно были восковые. Казалось, не тело, а сама душа качалась, как одинокое дерево под ветром. Посмотрел на ласковую синь неба, вдохнул полную грудь свежего сентябрьского воздуха,— стало легче.

Около пристани нас поджидал паровой катер. Минут через пятнадцать я был переброшен на свой «Лебедь». На нем находились офицеры с револьверами и сотни три солдат и кадетов, вооруженных винтовками, пулеметами, ручными гранатами. Кроме того, было десятка полтора лошадей. Отупевшим мозгом я сообразил лишь одно, что моя казнь, очевидно, отсрочена. Все эти люди затеяли какое-то серьезное дело, где мое присутствие необходимо. Но в этом для меня мало было утешительного.

Вместо прежнего капитана судном командовал знакомый лейтенант. Он призвал меня на мостик и заговорил строгим голосом:

— Это я вас вызвал на судно. Смотрите, чтобы все было в исправности. Если хоть что-нибудь заметим, то расчет будет короток. Я надеюсь, что вы понимаете меня...

На момент во мне загорелась надежда, и я умоляюще смотрел на бритое лицо лейтенанта.

— С якоря сниматься через полтора часа. Можете идти.

— Есть! — машинально ответил я.

В сопровождении часового спустился в машинное отделение.

На токарном станке трое машинистов пили чай и мирно разговаривали. Один из них, рослый и развязный человек, по фамилии, как после узнал, Маслобоев, при виде меня весело засмеялся:

— А, господина большевика привели.

Я хотел возразить на это, но смолчал, ибо начал приходить в себя. Спросил только:

— Вы на каком судне плавали раньше?

Маслобоев оказался очень болтливым и отвечал на все охотно.

— Раньше? Хо-хо-хо... Я не плавал, а, можно сказать, летал, летал на сухопутных скороходах. Я передвигал составы в сотню вагонов.

Он навеселе. Глаза у него влажные, а на крупном носу фиолетовые жилки, тонкие, как паутина. Вахта его начинается часа через два.

Еще машинист Позябкин, широкий и тяжеловесный. Этот — угрюмо молчалив, болезненно задумчив. Он стоит на вахте.

Третий — молодой и кудрявый парень. Улыбается широко, смотрит доверчиво. Он как будто сочувствует мне. Ему вступать на свой пост не скоро. Он заявляет:

— Пойду в кубрик: сочинением храповицкого займусь. В случае чего — разбудите меня.

Заглядываю в кочегарку. Часовой не отстает от меня. Там происходит галдеж: судовые кочегары спорят с сухопутными, размахивая кулаками. Я сразу понял, в чем дело. Оказывается, что в одном котле пар поднят до марки, а в другом — стрелка манометра показывает всего лишь шестьдесят фунтов давления.

— Это вам не паровоз, черт возьми! — кричит один судовой кочегар.

— А какая разница? — спрашивает его сухопутный.

— Разница такая, что в этом деле вы понимаете столько же, сколько лангуст в библии.

Потом обращаются ко мне:

— А ну-ка, большевицкий механик, разберите, кто из нас прав.

Из прежней команды — ни одного человека. Очевидно, они все арестованы.

Откуда собрали этих людей?

Я не стал их разбирать, а сейчас же полез на кожух, чтобы соединить пар обоих котлов. Все это сделал в одну минуту. А когда слез, научил кочегаров, как держать пар в котлах. Затем распределил вахту,— оставил только двух человек, а остальных отослал отдыхать,— и вернулся в машинное отделение.

Осматриваю машину. Загрязнена она, в ржавчине и запустении. Испытываю отдельные части, смазываю; привожу все в порядок. Мрачный машинист Позябкин помогает мне довольно добросовестно.

Подвахтенный, машинист Маслобоев, пьет чай и говорит всякий вздор. Одно лишь я замечаю — он очень заинтересован мною, точно я представляю собою редкую диковинку. Пристает с разными вопросами.

— Коммунисты собираются устроить рай на земле и хвалятся, что они все знают. А скажите мне, господин большевик, знаете ли вы, какой в мире самый несчастный ребенок?

Он помолчал, вытянув ко мне длинную шею. Не дождавшись ответа, торжествующе рассмеялся. Потом замахал правой рукой, точно на балалайке заиграл. Я услышал его хрипучий голос:

— Значит, не можете ответить. Хо-хо. Так я вам скажу. В мире самый несчастный ребенок — это поросенок: у него одна только мать — и та свинья. А это потому вы не знаете, что в цирк не ходите...

Но я, не обращая внимания на издевательства Маслобоева, осторожно спрашиваю его:

— Долго нам придется быть в пути?

— Пустое: часов пять.

— Куда же это мы направляемся?

Каждое слово его ершом топорщится у меня под черепом, колет:

— Одно только знаю, что идем партизан лупить. Хо-хо, будет горячее дельце. Алеша, ша! Не пикни! Тут сила...

Из памяти у меня не выходит сын. Поблизости нет других партизан, кроме того лишь отряда, где на-

ходится Николай. Вернее всего — туда именно направляется «Лебедь». В сопках недалеко от моря находятся партизаны. Быть может, они отдыхают. И никто из них не подозревает, что скоро на берег высадится десант, хорошо вооруженный. Окружат их, переловят. А потом начнется расправа. Может случиться даже так, что в последний момент Николай увидит своего отца.

Что он подумает обо мне?

У меня конвульсивно задергались губы.

— А вы, господин большевик, должно быть, кур воровали? — спрашивает меня Маслобоев.

Поворачиваю голову. Качаясь, двоится знакомое лицо с большим носом, насмешливо скалятся зубы.

— Каких кур?

— Не знаете? Хо-хо. Отчего же у вас руки трясутся?

Скоро заработала машина. Немного времени спустя пароход начал покачиваться. Я понял, что мы выходим в открытое море.

Часовой все время смотрит за мной. Помимо винтовки — у него еще ручная граната. За пояс заткнута. Своим присутствием он как бы напоминает мне, что судьба моя решена — смерть. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Сделаю только рейс, а дальше — балласт на шею и в морскую пучину. А тут еще Николай в воображении рисуется: светловолосый, с синими глазами, живой и любознательный; вот он мечтает, подготовившись, поступить в технологический институт, и я ему сочувствую в этом. И что же? Этот здоровый и румяный парень, которому жить бы и жить, скоро будет уничтожен.

Голова моя разваливается от горьких дум.

Я работаю машинально, без участия мозга, только благодаря многолетней практике. Руки сами знают, что нужно делать.

С каждым ударом моря, при каждом крене часовой пугливо озирается. Лицо у него становится бледным, с зеленоватым оттенком, глаза мутнеют. Он положил винтовку на настилку, а сам держится за токарный станок, чтобы не свалиться.

— Чтоб дьяволы слопали вас вместе с кораблем! Ох, до чего мутит...

На машиниста меньше действует качка. Он рассказывает мне:

— Где Зубаревский отряд партизан? Уничтожен. А где Чижаевская шайка? Всю ее переловили и на солнышко посушить повесили. Чудак! Тут пушки, винтовки, пулеметы, а там только дробовики да самодельные пики. Куда уж эти бараны лезут сражаться против львов?

Я стараюсь не слушать Маслобоева, но слова сами назойливо лезут мне в голову. Он кажется мне исчадием ада. Хочется броситься на него, столкнуть его под размах мотыля, чтобы машина окрасилась человеческой кровью. Но я молчу. Только крепче стискиваю зубы.

Маслобоев подходит ко мне ближе.

— Скажи на милость, господин большевик, зачем это ваши коммунисты хотят свергнуть самого бога?

Обыкновенно я очень осторожно и терпеливо относился к религиозным чувствам другого человека. А тут случилось нечто странное. Глаза у меня полезли на лоб. Я придвинулся к машинисту почти вплотную. Он взглянул на меня и сделал шаг назад.

— У вас лицо злое, как морда у рыси.

Как я удержался, чтобы не вцепиться в его горло? Вместо этого я начал шарлатанить.

— Не в этом дело, господин машинист,— говорю я сквозь зубы.— Теперь я задам вам вопрос.

— Ну?

— Жена у вас есть?

— Да.

— А бога любите?

— Бога нельзя не любить: он есть альфа и омега.

— Так. Теперь скажите: что вы стали бы делать, если бы свою жену застали спящей в постели с самим богом?

Маслобоев дернулся, ощетинился и громко крикнул:

— Дьявол!

Он повернулся и быстро полез по железным трапам наверх.

В этот именно момент и родилась у меня мысль, от которой самому стало страшно.

Я попал в неприятельский стан. А война есть война. Не я выдумал ее, будь она трижды проклята.

Тут — кто кого одолеет: если не мы их, то они нас. А сам я что теряю? Впереди у меня так или иначе — черная пасть смерти. Ладно! В таком случае всем могила — на дне моря.

До сих пор не могу понять, что тогда произошло со мною. Я действительно превратился в дьявола.

С холодной ясностью я создавал план уничтожения. Кого? Живых людей. А те, что в сопках скрываются, разве падаль какая? И в окаменевшем сердце не было больше ни чувства жалости, ни угрызений совести.

Вахтенный по-прежнему угрюмо молчал.

— Куда это направляется наше судно? — обратился я к нему.

Позябкин взглянул на меня, как городовой на нищего.

— Об этом спросите у командира,— отрезал он и отвернулся.

Встряхивает бортовая качка. В вентиляторы доносится гул ветра.

Скользко шмыгают в цилиндрах поршни. Лениво ворочаются эксцентрики. Зато усердно размахиваются мотыли, точно не желая отстать один от другого в работе. Напряженно вращается гребной вал. А я под этот привычный шум звуков произвожу свои расчеты, взвешиваю каждую мелочь.

Нужно открыть крышки кингстонов. Море тогда ворвется внутрь судна с невероятной силой. Но этого мало. Чтобы судно погибло, должны водою наполниться и трюмы. А для этого необходимо открыть клинкеты — те железные задвижки, посредством которых машинное отделение соединяется с ближайшими трюмами. А спасательные помпы? Для них немного надо — достаточно несколько ударов кувалды, чтобы вывести их из строя...

Но как это все проделать?

Я смотрю на часового — он лежит пластом, хоть живьем бери его.

Начинает укачиваться и вахтенный. Он мне заявляет:

— Я свои часы отстоял. Пойду искать Маслобоева.

Отвечаю ему очень вежливо, с поклоном:

— Пожалуйста.

Я воспользовался его отсутствием и осмотрел клинкет заднего трюма.

К моей большой радости, он оказался открытым. Мне оставалось сделать только, чтобы не могли его закрыть,— я намотал на резьбу шпинделей проволоку. После этого приготовил около кингстонов кувалду, зубило, ключ для отвинчивания гаек. Сходил в кладовку и на всякий случай захватил с собою пробковый нагрудник. Можно приступить к делу. Но тут приходит мысль, что из этого ничего не выйдет. Меня могут убить раньше, чем я возьмусь за разрушительную работу. А мне хочется бить наверняка, без промаха, хочется видеть гибель противника своими глазами.

На вахту является Маслобоев. Он уже не кажется мне злодеем. Я первый заговорил с ним:

— Ну, что хорошего наверху?

Маслобоев обрадованно замахал рукой, сообщая:

— Эх, разъярилось море! Ветер — беда. Берегов не видно. Наша пехтура валяется вся и корежится, точно холерой заразились. Как вы думаете, господин большевик, после такой встряски могут солдаты сражаться или нет?

— Не знаю. А вот что скажите мне: почему вы величаете меня большевиком? Я даже во сне никогда большевиком не был.

— Рассказывайте! Хо-хо. Сову видно по полету, а лодца — по мыслям.

Он подумал немного и добавил:

— Сколько собака ни крутись, а сзади все хвост останется.

Я учу его, как нужно ощупывать размахивающие мотыли. Без привычки это трудная штука: можно ушибить руку. И удивительно: я беспокоюсь о таком пустяке и нисколько не задумываюсь над тем, что этот человек вместе с другими обречен на смерть. Маслобоев не может молчать.

— Чего только коммунисты добиваются? Не могу понять.

— Да, трудно понять. Для этого нужно иметь в голове, кроме насекомых, еще что-то...

Машинист что-то возражает мне, но я не слушаю его. У меня создается новый план. Решаю взорвать цилиндр.

Мне, как механику, выполнить это ничего не стоит. Тогда машинное отделение превратится в ад кромешный, куда никто не посмеет спуститься для спасения судна. А я буду действовать совершенно свободно...

Раздался свисток. Я пошел к переговорной трубке.

— Сколько машина дает оборотов? — спросил командир.

— Пятьдесят восемь,— ответил я.

Командир рассердился.

— Дайте до семидесяти оборотов!

— Есть. Но должен сказать вам, что кочегары плохо работают.

— Передайте им, что я их арестую...

— Есть!

Я передал кочегарам приказание командира. Они посмеялись надо мною, но все-таки взялись за лопатки и начали подбрасывать уголь в топки.

К осуществлению своего плана я приступил не сразу. Это довольно сложная затея. Вам, как не специалисту, пожалуй, не понять. Но попробую все-таки пояснить. Дело в том, это все работающие части машины построены на принципе точного расчета. Мое дело — нарушить эту точность. Я увеличиваю смазку цилиндров больше, чем следует. Масло, попавшее в цилиндры, поступает потом в холодильник, а оттуда через воздушные насосы и питательные помпы добирается до котлов. Кроме того, я перепитываю левый котел. Все это нужно для того, чтобы получилось вскипание в котле: вода забурлит и вместе с паром бросится в машину. А это поведет к взрыву цилиндра.

Смотрю на водомерное стекло левого котла,— вода в нем достигает на три четверти. Дело идет отлично. С нетерпением жду взрыва, бездушный и холодный, точно кусок железа в мороз. Водомерное стекло начинает белеть,— страшный момент приближается.

Вдруг из глубины души, как со дна моря, всплывает новая мысль: отставить все это. Потопить корабль я успею в любое время. Мне нужно посмотреть сражение. И еще вопрос: куда мы идем? Вернее всего, я здесь слукавил перед самим собою: просто мне хотелось еще пожить час-другой.

Я убавил ход машины и побежал в кочегарку.

— Закройте поддувало левого котла! — крикнул я.— Убавьте огонь! Нам грозит опасность...

На этот раз кочегары быстро исполнили мое приказание. Вероятно, и в голосе и в выражении лица они почувствовали тревогу.

Я вернулся в машину и устало опустился на табуретку. Отдохнул, прислушиваясь к гулу моря. Потом, когда опасность миновала, увеличил ход машины.

Маслобоев опять пристает ко мне с разговорами.

— Слышал я, что в вашем коммунистическом царстве обедают наизусть! Правда это?

— А здесь? — спрашиваю я.

— У нас пока слава богу. А в случае чего — иностранцы помогут.

Иностранцы — мое больное место. Я раздраженно кричу:

— За что? За ваши глаза?

— Это неважно, за что. Но помогают и будут помогать.

— Они так помогут, что у каждого русского человека от жилетки одни рукава останутся.

Мы разговаривали так до тех пор, пока не прекратилась качка. Вой в вентиляторах точно оборвался. Машинист сорвался с места.

— Пойду взглянуть, что делается наверху.

Поднялся с мостика и мой телохранитель, весь грязный и все еще похожий на зачумленного.

Несколько раз звякал машинный телеграф, передавая распоряжения с мостика. Я останавливал машину, потом давал ход назад и опять повертывал регулятор на «стоп». Немного погодя послышался грохот якорного каната. В машинном отделении стало тихо.

— Кончилось, что ли, наше путешествие? — спросил часовой, оправляясь от морской болезни.

— Об этом знают только на мостике.

— Чтобы провалиться в тартарары вашему кораблю. Пусть на нем водяные лешие плавают, а не люди.

Я только теперь заметил, что лицо у него добродушно-пухлое, обросшее щетиной, с наивной прозрачностью в широко открытых глазах. Этот парень, проживший на свете лет двадцать пять, по-видимому, ничего не понимал в российских событиях. Что-то кольнуло в груди, но я остался тверд в своем решении.

Спрашиваю:

— Не понравилось плавать?

— Хорошо, что служу на берегу. Пропал бы я в море.

Является Маслобоев.

— Вот это новость! Одного партизана уже видели. На велосипеде появился между сопок. Вот жулики — разведку поставили, а? Точно настоящие воины. А только как увидел, что тут прибыли не в жмурки играть,— эх, и стрекача задал назад! Где же им против нас! Одно только им остается — смазывай пятки и в лес...

Я напрягаю всю силу воли, чтобы не выдать своего волнения.

Вставляю с напускным равнодушием:

— Значит, никакого сражения не будет.

— А для чего лошади взяты? Догонять. Там уже начинают шлюпки спускать.

Топот ног и отдельные выкрики доносятся сверху, подтверждают слова Маслобоева, пронизывают тело как электрическим током. Но меня интересует другое. Спрашиваю, как бы между прочим:

— Где это мы остановились?

— В бухте... Как она, шут возьми, называется? Да, бухта «Отрада». Кругом сопки. Дикое место...

Машинист еще что-то говорил, но я ничего уже не понимал. Мы пришли туда, где находится мой сын. Недалеко начинается глухая тайга. В ней скрывались партизаны. Отсюда делали набеги на села, уничтожая милицию и вооружаясь. Об этом я знаю из последнего сообщения Николая. Он уверен был, что их ни за что не найдут. Но их открыли. Сейчас начнут уничтожать.

Стучало в висках, а в голове — точно размахивались мотыли. Сколько времени прошло? Я не отдавал себе отчета. Послышались первые выстрелы. Наверху топали люди, что-то кричали. Машинист убегал и возвращался обратно. Ему обязательно нужно было поделиться с кем-нибудь новостями. Он дергался, суетился, размахивая руками. Я не понимал его... А потом в помутившемся сознании вырос один вопрос, до боли расширяя череп, страшно мучительный,— почему я не потопил корабль в пути? Рушились надежды. Уязвленный, я стоял, как в столбняке.

Фуражка слетела с моей головы. Я поднял ее, посмотрел. А когда увидел маленькую дырку в козырь-

ке, понял: через световой люк влетела пуля, ударилась о железо и сделала рикошет.

— Хорошо, что голову не задела,— заботливо отозвался Маслобоев.

Это меня отрезвило. Я взял себя в руки. Нет, от своего плана я не откажусь. Все стало ясно, как в морозное утро.

Оказалось, что не успел десант отплыть на шлюпках от борта, как партизаны, спрятавшиеся в сопках, засыпали его огнем.

Это было настолько неожиданно, что белые растерялись. Они бросили шлюпки и забрались на пароход. Все спрятались в трюмах. Я сам услышал крики раненых.

Машинист рассказывал мне дальше беззлобно, даже как будто восторгаясь:

— Вот это стрелки! Только вышел командир на мостик — бац! Готов. Прямо в сердце. Помощника его — то же самое. Никому нельзя наверху показаться. Ах, жулики! Я думаю — у них охотников много. Те могут одной дробинкой убить белку прямо в глаз, чтобы шкурку не испортить. Навык большой. А что вы думаете на этот счет?

— Мое дело маленькое. Я ничего не думаю.

Часовой поднимал прозрачные глаза и ожидающе смотрел на световой люк.

Дикое злорадство охватывает меня. Война есть война.

Мне нельзя терять времени. Я приказываю поддерживать в котлах пар до отказа. Они дрожат. И в груди моей все дрожит. Я превратился в азартного картежника. На кону — вместо золота — триста человеческих жизней. Никто из них не подозревает, что участь их решена. В этой вот седой голове, под костяным черепом, остались одни козыри. Выигрыш обеспечен.

Не будучи наверху, я все-таки хорошо представлял себе, как обстоит там дело. Никто не мог подняться на мостик, чтобы занять командный пост. А о поднятии якоря нечего было и думать. Положение для белых создалось безвыходное.

Наконец одному мичману удалось ползком пробраться в машину. Он поместился на верхней площадке около дверей и оттуда начал командовать:

— Механик! Полный назад!

Для меня ясно стало, что хотят выбраться из бухты, не поднимая якоря. Но я не так глуп, чтобы пустить машину во всю силу.

В свою очередь, я приказал машинисту:

— Скажите кочегарам, чтобы шуровали хорошенько. Иначе нам не выбраться из этой кутерьмы.

— Хорошо,— ответил он и кинулся в кочегарку без разговора.

Я успел крикнуть ему вдогонку:

— И вы сами последите за ними!

Мною сделано все, чтобы взорвать цилиндр. Я с нетерпением косился на водомерное стекло. У меня было такое чувство, как будто я схватил противника за горло и оставалось только придушить его.

Мельком взглянул на часового. Он поднялся по трапу на несколько ступенек и остановился. Для чего-то пощупал гранату за поясом и запрокинул голову, глядя вверх.

— Полный вперед! — доносился до меня тревожный голос того же мичмана.

Я передвигал регуляторы. Машина работала. «Лебедь» дрожал, точно чувствовал приближение грозы.

Якорь, по-видимому, крепко вцепился железными лапами за грунт. Судно могло двигаться взад и вперед лишь на том расстоянии, на какое позволяла ему длина каната. Мы болтались так, меняя ход, довольно долго.

Вдруг я заметил, что вода в водомерном стекле запузырилась. Немного погодя оно побелело, точно налитое молоком. Сейчас должен быть конец. Несколько минут осталось жизни.

«Война есть война!» — с хладнокровием повторял я про себя.

Я пустил машину на полный ход.

Якорный канат не выдержал — лопнул.

Офицер торжествующе заорал:

— Наконец-то, черт возьми, пошли!

Он высунул голову из машинного отделения наружу и высоким срывающимся голосом распорядился:

— Передайте рулевому в рубке — пусть правит в море!

В машине послышался толчок, потом другой, сильнее. Я догадался, что это значит. Успел прыгнуть за дверь кочегарного отделения. Раздался удар, точно из

пушки, за ним второй, более резкий, с металлическим звоном. Крышка цилиндра от высокого давления вырвалась и с грохотом обрушилась вниз. Все машинное отделение наполнилось паром, довольно горячим даже внизу. Он травился со страшной силой, с свистящим шипением. Создавался такой шум, в котором глохли крики обезумевших людей.

Точно сквозь туман я увидел, что внизу на железной настилке что-то копошилось. Подошел ближе, нагнулся. Это оказался часовой с разорванным животом — он извивался, пытался вскочить и опрокидывался. Вспомнилась граната, заткнутая за пояс.

На мгновение я оцепенел, но тут же бросился к левому борту, туда, где находились кингстоны. На пути увидел свалившегося мичмана. Он еле ворочался, разбитый и ошпаренный. Работать мне пришлось вслепую, в клубах обжигающего пара. Привычные руки быстро отвинчивали гайки. Одна лишь мысль сверлила мозг — скорее, скорее. Наконец крышки кингстонов были отброшены напором воды. Она с ревом начала врываться внутрь судна. Что мне еще оставалось выполнить? Я схватил кувалду и начал колотить по золотниковым штокам спасательной помпы. Замысел мой осуществился полностью. Никто больше не спасет судна. Триста человек вычеркнуты из жизни. Как бы желая убедиться в этом, я с минуту постоял на одном месте. Рев воды смешался с свистящим шипением пара. Я слушал эту музыку, стиснув зубы. Все шло ладно, как нельзя лучше.

Осматриваюсь. Мичман лежит трупом. Нагнувшись, перехожу к другому борту. Темным пятном выделяется распластанный часовой. Я почему-то говорю ему, мертвому:

— Так-то, брат.

Больше мне нечего делать. Остальное пойдет само собой. Нужно попробовать, нельзя ли спастись. Под настилкой у меня спрятан пробковый нагрудник. Я схватил его и бегу в кочегарное отделение. Здесь ни одного человека. Очевидно, все побежали по трапу, непосредственно соединяющемуся с верхней палубой.

Прежде всего надо освободить топки от огня. Это уменьшит шансы на взрыв котлов. С гребком в руках я работаю за пятерых, обливаясь потом. Над настилкой показалась вода, поднимается все выше и выше.

«Лебедь» накренился на левый борт, беспомощный и жалкий. Но у меня в душе ни чувства страха, ни раскаяния.

Когда вода залила топки, я остановился и прислушался. Из машины все еще доносился шум вырывающегося пара. Над головою ржали лошади, с дикими воплями кричали люди. Я отчетливо представлял положение противника. Оно было безнадежным. На судне оставаться нельзя: оно само погибало. Белые бросались за борт, искали спасенья в воде, постепенно проваливаясь в пучину. А с берега ловкие стрелки без промаха разбивали черепа и вонзали штыки в тела тех, кто достигал подножия сопок.

Я надел на себя пробковый нагрудник. Подождал немного, пока еще не поднялась вода. А потом открыл люк прогара и полез в дымовую трубу. Крики наверху реже.

Проходит еще некоторое время. Котлы покрываются водою. Судно, избавившись от крена, стоит прямо. Пар исчез. В отверстие трубы виднеется круглый кусок потемневшего неба. Загораются звезды. Должно быть, наступает ночь. Вокруг меня что-то жутко бурлит. Это вырывается наружу где-то задержавшийся воздух.

Я подсчитываю шансы на спасение. Сколько их? Пять из сотни. Нет, меньше. Почему-то кажется, что сейчас взорвутся котлы. Взлечу на воздух. Есть и другая опасность: корабль может сесть на мель, тогда мне не выбраться из этой черной дыры. А я уже плаваю в железном круге, диаметр которого не больше двух аршин, и коченею от холода. Зябко стучат зубы.

Всхрапывают лошади. Кто-то надрывно тянет:

— Товарищи... Спасите...

Другой хрипло умоляет:

— Глоточек воды... В груди жжет...

Это остались на палубе раненые. Стоны их терзают мозг, выворачивают душу. Уничтожены триста человек. Я — главный виновник их гибели.

А у них, как и у меня, тоже есть жены и дети, есть матери.

Я запрокидываю голову и смотрю в небо. Бесстрастно горят далекие лампады. Я спрашиваю, точно делая кому-то вызов:

— Ну что?

Нет, ничего мне не осталось, как только разбить свой череп об эту проклятую трубу.

Но тут, как всегда, всплывает лукавая мысль. Она оправдывает какое угодно действие. Вспоминаются товарищи, что остались закупоренными в барже.

«Лебедь» вдруг качнулся, вздрогнул, точно испугался своей гибели. Под ним расступилась вода. Он с гулом начал проваливаться. В ужасе заржали лошади, бросая к звездам последний свой крик. Сверху, через трубу, ухнув, обрушилась вода, смяла своею тяжестью. Я завертелся в водовороте, опускаясь вместе с кораблем на дно.

Пробочный нагрудник выбросил меня на поверхность. С забитыми легкими, задыхаясь, я поплыл к ближайшему берегу.

Как выдержали мои мускулы? Как не оборвались нервы?

Вдали, у подножия сопок, виднелись пылающие костры. Мелькнула догадка, что это лагерь партизан. Раздавленный и закоченевший, я полз туда, как собака с перешибленным хребтом, полз вдоль берега и орал до хрипоты.

— Стой, чертова голова! — раздался вдруг грозный окрик.— Куда прешь?

Остро нацелились штыки, готовые вонзиться в мое полумертвое тело. Я почувствовал отвратительный холод стали. Проваливаясь куда-то, слепой, я успел простонать:

— Где сын мой, Раздольный?

Показалось, что я опять очутился в черной трубе. Страшный водоворот крутил и затягивал меня вниз. Но чьи-то руки крепко охватили за плечи, трясли. Я отчетливо услышал голос:

— А, вот он где нашелся...

Меня подхватили на руки и куда-то понесли. Я качался, как на волнах. Одна лишь мысль тяжело ворочалась в голове: как можно ходить по воде? А когда увидел костры и людей, начал кричать, что «Лебедь» потоплен мною. Скалились лица, сотни лиц, кружились фигуры, пожимали мне руки, тормошили. Николай почему-то превращался в Павлика, а потом Павлик вырастал в Николая. И все это провалилось в тьму, как в угольную яму. На смену явились кошмарные видения. Так продолжалось до утра.

Я удивился, что на мне чужая сухая одежда. Ветер ласкал лицо. Вершины деревьев чертили ясную синь неба. В шум тайги странно вплетались человеческие голоса. И еще больше удивился, что вместо Николая около меня крутился Павлик, а рядом с ним стоял Егорка.

— Папа, мы знали, что «Лебедь» идет к нам,— восторженно сообщил Павлик.

— Как ты очутился здесь? — спросил я, задыхаясь от радостного волнения.

— А нас с Егоркой привел — знаешь кто? Товарищ Евсеенко. Помнишь — рулевой с «Лебедя»? Мы теперь с Егоркой костры разводим и чай кипятим для партизан. Нам самый главный начальник поручил это дело. Честное слово! А Николая выбрали начальником штаба. Какой он сердитый стал! А уж задается! Через губу больше не плюет...

Павлик торопился рассказать мне все, что ему известно. А я, все еще больной, с трудом воспринимал действительность, плохо верил в то, что нахожусь на твердой земле, среди партизан.

В стороне стояли пленные, окруженные часовыми. Их набралось человек сорок. Это были люди с того света. Николай, сурово-возмужалый, не похожий на прежнего наивного подростка, производил над ними следствие. Смутно помню, как сортировали пленных. Из одной кучки смотрел на меня Маслобоев, пришибленный и скучный, как безнадежный пациент в ожидании доктора.

— Отпустите его на все четыре стороны,— попросил я за машиниста.

Партизаны немного подумали и объявили Маслобоеву о моем желании. Он поднял голову, оглядел всех воскресшими глазами.

— Товарищи! Я по глупости своей был на другой стороне. А теперь прошу — можно мне остаться с вами?

Одобрительно заревели голоса.

Из пленных человек десять повели в сторону.

Тайга огласилась дикими воплями.

Недалеко, в окружении щетинистых сопок, голубела бухта «Отрада». От парохода «Лебедь» виднелась лишь верхняя часть мачты. Она поднималась над водою крестом, как символ разыгравшейся здесь трагедии.

ИВАН КАСАТКИН

ЛЕТУЧИЙ ОСИП

I

Вечером мы разместили в вокзале раненых и, утомленные боем, расположились на лугу в ожидании каши. Как вдруг со стороны леса появился Летучий Осип.

— Братцы, Осип! — разнеслось тут и там по луговине.— Летучий Осип!

— Где, где? — завертели головами новички из партизан.— Какой Осип?

— Гляди не ртом... Вона!

— А и впрямь он! — кто-то обрадовался из старых, вскочил, сунул ложку за голенище и заорал: — Он самый! Осип! Летучий дьявол...

— Я же тебе и говорю — он!

— Жив, уральская кость...

— Ну, братцы, раз Осип заявился, будет дельце!

— Осип зря не ходит, знамо.

— Я же тебе и говорю, раз заявился...

Высокого роста человек в армяке приближался по насыпи, обходя кучи шпал и рельсов разобранного пути. Полы армяка клинообразно подоткнуты за пояс, рыжий картуз на голове съехал тульей вперед. По лаптям видно было, что этот человек прошел немало места.

Подойдя к нам вплотную, медленно снял картуз, поклонился этак на две стороны, и по изрытому оспой лицу прошла улыбка.

Остуженным голосом спросил:

— Свои?
— А то чьи? Вот чудак!
— Ося, аль не признал?
— А мы тебя — э-эва где заприметили!
Тот опять улыбнулся простецкой улыбкой, ладонью по лицу провел, будто паутину смахнул. И неожиданно твердо, по-военному, спросил:
— Какая часть? Чья?
Мы весело и наперебой назвали свою часть, еще веселей сообщили расположение только что отброшенного противника.

А тот, с ложкой за голенищем, налезая нос к носу, как через поле орал:

— Осип! милой! Разве забыл? Ты же нас под Сабановым в обход вел! В те поры неприятелю в тыл как вдарили-и... ых, мать их люби!.. Вдребезги расшибли!

Устало опершись на телегу, Осип качал головой, навертывая свалявшуюся сосками бороду на палец: дескать, не припомню.

— Под Сабановым... Погоди...— начал он тереть нос с прорванной ноздрей.— А не у вас ли в отряде Соколов? Кирсаном звать?

— Вот и признал! — обрадовался тот, с ложкой за голенищем.— Где ж и быть Кирсану!.. Знамо, у нас!
— Соколов у нас! — кричали со всех сторон, окружая Осипа.— Тута Соколов! Только, значит, раненый. Нынче ночью! Чижоло! На вагзале он, Соколов-то!
В это время как раз подъехала в котлах каша. Ребята рванулись. Загремели котелки. Кашевары замахали черпаками.

— В очередь, в очередь! Держи, ошпарю!
А Осип, накрутив бороду на палец, двинулся к вокзалу: отказался и от горячей каши.
— Травить свои раны пошел,— кто-то сказал из старых, бережно подставляя ладонь под заносимую в рот ложку.— Соколов-то, ребята, самый что ни на есть очевидец был, то есть тому, как Осипова семья, значит, натло была изничтожена... То есть белыми, значит... Вот он и помнит Соколова. Еще бы! Суседи они были.
— Умрет Соколов-то,— дуя на дымящуюся кашу и вытаращивая глаза, сказал безусый малый. Забрал

кашу с ложки в рот и, обжигаясь, пояснил: — Лехкое жадела пуля, аж шпину нашкрось прохватила...

— Не подавись сам-то ты «нашкрось»,— передразнил его сосед.— Проглоти сперва.

Осип скоро вышел из вокзала.

Соколов в забытьи лежал. Растрясло на подводе. Сестра, что там дежурила, просила не тревожить.

Осип присел на шпалину, будто дремать собрался. Ему дали котелок каши. Иные приступили было с расспросами. Но тот, отодвинув кашу, вдруг как бы спохватился о чем и встал.

— Мне надобно в штаб. Где штаб?

— Да ты поел бы, кашки-то!.. Ах, какой ведь!

— Нельзя, дело есть,— буркнул тот.

А видно, что голоден был. Пока мы устанавливали на рельсы дрезину, чтоб представить его в штаб, он прямо руками съел горсти две каши.

На дрезине, не успела она еще отъехать, Осип заснул, опустив голову меж колен.

2

Тем разом стемнело. Обозначились звезды. Майские жуки пулями жикали над нашим бивуаком. На лугу люди разлеглись врастяжку и всяко. Тут да там золотым глазком вспыхнет цигарка.

В лесу, как в бочку, ухала выпь.

— Да, всякие бывают человеки...— вздохнул уралец Бабушкин, земляк Соколова.— Осип смерти ищет... Не примает она его! Рыщет по всем фронтам. На рожон пер, в огонь кидался... не примает! Видели заметочку — нос рваный?.. Это белые словили раз его у себя чуть не в штабе. В те поры его в землю чуть не по самые плечи зарыли... А в ноздрю-то продели ржавый гвоздь, да вот так... и вывернули с мясом.

— Говоришь, смерти ищет,— ввязался один из молодых.— А на кой хрен она ему сдалась, смерть самая? Ты чего-то путаешь, дядя...

Бабушкин помолчал, приглядываясь к серпу месяца, что застрял в ветвях лесных вершин.

— Бывает, и смерть сладка,— сказал он потом.— Только иному добыть ее трудно. Кто смерти радеет, того, как на грех, она милует. А кто прячется от нее,

глядишь, уже под кустом лежит и глазыньки закатил, миляга...

— Дядюш, а ты толком расскажи... про Осипа-то. Почему прозвание ему — Летучий?

— Я ж и говорю: летает по всем фронтам, смерти ищет, а она — от него. Понял?.. Он такой: неприятелю в самую середку ходит, все планты ихние там дознает да вынюхает. А как в бой идти, везде первый, впереди всех, зверь зверем... А на роздыхе—как вот сейчас — мы, значит, гогочем, веселимся, а он, Осип-то,— смурый... Где-нибудь этак в уголочке, один, видно: тоскует. А уж ежели тоска, первое его удовольствие — на гитаре играть. Играть он, конешно, не умеет, а так только струнки щиплет. Опустит голову ниже некуда и этак дренькает потихонечку. Тут ты его, брат, не тревожь. Раз я подсел к нему, гляжу... Эй, да вы никак дрыхнете?

— Не-ет... которые с устатку только.

— А ты, дядя, знай рассказывай. Семаков, Мить, дай-ко на цигарочку... Ах, спит, леший!

— И то спать пора,— лениво зевнул Бабушкин.— А Осип, заметь, ребята, золотой человек. Умница, прямо сказать. Уралец он, с завода. Когда в этих местах появились белые,— заметь, он всю уральскую округу противу их поднял. А как отступили наши, те озверели — уух!.. И давай крошить, даже, прямо сказать, младенцев... Рабочева люду без числа погибло. Глаза выкалывали, гвозди в мозга вколачивали. Ежели кого изловят в лесу, тут же, значит, на деревьях и вешали. В те самые поры они, как дознались, что за птица Баев — Осипова-то фамиль: Баев,— так сразу изничтожили всю его семью, то есть и жену и малолетков. Соколов, бывало, зачнет рассказывать — волосья дыбом...

Бабушкин посовал ногтем в трубку и чиркнул спичкой. Огонек вспыхнул и посветил выше головы. Ребята спали кто как. Лишь Васяга Грач, самый молоденький, поставя лицо в ладони, широкими глазами глядел Бабушкину прямо в бороду.

— Дядюш,— тихо и раздумчиво говорит Васяга,— а Осип-то какой чудной... Стра-ашный... Ноздрей-то рваной да бровью бесперечь этак дергает... и быдто скалится. Я приметил... Он вроде демона. Свире-епый!

— Ну-у, нашел свирепова... Младенец он, Осип-то. Душа у него, парень, ежели прямо говорить, святая.

Мягше человека не найти. Знамо, тоскует... по семье тоись. Ему бы помереть, да храбрых и смерть уважает. А это ты верно: вроде как демон... Либо полуношная дикая кошка, вот что в лесах у нас водится. И заметь, пролет еще он крови... этих... самых...

Знать, уснул и Бабушкин. Васяга лег навытяжку, руки закинул под голову и глядит на высоко поднявшийся серпок луны.

В лесу все еще ухала выпь. Над лугом жалобно пели комары, гудели жуки майские.

3

Стряпухи в селенье, под которым мы остановились, видно, не спали всю ночь: заутра натащили нам жареного и пареного, только держись!

Нам, одичалым в переходах и боях, это был как есть праздник. Мы козырем расхаживали вдоль селения. Девушки и женщины, выглядываючи из окон и калиток, улыбками и помахиванием рук зазывали нас в каждый дом на угощение.

— Зайдите, отведайте нашего-то!

— Чай, наголодались, измаялись!

— Самоварчик на столе... Заверните!

А к полдням нахлынули и окрестные мужики с возами всякого добра. Народу привалило уйма: старики и молодежь, женщины и дети. Скружили нас видимо-невидимо. Ай, да уральцы! То есть, видим, душой-то к нам льнут, а не к врагу. Советский народ!

Глядим, этак улыбаючись во всю рожу, выходят в круг здоровенные ребята и спрашивают:

— Куда бы нам тута приткнуться?

Добровольцы, видишь ли, в бок им лихоманку. Неизвестно кто, отколь, на плече у каждого новенькое ружье, даже маслом смазано, так и блестит. У иного на штыке, глядим, этак и бантик красненький. Ах, дуй их горой!

Шум, суматоха, смех...

— Ребята, гляди... старичок-то!

— Дедуш, аль воевать вздумал?

— Што ж... у меня, мать честна, глаз зо-оркой!

— Девушки, молодки, отшатнись — сарафаны порвем!

Глядим, четыре молодца выкатывают пулемет. Курносый детина, вытерши шапкой с лица пот, говорит:

— Куда бы нам вот с этим, с кашлюном, определиться?

— Давай, давай сюда!

— Ого-го-ооо!

— Ну и бара-аан!

— Ничего, в горах прочихается!

— То-то заквокает!..

— В овине, под соломой отдохнул...

— Хе, хе... Держись теперь кондра-революция!

А вечером явился из штаба Осип с вестью: не торопясь, готовься к наступлению. Через денек-де выступим.

Ладно, очень даже хорошо, к походу не привыкать.

Осип, значит, верхом на меринке буланом, в кожанке и сапогах, сбоку же длиннущий револьвер. Армяка на Осипе нет и в помине, а рыжий картуз остался без смены, так и нахлюпился всей тульей вперед.

Сейчас же на дрезинах с материалами полетела куда-то вперед ремонтная бригада. Осип наш глядит, прямо герой — козырем туда-сюда, распоряжения дает, то-се... Против вчерашнего — совсем другой!

Наступила и ночь, а спать заваливаться не всякому хотелось. Молодежь — та врассыпную по улочкам, кто куда. В домишках — огни, угощенья, лясы...

Месяц уже высоко закинулся, в лесу опять ухала выпь, тоже и соловьи не зевали. А мы — кто за плетнем, кто у калитки, кто прямо в углу — воркуем с девьём парочками. Ах, и разлюбезные там девки!..

На лугу, у костра ярилась трехрядная гармонь, и наши вперемежку оттопывали то комаря, то барыню.

4

В то же время на вокзале, согнувшись над ранеными, что на полу лежали, Летучий Осип говорил Соколову:

— Друг... умрешь ты, я вижу... Расскажи о моих-то...

Месяц глядел в изрешеченное пулями окно. Зеленоватый свет клал тень от рамы на пол. Стонали и бредили раненые.

Соколов деревянно вытянулся под шинелью. Мол-

чал. В горле, внутри ли у него бесперечь клекотало, переливалось. Лицо в свете луны было мертвецкое, зеленое.

— Не трави себя-я-я...— замогильно откликнулся Соколов.— Откуда явился?..

Осип склонился над Соколовым еще ниже и давай тому рассказывать, как он только что был у врага в тылу, в самой столице Урала, все разведал, все вынюхал, чтоб в самое темя ударить.

— А оттуда,— говорил Осип,— головы не щадя на Исетские пробрался, на пепелище свое. Ночью это было... подполз к дому своему. В окошко глянул... Пусто. Тихо... И так больно стало... Понимаешь, целовал окошко, крыльцо целовал... Дружок... Как это все было? Расскажи...

И Соколов, делая долгие передышки, начал говорить, как в тот раз белые ворвались в селенье, как от шептунов дознались, что по округе Осип был всему голова, как нагрянули к его дому.

— Не видел я, не знаю, что там, в дому, было. Ну только они женку твою, то есть Наташу, выволокли на крыльцо. Вижу, растерзанная, то есть груди голые, вся порвана в лоскутки... Маленький на руках у ней, а Васятка за подол цепится. Верещат оба на всю улицу... Офицеришка горячий, петушится,— дескать, эти щенки мешают ему этой суке-де вопросы ставить... Обернулся к солдату, кричит: вздень обоих на штык!.. Солдат шатнулся, попятился, рыженький, как сейчас вижу, глазами: миг-миг... Офицеришко ему в зубы, да еще раз, прямо по веснушкам, сплеча... Выхватил маленького, жваркнул обземь, как рыбку... А солдат самый, уж вроде как с испугу, Васятку штыком этак, к примеру... Ну, тут женка твоя, Наташа, то есть, самым что ни на есть нехорошим голосом как завизжит-завизжит, да на офицера ястребом и в горло ему... руками, зубами... Оо-охх...

Задохнулся Соколов, отдыхивается, в груди клекочет, кипит.

Осип склонился над ним, круто сбычил голову, дрожит мелкой дрожью, колючей дрожью дрожит, в пол кулаками опираясь.

А Соколов тихо, будто сон рассказывая, продолжал:

— Он, сволочь, Наташу одной рукой этак за косы... другая рука, вижу, тянет револьвер из кобуры. Васят-

ка в ногах у него чепыхался, то есть прямо за штанину евоную тянет, аж посинел с натуги... Офицеришко спрохвался, пальнул вниз, под ноги. Васятка смяк, покатился с приступков, руками вперед, рубашонка заголилась...

Соколов начал загребать пальцами одеяло и как бы прислушался внутрь себя.

— Он бы, вгорячах, и ее пристрелил... Это бы куда легше ей было. Да вот быть греху. Подоспели тут еще двое этаких... Мундиры синие, с золотой оторочкой, галуны на грудях. Один-то в очках не в очках — стеклышко сунуто в одном глазу... Сгребли ее, Наташу, положили лицом вниз. Значит, двое сели на нее, заголили да нагайкой... И как вырвалась она, не знаю... Ну, только того, со стеклышком в глазу который, прямо в рожу вдарила... Тот — ух, осатанел... На тонкий голос юзжит солдатам: теши кол, растак вас!.. по-матерному. И сам же хватает березовый дрючок, что около поленницы, у забора... Теши, кричит, вострее!

Как рыба на песке, Соколов жадно заглотал воздух, видимо, волнуясь.

— И вот... вкопали, сволочи, этот кол в землю, вострием кверху... Содрали с Наташи все до лоскута... И голую, живую... на кол... Понимаешь?.. Васятку и маленького, мертвых, поклали ей под ноги... Так она и была тут день и ночь, на колу... Сымать не давали... Тайком ревел народ, глядючи...

Отвернулся Соколов. Крючковатой рукой сгреб край подушки, сипел грудью...

Осип, изогнувшись, сидел на полу. Он поднял кверху голову, как большая лохматая собака, завыть готовая. Он был дик и страшен в зеленом лунном свете. Он дрожал мелкой собачьей дрожью, и вздрагивала борода, и зубы, из бороды ощеренные, тихонько ляскали. Брови изогнулись, глаза глядели с удивлением и скорбью невыносимой.

5

Чугунка за ночь была налажена. Пробный паровоз веселым гоготом разбудил нас. Глядим, и броневик, по-нашему — жук, тоже подоспел. Ну, мы и выступили. Осип при нашем отряде, значит, в самой головке.

Штабные с ним то и дело нюх поддерживали.

Да чего долго рассказывать. Нам, конечно, толком и не понять всего. Ну, только мелких стычек вроде как и не было. Белогвардеям этим врезались мы в самое тыло... Ночью было это. Как ударн-ли-и!.. К полдням уже вчистýю разделались...

Летучий наш Осип с пленными солдатами сам разделку вел. Солдат пленных он шибко щадил. Скажет этак им слово, другое, после того велит подумать. Глядим, ребята уже и под ружье просятся — наши стали.

Ну, а что касаемо офицеров... офицерам пощады не давал.

И была у него еще та самая приклонность: войдем куда на роздых, в городишко иль в селенье какое — ну, тут так и знай: подавай ему гитару. Мы, значит, кто к девкам, кто около пирогов, а ему — гитару. Раз, сглупа, балалайку суем. Отвел этак молча рукой — не годится.

Сядет это он где-либо на крылечко, а то на бревнах, фуражку рыжую свою нахлюпит ниже некуда и зачнет щипать струнки: тринь-дрннь, трень-дрень...

Забудется, руку плетью опустит, а сам головой все ниже да ниже, к гитаре-то...

Вот тут мы его — даже сказать чуднó — боялись. Кроткий совсем человек, а неладно глядеть... Ведь какая тяжесть-то свисла над этой головушкой, ежели понять хорошенько.

ЧУДО

Село наше, прямо сказать,— глухое село. От чугунки чуть ли не сто верст. В слякотную пору ты к нам лучше не суйся: ни пройти ни проехать. Есть у нас лесной волок верст на пятнадцать. Дорожка, скажу, мое почтенье! Прошлой осенью тронулся я по великой нужде в уезд на базар — ну, волком и взвыл... Чтоб не соврать, каждую версту бранью выложил, что твоим булыжником.

Окаянная сторонка!

Так вот и живем. Народ у нас ко всему привычный. Есть старики суровых лет, а окромя своего поля да леса и свету не видывали. Такого ты и оглоблей не прошибешь, ежели насчет чего иного прочего толковать с

ним. Которые помоложе, те, конечно, уже на другой колодке плетены. К примеру сказать, в особливой избе открыли читальню, как раз насупротив церкви. Раньше-то, бывало, сказки да побасенки, а нынче и в книжку носом торкаются. Борода у иного — что твой веник, а он по книжке про свеклу гудит, а то про заморские страны, чего у нас и не слыхивано. Да чего, нынче уже про сыроварню толкуют. И надоумил-то хоть бы кто путный, а то Панфишка, пастушонок, безродный парень, неизвестно чей и откуда; наняли нынче из милости, а он, стервец, под кустами книжки читает.

А что касаемо чуда, то это верно: вышло у нас такое чудо, хитрее не придумаешь, хоть умри. И заметь, ежели рассуждать по нашей дурости, вышло оно вроде как бы от креста да от самовара — больше ни от чего.

А вышло это так.

На самое, значит, рождество приезжает к нам Василий Курочкин, столяра Дементия сын. Ладно. Глядим, волокет из саней узелки разные, то да се. Долетал слушок: парень на лесопильном заводе орудует за машиниста. Оно и видно: одежка на нем честь честью, глядит не пентюхом, со всеми за ручку поздоровался, спросы да расспросы, жительством нашим интересуется, папиросками угостил. Покалякали мы — и разошлись.

Дело было утром, как раз обедня шла. А у нас такая манера завелась: сойдутся люди будто к обедне, а сами больше в читальне околачиваются. Сидим, значит, в читальне и видим из окошка: Курочкин Василий по улице идет. Ладно. Идет-то идет, а сам голову все чтой-то на колокольню задирает. Колокольня у нас, правду сказать, на удивленье высокая, видная на десятки верст. Мы из окошек тоже выпучились, тоже давай на колокольню глядеть: чего-де там он высмотрел? Некоторые даже на крыльцо вышли и кличут:

— Василь Дементич, чего там? Аль галка?

— Нет,— говорит,— я насчет креста любопытство имею.

— А что он, крест-то?.. Аль неправильный?

— Крест,— говорит,— правильный. А не хотите ли,— говорит,— я вам чудо устрою? Дайте-ка мне сажень...

Представили ему сажень. И давай он этой саженью землю мерять от колокольни до читальни. Он меряет,

а мы гурьбой за ним, как бараны. Промерял, кинул глазом по верхам.

— Выйдет,— говорит.

— Чего выйдет-то? — пытаем его.

— А вот,— говорит,— от этого самого креста и выйдет чудо.

— Какое такое чудо? — опять мы к нему.

— Не скажу,— говорит,— до срока. Сами увидите... Желаете?

— Коли не желать! — мы ему.— Давай, навастривай!

Тогда он встал около читальни, еще раз по верхам глянул, будто в сенокосную пору тучу высматривал, стукнул концом сажени в землю и говорит:

— Ройте вот тут яму поглыбже, чтоб до самой воды.

Наши ребята живо явились с ломом, с лопатами. Разгребли снег, потюкали-потюкали: земля мерзлая, не дается. Притащили на то место дров, кострище развели, того и гляди село спалят.. Отошла земля. Ребята почали рыть и рыть. А другие тем разом, глядим, ладят на конек избы предлинную жердину. Василий же со жгутиком проволоки, глядим, лезет прямо на колокольню. Ждать-пождать, а он, как скворец, высовывается из слухового оконца в самой главе и ручкой этак нам почтенье шлет... Каким-то манером подладился он там под самый что ни на есть крест. Мать евоная внизу чуть не со слезами руками плещет: сверзится-де парень, костей не соберешь! Тут и обедня как раз отошла, из церкви повысыпало старичье, народу собралось уйма. Задираем головы и ахаем.

— Готово! — кричит он с колокольни и шапкой нам машет.

Спустился оттуда козырем, с глаз веселый, в зубах папироска, с девками пошутил и давай облаживать ту жердину на коньке избы. Расчастил ее — и ну тянуть проволоку с колокольни на самую эту жердь. Натянул — струна струной. А кончик проволоки через окошко в избу владил.

Ладно. Теперь он идет прямо к яме, глянул в нее, землю этак на ладонях потер и кричит ребятам:

— Довольно рыть! Жижа пошла. Вылазьте!

И требует: нет ли, дескать, у кого бросовой медной посудины либо чего луженого. Туда-сюда, нашлось и

это. Есть у нас житель, Гусак ему прозванье, при старом режиме постоялый двор держал. Видя такое происшествие, распалился и он. Глядим, тащит старинный ведерный самовар, бока мятые, весь в дырах, а трубы давно и званья нет.

— На! — говорит.— На такое дело не жаль. За общественное дело,— говорит,— я, может, душу выложу, а не токмо! — и даже шапкой об землю шваркнул.

Ладно. Василий разворачивает разные струменты и зажигает этакую лампочку с медным носом. Зашипела эта лампочка, как змея, как гусыня на яйцах, так бока самовару и лижет. Опаял Василий самовар проволокой, вынес его на улицу, поднял выше головы и кричит народу:

— Примечайте: в небесах крест, а здесь самовар, и ничего больше! А теперь мы его, самовар этот, похороним в землю... Закапывай, ребята!

— Позови хоть попа,— шутим мы,— да Ярилыча, дьячка, пусть панихидку пропоют, а то, мол, толку не будет.

Всадили самовар в яму и давай заваливать. Зарыли, землю начисто сровняли, даже снежком припорошили, будто ничего и не было. А проволоку, что поверх земли вышла, Васяга опять-таки через окошко в избу владил.

Народу в читальню набралось — кулаком не пропихнешь! Ладно. Василий разворачивает из газетины не ахти большой этакий ящичек, кажет его нам со всех сторон.

— Вот,— говорит,— из этой самой штуки и выйдет вам чудо. Дело даже совсем не хитрое. Кончик вот этой проволоки, что от креста, зажмем вот сюда, а от самовара — сюда... Вот и готово!

Глядим, надевает парень себе на голову этакую вроде как уздечку, а на ней две светлые штучки, как раз к ушам пришлись. И давай он с ящичком возиться: туда верть, сюда верть, какой-то иголочкой потычет, уздечку на голове поправит... Выложил перед собою часы. На потолок глянет, на часики посмотрит... Ах, мать честная! Времечко идет, мы аж вспотели, а чуда — никакого! Василий даже переносье сморщил, по глазам видим: не лотошит у парня.

Я так и не дождался, ушел домой, похлебал щей со свининой, залез на полати. Только было завел, по

праздничному способу, глаза в дрему, прибежали ребята: тятька, иди-де, там человечий голос высказывает про всячину!

Понесся я туда. Народу у читальни — ступа ступой. Еле в избу продрался. Василий в толпе — как идол, рожа сияет, только одно просит: не напирать и не шуметь.

Выждал и я черед, сунулся головой в ту уздечку — да так глаза и выворотил... Самый что ни есть человеческий голос явственно выкликает, Кострома, дескать, Кострома... и случилось-де там то-то и то-то. Саратов, например, Калуга... А то, нет-нет да и хватит вдруг про заграницу. Ах ты, батюшки мои! Зачнет вдруг имена перекликать: Василий, Ольга, Семен... Даже мое имя кликнул: Харитон, говорит, Харитон... Фу, чтоб ты издохла!

Дерут у меня с головы эту штуку-то, всякому лестно послушать, а я не даюсь, вцепился обеими руками, дальше слушаю. А голос-то и говорит: конец, конец, до свиданья, товарищи! И — как в воду канул... Молчок! Мужики, которые еще не слышали, допытываются у меня, а я чисто очумелый. Вышел на улицу. В чем тут сила? Подошел к тому месту, где самовар зарыли, и даже плюнул в то место...

Василий из избы вывернулся, я к нему: скажи на милость, в чем тут действие происходит? Можно ли, говорю, понять это, например, мозгами? Ведь это что такое? Ведь это, брат ты мой, к примеру ежели, почище, чем во сне!

А Василий глянул на часики, чокнул крышкой и убежал домой.

Поглядел я этак в небо, затылок почесал, вошел в читальню и давай с народом тот ящичек вертеть да разглядывать. Нет ничего примечательного — так себе, пустяковина, на вес фунта не потянет. Мы со сватом Федором на конец всего даже на колокольню полезли: не там ли главная закорюка? Полезли тоже к самому верху, в оконце высунулись, глядим: проволока и проволока и больше ничего. А на проволоке, шут знает для чего, яичко беленькое..

К вечеру народу в читальню навалилось — дыхнуть некуда. Всякому, видишь, удостовериться охота. Василий в той самой сбруе, прижухнул у ящичка, вертьповерть — ничего не выходит.

— Что, паря, не клюет? — интересуемся мы.

— Время,— говорит,— не вышло.

— Гляди, как бы не сорвалось,— советуем ему.

Вдруг видим: заворочал глазами и руку поднял — дескать, не дыши... Подкрутил еще маленько, сымает с себя сбрую и прямо ее на голову деда Клима, под бородой в удавку затянул... Тот сбычился, принасупился, да так и окостенел... Насилу потом у старого черта уздечку-то эту самую отняли! Так кулаками всех и распихивает, не дается.

— Чего слышал-то? — пытаем его.

— Про песню,— говорит,— сперва обсказывали про деревенскую. А потом как рявкнула гармонь, инда в ушах засвербело... Дослушать не дали, кобели паршивые!

А там уже бабку Домну обуздали. У этой и плат на затылок сбился, волосы седые растрепались. Пригорюнилась на кулачок, лицо сделалось вроде как горестное, и знай головой этак покачивает... В избе, конечно, тишь, никто дыхнуть не смеет. Глядим, а бабка-то плачет, ей-богу! Слезы, например, в морщинах так и засеклись... Вот ты и поди! Любопытствуем после:

— Чего это ты, бабка, а?

— Про лучину,— говорит,— какая-то все пела. Лучина-лучинушка... До того хорошо пела, душа мрет. Неясно, слышь, горишь... Поет, а я и думаю: ведь моя песня-то, в девках, да и бабой певала... Вот и жалостно стало. Жисть-то наша, бабья, господи-и!

Еще рвалась послушать, да где уж там! Народищу подвалило — дверь ломят. Даже с улицы в окошки липнут. Гусак-то, который самовар пожертвовал, поднял шум: требовал послушать второй раз, а то, дескать, самовар обратно выкапывай. Не дали! Пришел поп Игнатий — он у нас кривой на один глаз и маленько с дуринкой, от старости. Того допустили послушать. Пусть-де удостоверится, какие кренделя его колокольня выделывает. Смеху куча!

Было в тот вечер потехи, страсть! В народе такой гул пошел — необоримая! Время уже за полночь, а мы не расходимся. И пустые-то эти штучки самые все к ушам прикладываем: молчит и молчит, окаянная сила! Значит, не время...

Вот тут-то Василий и давай нам сказывать начистоту — что, откуда и как. Мы рты-то и раскрыли... Ах, раздери тебя леший! Голоса-то, слышь, из самой Моск-

вы, за этакие сотни верст! Старики говаривали, что в Москву за песнями ездят, а теперь песни сами к нам летят. Голова кругом, ежели понять... А мы спроста думали, что голос-то, например, в кресте либо в самоваре...

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

На рассвете я подходил к селу Игнатскому. Слева дремало скошенное овсяное поле. Справа за лесистыми скатами берегов поблескивала Ока. Таял бледный кружок луны. За рекой из гущи бора маячили далекие крыши музея-усадьбы замечательного художника Василия Дмитриевича Поленова.

Эти красивейшие русские местности, эти синеющие огромные просторы, эти поля и рощи, луну над стогом сена, придорожные березы и дорогу, по которой я иду, и как бы самый воздух этот и тишину неповторимо запечатлел на своих полотнах гениальный ученик Поленова — грустный и милый Левитан.

Рассвело настолько, что я различаю впереди большой, крытый соломой навес, окруженный скирдами. В близком, но пока невидимом селе орут петухи и трудолюбиво стучит чей-то молоток, отбивающий косу...

Внезапный отчаянный лай оборвал мои думы. Прямо на меня рысью летели два крупных пса. Я сжал в руке можжевеловую палку и сделал ею артикул наотмашь... но сразу понял, что бой не состоится. Один пес оказался слишком молод и глуп, что было видно по нелепо вихлявшемуся хвосту, другой просто был стар и давно сменил злобу на равнодушие, хрипуче лая лишь по привычке. Я вынул из сумки кусок хлеба — и между нами произошло трогательное братание.

Вслед за тем мы втроем направились к скирдам. Под навесом на току я присел на деревянный обрубок и стал закусывать.

Передо мною высилась большая куча ржаных снопов. Задумчиво жуя хлеб вприкуску с огурцом, я вдруг заметил, что вершина кучи медленно зашевелилась. Вот солома расступилась в стороны, и показалась кепка — обыкновенная мятая кепка кукушечьей расцветки. Вслед за кепкой вылезли плечи, руки... Наконец, целиком возник заспанный молодой паренек, застенчи-

во улыбающийся, и улыбка его была особенно мила тем, что спереди не хватало одного зуба.

— Доброе утро! — приветствовал я его, приподымая с головы своей картуз.— Каково поспалось?

— Да я, чай, не спал. Погреться я залез. Лунно было, всю ночь читал...

За пазухой у него книга, тетрадки. Я полюбопытствовал, взял книгу в руки: «Курс исторического материализма». В тетрадках — углы, квадраты, линии, вычисления.

— Понимаешь, беда у меня,— горячо заговорил он, вместе с улыбкой показывая дырку в зубах.— Кончил я рабфак, но не сдал еще чертежи. А мне нынче в Красную Армию. Вот и подгоняю...

Снопы подпирают под самую крышу навеса. Пахнет густой медовой ржаной сытью. Утренняя тишина в полутьме навеса особенно торжественна. Ночного сторожа обильного урожая, ученого колхозника, будущего военного командира зовут Колей. Что о нем сказать: тут надо складывать новую сказку *о полевом герое*, который для общего счастья при лунном сиянии упорно подкрадывается к драгоценной жар-птице — науке и ловит ее за радужный хвост.

Спускаюсь под гору, в село. Молодой пес, от избытка сил носящийся кругами, и старый пес, оказавшийся одноглазым, раболепно меня сопровождали. Утки с плотины, по которой мы проходили, торопливо побросались в воду, заколыхав отражения в ней береговых верб, и одна утка на весь пруд прокричала нам укоризну.

Над избами кое-где кудрявился дымок, топились печи. Вот первые, как бы вызолоченные, косые лучи солнца брызнули вдоль улицы, багряно загораясь в окнах. Белоголовая девчурка, несшая в подоле хворост, увидев меня, остановилась и замерла, розовая в солнечном свете.

— Девочка! Где тут живет Александра Михайловна Скотникова?

— Бригадирка? А она дав́но-о-о в поле убежала! — По тому, как она это «давно» протянула нараспев и помахала куда-то рукой, я понял, что и поле это не близко и дела там сейчас горячие. Приметив среди улицы что-то вроде часовни с затейливой крышей, с лавочками для сиденья, я направился туда. Похожее на ча-

совню сооружение оказалось стенной газетой. Прежде всего тут показали свое мастерство плотники, столяры, маляры, стекольщики. А затем уж выказали себя во весь рост художники, карикатуристы, критики, патриоты и герои колхоза «Пахарь».

Только было я, сев на скамейку, углубился в эту фундаментальную газету, как почуял, что в затылок мне дышит живое существо.

Я оглянулся. Высокий старик в суровых усах, опершись руками в коленки, как рыбак за поплавками следил через мое плечо за чтением. Мы познакомились, потрясли друг другу руки. Лаврентий Иванович Пучков, инспектор по качеству, сел со мною рядом.

— Вот, читай не торопясь, гляди, вникай. Стараемся по силе возможности. Нам она помогает. Почетные мы. Слыхал, чай? Стояла в Москве на самой главной местности башня, древняя, высоты несусветной. Но пришла пора-времечко, башню ту повалили, и на ее место из чистого камня-мрамора превознесла Советская власть Доску почета. И мы на той доске выше всех золотыми буквами записаны. Понял? За пшеничку, за честный труд, за эти вот руки...

Вдоль улицы бежала копна снопов, семеня человечьими ногами. Оказалось, ноги принадлежат старухе, взвалившей на себя такую непомерную копну. Увидя старуху, Лаврентий Иванович взвеселился, двинул картуз на ухо, закричал:

— Здорово, девка! Я думал, что ты умерла!

— Жива, жива! Раньше тебя не помру!

И оба утешно смеются, довольные обоюдной ловкостью в словах и, быть может, мелькнувшими воспоминаниями о далекой-далекой молодости.

Солнце уже прогревает нам спины. Один по одному подходят еще старички. Лаврентий Иванович знакомит: Андрей Петрович Сигаев, Прасковья Васильевна Митькина и другие.

— Во, орлы! — продолжает веселиться Лаврентий Иванович.— И у каждого неисчислимое поколение. И все в колхозе. Ты лучше народа и не ищи. Хороший народ, веселый, ладный! Вот Прасковья Васильевна, не дай-ка ты ей работы, она те горло передерет. Ну, только сумненье имеет: с попом или без попа умирать? Мне, к примеру, попа даром не надо. У меня в городе брат музыкант. Целая оркестра у них, тридцать два че-

ловека, серебряные трубы. Такую панихиду отхватят, аж деревья закачаются, до Совнаркома будет слышно. Скажут там: Лаврентий Иванович помер, инспектор по качеству, успокоилась неугомонная душенька...

Цель моего похода — Александра Михайловна Скотникова и задушевный тайный разговор с нею о работе ее бригады — отодвигалась. Подошли еще люди, скамейки заняли сплошь. Лаврентий Иванович Пучков ударился в воспоминания.

— Ведь вот тоже, кабы записать, как мы забирали землю, как церковь ломали на материалы. Сильно интересная борьба была! Мы орудуем, а время смутное. Один и говорит мне: Лаврентий Иванович, гляди, не ошибись... Два столба, говорит, поставим, да и удавим тебя. И сейчас этот человек жив, в Серпухове на хлебозаводе укрылся, субчик. Мы на барскую землю ту пору уже крепко сели. А к Орлу валом подваливали белые! А землю мы делили по едокам, смеху куча! Но, *невзирая,* шестьсот пудов продразверстки дали. И себя обеспечили. И меня удавить не успели. А теперь мы можем с песнями работать.

Пора было разойтись. Андрей Петрович Сигаев, степенный старик, идя со мною вдоль села, раздумчиво выкладывал:

— Вчера у меня радость случилась, сын явился с призыва, винца выставил, приятно угостил. Определили на Дальний Восток, в береговую охрану. А второй принят танкистом. Ну, этот ужасно какой проворный. Выгнется этак колесом и прокатится по всей деревне. Вчера вот тут всему народу фигуры показывал, чистый бес! На цыганскую пляску горазд. Бывало, щиблеты ему купишь, разом вдребезги... Активист, неизвестно и в кого.

В полях, на так называемых бедных калужских землях, вязался в снопы обильный урожай. Народ кучками действовал и тут и там, но бригадирша Скотникова была неуловима. Вот только что распоряжалась тут, и нет ее. Наконец сказали, будто помчалась в соседнее Кузьмищево, где рожь еще на корню и куда будто бы пригнали комбайн. Я вернулся в село, в надежде на свидание с нею в обеденный час, и присел у одной избы на завалину.

Солнце было уже высоко. После утомительной гонки по полям приятно сидеть в тени избы и смотреть

на вспыхивающую блестками гладь пруда, на березу, дремно осеннившую плакучими ветвями покосившийся сарайчик, на забившихся под крапиву кур.

Рядом со мною старушка, маленькая, сухонькая, точно выветренная, покашливая и ворча, коричневыми руками хватала из вороха пучки соломы и с непостижимой быстротой крутила эту солому в жгуты для вязки снопов. Я не поспевал следить, как это она делала. Под ногами у ней росла и росла куча вязок. И скоро бы эта куча была выше ее головы, но то и дело, как воробьи на мякину, налетала крикливая стая ребятишек, охапками расхватывала готовые вязки и, отшлепывая босыми пятками, с гомоном неслась в поле.

— С чего это, бабка, так покашливаешь? — спросил я, присаживаясь поближе.

— А бык покатал. Был у нас такой бык непочтительный. Лошадь запорол. Мальчонку раз выше изгороди махнул. Только я и могла за ним ходить, меня слушался. За это и трудодни мне писали. Подошла это я раз, хворостиночкой стегнула, а он как обратился на меня, сшиб и давай бить-катать. Четыре раза поддевал, швырнул через дорогу, вон до того погреба. Чую, кровь с меня идет, земли полон рот, душа вон выскакивает... А он знай ярится. И вдруг ровно кто меня надоумил, говорю: бычок-батюшко, за что ты меня, прости меня... И затих он сразу. Положил на правое мое плечо свою храпелку и сопит. Ну, прямо в лицо мне лезет, сопит, всхрапывает, вижу, жалеет. И что бы мне раньше догадаться этак-то попросить, когда впервые брухнул. Может бы, и не тронул... Перешиб он мне три ребра, кровью плевалась.

С полей дружно стал появляться народ обедать, а собеседница моя, Старкова Татьяна Кузьминична, не отставая крутить соломенные вязки, развертывала передо мною повесть жизни своей.

— Я, милый, пятнадцать душ детей выходила. А как жили-то! Исполу земельку хватали за десятки верст. Ночью прибежишь домой, бывало, посчитаешь сонных по головам, малых-то, *загоришь* сердцем, не усеешь и бежишь опять в поле без памяти, схвативши корку сухую. Я их всех за пазухой выпестовала. В полотенце ребенка, бывало, за шею повесишь и бежишь, а в поле сунешь в снопы, и ладно. Поглотали слез, что и говорить! Мы, тульские, переехали вот сюда, огляде-

лись да всей семьей, двадцать один человек, в колхоз и записались. И пошли в гору. У меня восемь сынов, и все тут. И я от них не отстаю. Дочка-девчонка вон рвется в лес за орехами, за вениками, не отпущу, пока уборка. Сын просит: купи, мать, гитару. Дала сорок рублей. На, не жаль. Вина не пьет. Другой велосипед купил. Все одеты-обуты. Мы со стариком прошлый год настукали шестьсот трудодней, теперь и не охнем. А молодые, гляди, уже авансы берут...— Решительным шагом подошла к нам худощавая женщина, хозяйски глянула на старуху, на вязки, вдоль улицы.

— Ты что, Кузьминишна, мало накрутила?

— Мало? Ребята из рук рвут. Вона охапку потащили. Ты, бригадирка, не черни меня при постороннем. Мало ей!

Это и была Александра Михайловна Скотникова. Я круглый год следил за ее делами по районной газете. Я впервые ее вижу. Она смотрит на меня, слушает, и вдруг брови и ресницы этой мужественной женщины дрогнули, посуровела, глухо заговорила:

— Что ж, трудно. Раздоры были зимой, верно. Только из района не помогли мне. И сейчас обе бригады не спеты. У них почти одни мужчины, и семь членов правления. У меня почти одни женщины, и ни одного члена правления. И в правлении — ни одной женщины. Это дело? Одинокая я тут... Доработаю отчетный год, отпрошусь. Пусть мужчину ставят.

Тряхнула мне руку. Побежала через дорогу и зазвонила в висячий под березой обрубок рельсы: пора кончать обед.

— Не уйдет она из бригадирок,— сказала, покашливая, бабка Кузьминична.— Ох, горячая на работу! — Пообедавший народ двинулся в поле. Высокая, худая бригадирша шла впереди всех устремленной, как бы летящей походкой. Улица опустела. Я тоже двинулся восвояси. На ступеньке у крайней избы сидел карапузик в большом отцовском картузе, оттопырившем ему уши. Я остановился, залюбовавшись ухарским его видом.

— Ты что, парень, на работу не идешь?

— Я дом калаулю...

Порывшись в сумке, я выдал ему конфетку. И зашагал, постукивая можжевеловой палкой о сухую землю и думая о добром, трудолюбивом, мужественном, умном народе, о его великом подъеме.

ФЕДОР ГЛАДКОВ

ЗЕЛЕНЯ

1

...Днем копали окопы за станицей, в поле, а ночью собрались все на площади, около ревкома. Солдаты пришли со своими винтовками и сумками и держали себя строго и деловито важно. Так они, вероятно, держали себя и на войне и эту привычку принесли домой. Парням выдали винтовки в ревкоме, и они долго не знали, что с ними делать: гремели затворами, вскидывали на плечи и целились в небо.

И не думалось, что там, за станицей, за далекими курганами и вербовыми балками, не торными дорогами, а зелеными овсами и озимями, саранчой ползут сюда белые толпы — офицеры, господа и казаки. Было все просто и обычно: тополи на бульваре чистят свои листья, как птицы, в раскрытом окне ревкома горит лампа, звенят колеса запоздавшей телеги, покрикивает паровоз на вокзале...

Все эти люди с винтовками — свои ребята. Всех их Титка знал с самого детства. Днем, когда они рыли окопы в поле, в зеленях, они делали это так же истово и заботливо, как и обычную работу по хозяйству, и говорили не о белых, не о борьбе, а о своем, о маленьком, о простом и понятном — о земле, о хозяйстве, о своих недостатках. Вот и теперь они собрались здесь, будто на артельный деревенский труд.

Огненная полоса из раскрытого окна падала прямо на тополь в палисаднике. С одной стороны он горел, а с другой был черный. Через дорогу перекидывалась

ветвистая тень и пропадала во тьме площади. На лилово-пепельной дороге стоял пулемет. На корточках, опираясь на ружья, сбились в кучу солдаты и говорили, как надо делать «чертову поливку».

В комнате горела висячая лампа с белым абажуром, похожим на макитру. Сосал, как всегда, мокрый окурыш брат Никифор Гмыря, предревкома, натужливо кашлял и разговаривал с солдатами, которые стояли перед ним.

Солдат Шептухов, бывалый веселый парень, подмигивал в сторону Гмыри и смеялся.

— Как по чертежу разъясняет... Башка. Любому охвицеру даст сорок очков вперед. Знай наших!

Около крыльца Титка наткнулся на человека с винтовкой. Стоял он как-то скрючившись, словно мучился в лихорадке. Это был учитель Алексей Иваныч, у которого еще недавно учился Титка.

— Вы зачем сюда пришли, Алексей Иваныч? Да еще больной: идите домой! Вам здесь нечего делать.

Учитель строго спросил его:

— А кто тебе, мальчишке, позволил взять винтовку? Тебе надо в конники играть, а не с беляками драться. И я не болен. Я задумался — даю себе отчет в прожитой жизни.

Титка взволновался: как же это можно, чтобы Алексей Иваныч пошел в окопы? Он — учитель и человек уже пожилой: у него уже седеют волосы, и всем известно, что у него чахотка.

— Я пойду к брату, Алексей Иваныч, и скажу ему, чтобы он вас домой отправил и винтовку отобрал.

Учитель вспылил и стал как будто выше ростом.

— Ты не посмеешь это сделать, Тит. Белогвардейцы мне такие же враги, как и тебе, как всем этим людям. Я вас всех учил мужеству и не жалеть жизни за правду. Как же я смогу отойти в сторону? Ты подумай! Наоборот, я должен идти впереди всех.

О чем думать? Ведь все так ясно и просто: все— вместе, все — свои, и так спокойно и хорошо на душе.

— Алексей Иваныч, тогда я с вами пойду... в одном отделении.

— Ну, что же... пошагаем... Все равно ведь домой тебя не прогонишь. Теперь и ребятишки — бойцы революции.

С вокзала, от броневика, приехали двое верховых — матрос и мальчик с ружьем за плечами. Матрос пристально оглядел всех, вытянулся, отдал честь и засмеялся.

— Ну, вояки-забияки! братишки! готовь оружие! Беляки очень интересуются, как вы их встретите — с трезвонами, с поклонами или пугаными воронами?

Кто-то сердито крикнул:

— Боевыми патронами... а тебя на акацию за твою провокацию!

Матрос засмеялся и даже икнул от удовольствия.

— Вот молодчаги, братишки! Под стать нашей моряцкой удали...

И он скрылся в дверях ревкома.

Титка подошел к лошадям. Взмахивали мордами кони, раздували ноздри и храпели. Кожа у них лоснилась и переливалась перламутром. Он гладил их и похлопывал по спине, между ногами, по крупам, наслаждаясь упругой теплотой мускулов. Вспомнил о своем рабочем пузатом гнедке. Хрумкает он сейчас месиво под навесом.

Мальчишка озорно хлестнул его нагайкой и, как взрослый, строго прикрикнул на Титку:

— Не тревожь лошадей, лопоухий! Отойди в сторону! Как ты винтовку держишь, дуболом?

— А ты что за блошка? Скачет блошка по дорожке, споткнулась через крошки — бряк!

— А ты — мозгляк! Ты — мазун, а я в революции — уже год. Из дому бежал, школу бросил... У меня отца расстреляли в Харькове... железнодорожника. И я сказал себе: буду их колошматить, как крыс... до конца! И вот этой винтовкой сам застрелил двух белых офицеров. И буду бить... бить их!.. до последнего!

«Какой злой!» — подумал Титка и доверчиво улыбнулся парнишке.

— Неужто тебе не страшно... ежели — в упор?

Мальчик посмотрел на него сбоку, по-птичьи:

— Что значит — страшно? Страшно, когда ты — один, безоружный, а на тебя лезет орава чертей. Но я и тогда плевал бы им в морды... потому что я ненавистью сильный... и у меня — революционная идея.

2

Выступили взводами один за другим. Шептухов командовал отделением, где были Титка и учитель. Они были вместе, плечом к плечу. И Титке казалось, что они идут не в бой, а в поле, на ночевую. Солдаты тихо переговаривались и вспоминали германский фронт.

Нигде по станице не было огней, как это было обычно в весенние ночи, и всюду во тьме жутко таилась густая тишина. Еще недавно около ветряков ежевечерне пели девчата, и тогда казалось, что звезды слушали их и смеялись.

Теперь здесь по дороге солдаты отбивали шаг и сдержанно перекидывались словами:

— Вот окаянные куркули! Как вымерли... Поди, оттачивают кинжалы...

— То-то и оно; оттачивают и офицерью подначивают. А генеральство чешет — не успевает салом пятки намазывать.

— А ты думал как? С народом никакая сила не справится. Генералы да эксплуататоры были — и нет их. А народ живет и множится. Он — как земная растения: сколь ни топчи, ни ломай ее — она растет еще гуще. Народ — сила вечная, неистребимая. И чего только они, эти беляки, лютуют? Ведь черти не нашего бога! Все равно им — конец... никакие антанты не помогут!

Шли по улице и зорко глядели по сторонам: хаты во дворах, в садах и акациях, дышали, как притаившиеся звери. Каждый ожидал, что в этой непроглядной тьме вдруг вспыхнет выстрел и пуля пронижет одного или нескольких человек.

Шептухов, пробегая перед взводом, бормотал шуточки, ободряя бойцов:

— Ну, други, подтяните подпруги! Крепче винтовки, ребята! Придем в окопы — не будьте остолопы: будьте зорки в своей норке. Ползет саранча — истребляй саранчу огнем и свинцом, чтобы саранча дала стрекача... Не впервой и врага отражать и в атаки ходить. Хоть и мы умели драпу задавать, да в нашем деле сейчас мы можем стоять только до последнего патрона, до последней гранаты. Стоять будем до смерти, как черти, а драться за жизнь, за свободу, за Ле-

нина! Не забывай: бей без промашки — в сердце, в лоб, чтобы мордой в гроб.

Но никто не смеялся от его шуток.

Учитель шел спокойно, хотя и задумчиво сутулился.

— Ты не боишься, Тит?

— Нет. А чего бояться-то, Алексей Иваныч? Нас, гляди, как много. Своя братва. За свое, за нашу власть и драться охота.

— Да, ты хорошо сказал: за свое и драться охота. Лучше смерть, чем жить в рабстве и потерять свое.

— А зачем умирать, Алексей Иваныч? Давайте об этом не думать.

«Зачем пошел?— с изумлением думал Титка.— Мутит его... Не выдержит...»

Учитель взял под руку Титку и заговорил в раздумье:

— Мне сорок лет, Тит, и в вашей станице я работал со дня твоего рождения. Брата твоего, Никифора, я знал еще юнцом. Вы были бесправны и, как иногородние, могли жить только по найму. Батраки не имели ни голоса, ни опоры, ни защиты. А чем я отличался от вас? Ничем. Я тоже был батрак — интеллигентный батрак, и мое положение было вдвойне мучительно: душу мою насиловали, жизнь распинали. Но я учил вас с детских лет любить и стоять за правду, воспитывал вас как борцов за свободу, за великое будущее. И мне радостно, что я вот иду вместе с тобой, моим учеником, со всеми вами как простой солдат на бой с черными силами за власть трудового народа. Я неотделим от вас, потому что я — сам сын народа. И мне было горько, что ты, мой ученик, отнесся ко мне в эти роковые минуты, как к постороннему,— хотел прогнать меня домой.

Титка смутился и почувствовал себя виноватым перед ним. Он любил Алексея Иваныча, и ему просто хотелось вывести его из-под пуль. Ведь он и ружья не может держать по-настоящему...

— Я, Алексей Иваныч, всегда считал вас своим. И ваших наставлений не забывал. С кем же вам идти-то, как не с народом? Я это для того, чтобы охранить вас.

— Отделить от борьбы? — строго оборвал его учитель.— Неверно думаешь, Тит. Надо каждого, кто жи-

вет народной правдой,— каждого звать к борьбе... потому что это последний и решительный бой. Но... я понимаю тебя, Тит. Спасибо за доброе чувство, за любовь. А драться будем вместе — бок о бок, плечом к плечу. Это замечательно: учитель и ученик — в одной линии фронта, на линии огня.

Пока дошли до ветряка на конце станицы, встретили два разъезда. Около ветряка остановились и послали разведчиков до следующего поста для связи.

Совсем незаметно подошла к Титке молоденькая девушка. Это была Дуня, его ровесница. Вместе они учились, вместе и кончили школу. Он был уже рослый парень, хотя ему пошел только что шестнадцатый год, а она казалась еще подростком. Может быть, это оттого, что она была худенькая и слабенькая девчонка: после школы она нанялась батрачкой к богатому куркулю, и ее заездили тяжелой работой.

Она тихо засмеялась и схватила его за руку.

— Это — я, Дуня. Я искала тебя. Хоть не вижу, а узнала...

— Ты зачем тут? Кто тебе позволил? Ты знаешь, чем это пахнет?

— Ну, вот тебе! Я же сестрой иду! Вот и перевязки. Видишь?

Она подняла узелок к его лицу и опять засмеялась.

— Я же — сестра. Нас еще пять девчат. Вот видишь, в школе учились вместе, а теперь вместе на позиции идем. Как хорошо!

Она заметила учителя и радостно рванулась к нему.

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Вот и я — с вами.

— А-а, Дуня,— растроганно отозвался он.— Как славно, что опять мы вместе. Не забыла еще меня?

— Я вас, Алексей Иваныч, всегда в сердце ношу. Тяжело бывает — горько, обидно... А вздумаешь о вас — и на душе легко станет. Вы вот нынче под пулями будете: и убитые будут и раненые. Я не о вас говорю — нет. Ну, а я перевязывать буду... С вами я и останусь!

И вплоть до окопов они шли вместе, и будто не в бой шли, а на ночевую в поле.

3

В окопе пахло весенней прелой землей и медовым соком молодого овса. Тянуло хмельным запахом сурепки, и близко и далеко, до самых звезд, ручейками пели сверчки. А из тьмы, из-за курганов, невидимо и неудержимо катится сюда дикая орда, с ружьями, пулеметами и пушками. И не торными дорогами движется она, а полями и балками. Казаки и офицеры! Откуда и куда выйдут они к ним, чтобы напасть на них с яростью волков?

По фронту, по обе стороны Титки, люди лежали тихо, и было похоже, что они спали. Только когда кашляли и переговаривались между собою, Титка чувствовал, что они так же, как и он, зорко смотрят во мрак.

Проходил мимо несколько раз Шептухов и шутил, как всегда:

— Ты, Тит? Лежишь, чубук? Рот — вперед, глаза— на лоб!

Так же, как и дорогой, неслышно подошла Дуня и села на краю окопа.

— Уж скоро, надо быть, рассвет, Титок. Побыть с тобой хочу. Мне — что? Я — какая есть, такая и буду... а ты — вместе со смертью...

— Пуля-то ведь не разбирает: она одна и для меня и для тебя.

— Вот тебе славно! Ты — с ружьем, ты — в бою. А я буду ползать да раны зализывать. Какая есть, такая и буду.

Титка посмотрел на нее и усмехнулся.

«Не понимает... глупенькая...»

— Ты, Титок, за свободу воюешь, за трудящих... за нашу советскую власть. А я что? что я могу? Ты говоришь — одна пуля... Ежели смерть моя нужна, и— не дыхну. Да и не будет этого — трусиха я: буду ползать да раны перевязывать.

И в ее тихом голосе, во всей ее худенькой фигурке Титка почувствовал такую готовность пожертвовать собой, что ему стало жалко ее до слез. Он понял, что она пришла к нему затем, чтобы отдать ему все, что он хочет. И такой родной и близкой ощутил он ее, что невольно обнял и прижал к себе.

— Убьют тебя, Дуня... Сгинешь ты... Иди домой!

А она взяла его голову, прислонила к своей тощенькой груди и, как маленького, уговаривала:

— Ты, Титок, не бойся. Не страшно... А ежели страшно, покличь...

Он вылез из окопа и лег около нее. А она ласкала его и шептала:

— Ты не бойся... Какая есть, такая и буду. Я вся тут у тебя, Титок...

Он пробыл с ней до того момента, когда по всей линии волной пробежала тревога и где-то недалеко раздалась команда Шептухова:

— Приготовьсь, ребята! Сами не стреляй! Слушай мою команду!

Дуня ушла так же неслышно, как и пришла, но Титка еще продолжал переживать восторг, удивление и радость.

На востоке, за двумя курганами, по небу зеркалилась половодьем река. Позади, на вокзале, робко горели несколько огоньков, таких же маленьких, как звезды. Чуть слышно, перебивая и перегоняя друг друга, спросонья хрипели петухи по станице.

4

Впереди, за курганом, загрохотал гром, и воздух упруго задрожал от гула. Что-то затрещало ближе, и Титка услышал, как над ним и около него запели комарики. Учитель стоял неподвижно и прижимался к ложу винтовки. Шептухов подал команду, и по всей линии началась трескотня. Щелкали затворы, точно ссыпали в кучу железо. Раздавалась команда Шептухова, и — опять трескотня и звон комариков сверху и по сторонам.

Где-то позади Титки, в стороне, потрясающе разорвался снаряд, и горячий воздух пронизывающе толкнул его в затылок. Кто-то недалеко застонал и глухо завыл, как придавленный возом. Промелькнула ползком фигурка Дуни и исчезла. С другой стороны кто-то крикнул спокойно и деловито:

— Готово! Сестрица, ползи сюда,— у меня — готово.

После полудня Титка увидел в мареве солнечного горизонта, на горбылях курганов, бегущие одинокие серые комки, похожие на испуганных овец. Понял, что

это они — «кадеты». Из передовых окопов бежали товарищи, останавливались и стреляли. Два человека упали в зеленый овес и больше не вставали. Сорвавшимся голосом командовал Шептухов, но из окопов начали выскакивать по одному и по два солдата и перебегать назад.

Учитель по-прежнему стоял неподвижно и безостановочно палил по курганам.

Титка около него старательно целился в отдельных человечков на кургане. А когда человечек кубарем падал на землю, он радостно вскрикивал:

— Ага!..

И смеялся от радости.

Через него перемахнул солдат без шапки и больно ударил его сапогом по голове. Он очухался и почувствовал около себя пустоту: в окопах никого уже не было, только, скорчившись, лежал мертвый солдат поперек канавы.

По всей глади зеленого поля перебегали люди, низко наклоняясь над землей. У Титки замерло сердце и похолодело в животе от страха. Он выпрыгнул из окопа и, низко наклонившись, побежал за другими. Как во сне, он увидел бородатого человека, который старался приподняться на руки и, с вытаращенными глазами, хрипел:

— Товарищ... милый! Не дай на муку... не кидай, браток!

Титка отбежал несколько шагов. Неудержимо хотелось стрелять, целиться и стрелять... бить — и бить подряд. Нельзя отступать! Где же Шептухов? Почему нет брата Никифора?

— Да что же это такое?— закричал он.— Да как же это так? Не выдержали, черти, побежали!..

По всему полю перебегали товарищи. Они падали, стреляли, опять перебегали и опять стреляли. Пули визжали, как ветер, и шлепались впереди него и взрывали землю и зеленую озимь. Он тоже бежал, прижимаясь к земле, подчиняясь общему движению, ложился на озимь и тоже стрелял. Но не видел уже ни дула винтовки, ни фигурок впереди: он плакал, захлебываясь слезами,— плакал навзрыд, как плакал в детстве. Он упал на незнакомого солдата и стал окапываться. Солдат свирепо бормотал и толкал его при-

кладом в бок. Титка не чувствовал боли и ощущал удары тупо и далеко — и сейчас же забывал их.

Он положил винтовку на бугорок земли и замер. Неподалеку от себя, на одной линии с окопами, он вдруг увидел Дуню. Она лежала на боку, подвернув под себя руки и спрятав в них подбородок. Юбчонка задралась выше колен, и худенькие ноги белели, прижавшись одна к другой.

Он вылез из ямки и пополз к Дуне, не спуская с нее глаз. Солдат рявкнул и схватил его за ногу.

— Лежи!..

А он, карабкаясь вперед, не замечал, как чья-то рука изо всей силы тащила его назад,— карабкался, оставаясь на месте и не спуская глаз с Дуни. Голова ее вдруг вздрогнула, и Титка увидел, как брызгами разлетелась она в разные стороны. Кровавые капли ударили прямо в лицо.

Опомнился он опять в ямке, и солдат яростно шептал:

— Путаетесь только тут, иродовы души! Наплодили вас, сморкачей, на нашу шею!..

Все поле до самого горизонта взрывалось вихрями земли и травы и взлетало к небу громадными черными снопами. Уже не было воздуха: был только один визгливый и хрипящий гул.

Когда Титка снова увидел Дуню с кровавым пучком вместо головы, сразу пришел в себя и, задыхаясь, закашлял от рыданий. Потом сразу успокоился и стал целиться вдаль, высовывая голову из ямки.

5

Бежал он вдоль железнодорожной насыпи. Здесь было безопасно: пули звенели пчелками над головою и изредка чакали о рельсы. В сторонке шел Шептухов — неторопливо, широкими шагами. Он скалил зубы и что-то кричал Титке. Титка радостно бросился к нему, но Шептухов вдруг зашатался, как пьяный, взвыл и грохнулся вниз брюхом. Крепко запомнил Титка, как высоко поднимались его лопатки и выпирали из-под гимнастерки.

Титка налетел на кучу навоза, уже промытого дождями, запутался в нем и с размаху кувырнулся в канаву.

По всему простору комкастых полей трещоткой, разливчато, скрежетали пулеметы, а винтовки били беспорядочно — то отрывисто, одинокими выстрелами, то дробными залпами.

Ярко врезалось в память Титки голубое небо, простое и родное, и два облачка подряд, одно — большое, другое — маленькое, и солнечный воздух, и запах весенней солоделой земли и гниющей травы.

Станица была недалеко, но не видна за насыпью, и только четко, растопыркой, вырезались на небе из-за насыпи два крыла ветряка. Сейчас же около станицы, под насыпью, была большая дыра. Из нее шла в поле черная дорога с застывшими комками грязи по бокам. Вдали, где насыпь врезалась в бурый подъем и переходила в степь, среди оторванных от станицы станционных казарм дымился броневик. К нему бежали толпы людей и барахтались около грузных вагонов, зашитых в железные листы.

На крутую насыпь взбирался учитель с винтовкой под мышкой. Поднимался он спокойно, не оглядываясь. Раза два он поскользнулся, но упорно карабкался наверх. Небоязливо, во весь рост перешел через рельсы, и Титка увидел конец дула и дымок от выстрелов.

На улице не было ни души. Направо, за станицей, черным табуном быстро ползла колыхающаяся лента конницы. Чем ближе подвигалась она, тем становилась длиннее и тоньше, охватывая станицу черным муравьиным полукругом.

Среди мертвой пустоты улицы Титка впервые почувствовал страх. Спотыкаясь, едва добежал до очерета хаты. В глубине двора испуганно перекликались голоса женщин и детей, ревел грудной ребенок.

Калитка была заперта. Титка прыгнул на забор и оседлал его, но сразу же отпрянул назад. С дрючком в руках бежал к нему волосатый казак и хрипло рычал матерщину.

Титка спрыгнул на улицу, и в то же мгновение дрючок ударился о верхний край забора и пролетел над его головой. Он опять побежал, держась близко к огороже, не пытаясь забегать во дворы. Был он один, окруженный врагами. Они еще не пришли, но были уже всюду.

Стрельба шла по окраинам. Изредка стреляли где-то на улице — может быть, из засады.

Впереди, из переулка, выбежал хромой лысый человек с ребенком на руках. Вслед за ним на лошади выскочил черкес в огромной лохматой папахе, с белой повязкой наискось. Он настиг лысого человека и со всего размаху ударил его по голове. Ребенок полетел на землю. Человек пробежал два-три шага, грузно осел вниз и свернулся калачиком. Черкес все еще держал на отлете запачканную кровью шашку, вертел измученную, бесившуюся лошадь на одном месте, зорко смотрел во все стороны, как ястреб, и искал чего-то в пустой жуткой улице.

Титка прижался в уголке палисадника маленькой хатки. Он присел на корточки, прилепившись лицом к частоколу, и не спускал глаз с верхового.

Лошадь юлой завертелась на месте, поднялась на дыбы и сделала большой прыжок в сторону, где лежал Титка. Оскалив зубы, черкес рванул поводьями, остановился и опять хищно и пьяно осмотрелся вокруг, потом повернул лошадь, ударил ее шашкой по боку, и она галопом скрылась в переулке. Близкий к обмороку, Титка выполз из засады и, скрючившись, опять побежал вдоль улицы, прилипая к забору. Из-за угла переулка он посмотрел в ту сторону, куда скрылся черкес. Вдали тусклым пламенем горела пыль, и в ее облаках бешено носились поперек улицы, навстречу друг другу, еще человек пять конников в таких же самых шапках и с шашками на отлете.

Далеко, в конце улицы, черкесы охотились за людьми. Ослепительно вспыхивали шашки на солнце.

На выгоне начался пожар. Горело в трех местах в одном квартале. Долетел одинокий исступленный женский визг, повторился раза два и замолк. В той же стороне раздалось несколько одиночных выстрелов, и опять все смолкло, и в станице стало так же неподвижно и мертво, как ночью. Выли и истерически тявкали собаки. Звенела дробно перестрелка.

Титка повернул в переулок, перебежал улицу и прыгнул в пустой двор, заросший мелкими акациями. Как слепой, он споткнулся о свинью, и она пронзительно завизжала. Он не заметил, как залез в закуту, и не почувствовал вонючей грязи, в которую он погрузился и плечом и коленями.

6

Первое время ему казалось, что он в безопасности. В закуте было темно, и звуки долетали сюда отрывисто и глухо. Раскатисто ахали одиночные выстрелы, и во весь опор далеко топотали лошади.

Рубашка и штаны пропитались вонючей жидкостью, и было очень неудобно лежать. Сапоги его высовывались наружу, и когда он заметил это, ему стало опять страшно. Он хотел скорчиться в комочек, чтобы втянуть ноги в норку, но клетка была маленькая, и весь он поместиться в закуте не мог.

Недалеко скрипнула дверь. Титка посмотрел в щелку между досками и увидел, что из хаты вышел молодой казак и, держа в обеих руках винтовку, тихонько стал подкрадываться к закуте.

Это был Ехим — тот самый Ехим, с которым они сидели в школе на одной парте, а потом дружили и гуляли с девчатами. Со страхом и надеждой Титка вылез из закуты и вскочил на ноги.

— Брат!.. Ехим!

Казак опешил, потом оскалил зубы и вскинул винтовку к плечу.

— Стой! Держись, бисова душа!..

Титка со всех ног бросился в пустырь, весь забитый прошлогодним бурьяном, лопухами и мелкими кустами акации. Он слышал позади себя бегущие шаги и щелканье затвора винтовки. Его толкнул выстрел, и шею полоснул ожог. Он наскочил на низкий плетень, одним прыжком перемахнул на другую сторону и побежал по картофельному огороду, увязая в рыхлой земле и путаясь в ботве. И опять очутился на улице. На другой стороне был пустырь, загороженный полуразвалившимся пряслом, а дальше — куча хат над прудом, забитым зеленым камышом, и белые хаты на той стороне, на взгорке.

Он оглянулся назад и увидел, что Ехим с винтовкой наперевес летит к нему с таким же лицом, какое было у казака с дрючком. Титка остановился.

С визгом и оскаленными зубами Ехим размахнулся прикладом. Тит посторонился и сбоку со всего размаху ударил его по рукам. Винтовка упала на землю и, дребезжа, отпрыгнула в сторону. Ехимка

обхватил его шею и вцепился зубами в грудь. Титка ударил его коленкой промеж ног, и Ехим закорчился, застонал и отпрянул от него с ужасом и болью в глазах.

Из-за угла нестройно и торопливо вышел отряд с белыми повязками на шапках. Неслась пыль вместе с ними и окутывала всех, как дым. Лица были черные. Мелькали только белки да скалились зубы, и от этого все казались свирепыми.

Ехим радостно завыл и схватил Титку за грудь.

— Ото ж вин... Тытко! Хотив вбыты мене... Ото ж, вашбродь! Бачьте, одняв... винтовку в мене... Большевык, бачьте!

— А ты — кто такой?

— Казак, вашбродь... Ехим Топчий...

— А этот?

— Городовик, вашбродь... з окопов тикав. Ховавсь у нашом закути... Почав бигты... а я его пиймав...

Ехимка бубнил, едва переводя дух, и лицо его уродовалось радостью и торжеством:

— Ото ж я его, вашбродь!

Титку втолкнули в толпу и погнали вдоль улицы. Раза три во время пути его толкали прикладом и орали:

— Ну, тёпай, пока живой! Вояка тоже... молокосос!

Улицы были по-прежнему пусты. Пальба уже прекратилась, и впереди по одному и по два спокойным шагом проезжали верховые. По дороге попадались трупы. Это были свои, станичные, городовики. Они, должно быть, бежали по дороге и были убиты во время стрельбы.

7

На площади пленникам приказали сесть на комкастую землю, у ограды церкви, и разуться. Казаки, солдаты и верховые прибывали группами изо всех улиц. Покорно, дрожащими руками все сняли обувку. Подошел волосатый черкес и стал откидывать ее в сторону, в кучу. Потом приказали скинуть штаны, куртки и пиджаки. И это они сделали так же обреченно и покорно, с тем же неугасимым ужасом в гла-

зах. Тот же черкес собрал все это в охапку и отнес в ту же кучу, где лежала обувка.

Титка стоял неподвижно и смотрел на детей, играющих на школьном дворе. Он не разувался и не раздевался, как другие,— не то не слышал приказа, не то не захотел. Подошел черкес и толкнул его прикладом:

— Испальнай прыказ! Снимай сапог, тарабар-шаровар!

Титка отвернулся и засунул руки в карманы. Черкес рассвирепел и ударил его прикладом в спину. Титка закрутился на месте, но не упал.

— Санымай, балшавык-собака!

Титка прищурился от ненависти и злобно крикнул:

— Не сниму! Снимай, когда дрягаться не буду...

Черкес стал серым, оскалил зубы и опять замахнулся на него прикладом, но, встретив взгляд Титки, остановился. Должно быть, его поразил и обезоружил взгляд молоденького парня. Он пошел прочь, бормоча что-то по-своему.

Пришла партия офицеров с новыми пленниками. Опять все были свои — городовики. Среди них Титка увидел мальчика, того, что встретил у ревкома, и старуху Передерииху — ту самую, которая недавно ударила палкой по голове генерала, захваченного в соседней станице, и плюнула ему в лицо. Она стыдливо улыбалась, бродила среди толпы и бормотала одно и то же:

— Та люды добри! Чого ж воны визьмут з мене? Бо я ж — стара та слипа... стара та слипа... Та у мене ж оба-два сына на войни вбыты... сгиблы ж на германьской. А я — стара та слипа... Чого з мене?

И никак не могла успокоиться. А на нее никто не обращал внимания.

На дворе школы играли двое мальчиков. Один — лет шести, с длинными белокурыми кудрями, в черном костюмчике, а другой — серенький, грязненький, должно быть сынишка сторожа. Бросали мячик в стенку здания и ловили его.

А Передерииха все бродила между пленниками, сидящими в нижнем белье, и бормотала надрывно одно и то же:

— Та скажить мени, люды добри! Бо я стара та слипа...

Раздалась где-то в стороне команда, ей ближе откликнулась другая. Офицеры и казаки, отдыхавшие под тенью тополей, вскочили, быстро построились в две шеренги и, держа у ног винтовки, повернули головы в улицу. К бульвару подъезжал седой генерал, в белой черкеске, на белой лошади.

— Смиррна!

Генерал подъехал к строю и что-то невнятно и небрежно пробормотал.

— Здра-жла-ваш-при-ство!

Генерал проехал вдоль строя, и Титка услышал, как он строго и холодно сказал:

— Спасибо, ребята, за прекрасную работу!

— Рад-страт-ваш-при-ство!

Генерал подозвал офицера и что-то сказал ему. Офицер суетливо бросился к огороже бульвара и крикнул:

— Эй вы, азиаты! Волоки сюда их! Живо!

Черкесы вскинули винтовки на плечи и взмахнули руками.

— Арря!

Пленники побрели вместе с конвойными к генералу.

При входе на бульвар генерал взмахнул нагайкой и остановил их. Он въехал в самую середину толпы. Пленников расставили полукругом. Откуда-то внезапно подошли станичники и стали таким же полукругом за конвоем.

— Почему захвачен мальчишка? А ну, чертенок, кто ты такой?

— Свой... немазаный-сухой...

— Как?

— Так... попал дурак впросак... Не все дураки — есть и умные.

— Что-о? Ах ты, поросенок!

В толпе блеснули улыбки.

— Откуда мальчишка?

— Захвачен за станицей с оружием в руках.

— Почему с оружием? Откуда у тебя оружие?

Мальчик прямо смотрел на генерала, оглядывался на товарищей и улыбался. Он увидел Титку,

обрадовался и кивнул головой: «Ни черта, мол,— не бойся!»

— Откуда у тебя оружие? Вместе с большевиками был? Что делал за станицей?

— Сорок стрелял.

— Как это — сорок?

— А так... сорок-белобок. С кадет сбивал эполет... Мальчик продолжал смотреть на генерала дерзко и озорно.

— Поручик! — генерал взмахнул нагайкой.

— Слушаю-с!

Поручик взял мальчика и потянул его из толпы. Мальчик озлился, вырвал рукав из рук офицера. Заложив руки в карманы, он посмотрел на него звериными глазами. На бледном лице дрожали насупленные брови.

— Ну, иди, иди!

— Не трожь! Не цапать!

— Ах ты, урод этакий! Кубышка!

— А ты не цапай! Мерзавцы! Мало я вас перестрелял...

Офицер с изумлением взглянул на мальчика.

— Ах ты, комарья пипка!

И с усмешкой взял его за ухо. Мальчик яростно ударил его по руке.

— Не смей трогать, белый барбос!

Офицер нахмурился и покраснел. И непонятно было, не то он был оскорблен, не то смутился. Он отвернулся, молча и хмуро подвел мальчика к старухе и поставил около черкеса с винтовкой.

Титка слышал, как кто-то взял его за рукав и, царапая ногтями по руке, потащил на бульвар. Около него шло огромное существо, тяжелое, как глыба, и смердило потом, перегорелым спиртом и горклой махоркой. Ему стало непереносно лихо.

— Брысь, чувал! Сам пойду...

Казак засопел и захлебнулся слюною.

— Убью, сукин сын!

Широкими шагами Титка зашагал вперед, не оглядываясь. Было похоже, что он качается в огромной качели и видит, как колышутся и плавают тополи и облака. Далеко, не то на той стороне, за рекой, не то в глубине его души, большая толпа пела необъятную

песню, и песня эта звучала как призрачно-далекие колокола.

Мальчик хватал его за руку и дрожащим голосом кричал, задыхаясь от ненависти:

— Я им не позволю цапать! Я не какая-нибудь слюнявка... Я ихнего брата много перестрелял. Стрелять — стреляй, а цапать — не цапай! Тебя как зовут? Меня — Борис. Мы будем вместе с тобой... Когда нас будут стрелять, мы будем рядом. Хорошо?

— Я хочу пить...— сказал Титка и все прислушивался к песенному прибою волн.

8

Генерал уехал, и толпу пленников повели вслед за ним по улице, к реке.

Подошли четверо казаков с нагайками, молодые, веселые ребята. Они скалили зубы, как озорники, и ломались около Передериихи. Один из них взял ее под руку и, изображая из себя кавалера, потащил к скамье под тополем. Остальные трое шли за ними и надрывались от хохота. Передерииха бормотала, как полоумная.

— Та я ж — слипа та глуха... хлопчата! Хиба ж я — дивка? Вы ж таки гарны та веселы... веселы та гарны...

Казаки корчились от хохота.

Передериииху посадили на скамью. И тот казак, который вел ее, гаркнул хрипло и остервенело:

— Ложись!

Передерииха опять плаксиво забормотала. Казак жвыкнул нагайкой. Передерииха заплакала и онемела. Казак толкнул ее. Она упала на скамью и осталась неподвижной. Двое других задрали ей на спину юбку, и Титка увидел дряблые ноги с перевязочками под коленками и сухие старческие бедра.

— Катай ее, старую стерву!

Один казак сел на ее черные босые ноги, а другой опирался руками на голову. Третий с искаженным лицом зашлепал нагайкой по сухому телу. Скоро она замолчала. А казак все еще хлестал ее и при каждом ударе хрипел:

— Х-хек! х-хек!

Тот, который сидел на ногах, слез со скамьи и махнул рукою.

— Стой, хлопцы!

Казаки стали завертывать цигарки. Один вытащил из кармана веревку, стал на скамью и начал торопливо и ловко укреплять ее на суку тополя.

— А ну, хлопцы! Треба по писанию...

Казак задрал старухе юбку вплоть до живота, сделал ее мешком, спрятал в ней руки Передериихи и подол завязал узлом. Двое подняли ее, и первый накинул на голову веревку.

— Есть качеля!

И пошли прочь.

Борис кричал им вслед и ядовито смеялся.

— Дураки-сороки! Куркули! Вздернули бабку. Тряпичники! барахольники!

Казаки оглянулись и заматершинничали. Один из них погрозил нагайкой:

— Ото ж тоби забьют пробку в глотку.

— Сороки-белобоки! Бабьи палачи!

Со стороны реки загрохали выстрелы. Два черкеса, которые охраняли Титку и Бориса, подтолкнули их прикладами и погнали к церковной ограде. Мальчик шел словно как взрослый, только ежился, словно ему было холодно. Он часто сплевывал слюну.

— Они думают, я боюсь... Много я вас перестрелял, мерзавцев... Плевать на вас хочу! Не бойся, Тит! Давай руку!

Титка слышал, как сквозь сон, голос мальчика и не понимал, что он говорит. Он одно чувствовал, что не идет, а плывет, качается по волнам. Чудилось, что он качается на небесной качели и вместе с ним плавает и несется весь мир.

Их поставили около ограды. Черкесы стали в нескольких шагах от них, и оба разом наперебой скомандовали:

— Легай! Арря!

Титка смутно слышал это и не понял, а мальчик забился около него, как связанный, и закричал в исступлении:

— Не лягу! Вот! Мы — оба! Вот!..

Черкесы вскинули винтовки, и крик мальчика унесли с собою два оглушительных взрыва.

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ

I

Несчастье случилось на свадьбе недели за две до покрова, когда хлеб был уже весь убран и в поле оставалась только запоздавшая картошка.

Спиридон накануне свадьбы дочери даже ходил на свой загон посмотреть, не пора ли выпахивать картошку. Постоял там, посмотрел из-под руки кругом и понурый пошел домой. Месяц тому назад дочь, Устюшка, пришла и сказала, что выходит замуж за сына кузнеца Парфена, комсомольца.

— А денег на свадьбу кто тебе приготовил?—спросил Спиридон, не взглянув на дочь.

— Каких денег? Приданого ему не нужно, а венчаться будем не у попа, просто запишемся,— сказала как-то небрежно, почти мимоходом Устинья, вильнула своей косой и ушла.

Жена Алена ахнула, а Спиридон бросился было за дочерью с кулаками, но сейчас же остановился и, махнув рукой, только сказал:

— Вот чертова порода-то пошла!..

Больше всего его задело почему-то, что жениху приданого не нужно. «Значит, хозяйства не справит, раз копейку не ценит,— подумал он.— И жену не будет любить».

Хотя он никогда и сам ничем не выражал своей любви к жене, и если она уезжала одна в город и долго не возвращалась, то он выходил на улицу посмотреть, не едет ли, но всегда смотрел не в сторону

околицы, а как будто по сторонам, чтобы люди не увидели, что он о ней беспокоится и ждет ее.

Говорили они с ней всегда только о хозяйстве и ни о чем больше. Теперь Спиридон стал молчалив и раздражителен, и если выпивал и его чем-нибудь задирали, у него глаза загорались диким огнем, и он, не помня себя, лез драться.

Один раз даже в трезвом виде он едва не убил Семку-кровельщика, маленького, лохматого мужичонку, за то, что тот ехидно его поздравил «с хорошим женихом и партийной линией».

Когда же он бывал пьян и лез с кем-нибудь драться, Алена всегда повисала у него на руках и твердила:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, милый, не надо...

И уводила его домой, прикладывая землю к синякам, которые он себе насажал в пьяном виде.

Чем ближе подходил день свадьбы Устиньи, тем Спиридон становился угрюмее и сумрачнее. И возможно, что если бы не было этой свадьбы, то не случилось бы и несчастья, такого нелепого и ужасного.

II

В деревне начиналось веселое время свадеб. Но Спиридон ходил понурый, точно пришибленный. Ему казалось каким-то позором, что свадьба его дочери будет не настоящая, без попа.

Свадебная пирушка была у жениха. Алена хотела было надеть свое лучшее голубое шерстяное платье, которое ей Спиридон однажды привез из города, но в самую последнюю минуту почему-то передумала и надела другое праздничное платье, попроще. «Как кто подтолкнул»,— рассказывала она потом, уже в больнице, Спиридону.

Гости стали собираться еще задолго до темноты. Прежде, бывало, из церкви ехали на тройках с бумажными цветами, заплетенными в гривы и хвосты лошадей, а теперь приходили и приезжали без всяких цветов.

Спиридону и в этом показалось что-то позорное и обидное.

Казалось, что над ним и над его дочерью смеются, за настоящую свадьбу не считают. И он, надев-

ший свою праздничную поддевку и намасливший волосы коровьим маслом, чувствовал себя глупо, как будто он совсем некстати вырядился. Другой бы на его месте вовсе не пошел сюда или бы нарочно все старое надел.

Народ набирался в избу, главным образом, все молодые ребята в пиджаках и френчах, и девчата, одетые тоже все по-городски — в белых платьях и туфлях с белыми чулками, как барышни. Они шумели, смеялись, как будто всем здесь командовали и заправляли они, а старики как-то неловко жались в сторонке.

В переднем углу стоял накрытый стол, устроенный из трех сдвинутых столов. На скатерти были положены вдоль по тарелкам вынутые из сундуков расшитые полотенца для утирания масляных ртов и рук. Стояли бутылки водки, вишневка и на блюдах — заливные куры.

Спиридона никто не встретил, не оказал ему, как отцу, почета, точно он не имел здесь никакого значения. И он стоял в толпе других гостей, дожидаясь, когда позовут садиться за стол. И чем он больше так стоял, тем больше в нем разгоралась обида: двадцать лет работал, дочь вырастил, а теперь на ее свадьбе стоит, как неприкаянный, точно его из милости сюда пустили.

А тут попятился, не разглядел что сзади, и попал сапогом в кошачье блюдце с молоком, стоявшее у стенки. Блюдце хрустнуло, разломилось, и из-под ног Спиридона потек ручей молока на середину пола. Некоторые из гостей фыркнули, а он покраснел до самого затылка.

Старики-хозяева, Парфен и его жена Анисья, тоже как-то нескладно толкались, видимо, не зная, что делать со скучающими гостями. А молодежь забралась вопреки всем обычаям в спальню, оттуда слышался говор, смех. Устинья в белом платье, с волосами, собранными к затылку, в прическу с воткнутой в нее гребенкой, сидела с женихом на кровати, тоже смеялась и оправляла ему то галстук, то волосы, как будто он был для нее уже с в о й.

И от этого не было, как показалось Спиридону, никакой серьезности, никакого благообразия. И даже отдавало каким-то бесстыдством.

У Спиридона настроение стало еще хуже, когда он увидел, что здесь присутствует рябой Семка, который один раз уже подковырнул его насчет этой свадьбы.

Кум Спиридона, Сергей Горбылев, пожилой мужик с серой курчавой бородой и волосками на носу, как будто понял, что чувствовал Спиридон. Он отодвинул ногой черепки и, нагнувшись к Спиридону, подмигнул и сказал тихонько:

— Тоже в гости пришел?

— Вроде этого...— ответил угрюмо Спиридон.

Наконец, оживились, зашумели. Молодые ребята, напирая друг на друга, толпой вытеснились из спальни, причем всех толкали.

Комсомолец Гараська Щеголев, друг жениха, вышел на середину избы и поднял вверх руку, как бы требуя тишины. Все затихли и смотрели на него и друг на друга с неловким чувством ожидания, что он сделает или скажет что-то такое, отчего всем будет стыдно и неловко за него и за себя. Гараська утер губы платком и, заложив палец за борт френча, сказал краткое приветствие молодым, заключавшееся в том, что он поздравлял новую пару, отказавшуюся от предрассудков и строящую новый быт.

Жених в коричневом френче и брюках, стоя рядом с невестой, то смотрел на оратора, то, улыбаясь, перешептывался с невестой, чтобы скрыть свою неловкость. А она тоже изредка шептала ему что-то, закрыв рот рукой.

И опять эта смелость и развязность дочери показалась Спиридону почти бесстыдством. Его старуха — не то что шептать и смеяться при всех с ним, когда он был женихом, она стояла, словно окаменела совсем,— до того боялась.

Спиридон смотрел на оратора, на его сухой, свешивающийся наперед вихор, и ему лезли мысли о том, что на него — отца — наплевали, да еще на смех подняли, всем командует какой-то мальчишка, у которого на губах молоко не обсохло.

В особенности ему показалось, что над ним потешается Семка, который, сидя на подоконнике и свертывая папироску, поглядывал на жениха с невестой и все ухмылялся чего-то. Лицо у него было рябое от оспы, и на носу было особенно много рябин, так что

кончик его был точно весь изъеден. И оттого лицо его казалось Спиридону особенно гнусно-ехидным.

За стол он сел в поддевке, и ее широкие рукава, обшитые полоской кожи, мешали ему управлять ножом и вилкой. Стал резать курицу, упер вилку стоймя в тарелку, а она, неожиданно соскользнув, так взвизгнула, что все гости испуганно оглянулись. А соседа с левой стороны всего обдал куриным желе, и тот испуганно выбирал его из курчавой бороды, точно ему в бороду не куриное желе, а искры из кузнечного горна попали.

Спиридон опять весь покраснел и с досады чуть не пустил тарелкой об пол и не ушел. Но удержался и только отставил тарелку и стал только пить.

— Неподходящее, видно, дело?— сказал ему через стол Семка.

Спиридон посмотрел на него и ничего не ответил.

Языки развязывались все больше и больше. Ножи отложили в сторону и стали работать руками, разрывая сухожилия на куриных ногах и обгладывая их зубами. Молодежь, обступив молодых, заставляла невесту пить водку и целоваться с женихом.

И Спиридону казалось, что они нахальничают над его дочерью у него на глазах, а все смотрят на него и, наверное, смеются над ним, что он сделать ничего не может.

Семка рябой, то и дело наклоняясь вперед над столом пьяной головой, смотрел неслушающимися глазами на молодых, потом переводил их на Спиридона, и вдруг закричал пьяным голосом:

— Вали, ребята, целуй ее все,— невенчанная!

Спиридон побелел.

Соседние с Семкой мужики начали унимать его, а он еще больше кричал и хохотал пьяным смехом в лицо Спиридону. Все сразу затихли. Назревал скандал. Но все-таки все были далеки от мысли о том, что сейчас произойдет.

— Вали, ребята, не церемонься! — закричал опять было Семка.

Но в это время вдруг что-то случилось... Сидевшие рядом со Спиридоном два мужика полетели на пол, а Спиридон очутился около Семки и стал душить его за горло. Семка одной рукой отдирал руки Спиридона, а другой искал на столе нож. Заметив его движение,

Спиридон не спеша отвязал одной рукой с пояса под поддевкой свой самодельный из косы нож. Отвязав, он навалился на Семку среди отшатнувшихся от них соседей по столу и только было взмахнул рукой над моргавшим под ножом мужичонкой, как у него на руке повисла Алена и закричала:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, голубчик, не надо...

Он с озверелым видом изо всей силы отмахнулся от жены рукой, в которой у него был нож, и Алена, слабо, испуганно и как бы удивленно вскрикнув, медленно осела на пол.

Платье на ней было разрезано от груди до самых ног, и на полу показалась лужа темной крови, стекавшей от нее узеньким ручейком в углубление, и на ней плавала и кружилась пыль от земляного пола.

III

Рана оказалась смертельной. Алену свезли в больницу, и она медленно умирала.

Все в деревне жалели Спиридона и говорили о том, какое несчастье опрокинулось на него: осталось хозяйство без бабы.

Соседи часто заходили к нему, когда он сидел один, опустив голову, и говорили ему о том, что одному ему трудно в хозяйстве будет, что нужно жениться, ведь он еще не старик... Можно посватать Катерину Соболеву, она хорошая и работящая баба, хотя, впрочем, у нее трое ребят. Тогда можно взять Степаниду, у нее один мальчишка, вырастет, помощником будет.

Но Спиридон ничего не хотел слушать.

На третий день его допустили к раненой.

Когда больничная сестра в белом халате провела Спиридона по высокому коридору и остановилась перед крайней дверью, Спиридон, шедший за ней неловко на цыпочках в своих больших сапогах и с шапкой в руках, тоже остановился и посмотрел на свою шапку, точно не зная, куда ее деть, и на свои сапоги, не наследил ли он ими.

Сестра вошла в палату. Спиридон в раскрывшуюся дверь увидел в дальнем углу пустой палаты койку и на ней чей-то незнакомый и чужой желтый лоб.

Сестра, заглянув на эту койку, повернулась и поманила Спиридона. Тот, еще больше приподнявшись на цыпочки,— отчего его сапоги неловко вихлялись на скользком натертом полу,— подошел.

Перед ним лежала Алена. Желтый, как у покойника, лоб оказался ее лбом. И странно было, что он так быстро стал таким. Вокруг глубоко запавших глаз залегли серые, землистые тени. Поверх серого больничного одеяла лежали выпростанные бледно-желтые, точно только что вымытые руки с выросшими желтыми ногтями.

Сестра вышла. Спиридон сел на кончик табуретки у постели жены.

Ему было стыдно и неловко, что он сам убил ее, а теперь пришел навещать.

— Ну, как?..— спросил Спиридон каким-то чужим, как ему показалось, голосом. Хотел откашляться, но побоялся.

Слабый взгляд умирающей остановился на нем, и по ее лицу, вслед за мелькнувшей бледной, как бы ободряющей улыбкой, пробежала тень заботы.

— Помру...— слабо, едва слышно выговорили ее бледные, бескровные губы. Она несколько времени лежала неподвижно, как бы отдыхая от сделанного усилия. Потом все с тем же выражением заботы сказала:

— Вот беда-то свалилась... как ты теперь один будешь... не справишься с хозяйством-то.

Она вошла в свою обычную роль заботы о нем и говорила так, как будто не ее положение умирающей нуждалось в заботе и сочувствии, а положение Спиридона, который останется жить один, когда у него картошка не выпахана и за ним самим некому будет присмотреть и некому помочь.

И Спиридон как-то по привычке принимал это и даже невольно делал вид, как будто его положение действительно тяжелое. Он даже хотел было сказать жене, что соседи уж уговаривают его жениться, но что-то его удержало от этого. Он только махнул рукой, как бы не желая говорить о своем положении, и сказал:

— Да это что там, справлюсь как-нибудь. Вот тебя бы поправить...

Но больная на это только безнадежно покачала головой:

— Обо мне разговор уж кончен...

Потом посмотрела издали на свои руки, лежавшие на одеяле, приподняв их ногтями к себе, и подумав, спросила:

— Что ж, живут?— очевидно, подразумевая дочь.

— Живут покамест,— ответил Спиридон.

Алена опять покачала головой.

— Бесхозяйственный... от приданого отказался, значит, копейку не будет беречь... несчастная она с ним будет... любить ее не будет...

— Какая там любовь...— сказал таким же тоном Спиридон.

— Больше двух дней не выживу... отработалась...— сказала Алена, потом, застонав от боли, лежала несколько времени неподвижно с закрытыми глазами.

У Спиридона зачесались глаза и защипало в носу от слез. Он подумал о том, что она сама умирает, а думает только о нем, а он помнит, что не раз все-таки подумывал о предложении соседей и так как привык больше всего беречь копейку, то ему было жалко денег, если придется нанимать человека, так как один после ее смерти он все равно не справится.

Алена, открыв глаза, повернула к Спиридону голову на плоской больничной подушке, посмотрела на него и как-то робко, нерешительно проговорила:

— Положи ты меня в голубом платье... это твоя память... так ни разу и не надела... только смотрела на него... видно, уж там вспоминать буду.

Спиридон подумал, потом сказал:

— Жалко... что ж оно в земле-то зря сопреет? Лучше Устюшка поносит.

— А, ну хорошо... в чем-нибудь, там не взыщут, что не приоделась...— проговорила Алена, и на ее губах промелькнула слабая тень улыбки.

— И ровно надоумил кто...

Она остановилась, часто и слабо дыша. Спиридон подождал, и так как она молчала, он спросил:

— В чем надоумил?

— Платья-то этого не надела... и оно бы пропало зря... располосовал бы все...

У Спиридона опять зачесались глаза, а в горле точно застрял какой-то комок.

— Да это что там... человек дороже платья,—сказал Спиридон, махнув рукой.

— Что ж дороже... человека-то уж нету почесть... А я было уж надела его, потом опять сняла... прямо бог спас.

Спиридон утер украдкой глаза, проведя по ним и по носу шапкой, и на носу остался зацепившийся в виде пушинки клочок ваты от подкладки, которого он не заметил.

Алена заметила это, ей стало жаль мужа, и она не сказала, а только смотрела на эту ватку, которая развлекала ее внимание.

Спиридон смотрел на жену и видел, что ей уж не встать, и она сама знает это, а все-таки продолжает заботиться о нем. И опять горе и жалость к человеку, с которым прожил целую жизнь, сжали ему спазмой горло.

Алена заметила это, ей стало жаль мужа, и чтобы успокоить его и ободрить, она сказала:

— Не горюй... может еще выживу... случаи бывают...

— Дай бог...— сказал Спиридон, а сам испуганно подумал, что ведь это беда тогда будет, если она в самом деле выживет, потому что все равно ни на какую работу не будет годна, ее только кормить да ходить за ней.

— К следователю уж вызывали, теперь затаскают, гляди, еще лошадь напоить некому будет.

Он сказал это затем, чтобы, во-первых, отогнать от себя эти лезшие в голову постыдные мысли, а, кроме того, ему как-то стыдно было сидеть перед умирающей от его руки жены здоровым, не обремененным никакой заботой, никакими неприятностями, и ему хотелось как бы выставить себя в более несчастном положении, быть может немногим лучше, чем положение Алены. Он даже старался говорить каким-то слабым, больным голосом.

— За что ж таскать-то...— сказала Алена, отвечая на его слова о следователе,— кабы ты нарочно... что ж с пьяного человека взыскивать, мало что бывает...

Она не договорила, закрыла глаза и закусила бледные губы.

— Больно тебе? — спросил Спиридон, чуть наклонившись с табурета.

Алена слабо кивнула головой, потом опять застонала и заметалась.

А Спиридон смотрел на нее и думал: «неужели она все-таки выживет?»

Вошла сестра, оправила одеяло, взяла руку больной и, отвернувшись, стала пробовать пульс, потом мигнула Спиридону, чтобы он уходил. Но в это время Алена открыла глаза, и, найдя ими мужа, сказала слабым голосом:

— Ну, иди... может, не увидимся... найми копать картошку-то, не справишься один. А платье Устюшке отдай... пусть носит... меня все равно в каком...

Потом, отдышавшись, прибавила:

— Жениться бы тебе... что чужому человеку платить. Я уж думала о Катерине... хорошей души баба.

— Еще что выдумала! — сказал Спиридон.— Может, бог даст, оправишься.

Спиридон постоял с шапкой в руках около койки и, не зная, как проститься, молча поклонился жене поясным поклоном, как кланяются покойнику, потом пошел опять неловко, на цыпочках, из палаты все еще с пушком ваты на носу.

Придя домой, в свою пустую избу, где еще так недавно жена хлопотала у печи, Спиридон сел на лавку и долго сидел, опустив голову. Потом отодвинул ящик стола, ища чего-нибудь поесть, но ничего не нашел, кроме хлеба и холодных, ослизлых картошек на загнетке в чугунке.

И от этой пустоты и тишины чего-то остановившегося, от потери навеки своего неизменного заботливого друга, от этих холодных картошек опять в горле начал набираться комок слез.

Ведь она как мать была для него всю жизнь, даже теперь, умирая от его руки, думает и заботится только о нем вплоть даже до его женитьбы. А он не ценил и даже не замечал этого и вот только теперь, когда ее нет с ним, когда холодная картошка в чугунке говорит о ее, быть может, вечном отсутствии,— теперь он почувствовал.

И если не удастся спасти ее, то ради ее такой любви остаться ее памяти верным до могилы. И лучше есть эту холодную, ослизлую картошку, чем допустить, чтобы ее место заступил какой-то другой человек, хотя бы та же Катерина.

IV

А когда он на другой день пошел в больницу, он подумал, как же теперь будет хозяйство: если она умрет, ему одному не справиться, нанимать — жалко денег.

Конечно, самое лучшее — жениться на Катерине. Но у Катерины хоть и душа хорошая, а у нее трое ребят. Тогда лучше Степанида, у нее один малый.

А если Алена останется жива, то работать не сможет, и все равно придется нанимать, потому что, пока она жива, жениться на другой нельзя, да еще за ней ходить надо человека нанять.

И когда он подходил к больнице, ему подумалось, что вдруг сестра выйдет и скажет:

«Слава богу, твоя старуха останется жива, только тебе придется взять ее домой и нанять какую-нибудь соседку, чтобы ходить за ней, бог послал крест, надо терпеть, она уж не работница».

Спиридон стал соображать, во сколько это обойдется, и никак не мог сосчитать.

Подавленный этими мыслями, он вошел в больничный коридор и робко, точно ожидая своего приговора, встал с шапкой у двери.

Сестра встала из-за белого, выкрашенного масляной краской столика, за которым она что-то писала и, увидев Спиридона, подошла к нему.

— Ну...— сказала она.

Спиридон заморгал, у него замерло сердце, и на лбу выступил холодный пот. Он даже утер его шапкой.

— Что же делать, надо терпеть,— сказала сестра в то время, как у Спиридона при первых ее словах мелькнула мысль о хозяйстве,— в ночь скончалась,— договорила сестра.— Она там, ее вынесли в мертвецкую,— прибавила она.

У Спиридона как-то против воли вырвался вздох облегчения. Но при мысли о том, что хозяйство его осиротело, что он уже никогда не увидит свою старуху, и при слове вынесли он почувствовал в горле опять знакомый ком и неожиданно для себя стал как-то нелепо, по-бабьи всхлипывать, так что самому стало стыдно.

ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ

I

В деревне Бутово, что стоит на высоком загибающемся берегу реки, мужики издавна сдают свои избы под дачи. И те из них, кто строился в последнее время, приспосабливаются к вкусам и потребностям дачников — городских жителей, благодаря чему эти постройки уже похожи на настоящие дачки, а не на крестьянские избы.

Только крайний от реки домик, принадлежащий ветхой старушке Поликарповне, во всех отношениях отстал от моды. Он покосился, покривился, крыльцо его, подпиравшееся столбом из кирпичей, одной стороной висело над полуобрывом, спускающимся к реке. Под этим крыльцом всегда собирались от жары чужие собаки, которые, разрыв прохладную в тени землю, лежали врастяжку. Когда кто-нибудь, проходя мимо, свистал им, собаки только испуганно поднимали головы с мутно-красными от сна глазами, потом опять растягивались.

Это крыльцо уж давно грозило обрушиться и похоронить под своими развалинами случайных постояльцев. Да и весь домик с отставшими от старых рам стеклами в его трех окошечках и расшатавшиеся ступеньки крыльца говорили о полной немощи своей хозяйки.

Ветхость домика и ветхость самой хозяйки отпугивали дачников, и в то время как все дачи в деревне разбирались, у Поликарповны большею частью оставалась свободной ее хибарка.

Каждый раз наниматели, обойдя сначала домик снаружи, говорили владелице, что они пройдут посмотреть еще другие и на обратном пути, вероятно, зайдут и снимут ее хибарку. Но не было еще случая, чтобы они заходили на обратном пути.

Было только одно достоинство этого домика: это то, что он стоял крайним от реки на высоком известковом берегу, и с его крыльца далеко был виден каменистый загиб берега с полосой от разлива, проточенной в известковых камнях.

И если бы на месте этой развалюшки стояла исправная дачка, то не было бы отбоя от нанимателей.

Каждую весну у Поликарповны начиналась тревога: каждый прохожий городского вида заставлял с силой биться ее сердце. Она старалась нарочно не смотреть на него, чтобы зря не волноваться, но ее уши против воли напряженно ждали, не обратится ли он к ней.

II

И вот, наконец, счастье пришло: из города зашел какой-то человек в серой кепке, с полуседыми волосами и в рыжеватых сапогах с короткими обтершимися голенищами. В руках у него были удочки, треножник и маленький чемоданчик.

— Ну-ка, бабушка, комнатку мне откомандируй,— проговорил пришедший.

Он, не торгуясь, снял комнату за тридцать рублей в лето и деньги тут же отдал все вперед, вынув их из старенького кошелька с медным ободком.

Звали его Трифоном Петровичем. На вопрос хозяйки, чем он занимается, постоялец ответил, что он художник, приехал сюда писать картины.

После чая перед вечером он пошел на берег и долго смотрел на реку.

Был час, когда вода в реке почти неподвижна и зеленый луговой берег отражается в воде с зеркальной ясностью, а молодая трава в засвежевшем майском воздухе пахнет сильнее и над всей окрестностью разлита предвечерняя тишина.

По лицу художника и по берегу шли радуги от вечернего солнца, отражавшегося в воде. Постояв там, он пошел домой, поставил треножник, а на него рамку с натянутым холстом.

— Как чудесно!— говорил он, вдыхая всеми легкими тонкий аромат яблоневого цвета, смешанный с вечерней прохладой.

Прежде в этот час звонили к вечерне, но теперь церковь была превращена в народный дом, и только в ограде оставались по-прежнему яблони, которые буйно цвели почти каждую весну, и с крыльца был виден уголок этой ограды и свешивающиеся яблоневые ветки, осыпанные крупным белым цветом.

Художник отступил шага на два от треножника и стал примериваться, чтобы вместе с лугами и рекой захватить уголок ограды с яблонями.

И с этого момента каждый вечер, как только тень от противоположного берега доходила до середины реки и вечерние радуги, отражаясь от воды, шли по столбикам крыльца, Трифон Петрович брался за свою картину.

Он был уютно-веселый и простой человек; Поликарповна с первого же дня привыкла к нему, как к своему, и даже скучала, когда он с удочками уходил на реку и его сгорбленная фигура, видневшаяся на светлом фоне реки с поднятой вверх удочкой, оставалась в полной неподвижности до самой темноты.

Один раз, походив около домика, Трифон Петрович сказал:

— Мне все равно сейчас делать нечего, дай-ка я поправлю тебе крыльцо.

— Спасибо, родимый, если милость твоя будет,— ответила старушка.

И Трифон Петрович все время, свободное от писания картины, стал проводить за поправкой крыльца, а когда кончил его, осмотрел и тоже перечинил все рамы, поправил даже балясник и сделал калиточку.

— Чудно мне что-то,— сказала один раз Поликарповна,— пришел ты, снял комнату, даже не поторговался, а теперь крыльцо мне чинишь, будто ты и не чужой человек мне.

— А что ж, неужто все только на деньги считать? Я вот тебе поправлю, а ты потом вспомнишь обо мне, вот мы и квиты,— сказал он, засмеявшись.

— Теперь, милый, такой народ пошел, что задаром никто рукой не пошевельнет. Вон церковь-то закрыли, о боге да и о душе теперь не думают, только для брюха и живут. Да смотрят, как бы что друг у дружки из рук вырвать,

— Ну, нам с тобой делить нечего: оба нищие, и оба старые, нам только друг за дружку держаться,— говорил Трифон Петрович, обтирая кисть о халат и снова и снова переделывая нарисованные цветы.

— Что ты все поправляешь-то, батюшка?

— Никак не могу поймать... чтобы цвет был белый и чистый.

— Да ведь он и так у тебя чистый.

— Нет, все не то, надо, чтобы как живое было, вот чего добиваюсь.

Старушка помолчала, потом сказала:

— Ну, прямо я с тобой, как с родной душой.

— Ну, вот и хорошо.

Поликарповна всем в деревне рассказывала, какого хорошего человека ей бог послал. И в самом деле, постоялец, помимо того, что даром поправлял ей ее домишко, к тому же был такой ласковый, нетребовательный, что на него не приходилось тратить ни сил, ни времени. За водой в колодец для самовара он не позволял старушке ходить и носил воду сам. Когда ездил в город, то всегда привозил ей гостинцев — конфеток, вареньица. А по вечерам долго сидел с ней на крыльце за чаем, и они, поглядывая на далекие луга, мирно разговаривали.

— Прямо с тобой душа отошла,— говорила Поликарповна,— а то уж в людей вера пропадать стала.

— Вера в человека — это самая большая вещь,— отзывался Трифон Петрович.— Когда эта вера пропадает, тогда жить нельзя.

III

Один раз Трифон Петрович уехал в город, а Поликарповна, убравшись, сидела на крылечке. Подошел к ней проходивший мимо Нефедка, сапожник, ничтожный, дрянной человечишко, известный пьяница и кляузник. Он несколько раз видел Трифона Петровича за работой и теперь, сев на ступеньку крыльца, завел разговор на ту тему, зачем это ей постоялец задаром крыльцо чинит.

Поликарповна попробовала было сказать, что человек хороший, вот и чинит. Но Нефедка на это только как-то нехорошо усмехнулся, так что у Поликарповны даже тревожно перевернулось сердце.

— Уж какую-нибудь он под тебя дулю подведет, либо из платы за квартиру вычтет, либо еще что-нибудь. Какой же человек будет без всякой выгоды для другого стараться.

— Деньги он мне все вперед уж отдал.

— Отдал? Ну, значит, еще что-нибудь. Нешто обо всем догадаешься. Вон он работает по вечерам, а теперь насчет этого строго, охрана труда и все такое...

— Иди-ка ты отсюда подобру-поздорову,—сказала с гневом Поликарповна,— нечего на хорошего человека каркать.

Нефедка ушел, Поликарповна плюнула даже ему вслед и, утерев рот, перекрестилась как от искушения. Она думала о том, какую же мысль может таить Трифон Петрович против нее? А потом даже рассердилась на себя, что из-за слов ничтожного человека хоть на минуту допустила какое-то сомнение в хорошем человеке.

Трифон Петрович вернулся перед вечером, старушка так и вскинулась навстречу к нему от радости. Ей хотелось быть с ним еще ласковее, потому что она как бы чувствовала за собой какую-то вину в том, что хоть на минуту задумалась о словах Нефедки. Трифон Петрович взялся за свою картину, она села на ступеньку и совсем успокоилась.

— Я там в городе всем порассказал, как у вас тут хорошо: теперь хозяйки не отобьются от постояльцев, у меня рука легкая.

Но когда после захода солнца он попросил топорик, у Поликарповны тревожно ёкнуло сердце, и она стала уговаривать его, чтобы он отдохнул, что уже поздно. Причем лицо у нее, когда она говорила это, было растерянное и испуганное.

А когда легла спать, то в голову, прогоняя сон, лезли одни и те же мысли: чего можно ожидать? Ведь все деньги получены сполна. Конечно, ничего. И когда она убеждалась, что ничего плохого быть не может, что все это болтовня скверного человека, ей вдруг становилось легко, точно с плеч сваливалась какая-то мутная, грязная тяжесть. А то вдруг через минуту сердце, с силой стукнув два раза, останавливалось, и на лбу выступал пот от какой-нибудь новой мысли: например, ей приходило в голову, что Трифон Петрович, может быть, работает над ее хибаркой с тем, чтобы потом сказать:

«Я имею часть в этом доме, так как целое лето ремонтировал его, исправлял крыльцо, чинил рамы, а ввиду того, что я работал по вечерам, я еще могу донести на тебя в охрану труда, поэтому или плати мне сверхурочно или вовсе выселяйся из моего дома».

А тут еще ко всему этому прибавилось одно обстоятельство: у Трифона Петровича рука в самом деле оказалась легкая; начиная с воскресенья, в деревню стали приезжать все новые и новые дачники. Хозяек охватила лихорадка наживы. Цены поднялись потом

втрое, а так как народ все ехал, то стали уж хапать без всякой совести. Те, кто пустил к себе дачников раньше по дешевой цене, теперь грызли с досады руки или, совсем махнув рукой на совесть, набавляли на своих постояльцев, а если они не хотели приплачивать, выживали их всякими способами.

Один раз к Поликарповне зашла кума с дальнего конца деревни.

— Бегала теленка искать,— сказала она, присаживаясь на нижнюю ступеньку крыльца и поправляя после ходьбы платок.— Ну, как, довольна своим постояльцем?

Поликарповна с удовольствием и радостью рассказала о том, какого хорошего, редкого человека ей господь послал, что он с ней, как с родной матерью, иной сын не будет того для своей матери делать, что делает он, потому что он не по выгоде, а по душе все делает.

— Да, это редкость,— согласилась кума.— А у меня вон сняли комнату двое, муж с женой, я с ними и так и этак, старалась, угождала им во всем, а они в город поехали, четыре дня там пробыли, а потом, гляжу, вычитают за эти дни. Да ведь комната-то за вами, говорю, была. А они и внимания не обращают. Еще пригрозили, что донесут на меня, что я кулак, народ притесняю. Так, веришь ли, у меня все сердце перевертывается, когда мои глаза увидят их. Так бы, кажется, кишки им все выпустила, да на руку и намотала. Вот до чего!

— Нет, у меня прямо свой, родной человек.

— Да уж про твоего разговор по всей деревне идет. Ты сколько с него положила-то?

— Тридцать рублев в лето.

Кума хотела было почесать голову и только подсунула руку под платок, да так и осталась с поднятой рукой, удивленно раскрыв глаза:

— Сколько?

Поликарповна повторила.

— Да ты, бабка, спятила совсем!.. У меня есть один, он у тебя с руками за сто оторвет, комнату никак найти не может. Теперь по полтораста берут, по двести!

— Как по двести?..— спросила едва слышным голосом Поликарповна. У нее почему-то пропал вдруг

голос, вся кровь бросилась ей в лицо, стала медленно расползаться по шее.

— Да так. Вон Демины, у них хатенка немного лучше твоей, а они за сто двадцать сдали.

— Как за сто двадцать?..— опять так же тихо, как загипнотизированная, воскликнула старушка.— Да ведь раньше все дешево брали...

— Мало что раньше! Тогда народу совсем не было, а теперь от него отбоя нет. Старики не запомнят, чтобы когда-нибудь столько дачников было. Что же тебе из-за чужого человека цену упускать, что он тебе, сын, что ли? Такого случая умрешь — не дождешься. Вон Кузнецовы тоже хороших людей с весны пустили, знакомые, сколько лет у них жили, а к тому дело подошло, так они в два счета выкурили, а на другой день вместо прежних пятидесяти за сто тридцать сдали.

IV

Кума ушла, а Поликарповна осталась в невыразимом мраке. Вон к чему дело повернулось... Конечно, она не могла ни одной минуты заподозрить Трифона Петровича в том, что он умышленно стал чинить крыльцо и приводить в порядок ее домишко с тем, чтобы, когда она заикнется о прибавке, представить ей счет за ремонт. Просто невозможно было заподозрить в этом человека с такой хорошей душой.

Но дело в том, что сейчас эта хорошая душа влетела ей в копеечку. Семьдесят рублей убытку! Ведь если бы на месте Трифона Петровича был какой-нибудь обыкновенный, а того лучше — дрянной человечишко, который бы выгрызал каждую копейку, тогда бы она ему, не церемонясь, прямо сказала начистоту:

«Вот что, мой милый, прошиблась я маленько, когда с тебя плату назначала, я думала, что народу не будет и придется мне одной все лето куковать, и назначила с тебя поменьше, чтобы ты к другим не ушел. А когда дачник полным ходом попер, теперь уже мне бояться нечего: или втрое давай, или выметайся, а то новый постоялец дожидается».

Вот что она могла бы сказать. А как это скажешь человеку, который к тебе подошел, как сын родной, без всякой корысти, и сама же только что хвалила его по всей деревне?

И словно нечистый ее подвел в разговоры с ним пускаться, о душе распространяться. Распространилась на семьдесят целковых! Держалась бы подальше. И как в голову не пришло, что, когда деньги получаешь, всегда дальше держись. Комнату предоставил, самовар поставил, и больше нас ничего не касается. А теперь, ежели она его выкурит, то соседи такой звон подымут, что просто беда. Скажут, вишь, старая карга, из нее скоро мох расти будет, а она душу свою пачкает, хорошего человека выкурила.

И как только она теперь видела постояльца, когда он с удочками и корзиночкой возвращался с рыбной ловли, так у нее перевертывалось все сердце. Хорошо ему рыбку-то ловить, на семьдесят целковых можно себе удовольствие позволить. И идет, как будто не понимает. У, сволочь поганая! Господи, прости ж ты мое согрешение!..

Весь вид постояльца, его ласковость, мягкость вызывали у Поликарповны только раздражение, почти ненависть. Чем человек этот был лучше по душе, тем для нее было только хуже, так как ей на этом приходилось терять такие деньги, каких она уже давно не видела в руках.

И что бы он теперь ни делал, как бы хорош с ней ни был, ее мысль не могла забыть этих семидесяти рублей и того, что тот человек, который готов заплатить сто рублей, может уехать. И когда Трифон Петрович за чаем угощал Поликарповну привезенными из города конфетами, она конфеты брала, а сама против воли думала:

«За семьдесят целковых, конечно, можно конфетками угощать, за эти деньги можно бы и получше привезти. А то это чего выгоднее: по-душевному обошелся с человеком, конфеток ему на гривенник купил, а у него от этого язык не поворачивается свою сотню отстоять».

И хотя, если говорить по правде, тот же ремонт, который произвел Трифон Петрович, обошелся бы ей не дешевле семидесяти рублей, но она ведь не просила его об этом, ее хибарка и без ремонта могла бы быть сдана в лучшем виде. И он с ней не договаривался, а добровольно делал, а за добровольное денег нельзя взыскать. А то это немало охотников найдется. Какой-нибудь проходимец присоседится, что-ни-

будь починит, да нарочно еще будет по вечерам работать, когда охраной запрещено, а потом плати ему вдвое, как за сверхурочное!.. А что он за водой ходит, так это девчонку какую-нибудь нанял за два рубля в лето, так она тебе столько натаскает, хоть залейся совсем. Это подешевле обойдется.

А почему ей только сто рублей с того постояльца брать? Раз Кузнецовы сто тридцать, то и она может столько же назначить, ведь это до ремонта к ее домишку страшно было подойтить, а теперь на него глядеть любо. Даже калиточка есть. Вот только бы избавиться. Ее раздражало каждое его слово, каждое движение. Даже то, что у него были белые руки, чего она прежде как-то не замечала.

А он, как нарочно, ничего этого не видел. А тут кончил, наконец, свою картину и, отойдя от нее шага на два, даже засмеялся от удовольствия: яблоневый цвет большими — белыми с розовым — гроздьями как живой был на первом плане картины, и от него веяло такой чистотой, а от вечерней глади реки таким покоем, что, казалось, чувствовался его аромат и запах вечерних, засыревших полей.

— Схватил! — сказал Трифон Петрович. И, обратившись к хозяйке, прибавил: — Вот осенью другую картину тут напишу.

У Поликарповны вся шея покрылась красными пятнами.

V

На следующее утро Поликарповна остановила проходившего за водой Нефедку и, позвав его к себе, рассказала ему все, спрашивая совета, как поступить.

— Я говорил, что-нибудь тут да не так. Скажи, пожалуйста, чего это ради чужой человек ни с того ни с сего на другого будет работать, спину гнуть! Вот оно так и пришлось: он топориком-то потюкал, по душе с тобой обошелся, а у тебя через это рука против его не подымается. Тебе бы сейчас случаем пользоваться, что дачник густо пошел, крыть по чем зря да в сундук прятать, а у тебя против него руки связаны. Ну да вот что...

Он пьяным жестом сложил руки на груди, взяв себя ладонями под мышки, и задумался, опустив голову. Потом, подняв голову, сказал:

— Ставь, видно, мне четвертную на пропой души, и устрою я тебе это дело в лучшем виде. Человек он, видать, хороший, в суд не пойдет. Ты уйди на денек, скажем, к дочери за реку, а я ему от твоего имени объявлю, чтобы он убирался подобру-поздорову. Потому что ежели ты его не выставишь, а только плату на него накинешь, то тебя потом хуже совесть замучает смотреть на него, потому что ты старушка религиозная и душа у тебя совестливая.

— Верно, батюшка, замучает,— сказала Поликарповна, забрав подбородок в руку и скорбно покачав опущенной головой в черненьком платочке.

Она как-то вся потерялась, даже осунулась и побледнела за эти дни, а на руках и на щеках виднее выступили лиловые пятна, что бывает у глубоких стариков перед недалеким часом смертным.

— Ну вот, а я полегонечку тут все сделаю. Так и так, мол, старушка богобоязненная, совестливая, самой ей разговаривать с тобой стыдно, потому что ты человек-то очень хороший, как с матерью родной с ней обошелся, и потому она это дело мне препоручила.

— Верно, милый, верно. А как же деньги-то ему, что за дачу он заплатил, отдавать придется?

— Ты с этим погоди, не юли, сами забегать вперед не будем, а там видно будет. Если еще бутылочку прибавишь, то и с этим как-нибудь справимся.

— А в суд, думаешь, не подаст, батюшка?— спросила старушка.

— Можешь быть спокойна. Не такой человек. Считал он тебя, можно сказать, родной матерью, а как увидит, что оказалась сволочью, он просто плюнет и уйдет поскорее и ни о каких деньгах не вспомнит, ему смотреть на тебя противно будет, а не то что еще в суде с тобой разговаривать. А ты на этом деле целковых тридцать выгадаешь.

— Все сто, милый.

— Конечно, ежели бы на какого-нибудь жулика налетела, так тогда бы — плакали твои денежки. И за такую штуку он бы тебя в бараний рог согнул, а раз с таким человеком дело имеешь, тут вали смело.

Старушка горестно, озабоченно смотрела перед собой в землю, собрав рот в горсть, потом, наконец, видимо, решившись, подняла привычным жестом руку

ко лбу, чтобы перекреститься, как крестятся перед началом дела, но сейчас же как-то испуганно опустила ее и, вся потемнев, изменившимся голосом торопливо проговорила:

— Ну... делай, как говорил.

После вечернего чая, покрывшись платочком и перекрестившись на закрытую церковь, она потихоньку от постояльца пошла к дочери за реку.

Солнце уже светило мягким предвечерним светом, и по столбикам крыльца шли солнечные радуги от воды. А из ограды доносилось свежее благоухание цветущих яблонь, которые от брызнувшего из облачка дождя сверкали прозрачными каплями на мокрых листьях и на снежно-розовых цветах.

ПАНИКА

Бухгалтер сидел над статистической сводкой, когда пришла жена со службы. В руках у нее был какой-то кулек.

— Где Лиза?— спросила она мрачно.

— Еще не приходила.

Жена села с кульком на диван и сказала: сестрица витает где-то в облаках, ты занят своей статистикой, а о жизни думаю только я одна. У меня уже голова пухнет.

Бухгалтер машинально взглянул на ее голову и сказал виновато и испуганно:

— В чем дело, милочка?

— В том, что все бросились покупать крупу.

— Зачем?

— Я не знаю зачем, мне сказала сослуживица и я только случайно нашла ее в одном магазине. Ее дают уже по два кило. Вот эти два кило. Мне неудобно идти во второй раз, иди ты.

Жившая рядом в коридоре в маленькой комнатке за фанерной дверью соседка, всегда любопытная к тому, что говорится и делается у соседей, тревожно прислушалась и сейчас же зашуршала у себя кульками.

Бухгалтер, надев пальто, поспешно убежал, жена только успела вслед крикнуть ему: — Шляпу задом наперед надел!

Когда пришла сестра Лиза, старшая сказала ей:

— Надо скорее покупать крупу... уже почти нигде нет... никому только не говори, а то последнюю растащат. Позвони Лене, чтобы она и себе и нам покупала и принесла бы стеклянных банок.

— Ей лучше бы не звонить, она паникерша...

— Тем лучше, значит, энергичнее примется за дело,— ответила старшая. Она взволнованно шагала по комнате и распоряжалась, как брандмейстер на пожаре.

Лиза позвонила и, обратившись к сестре с трубкой телефона в руках, сказала:

— Лена спрашивает, сколько банок нести.

— Чем больше, тем лучше.

Через десять минут вернулся бухгалтер.

— Милочка, я забыл адрес магазина, но...

Старшая сестра подняла глаза к небу и бессильно уронила руки.

— Но...— испуганно продолжал муж,— но я зашел в первый же попавшийся, и мне без всякой очереди отпустили четыре кило. Вот кулек!

Жена, мгновенно вернувшаяся к жизни, радостно схватила кулек, но сейчас же руки ее, державшие кулек, замерли.

— Да, кулек... А в кульке-то что? Где же тут четыре кило?

И как бы в ответ ей из угла кулька тонкой струйкой потекла крупа.

— Держи, держи ее! — крикнула сестра.

Бухгалтер озадаченно посмотрел на кулек.

— То-то мне все руку что-то щекотало, когда я нес,— сказал он.

— Лиза, одевайся,— сказала жена мрачно,— где этот магазин? Ничего не понимаю, после какого переулка повернуть налево?

— После третьего, а потом...

Сестры, не дослушав, ушли. Когда они спустились с лестницы, Лиза, вдруг остановившись и посмотрев себе под ноги, сказала:

— Вот она!

— Кто?

— Дорога, по которой он шел.

Старшая сестра посмотрела себе под ноги и, хо-

тя уже смеркалось, ясно увидела тонкую струйку крупы, которая вела к воротам.

— Надо спешить, пока не стемнело.

Сестры спешным шагом пошли и в воротах столкнулись с соседкой, которая что-то несла под полой...

Иногда дорожка из крупы обрывалась, и они теряли путь, тогда обе растерянно начинали метаться и искать под ногами пешеходов, как ищут что-нибудь в кустарнике.

— Вот в этом месте у него, наверно, перестало щекотать,— саркастически замечала старшая.— Он больше двухсот грамм рассыпал,— всю дорогу двумястами не усыплешь...

— Слава богу, что пешеходы ногами не подавили, хорошо видно,— говорила вторая,— а то уж совсем темно.

— Да уж чего же лучше... Вон, к магазину поворачивает. Приотстань немножко, а то заметят, что мы вместе пришли.

Когда они вернулись, третья сестра (паникерша) уже ждала их.

— Достали?— тревожно спросила она.

— Достали, нам по пяти кило удалось взять.

— А я почти всех знакомых успела обзвонить,— сказала третья,— просила купить для вас крупы, если в их районе еще есть. Даже просила пшена взять, если крупы уже не будет. Можно пшена?

Старшая сестра оглянулась на вторую и сказала:

— Вот видишь, я же говорила.— И, обратившись к паникерше, прибавила: — Зачем же ты всех-то обзвонила?!

— Но я очень осторожно говорила,— поспешно ответила та.

В течение всей пятидневки раздавались звонки. Звонили знакомые и осторожно спрашивали: не собирается ли куда ехать бухгалтер? Потом осторожно добавляли, что поручение выполнили и кстати запаслись сами. Очень благодарят за предупреждение.

Раза по два в день звонила третья сестра и обычно говорила:

— Взяла еще макарон, они долго лежать могут... не нужны ли ушки, они могут заменить макароны?

Шкаф для продуктов был так набит, что туда уже ничего нельзя было поставить, но крупы хозяйка никому не давала.

Однажды бухгалтер сказал:

— Что же ты целый шкаф крупы навалила, а никогда каши не сваришь?

— Нет, уж ешьте что-нибудь другое, а это — неприкосновенный запас.

Иногда заходили знакомые, прихватив с собой пакетик с крупой, и, посидев некоторое время, уходили, обмениваясь впечатлениями:

— Что-то она какая-то странная стала.

— Да, что-то ненормальное есть...

Однажды она вернулась со службы чем-то расстроенная и раздраженная, ища что-нибудь, расшвыривала все в комнате и говорила, что в этом доме никто ничего на место не кладет. И носилась как буря по коридору, только было слышно, как топотали ее башмаки.

Соседка тревожно прислушивалась у себя за дверью.

К обеду в этот день во все блюда была запихана каша: щи с кашей, лещ с кашей.

Даже кошкам сварили каши. Они долго ее нюхали и потом, отряхнув лапы, отошли и обиженно сели под диван.

После обеда позвонила третья сестра, и когда к телефону подошла Лиза, то сказала ей:

— Я лично для тебя достала три кило фасоли, не говори Соне, а то она обидится, что ей не взяла. А ей взяла пять кило крупы, у нас ею все магазины завалены.

— Что она звонила? — спросила старшая сестра у Лизы.

— Говорит, что достала для тебя пять кило крупы, в их районе все магазины ею завалены.

Старшая сначала ничего не сказала, только щеки у нее покрылись красными пятнами, потом она заметила:

— Какой идиоткой надо быть, чтобы покупать пять кило, раз у них все магазины ею завалены.

Вечером пришел знакомый инженер. Хозяйка разливала чай с каким-то взвинченным видом и была необыкновенно мрачна. Она только спросила:

— Как здоровье тетушки?

— Ничего, благодарю вас... она только странная какая-то стала.

— А что?

Инженер замялся, потом сказал:

— Так, ничего особенного, только наблюдаются некоторые ненормальности в поступках.

— Может быть, от старости?

Хозяйка замолчала, посидела некоторое время, потом вдруг неожиданно спросила:

— Николай Васильевич, вам крупа не нужна?

Инженер в это время подносил ко рту стакан. При этом вопросе он так вздрогнул, что обжег себе губы и расплескал чай. Потом густо покраснел, так что уши налились кровью, и сказал:

— Что это, насмешка?

— А что? Какая насмешка?

— Вы прекрасно знаете, какая... Во всяком случае, это уже становится не остроумно.

— Да что такое?

— То, что тетушка меня целую неделю кашей кормит, и теперь куда я ни приду, мне везде предлагают крупу.

Он встал и, не попрощавшись, ушел.

ВЛАДИМИР БАХМЕТЬЕВ

ЛЮДИ И ВЕЩИ

1

Комсомольский возраст я перекрыл давно, еще заканчивая институт. Тем не менее, до сих пор мне частенько представляется, будто самый младший среди окружающих — это я, Саша Перфильев. Житейская солидность людей, их практичность, особая трезвость их мыслей подавляют меня. Но не настолько, однако, чтобы разоружить меня там, где они, солидные, бывалые люди, вызывали у меня отвращение и неприязнь своим поведением.

Я убежден: где нет движения вперед, где на полпути опускает человек руки, там неизбежно его несет назад, к старому, ветхому. Разумеется, это не угрожало тем, кто, подобно моей тетушке, превыше всего в жизни ценили покой и не собирались менять свои закоренелые навыки и понятия.

Кстати, о тетушке. Агафья Семеновна любит меня теплою, я сказал бы — лижущей, коровьей любовью, и всего настойчивей она осуждает во мне строптивое отношение к людям. По ее мнению, жить надо в ладу со всеми, особенно со старшими по работе. И нельзя мерить каждого на свой аршин, по своей колодке! Во всяком случае, строптивость моя ничего доброго мне не сулила.

— Этак, Сашенька, всех друзей растеряешь,— говорила тетушка с волнением за мою судьбу.— И останешься ты, помяни мое слово, при пиковом интересе в жизни!

Она сулила мне всякие беды, рассуждая предположительно. Что было бы с нею, узнай она, что я уже нажил себе недругов, притом же — среди вчерашних друзей!

Первым, кого я восстановил против себя, был старший мой товарищ по работе — директор завода. Вторым моим недругом оказалась женщина. Начну с директора.

Логинов, Федор Максимович, сидел в директорском кабинете третий год, и у треста он — на лучшем счету. Но, добившись кое-каких успехов в работе, Федор Максимович начал забывать, что завод не только снабжает страну металлическими изделиями, а и участвует в строительстве социализма. Он начал думать, что если предприятие достигло довоенной продукции, то ничего лучшего и желать не оставалось. Он забыл, что мы на заводе куем железо и — новые общественные отношения, а с тем вместе толкаем массы к новым производственным достижениям.

Началось с размолвки между ним, директором, и рабочими при обсуждении очередного коллективного договора. Затем мы столкнулись с Федором Максимовичем по вопросам выдвижения и продвижения внутри предприятия лучших работников: выдвиженцы у нас были предоставлены самим себе, директор вовсе не интересовался ими. Вовсю загорелся сыр-бор при переходе завода на семичасовой рабочий день и на три смены в работе, причем дирекция обнаружила прискорбную неподготовленность к осуществлению ряда необходимых мер.

Надо сказать, что еще в стенах института меня тянуло к перу, а включившись в работу завода, я сделался одним из активных рабкоров заводской газеты и вскоре был выдвинут в ее редакционную коллегию. В качестве члена редакции я и возглавил делегацию, которая потребовала от директора доклада на собрании рабкоров по всем неполадкам, ошибкам и провалам в жизни предприятия.

Выслушав нас, Логинов тяжело задышал в пушистый навес своих усов и наотрез отказался от доклада. Он, видите ли, по горло загружен, и ему нет дела до всяческих там недоумений и волнений бездельников. Это было слишком! Чаша нашего терпения переполнилась. Я взял слово и от имени товарищей призвал Фе-

дора Максимовича, старого большевика и в прошлом слесаря завода, к порядку. Между прочим, ничего особо резкого и обидного в моем слове не было. Видимо, возмутил Логинова самый тон моего к нему обращения. Он поднялся за своим столом и, побелев в лице, как железо на большом огне, прокричал:

— Вы что... учить меня?! Ну, так знайте же, что яйца курицу не учат!

Это было слово в слово то, что не раз мне доводилось слышать от тетушки, раздраженной моим непослушанием. Но ведь Агафья Семеновна наедине со своим племянником — это одно, а директор завода и делегация рабкоров — это совсем, совсем иное! Фигурально выражаясь, он явно споткнулся о нас и падал. Может быть, его еще можно было поддержать, оказать ему «скорую помощь». Но мы уже не владели собою, и один из нас, взбешенный упрямством директора, поднял, в свою очередь, голос:

— Ну, если ты не директор, а курица, то мы общипем тебе хвост!

Самым непозволительным здесь было то, что в кабинете находились третьи лица: инженер прокатки, машинистка, главный бухгалтер.

Логинов поймал встревоженное любопытство своих работников и, уязвленный, выскочил из-за стола.

— Вон! — закричал он.— Вон с этой территории!

Мы стояли на месте, не веря своим ушам. Тогда, подтверждая смысл своей фразы, он жестом руки указал на дверь, а когда, один за другим, мы повернули к выходу, послал нам вдогонку:

— Забываетесь, шпингалеты!

Я оглянулся и не узнал прежнего, спокойного, рассудительного Федора Максимовича: все в нем было сдвинуто на сторону, сотрясалось и рушилось, как у здания при землетрясении.

С этого часа между «мозгом» завода в лице директора и его «совестью» в лице нас, рабкоров, началась война.

2

А с женщиной было так.

Она служила библиотекарем в клубе и уже давно отдавала мне предпочтение перед другими читателями.

Я не сказал бы, что это было неприятно, но в последнее время мне стало казаться, что она слишком откровенна в своем внимании. Стоило, например, показаться мне в библиотеке, как она вся вдруг менялась, будто с нее спадала завеса. Ее глаза, следя за мною, видели как бы не меня, а кого-то особенного, только ей близкого и понятного. Что-то неладное происходило у нее и с руками. Обычно проворные и сметливые, они вдруг становились бестолковыми и нерасторопными.

Все это, разумеется, замечали люди. По крайней мере, один за другим они оглядывались на меня.

Я хмуро подходил к прилавку и просил дать мне книгу, причем видел, как пальцы библиотекарши, длинные, с розовыми, изнутри освещенными ногтями, легонько дрожали.

— Вам Толстого? — спрашивала она оглохшим голосом.

— Да, второй том.

— Есть.

И подавала мне... том третий. Тут же замечала ошибку и вновь бежала к шкафу, а вокруг стояли люди, глядели на нас и, как мне казалось, улыбались про себя.

Я с раздражением брал с прилавка книгу и уходил, не сказав слова приветствия. Потом, в коридоре, мне становилось жаль Таню. Я дружил с нею. Она была заправскою интеллигенткою, в старом понимании этого слова, но в партии держала себя не хуже лучших наших работниц, и вообще было в ней что-то прямое, серьезное, подкупающее. Мне нравилась даже ее белая фетровая шляпка, строгая, без всякой отделки, но по-хорошему оттеняющая смуглость ее щек, тоже строгих.

И вот однажды после клубного вечера Таня увязалась со мною. Был поздний час июньской ночи, когда на улицах почти тихо, из садов веет теплыми, сладкими запахами, а в небе зацветает сирень. Библиотекарша провожала меня до общежития и, против обыкновения, упорно, как заговорщица, молчала. Прощаясь, она вся подалась ко мне, крепко захватила мою руку и вдруг не своим голосом, точно просила взаймы, проговорила какую-то фразу. Я переспросил. Она повторила, но так громко, что я невольно огляделся.

Любил ли я когда-нибудь кого-нибудь? Вот вопрос, который она задала мне. По-настоящему — нет, не любил, отвечал я.

— То есть как это... по-настоящему? — проговорила она, задохнувшись и не выпуская моей руки.— Разве можно любить не по-настоящему?..

Она глядела на меня в упор, и я поймал в ее глазах жадный блеск, вызов. Мне стало не по себе. Я сказал, что не имею охоты распространяться на «данную тему». Она вся съежилась, точно на нее замахнулись, хихикнула в нос и еще крепче, вероятно, от неловкости, потянула к себе мою руку. Я не противился, мы повернули назад, прошли за околицу, к полотну железной дороги. Под насыпью, в предутренней прозрачной тени, травы казались глубокими, как поросль на дне озера. Таня с разбегу погрузилась в них, улеглась на спину, раскинула руки. Она смеялась при этом звонко, но настороженно. Я сел на пень в сторонке и заговорил о спектакле этого вечера, находя его неудачным, потом о нашей ссоре с директором. Девушка примолкла, но, когда я принялся доказывать, что товарищ Логинов раскается в своем поступке, она опять засмеялась, вырвала пучок травы и кинула мне в лицо. Стряхнув с себя траву, я продолжал говорить и, незаметно для себя, перешел на недавнее производственное совещание.

Вдруг она поднялась, отряхнула платье и молча пошла прочь от меня. Я догнал ее, она продолжала молчать.

— Послушайте, Таня, с какой стати вы надулись?..

Я попробовал просунуть руку под ее локоть, но она резко отстранилась и пошла еще быстрее. Она шла, покачивая крепкими плечами и так решительно, словно у нее за спиною никого не было. Неожиданно меня потянуло поймать Таню за плечи, сжать до боли, сбросить с ее головы шляпку, вообще предпринять что-нибудь злое, обидное для девушки. Она как бы угадала мое настроение и круто повернула в сторону.

— Таня! — крикнул я, не сходя с места.

— Оставь меня! — откликнулась она, и что-то в ее глухом и жестком голосе напомнило мне голос директора Логинова, когда он швырнул нам, рабкорам, свое: «пошли вон».

Люди хотят жить, но жить можно всяко, и я не всегда понимаю, из-за чего некоторые, вдруг и в ущерб себе, теряют голову.

Дома меня ждала еще неприятность. Тетка моя, Агафья Семеновна, прикопила из моего заработка денег и на эти сбережения добыла новое шерстяное одеяло. Правду сказать — старое обтрепалось у меня до невозможности, но все же разве я просил тратиться на всякую чепуху!..

Агафья Семеновна встретила меня с заспанною улыбкою, накормила селедкой с картофелем и затем развернула свою покупку. Одеяло было широким, пышным, с пронзительною зеленою полоскою по краям.

— Под такое добро хоть сейчас женку выбирай! — сказала тетушка, разглаживая одеяло на койке.

Я знал, что больше всего на свете Агафья Семеновна боится, что вот-вот ее племянник женится, и в то же время она хотела этого из-за приверженности к порядку и страха перед своим богом.

Ее замечание о «женке» передернуло меня.

— А идите вы к черту со своим одеялом! — проворчал я, наполняясь ненавистью к этой покупке, а заодно и к своей койке, вдруг ставшей мне чужой, и ко всей комнате, пропитанной старостью Агафьи Семеновны.

Я обидел тетку, она отвернулась от меня, глотая слезы. Но разве, в самом деле, нужно было это одеяло? Старуха готова натащить в дом кучи всякого барахла. У нее что ни день, то затея. Еще совсем недавно она приобрела на аукционе пузатый комод, и он занял полкомнаты... Плетеные стулья, венский диванчик, олеография на стене в золотой раме — все это покупки Агафьи Семеновны.

С удовольствием, а нередко и с восхищением гляжу я на витрины магазинов: столько там всякого, рассчитанного на счастье человека, добра. Но никогда не думаю я, любуясь вещами, что та или иная из них должна быть во что бы то ни стало моею, служить мне, подпирать мою жизнь. Все самое лучшее и симпатичное мне, как только становилось моею собственностью, теряло свою прелесть, тускнело, начинало стеснять меня. И это шло у меня не от отвлеченных рассуждений, а из нутра, как отклик особой странной игры чувств. Только вещи ничьи — мои вещи, и пока они были ни-

чьи — доставляли мне радость самою возможностью быть моими. В этом смысле я был самым богатым человеком в мире, обладая всем, на что падал мой взор или чего касалась моя мысль.

В отрочестве был у меня закадычный друг, Пашка Смоляков, сынишка нищего пьянчужки-сапожника. Кажется, через него-то, вечно обтрепанного мальчонки, у меня и родилась ненависть к вещам, к «своим» вещам, особенно к новым вещам. Бывало, справит мне отец новые сапоги или к празднику рубаху, взденешь на себя обновку и прыгаешь от счастья. И вдруг подойдет к тебе Пашка Смоляков, рваный, грязный, да как глянет на обновку тоскующими, голодными глазами, так все сердце и перевернется и щемит потом весь день.

В детстве прорастают корни наших сердечных убеждений, и многое не вытравить потом на протяжении всей жизни.

Когда впервые я решил, что вещи, как выражение благ жизни, должны принадлежать всем и никому в отдельности? В детстве, еще в детстве! И в детстве же довелось мне понять, что самое страшное, самое отвратительное в жизни, это когда мы начинаем пользоваться людьми как вещью.

В тринадцать лет я и однолетка мой, Пашка Смоляков, закрутили сообща любовную историю. Предметом «страсти» нашей оказалась девчонка Глашенька, лавочникова дочка. Лето напролет таскались мы по лесам и полям. Втроем. Гуляли, купались, грелись на солнце, и ни от кого из троих не было секрета, что началась любовь, то огромное и сладкое, о чем знали мы из жизни взрослых и что нашептывали нам отроческие наши инстинкты.

Любовь втроем наяву, не прячась друг от друга и не отдавая особого предпочтения никому из нас отдельно! Мы могли бежать полем, среди ржи, схватив Глашеньку за руки — с одной стороны я, с другой — Пашка, и потом, усевшись на холмике, целовать ее в щечки — с той и другой стороны. Ни один из нас — ни я, ни Пашка — не помышлял о ревности, а если бы кто сказал, что мы можем поссориться из-за Глаши, я первый только фыркнул бы на глупые такие слова! Так оно и тянулось бы у нас. Но вдруг... наша женщина поддалась прабабушкиному инстинкту и нарушила

тайный уговор трех: она потянулась к одному из нас, ее маленькое сердце не выдержало большой, безропотной любви, оно запросило власти, пусть — никчемной и малой, но — власти!

Как-то в сумерках, когда мы возвращались втроем домой, Глашенька всунула мне в руку писульку. Помню, ощутив у себя бумажку, я весь похолодел в предчувствии беды и чуть не выдал себя.

— Что тут? — воскликнул я, но она зажала мне рот ладошкою, и я не разжал своей руки и нес бумажку до самого дома, не смея пошевелить пальцами.

А дома, бросившись за верстак отца-столяра, прочитал под светом сального огарка каракули Глашеньки, скверные и злые каракули о любви:

«Тобе одного люблю и хочу быть твоею».

Помню, я чуть не расплакался тогда от стыда и смутной внутренней боли. «Как,— думал я,— она хочет, чтобы мы покинули Павлика, чтобы я один целовался с нею, чтобы я один был ее мужем? Нет, не быть этому!..»

Я почувствовал прилив грубого телесного отвращения к Глаше, мне было непереносимо думать о ней, представлять себе касание ее руки, влагу ее губ на своих губах, запах ее пота, пестрый колющий цвет кофтенки ее.

С тех пор мы уже не гуляли втроем, и я обегал Глашу, как зачумленную.

Она хотела быть моею, только моею, и потеряла нас обоих.

3

Таня заметно похудела и поблекла. Когда я приходил теперь за книгами, она не глядела на меня вовсе, а когда все же это случалось, в глазах ее было пусто и холодно, точно был я одним из самых неинтересных для нее людей. Между тем я держался дружелюбнее обычного и даже оживленно заговаривал с нею при посторонних.

Почти так же, холодно и отчужденно, держал себя со мною товарищ Логинов.

Кстати, я убедился окончательно, что у нашего директора — подлинная любовь к заводу, но в этой любви ничего не осталось такого, что не было бы связано

с его, Логинова, персоною, с желаниями, вкусами, даже капризами его; завод существовал как бы только для Логинова, он уже не принадлежал государству и не был делом многих рабочих поколений.

Пожилой, солидный человек и старый партиец, Логинов, шаг за шагом, день за днем, как бы отчуждал завод в свое собственное владение. Это было ясно мне, и в то же время я ни на минуту не сомневался, что передо мною — честный и бескорыстный в общепринятом понятии работник.

Рабкоры продолжали настаивать на отчетном докладе. Логинов не шел к нам. Тогда в стенной газете, а затем и в большой печати появились заметки, направленные против директора. Мы открыто обвиняли его в бюрократизме, в зажиме живого слова, в боязни самокритики. Он отмалчивался. На общем цеховом собрании у листопрокатчиков выступил секретарь ячейки. Совсем недвусмысленно секретарь сравнил Логинова с вельможею, а завод — с его вотчиною. И вот Логинов взял слово. Он был бледен, глаза его все время упирались в стену, поверх голов собравшихся; гладко выбритый подбородок его свисал книзу под неимоверною тяжестью обиды. Директор прошелестел бумажным голосом: не собираются ли люди обвинить его в шкурничестве, в лихоимстве? Это было несуразно с его стороны, и вокруг долго тяжелело молчание. Я глядел на него и внутренно дрожал от тревоги за этого человека. Ведь он был, несомненно, искренен и переживал теперь одну из тягчайших минут своей трудной жизни. Но он и не подозревал, выкрикивая о большой своей любви к делу, что любовь его давно уже стала тюрьмою для дела. Он напомнил мне в ту минуту Глашеньку, там, в моем детстве, впервые потянувшуюся к власти над человеком, к нераздельной власти любви, к тому каторжному обладанию, какое возможно только у тупых ревнивых любовниц.

Я взял слово и обрушился на Логинова, доказывая всему собранию, что наш директор гибнет из-за отрыва от массы, из-за безудержного стремления помыкать ею.

Он слушал меня, склонив голову, едко посмеиваясь, но его подбородок провисал книзу, налитый непереносимой обидою.

4

Человек древен, как его кровь, и пока что все еще жаден до всяких привычных радостей. Самою большою из всех радостей почитается та, когда он берет себе, в полное свое владение вещь,— и чем больше вещей оказывается в его распоряжении, тем сильнее и шире его радость.

Таня вообще отрицает у себя чувство собственности, но я только улыбаюсь, слушая ее. Агафья Семеновна, тетка моя, напротив, прямо говорит, что человек рожден потребителем.

— Одни строят, другие берут... Не берут только дурачки!..— говорила она.

Или:

— Зверю предел положен, а человеку весь свет отдай — мало...

В минуты откровенности Агафья Семеновна называет меня губошлепым дурачком. Это за то, что у меня нет вкуса к вещам, к приобретательству вообще.

Как-то она озадачила меня неожиданным,— не своим, должно быть,— остроумием. Лежа после обеда на койке, я напевал: «Мы свой, мы новый мир построим». Она услышала, засмеялась, сказала: «На что тебе *мир?* Таким, как ты, и ложка *своя* без надобности».

Я знаю: она считает меня бескостным, непутевым и подозревает, пожалуй, в каком-то смертном родовом грехе. Я чувствую, что все, о чем я говорю, она принимает как мои сны, и ждет, когда же, наконец, я проснусь. Порою мне кажется, что Агафье Семеновне было бы легче, если бы однажды меня выгнали с завода за какое-нибудь хищение, например. Это было бы ближе ей и понятнее, чем, скажем, мой отказ от оплаты за труд по субботникам. Ее любовь нашла бы тогда какие-то пути ко мне. Теперь же я для нее — просто губошлепый дуралей, в лучшем случае — блаженный человек.

Она вновь и вновь заговаривает со мною о женитьбе, не то страшась этого, не то страстно желая. Между прочим, новое одеяло она спрятала в сундук до лучших времен, намекая при этом на мое убогое сиротство.

Нет, холостая жизнь племянника не на шутку пугает ее. Она не прочь была бы помириться даже с по-

добием брака. К будущей моей любовнице Агафья Семеновна по-матерински жестока. Она готова простить мне самую легкомысленную связь с женщиной и при этом наперед обрекает мою жертву на безропотность и скорое забвение. Странно, но при разговорах со мною об этом у нее исчезает стыд. Вызнав как-то о Тане, о ее ко мне чувстве, тетка без обиняков заявила, что по нынешним временам любая девка почтет за счастье *пожить* с хорошим человеком.

А для меня, ее племянника, у нее были свои особые соображения.

— Порядочную девку с уличной не сравнить! — говорила Агафья Семеновна, задумчиво посматривая на меня.— На улице-то и до беды недолго, а как уж она честная, так тут чего и толковать...

Агафья Семеновна положительно мечтала о чем-то своем, тайном. Может быть, мертвые вещи, все эти комоды, стулья, сундуки перестали удовлетворять ее хозяйственную алчбу. Человек ненасытен в своих желаниях. Стулья, сундуки, стены давили Агафью Семеновну бессмысленностью своего существования. Как древний библейский бог, тетка моя ждала седьмого своего дня, чтобы почить от трудов, но этот решительный день все еще не вставал за окнами нашей горницы, и я, губошлепый дурак, был в этом повинен.

5

Директора Логинова мы сломили. Он сознался в ошибках и сделал доклад о работе завода. И не один, а несколько докладов, начиная от завкома и кончая кружком изобретателей. Но вслед за тем все заметили, что с Логиновым творится неладное. Было удивительно и жалко глядеть на него, бродившего по цехам безмолвною тенью... Куда девались расторопность, сметливость, неутомимость! Это был уже не прежний пружинистый человек, успевающий в один и тот же час побывать в конторе, заглянуть на склад, выдержать очередную перебранку с тарифно-нормировочным бюро, проверить табельщиков и внезапно, как снег на голову, свалиться в толпу ремонтных рабочих... Был некто, затяжелевший, нетороплнвый, вдруг весь обрюзгший, с тусклыми, увядшими глазами и неуклюжими, в подагрических узлах, руками.

Он сделал доклад на собрании рабкоров и потом еще не раз бывал у нас. Наше отношение к нему изменилось, мы писали о нем в газете не иначе, как «наш красный директор», но к словам его мало уже кто прислушивался. Эти его слова потеряли свою страстность, в них не было прежнего упора; они, как отзвук, как бледная копия, походили на все, что говорилось нами, и затем я заметил, что директор и впрямь старался повторить нас.

Да, он уже не был самим собою, он повторял нас, повторял ораторов на цеховых собраниях, повторял, как эхо, резолюции производственных совещаний и однажды слово в слово пересказал на общезаводском собрании речь выступавшего перед ним старшего инженера.

Я видел, что товарищ Логинов доигрывает свою роль, не веря уже в себя, мечтая о покое. Его не хватило на то, чтобы искренно и глубоко осознать свои заблуждения, по-новому воспринять действительность и с новым рвением приняться за труд. Ценя себя сверх меры, он не рассчитал своих сил, переоценил свои достоинства и — не выдержал, будучи обречен бесславному концу. Он явно постарел, душою и телом. Его речи перемежались долгими паузами, глаза его то и дело погружались в забывчивость, и на шипящих звуках он стал присвистывать, как дед Андрон, заводской наш вратарь.

Через короткий срок его отозвали с завода.

Назначение нового директора совпало с моим примирением у Тани. После долгой борьбы наступил, наконец, мир. Но какой? Об этом лучше не говорить. Я видел, чего она добивалась: она хотела безраздельно обладать мною. Внутренно я протестовал, возмущался, хотя отлично сознавал, что сам стремлюсь к первенству в наших отношениях и не себя, а ее хотел бы видеть безгласною и покорною.

Борьба окончилась, я был победителем, и теперь Агафья Семеновна ждет не дождется дня, когда можно будет достать из сундука новое, залежавшееся там одеяло с пронзительною зеленой каймою.

Дождется ли она этого? Может быть. Хотя я и вижу, что с Таней происходит что-то неладное. Я люблю ее упорно, неотвязно, но она с каждым новым днем тайно отвращается от меня. Ей даже как будто скуч-

но со мною. Она покорна н послушна мне, но ей скучно. Цвет ее лнца прннял пепельный оттенок, какой бывает у снльно заношенного платья. Она не говорит, а скрнпит, как половица под тяжестью вашего шага. В глазах ее нет и намека на то жуткое и чудесное сиянне, какое наполняло когда-то нх, голодных в сдержанной страстн.

Таня угасала.

Нет, еще не всюду проросли в нашем обществе новые отношення между людьми! Это будет, это расцветет на всех поворотах жизни, почва для этого расчнщена, блнзость этого я почти осязаю. Но, пока что, поперек наших улнц дуют захлюстанные ветры прошлого.

Надо перевернуть, разодрать, перекроить весь быт. Заново!

Когда-нибудь я разведусь со своей теткой Агафьей Семеновной, н вот тогда-то, знаю, она пожалеет обо мне н о жизни подле меня, потому что втайне думы обо мне заменяют ей мыслн о назначенин человека и о непостижимой тленности вещей.

В один из вечерних часов, в мое отсутствие, Таня была у Агафьн Семеновны, и они так долго и так по-хорошему откровенно говорилн, что обе расплакались, а когда я вернулся, тетка набросилась на меня с упреками. Она упрекала меня в жесткости, в бестолочн, в том, что я, как Иуда, предаю Татьяну.

— Кому?— спросил я возможно веселее.— Кому предаю?..

И тогда старуха вырвала нз-под подушки носовой платочек, забытый Таней, н поднесла мне: он был еще мокр от слез.

Мне не спалось в эту ночь, но не под влиянием раскаяння. Я не жалел Таню, так как пострадавшим считал не ее, а себя... Ведь это она, черт возьми, вырастнла во мне феодала, пробудила мою первобытность, отдала меня в плен вещам! Вот я уже начинаю думать моментами, что, быть может, неправ, отрицая себя, как потребителя, как владыку всего, что производит труд, в котором и я участвую.

Нет, не мне жалеть Татьяну! Она всколебнула весь строй монх чувств, она погрузила меня в сомнения. Я перестал чувствовать себя по-старому прочно на земле. Я отходил, как мне казалось, от людей, от своего общества вслед за директором Логнновым.

Пасть жертвою мертвой страсти к вещам в момент величайшей победы над ними коллектива,— не было ли это самым страшным из того, что я мог представить себе о своем будущем?

«Все, что угодно,— думал я,— все, что угодно, только не это!»

И к утру я уже знал, как быть мне. По крайней мере, так мне казалось.

К утру я почувствовал себя разбитым. Эти колебания — сердца и мысли — оказались более изнурительными, чем самые отчаянные лишения, какие доводилось мне когда-либо испытывать в прошлом.

Наконец я решился. Мое решение было неожиданным даже для Агафьи Семеновны.

6

Утром тетка побежала,— не пошла, а побежала к библиотекарше с запиской. Я звал Таню к себе, я обещал забыть все недоразумения между нами, вскользь с упреком писал ей о ее слезах, об этом признаке слабости, никчемности, пошлости,— тут я не скупился на злые выражения.

Скажи мне кто-нибудь раньше, что старая тетка станет поверенной моего сердца, я рассмеялся бы. Но теперь мне было не до смеха. И без смеха, а главное, без отвращения, как должное, принял я заботы Агафьи Семеновны о нашей комнате. Перед тем, как уйти с моим письмом, она торопливо подметала полы, протирала мебель, снимала паутину из углов, и одеяло, новое, с зелеными полосками по краям, извлеченное из сундука, разостлано было на моей койке.

Оставшись один, я принялся нетерпеливо шагать от стены к стене. Мне казалось, что я только что принес кому-то большую жертву, и находился в таком состоянии, будто с минуты на минуту должно произойти что-то необычайно важное.

Случай с Логиновым меня уже не настораживал, а раза два, проходя мимо мебели, мимо всей этой кучи вещей, натасканных теткою, я поправлял и охорашивал.

Прокричал гудок, все три этажа нашего общежития наполнились гулом торопливых шагов, а моей Агафьи Семеновны все еще не было, и я стал прислушиваться к каждому шороху за дверью.

Наконец она пришла и хмуро, не глядя на меня, подала мне клочок бумаги. Таня не потрудилась даже скрыть его в конверте. Она писала:

«Нет, я не хочу ни твоей любви, ни жизни с тобою под одной кровлей. У тебя и без того тесно. К чему тебе еще одна лишняя вещь? Ты ошибаешься: я оплакивала не себя, а свое большое человеческое чувство к тебе, которое ты убил... Задумался ли хоть раз ты над тем, что в нашей любви на место всех человеческих чувств давно уже стало одно чувство, обыкновенное чувство обладания. И в этом позоре повинен ты... Ты — пролетарий и коммунист!»

Странно, но, прочитав и перечитав эти строки, небрежно, карандашом, набросанные, я услышал, как все во мне запело глубокой безотчетной радостью.

Походило на то, как если бы после долгих и мучительных поисков я, наконец, нашел, что искал, а найдя, тут же понял, что истина была проще пареной репы!

Я мельком взглянул на тетку, а потом на ее несносное одеяло с зеленою каймою по краям и расхохотался.

Я пнул ногой подвернувшийся мне венский стул и продолжал изливать свое веселье, не обращая внимания на тетушку, которая глядела на меня с брезгливой горечью.

И, уходя на завод, к месту, где под моими руками возникали вещи, сотни, тысячи прекрасных, нужных человеку вещей, я прокричал с порога Агафье Семеновне:

— Она отказалась от меня!..

Я не сбежал, а слетел вниз по лестнице, и, когда шел улицей, земля под моей поступью была, как никогда, покорна и легка.

Теперь я уже не сомневался: Таня, прежняя Таня умерла для меня, и — да здравствует новая, желанная, долгожданная!

Когда-то, в детстве, я отбил покушения маленькой девочки Глаши, и сам потом, через много лет, повторил ее злую ошибку... Но вот она исправлена, эта ошибка! Я больше не колебался, у меня не было и тени сомнения.

Прежде чем пойти на завод, я завернул в клуб (ведь это было совсем по пути!) и там, пользуясь

одиночеством библиотекарши, закричал на всю библиотеку:

— Довольно куролесить, Танька! Вот тебе моя рука...

Взглянув на меня, она вся вспыхнула, откинула голову и вдруг засмеялась. Но не протянула руки навстречу моей, а лукаво, с улыбкой, сказала:

— Неправда ли: я совсем, совсем непохожа на Логинова!..

И мы прямо глядели друг другу в глаза, счастливые своим открытием, покорные своей судьбе. Затем спохватившись, она воскликнула:

— Ты на митинг? И я с тобою! Как, ты еще не знаешь, что у нас общезаводской митинг?! — продолжала она, видя недоумение на моем лице.— Как же, как же — экстренный митинг... по случаю... Видишь ли, съезд советов принял пятилетний план!.. Ой, вот и сигнал...

Дальше я не слышал ее, в открытые окна библиотеки ворвался мощный рев заводской сирены. Легонько дзинькали стекла в книжных шкафах, позвякивали хрустальные подвески старинной люстры у потолка.

Клуб занимал бывшую квартиру бывшего владельца завода, а библиотека — огромный зал, в котором семья заводчика справляла когда-то свои праздники... Я глядел на люстру, на лепной, в узорах, потолок, на стены, высокие, как скалы, и представлял себе горы, целые горы вещей, какие владели здесь душами обитателей дома. И, как бы уловив мои мысли, Таня схватила меня за руку.

— Довольно!.. Идем, иначе мы опоздаем.

А в сумраке лестницы, близко склонившись ко мне, она горячо говорила, очевидно, продолжая подслушанные мои мысли:

— Две, три пятилетки, и — знаешь что? — мы заживем так, как иным и во сне не снилось... Между прочим,— не сердись! — я обязательно подыщу тебе письменный стол, а себе я хотела бы... небольшое... самое, самое простенькое трюмо...

Я слушал и — не протестовал, невольно проникаясь ее радостью, прозрачной, как тот вон солнечный столб у окна над лестницей. Назови она сейчас любое количество вещей, все содержимое мебельного

магазина, я и тогда не протестовал бы. Ведь все это — письменный стол, трюмо, этажерки, гардины — все это лишь вещные, осязаемые спутники ее счастья, того самого, что было в блеске ее глаз, в воркующем ее голосе, в порывистых касаниях ее руки.

...Читая эти последние строки, кое-кто может предположить, что, подчинив на первых порах своей воле Таню, я затем дрогнул, уступил, подчинился сам ей? Нет и нет! Тот, кто может подумать так, ровно ничего не поймет ни в истории нашего директора Логинова, ни в истории моей любви, заглянувшей в пленительный мир будущего.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

АГИТВАГОН

I

— Он появился у нас... постойте-ка, дайте припомнить. Я пошел на репетицию при зеленых третьего июня прошлого года. Концерт мы ставили пятого июня при налете казаков, а повторили его десятого,— уже при красных. Так вот прибавьте еще две недели... Совершенно правильно, день в день. Он и появился у нас двадцать второго июня в десять часов утра, можете быть уверены в этом, как в собственном дне рождения.

Рассказчик сделал перерыв, чтоб налить себе в кружку, где на донышке осел выжатый ломтик лимона; откусив изрядную порцию ситного, усеянного, как мухами, жирным черным изюмом, он не спеша глотнул горячего чая и снова утвердил кружку на ритмически подрагивающем откидном столике.

Время было летнее, окна открыты справа и слева. В коридоре юго-восточные люди дымили густым сухумским табаком. Ветер, гулявший между окнами, заносил с собой запах нагретой степи и сладкого клевера.

Поезд летел на юг.

— Гражданин, что же дальше?

Рассказчика, худого мужчину в пиджаке из альпага, потного от жары и чая, обсели слушатели. Все глядели ему в рот, одни из любопытства, другие с бессознательным аппетитом соглядатаев,— уж очень поджарый мужчина вкусно ел и пил. Ни одной крошки не уронит, все соберет с пиджака, встряхнет на ладони,

посмотрит, да и отправит себе в рот. А неровные места ситного, обкусанного зубами, выровняет тотчас же острым перочинным ножом, отрезанный ломтик направляя все в ту же аккуратиую глотку, как топливо в печку. И добро бы ел сыр-пармезан или чарджуйскую дыню,— а и всего-то ситный не первой свежести. Слюнки закипали во рту у соседей. Впрочем, он не только вкусно ел, он и говорил очень вкусно. В его лице, изрезанном бесчисленными морщинами, было что-то, напоминавшее хорошую топографическую карту, складывавшуюся квадратиками. Глаза, как озера, поросли полуседым кустарником бровей. Подглазные пятна вклинивались глубоко в худые щеки. Подбородок хранил следы бесчисленных бритвенных порезов. Верхняя губа то и дело приподымалась, как у кролика над зеленями. И место усов на ней, будто от выкорчеванных корней деревьев на лужайке, отмечалось только глубокими точками впадин и бугорков.

Внимательному человеку стало бы ясно, что перед ним опытный притворщик по профессии. Стрелки, избороздившие кожу, точно показывали привычное направление его улыбок, гримас и мимики. Складное лицо превратилось бы в маску, если б не грустные и прямые глаза, всякий раз встречавшиеся с вашими непринужденно и внимательно. Эти глаза говорили о высокой интеллигентности незнакомца. Было ясно, что он понял, взвесил и разместил каждого своего слушателя в строгом иерархическом порядке, вывел среднюю равнодействующую и весь применился к ней, ассимилировавшись со средою ровно настолько, чтобы не быть ни на йоту ни выше, ни ниже ее. Эта внутренняя «аккомодация» стала бы заметна, повторяю, только очень внимательному наблюдателю, но его сейчас не было. Единственный тонкий пассажир, горбун-коммунист, с лицом насмешливым и значительным, был сейчас невозмутимо равнодушен и спокоен. Убаюканный поездом, он просто-напросто спал, обращая столько же внимания на все происходящее, сколько на мух, ползавших у него по лицу. Остальные — поддевки и русские рубашки, красноармеец, две женщины в шляпах да коридорные брюнеты коммерческого вида, как я уже сказала, с восхищением глядели говорившему в рот и чувствовали себя с ним в одной тарелке.

— Некуда спешить,— наставительно заметил рассказчик нетерпеливому слушателю,— рассказ, как монпансьешку, только дурак грызет, а умный на языке держит да исподволь посасывает. Вот, значит, он и появился у нас ровно двадцать второго июня в десять часов утра.

— Гражданин, да разъясните, кто появился-то,— не терпелось соседу, вихрастому юноше из железнодорожных служащих.

— А вам бы, молодой человек, самую чуточку обождать, тогда бы и вопрос свой не задавали неправильно. Не «кто», а «что»... Ибо я рассказываю о необыкновенном вагоне. Но прежде разрешите вам сказать, что перед вами знаменитый артист труппы Раздувай-Печурина, двадцать восемь лет кряду не покидавший сцены. Собственно, я даже тенор. Я пел Фауста. Но по мере надобности пришлось и актерствовать и режиссерствовать, а последние пять лет, благодаря оживлению политики, заниматься куплетами. Бывало, спою куплет на каждый образ правления, он и ходит по городу. А в междуцарствие у нас особая песня пелась, «Васькой» звали. Домовая охрана при охотничьих ружьях, уголовная тюрьма вся поразбежалась, а у нас зала приказчицкого собрания полным-полна, и публика с меня требует «Ваську». Ну, выйдешь, споешь им:

Васька Тертый говорит:
Что такое колорит?
Это, брат, такое дело:
Слева красно, справо бело.
У Деникина черно,
А у Махно — зелено.
Отвечает Васька Тертый:
Очевидный мелешь вздор ты.
Колорит, брат,— в спирта литре
Слить все краски на палитре..,

Рассказчик спел это приятным тенорком и продолжал дальше, покосившись на спавшего горбуна.

— Так вот, двадцать второго июня по новому стилю, после переворота, ранним утром бегут ко мне мальчишки с нашего двора и кричат во весь голос: «Дяденька, дяденька, за вами солдаты пришли». Вышел, в чем был,— на пороге два красноармейца с винтовками: «Так и так, товарищ, нам нужны сознатель-

ные силы для борьбы с деревенской темнотой. Устраиваем летучий митинг в образцовом вагоне и, как мы наслышаны, что вы очень хорошо куплеты говорите, то за вами из исполкома присылают, и хоть без бумажки, а явка обязательна».

Я взял фуражку и пошел. Исполком помещался у нас в бывшей городской управе, на площади, прямо против городского сада. И что же я вижу? Стоит перед самым крыльцом огромнейший, длинный вагон на колесах, запряженный четверкой лошадей. Вагон покрашен в красную краску, совсем как в прежнее время странствующие театры ездили. По обе стороны окошечки с занавесками, а между окошечками выведены желтой краской эмблемы республики, агитационные надписи и лозунги. И все это сделано не как-нибудь, а чисто, нарядно, с хитростью. Куда ни посмотри, отовсюду действует. Особенно сзади был хороший рисунок — звал рабочий, поднимая тяжелый молот над старым миром, к будущему, сиявшему над ним пламенной пятиконечной звездой; и так он заразительно звал, что смотреть нельзя было без подъема. Вокруг вагона столпилось множество мальчишек; кто ни проходил по площади, остановится и смотрит.

Поднимаюсь по лестнице в исполком. Навстречу молодой человек в гимнастерке и с револьвером у пояса, красивенький, как ангелы художника Перуджино. Назвался секретарем.

— Вы,— говорит,— гражданин такой-то, куплетист нашего города?

— Именно,— отвечаю.

— Так вот, не возьмете ли вы на себя задачу выступать на наших летучих митингах с импровизированными куплетами? Тему мы вам заблаговременно укажем, условия назначьте сами. Вагон направляется по всем окрестным деревням и в первую очередь в казачью станицу Молчановку.

Я подумал минуты две и согласился. Хотел было уж и домой повернуть, но секретарь останавливает:

— Нет, товарищ, не успеете. Если кого предупредить надо из домашних, пошлите записку. А только в десять часов соберутся сюда все участники митинга, и мы должны выехать.

— Чаю,— говорю,— не пил.

— В дороге напоим...

— Почему же,— говорю, в такой ударной поспешности?

Он мне рассказывает, что у них все уже давно было устроено и разработано, а только ночью заболела их концертная певица, и было решено заменить ее кем-нибудь из городских. А уж тут им про меня столько наговорили, что загорелось им непременно везти с собой куплетиста, да и только. Этаким образом мне осталось лишь закупить поблизости четвертку табаку и усесться в ожидании на площадку вагона.

Проходит с полчаса, и наконец собираются мои попутчики. Я наблюдаю со стороны и вижу, что они сами-то не знают друг друга. Одни — шапочно, а иные — совсем никак. Первым подходит высокий такой, ростом с добрую подворотню, весь в парусине, штаны широкие, пояс ремешком, лицо не наше,— оказался грузином. Этот и еще другой, худенький, в синей рубашке, были партийные ораторы с мандатами от парткома. Поздоровались они молча и — в вагон. Как я потом узнал, синенький был из очень важных, прикомандированный к нам с войском, а грузин — местный работник, до переворота в тюрьме сидел. За ними машинистка, девочка молоденькая и хорошенькая; пятеро человек музыкантов и секретарь исполкома с лицом Перуджинова ангела. На переднюю площадку взгромоздился казак с винтовкой, взял в обе руки вожжи, цокнул на лошадей, и мы поехали. Покуда ехали, весь город, кто ни попадался, смотрел на нас, выпуча глаза.

II

В вагоне же было на первый взгляд, как в читальном зале. Чистенько, пол крашеный, будто на квартире, стены в портретах, картах и плакатах. А посередине, на столе, множество брошюрок и книжек, одно и то же названье по двадцати — тридцати экземпляров; тут же в ящиках листовки и газеты.

Едем мы, подзакусили, курим. Занавесочки на окнах колыхаются, как паруса. Выехали из города, пахнула нам в окна степь. Летом в наших кубанских степях хорошо, как в американской прерии: трава по пояс, кругом глаз не охватит простору, дорогу меж волнами ковыля не разглядишь, ни людей, ни животных,

дергается иной раз в траве перепел, да свистит иволга, и таким манером не верста и не две — десятки верст. Станицы затеряны, до хуторов не докричишься. А встретится хуторянин в широкой шляпе-осетинке из белого войлока — издалека ни дать ни взять сомбреро. Компания моя в фургоне, видно, давненько за городом не была. Худенький в синей рубашке посмотрел в окошко, скинул пенсне на шнурочке, оглянулся на нас, и лицо у него сразу другое стало; барышня-машинистка до того развеселилась, что непременно пожелала за фургоном босиком бежать, а грузин, как уселся, ворот расстегнул, ноги на другую скамейку перед собой положил и давай тянуть грузинские песни, одна другой заунывней. Музыканты ему на духовых инструментах подыгрывали.

Разговор у нас как-то вначале не клеился. Только мы с секретарем условились насчет темы для куплетов, и я тут же набросал несколько стишков, прочел ему и получил одобренье... А жара все распаривает, земля сладким соком исходит, дышать тяжело от благовония. Скинули тужурки, сапоги... Лица начали загорать ярко-розовой краской. Барышня обожгла себе спину и руки до локтя так, что они пузырями покрылись. Свернули мы с верстовой дороги на проселочную, сделали привал и к вечеру должны были подъехать к станице Молчановке. Только к самому закату, когда вся степь клубилась в огне и рыжие пятна плыли перед глазами у того, кто глядел на небо, вдруг вдалеке послышалась частая трескотня. Сыпалась она как горох через сито, без умолку. Кони наши остановились, казак слез с козел и подошел к нашему окошку, откуда выглядывал худенький в синей рубашке.

— Пожалуй, лучше нам будет поворачивать.

— А что такое? Выстрелы из Молчановки?

— Да, больше неоткуда. Я эти места наскрозь знаю. Тут не приведи бог застрять, окружат со всех сторон, как в мышеловке. Может, белые отбили Молчановку.

— Как это может быть, если мы утром ничего не слышали? Местность была очищена до самой Тихорецкой.

— Всяко случается, о чем вперед не услышишь,— философски заметил казак и взял пристяжную под уздцы, чтоб повернуть вагон обратно.

Нам стало как-то досадно. Что за дурацкое положение: едем честь честью в агитвагоне, разубраны, как на свадьбу, а тут здравствуйте: поворачивай оглобли перед самой целью. Не сговариваясь, переглянулись мы, и у каждого одна и та же мысль в глазах.

— Эй, послушайте,— крикнул грузин казаку в окно,— не лучше ли будет нам здесь устроиться на ночь, а наутро можно разведку сделать. Может быть, белые к утру очистят Молчановку, вот тогда мы и въедем.

Казак в сомнении покачал головой. Он был из надежных красноармейцев, родом неподалеку, из маленькой станицы. Не так давно бился с родным отцом, зарубившим младшего сына-большевика. Родичи его воевали под Врангелем. Он знал, что нарваться на белых в этих холмистых степях, где каждый клочок земли еще ослежен проходившими войсками, где в оврагах не подобраны раненые, в кустах засели партизаны и бандиты,— дело возможное и далеко не пустяковое. Он ковырнул кнутовищем землю и нехотя ответил:

— Тут за Молчановкой наши в прошедший год, уходя, хутора поразоряли. Лютей здешних хуторян вы не найдете по всей Кубани. Чуть что — они наших в полоску исполосуют. Бабы на Молчановке, говорят, красноармейцев в банях душили: казаков-то ведь на Молчановке, кроме стариков и ребят, не осталось никого, Врангель всех угнал с собой.

— Видите, товарищ,— пробасил грузин,— никого, кроме баб, не осталось, а вы Молчановки боитесь. Баб мы с вами так распропагандируем, что они и мужей обратно не примут. Распрягайте лошадей, обождем до утра, тут кстати же и хворост есть для огня.

Действительно, мы стояли возле крутого глинистого овражка, голого с нашей стороны и поросшего с противоположной сухим кустарником... Выстрелы смолкли. Оставаться на ночь в благословенной степи, развести костер, дышать запахом мяты, молочая и тмина было куда приятней, чем возвращаться. Барышня-машинистка спрыгнула наземь и легонько ударила казака в спину:

— Бросьте вы ваши страхи! Ишь какой зловещий! Посмотрите вокруг, тут курица не испугается.

Казак все так же нехотя и, видимо, неодобрительно распряг лошадей, опутал им ноги и пустил на лужай-

ку. Потом он сходил за версту на родничок, собрал хворосту, и мы, развеселившись как дети, принялись зажигать костер, из предосторожности на самом дне овражка. Вагон пламенел в последних лучах заката, надписи и плакаты выделялись, как огненные. Должно быть, его видно было издали. Это опять не понравилось нашему красноармейцу. Он снял с козел рваную рогожу и накинул ее на самый яркий угол вагона.

Около костра мы, можно сказать, в первый раз нащупали друг друга и перезнакомились между собой. Очень много значит в таких случаях уютность человеческая, уменье наладить, вовремя подать, вовремя сказать. Обычно это дело женское, но наша единственная дама оказалась из тех, что, кроме своей службы, ничего не умеют. Она бегала, приставала с вопросами, веночки нам на голову плела и умножала беспорядок. За хозяйство же взялись грузин и один из пятерых музыкантов, кларнетист, удивительный человек. Как сейчас его вижу: лицо у него было круглое, губы враскидку, бровей ни следа, глаза смотрели из двух щелок весело-превесело, и все у него под руками размещалось на свое место. Он нам и кашу сварил, и кофеек приготовил, и все это с прибауточками, со стишками. Грузин был тоже мастер на всякое дело, только он не умел шутить и лицом отпугивал — очень суровое, рябое лицо, нос кривой — кем-то переломлен был и сросся, руки жилистые, огромные, корявые. Маленький товарищ в синем первое время никак не проявлялся. Он только недавно приехал к нам из Москвы и юг знал, как он выражался, «больше теоретически». Улыбка выходила у него робкая, слабая, и весь он казался щуплым и слабоватым. Никто не знал среди нас ни силы, ни значительности этого тощего человека; узнать пришлось попозже. А покудова он молчал, на шутки улыбался, ел рассеянно и понемножку, объяснив, что после двухлетней голодовки от пищи поотвык и есть в полную меру остерегается. Если б не почтительность, с какой обращался к нему херувимчик-секретарь, мы бы вовсе забыли этого щуплого человека, а вместе с ним и всякую политику. Остальные четыре музыканта бесхитростно, как говорится, поддерживали «ансамбль».

Так вот, сидим мы у костра, спать не тянет, никому неохота со свежего воздуха в фургон лезть. Выстрелы

утихли, казак тоже поуспокоился, достал кисет, свернул себе кручонку и подсел к огоньку.

— Скажите, товарищ, на какую аудиторию вы рассчитываете в Молчановке? — спросил грузин у худенького человечка.— Имейте в виду, что казаки народ ехидный, они менее всего побеждаются красноречием. Они привыкли к нему со дня рожденья, у них даже между собою в разговоре патетический тон. Разные там аллегории, метафоры, гиперболы в обиходе у последнего безграмотного, а грамотей до такой степени витневат, что я, признаться, сам их не всегда понимал.

— Что правда, то правда,— вмешался казак,— они разговаривать умеют. Казачья речь гуще поповской. Вы их разговорами не прошибете.

— В агитации на словах никогда ничего и не строится,— ответил худенький человек,— надо зацепить и увлечь, а это всякий раз достигается новыми средствами. Вразумлять людей — дело затяжное, долгое; тут же надобно заставить их захотеть быть с вами, сразу, без раздумья, и если это удалось, начало положено.

— Как под музыку вприсядку пуститься,— вставил кларнетист,— слова тут самое последнее дело.

— Вы так понимаете агитацию, будто это магнетизм или истерика,— продолжал грузин,— если на этом стоять, так самые лучшие агитаторши — наемные бабы-плакальщицы или эпилептики.

— А что вы думаете? — серьезно заметил худенький, обведя нас взглядом,— эпилептики агитируют с потрясающей силой. Я такого действия, такого возбуждения, такого скопления нигде не наблюдал, как вокруг упавшего эпилептика. Будем говорить начистоту, без книжного шаблона. Учить может знающий, а возбуждать — чувствующий. Высший тип агитатора — лицо страдательное. Ваш пример с эпилептиком великолепен. Тут ничего не осталось преднамеренного, человек весь ушел в напряжение, и окружающие этому поддаются, заражаются.

— Я, как агитатор, всегда пытаюсь действовать на интеллект,— возразил грузин,— и считаю странным, товарищ, что именно от вас слышу такие немарксистские речи. Я никогда не забываю основной цели: разогнать туман в головах, убедить логикой или очевидностью. Конечно, с мужиком я балагурю, зубоскалю, к нему совсем иной подход, нежели к рабочему, но цель

одна: убедить, привести к умственному суждению и сознательному выбору.

— Все это так, но это не агитация. Нельзя путать разных задач. Мы с вами получили задание агитаторское, а не пропагандистское. Для пропаганды к вашим услугам время, грамота, интеллект, даже дискуссия. Для агитации ничего этого нет и не требуется. Вы промелькнули, как метеор, и зажгли. У вас нет времени на разбор, на ответ, на логику. Вы поставлены в положение электрического провода, и вам необходимо найти отрицательное электричество, чтоб образовать положительное и зажечь. В этом вся штука. Мы, товарищ, наделали много ошибок, путая обе задачи. Мы шли с пропагандой туда, где нужна была агитация, и, наоборот, насаждали хроническую агитацию там, где уже надобилась пропаганда. Нельзя, товарищ, на митинге ставить проблему, а в книге или в фельетоне преподносить голый лозунг.

Говоря так, худенький весь оживился, черты лица у него стали сильней и выразительней, голос окреп. Мы все подумали, что он должен быть превосходным оратором. Но грузин никак не хотел угомониться и, поспорив еще с полчаса, ушел спать. На меня меж тем речь худенького агитатора произвела большое впечатленье. Как куплетист, я часто сталкивался с толпой, и задачей моей было возбудить ее. Я отлично понимал все, что он сказал о положительном и отрицательном электричестве. Материалом для агитации, магнитным полем всегда в таких случаях становишься ты сам и твоя нервная система, и чем это полнее, безостаточней, тем лучше удается увлечь толпу. Я даже не раз думал, что мы все — мелкие агитаторы сцены, паяцы, клоуны, комики, трагики,— мы все сплошь постоянные жертвы в прямом значении слова; наше дело — жертвоприношение, мы каждый вечер идем на заклание. Вся нервная сила уходит на это, а для жизни мы обезличиваемся, стираемся, обмякаем, тускнеем, ходим с ослабшими мускулами.

С такими мыслями, разбередившими мне мое прошлое, скоро пошел и я спать. Мы устроили барышню за перегородкой, а сами улеглись на лавках, не раздеваясь. В окна глядели большие острые звезды, такие острые, что впрямь казалось, будто они прокалывают усиками занавеску. Из долины несло ночной сыростью,

кони наши, выйдя из зарослей, шевелились возле вагона, вскидывая завязанными ногами и дергая головой, отчего по земле прыгали огромнейшие тени. Возница и не думал спать. Закутавшись в бурку и взяв ружье, он ходил взад и вперед вдоль овражка, время от времени скручивая папироску.

Я долго ворочался, потом свежий воздух свалил меня, и я заснул.

III

Как вдруг, среди самого крепкого сна, чувствую,— бьет меня кто-то кулаком по уху, раз, два, три, четыре... Вскочил я, как безумный,— оказывается, бьет в ухо треск перестрелки. Да какой еще! Не поймешь откудова, с какой стороны. Вокруг меня бегали, проснувшись, музыканты, не решаясь выскочить из вагона, выглянуть из окошка.

Я, однако же, отдернул занавеску. Мне представилось ужасное зрелище. Возле самой стены, вздыбившись от выстрела, стояла наша лошадь. Она казалась в этой позе огромной. За ее спиной отстреливался казак, ухватившись за ее гриву. Внизу валялась другая лошадь, должно быть убитая. А вокруг, справа, слева, со дна овражка, лезли на нас страшные существа, косматые, как черти, в смутном предутреннем свете казавшиеся призраками. Они орали неистово. Они стреляли без умолку. Их еще сдерживали меткие выстрелы нашего возницы, прятавшегося за раненую лошадь. Но вот пуля попала ей в брюхо. Тяжко захрипев, она содрогнулась, выпрямилась, как человек, и обеими передними ногами подмяла под себя казака, рухнув с ним вместе наземь. Я слышал, как у казака хрустнули кости. Потом в стенку вагона застучали, как град, пули, и прежде чем я опомнился, чья-то рука за шиворот оттащила меня от окна.

— На пол! — крикнул мне хриплый голос грузина.— Товарищи, у кого есть оружие — к дверям.

Оружие — револьвер — оказалось только у него одного. Он выхватил его из-за пояса и бросился к дверям.

Музыканты сбились на полу в обезумевшую кучку. Кто-то залез под скамейку. Барышня-машинистка в одной рубашке стояла у стены, белая, как полотно, зажав уши руками. Она не кричала, только беспрерывно

шептала что-то. Почти бессознательно водя глазами по комнате, я встретился с еще одной парой глаз, спокойных до жуткости. Это был худенький человек в синем. Он сидел в углу вагона, где лежали его портфель и подушка, и занимался необычайным делом: он натягивал сапоги. Каждая мелочь врезалась мне с этой минуты в память. Я видел, что носки у него были розовые в полоску; что вокруг пальцев и на пятке они потемнели от пота и облегали ногу плотнее, чем на щиколотке. Заметив, что я смотрю на него, он сказал совершенно просто:

— Казак был прав, а мы безрассудны. На нас наехал разъезд белых. Постарайтесь спастись, если уцелеете в первую минуту. Скажите, что вы, музыканты и барышня, были насильно мобилизованы для участия в митинге.

В эту минуту грузин, отстреливавшийся в дверях, упал. За мной протяжно охнул кларнетист. Барышня закричала отчаянно, истерически, каким-то чужим голосом:

— Спасите! Спасите! Не трогайте!

В двери раздался залп, мы услышали крики:

— Сдавайся!

Один из музыкантов был ранен. Мы крикнули в ответ:

— Сдаемся! Среди нас женщина.

— Комиссара! — продолжали реветь снаружи. — Выходи поодиночке, руки вверх, комиссара вперед!

Тогда худенький человек взял в одну руку портфель, в другую фуражку, пошел, как ни в чем не бывало, к двери, и я услышал отчетливый голос, упругий, как мячик, ясный, пронзительно-спокойный:

— Я — комиссар.

Много довелось мне читать всяких романов. Я испортил себе глаза над описанием разных героических подвигов. И скажу вам, что в ту минуту, как при свете молнии, увидел, насколько лгут книги. Ничего не доводилось мне читать подобного тому, что я увидел. Вы понимаете, в голосе, в позе, в лице худенького человека была, как бы это сказать, экзальтация совершающегося, при полной наружной трезвости. Впечатление было настолько сильно, что покрыло нас, отодвинуло нас от самих себя, мы на несколько мгновений позабыли о всякой опасности. Нет, мало того, скажу боль-

ше, мы все, по крайней мере я, ощутили вдруг, на это самое мгновение, *чувство полнейшей безопасности.* Вот что я называю теперь героизмом, и это нельзя понять, не пережив...

На секунду воцарилась тишина. Худенький человек стоял. Солнце начинало заниматься и лизнуло крышу нашего вагона, бросив розовый отсвет на лицо человека с портфелем. Вдруг, сразу, как со дна пропасти, завизжало, заорало, захрипело десятками нутряных голосов:

— Сука!

— Жид!

— На кол его! Ребята, бей в морду!

— К стенке! На кол!

В ту же секунду мохнатая лава людей серым комком облепила нашего комиссара, сорвала его с порога и увлекла вниз. Я слышал команду:

— Назад! Не добивать прежде времени! Допросить и на кол!

Потом те же мохнатые люди (они казались нам такими, потому что носили высокие мохнатые шапки,— это был один из именных полков деникинской армии), так вот, эти мохначи ринулись на нас, связали и выволокли поодиночке на воздух. Я не мог в ту минуту простить грузину, что он позабыл о девушке и не застрелил ее заблаговременно. Несчастная так и осталась в рубашке. Ее оголили и, схватив поперек тела, потащили в кусты.

Нас стали допрашивать. Тут вылез вперед кларнетист и, как он неподражаемо умел, развел им целое слезное море; по его словам, нас мобилизовали под угрозой смерти, держали под прицелом. На вопросы о положении в городе врал без зазрения совести: будто бы там чуть ли не бунт, белых ждали как избавителей; словом, не прошло и десяти минут, как офицер угостил его папиросой. Каюсь, в эту минуту он был мне противен, между тем он спас нам жизнь. Кто-нибудь из нас должен был проделать всю эту дипломатию; есть люди, которые добровольно берут на себя худшие роли,— все им обязаны, а вместо благодарности чувствуют брезгливость.

Одним словом, нас арестовали, но не тронули. Пока допрашивали, солдаты выволокли из вагона тело нашего херувимчика-секретаря: он был раньше всех, еще во сне, убит первою пулею.

Потом началось допрашивание комиссара. Впрочем, нельзя было назвать издевательство допрашиванием. С лица его лилась кровь. Верхние зубы во рту были выбиты. Отвечая, он плевал кровью. На вопросы офицера он отвечал ясно, коротко, почти весело. Близорукие глаза (пенсне было сорвано и разбито) смотрели необычным взором, усиливая то впечатление экзальтации, о котором я говорил. Видно было, что по близорукости он не различает ни лиц, ни направления чужих взглядов и смотрит прямо перед собой на какую-то умственную, одному ему видимую, точку.

— Пытать,— кричали солдаты, — чего с ним канителиться!

Худенький человек выпрямился, поднял руки, как оратор, и воскликнул звенящим голосом:

— Товарищи, близок час, когда вы поймете, что вы делаете! Разве не ради вас, жен и детей ваших борется Красная Армия? Подумайте, за кого вы стоите? Подумайте, где обещанная вам земля?

— Молчать, собака! — крикнул офицер. — Сажайте его на кол!

Знаете вы, что такое кол? Это деревянный обрубок, самый настоящий. Вот такую дубинку вгоняют человеку в задний проход. Я видел, как его посадили на кол, вогнав с силой так, что хряснули раздираемые внутренности. И человек корчился, пригвожденный, а с востока взошло большое, белое, горячее солнце, зачирикали птицы, занялась вся степь и ослепительно засиял наверху наш агитвагон всеми своими лозунгами и плакатами. Он стоял к нам как раз той стороной, где веселый рабочий размахивал огненным молотком, зовя к сияющей пятиконечной звезде.

Корчившийся на колу увидел эту звезду, он протянул руки к вагону. И... содрогаюсь до сих пор, как вспомню. Вдруг сильным, нечеловеческим голосом, будто не рвало ему внутренности, стал говорить. Это была его агитационная речь. Он успел сказать:

— Да здравствует рабоче-крестьянская республика! Вы все поймете, вы будете с нами. В вагоне приготовлена для вас ли-те-ра-тура. Берите себе вагон!

Слово «вагон» резнуло, как нож, так напряженно вышло оно из горла. Действие было нечеловеческое, потрясающее. Солдаты буквально оцепенели, многие попятились от него. Офицер с проклятием выстрелил

в лицо тому, кто агитировал с кола. Он был вне себя, когда заорал, чтоб жгли вагон.

Тут-то я и увидел самое необычайное во всей моей жизни. Да, милые вы мои, солдаты ринулись к вагону, набились в него и — пусть я провалюсь, если вру, — делая вид, что разрушают вагон, совали себе, кто во что успел, нашу литературу. Один за голенища, другой за пазуху, третий в рукав, под шапку. Я видел в окошко их лихорадочные движения — это казалось полусознательным, сомнамбулическим. Должен сказать вам, что и я сохранил на память, подобрав тихонько, обгорелую щепку от нашего вагона и сохраню ее до самой своей смерти.

Шесть месяцев после этого весь юг был окончательно очищен от белых. Я встретился случайно с одним из тогдашних наших мохначей, — он был уже красноармейцем.

— Почитай, целиком перешли мы в Красную, — сказал он мне между прочим. — С того дня и задумались.

Вот что я считаю образцовой агитацией. Живите тысячу лет и еще тысячу, а большего не придумаете. Сильнее, чем жертва, на земле нет ничего.

Кажись, станция. Пойду возьму свежего кипяточку.

Рассказчик встал, взял большой медный чайник и двинулся к выходу. Спящий в углу пассажир-коммунист внезапно открыл глаза, вскочил и, взяв фуражку, вышел за ним. На лесенке он слегка ударил его по плечу. Рассказчик живо обернулся и, казалось, ничуть не удивился.

— Вот что, товарищ, — сказал пассажир,—рассказ хорош, хотя и есть некоторая скрытая тенденция... Вы меня понимаете, насчет жертвы. Только одно плохо: постепенно сбились с тона. Вели вначале соответственно аудитории, а потом вдруг перешли на высокий стиль и засерьезничали, словно для более тонкого слушателя рассказываете. Эта неровность — единственный недостаток.

— Разве вы не догадались, что это — для вас? — усмехнувшись, ответил рассказчик. — Я заметил, что вы не спите. И тенденция, может быть, вам не повредит.

И прежде чем тот успел опомниться, он взмахнул чайником и исчез в толпе.

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

СРОЧНЫЙ ФРАХТ

1

В Константинополе, едва «Мэджи Дальтон» отдала якорь на середине рейда и спустила с правого борта скрипящий всеми суставами ржавый трап, к нему подвалил каик. Турецкий почтальон, у которого засаленный хвостик фески свисал на горбатый потный нос, поднялся по дрожащим ступенькам и подал телеграмму.

Капитан Джиббинс сам принял ее на верхней площадке трапа, черкнул расписку, сунул почтальону пиастр и направился в свою каюту. Там он, не торопясь, набил трубку зарядом «Navy Cut», разжег, пыхнул несколько раз пряным дымом и разорвал узкую голубую ленточку, склеивающую края бланка.

Телеграмма была от хозяина, из Нью-Орлеана. Хозяин извещал, что компания «Ленсби, Ленсби и сын», которая зафрахтовала «Мэджи», настаивает на быстрейшей погрузке в Одессе и немедленном выходе обратно, так как предвидится быстрый спрос на жмыховые удобрения, за которыми и шла «Мэджи» в далекую Россию.

Капитан приподнял плечи, пыхнул особенно густым клубом дыма, перебросил трубку в другой угол рта и выцедил сквозь сжатые губы медленное:

— Goddam! [1]

Он вспомнил, что хозяин, пожалев два лишних цента на тонну, набил угольные ямы парохода таким па-

[1] Черт возьми!

нельным мусором, что при переходе через Атлантику «Мэджи» еле ползла против волны и ветра и с трудом держала минимальное давление пара.

При таком положении вещей рассчитывать на скорость не приходилось, но приказ был получен, капитан привык исполнять приказы и, позвонив стюарду, велел позвать старшего механика О'Хидди.

Спустя минуту в каютную дверь просунулась остриженная ежиком рыжая голова, оглядела каюту и капитана добродушными васильковыми глазами и втащила за собой сутулое туловище в футбольном свитере и купальных трусах.

— Что вам вздумалось тревожить меня, Фред?— спросила голова ленивым голосом.— Я издыхаю в этом треклятом климате и не вылезаю из ванны. Когда мы вернемся домой, я потребую у хозяина перевода на какую-нибудь северную линию. — О'Хидди подтянул трусы на впалом животе и добавил: — Когда имеешь несчастье родиться в Клондайке и провести полжизни в меховом мешке, трудно примириться с этой адской температурой.

— Тогда я обрадую вас,— ответил капитан,— я рассчитывал простоять тут до воскресенья, чтобы дать команде возможность спустить денежки в галатских притонах и подкрасить борты перед Одессой, но вот телеграмма хозяина... Торопит! Значит, снимемся к вечеру. Одесса не Аляска, но все же в ней прохладнее.

— А почему такая спешка? — спросил О'Хидди, набивая свою трубку капитанским табаком.

— Ленсби хотят поскорее получить жмыхи. На рынке спрос.

Механик в раздумье похлопал ладонью по голой коленке.

— А вам известно, Фред, что в Одессе нам придется застрять для чистки котлов? — сказал он с равнодушным злорадством.

С лица капитана Джиббинса на мгновение сползла маска безразличия и сменилась чем-то похожим на любопытство. Он вынул мундштук из губ.

— Это еще что? Мы произвели генеральную чистку в предыдущий рейс. К чему опять затевать пачкотню, когда от нас требуют спешки?

О'Хидди плюнул в пепельницу и ухмыльнулся.

— Можно подумать, что вас еще не распеленала нянька, до того наивные вопросы исходят из ваших уст. Вы видели уголь, которым мы топим?

— Видел, — сухо ответил капитан.

— О чем же вы спрашиваете? Смесь такого качества можно найти только в прямой кишке бегемота. От нагара половина труб уже не тянет. Без хорошей чистки мы не дойдем обратно, особенно с грузом.

— Это невозможно. Мы можем потерять премию. Кончайте возню в кратчайший срок. Нам нельзя терять ни минуты.

— Попробую. На счастье, в Одессе есть мистер Бикоф. За деньги он сделает невозможное.

Капитан удовлетворился ответом, и снова мускулы его лица застыли в спокойном безразличии.

— Ладно! Полагаюсь на вас. Только предупредите команду, чтоб к шести вечера все были на местах. Если кто-нибудь опоздает — ждать не буду. Пусть попрошайничает в Галате до обратного рейса. Нужно выйти в Черное море до захода солнца, прежде чем проклятые турки выпалят из своей сигнальной пушки. Иначе придется ждать утра.

— Хорошо! — ответил механик.— Будет сделано.

2

«Мэджи Дальтон» прошла узкие ворота Босфора на закате, когда верхушки волн отливали розовым золотом, и, резко повернув, взяла курс на север.

Капитан Джиббинс стоял на мостике, нахлобучив на лоб синюю фуражку с галунами и заложив руки в карманы.

По морским путям мира в час, когда волны отливают розовым золотом, проходят тысячи пароходов. Старые, зализанные солеными поцелуями всех морей и океанов грузовозы и транспорты, быстрые стимеры и великолепные шестиэтажные трансатлантические пассажирские колоссы, перед форштевнями которых с угрюмым гулом расступается вода, подавленная их огромностью. Днем и ночью, под мерцающими узорами звездных сетей, пересекают они морские дороги, вглядываясь в мировую тьму цветными огоньками электрических глаз.

Их движет и гонит через зеленые хляби воля банков, контор и пароходных компаний, жестокая, не знающая пощады и промедления деловая воля капитала.

На голубом мареве морского горизонта вырастают миражи сказочных стран. В сказочных странах ждут горы нужного банкам и конторам груза. Под ругань и свист бичей желтые, коричневые, черные рабы грузят в гулкие железные чрева пароходов материи и пряности, хлопок и руды, плоды и каучук, добытые, выращенные, собранные такими же рабами под такой же свист бичей. В грохоте лебедок тела пароходов оседают в стеклянную глубь, пока вода не закроет черту грузовой ватерлинии.

Сквозь туманы и волны, сквозь звездные сети и разнузданные вопли ураганов пароходы бережно несут свою ношу в далекие порты, чтобы не переставала кипеть сухая, щелкающая костяшками счетов таинственная работа на грохочущих улицах за зеркальными стеклами, до половины закрытыми зелеными шелковыми занавесками. За этими занавесками царство жадности.

Свисающие на шнурах лампы струят ровное мертвое сияние на высокие конторки, на лысины, на землистые лица в очках, склоненные над гроссбухами и ресконтро. Обладатели этих лиц так же жестки и сухи, как бумага конторских книг, и, когда они шевелят губами, кажется, что губы шелестят, как переворачиваемые страницы. На бумаге растут колонки и столбики цифр. Они управляют судьбой везомых пароходами грузов, хранящих в шелковистой на ощупь рогоже, обволакивающей тюки, странные дразнящие ароматы сказочных стран, цветущих за голубым маревом горизонтов.

Люди банков и контор не слышат этих запахов. Они знают единственный аромат хрустящих цветных бумажек, на которых скучными узорами ложатся цифры и короткие слова на всех языках земли.

Люди банков и контор обращают проведенные ими по страницам книг грузы в цветные бумажки и звонкие металлические кружки. Они спешат совершить это волшебное превращение, чтобы цифры, которые ежедневно пишет мелом на черной доске биржи бесстрастная рука маклера, оставались на спокойном уровне благополучия.

И снова, подчиняясь коротким, лающим приказам жадности, машины пароходов напрягают стальные мускулы, гнут облитые смазочным маслом колени и локти рычагов, трубы плюют в свежее океанское небо отравленной копотью, быстрее рокочут винты, и капитаны чаще спрашивают у вахтенных показания лага.

Капитаны опытны и спокойны, как капитан Джиббинс. Равнодушно стоят они на мостиках, нахлобучив синие с галунами фуражки и засунув руки в карманы. Прищуренными глазами они видят незримый другим путь, пролегающий между седыми лохмотьями пены.

Капитану Джиббинсу ясно виден путь от плоских зеленых берегов Нью-Орлеана до ярко-желтых рыхлых скал одесского приморья. И ему так же ясен путь превращения его груза в цветные бумажки и металлические кружки, часть которых переходит в оплату за труд капитана и матросов. Капитан откладывает большую долю этих бумажек для обеспечения своей семьи на черный день. Матросы, которым нечего откладывать, спускают свои деньги в приступах яростной тоски портовым кабатчикам и жалким размалеванным девкам. Деньги, совершив предначертанный кругооборот, возвращаются в банки, проходят по страницам книг и превращаются в новые грузы.

Пароходы принимают их в трюмы и снова идут морскими путями, коварными и зыбкими, полными неожиданностей, грозящих и капитану и матросам гибелью или потерей работы. Последнее страшнее гибели.

Поэтому ночью капитан Джиббинс трижды выходил на палубу, запахиваясь в короткое непромокаемое пальто, и спрашивал у вахтенного показания медной вертушки, меланхолично отзванивающей на корме над вспененной мерцающей влагой.

3

За переездом через рельсовые пути, свитые змеиным клубком под бревенчатыми пролетами эстакады, залегли по крутой улице низкие дома из ноздреватого закопченного камня. Днем и ночью их обдает грохотом и копотью от проходящих бесконечными верени-

цами кирпично-красных поездов, принимающих и подающих грузы к известняковым плитам причалов, о которые, шурша, трется мутно-зеленая вода.

Над дверью одного из домов золотые, облупленные буквы:

«Контора по ремонту и чистке пароходных котлов П. К. Быкова».

В конторе за письменным столом сам Пров Кириакович Быков. Он один обслуживает свое предприятие и с утра до вечера неподвижно восседает на широком кресле. Кроме него, в конторе никого, если не считать двух портретов: императора и самодержца всероссийского Николая II и святителя Иоанна Кронштадтского.

На портрете самодержца две дырки. Случилось это два года назад, в дни, когда приходил в Одесский порт восставший броненосец «Потемкин». Простояв двое суток в порту, нагнав неслыханного страху на власти и вызвав в городе могучую вспышку революционной бури, броненосец ушел к югу. Опомнившиеся от паники сатрапы залили Одессу кровью баррикадных бойцов и мирного населения, а разъяренные черносотенцы организовали кровавый, звериный погром. Тогда в контору к Прову Кириаковичу ввалились громилы и пьяная босячня просить царский портрет, чтобы погулять всласть по улицам под прикрытием повелителя. Царь должен был освятить своим ликом резню и грабеж.

Но случилось иначе. Погром принял такой размах, что грозил перекинуться из районов городской голи в богатые кварталы и захлестнуть не только еврейские жилища. Вторично напуганные, власти отдали приказ любыми мерами прекратить погром, и, едва осатанелая орда отошла от конторы за угол, железно лязгнули три залпа. Пров Кириакович видел, как мимо окон пронеслись обезумевшие погромщики и один из них бросил портрет на камни мостовой.

Когда проскакали драгуны и все утихло, Пров Кириакович выполз, как барсук из норы, и внес портрет обратно. Стекло высыпалось из рамы, а самодержец был изуродован двумя пулями. Одна оборвала ухо, другая влезла в ноздрю. Двое неизвестных стрелков, зажатых в тиски дисциплины, отвели душу хоть на царском портрете.

Пров Кириакович горько вздохнул. Приходилось покупать новый портрет, но тратиться было жалко, и, приглядевшись, он решил, что дело поправимо. Дырку в ноздре вовсе не заделывал — все равно и в природе там дырка, а ухо заклеил бумажкой и подчернил под цвет карандашиком.

Так и повис самодержец вдыхать конторскую пыль одной натуральной ноздрей. А быковские мальчишки-котлоскребы, что всегда толклись во дворе конторы, подглядели в окошко и непочтительно прозвали портрет: «Колька Рваная Ноздря».

Дело у Прова Кириаковича большое, известное всем в порту. Приходят в Одесский порт во все времена года сотни пароходов из разных чудных мест. У иного на корме название и портовая отметка написаны на таком языке, что даже спившийся студент-филолог Мотька Хлюп, который зимой ходит в навязанных на ноги войлочных татарских шляпах вместо ботинок, и тот прочесть не сумеет.

Долго ходят пароходы по морским путям, и засариваются у них от нагара и копоти дымоходные и котельные трубы. Чтобы отправиться дальше, нужно пароходу полечить свой желудок, прочистить железные кишки, соскрести с них всю нагарную дрянь. В док из-за такой мелочи становиться нет расчета, чистят на плаву, и тут-то и приходит на помощь больным пароходам котельный доктор Пров Кириакович.

Для этого у него целая рота мальчишек.

Узкие трубы еще у́же становятся от нагара и накипи, взрослому человеку никак не справиться, а мальчишке по первому десятку в самый раз. Скользнет вьюном в больную трубу и лезет с одного конца до другого в тесноте, духоте и гарной вони и стальным скребком, а где надо — и зубилом, отбивает толстые пленки нагара и накипи с металла.

Пров Кириакович набирает своих мальчишек в самых нищих логовах города — на Пересыпи, Ближних и Дальних Мельницах, на Молдаванке. Только там можно найти охотников мучиться за пятиалтынный в день, на своих харчах.

Приходят к дверям быковской конторы механики больных судов всех наций. Быков принимает заказы, записывая их каракулями в торговую книгу. Натужно ему писать, грамоте обучился с трудом. Выводя бу-

ковки, сопит от усердия, размазывает чернила по бумаге мохнатой бородой карлы Черномора. А принявши заказ, открывает форточку во двор и орет всей глоткой:

Сенька, Мишка, Пашка, Алешка!.. Гайда, байстрюки, на работу! Не копаться! Жив-ваа!

4

О'Хидди в новеньком чесучовом костюме и сверкающих оранжевых полуботинках, с камышовой тростью в руке, спустился по широкой одесской лестнице с бульвара, где истребил груду мороженого, и побрел по грязной, засыпанной угольной пылью улице, сопровождаемый комиссионером Лейзером Цвибель.

Лейзера знали все капитаны и механики, хоть раз побывавшие в Одесском порту. Он выполнял всевозможные поручения, начиная с внеочередного ввода в док океанских гигантов и до поставки веселящимся на твердой земле морякам беспечных и непритязательных минутных подруг.

Лейзер знал все языки, насколько это было необходимо для портового комиссионера в пределах названных обязанностей. Все языки он немилосердно коверкал, но все же ухитрялся заставлять понимать себя и был для морских людей, теряющихся на улицах чужого города, спасительной нитью Ариадны, выводящей из путаницы лабиринта. Только иногда, когда Лейзер бывал взволнован, он пускал в ход все языки сразу, и тогда понять его было окончательно невозможно.

Сейчас Лейзер провожал О'Хидди в контору Прова Кириаковича. Механик нашел бы дорогу и сам, он не в первый раз в своей бродяжной жизни гранил синие плитки лавы на одесских тротуарах, но объясниться с Быковым самостоятельно не сумел бы. Пров Кириакович знал по-английски только матросскую ругань, О'Хидди же мог произнести лишь три насущных, как хлеб, русских фразы: «Здрастэй», «Как живьош» и «Ти красивэй девуш, я льюблю тибэ». Но для деловых переговоров этого было недостаточно.

Пров Кириакович солидно привстал перед механиком и протянул пухлую, в черных волосиках, коротколапую лапу. О'Хидди энергично тряхнул ее. Лейзер

торопливо и с осторожностью притронулся к кончикам быковских коротышек.

— Как себе живете, Пров Киринакович?— спросил он, ласково улыбаясь тревожной, настороженной улыбкой запуганного и забитого человека.

— Живем помаленьку. А ты как, ерусалимская курица?

— Ой, что значит курица? Если б я таки да был курицей, так я каждый день носил бы домой по зернышку и кормил бы деток. А то я не курица, а даже сказать совестно... пфе... Вот, может, сегодня заработаю, потому что таки да привел вам клиента... Ой, какого клиента, чтоб он долго жил. Так он даст мне немножко, и так вы себе дадите бедному еврею.

— А какая работа?— осведомился Быков, раскрывая книгу заказов.

— Ой, что за вопрос? Царская работа, чтоб ей легко икалось. Нужно вычистить мистеру котлы в два дня, потому что мистеру нужно торопиться до своей Америки и у него такой срочный фрахт, какого у меня никогда не будет.

— Два дня? За два дня и заплатить придется, как за два дня,— сумрачно отозвался Быков.

— Так разве я что говорю? Что мистеру стоит? Он же немного богаче старого Лейзера. Он согласен платить.

— Согласен так согласен. Скажи ему, что будет стоить...

Быков почесал нос и назвал головокружительную цифру. Цвибель вздрогнул и побледнел.

— Ой-ой! — прошептал он.— Это же совсем страшная цена. Разве ж я могу выговорить такую?

— А не хочет — не надо,— ответил, не меняя тона, Быков,— время горячее. Клиентов хватает. Не он — другой найдется.

Лейзер развел руками и робко повторил механику цифру по-английски. К его удивлению, О'Хидди даже не поморщился и ответил коротким: «Very well!» [1], добавив, что если работа не будет кончена за двое суток, то за каждый день просрочки с Быкова будет удерживаться двадцать пять процентов.

— Нехай,— сказал Быков, записывая заказ,—

[1] Прекрасно!

ничего они не удержат, бо сделаю в срок, коли берусь.

Механик положил на стол задаток, взял расписку и кинул Цвибелю пять долларов за комиссию. Пожав еще раз руку Быкову, он вышел из конторы, оставив Цвибеля договариваться о деталях.

На тротуаре он остановился, привлеченный криками и смехом.

Пятеро чумазых, оборванных мальчишек играли на мостовой в классы, бросая битки и прыгая за ними на одной ножке.

О'Хидди не видел никогда этой игры и глядел с любопытством.

Один из мальчишек, маленький и вихрастый, скакал ловчее всех и задорно хохотал, радуясь своей удачливости. Выбросив ловким боковым движением ступни битку из очерченного мелом квадрата, он поднял голову и увидел механика. Губы его растянулись смехом, открыли два сверкающих ряда ровных, молочно-белых зубов. Он подбежал к О'Хидди, протягивая маленькую лапку, от копоти похожую на обезьянью, и закричал, приплясывая:

— Капитэн, капитэн! Гиф ми шиллинг иф ю плиз, чтобы ты скис. Гуд бай! Хав дую ду? [1]

О'Хидди осклабился. Русских слов, вкрапленных мальчишкой в английскую фразу, он не понял, но вспомнил таких же задорных чертенят на пристанях Нью Орлеана и почуял теплое дыхание родного ветра.

Рука его сама полезла в карман пиджака и положила в протянутую лапку блестящий доллар. Монета молниеносно исчезла у мальчишки за щекой, он перекувырнулся, встал на руки и, похлопав босой пяткой о пятку, прокричал: «Гип-гип, ура!»

О'Хидди осклабился еще ласковее. Потрепал вставшего на ноги мальчишку по щеке, подивился его великолепным зубам хищного зверька и сказал одну из своих спасительных фраз:

— Здрастэй, как живьош?

Мальчишки заржали, и один, сплюнув, восторженно сказал:

— Ишь ты! По-нашему знает, собачья морда!

---

[1] Капитан, дайте мне, пожалуйста, шиллинг... Будьте здоровы! Как поживаете?

О'Хидди хотел сказать еще что-нибудь, но объяснение в любви красивой девушке явно не подходило к обстоятельствам, и он беспомощно крякнул.

Из неудобного положения его выручил трубный голос Быкова с крыльца конторы:

— Петька!.. Санька!.. «Крыса»!.. На работу!

О'Хидди вежливо приподнял фуражку, раскланялся с мальчишками и пошел в порт.

5

Среди быковских котлоскребов славился на все Черноморье одиннадцатилетний Митька, по прозвищу «Крыса», тот самый, который выудил у О'Хидди новенький доллар и чья белозубая усмешка так понравилась механику.

Никто не знал, откуда Митька, чей он, как его фамилия. Пров Кириакович подобрал его года два назад полумертвого, пылающего в жару, осенней ночью под эстакадой и, выходив и откормив немного, пустил в дело.

Остальные мальчишки имели семьи, были детьми одесской бедноты, грузчиков и каталей, у Митьки в Одессе и на тысячи верст кругом никого не было. Всеми расспросами удалось выудить из него подробность, что у мамки была синяя юбка. Но в мире много синих юбок, и с такой приметой Митька имел мало шансов отыскать пропавшую мамку, бросившую его в порту.

Расходы Прова Кириаковича на Митьку не пошли впустую. Для конторы он оказался золотым кладом. Худощавое, тонкое тело гнулось и сворачивалось в такие клубки, что у нормального человека полопались бы кости и мускулы. А в деле Прова Кириаковича гибкость была главным качеством. Там, где пасовали другие ребята, в ход пускался Митька. Он пролезал угрем в самые узкие трубы, он заползал в такие сокровенные закоулки, в такие изгибы, куда нельзя было добраться никакими способами без разборки механизмов. Однажды он умудрился пролезть через винтовую трубу насоса-рефрижератора, которая вертелась удавьей спиралью с полными оборотами через каждые полтора метра. Этот фокус прославил его имя во всем порту, и конкуренты Быкова не раз предлагали Митьке двойную плату, чтобы переманить такое чудо. Но у Мить-

ки, помнящего только цвет мамкиной юбки, был свой рыцарский кодекс. Он презрительно хмыкал острым носиком, за который вместе со своей нечеловеческой гибкостью и получил кличку «Крыса», и отвечал сурово и зло:

— Значит, мине перед хузяином захудче блатного сволоча стать? Он мине откормил, отпоил, а я ему дулю в нос тыкнул? Мине у его хорошо!

Конкуренты чертыхались и отваливали ни с чем. Была даже попытка ликвидировать «Крысу», для чего подговорили десяток мальчишек «накрыть Митьку пальтом», но драку вовремя заметили матросы с «Чихачева» и успели отбить окровавленного мальчика.

Так «Крыса» и остался у Быкова, храня верность своему первому хозяину, и Пров Кириакович, часто хлеставший мальчишек чем попало и почем зря за малейшие провинности, никогда не трогал Митьку. Остерегался он не из жалости, а из боязни повредить такую драгоценную диковину.

И теперь, получив заказ на срочную чистку котлов «Мэджи», заказ выгодный и хорошо оплаченный, он решил отправить на работу Митьку, зная, что он один сделает работу за десятерых. Быков выдал мальчишкам скребки, зубила и молотки и отпустил их в сопровождении Лейзера, который должен был указать стоянку парохода.

О'Хидди, придя на корабль, явился в каюту Джиббинса.

— Свинство! — сказал он, входя и вытирая лоб.— В этом году и в Одессе не прохладнее, чем в тропиках. Из меня вытекли все соки. Дайте хлебнуть хоть вашего анафемского черри.

— Валяйте! — Джиббинс наполнил стакан.— Как дело с котлами?

— Договорился! Мистер Бикоф берется сделать за двое суток.

— Олл райт! Есть новая телеграмма от хозяина. Ленсби согласны удвоить премию, если мы сократим обратную дорогу еще на двое суток. Мы разбогатеем, Дикки. Я смогу положить в банк кое-что для будущего моих ребят.

Механик залпом выпил стакан.

— Мне ни к чему. У меня ребят нет... Но я вам со-

чувствую, Фред. А теперь пойду влезать в купальный костюм. Иначе сварюсь, как рак.

О'Хидди ушел. Джиббинс подошел к койке. Над ней на стене висела фотография полной пышноволосой женщины с двумя малышами на руках. Капитан вздохнул, растянулся на койке и задремал.

6

О'Хидди только что кончил обливаться водой, когда дверь каюты распахнул кочегар в замызганном и промасленном комбинезоне.

— Сэр! С берега пришли чистить котлы.

— Спустите их в кочегарку. Я сейчас приду.

Он вытерся, натянул трусы, повесил полотенце и, пройдя по палубе к машинному люку, легко спустился по звенящему металлом трапу в кочегарку.

Мальчишки напялили на себя твердые брезентовые мешки без рукавов, защищавшие тело от царапин при ползании по трубам.

Лейзер Цвибель вежливо поклонился механику.

— Они сейчас начнут. Они такие проворные мальчики. Будьте спокойны.

Один из мальчишек обернулся на голос Цвибеля и даже в сумраке кочегарки ослепил фарфоровым блеском зубов. Механик узнал того, которому дал доллар.

Он подмигнул мальчишке и опять сказал:

— Здрастэй, как живьош?

— Заладила сорока про Якова,— усмехнулся Митька,— сказано, живу хорошо. Ты не дрефь, дяденька, раз взялись — вычистим. Ну, ребята, айда!

Он засунул зубило и молоток в наружный карман мешка, взял в руки скребок и еще раз улыбнулся механику. Потом вперед головой нырнул в трубу. О'Хидди проследил, как остальные котлоскребы тоже исчезли в трубах, повернулся к Цвибелю и любезно пригласил его выпить кофе. Оценив такую вежливость, Цвибель пополз за механиком по трапу наверх, высоко подымая ноги в драных носках и цепляясь за перила.

В чистенькой каюте американца он пил сладкий кофе с кексом и даже рискнул выпить рюмку ликера. После этой рюмки он сразу загрустил. Ему вспомнилась его жалкая берлога на Молдаванке, где сидит вечно голодная Рахиль с девятью ребятишками. Вспо-

мнилось, что поблизости от берлоги есть полицейский участок, а в нем господин пристав и что господину приставу нужно каждый месяц нести десять рублей, чтобы господин пристав был благосклонен к Лейзеру. И что нужно еще нести пять рублей господину околоточному и три рубля господину городовому. И от этих мыслей Цвибелю стало так тяжко, что он, забывшись, начал, ломая слова, рассказывать механику о своих горестях. Американец слушал вежливо, но, видимо, скучал. Лейзер заметил это, сконфузился, заторопился и встал, чтобы проститься.

Но дверь каюты распахнулась, и на пороге появился тот же кочегар.

— Простите, сэр... Немедленно спуститесь вниз.

— Зачем? — с явным неудовольствием спросил О'Хидди.

— Там неприятность. Один из мальчиков завяз в трубе и не может выбраться.

— Что?.. Damn! [1] — выругался механик и выскочил из каюты.

В кочегарке он застал машинистов, кочегаров и быковских мальчишек. Все они тесным кружком столпились у отверстия трубы.

— В чем дело? — сердито спросил О'Хидди.— Почему толкучка? Как это случилось?

— Мальчик был уже глубоко в трубе,— степенно объяснил старший машинист,— и вдруг начал кричать. Мы сбежались, но не понимаем, что он кричал. Теперь он плачет. Очевидно, завяз и не может продвинуться.

— Ой, что такое? — вскричал Лейзер, сползший вниз вслед за О'Хидди.— Мальчики, скажите мне, что это такое?

— Митьку в трубе затерло.

— Залез, а вылезть не может.

— Ревет.

— Вытаскивать треба,— загалдели котлоскребы на разные голоса.

Лейзер ткнулся головой в трубу и, услыхав тихое всхлипывание, взволнованно спросил:

— «Крыса»!.. И что же это такое значит? Что с тобой сделалось, чтоб тебе отсохли печенки, когда ты так срамишь мене и хозяина?

[1] Черт!

Тонкий, прерываемый плачем голос «Крысы» глухо отозвался из трубы:

— Сам понять не можу, Лейзер Абрамович... Я, ей же богу, не виноватый. Лез по ей, как повсегда, а тут рука подвернулась под пузо... никак выдрать не можу... Больно! — И Митька опять заплакал.

Лейзер всплеснул руками.

— Она подвернулась!.. Вы видали такие штуки? И как она могла подвернуться, когда ты-таки получаешь гро́ши, чтоб она не подвертывалась. Вылезай, чтоб тебе не кушалось, цудрейтер! [1]

В трубе зашуршало и застонало.

— Ой, не можу... Ой, кость поломается,— донесся оттуда голос.

Лейзер задергался.

— Ты хочешь меня погубить, паршивец? — закричал он в трубу.— Так ты лучше вылезай, а то я скажу Прову Кириаковичу, он тебе уши оборвет.

— Не можу!

— А?.. Он не может... Вы такое слыхали? Петька! Лазай в трубу, цапай его за ноги, а мы будем тебя вместе с ним вытягивать. Полезай, паскудник! Ой, горе мне с такими детьми!

Петька полез в трубу.

— Держи его за ноги! Крепче! Не пускай! — командовал Лейзер.— Ухватил? Ну, мальчики, тащите Петьку за ноги. Чтоб вы мне его так вытащили, как я жив.

Мальчишки с хохотом ухватились за торчащие из трубы Петькины босые грязные пятки и потащили. И вдруг из трубы вылетел раздирающий, мучительный вопль Митьки:

— Ой, мальчики, голубчики... оставьте... больно мне... рука... Ой-ой-ой!..

Котлоскребы растерянно выпустили торчащие из трубы Петькины ноги и не по-детски угрюмо переглянулись. Лейзер побледнел.

— Вы не беспокойтесь, мистер механик,— быстро заговорил он,— это ничего... Это совсем пустяки... Я сейчас привезу господина Быкова, он его вытащит в одну минуточку.

Он метнулся к трапу и побежал по нему с быстротой, которая сделала бы честь самому О'Хидди.

Оставшиеся молча стояли у рыдающей трубы.

[1] Сумасшедший! *(еврейск.)*

— Нужно залить смазочным маслом,— предложил машинист,— она станет скользкой, и тогда мальчугана можно будет выволочь.

О'Хидди склонился над отверстием трубы. Он был огорчен, узнав, что в трубе застрял тот самый белозубый чертенок, который сразу привлек его внимание на улице. У механика засосало под ложечкой, и, чувствуя острое желание чем-нибудь помочь и досадуя на свое бессилие, он ласковым голосом позвал:

— Хелло, бэби! Здрастэй, как живьош?

Мальчики хихикнули. Из трубы вместе с плачем долетел грустный ответ:

— Плохо!.. Рука болит, чисто сломанная.

Ничего не поняв, О'Хидди еще больше огорчился и взволновался, угрюмо зашагал взад-вперед по тесному пространству кочегарки.

7

Перекладины трапа задрожали и загудели под самим Провом Кириаковичем.

Не взглянув на взволнованного О'Хидди, Быков сразу рыкнул на мальчишек, которые, притихнув, сбились у трубы.

— Это что? Баклуши бить будете? А работать кому? Лезай в трубы, собачьи выскребки, а то всех в шею потурю.

— «Крыса» завяз, Пров Кириакович,— жалобно пропищал Петька.

Рука Прова Кириаковича ощутительно рванула Петькино ухо.

— Ты еще балачки разводить, сопля? Тебя спрашивают?.. Завяз!.. Я ему покажу завязать... Марш в трубы! Вы мне гро́ши заплатите, коли в срок работу не кончу? У, сукины сыны!

Мальчишки сыпнули врозь и исчезли в трубах.

Пров Кириакович тяжелым шагом подошел к злосчастной трубе.

— Митька! — угрожающе позвал он.— Ты что ж, стервец? Пакостить вздумал? Вылезай сей минут!

— Пров Кириакович, миленький, родимый, не сердитеся. Я б сам рад, да не можу, истинный хрест. Совсем руку свернул,— услыхал он в ответ слабый, приглушенный металлом голос.

Быков налился кровью.

— Ты мне комедь не ломай, окаянный черт! Вылазь, говорю, не то всю морду размолочу!

В трубе заплакало.

— Лучше убейте, не могу больше мучиться. Ой, больно!

Пров Кириакович почесал в затылке.

— Ишь, ты!.. И впрямь застрял, пащенок... Треба веревкой за ноги взять и вытягивать.

Лейзер осторожно приблизился сзади к Быкову:

— Такое несчастье, такое несчастье... Мы уже пробовали — не вытаскивается... Господин машинист говорит — нужно залить смазочным маслом, тогда-таки будет скользко...

— Брысь, жидюга! — отрезал Быков.— Без тебя знаю. Скажи гличанам, чтоб несли масло.

Широкоплечий канадец-кочегар с ножовым шрамом через всю щеку принес ведро с густым маслом. Пров Кириакович сбросил люстриновый пиджак и с размаху выплеснул масло глубоко в трубу.

— Швабру! — крикнул он испуганному Лейзеру и, выхватив швабру из рук кочегара, стал пропихивать в трубу.

— Еще ведро!

Второе ведро выплеснуло в трубу скользкую зеленовато-черную жижу.

— Петька! Лезай, сволота, с канатом. Вяжи его за ноги!

Петька полез в трубу. По его грязным щекам катились капли пота и слез. Ему было страшно и жаль «Крысу». Вскоре он выбрался обратно, весь черный и липкий от масла.

— Завязал,— прохрипел он, отплевываясь.

Пров Кириакович навертел конец веревки на руку и, перебросив через плечо, потянул. Труба взвыла отчаянным воплем.

— Цыть! — взбесился Быков.— Барин нашелся. Терпи, чичас вытяну!

Он вторично налег на веревку, и кочегарку пронизало нестерпимым криком. Прежде чем Пров Кириакович успел потянуть в третий раз, О'Хидди схватил его за плечи и отшвырнул в угол кочегарки на груду шлака.

— Скажите ему, что я не позволяю мучить мальчугана! — крикнул он Лейзеру.

Быков поднялся, сине-пунцовый от ярости.

— Ты!.. Передай этому нехристю — ежели так, пущай сам копается. А не хочет — придется трубу выламывать.

Лейзер, оцепенев, перевел.

О'Хидди тряхнул головой.

— Хорошо! Я пойду доложу капитану.

Он взбежал по трапу и исчез в люке. Пров Кириакович хотел потянуть еще раз, но канадец со шрамом угрожающе поднял стиснутый кулак, и Быков остался недвижим.

В люке снова появилась голова О'Хидди.

— Мистер Цвибель, поднимайтесь и попросите с собой мистера Бикофа. Капитан желает говорить с вами.

Пров Кириакович плюнул, чертыхнулся и полез наверх.

Капитан Джиббинс стоял у люка и смотрел на Быкова холодными прищуренными глазами. Он попросил объяснить ему, что случилось, и, выслушав рассказ Лейзера, сказал неторопливо и скучающе:

— Выломать трубу я не могу позволить без согласия владельцев груза и хозяина. Я пошлю сейчас срочную телеграмму в Нью-Орлеан. А пока пробуйте так или иначе освободить мальчишку.

Быков в бешенстве полез вниз. В трубу лили еще масло, пробовали тянуть то быстрыми рывками, то медленно и осторожно, но каждое дерганье причиняло Митьке невыносимую боль, и кочегарка снова оглашалась дикими воплями. Митька рыдал и просил лучше убить его сразу.

Так тянулось до вечера. Вечером Быков, исчерпав весь запас ругани, ушел на берег. Кочегары тихо переговаривались, прислушиваясь к глухим всхлипываниям.

— Он долго не выдержит,— мрачно сказал канадец,— я говорю, что надо распиливать трубу ацетиленом.

— Джиббинс не позволит,— отозвался другой кочегар.

— Сволочь! — хрипнул канадец и ударил кулаком по трубе.

8

Утром капитан Джиббинс получил ответ на срочную телеграмму.

Он прочел его у себя в каюте, и лицо его каменело с каждой строчкой. Хозяин телеграфировал, что он не допускает никакой задержки из-за какого-то паскудного русского мальчишки и возлагает всю ответственность за последствия опоздания на Джиббинса.

«Мы всегда найдем в Америке капитана, который сумеет более преданно соблюдать интересы фирмы»,— кончалась телеграмма.

Капитан Джиббинс закрыл глаза и, как наяву, увидел жену и двоих ребят. Его лицо дернулось. Резким движением он разодрал листок телеграммы и вышел на палубу. Там перед О'Хидди стоял Быков и, размахивая руками, что-то горячо объяснял Цвибелю. Цвибель увидел капитана и впился в него жалким, оробелым взглядом.

— Мистер капитан, вы уже имеете ответ из Америки?

— Да,— сухо ответил Джиббинс,— переведите мистеру Бикофу, что я не задержусь ни на один час. Сегодня вечером топки должны быть зажжены, а завтра утром мы уйдем. Если по вине мистера Бикофа этого не случится — ему придется оплатить все убытки компании и мои.

Быков стиснул кулаки и пустил крепчайшую ругань.

— А ты ж, треклятый ублюдок! Хоть бы ты сдох в трубе, сукин сын.

Лейзер отшатнулся.

— Что такое вы говорите, Пров Кириакович, что даже совсем страшно слушать. Разве на ребенке есть какая вина, чтоб он помер в таком нехорошем месте?

— Пошел ты к черту! — рявкнул Быков.

Капитан Джиббинс хотел уйти в каюту, но его остановил кочегар со шрамом, вылезший на палубу из машинного люка.

— Извините, сэр,— сказал канадец,— люди просят разрешения разрезать трубу. Больше ждать нельзя, мальчик едва дышит. Мы...

Бритые щеки Джиббинса слегка порозовели. Не повышая голоса, он ответил:

— Запрещаю.

— Но это убийство, сэр,— угрожающе надвинулся канадец,— мы этого не допустим. Мы разрежем трубу без вашего согласия.

— Попробуйте! — еще тише сказал Джиббинс.— Вы знаете, что такое бунт на корабле, и знаете, что по этому поводу говорит закон. Прошу вас... Я не дам двух пенсов за вашу шкуру. Понятно?

Шрам на щеке канадца налился кровью. Он обжег Джиббинса горячим взглядом, круто повернулся и скрылся в люке.

— Приглядите за людьми, О'Хидди. Вы отвечаете за машинную команду,— зло бросил механику Джиббинс и ушел в каюту.

Быков и Цвибель спустились в кочегарку. Митька уже не отвечал на оклики и только чуть слышно стонал. Колокол позвал команду к обеду. Кочегарка опустела. Быков нагнулся к трубе и долго прислушивался. Потом выпрямился и решительным движением надвинул картуз на брови.

— Идем к капитану,— приказал он Цвибелю и полез наверх.

Капитан Джиббинс жевал бифштекс и уставился на Быкова и Цвибеля спокойными, бесстрастными глазами.

— Вытащили? — спросил он, отрезав кусок сочащегося кровью мяса.

— Ничего не выходит, мистер капитан. Ой, какой страшный случай,— начал Лейзер, но Быков оборвал его. Он оперся руками на стол, и бурачное лицо его внезапно побледнело.

— Ты скажи ему, Лейзер,— заговорил он тихо, хотя никто не мог понять его, кроме Цвибеля,— скажи ему, что вытащить стервенка нельзя, а я платить протори не могу. Откудова ж у меня такие деньги? — Быков остановился, шумно вобрав в грудь воздух, и с воздухом глухо выдохнул: — Пусть затапливает топки с им вместе.

Лейзер охнул:

— Ой, Пров Кириакович! Разве можно такие шутки? Как я скажу такое американскому капитану, чтоб убить ребенка жаром? Лучше вы сами делайте что хотите, а я не могу. От меня и детей моих бог откажется за такое дело.

Быков перегнулся через стол.

— Слушай, Лейзер,— прошипел он,— я не шутю с тобой. Я не хочу пойти по миру из-за выскребка. Вот мое слово: если не скажешь капитану, кладу крест, расскажу господину приставу, как ты в запрошлом году ходил по Дерибасовской с красным флагом и кричал против царя.

Лейзер почувствовал холодное щекотание мурашек, пробежавших по спине, но попытался еще сопротивляться.

— Ну и что такое? — сказал он с жалкой и больной улыбкой.— Господин пристав ничего не скажет. Какой еврей тогда не ходил с красным флагом и не кричал разные глупости?

— Глупости? Про орла забыл? Думаешь, я не знаю.

Лейзер отшатнулся. Это был оглушительный удар. Значит, Быков знает об этом. О том, что Лейзер тщательно скрывал все время и думал, что это поросло травой забвения. О том, что он, Лейзер Цвибель, вместе с разгоряченными студентами сорвал лепного орла с аптеки на Маразлиевской и в забвенном исступлении топтал ногами его черные крылья. Это было гораздо страшнее красного флага. Лейзер закрыл глаза, а Быков продолжал шипеть:

— А Шликермана помнишь?

Цвибель простонал. Он вспомнил изуродованное тело Шликермана, до смерти забитого городовыми в участке, горько и глубоко вздохнул и решился.

— Грех, вам, Пров Кириакович... Ну хорошо... Я скажу капитану.

Пока он переводил капитану Джиббинсу слова Быкова, у него тряслись руки и дрожали губы. Джиббинс выслушал молча. Ни одна черточка не шелохнулась на его гладком лице. Он вынул изо рта трубку и медленно ответил:

— Скажите мистеру Бикофу, что это его дело. Мальчишка его и предприятие его. Пусть устраивается, как знает... если сумеет сохранить все в тайне от моей команды и как-нибудь обмануть людей. Я ничего не слыхал и ничего не знаю. Но вечером топки будут зажжены.

Быков поджал губы и вышел с Цвибелем на палубу. Бирюзовые тени вечера ложились на штилевой рейд. Стояла вечерняя тишина, разрываемая только

криками чаек, дерущихся на воде из-за отбросов. Быков повернулся к Цвибелю и, наливаясь кровью, прошептал дико и грозно:

— Если одно слово кому — запомни: со света сживу.

9

В кочегарке не было никого, кроме мальчишек. Американцы еще не вернулись с обеда. Мальчишки, перешептываясь, стояли около трубы, в отверстие которой засунул голову Петька. Быков схватил Петьку за оттопыренный на спине брезент и рванул к себе. Петька вытаращил в испуге глаза, белые, как пуговицы, на черном лице.

— Ты чего тут засунулся, стервец? Опять лайдачите? Всех поубиваю к чертовой матери! — зарычал Пров Кириакович, приподняв Петьку на воздух.

— Дак мы пошабашили, Пров Кирьякич! — взвизгнул Петька.— Зараз все трубы кончили, ей-же-ей. Кабы не «Крыса», все б раньше часу сробили.

Пров Кириакович оглянулся на квадратную дыру люка вверху, над которой синело небо, подтащил Петьку к себе и забормотал:

— Чичас полезай в трубу к «Крысе». На, завяжи веревку себе на ногу и полезай. Как гличане с обеда придут, я тебя тащить оттеда буду, а ты кричи в голос. Неначе ты не Петька, а «Крыса».

— Зачем, Пров Кирьякич?

— Ты еще поспрашивай!.. А как вытащу — реви коровой, будто с радости. Ну, марш! А то в два счета к чертовой матери! А вы — молчать в домовину, бо десять шкур поспускаю! — крикнул он трем остальным.

Петька исчез в трубе, из которой свисала веревка. Отверстие люка наверху потемнело, и по перекладинам трапа загремели шаги спускающихся американцев.

Цвибель шумно вздохнул и осмелился притронуться к локтю Быкова.

— Пров Кириакович,— выдавил он, дрожа,— ужели ж вы себе хотите так загублять невинное дите?

Быков взглянул на него.

— И до чего ж вы жалостливая нация! — сказал он с презрительным недоумением.— Должно, с того вас и бьют во всех землях...— И вдруг вскипел зло-

бой, прикрикнул: — Твой, что ли? Твое какое дело? Я его нашел — я за него и ответчик. Все одно у него никого — бездомный, никто не спросит. А спросят — скажу: сбег, уехал с гличанами. Пшел!

Лейзер отпрянул. Спустившиеся кочегары приблизились к трубе. Быков, крякнув, ухватил веревку и, натужась, потянул. Петька в трубе завыл. Веревка стала подаваться.

— Тащи!.. Тащи! — заорал Быков, и кочегары, поняв, тоже ухватились за конец. Показались Петькины ноги, зад, и наконец выскользнуло все тело. Растопырив руки, Петька грохнулся лицом в железный пол, усеянный острыми комьями шлака. Он сильно расшиб лоб и разревелся уже непритворно. Кочегары, загалдев, подхватили его и поволокли по трапу на палубу. Канадец платком стер кровь с расшибленного Петькиного лба и хотел вытереть все лицо, покрытое жирным черным налетом смазки, но Быков вырвал мальчика из его рук и потащил к сходне. По дороге он наткнулся на вышедшего на шум О'Хидди.

— Что случилось? — спросил механик.

Канадец, торопясь, объяснил ему, что мальчика удалось вытащить.

О'Хидди подошел к Быкову. Ему захотелось сказать спасенному что-нибудь ободряющее и ласковое. Он прикоснулся ладонью к слипшимся Петькиным волосам. Петька повернул голову, открыл рот, и механик увидел черные испорченные зубы, нисколько не похожие на блестящий частокол зубов Митьки. О'Хидди отнял руку и с недоумением проследил за Быковым, стремительно сбежавшим на пирс, таща за собой Петьку. Когда тот скрылся за углом пакгауза, механик отошел от борта и спустился в кочегарку.

Мальчики, собрав инструмент, тоже собирались уходить. О'Хидди подождал, пока они взобрались наверх, взял багор и глубоко просунул его в трубу. Багор наткнулся на мягкое препятствие, и О'Хидди услыхал чуть слышный звук, похожий на жалкое мяуканье.

Он отбросил багор и в несколько прыжков одолел трап. На палубе он умерил шаги и постучался в дверь капитанской каюты.

Джиббинс удивленно посмотрел на механика, на бледное лицо с расширенными васильковыми глазами, на капли пота на лбу.

— Что с вами, Дикки? — спросил он.

Механик задыхался.

— Фред!.. Совершено преступление. Этот негодяй Бикоф обманул нас. Он вытащил из трубы другого мальчика. Тот остался там. Он уже почти умер, он не может даже ответить...

Капитан Джиббинс вертел в руке трубку. Лицо его стало очень неподвижным и тяжелым.

— Я так и думал,— медленно произнес он.

Механик отшатнулся.

— Как? Вы знаете это?

— Не знаю, но я предполагал.— Джиббинс зажал трубку в зубах и, чиркнув спичкой о подошву, медленно разжег табак.— Но это все равно. У нас нет выхода. Мы должны уйти завтра утром, как только погрузим последний мешок жмыха. В десять вечера вы разожжете топки.

— Вы с ума сошли! А ребенок?

Капитан Джиббинс поднял голову. Глаза у него стали зеленовато-холодными, как кусочки льда.

— Выслушайте меня, приятель! Если я не исполню приказа хозяина, меня вышвырнут и занесут в черный список. Ни одна компания не возьмет меня на работу. Вы холостяк. У меня есть дети и жена. Я знаю, что совершено преступление, если смотреть на вещи с точки зрения общей морали. Но в данном случае я смотрю с точки зрения личной морали. Я человек и не хочу, чтобы моя семья подохла под забором. Мне дороги мои дети. Может быть, вы не поймете этого, но, когда я думаю о том, что будет с моими детьми, я принимаю на себя ответственность... И вы не захотите сделать моих детей такими же отщепенцами и нищими, как этот мальчишка...

— Но команда...

— Команда не узнает ничего, если вы ей не скажете. А вы не скажете потому, что не захотите смерти моим детям. Мальчика все равно уже не спасти. Еще два-три часа, и он задохнется... В десять мы засыпаем уголь в топки. Это приказ!

О'Хидди стиснул виски. Ему показалось, что голова у него раздувается, как резиновый шар, и сейчас лопнет.

— Хорошо!.. Я буду молчать. Да простит господь мне и вам, Фред!

10

«Мэджи Дальтон» вышла из одесской гавани ровно в полдень, взяв полный груз. На пирсе было пустынно, и только у пакгауза жалась скорченная фигура в длинном потертом сюртуке. Лейзер Цвибель пришел проводить пароход, потому что у него было девять голодных детей и жалостливое к детям, никому не нужное сердце. Когда «Мэджи» свернула за выступ мола, он ушел с пирса, унося на согбенной спине никому не видимый страшный груз.

«Мэджи» благополучно прошла Босфор и Гибралтар. Машины работали хорошо, взятый в Одессе уголь был отличного качества, люди работали превосходно, и только старший механик О'Хидди с утра напивался до одурения и лежал у себя в каюте опухший и страшный.

За Гибралтаром «Мэджи» вступила в Атлантику на путь, проложенный пять веков назад упрямым генуэзцем, и в первую же ночь механик О'Хидди на глазах вахтенных матросов прыгнул со спардека за борт. Погода была свежая, ветер гнал тяжелую волну, и шлюпки спустить было рискованно. Капитан Джиббинс отметил этот печальный случай короткой записью в вахтенном журнале.

Одиннадцать дней «Мэджи» резала океанскую волну и на двенадцатый встала у родного причала в гавани Нью-Орлеана. Хозяин вместе с главой фирмы Ленсби, сухим джентльменом в белом цилиндре по летнему времени, взошел на палубу поблагодарить капитана Джиббинса за удачный рейс и образцовую службу.

— Мы даем вам, кроме премии, еще специальную награду, и мистер Ленсби, со своей стороны, тоже нашел нужным премировать вас за усердие... Кстати, как вы развязались с этой заминкой в Одессе?

Капитан Джиббинс поклонился.

— Благодарю вас. Это пустяк. Не стоит и вспоминать,— ответил Джиббинс.

На нем, как всегда, была синяя фуражка с галунами и в зубах капитанская трубка с изгрызенным мундштуком. Лицо капитана Джиббинса было гладким и спокойным.

Ночью, когда отпущенная команда съехала на берег и на пароходе остался лишь один вахтенный, капитан Джиббинс спустился в кочегарку. Задраив люк на все барашки, он взял длинную кочергу и запустил ее в отверстие трубы. Он долго ковырял ею в глубине трубы. На железный решетчатый пол выпало несколько обгорелых костей, потом с гулким и пустым стуком вывалился кругляшок маленького черепа. Запущенная еще раз кочерга выволокла что-то звонко упавшее на пол. Джиббинс нагнулся и поднял небольшую железную коробочку, в каких упаковываются дешевые леденцы. Коробка была покрыта темным нагаром. Капитан вынул нож и, подсунув под крышку, открыл коробку. На дне ее лежало несколько медных пуговиц и черный от огня доллар. Джиббинс захлопнул коробку и сунул ее в карман. Потом опустился на колени, разостлал платок и собрал в него кости и череп. Выйдя на палубу, он подошел к борту и бросил связанный узлом платок в черную, чуть колышущуюся воду.

В каюте он подошел к столу, взял бутылку виски, налил полный стакан и поднес ко рту, но не выпил. Постоял минуту, провел рукой по лицу, как будто стирая дрожь мускула под скулой, и, подойдя к открытому иллюминатору, выплеснул виски за борт.

Утром, съехав на берег, капитан Джиббинс зашел к знакомому ювелиру и попросил впаять темный обожженный доллар в крышку своего серебряного портсигара.

— Откуда у вас эта штука, Джиббинс? — спросил ювелир, вращая доллар в пухлых пальцах.

Капитан Джиббинс нахмурился.

— Мне не хочется об этом рассказывать. Неприятная история. Но я хочу сохранить эту монету на память.

Он вежливо простился с ювелиром и вышел на улицу. Он шел домой, радуясь тому, что сейчас увидит жену и детей и осчастливит семью известием о премии, полученной за срочный фрахт. Он был спокоен и уверен в завтрашнем дне и твердо шагал среди шума и грохота улицы мимо домов, за зеркальными стеклами которых, прикрытыми до половины зелеными шелковыми занавесками, закипала сухая, щелкающая костяшками счетов, размеренная работа человеческой жадности.

РУВИМ ФРАЕРМАН

НА РЕКЕ

Мы плыли по широкой реке, убегавшей на север, и вода в ней была уже холодна, хотя на нашем берегу, на скалах, среди мха и тонкой поблекшей травы, еще росли камнеломки — белые цветы без запаха, а на маньчжурской стороне еще совсем по-летнему стояли в синем дыме горы.

На пароходе было тесно. И корма и нос были забиты грузом: пустыми бочками и солью — обычным грузом для этих мест, богатых рыбой. На скамьях, на якорных цепях, на кнехтах — повсюду сидели амурские рыбаки и старатели, люди все рослые, в огромных ичигах, с багровыми от ветра лицами цвета дубленой кожи; тут же толпой, присев на корточки, ютились среди бочек корейцы — огородники с нижних деревень, портовые рабочие, облокотясь на дубовые перила палубы, молча провожали высокий берег, все убегавший от кормы назад. И невесело было у всех на душе. Владивосток был занят японцами, на Хабаровск наступали чехи, калмыковцы, семеновцы. Хоть на короткое время, но враг одолел, и приходилось кому уходить в тайгу, кому скрываться в городе или уезжать в места, где тебя никто не мог бы узнать.

Среди этой толпы был и я.

Глядя, как холодно плещется вода в реке, я думал о том, о чем обыкновенно думает человек, который в последние дни ел очень редко. Я был страшно худ от голода, и не только лицо мое, но даже кожа на моих руках приобрела тусклый, неживой цвет.

У меня ничего не было: ни сундучка, ни денег, ни хлеба. Обувь моя была разбита, и одежда протерлась во многих местах.

Но, правда, я мог бы продать свою тужурку. Она была почти новая, из хорошего сукна, и мне дали бы за нее немного денег. Я наметил даже человека, которому мог бы ее предложить. Он был обут в прекрасные желтые сапоги, носил синюю чиновничью фуражку и, наверное, любил крепкие и прочные вещи.

Я подошел к нему и спросил, сколько может стоить такая тужурка, как у меня.

— Сколько бы она ни стоила,— сказал он мне,— ее все равно украдут.

При этом он показал на вертевшегося повсюду юркого человека, по хитрым глазам которого и их безмятежному взгляду можно было узнать вора.

Может быть, этот маленький чиновник в сапогах был и прав.

Все же, как я ни был голоден, но тужуркой своей дорожил сейчас больше, чем хлебом. Она была подбита ватином, и если плотно застегнуть ее на все пуговицы, то в ней можно было постоять на носу парохода, где ветер напоминал мне о севере, куда уносила нас река. Наконец я подстилал ее под спину, когда ложился спать на палубе, потому что собственные кости причиняли мне нестерпимую боль. Я складывал свою тужурку вдвое, а под голову клал книгу — «Детство» и «В людях» Максима Горького.

Эту книгу я унес из библиотеки общества трезвости на углу Базарной улицы и Кривой.

Я должен признаться, что не книги заставили меня вчера в полдень переступить порог этой библиотеки. Кроме книг, там давали бесплатно еще кусок хлеба и кипяток.

Я попросил хлеба и взял книгу, первую, какую предложили мне.

Усевшись на скамье у окна, я раскрыл ее посередине. Потом начал читать с начала и, грызя хлеб, принадлежавший обществу трезвости, долго читал, заливаясь слезами.

«И я, и я прошел через это страшное детство. И я был теперь в людях».

И, поглядывая в окно на улицу, я не видел никого кругом.

Хлеб я съел, а книгу потихоньку унес, оставив у библиотекаря залог — свою сибирскую папаху из мягкой барнаульской овчины.

Это была хорошая папаха.

«Но зачем,— думал я,— нужна шапка человеку, которому все равно негде приклонить голову?»

И вот теперь я стоял на носу парохода без шапки и такой же голодный, как вчера, но с книгой, засунутой за ремень, свободно обнимавший мое исхудалое тело.

Я глядел на мелкие волны реки и слушал, как плескалась у борта вода. И все мне казалось, что я скоро умру.

Я отвернулся от блеска этой холодной реки и побрел по палубе, отыскивая себе свободное место.

Я нашел его и сел, прикрыв усталые веки рукой.

Но вскоре какой-то хруст, похожий на громкое скрипение снега, заставил меня снова открыть их. Двое пассажиров, сидевших напротив на скамье, завтракали: ели огурцы с хлебом. Один из них держал на коленях корзинку, сплетенную из лыка, где, кроме огурцов и хлеба, лежали еще соленая рыба, сало и несколько пучков черемши, без которой ни один таежный житель не решается отправиться в путь.

Это были старатели. Я узнал их не только по острому запаху черемши, но и по их одежде, очень просторной, сшитой из синей китайской дабы. Ножи, которыми они чистили огурцы, были тоже старательские, из тяжелой якутской стали, узкие и острые, как шила. Таким ножом можно заколоть оленя или одним взмахом распороть брюхо медведю, вставшему на дыбы.

Запах хлеба и сала заставил меня содрогнуться всем телом. От голода снова закружилась голова, и снова я закрыл глаза. Но запах еды от этого только усилился.

Я вскочил со скамьи, подошел к баку и напился холодной воды. Потом снова сел на свое место, глядя прямо в лица старателей.

«Неужели,— думал я,— они не предложат мне поесть?»

Но старатели продолжали громко грызть огурцы, не замечая моего взгляда.

Тогда я спросил их:

— Знаете ли вы Максима Горького?

Оии удивились. Оба перестали есть и, подумав секуиду, ответнли:

— Слыхали, паря, как же.

— Ну то-то,— сказал я, строго посмотрев иа их огурцы н хлеб.— А хотите, я вам прочту его книгу? Ннчего, вы ешьте, а я вам буду читать.

И я иачал чнтать. Голос мой порою затихал от слабости, и горло сжнмалн спазмы, но я долго чнтал им дивную повесть о велнкой судьбе и страданиях Алексея Пешкова.

Когда же я кончил и посмотрел вокруг, то удивился глубокой тишнне и молчаиню.

Старатели сидели задумавшнсь, опустнв глаза и рукн, и иожи их, с которымн оии ннкогда не расставались, были тоже опущены вииз.

Молчалн н другне пассажнры, слушавшие меня, молчал, задумавшнсь, н юркнй человек, на которого давеча указал мне чиновник.

Старатели, иаконец, подняли головы, и одни из иих, постарше, сказал мне:

— Друг, побереги эту кингу для нас.

— А куда вы едете? — спроснл я.

— Куда все едут,— ответнл он и показал в ту сторону, откуда наплывалн на нас горы, холодный ветер и леса.

— Что вы будете делать?

— На рыбиые промысла наймемся, а ие то в тайгу подаднмся, на прннска, золото рыть.

Я не зиал ничего: ин как роют золото, ин как ловят рыбу — и сказал без всякой иадежды:

— Не возьмете лн вы и меня с собой?

Старатель посмотрел на меня с недоверием: я был мал ростом н тощ. Но все же он потрогал пальцами мон мускулы, чтобы узнать, есть лн хоть какая-иибудь сила в руках.

Ее было очеиь мало.

Старатель вздохнул. Но, заглянув в мои голодные глаза н потом в кингу, лежавшую у меия иа колеиях, он молча протянул мне иа острне иожа кусок сала и пододвниул корзиину с хлебом.

— Простн, друг,— сказал ои,— до того ие догадался. А теперь ешь. Ешь хорошо,— повторил он,— и побереги эту книгу для нас. Будем вместе артелить.

И в эту ночь я лег на палубу сытый и был сыт на другой день и на третий. Я нашел в этих людях друзей, с которыми потом в тайге, в партизанских отрядах, провел счастливый год.

Но этой дорогой для меня книги мне не удалось сохранить.

Мы приехали на место дня через два, под вечер, и ночевали в городской ночлежке, стоявшей под горой, у самой реки. Даже с порога можно было слышать, как подмывает берег вода, как журчит она, стекая с камней и глины. И на полреки падала тень от горы.

В самой же ночлежке ничего не было слышно: так громко плакали дети, ютившиеся вместе с женщинами в дальнем углу.

Я лег на нары рядом со старателями и заснул, положив под голову книгу.

Проснулся я утром от холода. Тужурка, которой я вчера укрылся, моя прекрасная тужурка из дорогого сукна, валялась на полу возле нар. А книги не было. И нигде не было видно юркого человека с хитрыми глазами, ночевавшего рядом со мной.

До самого полудня вместе со старателями искал я эту книгу.

Мы ее не нашли. Но часто потом вспоминали о ней, где бы мы ни были: в гиляцких ли стойбищах или в тайге у костра, когда вокруг нас вставала ночь.

И один из старателей говорил:

— Вор-человек. На что польстился! Ведь душу из нас вынул.

А другой, постарше, отвечал:

— Что вор, то верно. А что польстился,— значит, и ему она была нужна.

НАЧАЛО

I

Закончив полный курс обучения в Педагогическом институте и получив диплом преподавательницы литературы в старших классах, Евгения Андреевна Сазонова вернулась в родной город, чтобы надолго остаться в нем.

Она сошла с поезда и, пройдя пешком две улицы, остановилась на мосту через реку.

Город был маленький, а река широкая, мелкая, и среди весенних, еще туманных полей, начинавшихся сразу за городом, нельзя было различить ее берега.

Но Евгении Андреевне ничто на свете не казалось сейчас таким дорогим, как эта река. На ней прожила она свое детство, хотя и теперь была еще так молода, что это детство стояло рядом.

Ей было двадцать два года.

Маленький чемоданчик, обитый дерматином, стоял у деревянных перил моста рядом с ней. А сама она смотрела на воду. Разлив еще не кончился, река была полна, на воде в беспорядке лежали черные бревна. А по мосту с сахарного завода ехали бочки с бардой. И сладкий запах этой барды, и запах сырой земли, и острый воздух, блестящими глыбами висевший над самой рекой, кружили немного голову и вызывали улыбку на губах.

«Вот и еще одна весна,— подумала Евгения Андреевна.— Какова-то будет здесь жизнь?»

Она пересекла широкую вымощенную площадь, прошла мимо школы, куда была назначена учительницей, посмотрела на окна и свернула направо, в длинную, еще голую аллею. Здесь было безлюдно, но над головой без умолку кричали и хлопали крыльями грачи.

Путь от вокзала пешком немного утомил ее. И на минуту она присела на скамейку рядом с мальчиком. Башмаки его лежали на коленях, а сам он, подняв голову, задумчиво, блестящими глазами смотрел вверх, в небо.

Евгения Андреевна тоже посмотрела вверх.

Невысоко над городом без всякой поспешности летели журавли. Она проводила их взглядом. Потом обернулась к мальчику. Глаза его все еще блестели.

Она была привязана к детям и никогда не проходила мимо них молча. Она тронула мальчика за плечо и спросила:

— А хочется тебе быть птицей?

И мальчик, не задумываясь, ответил, что хочется.

Она улыбнулась:

— Кем же ты хочешь быть — журавлем или вот этой галкой?

Но мальчик посмотрел на черную птицу, прыгавшую по желтой глинистой земле, и ответил:

— Так это же грач, а не галка — у него иос белый.
— Верио! Ты хорошо зиаешь птиц.

Оиа рассмеялась и пошла дальше. А мальчик, обериувшись, долго смотрел ей вслед.

Она же шла, не оборачиваясь, и думала о том, что завтра надо пойти в райком комсомола иа учет, а послезавтра уже отправиться иа урокн в школу. Плохо, что прнходится иачннать в коице учебного года. Удастся лн ей победить этнх мальчиков, из которых каждый хочет быть птицей?

Дома ее встретила мать. Оиа была еще не стара н каждый день пешком ходнла за три версты в село, где тоже была в школе учительницей.

— Ну, вот хорошо, Жеиечка,— сказала мать, тороплнво, иеверныммн, дрожащнмн пальцамн снимая очкн.— Приехала, дорогая. Вот хорошо!

— Да, хорошо, все хорошо,— сказала Евгеиия Андреевна, обнимая и целуя мать.

Она взяла у матери очки и положнла на свой старый, еще детский стол, весь заваленный книгами и залитый черннлами. Другие очки лежали иа столике сестры, тоже заставленном книгами. Она была старше Женн на десять лет и тоже была учительннцей, как н брат нх Владимнр.

Семья была большая, учнтельская, и в доме было миого очков и много книг.

Под столом иа полу стояли жестяиые баики с рассадой, с толстыми корнями георгии. И грядкн за окиом в палисаднике были уже вскопаны.

А над грядками и дальше иад забором высилось небо, насквозь произенное лучами.

И хотя весиа эта была похожа иа все прошлые весны, проходнвшие иад маленьким домом, а все же она была другая, новая.

И Евгения Андреевиа снова обияла мать и засмеялась от счастья, вдруг охватившего ее.

Назавтра в полдеиь Евгення Аидреевиа отправнлась в райком комсомола.

Секретарь вызвал ее к себе.

Оиа вошла и стала у его стола, где на толстом стекле лежала ее анкета. Онн поговорили о работе. И секретарь, положив руку на стекло, сказал:

— Трудно тебе будет, Евгения Андреевна. Учнтелей-комсомольцев у нас мало, почитай, что иет. Есть,

правда, один, историю ведет — Афинский. Парень он как будто и ничего себе, строгий, а ребята его не признают. Хорошо бы тебе в этой школе комсоргом стать. Ну, да сама увидишь, не маленькая, три года вожатой была.

Секретарь поднял на учительницу глаза, встал и вдруг с удивлением увидел на ее узком, показавшемся ему очень слабом, плече толстую косу.

Он немного смешался и добавил:

— А там в старших классах парни уже большие. Как бы коса эта не причинила тебе неприятностей.

Учительница усмехнулась и покраснела.

— Ну ладно, ладно,— поспешно сказал секретарь,— иди работай, мы на тебя надеемся.

II

В первое же утро после выходного Евгения Андреевна пошла в школу.

Едва только вошла она с улицы на школьный двор, вытоптанный детскими ногами, едва увидела у калитки девочку с косичками, ее сумку с книжками, ее высунутый язык и гримасу, с какой она кричала что-то другой девочке, как сердце ее невольно дрогнуло. Еще так недавно ходила она сама с такой же сумочкой на этот двор учиться.

Несколько старых берез с тонкими ветвями росли перед окнами школы. И на ветвях уже распускались сережки. А школа была новая, и окна были светлы, и желтые сережки прилипали к их железным наличникам.

Она взялась за ручку тяжелой двери, готовая снова войти в нее школьницей, такой же маленькой, как те, что сейчас окружали ее у крыльца.

Она готова была писать по косым линейкам, находить подлежащее и сказуемое, решать уравнения и повторять французские глаголы.

Ее назначили руководительницей в 7-й класс.

На втором уроке она вошла в свой класс и стала у окна. Отсюда ей были видны все сорок мальчиков и девочек, нетерпеливо шевелившихся на своих местах.

Она старалась угадать, скучный ли предстоит им урок.

Угадать было нетрудно по тому страшному крику, какой стоял еще минуту-две после того, как в класс вошел учитель истории Николай Афанасьевич Афинский. Он помолчал немного, и в глазах его отразилось то тоскливое выражение, какое бывает у человека, когда он не знает, о чем через минуту будет говорить.

— Сейчас я вам расскажу о появлении первых людей на территории СССР,— начал он.— Тише, тише!

Но ребята не сидели тихо, хотя учитель уже рассказывал им урок.

Ах, он рассказывал так скучно, что, приведя наконец в уныние сорок человек детей и сам придя в окончательное уныние, он схватил со стола новый учебник истории и прочел две страницы вслух.

Евгения Андреевна с облегчением вздохнула.

Ей было немного стыдно за учителя, и, чтобы скрыть это чувство, она прошлась по рядам между партами.

Дети следили за ней. Но лицо ее было спокойно, и они не могли угадать, о чем она думает.

А она, неторопливо двигаясь между партами, думала вот о чем.

«Зачем человеку быть учителем, если природа не дала ему на то дара? Почему человек, не имеющий никакого призвания и способности к живописи, и не предполагает даже, что мог бы вдруг стать художником? Но почему-то каждый полагает, что он может быть учителем. А ведь и преподавание, пожалуй, тоже талант, искусство. А есть ли у меня этот талант?» — с тревогой спросила она себя.

Она отвернулась от класса, неустанно следившего за ней, и стала смотреть в окно, где старая береза слегка покачивалась от ветра. А толстые и тонкие ветви ее всё махали ей со двора, всё стучали по железным наличникам своими мохнатыми, как гусеницы, сережками.

III

Секретарь комсомола оказался совершенно прав.

На переменке в коридоре во время дежурства Евгении Андреевны два маленьких мальчика потрогали ее за косу.

Она быстро обернулась и увидела перед собой двух мальчишек с толстыми щеками и безмятежным взглядом.

Она нахмурилась и погрозила им строгими глазами.

— Вы новый инспектор, да? — спросили мальчики.

— Марш, марш! — сказала она.— Я вам покажу инспектора!

Мальчики отбежали немного и оба разом крикнули:

— Как вас зовут?

Этот случай привел ее снова в беспокойное расположение духа:

«Эти мальчишки вовсе не уважают меня. Даже им я кажусь слишком молодой учительницей. Как же будут вести себя восьмиклассники? Класс сборный и трудный, и, наверное, некоторые еще помнят меня ученицей».

И той уверенности в себе, какая была у нее еще дома и в райкоме, у секретаря, в эту минуту не стало.

И когда через час вместе с директором Евгения Андреевна вошла в класс, чтобы дать свой первый урок, она ощутила сильное душевное волнение. Сердце билось громко, почти страшно.

Класс поднялся ей навстречу, медленно, будто нехотя. Сели тоже недружно, громко стуча партами.

— Вот вам новая учительница, Евгения Андреевна. Она будет вести у вас литературу и русский язык вместо Сергея Андреевича, который ушел по болезни,— сказал директор и добавил:— Прошу, Евгения Андреевна, приступить к уроку.

Она кивнула головой, и директор вышел, оставив ее одну.

— Дежурный! — сказала она громко, пробуя свой голос. У нее был звонкий, с приятным тембром, отчетливый голос, невольно привлекающий к себе внимание.

Дети немного притихли. Но ненадолго.

К столу, переваливаясь и волоча ноги по полу, подошел дежурный — высокий мальчик со смышленым лицом и ленивыми, медлительными движениями.

— Кого нет в классе?

Мальчик произнес рапорт, не вынимая из кармана рук. Потом повернулся и медленно пошел назад, паясничая и вызывая смех.

Ничего хорошего не предвещало ей начало урока.

Тонко звенело стальное перо, защепленное тяжелой крышкой. Две девочки, положив на парту руко-

делье, вышивали. И на трех мальчиков сразу напал неудержимый кашель.

Учительница украдкой, будто мельком, окинула взглядом класс.

Она не сделала ни одного замечания. Она хорошо знала, как бесполезны они бывают порой.

И вдруг так же шумно, как дети, поднялась она со стула. Легкими шагами подошла она к девочкам, вышивавшим узоры, посмотрела их рукоделье и спросила, где достают они нитки.

Она смеялась, разговаривала, лицо ее было оживленно, приветливо, будто она сама разрешила им этот шум, звон и кашель.

И странное дело — почувствовав, что все им позволено в эту минуту, дети притихли.

— А теперь,— сказала учительница,— будем заниматься. Вы остановились, как говорил мне сам Сергей Андреевич, на Грибоедове — «Горе от ума».

— Нет, нет!— крикнула вдруг стриженая девочка, улегшись всей грудью на парту.— Мы уже прошли «Горе от ума».

— На чем же вы остановились?

Никто не ответил. Несколько секунд длилось молчание. Многие усмехались. Наконец та же стриженая девочка сказала:

— На «Евгении Онегине».

Учительница с недоумением посмотрела на детей, потом опустила лицо и усмехнулась. Она поняла. Теперь дети проверяли ее. И эта детская хитрость, так хорошо знакомая ей, привела ее в полное спокойствие. Душевное волнение утихло.

— Хорошо, начнем с «Евгения Онегина». На какой же главе вы остановились?

— На пятой!— снова крикнула девочка.

— Начнем с пятой главы.

— Нет, на второй! — крикнул еще кто-то.

— Отлично, можно начать и со второй.

— А у нас книг нет, мы не знали.

— Нам книги не потребуются,— спокойно сказала Евгения Андреевна.

В это время громко скрипнула парта, и Новиков с сонным лицом и наглыми глазами неторопливо побрел к двери.

Учительница не проводила его даже взглядом.

Отодвниув журнал н книгу в сторону, она подошла к окиу, где все та же старая береза махала ей веткамн со двора, и обернулась к детям.

Оии с любопытством следили за ней. Как оиа будет читать? Неужели без книжки, по памяти?

— Итак, иачием,— сказала оиа.

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невнннных наслажденнй
Благословить бы небо мог...

Оиа читала негромко, сочным и ясным голосом, расходившимся широко, н при одиом звуке его иевольио вспомиилась детям их спокойиая, текущая по полям река, сверкающий воздух н журавли, неторопливо плывущие в небе.

И по мере того как лилась с ее губ родиая речь, сложениая в дивиые стнхн, все нежией и милей становилось ее лнцо, все прнвлекательней казалась ребятам ее тоикая, одетая в чериое платье фигурка с толстой косой. И сердца их, бывшие до этого далеко от нее, словио иа другом коице света, теперь становнлнсь рядом, прииикалн к ней.

Оиа читала уже полчаса.

Леиивый Новиков загляиул в класс и, удивленный иеобыкиовеииый тишииой, вошел н тоже сел на парту. С мииуту он вертелся, потом, как все, положил свое большое, уже иедетское лнцо на ладонь н затих.

Никто ие пошевелился даже тогда, когда Евгення Андреевиа кончила.

— До свндаиня,— сказала оиа.— Уже был звонок.

Она быстро шла по длиииому коридору сквозь толпу шумевших ей навстречу детей, и ннкогда еще будущее так широко не раскрывалось перед ней, ннкогда еще жизиь ие казалась ей такой прочной н ясиой, бегущей по одиому глубокому руслу.

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕВУШКА

У нас принято жаловаться на скуку, на то, что некуда пойти вечером. Конечно, это неверно. Если человек хочет, он всегда может найти возможность весело провести вечерок. Шутка ли! Столько вечеринок бывает у нас в разных клубах, в учреждениях — по случаю разных празднеств, годовщин, а то и просто так. Чем не интересно? На вечеринке всегда бывает доклад — очень короткий,— докладчики пошли умные, сами понимают, что долго размусоливать нечего. Потом идет концерт. Приезжают интересные певицы, рассказчики. Поэты читают стихи. А после этого танцы. Танцуют иногда даже фокстрот, а уж вальсы, польки, мазурки — это сколько угодно. Тут же буфет: есть и пиво, и разные лимонады, и закусить можно; и в шахматы сыграть можно, и в шашки. Что еще человеку нужно?

И Сергей Иванович с тех пор, как смирился и перестал мечать о каком-то невероятном обществе, которого он, в сущности, никогда не видел, а только знал из рассказов, и стал посещать вечеринки своих сослуживцев, почувствовал себя значительно лучше и менее одиноко.

В конце концов, ему уже было под тридцать. Хотелось завести прочное знакомство с подходящей девушкой, жениться и жить, как люди живут. Годы прошли незаметно, пока он все искал какое-то особое общество из каких-то особых, равных ему, как он думал, лю-

дей. Но вдруг стало ясно, что ничем не плохи эти люди в гимнастерках, тужурках и френчах и что нет у него оснований пренебрегать ими.

Однажды, сидя на такой вечеринке с приятелем и глядя на девушек, одетых неважно, в бедных чулках и скромных платьях, но очень жизнерадостных, бодрых, весело танцующих, он сказал с неожиданным для себя убеждением, точно его приятель возражал ему:

— В конце концов, это и есть советское общество. Вот эти девушки и эти юноши подрастут и завладеют всем. Хозяевами являются они. Они и есть советская общественность. Вот посмотри на них внимательнее,— в конце концов, сколько среди них и красивых, и интересных, и благородных!

Приятель, который не совсем понимал, к чему все это, что-то промычал в ответ, вскочил, загородил путь пробегавшей стриженой блондинке в черном платье и предложил ей потанцевать. Блондинка согласилась и стала переваливаться на довольно плотных ножках, втягивая голову в плечи, толкая локтем других танцующих и весело смеясь.

— Ничего! В общем, хорошо, даже прекрасно!— сам себе говорил Сергей Иванович и зорко вглядывался в девушек, ища и для себя пару.

Вечеринка была в разгаре. Танцевало довольно много пар. Далеко не все смеялись при этом. Наоборот, лица в большинстве были серьезные,— народ танцует всегда серьезно. Привлекательных девушек было много. Музыка и движение волновали, и Сергей Иванович не решался, не решался, но все-таки подошел к бледной девушке в красном платье и предложил ей потанцевать. Он болезненно насторожился, боясь, что она откажется, но в это мгновение музыка прекратилась, прекратились и танцы, и девушка развела руками не без оттенка сожаления.

— Очень жаль,— сказал Сергей Иванович и, глядя на ее влажное лицо, предложил:— Не хотите ли пить?

Она не отказалась. Пошли в буфет, уже как знакомые, но в буфете ничего не было. Буфетчик убирал со стойки пустую посуду. Сергей Иванович осмелел и предложил девушке выйти на улицу: если она одна, то он проводит ее домой.

— Ладно,— сказала девушка,— идти так идти.— И добавила, точно размышляя вслух, но в то же время

и обращаясь к нему: — *Чем я рискую*, не правда ли?

Его довольно сильно покоробила эта реплика, но девушка улыбнулась при этом, показалась еще более привлекательной. И Сергей Иванович подумал, что это не имеет значения — мало ли что болтают, если на все обращать внимание — с ума сойдешь.

Вышли на улицу. Он взял ее об руку и спросил, в каком районе она живет. Оказалось — по пути. И от удовольствия, что это так, он неожиданно сжал крепче ее руку. Девушка не отстранялась, но вид у нее был такой, что она здесь ни при чем, что его отношение к ее руке — всецело дело его такта и что она за это ответственности не несет.

— А вы где живете? Какой смысл вам проводить меня?

— Да ведь нам по пути! Это ж только что выяснилось...

— Ах да,— засмеялась девушка,— совершенно верно. Ну, ладно!

На углу продавали апельсины. Сергей Иванович купил два апельсина и предложил один ей.

— Пить негде, а это все-таки утолит жажду.

Она взяла апельсин — правда, не без колебаний; колебание было довольно заметное, но все же взяла, начала очищать кожу и запросто поблагодарила. Сергея Ивановича, воспитанного в атмосфере щепетильности, опять покоробило, что она так просто взяла апельсин. Ему казалось, что она должна была, по крайней мере, раза два-три отказаться, а он должен был ее убеждать, настойчиво предлагать.

Но он посмотрел на нее, она опять улыбнулась, опять показалась ему весьма привлекательной, и он забыл об этом.

Через пять минут апельсин был ею съеден. Она вытирала губы платком, держа в другой руке кожу от апельсина. Сергей Иванович свой апельсин тоже съел, бросив куски кожи на мостовую.

Из-за угла, куда они повернули, налетел ветер, довольно резкий. Остатки тепла, вынесенные с вечеринки, ушли. Стало холодно. Но девушка продолжала держать в руке кожу от апельсина.

— Что же это вы?— спросил Сергей Иванович.— Почему не бросаете?

— Урну ищу,— просто ответнла девушка.— Тут нет. Должно быть, дальше будет.

Он хотел что-то сказать, но осекся. Осечка была странная: он забыл, что хотел сказать, хотел вспомнить, как будто вспомннл, но опять забыл. И стало вдруг ясно, что совсем неважно то, что он хотел сказать, несущественно, ненптересно.

Он был удивлен тем внезапным удивленнем, которое нз-за внезапностн своей волнует. Его снльно задело: неужелн так просто обнаружнвается превосходство людей?

Оказывается, просто.

Он бросал кожу апельсина на мостовую, всю жнзнь он делал так н ннкогда не думал об этом. И еслн бы девушка упрекнула его за это н стала бы доказывать, что так делать не следует, это было бы менее убедительно, чем то, что сделала она.

А она, собственно, ннчего не сделала. Она так просто нскала урну. Вндно было, что это — прнвычка, обыкновенная прнвычка поддержнвать чнстоту. Поставнлн урны,— значнт, надо в ннх бросать сор. Ведь для чего-то же нх поставилн! Вот н все. Совершенно ясно было, что она не поннмает, как может быть иначе, не думает об этом н не догадывается, почему такое глубокое удивленне на лнце ее нового знакомого. Впрочем, она плохо его вндела н вряд лн заметнла его состоянне.

«Вот что такое новое поколенне!— подумал Сергей Ивановнч.— Тут что-то действнтельное новое. Оно начннается с незаметных мелочей, с пустяков, о которых не думаешь».

И он хотел ей сказать, что ему очень нравнтся то, что она не сорнт на улице, очень нравнтся, но он вовремя почувствовал, что это будет глупо, что это не тема для разговора — нн для шутлнвого, нн, тем более, серьезного. А если прннять во вннманне, что одобрение ей выразнл бы он, только что сам варварски швырявшнй куда попало апельснновую корку, то, пожалуй, это будет вдвойне глупо.

Но вот урна наконец нашлась. Девушка броснла апельснновую кожу, вытерла рукн н сказала:

— Вот скоро я н дома. Вторая улнца н второй дом налево.

Он задал ей несколько вопросов. Из ответов узнал, что она служит в экспедиции, до некоторой степени является выдвиженкой: раньше клеила ярлыки, а теперь работает на контроле. На вечеринку пришла с подругой, которая встретила знакомых и осталась; она все равно живет в другом районе.

У ворот своего дома она остановилась, внимательно посмотрела на Сергея Ивановича и пожелала ему всего хорошего.

Обыкновенное, но свежее и привлекательное лицо ее показалось Сергею Ивановичу еще более привлекательным, и он спросил, можно ли ей позвонить.

Она подумала и ответила, что на службу звонить нельзя, дома у нее телефона нет, и вообще звонить еще рано. Пусть он придет в клуб, там он сможет увидеть ее, она обещает быть в субботу и будет очень рада, если придет и он.

— Поговорим тогда побольше, я посмотрю, какой вы человек есть,— улыбнулась она,— а тогда будете и звонить...

И улыбка расширилась на полных губах и превратилась в веселый, беззаботный, безобидный и милый смех.

На другой день Сергей Иванович рассказывал своему приятелю, что он познакомился с удивительно интересной девушкой. Он долго описывал ее наружность, восторгался, выражал необычайную радость и усиленно расспрашивал, будет ли в субботу вечеринка в клубе.

Приятель насвистывал что-то. Он вообще был легкомысленный человек, легкомыслие усиливалось вечной рассеянностью. Выражение лица у него было изумленное, он точно никогда не понимал, о чем, для чего и к чему говорят вокруг люди. Но иногда задавал вопросы, которые затрудняли собеседника. Так теперь, посвистывая и вертя вокруг пальца веревочку, он спросил:

— Та самая, к которой ты подошел на вечеринке? А что в ней интересного?

Сергей Иванович хотел произнести речь по этому поводу. Ему казалось, что можно многое сказать об этой девушке. Но когда он открыл рот, то оказалось, что рассказывать не о чем: об урне как-то не выходило... Он старался вспомнить, что она еще сказала или

сделала такое, о чем можно было бы рассказать, но ничего такого не было.

И он досадливо поморщился:

— Что интересного... Да не в этом дело! Это новый человек! В ней все интересно!

И ярко подумал, что если бы у него был приятель — умный, серьезный и настоящий человек, он бы ему рассказал — он бы ему об урне рассказал, хорошо бы рассказал, подробно. Но этому рассказывать не стоит: не поймет.

В субботу он опять встретился с девушкой. Она опоздала, сказала, что думала совсем не прийти, ибо чувствует себя плохо.

— Отчего же вы пришли?

— Да как же, ведь я обещала вам.

И опять остолбенел Сергей Иванович...

Ну, как рассказывать об этом? Кому рассказать? Кто поймет?

Где эти люди, которые могли бы понять все эти мелочи, из которых складывается новая жизнь? Подумайте, она обещала и, потому что обещала,— пришла!

Еще три раза встретился с девушкой Сергей Иванович.

С каждым разом он все больше и больше восторгался ею.

Затем между ними произошло то интересное, что происходит, как писал еще Пушкин, между каждым мужчиной и каждой женщиной. Они сказали друг другу немногие и такие интересные для них слова, которые, пожалуй, стоило бы выписать, как мечтал тот же Пушкин, со всей полнотой и тщательностью, ибо это всегда интересно и писать и читать, но, увы, у нас нет сейчас для этого достаточно места...

И поэтому мы ограничимся сухим сообщением факта: Сергей Иванович женился на ней.

ХЛЕБ

Девятнадцатый год. Москва. Снимал комнату в большой квартире эмигрировавшего адвоката. В других комнатах тоже жили набежавшие с ордерами не-

известные люди. В одной — семья с маленькими детьми.

У него тоже были братишка и сестренка. Жили отдельно, но приходили к нему, к старшему брату, за хлебом.

Сам он носил в боковом кармане ломтик черного хлеба, завернутый в газетную бумагу, как записную книжку. Если не было другого, то отдавал этот ломтик.

И вдруг — неслыханная радость: в учреждении выдали сразу два с половиной пуда муки! Да еще какой! Белой!

Привез откуда-то ловкий завхоз. Быстро развесили, распределили — удивительно, как все это хорошо вышло, и вот, пожалуйста: получайте два с половиной пуда муки. В одном мешке.

Думать было нечего, надо было взваливать на плечи мешок и нести домой. Испытывал горячее, радостное нетерпение. Скорее бы обрадовать братишку, сестренку...

Кроме того, он даст, непременно даст муку соседям для их детишек... Обязательно даст. Какая будет радость!..

Но как, однако, нести муку? Осень. Слякоть. Жидкая грязь. Был бы снег, повез бы на салазках — это широко практиковалось тогда в Москве. Извозчиков нет, трамвая нет.

Что же делать? Оставить в учреждении? Опасно. Иди потом, доказывай.

Начинался темный осенний вечер. Ничего не поделаешь, надо нести муку домой.

Взвалил муку на плечи и пошел. Со Сретенки на Арбат.

Первые полкилометра шел, а дальше почувствовал, что не может.

Мешок ломал позвоночник. Так-таки прямо ломал. Вот сейчас треснет кость. Сворачивало шею.

Поставить на землю нельзя: белый мешок в жидкую грязь!

Скамеек нет. Шел не бульварами, а переулками, чтоб короче было. Что же делать?

Надо дальше, но нет сил.

Попробовал поставить мешок на одно плечо. Пуды нажали на голову, резко пригнуло голову к другому плечу... Сломает!.. Вот-вот сейчас свернет голову...

Передвинул мешок на левое плечо... Опять ломает кости, вот сейчас просто отвернет голову!..

Проклятая тяжесть!..

Бросить к чертям, пускай пропадает! Ну, испортится часть муки от грязи!

Или, может быть, на тумбу какую-нибудь поставить?

Тогда не поднять.

Какое, однако, счастье — больше полпути пройдено. Но надо дальше — тут думать нельзя.

Пот широкой струей лился со лба на глаза, на нос, попадал в рот. Никогда так не катился пот по его лицу...

Ноги гнулись. Непроизвольно гнулись. Часто глаза застилал неприятный горячий туман.

И все же принес муку домой! Принес!

И даже не свалил у двери, как мечтал в пути, а позвонил, ему открыли, он внес в свою комнату и бережно поставил муку на стол. Вот!

Потом, в полном изнеможении, упал на кровать и лежал в тягостном и сладком забытьи.

Прошло не меньше часа, прежде чем он отдышался и отдохнул. Потом, поднявшись, сам себе сказал: «Хлеб».

И повторил: «Хлеб!»

И совершенно по-иному на всю жизнь стало звучать для него это слово.

Теперь дома — в столовой или гостях — смотрит на белый, пышный, пахучий, свежий, чудесный хлеб, на обильные яства и часто вспоминает историю с тяжелым мешком.

ПАРИКМАХЕРША

При железнодорожной станции — маленькая парикмахерская. В ней работают трое: двое мужчин и девушка. Девушка давно уже квалифицированный мастер,

знает и хорошо выполняет все операции. Когда доходит очередь до посетителя, она ласково, без любезной улыбки и без «парикмахерской» вежливости, а просто и попростому вежливо просит его сесть. И вот новый посетитель сел. Она внимательно оглядывает его — незаметно, чтобы не смутить и не обратить взглядом его внимания. Новый человек, севший на ее стул, для нее не только новый объект для работы, а нечто большее. Ей интересно: что это за человек. Она любит свою работу. Для нее люди далеко не одинаковы, даже с точки зрения ремесла. Люди так непохожи друг на друга. У каждого так непохожи волосы, кожа, черты лица. Ей интересно это. Она любит человека, и ей интересно видеть все новые и новые человеческие свойства. Она спрашивает, что ему нужно. Моет руки. Приступает к работе. Она прикасается руками к его лицу. Она знает, что это более приятно посетителям, нежели грубые, твердые, равнодушные руки мужчин-парикмахеров. Она чувствует, что многие не прочь бы в этой профессии видеть большинство женщин. Иногда посетители ей говорят об этом. Она молчит. Но, как бы соревнуясь с мужчинами в заботливости и внимании к посетителю, еще более тщательно бреет, стрижет — очень осторожно, очень незаметно,— может быть, это идет помимо ее воли, обдает чем-то материнским — особенно когда моет голову. Она мгновенно ориентируется в сильных и слабых сторонах чужого лица — вот здесь ему может быть больно, вот здесь глубокая морщина. Она уже заражена этим самым лучшим из чувств людей: чутким пониманием бесконечного разнообразия всего живого... Надо только уметь видеть это, и всегда будет интересно. И ей интересно, кто этот человек, с которым она возится, откуда он приехал, куда идет? Но не спрашивает ни о чем — она прочно порвала со старыми парикмахерскими традициями — с ненужными расспросами и болтовней. Посетитель молча благодарен ей за внимание, за заботливость, за точность работы, за ласковое мерцание в глазах, за живую радость общения, которая может быть и должна быть во всех без исключения встречах людей. Наконец процедура окончена. Посетитель уходит, и среди многого нового, чем переполнена эпоха, в его памяти находит себе место и образ девушки-парикмахера.

ФОТОРЕПОРТЕР

Отправляясь на работу, он, старый, опытный фоторепортер, проверяет себя:

— Запасные кассеты взял? Взял. Магний взял? Взял.— И, похлопав себя по карманам, спрашивает сам себя: — А карандаш? Где карандаш? Есть карандаш? Есть. Ну, все в порядке.

Для чего же ему карандаш?

Для записей.

Примерно с 1934 года записи стали первостепенным делом.

Какие неприятности были у него недавно — редакцией не были приняты снимки — и очень хорошие — только потому, что не было точно написано на обороте, кто именно снят, имя, отчество, фамилия, профессия, где работает, какой момент изображен.

А ведь на снимке было много народу! Казалось бы, что за интерес всех перечислять?! Ведь были сняты самые обыкновенные люди — рядовые рабочие, колхозники, трамвайный вагоновожатый.

Другое дело, если на снимке дипломат, известный человек!

Заведующий редакцией удивленно посмотрел на старого фотографа (памятный взгляд) и пожал плечом.

Снимки не были приняты.

Товарищ помоложе объяснил старику:

— Теперь тысяча девятьсот тридцать четвертый год. Восемнадцатый год революции. Как ты сам не понимаешь! Теперь в нашей стране много известных людей. Все — известные люди. Кто трудится, тот известен...

И старый фотограф с 1934 года не выходит на работу без карандаша и пишет — старательно и точно — после каждой съемки:

«Рабочий такой-то фабрики, Иван Федорович Кузнецов, проверяет новый фрезерный станок».

«Марфа Николаевна Трибесова, счетовод завода «Динамо», покупает в магазине Москвошвея новое пальто».

«Студентки медвуза Санина Лида и Михайлова Нина на прогулке в Парке культуры и отдыха».

«Петя Шурнков, ученик 119-й школы. Беседует с преподавательницей, Зоей Ивановной Лебедевой, о новых учебниках».

Он пишет — старательно и точно — после каждой съемки и часто при этом думает, что действительно в нашей стране каждому человеку уделяется внимание.

Вот. Факт. Иначе и снимков не будет.

И, тщательно сделав надпись и проверив ее, он прячет карандаш.

ВАСЁХА

Зовут ее Васёха. Работает в зверосовхозе. Совхоз воспитывает лисиц, соболей, куниц, норок.

Васеха в самом дорогом секторе: соболей. Соболь подвижный, сильный, капризный и хищный зверек. Меньше кошки, но необычайно силен. Когда его лечат или исследуют, то держать его приходится двум людям, в то время как большую лисицу держит один. Подвижность его исключительна: он мечется по клетке безостановочно.

У Васехи круглое, милое, женственное лицо. С соболями она возится шесть лет. На ее лице отражается малейшее состояние ее питомцев. Если заболевает соболенок, по милому лицу ее катятся слезы. Она не может сдержать их.

— Во-первых,— говорит она, наивно выпячивая полные губы,— валюта, а во-вторых, жалко соболенка, ведь он же махонький, а у него кровь горлом идет...

Соболенок, несмотря на то, что он «махонький», бросается на людей. Васеха же входит в клетку, стоит в ней и голосом, замечательным по простодушию и нежности, зовет:

— Тридцатый, иди ко мне... иди же, маленький... ну, иди сюда... Ну иди сюда, тридцатый... не хочешь?.. Ну, не хочешь, я уйду тогда...

Но соболенок хочет. Перед такой настоящей теплотой и нежностью не может устоять и дикий зверек... Соболенок, известный под именем «тридцатый», который мчится по веткам поставленного в клетке деревца, по веткам, насквозь протертым его быстрыми, крепкими ногами, постепенно замедляет движение, приближается к Васехе, наклоняется над ее головой, свеши-

вает мордочку, обиюхивает ее золотистые волосы, осторожно ставит на иих лапку, потом другую и доверчиво соскакивает к ией иа широкое теплое плечо.

— Ну вот так... Сиди, сиди, тридцатый... Сиди, маленький...

— Прекрасиая работиица,— говорят про Васеху.— Любит свою работу, и вот как к ней звери отиосятся.

Много забот требует этот малеиький капризный зверек. И какой требует охраны! Бывает, что в далекий совхоз, расположениый в лесу, проникают и разбрасывают по клеткам отраву. Это делают иностранные коикуренты советского экспорта, классовые враги, вредители. Правда, им редко удается причинить вред, ио, когда Васеха думает о них, ее круглое милое лицо делается решительиым и твердым. Она опять обходит своих соболят, говорит с каждым, проверяет состояние каждого и уходит домой, чтобы с рассветом опять вернуться к ним. Оиа их любит, бережет, привыкла к ним и смущеиио прикрывает свою привязанность страииовато звучащим иа ее полных добрых губах словом «валюта».

ПЕТРОВ

В 1918 году он возглавлял большой партизаиский отряд и дрался с белыми. Был момеит, когда отряд, заняв город, освобождал из тюрьмы рабочих. Белые повели иаступлеиие. Он попал в плеи, а освобождеиые рабочие вместе с партизанами тут же отбили его. При этом было миого ярких, драматических положеиий, и среди иих такое, когда рабочие и партизаиы шли в атаку на белых, превосходящих их числом, с массовым криком:

— Отдай Петрова!

Спустя двеиадцать лет эти и другие эпизоды гражданской войиы послужили материалом для пьесы. Известный драматург иаписал пьесу, в которой был выведеи Петров и показаиа на сцеие атака с массовым требоваиием: «Отдай Петрова!»

Пьеса была поставлена.

Петрову было иеполиых сорок лет.

За двенадцать лет он изменился. Много разъезжал с женой, женился вторично, много работал, учился, выполнял сложные партийные поручения.

Когда ему сказали, что он выведен в пьесе, он спросил полуудивленно: «Ну? Надо будет сходить». В театр пошел с новой женой.

Посмотрел.

Сильно волновался.

На сцене был молодой Петров — борец, герой, революционер.

В жизни это было не совсем так. Но похожего было много.

Жена смотрела с интересом, но без особого восторга. Она любила другие пьесы.

Ему хотелось еще раз пойти в театр. Одному.

Пошел.

И еще раза два он приходил в театр, незаметно садился не ближе десятого ряда и молча смотрел иа себя, молодого, горячего, смелого.

Таков ли он сейчас?

В антракте, в фойе, он посмотрел на себя в зеркало.

Крепкий, приземистый человек, с бородкой.

Две девушки не сдержались и улыбнулись. Никому и в голову не могло прийти — отчего так разглядывал себя этот гражданин.

Наконец он отошел от зеркала.

Вид у него был бодрый.

О чем он думал?

Ои думал, что прошло много лет, много лет.

Ну, конечно, он изменился немного. Жизнь — серьезиая штука. С людьми трудно. И с мужчинами и с женщинами. Много еще осталось и лжи и эгоизма. Но ои верит в жизнь. Глубоко верит. Верит в будущее.

И он четко подумал, что если понадобится, он опять станет Петровым, которого изображали на сцене.

УГОЛЕК

Старушка работница. Могла бы жить на пенсии, ио не бросает фабрики и работает. Богатое революционное прошлое. Принимала участие в восстаниях, в за-

бастовках. Еще теперь сквозь морщины просвечивает задор, бодрость, аппетит к борьбе.

Пришла в бюро жалоб. Сидит в приемной, уверенная, скромная, властная. Дошла очередь до нее.

В чем дело? Зачем она пришла сюда? Дело в том, что она купила уголек для самовара, заплатила десять копеек, а уголек не горит. Купила в государственном магазине.

— Дело не в десяти копейках,— говорит она, полуулыбаясь и мужественно акцентируя каждое слово.— Не в том дело. Не может же быть, чтобы советская власть обманывала рабочего? Я всячески проверяла уголек, и сушила, и так зажигала, и этак зажигала,— не горит. Прошу, товарищи, исследовать. Уголек я принесла.

Работники бюро жалоб берут уголек, заворачивают его в бумагу и приобщают к делу.

Дело разбирается. Жалоба работницы путешествует по разным учреждениям. Несколько раз дело этими учреждениями прекращается. Чепуха. Десять копеек. Какой-то уголек. Некогда заниматься ерундой.

Но бюро жалоб возобновляет дело.

Идут разговаривать и живые люди — работники бюро жалоб. Один есть там — маленький с золотыми зубами,— от этого никак нельзя отвязаться. Он приходит в огромный угольный трест, богатый трест, им занят целиком новый дом, роскошно оборудованный — окна, какие, залы, столы! И люди серьезные, занятые.

Но работник бюро жалоб долго говорит об угольке, который стоит десять копеек и который не горит.

— Уголек,— говорит он,— принесла старушка работница. Марфа Ивановна такая-то. Так вот, извольте ответить, почему не горит уголек?

Его посылают на склад. Он идет на склад. Там он мобилизует рабочих и вместе с ними изучает уголь. Но на след плохого угля не могут напасть.

Нужно написать в другой город.

Через два месяца оказалось, что такого негодного угля было прислано несколько вагонов. Виновные были отданы под суд. Один получил шесть лет тюремного заключения за обман трудящихся.

Был показательный процесс. Марфа Ивановна выступила в качестве свидетельницы. Она говорила четко и властно, как и в первый день, когда она пришла в бюро жаловаться.

Она сказала:

— Не может быть, чтобы советская власть обманывала рабочих. Ясно, что это дело жуликов. Настоящий суд раскрыл это до корня и доказал.

Она уходит из суда, спокойная, гордая. Гордо поправляет косынку на голове — хозяйка Страны Советов.

ГЕРОЙ

Дипломатический курьер. Много лет ездил из Москвы в европейские города, возил почту.

Привычным жестом, перед отъездом, совал в задний карман заряженный револьвер, на предохранителе.

Он знал наизусть все остановки, свистки, гудки встречных поездов, лица начальников станций, кондукторов, многих пассажиров.

Знал все порядки, различал все шумы. Вот этот звук — это уключина под вагоном, а вот этот — хлопнули дверью.

Различал шаги в коридоре.

Легко взбирался на верхнюю полку и так же легко соскальзывал вниз.

Шли месяцы, годы. Иногда думал, что нападут на него. Иногда казалось — нет, ничего не будет. Ну кто нападет?

И вдруг в зимний полдень — так просто — открыли дверь купе несколько человек и начали стрелять — нелепо, странно — в окно, в потолок, в диван. Товарищ, тоже дипкурьер, сразу упал с верхней полки, упал на него и придавил к полу. Какая тяжесть! До чего же тяжелы мертвые!

И он стрелял из-под мертвого в одного бандита, в другого, в третьего. С трудом подполз к двери, выстрелил одному в живот, другому в грудь, третьему в убегающие ноги и, освободившись наконец от трупа, выстрелил еще одному в голову, которую тот в последнем отчаянье втянул в плечи и закрыл руками.

Но и его ранили — в ногу и руку. Он упал на лежащих в коридоре.

Диппочты не отдал — ни своей, ни товарища. Вполз обратно в купе и лег на чемоданы.

Имеет благодарность от правительства за стойкость и преданность революции. Имеет право на инвалидность, но не пользуется им.

Продолжает работать — на другой работе.

Ходит по улице — скромный, тихий. Чуть прихрамывает. Кому из прохожих придет в голову, что это герой?

ВСЕГДА ПРАВ

Он всегда прав. Это его специальность.

— Что? Новый проект? Расширение цеха? Постройка еще двух корпусов? Двух корпусов? Ну, знаете ли, это так легко не пройдет.

И он предсказывает: будут большие трудности. Очень большие. В частности, надо начинать не с достройки, а с постройки, и Дегтяреву это поручать нельзя, это надо поручить Синичкину. Правда, Синичкин приедет только через полгода, но лучше подождать полгода, чем...

Не послушались. Постановили сначала достроить, потом строить и поручить Дегтяреву.

И, разумеется, он прав. Прав! Дело оказалось чрезвычайно трудным. Много было препятствий. Совершенно верно. Дегтярев не совсем справился. Верно.

И вот видите — кто оказался прав? Разве он не предсказывал?

Он бодренько обходит всех членов правления и всем говорит:

— Вот видите, разве я не был прав, когда предск...

Но достройка готова, постройка тоже готова, трудности преодолены. Дегтярев в процессе работы научился многому и с помощью коллектива ведет дело к концу, а предсказателю говорят — иногда ласково, а иногда с раздражением:

— Да ну тебя к чертовой бабушке с твоей вечной правотой и твоими предсказаниями!

КРАСНЫЙ МЕШОЧЕК

У него большая квартира, хорошо обставленная. Много вещей, одежды, белья, книг. У него хорошее положение. Его уважают, ценят на работе. Работает он охотно. Есть много знакомых, товарищей, друзей. Он с ними и беседует и веселится. Жаловаться на жизнь ему никак не прнходится. В ее благополучии нет никакой пресности. Ему приходится бороться, ибо нет настоящей советской работы без борьбы с остатками старого — со всякого рода препятствиями, с косностью. Поэтому он и занят очень, и испытывает сладость борьбы, и горечь временных неудач, н счастье победы.

За отлично проведенную большую работу он получил орден. Он был рад, счастлив и вдруг вспомнил, что это — не первая его награда.

Первая была в 1919 году. Как часто она согревает его душу! Что же это было?

Это был маленький красный мешочек, который он хранит в своей большой квартире, среди большого колнчества вещей, одежды, мебели, книг,— в железном несгораемом ящике.

Этот мешочек он получил в 1919 году, в тяжелые месяцы борьбы с Деникнным. Полк отступал и наступал, переходил реки и опять возвращался,— казалось, этому не будет конца. Деникинцы топили пароходы, потери были велики. Он был ранен в плечо, но не выходил из строя. Условня были тяжелые: болезни, голод.

И вдруг на каком-то прнвале выдали красноармейцам по красному мешочку, в котором былн ниткн, нголка, алюминиевая кружка, пуговицы. Это называлось красным подарком. Он получил его, сидя на глинистом берегу быстрой рекн, в хмурый осенний день. И каким теплом сразу повеяло от этого подарка!

...Сейчас он взрослый, серьезный человек, хороший член партии. Он прекрасно понимает, что не следует противопоставлять прошлое настоящему. Все значительно и важно в революционной борьбе. Во всем есть красота, и в работе сегодняшнего дня столько же краснвого, интересного, романтического, как и в прошлой борьбе. Через ряд лет он зацветет легендами, много легенд рождается уже н сейчас, но красный мешочек

греет его необычайным теплом всякий раз, когда он вспомииает о нем. Ои рад, что этот мешочек сейчас живет, лежит в его большой квартире, что можио в любое время посмотреть иа иего, взять в руки и удивляться, как способеи малеиький скромный подарок — благодарность за великую борьбу — сохраиить тепло иа столь многие годы.

И свой ордеи, когда ои ие иосит его, ои хранит обязательно в красиом мешочке, в том самом красиом мешочке, который лежит в железном иесгораемом ящике.

СЛУЧАЙ ПО СЛУЖБЕ

Ночью начальиика большой узловой стаиции вызвали к телефону: иемедленно приехать в Москву. Вызывают по делу.

Обомлел. Застучало сердце.

Вот так приходит иесчастье. Сразу. Неожиданио. Несколько минут тому иазад ои лежал в постели — благополучный. А теперь — конечно. Начинается что-то другое. По пустякам в Москву в иаркомат не вызовут. Да и какие пустяки: авария в прошлом месяце. Правда, без жертв и без больших потерь, ио все-таки авария. Затем — за тот же злосчастиый месяц — иесколько заметиых опоздаиий...

Ничего не поделаешь, иадо ехать.

Быстро оделся и с первым поездом поехал в Москву.

В одиниадцать часов дия был в иаркомате.

Еще через полчаса был приият. Разговор решительный: так работать иельзя. Безобразие. Надо раз и навсегда прекратить аварии, хотя бы самые иезначительные, опоздаиия, иеполадки, плохой расчет и расхлябанность.

Не возражал. Что тут возражать.

Бледный, он выслушивал упреки и вглядывался в материалы, которые ему были показаны и из которых было отличио видно, что руководил ои работой до этого дня действительио ие очеиь хорошо, хотя и очень страдал.

Это, правда, было тоже отмечеио.

Наконец вышел.

В секретариате его поджидал технический работник отдела.

— Вы такой-то?

— Да.

— Примите пакет. На три дня.

— ...Что на три дня? Какие три дня?.. Что в пакете?

Развернул, посмотрел: на три дня ему предложено остаться в Москве, приложен ордер в гостиницу на комнату, прикреплен к нему в личное распоряжение автомобиль и предложены билеты в разные театры и на выставки...

Что такое?!.

В чем дело?!.

В краткой записке сказано: отдохнуть в Москве три дня и — домой на работу со свежими силами...

...Никогда в жизни он не испытывал такого волнения, такого подъема, такой глубокой взволнованности...

Хотел уехать из Москвы сейчас же, но как не воспользоваться таким вниманием?!

Через час он сидел в номере гостиницы и писал деловые письма, телеграммы, приказы.

Сам отнес их на почту и телеграф.

Ночью, после театра, ждал ответов, дежурил на телеграфе, на рассвете опять шел на телеграф, отправлял телеграммы, днем — опять, но бывал и в театрах и на выставках, разыскивал на машине старых товарищей, несся по сияющей, прекрасной, строящейся Москве и к концу третьего дня, усталый и счастливый, уехал домой — работать, работать, работать!

Совершенно по-новому, совершенно по-новому, абсолютно по-новому!

Был август 1935 года, восемнадцатый год революции.

ЗНАМЯ

Был вывесочником. В девятнадцатом году — безработным. Правда, можно было писать лозунги на полотнах, но у него были сбережения, что-то не работалось,

он ходил по Москве, голодный и грязный, и вглядывался в улицы, дома. Происходило что-то величественное. «Да, это без шуток,— думал он.— По-настоящему переделывается жизнь». И он скорбел, что не принимает в этом участия. Почему? Он не так стар, ему только тридцать пять лет, он рабочий и по происхождению и по труду, он всей душой за коммунизм. Он изо дня в день ожесточенно спорил с братом, который был против революции, который клеветал на нее, который произносил остервенелые речи, вычитанные из буржуазных газет. Нет, нет. Москва была величественна. Стоило жить — ради того, что делалось в Москве и по всей стране. Заложив руки за спину — по старой манере ремесленника, гуляющей в выходной день,— он смотрел на устаревшие, еще не всюду снятые глупые вывески купцов с ятями и твердыми знаками. Как-то заинтересовал его красный флаг над зданием Моссовета. Флаг особенно красиво и гордо трепетал под ветром. Он был, этот флаг, не короткий и не длинный, какой-то очень удачный по размеру. Древко тоже было очень хорошо поставлено. Полотнище пропорционально высоко, как-то удачно было поднято, а нижняя часть полотнища удачно освещалась солнцем. Что-то очень привлекательное было в этом, и вывесочник молниеносно подумал:

«А что, если прикрепить фонарь внизу полотнища у древка, фонарь с батарейкой, и тогда красный флаг будет виден и ночью? Ведь это же будет замечательно: на темном небе будет трепетать огненный красный флаг?!»

Он испытывал острое, сладкое чувство творца. Это надо осуществить. Это надо предложить. Это так просто и осуществимо. Французская революция не догадалась так сделать. Вряд ли ее флаги пылали и в ночном небе! Он написал большое заявление в Моссовет, но вышла неудача: заявление было мутно написано, слишком цветисто, с какими-то примерами, сразу трудно было понять, в чем дело. Работник Моссовета пожал плечом и вернул заявление автору, странному человеку, давно не бритому, в диком пальто и желтой шляпе. Но это только подняло энергию у созерцательного вывесочника. Он обиделся, написал новое заявление, размножил его и стал энергично ходить по учреждениям. Он приходил к занятым людям, добивался

приема и со страстью говорил о красном флаге, который ночью должен быть освещен снизу фонарем. Он встречал в глазах слушавших его улыбки. Он натыкался на недоуменные взгляды. Часто ему просто предлагали уйти, ссылаясь на занятость. Но он не бросал своей затеи. Он приходил вновь и вновь, настаивал и в конце концов добился. По его ли настояниям или, может быть, еще кто-нибудь додумался до этого, но красный флаг Великой Пролетарской революции великолепно освещен снизу невидимым фонарем и одинаково гордо пылает днем, на светлом фоне высокого неба, и ночью — никакая тьма не может потушить его красного огня.

ИВАН СОКОЛОВ-МИКИТОВ

ПЫЛЬ

I

Попутчики нагнали Алмазова во ржах на выгоне, уходящем вниз, к реке. Над обожженной солнцем дорогою, над широким полем, над деревенскими крышами, горевшими под солнцем, сизая проносилась пыль. Теплый ветер проходил по нивам, как по морю, и гнал по хлебам зеленые волны. Во ржах по межам вперебивку, захлебываясь, били перепела. Синими звездами качались васильки.

Попутчиков было двое, шли они обочиной накатанной дороги, ступая по теплой пыли и бодро потряхивая портками на босых, залубенелых от навоза и солнца ногах. За их спинами висели стянутые лыком плетеные кошели и пыльные онучи. Поравнявшись с Алмазовым, они убавили шагу, поздоровались, и чернобородый, похожий на цыгана мужик, внимательно всмотревшись черными веселыми глазками, сказал:

— Далеко, товарищ, идешь?

Алмазов назвал село.

— И мы туда,— весело ответил мужик.— А ты не барин ли будешь какушинский? Гляжу я на тебе, будто видались, а где — не упомню.

— Я сын Антон Петровича — может, знали? — сказал Алмазов.

— Как не знать, как не знать,— подхватил другой, невеликий ростом, седоватый, в старом выгоревшем картузе, напяленном на сухие старческие уши.— Очень даже помним Антон Петровича. А я у вашего папень-

ки частенько бывал, на работу хаживал. Как не знать... Что ж, теперь родные места проведать идешь?

— Хочу поглядеть,— ответил Алмазов.

— Погляди, погляди,— сказал мужик,— только смотреть-то, брат, не на что, всё гнездышко по сучкам разволокли, пожалуй, и не признаешь.

Пошли рядом: бывший барин и мужики. Черный шел споро, босыми ногами, поднимая пыль, подхватываемую ветром. Старик все забегал вперед и перекатывал плечи, оттянутые кошелем.

— А я гляжу, гляжу,— с удовольствием говорил он, заглядывая в лицо Алмазова,— по походке алмазовский, а личность вроде не тая. Я тебе еще во-от каким знавал, на своей ладони тебе носил, и был ты чуть поболе воробья. О ту пору мы к твоему папеньке приходили канавы рыть на лугах, а ты, бывалча, все в речке сидишь под мельницей, порточки засучимши. Бывало, идем мимо, а ты из речки решетом трясешь: гляди, мол, вот она, рыба!

Мужики засмеялись.

— А теперь ты, братец, совсем скис, нипочем тебе не признать... Как живешь-то? — продолжал мужик.

— Живу,— ответил Алмазов.

Мужики переглянулись: так не соответствовала вся видимость барина этому слову — был он худ, длинен, измят. Городская обтрепанная одежонка висела на нем, как на голом колу, соломенная шляпа съехала на затылок, обнажив немужицкое, нездорово загоревшее лицо с детским ртом и испуганными глазами. На шляпе, на длинных ресницах, на небритой русой бороде густым налетом лежала серая пыль.

— Так, так,— сказал черный,— вот оно какая дело. Не чаял, небось, пешечком пыль-то клубить?

Шли полями по скату. Внизу лентой свивалась река. За рекой полого поднимался противоположный скат, и было видно, как по нему, по хлебам, ходили такие же волны, точно невидимая рука гладила зеленый бархат. Над полями, над рекой, над зелеными волнами высоко в небе висели пуховые белые облака, казалось, неподвижно. В том, как зеленели вокруг хлеба и высоко в небе стоял над полями ястреб канюк, была такая полная, вечная тишина, что Алмазову стало казаться, что ничего не изменялось. По-прежнему по канаве душно цвела медуница, а внизу, над ручьем,

горела куриная слепота. А на том берегу, за деревней, где раньше лежала алмазовская усадьба, сквозили мужичьи поля и бесконечно ходили зеленые волны.

— Запахали землицу,— догадываясь о мыслях Алмазова, сказал черный мужик.

— Тебе-то, небось, жалко,— с сочувствием спросил старик,— от сладкого к горькому привыкать? Эх,— вздохнул он, не то жалея, не то радуясь, так-то всякому человеку своя черта. Твой папенька, бывало, катит со станции — пыль столбом, а ты вот не хуже нашенского пятки бьешь.

Деревня, в которую входили мужики, по видимости ничем не разнилась от той, что с детства запомнил Алмазов. По-прежнему солнце освещало неширокую улицу, покрытую подсохшей, крепко убитой грязью. Два ряда изб уныло глядели маленькими окнами друг на дружку. По-прежнему, осевши на все четыре угла, доживала свой век хатенка беспутного деревенского пастуха и бобыля Ореха, горького пьяницы. Нового было в деревне — белевшие свежим деревом дома-пятистенки, ладно крытые под щепу, с пустыми окнами и ненавешенными дверями.

— Заходи, заходи,— весело сказал Алмазову черный мужик, останавливаясь у новой избы,— заходи, гостем будешь.

Алмазов вошел в сени, пахнувшие струганым деревом и дегтем, и прошел за хозяином через нежилую половину, где на дубовых спицах висела смазанная дегтем сбруя. В избе было жарко и светло, гудели над столом мухи. На печи, спустив тощие ноги, сидела старуха — одна в избе — и большим кленовым гребнем вычесывала голову. Войдя в избу, мужик скинул кошелку и бросил в угол.

— Чей такой? — спросила старуха, вглядываясь в Алмазова.

Не спеша мужик снял шапку и повесил над дверью, не спеша ответил:

— Гостя привел — Антон Петровича сынок.

— Ух и худущ,— сказала старуха, старчески зоркими глазами разглядывая гостя.— Аль голодом сидел?

— А ты не чеши язык! — строго сказал черный.

Он снял с полки большой позеленелый самовар, пе-

ревернул над лоханкою, вытряс золу и, стоя с пучком полыхающей лучины в руках, сбочив голову, говорил:

— Теперь время рабочая — межень, всеё семейство в лугах, одна старуха дома. А мы вот который день понапрасну лапти бьем — все насчет землицы. Вашей землицы,— добавил он.— Ты уж не гневайся. Землица-то тебе все едино теперь не нужна.

Алмазов кивнул утвердительно.

Все в черном мужике было ладно пригнано, крепко, как в хорошо срубленной избе. И делал он свое дело споро, ладно и весело, точно играя. Лад и хозяйская крепость примечались во всем: лес на избе был ровный, прямой, щитно пригнанный, подоконники дубовые, толстые, стол новый, прочный, печь, занимавшая пол-избы,— велика и плечиста. Даже закипавший перед печью самовар был коренаст, устойчив и так же черен.

Алмазов сидел у окна на скамейке. Мягкие его белокурые волосы были мокры и примяты, лицо бледно. Он с любопытством поглядывал на черного мужика, возившегося около самовара, и барабанил по столу тонкими пальцами. За его спиной на новой, еще не давшей трещин стене с выступившими слезинками смолы висели старинные фотографии без рамок: господа в широких светлых брюках, со взбитыми густыми прическами — может статься, предки Алмазова, извлеченные из господского альбома и вывешенные на мужицкую стену для утехи.

— Ты мене-то, небось, не помнишь? — продолжал хозяин, сдувая с поспевшего самовара пыль.— А я тебе хорошо помню. Киндея Гаврилова, может, слыхал?

— Кажется, помню,— ответил Алмазов.— Печник?

— Во-во-во,— радостно заговорил мужик.— Отец мой. У вас в хлигелю клал печи. А я его сын — Лексей. Тогда и я хаживал к вам. Ты-то был во-от такой.

— Много воды утекло,— сказал Алмазов.

— Воды, брат, утекло много,— подхватил хозяин, садясь за стол и подставляя под кран чашку.— Время было — упаси бог,— всего перепробовали, теперя вспомянуть тошно. Нынче мало-мальски опять на своем, подошли к обзаведению. И хлебушка есть.

— Семья-то у вас велика? — спросил Алмазов.

— Семья? Семья, брат, сам-пят. Да вот дочку отдаю, тебе будет на свадьбе гулять.

Вместо чая пили пряный малиновый лист. На лбу у мужика крупно выступил пот, глаза подобрели. Он утирался концом полотенца и наливал в маленькую чашку, терявшуюся в его большой смуглой руке. На стол косяком падало из окна солнце, и по белому потолку от чашки бегал и трепетал зайчик.

Алмазов выглянул в окно. По улице, освещенной солнцем, ходили куры, ветер трепал длинное черное перо в петушьем хвосте. С лугов возвращались люди с граблями на плечах, с блестевшими на солнце полосами кос. От пестрой кучки баб, проходивших по улице, отделилась девка в малиновом сарафане, побежала к избе.

— Наши идут,— сказал Лексей, заглядывая в окно.

Из сенец вошла девка в белом платке, спустившемся на голую загорелую шею. Увидав гостя, она остановилась, вытерла широким рукавом лицо и улыбнулась. И по улыбке Алмазов признал в ней бойкую девочку, когда-то приносившую к ним в дом в лубяном лукошке, повязанном красным головным платком, пахучую лесную малину. И девка узнала Алмазова, покраснела, поправила платок и подала горячую и жесткую руку.

— Узнали? — спросила смело.

— Узнал, узнал,— поспешно ответил Алмазов.— Все такая же.

— Ну, где такая,— бойко ответила девка.— Теперь в старухах хожу.

По тому, как смело и прямо глядела девка, как уверенно и весело блестели ее карие глаза, Алмазов понял, что она была молода и счастлива.

Под вечер он пошел за деревню, вниз к реке. Вся деревня уже знала о приезде барина, на него глядели как на чудо, и загорелые лица следили за ним в открытые окна.

Выйдя за деревню, он свернул с дороги и пошел межою к реке. Солнце опускалось над лесом. Подойдя к речке, он разулся и перешел вброд по голым и холодным камням, и вода журчала вокруг его ног. И Алмазов припомнил, как в детстве лазил по этим же камням и вместе с деревенскими ребятами ловил под берегом раков.

Перейдя реку, Алмазов обулся и по обрыву поднялся к усадьбе. Парк наполовину был вырублен. Грачи гомозились на немногих оставшихся деревьях. Над спущенным прудом, заросшим травою, лежали дубовые разбитые вершины, еще не сбросившие сухих, звеневших по ветру листьев. Вокруг пруда и по парку дико разрослась сирень. Там, где стоял алмазовский высокий с колоннами дом, окнами на церковь, чернела куча обгорелых обломков, затянутая бурьяном, и вокруг колосился ячмень, буйный, зеленый, местами полегший от тучности. В парке по траве рассыпались одуванчики, и под уцелевшими липами ковром цвела иван-да-марья. Пахло нагретой землей и медом. Старая яблоня наклонилась ветвями до самой земли.

Алмазов пошел к церкви, мертво сквозившей за деревьями. В ограде было пустынно, зеленела густая трава, и со свистом падали над белой колокольней стрижи. Одно окно за витой решеткой заблестело нестерпимо ярко. Алмазов прошел мимо знакомой паперти с большими, выкрашенными в зеленую краску дверями и, шурша высокою травою, завернул за алтарь, к фамильному склепу дворян Алмазовых. На него по-прежнему взглянул мраморный неподвижный ангел с раскрытой книгой у сердца. На месте мраморной доски с алмазовскими именами в сером камне темнели четыре дыры от болтов. Алмазов присел на памятник, снял шляпу, задумался. Под ногами его пробежала по камню полевая мышь и скрылась в траве. Холодно краснела на последнем солнце колокольня и погасала быстро. И тотчас же внизу, на пенькомочище, громко закричали лягушки. Опять на минуту Алмазову показалось, что он босоногий восьмилетний мальчик, забежавший после игры в ограду.

Когда зашло солнце и улеглась на дорогах пыль, а над лесом, над полями опустилась широкая, теплая, как дыхание человека, вечерняя тишина, Алмазов вернулся в деревню. У околицы его повстречали ребята, приодевшиеся в городские короткие пиджачки, и поздоровались дружелюбно.

Он пошел улицей на голоса.

Посредине деревни, на взгорке, где скатывалась к реке дорога, толкалась приодевшаяся молодежь. Алмазов подошел поближе. Увидев сидевших на бревнах под амбарушкой мужиков, он завернул к ним и поздо-

ровался. Ближние ответили ему, коснувшись фуражек, другие, внимательно разглядывая, промолчали. Чувствуя неловкость, Алмазов присел рядом с невысоким плотным мужиком, державшим в коленях маленькую девочку с добела выгоревшими, заплетенными в косичку волосами. Девочка, не моргая, уставилась на незнакомого человека своими большими и ясными глазами.

По улице в сумерках стенкой прохаживались ребята. Средний — в закинутом на затылок приплюснутом картузе и ситцевой косоворотке — нес на ремне гармонь и бойко перебирал по ладам. На губе его белел потухший окурок. В ногу с гармонистом шагал длинноносый парень в косматой овчинной шапке и, скаля белые зубы, надсадно запевал под гармонь страданье:

Черным черно мое сердце,
Черней черного чела...

И стенка подхватывала враз:

Не видал свою зазнобу
Ни сегодня, ни вчера.

Ребята прошлись раз и два по деревне, из конца в конец, никакого внимания не обращая на сидевших под амбарушкой мужиков и на сбившихся у колодца по-праздничному разодетых девок и баб. За ребятами, ходившими по деревне с гармонистом, клубками катились босые ребятишки и звонко подсвистывали в два пальца. Пронзительная песня то притихала, когда парни удалялись в конец деревни, то опять звучала так, что у Алмазова начинало звенеть в ушах. Пройдя в третий раз, стенка остановилась против колодца, и гармонист, вытирая со лба пот, присел на комяжку. Скинув с плеча широкий ремень, он заиграл частенькую, и девки окружили его плотным, пахнущим кумачом и зноем кольцом.

Носатый парень в овчинной шапке лихо стукнул сапогом о дорогу и, перебирая плечами, подкатился к девкам и выбрал одну — широкоплечую, ладную, в домотканой тяжелой безрукавке, с выпущенными вышитыми рукавами. Девка пошла с ним, коротко повертываясь, пристукивая каблуками и раздувая подол голубого сарафана. Загорелое лицо ее под белым платочком было каменно сурово, губы тверды и сухи. Поль-

ку танцевали до поту, топчась на одном месте, плотно стиснутые жарким человеческим кругом.

Алмазов подошел к пестрому кружку девок и баб. Он через головы видел подпрыгивающие в лад с гармоникой цветные бабьи платки и мотающуюся косматую шапку носатого парня. Гармонь заиграла теперь совсем тихо, чуть пиликая, задушенная кольцом зрителей. Под ногами Алмазова лазали и толкались ребятишки, заглядывали ему в лицо чужими и зоркими, как у зверьков, глазами.

Кто-то легонько толкнул его под локоть. Обернувшись, он увидел маленькое, заросшее рыжей бородою лицо и темный, хмельной, подмигивающий ему глаз.

— Ну как, барин, весело? Гуляет народ.

Алмазов внимательно посмотрел на невысокого мужика и узнал в нем Халамея, в прежние времена частенько приходившего на алмазовский двор просить у Антона Петровича на водку. Памятен Алмазову был Халамей тем, что когда-то посадил его Антон Петрович за поджог сенного сарая, и после тюрьмы Халамей пьяный приходил на усадьбу — его почему-то не трогали собаки,— бросал на дорогу шапчонку и, затоптав ее в пыль, плакал и жаловался так громко, что в парке ему откликалось эхо. Дети не боялись его и, сбившись вместе, смотрели на него широко раскрытыми, полными внимания глазами.

Теперь Халамей почти не изменился, только посерела у висков бороденка, и глубже ушли темные глазки да виднее просвечивала в них прикрытая боль.

II

Ночевал Алмазов в сене, под сквозной крышей, в которую всю ночь светил месяц. Сено еще не остыло от полевого зноя, и где-то около головы Алмазова всю ночь пел и ползал кузнечик. Спал он чутко, чувствуя на лице дыхание сквозняка и холодный свет месяца.

С ним спал младший сын Лексея, мертво, не шевелясь и неслышно дыша.

Поутру Алмазов ушел за деревню. Он прошел огородами через пахучую высокую коноплю, с которой падала каплями ночная роса, обошел деревню, звучавшую петухами, и спустился в луга. Он шел берегом, сбивая с ольховых кустов холодные капли, и за ним, на седой от росы высокой траве, оставался видный след.

Над тихой водою, над зелеными лопухами кувшинок курился парок. Дикая утка, подняв сноп брызг, вырвалась из-под его ног. Изо всех сил кричали в зеленой осоке коростели. Он шел в луга, на солнце, поднимавшееся над туманом. Покудова хватал глаз, на зеленом просторе белыми точками двигались люди. Изредка ослепительно вспыхивала на солнце коса и погасала.

Алмазов пошел к двум ближайшим косцам, бойко махавшим новыми белыми косовищами. Было слышно, как бодро жигают по густой, тяжелой траве косы и стучит брус в подвязанной к коленке бруснице. Пожилой широкий мужик с плотной курчавой бородой, в холщовой рубахе, уже пропотевшей на лопатках, босой, в полинялых, вымоченных росою по колено портках, ходко гнал широкий прокос. За ним шел молодой парень без шапки, в рубахе распояской, с жестяной брусницей, привязанной лыком к ноге. Вокруг обкошенных кустов лежали густые, пахучие и мокрые валы. На голой кочке у вросшего в землю черного камня валялся плетеный кошель и стоял глиняный кувшин, заткнутый зеленым лопухом.

Завидев Алмазова, мужик остановился и отставил косу.

— Бог помочь,— сказал, подходя, Алмазов.

Мужик взглянул на него серыми прищуренными глазами и весело ответил:

— Спасибо. Подходи к нам закуривать.

Он присел на корточки, достал из лежавшего под кустом пиджака кисет, вынул бумажку.

— Утро сегодня,— сказал он, сидя на корточках, с прилипшей к губе бумажкой, и кроша на ладонь табак,— благодать. Не слыхать, как коса режет.

Алмазов присел на сырую кочку и взял у мужика бумажку.

— Надолго к нам? — спросил мужик.

— Нет,— ответил Алмазов,— не пробуду долго.

— Поглядеть пришел?

— Хочу поглядеть,— сказал Алмазов.

— Так,— ответил мужик, свертывая цигарку и садясь,— глядеть-то не на что стало. Вот — ваши лужки косим.

Парень в рубахе распояской, звонко и быстро шаркая, наточил косу, засунул в брусницу брусок и продолжал обкашивать густой, сивый от росы куст. До-

бив прокос, он положил на плечо мокрую косу и, шагая через валы, подошел к старику. На молодом, безусом лице его по кирпичному загару золотился сухой пушок. В его глазах, как и у старика, светился веселый задор работы, а на лбу, под спустившимися густыми темными волосами, мелкими капельками блестел пот.

Он положил косу на землю и присел на скошенную траву. Старик перебросил ему кисет.

— Жених,— подмигнул он Алмазову.— Завтрева свадьба, а он у меня лямку трет.

Парень застенчиво улыбнулся.

— Теперь время рабочая,— говорил старик,— раз, два, и готово. Пироги не простынут — валяй сено возить.

Не спеша докурив, он напился из кувшина, дергаясь кадыком на серой морщинистой шее, крякнул, заткнул горлышко смятым лопухом, смахнул большой рукой капельки с бороды и усмехнулся.

— Не хошь ли с нами помаяться? — шутя сказал Алмазову.— Запасная коса есть.

— А что ж,— ответил Алмазов,— я бы не прочь.

— Бери, попробуй.

Парень, улыбаясь, достал из куста косу и подал Алмазову.

— Постой, я тебе наточу,— сказал старик и, взяв горсть зеленой мокрой травы, вытер косу, упер косовище в землю и звонко зашаркал по тонкому лезвию коротким отбитым бруском.

— На, получай,— как бритва.

Алмазов неловко взял косу, попробовал замахнуться, и коса воткнулась в землю.

Мужики засмеялись.

— Это, брат, тебе не книжки читать,— сказал старик.

Понемногу Алмазов размахался. Прокос выходил неровный, коса срывалась, но ему не хотелось отступаться. Старик отвел его вниз к реке, в осоку, и сказал:

— Пяткой, пяткой нажимай. Тут тебе самая косьба.

Осока резалась легко. Оставшись один, Алмазов прошел ряд до реки и посмотрел вверх, где догоняли его старик и молодой. Поднявшееся солнце уже подсушило росу. Под ногами Алмазова выступала и хлю-

пала вода, зыбился луг. Солнце освещало дно реки, заросшее длинными, склоненными течением водорослями, и Алмазов видел, как между водорослями по песчаному дну перебегают юркие пескари. Появились маленькие мушки и надоедливо лезли в глаза. Стало припекать.

— Подрядье-то,— весело сказал старик, прогнав длинный прокос и подходя к Алмазову,— за это нашего брата, бывало, по шапке.

Алмазов вытер со лба пот и улыбнулся.

Ему было легко. Поднявшийся полуденный ветер обвевал его голову, руки понемногу привыкли к косе. Было приятно, что высокая, жестко шелестящая осока ровно и легко ложится под косой.

Пройдя шестой ряд, старик обмыл в реке косу и сказал:

— Ну, барин, довольно. Теперь бабы придут ворошить. Пойдем свадьбу гулять.

Алмазов отдал косу и остался тут же. Он лег на спину, на свежескошенную траву, в тень, и стал глядеть в небо, по которому, словно бараны по полю, рассыпались мелкие облачка.

Весь день он проходил по лугам, заходил в лес, где на лицо липко садилась паутина и на березах пересвистывались невидимые иволги, заходил в поля и подолгу смотрел на зеленые волны хлебов.

Вечером ему повстречались спешившие с хуторов на свадьбу ребята, и он пошел с ними.

В деревне около Лексеевой новой избы толклись и визжали ребятишки, заглядывали в окна.

Алмазов вошел в избу, тесно набитую народом. В передней половине, покрытые суровыми скатертями, во всю стену стояли сдвинутые столы, и в красном углу, воткнутая в ковригу, убранная цветными бумажками, стояла сосна. За столом тесно сидели девки, раскрасневшиеся, с блестящими глазами. В самом углу, за сосной, через головы баб и ребят, стоявших округ стола, Алмазов разглядел невесту. Лицо ее было заплакано, платок низко спущен на лоб, но под платком глаза глядели весело и бойко.

Когда входил Алмазов, девки молчали, перешептывались и кусали подсолнушки. У стола посредине хаты стоял сам Лексей в черной жилетке поверх вышитой рубахи. Черная борода его блестела как вороново

крыло, щеки пылали. Он казался шире и выше всех. Завидев Алмазова, он улыбнулся, сожмурил хмельные глаза и поманил пальцем.

— Пожалуй с нами свадьбу гулять, Сергей Антоныч! — крикнул он через головы.

Выждав время, девки запели свадебную. Одна — белозубая — начинала, и другие подхватывали звонкими голосами. Песня была грустная, прощальная, свековавшая века, и Алмазов приметил, как невеста, наклонив голову, тихонько вытерла концом платка слезы.

Девки пели не спеша, берегли себя: впереди, до приезда сватов, была целая ночь. В перерывах они шептались и исподлобья поглядывали на гостей, толпившихся округ стола. В холодной половине баловались ребятишки, и Лексей подходил к дверям, кричал на них:

— Кыш, жигуны, вот я вам!

В избе было жарко, девки утирали губы платками и потели. Алмазов долго стоял у двери, стиснутый людьми, чувствовал, как в дверь просачивается с улицы свежий воздух.

— К жениху пройдите,— сказал ему стоявший возле него черный парень.

— А где жених? — спросил Алмазов.

— Я доведу,— с готовностью ответил парень,— ступайте за мной.

Алмазов вышел за парнем, и они пошли улицей, ступая по крепко убитой дороге. С речки тянуло холодком, зажигались на небе первые звезды.

— Теперя на целую ночь заведут,— говорил парень,— вам-то наше дело, конечно, неизвестно.

— Как на целую ночь?— спросил Алмазов.

— А так: теперя у жениха и невесты гуляют, а к рассвету приедут к невесте сваты — опять гулять.

Подошли к другой освещенной избе. Алмазов увидел в окно косматые затылки мужиков, сидевших за столом, и красные платки баб. Звонкие бабьи голоса пели бойкую плясовую.

У жениха было так же тесно. За столом сидели мужики и бабы и не спеша ели. Отец жениха — веселый старик, с которым Алмазов утром косил на речке,— по очереди наливал гостям из четверти и каждого уговаривал выпить. Мужики пили молча и, закусив холодцом, клали ложки спинками кверху, бабы морщились

и утирались платочками. Жених сидел за столом в черной сатинетовой рубашке с вышитым на груди кармашком и неподвижно, как на фотографии, смотрел перед собою.

У стола перед сватами, сидевшими в головах, толклись бойкие бабы с хмельными и потными лицами и почти без перерыва, с вывизгом и притопыванием, веселыми песнями обыгрывали жениха. Две молодые бабы, без платков, в малиновых повойниках на гладко зачесанных волосах, хмельно блестя глазами и показывая белые, как чеснок, зубы, вертели над головами белыми платочками и бойко отплясывали. Песня была задорная, аховая:

Без тебя, мой друг, постелька холодна,
Одеяльце заиндевело...

Алмазов чувствовал жаркое дыхание баб, певших песню, глаза их, горевшие задором и весельем, обжигали его, под ногами ходуном ходили шаткие половицы.

Его посадили за стол рядом с мужиками, молчаливо глядевшими на веселых баб. Хозяин налил в стакан и поднес ему.

— Ты выпей небось,— сказал ему сидевший обочь мужик,— от этого не сохнут.

Алмазов выпил полный стакан мутной, пахнущей хлебом самогонки и поморщился.

— Наша горькая,— подмигнул хозяин, глядя ему в рот.

— Да ты ешь, ешь,— уговаривал его мужик,— закусывай.

Алмазов закусил густым холодцом и почувствовал, как самогонка ударила в голову, захотелось смеяться. Он улыбнулся, вздохнул и поглядел на сидевших с ним мужиков. Ему было приятно оттого, что по телу разливается тепло и легкой стала голова.

— Весело у вас,— сказал он мужику.

— У нас, брат, весело,— ответил мужик, подмаргивая веселым глазом.

III

Вышел Алмазов из избы на крыльцо, когда над деревней, над полями лежала теплая ночь и месяц светил на порожнюю улицу. Над рекою, за старой алма-

зовской усадьбой, расплывалось по небу дальнее зарсво. Над головой Алмазова пискнула и неслышно пала в ночь летучая мышь.

К нему подошел мужик в белой рубахе и, пошатываясь, сказал:

— Гуляешь, Сергей Антоныч?

— Гуляю,— ответил Алмазов.

Мужик стоял перед ним и улыбался в темноте.

— Аль не узнаешь?

— Ванька? — спросил Алмазов, признав в мужике своего приятеля по детству, сына алмазовского лесника Семена.

— Признал, признал,— ответил мужик.

— Был Ванька, а стал Иван Семеныч,— насмешливо вставил из сеней чей-то голос.

— Сергей Антоныч,— сказал Ванька, трогая Алмазова за локоть,— пожалуйста, на пару слов.

Алмазов сошел с крыльца. Ванька показал на отдувавшийся карман и сказал тихо, наклоняясь к уху:

— Прошу тебе, сделай милость, зайди.

Они пошли на край деревни, к Ванькиной хате. Доро́гой Ванька покряхтывал, шел впереди и молчал. У своей избы он остановился и пропустил Алмазова в темные сени.

В избе тускло горела лампочка под засиженным мухами пузырем. У окна на скамейке сидел, положа руки на колени, лысый тощий старик и пьяно моргал маленькими глазками. Алмазов узнал в нем старого Ореха, ходившего в пастухах за алмазовским стадом.

Изба была просторная, разделенная стеной на две части, с двумя нескладными печами. Строил ее Ванькин батька, лесник Семен из вольного лесу, но, видно, у Семена, занимавшегося больше охотою, не хватило терпенья, и вышла изба неладная, с непомерно низкими потолками, с маленькими оконцами, которые можно было прикрыть шапкою. В избе было тесно и сорно, где попало валялась посуда, а из лоханки у порога текло. Потолок и стены были иссиза-черны, и по ним, шустро поблескивая, перебегали прусаки. В углу на божнице, украшенной резаной газетной бумагой, темнели иконы, дочерна засиженные мухами.

— Привел,— сказал Ванька, впуская Алмазова в избу.

Алмазов увидел около печки бабу, наклонившуюся над зыбкой и кормившую ребенка, задиравшего из тряпья кривые ножки. Она кивнула ему и, спрятав грудь, стала качать привязанную к длинному шесту полную тряпья лубяную зыбку.

Орех, шатнувшись, поднялся навстречу Алмазову и схватил его за руку.

— Барин, милый мой,— хмельно заговорил он, ладя поцеловать.

Алмазов, конфузясь, отвел его и присел у стола.

— Разорили соколика, а? — говорил Орех, старчески шепелявя и глядя на Алмазова маленькими слезящимися глазками.— До чего довели. Папенька-то твой, бывало,— ух!..— И, не договорив, Орех завалился на скамейку.

Ванька, поглядывая на стол, шептался с хозяйкой. Был он короток, легок и безбород, на маленьком носу его и на щеках роились веснушки. Что-то оставалось в нем детское — от тех времен, когда лазили они с Алмазовым шарить по липам галочьи гнезда.

— Давно женился? — спросил у него Алмазов.

За него ответила баба, придерживая на груди холстяную рубаху и передавая Ваньке зыбку.

— Сёмый год с мясоеда,— сказала она, убирая со стола,— сёмый год живем.

— Много детей? — спросил Алмазов, глядя на зыбку.

— Трое,— ответила баба,— да один помер.

Не зная, о чем говорить, Алмазов покачал головой.

Баба ничуть не походила на Ваньку. Была она крупна, широка в кости, плечиста и — что редко на деревне — для своих лет свежа и сильна. Она быстро убрала со стола, наколола косарем от сухого полена лучины и развела на загнетке огонь. Алмазов не хотел есть, но хозяйка так настойчиво стала его угощать, что пришлось согласиться.

Укачав кашлявшего ребенка, Ванька подошел к столу и присел. С его безбрового и безусого лица не сходила детская улыбка.

— Где же теперь Семен? — спросил Алмазов, вспоминая Ванькиного батьку, чудака и пьяницу, предпочитавшего всему на свете охоту и некогда на смех деревне обменявшего последнюю кобыленку на пегого гончего кобеля.

— Жив, жив,— радостно ответил Ванька,— на свадьбе гуляет, сейчас будет тут. Тебе все хотел поглядеть: его, говорит, я на руках носил...

Баба подала на стол крутую яишню в высокой сковородке с отбитым краем. Ванька налил в стакан самогонки и по обычаю выпил первый, потом налил Алмазову. Задремавший у окна старик зашевелился, подсел к столу и осоловело стал глядеть на бутылку.

На улице, а потом в сенях послышались громкие голоса. В избу ввалилось разом душ пять мужиков. Впереди, широко размахивая руками и громко говоря, брел Семен. Он почти не изменился, так же щетинкой торчала его рыжеватая бороденка и так же неистово гремел его хохот.

Завидев Алмазова, он растопырил руки и завопил:

— Барин! Сереженька!.. Друг любезный! Пожаловал. Дай тебе расцелую. А? На руках носил! — кричал он, обращаясь к молчаливо стоявшим за ним мужикам.— На руках носил, ей-богу. Бывало, мамаша прикажут, а я ношу, по двору ношу. А они на ласточек смотрят. А теперь-то,— продолжал он, переводя голос и отстраняясь,— тебе не признать, убей мене гром, не признать — встретились бы и разошлись, ей-богу.

— Как живешь? — спросил Алмазов у Семена растерянно, не зная, о чем сказать.

— Как живем? — опять завопил Семен.— Живем — хлеб жуем. Наша житье известная.

За Семеном молчаливо стоял огромный мужик с широкими, как ворота, плечами. Бритое лицо его было каменно, серые небольшие глаза светились задорным огнем, из-под закинутой на затылок шапки на низкий лоб высыпались прямые соломенного цвета волосы. Узкий вышитый воротник холщовой рубахи, застегнутый на одну стеклянную пуговку, обнимал могучую загорелую докрасна шею. Алмазов невольно на него загляделся.

Он подал Алмазову свою тяжелую, широкую, как совок, руку и сказал Ваньке глухим, с хрипотцой голосом:

— Наливай, чего смотришь — с барином выпьем.

— Выпьем, выпьем,— подхватил Семен,— душа горит.

— Подожди,— сказал мужик, рукой отстраняя Се-

мена,— дай на барина посмотреть, сколько лет господ не видали.

Лицо его показалось Алмазову необыкновенно большим и широким. Прищуренные глаза мужика светились буйством и насмешкой. Он стал перед Алмазовым, скрестив руки. Все остальные примолкли, слушали с любопытством.

— Сергей Антоныч,— деланно вежливо произнес он, наклоняясь к лицу Алмазова и обдавая его перегаром,— Сереженька. Поглядеть пришли?.. Погляди, погляди, как землицу твою освежевали... Ты нашего брата не осудь.

— Саш, брось,— растерянно улыбаясь, сказал Ванька.

— А ручки-то у тебя белые,— продолжал мужик, разглядывая руки Алмазова и подмигивая кому-то через стол,— перчаточек просят. А! — воскликнул он вдруг глухим, страшным голосом.— Тут, брат, твое дело шабаш. Вот захочу — раздавлю! — Шально блестя глазами, он протянул над столом огромную руку, покрытую курчавыми, густыми, как у зверя, волосами, раскрыл огромную крепкую ладонь и сжал пальцы в кулак, точно выдавливая из чего-то сок.— Испужался?

— Не шуми, Саш,— умоляюще произнес Ванька.

— Да я шучу,— подмигивая и опускаясь рядом с Алмазовым, сказал мужик.— Эй, барин, Сергей Антоныч, пей, друг, мужицкую, на слезах настоянную. Пей! —Он своей тяжкой ладонью похлопал Алмазова по тощей спине.— Пей — не робей! Теперь ты есть пыль. Пальцем тебе никто не зачепит. Не пужайся.

Он налил в стакан Алмазову, чокнулся громко, разбрызгав по скатерти, но сам выпил не много, только пригубил, и стал ходить по избе из угла в угол, широко размахивая большими руками.

Против Алмазова за столом сидел, выпучив глаза, ввалившийся с Семеном грузный мужик и молчал. На его бороде висли крошки, в пьяных глазах стояли прозрачные слезы. Слушая Сашку, он волновался, дергался, слезинки на глазах его наливались тяжелее.

— Мне Сашка — тьфу! — проговорил он тяжело и бессмысленно, глядя в одну точку и точно не видя.

— Не лезь, Якуш,— сказал Семен.

— Мне Сашка — тьфу! — упрямо повторил мужик.— У меня сыны альвы. Из порток Сашку выбросят.

Сашка ходил по избе из угла в угол. Ворот белой рубахи его расстегнулся, и виднелось тело, крепкое, покрытое такими же, как и руки, курчавыми волосами. Изба тесна была ему.

И Алмазов потом не мог всего припомнить: лицо старого мужика с выпученными глазами мелькнуло над столом. Огромная Сашкина ручища накрыла его, скомкала и отправила куда-то под стол. Алмазов увидел широкую Сашкину спину, наклонившуюся над скамейкой.

И тотчас же под окном завопил пронзительный бабий голос:

— Яку-ша убива-ають...

Изба опустела. Упало и покатилось ведро. На полу у дверей валялась сбитая с кого-то шапка. Алмазов остался с Ванькой, побледневшим, дрожавшими руками наливавшим в стакан самогонку.

Под окном бабий голос завопил еще отчаяннее:

— С кольями, с кольями иду-уть...

— Господи Сусе,— сказала Ванькина баба, отчаянно укачивая проснувшегося ребенка,— это якушата идуть на Сашку. У их зло давнишнее. Будет беда.

В избу вошел Сашка. По виду он был по-прежнему спокоен, так же лихо держалась на затылке ушастая шапка, только сузившиеся глаза блестели да ходили мослаки под бритыми щеками.

— Уходи, барин,— сказал он Алмазову,— не стой у дороги, нечай колесом заденут!

Надев дрожащими руками шляпу, Алмазов выбежал на волю. Слышно было, как горланили по улице удалявшиеся мужики. Что в избе казалось страшным и громоздким — на воле стало просто, и не верилось, что близко ссорятся и дерутся люди. С бьющимся сердцем он перелез изгородь и огородами пошел к Лексеевой пуньке.

На сене он лежал долго, не засыпая, слушая голоса на деревне.

Семенов голос звенел всех громче. Помалу мужики затихли, стало слышно, как кричат коростели на лугах, и опять порыв ночного теплого ветра донес с деревни бойкую плясовую:

Без тебя, мой друг, постелька холодна,
Одеяльце заиндевело...

«Милый друг,— писал Алмазов карандашом на клочке бумаги,— четвертый день, как я в деревне, слушаю деревенскую тишину. Здесь мне родной каждый камень; я ходил на реку, бродил по лесу, где когда-то мы с тобой собирали грибы (впрочем, тебе не узнать теперь нашей рощи), пробовал косить с мужиками на «наших» лугах, гулял на мужичьей свадьбе и слушал деревенские песни, те самые, что слушали мы, когда ты приезжала в Алмазовку, пил — это уж от нынешнего — с мужиками самогонку, пахнущую горелым хвостом болотного черта. Был пьян и чуть не попал в драку... Пожалуйста, не пугайся, я невредим, сейчас гляжу на небо, в котором совсем нетрожно — как и *тогда* — висит ястреб. Я вижу, как над деревней столбами стоят дымы. Сейчас утро, бабы растапливают печи, и опять, как и *тогда,* здесь пахнет коноплей, сеном и дымом. Все эти дни воздух так чист, что я вижу отсюда, как за рекой зеленятся хлеба и на Маришином лугу ковром цветет куриная слепота...

На месте нашего старого дома растут прекрасные лопухи, величиною в твой дождевой зонтик. В крапиве ты смело спрячешься с головой. А вокруг колосится мужичий ячмень, от тучности почти черный. В парке, от которого осталось немного деревьев, живут грачи, потомки тех, «наших» грачей, с которыми мы так старательно воевали. Так же, пожалуй немного грустнее, свистят вокруг колокольни стрижи, а с алмазовского памятника давно ободрана мраморная доска, и памятник стоит безыменным. Это все, что осталось от Алмазовых...

Здесь я чувствую себя так, точно мне триста лет и я помню царя Гороха. Я нахожу странное отношение ко мне людей: меня встречают как нищего. В сущности, меня так и приняли. Третьего дня один мужик меня назвал так: ты — *пыль*.

Как это верно!»

Когда Алмазов выходил из деревни, над полями поднималось солнце, теплый ветер опять гнал по дороге легкую пыль. Над головой Алмазова, купаясь в воздухе, пел жаворонок. На выгоне, над рекою, играл на трубе пастух, заливисто, с переборами, и за деревней пастуху отвечало эхо. Пели на деревне петухи.

Алмазов шел легко по краю дороги, и колосья шелестели по его рукаву. Выйдя на взгорок, он остановился, посмотрел на солнце, на деревню, на тот берег, тонувший в зыбившемся солнечном свете; улыбнулся и пошел дальше. Взгорок за его спиной закрывал деревню, и помалу скрывался зеленый берег реки. Перед ним открывалось поле и дальше, в лощине, луг, на котором разноцветными пятнами копошились люди. Запахло свежим сеном. В тени по канаве лежала у дороги роса.

Он шел быстро, поглядывая на людей, перешел мостик, под которым, журча, пробегал по каменистому дну ручей, голубели незабудки, и стал подниматься в гору.

Кто-то сзади окликнул его, и он остановился.

По лугам, через скошенные валы, к нему бежал парень без шапки, в белой рубашке. Подбежав к ручью, он легко перепрыгнул и побежал дальше. Алмазов узнал в нем знакомого — женниха.

Парень подбежал к нему и, переводя дух, улыбаясь, сказал:

— Таня наказала вам передать на дорогу.

Он подал Алмазову кусок сала и край хлеба.

— Вы уж извините, не гневайтесь,— сказал он и поглядел Алмазову прямо в глаза своими молодыми серыми, полными жизни глазами.

Алмазов взял сало и хлеб, пожал парню руку и молча пошел дальше. Парень посмотрел ему вслед, перескочил через канаву и с молодой легкостью побежал назад через луга. Когда он подбежал к своим, разбивавшим густые, тяжелые валы, и оглянулся, Алмазова не было видно. Вслед ему ветер гнал по дороге пыль.

АННА КАРАВАЕВА

ПЕСКАРИХА

Моя соседка по купе оказалась на редкость предупредительной.

— Вы ничего не имеете против, если я закрою дверь в коридор? — спрашивала она мягким, грудным голосом.

— Пожалуйста.

— Приспустим немножко абажур — удобнее будет читать, правда?

— Пожалуйста, пожалуйста.

— А не задернуть ли занавеску? Знаете, как-то неудобно, когда все в купе видно. На станциях столько любопытных, будут еще в окна заглядывать.

— Ну и пусть заглядывают!

— Боже мой, неужели вам это нравится? — И она испуганно и осуждающе покачала стриженой головой; ее светлые волосы были так густы, что голова напоминала мягкий шар.— Давайте все же занавесим... а?

— Пожалуйста, мне все равно.

Задернув занавеску, она легла на диван и взяла книгу. Но скоро поднялась и с виноватой деликатностью спросила:

— Я не загораживаю вам свет?

— Нет, нет. Да что вы все беспокоитесь, нельзя же так.

— А как же иначе? — наивно удивилась она и даже села.— Нельзя же думать о своих только удобствах. Надо стараться, чтобы и людям было так же удоб-

но, как и тебе: когда все довольны и спокойны... тогда и тебе жить гораздо приятнее.

— Ну, не знаю,— посомневалась я,— всегда ли такое дело может удаваться.

— Почему? — И она дернула острым плечиком.— А если я желаю быть такой...

— Подательницей всеобщих удобств?

— Вот видите,— грустно сказала она.— Вам смешно, вы меня просто не понимаете. Но ведь нельзя жить на свете, не уважая требований людей!

— Смотря какие требования, чудачка вы.

— Ах, люди прекрасно знают, чего они требуют. И потому всегда приходится жить для других,— неожиданно закончила она, печально обмахиваясь платочком.

— Это тяжело, должно быть? — в тон ей спросила я — беседа уже становилась любопытной.

— Конечно, тяжело.

Платочек все летал вокруг ее маленького курносенького лица.

— Главное, люди никак не терпят, чтобы кто-нибудь делал не так, как все,— горько вздохнула она.— Я это чувствую.

В пути в беседе с неизвестным человеком люди часто открывают про себя такое, чего не узнать никогда ни их близким, ни друзьям.

За окном все в стремительном движении: земля, небо, люди; во всем новизна, вихрь. Человеку кажется, что в данный момент ему важно только достигнуть одной цели — пункта, указанного на билете. На законном основании отменяются все дела и обязанности. Людям, его окружающим, человек ничем не обязан, кроме взаимной любезности, которая в пути дается нетрудно. А любопытный, умеющий терпеливо и долго слушать, неожиданно собирает жатву, и порой даже обильную.

Словом, соседка моя разговорилась. Я узнала, что зовут ее Любовь Андреевна, что она делопроизводитель на большом мукомольном предприятии, что ездила в губернский город покупать новую пишущую машинку. Время у нее, Любови Андреевны, занято до «капельки», «так что и вздохнуть как следует некогда»: драмкружок, рукодельный, политкружок, дежурство в профуголке и даже участие в хоре, который

выступает «во всех торжественных и простых случаях».

— Так и не видишь, как дни идут... боже мой! —сокрушенно закончила она.— Но всего ужаснее политграмота. Кто и выдумал эти политические науки?.. Разные эти партии, капитализм, революция... тут прямо министром надо быть, чтобы все хорошо понять. Уверена, что у нас в кружке все просто зубрят... Времени ужасно много уходит... Трудно...

— Вольно же вам... ведь никто не заставляет.

Она посмотрела на меня, снисходительно и печально усмехаясь,— ей как будто стыдно было за мое недомыслие.

— Гос-поди, да разве вы знаете нашу публику?.. Не пойдешь в активисты, так сейчас же начнут на тебя оглядываться: ах, вот она какая!.. Люди всегда злы и подозрительны, если не делаешь как нужно для их порядка. А вот когда толкаешься среди них, тогда тебя и не замечают.

— Ну... Любовь Андреевна, вы страдаете самой настоящей людобоязнью.

Любовь Андреевна ничуть не удивилась такому определению.

— А вы думаете, не нужно людей бояться? Ах, напрасно... Совсем даже наоборот...

Встряхивая завитой челкой и слегка глотая слова, она торопливо рассказала мне, сколько ей приходилось в жизни встречать «ужасно тяжелых типов», и все это были люди, от которых много ей пришлось пережить «всяких горестей».

— И хоть бы я кому когда желала зло сделать, подумайте!.. Я совсем не так воспитана. Родители у меня были ужас какие религиозные, со всеми жили в мире. Даже собаки у нас на улице никогда не лаяли на моих папу и маму, а наоборот, только увидят, начнут ласкаться и хвостами виляют — такие уж были безвредные люди мои папа и мама... да... Домик был у нас на четыре комнатки, маленький, но такой хорошенький, а кругом сирень, густая-прегустая, пахло от нее так сладко, что даже весело становилось. Папа мой архивариусом служил, в архиве и умер от разрыва сердца, очень был полный. Мамочка, конечно, по хозяйству... Ну, а я, как окончила гимназию, вышиваньем занималась, рисовала по сукну и шелку... зна-

те, всякие такие красивые вещицы для модного магазина; потом в младшие классы гимназии готовила, недурно зарабатывала. Очень хорошо мы жили, очень...

— Вы и сейчас живете в домике с сиренями?

Она печально отмахнулась.

— О, что вы?.. Я уж давно из своего города уехала. А домик наш сгорел в гражданскую войну, когда город обстреливали. Ужасно сиреней жалко, кому они помешали... не знаю.

Помолчав, Любовь Андреевна усмехнулась:

— А между тем... подумать хорошенько: если бы больше таких домиков было, так и люди были бы счастливее.

Она на минутку задумалась и наморщила лоб, таращa ярко-голубые глаза (бровей у нее совсем не было) и полуоткрыв рот. На ее лице появилось детски-пугливое выражение.

— Скажите, Любовь Андреевна, сколько вам лет?

— А как по-вашему?

Любовь Андреевна лукаво и кокетливо поежилась.

— Да трудно, право, определить.

— Представьте, тридцать первый.

— Ну? Вот уж никак нельзя подумать!

— Ах, очень, очень рада, что на старую деву еще не похожа!.. Впрочем, я давно уж могла бы быть замужем... и ничего не вышло... и тоже из-за людей!

— Почему же из-за людей?

— Да вот... Семь лет назад мне сделал предложение один художник, плакаты рисовал... но он мне не нравился совсем. Четыре года назад делал предложение наш заведующий складом, очень интересный человек, хоть и немолодой. Но он признался мне, что он бывший полковник. «Ах, нет, нет, говорю, полковники теперь не в моде, и как на меня будут смотреть все сослуживцы, за кого, скажут, вышла». Нет, боюсь ужасно всяких косых взглядов!.. А вот в прошлом году мне было по-настоящему жалко — целый роман расстроился!

— Почему же так не повезло?

— Не могла же я выйти замуж за торговца...— Она опять дернула худеньким плечиком.— Но мне он казался милее всех... У него такая замечательная фигура, лицо тонкое, как у аристократа, ей-богу. Одевал-

ся он чудесно, всегда такой элегантный, был у него галантерейный магазин. «Вы, Любочка,— говорит мне Володя (его так звали),— будете за кассой, а я с покупателями». Я тут подумала, что ведь город у нас маленький, меня знают очень многие... и... вдруг все сослуживцы меня увидят за кассой, как нэпманскую личность... «А вдруг еще, говорю, прогорите вы, Володя, со своим магазином... (Кооперация все сильнее становится, правда?) Прогорите, говорю,— что тогда будет?.. Как я тогда на службу поступлю?.. Ведь не примут ни за что... и отношение ко мне будет самое скверное. Нет, нет, говорю, Володечка, ищите себе службу».

Любовь Андреевна вздохнула и на миг прикрыла глаза вздрагивающей рукой.

— «Ищите, говорю, службу». А он говорит: «Где ж я ее найду, мое дело торговое». А тут, представьте, начались слухи о моем замужестве. Все спрашивают, посмеиваются... Ах... потом в стенной газете меня изобразили вот с такой прической, и в ней горит... огромный брильянт... с яйцо!.. А внизу подписано: «Будущие лавры Любови Андреевны, когда она выйдет замуж за такого-то».

Она опять вздохнула.

— Тут мне пришлось волосы отрезать... а они у меня были длинные. Жалко было до слез... Но срезала, что же делать.

— При чем же тут волосы?

— Как при чем?.. Можно же догадаться: тогда уж нельзя нарисовать меня с прической!.. И, представьте, не рисовали ведь больше!.. Да и, кроме того, у нас все ходят стриженные по моде.

Она вдруг улыбнулась с неожиданной хитрецой.

— И все стало опять хорошо, спокойно, никто меня не тревожит.

— Володю побоку?

— Ну, зачем так? — даже слегка обиделась Любовь Андреевна.— Очень нежно с Володей пришлось расстаться. Что же делать? Каждый хочет жить.

Успокоенным тоном она добавила:

— Ну, зато с Сашей Минеевым мне ничего такого не надо бояться.

— Кто этот Саша?

— Мой жених. Он отделением внуторга заведует. Партийный.

— Ага! — быстро сказала я, тут же спохватясь, что тон мой можно понять как довольно неудобную догадливость.

Но Любовь Андреевна ничего не заметила.

— Пожалуй, я давно могла бы выйти за Сашу, я ведь столько лет с ним знакома. И ведь как оригинально мы познакомились. Я как раз стояла на часах с винтовкой.

— Что-о? Вы... с винтовкой?

Поезд подошел к станции, и голосок Любови Андреевны среди наступившей тишины прозвучал ясно и чисто, как новенький колокольчик:

— А что ж удивительного? Всякое может с человеком случиться.

— Расскажите же, будьте добры, как это происходило.

Любовь Андреевна поморщилась.

— Да это уж вовсе не так интересно.

Было это осенью восемнадцатого года, во время эвакуации, когда белые подходили к городу. Ей, Любови Андреевне, «пришлось» эвакуироваться вместе с исполкомом, где она тогда «устроилась служить». Исполкому достался маленький пароходишко, который, доехав до середины Волги, вдруг начал подозрительно замедлять ход — что-то испортилось в старой, расхлябанной машине, а в кормовой части открылась течь. На пароходике было только пятнадцать здоровых мужчин, которые и ушли возиться с раскапризничавшейся машиной и откачивать воду. Среди женщин оказалось немало решительных, которые согласились нести караул. На пароходике потушили огни, так как белые город уже заняли, с берега защелкали выстрелы и можно было ожидать погони. Любовь Андреевну поставили на носу. Комендант пароходика, Александр Минеев, накинул на нее свою шинель и показал, как обращаться с винтовкой.

— Я удивлялась все тогда, почему он так спокоен в эти страшные минуты. Показывает, а сам даже шутит.

— А вы?

— А что же я?.. Боялась ужасно. Стою и думаю: «Господи, до чего я несчастная — куда это я попала?» Домика нашего так жалко, так жалко! И страшно-то кругом, и ветер невыносимый... Ну, думаю, несчастнее

меня нет на свете... Потом вдруг Александр ка-ак толкнет меня... «Вон там, шепчет, плещется кто-то, не лодка ли... Стреляйте скорей, привыкайте, пока я тут, ночь долга».— «Господи,— шепчу я,— стрельните уж вы сами». А он опять как толкнет меня. «Ну, ну, действуйте!» Боже мой, я стреляю раз, два... еще и еще... А сама от страха до того плачу, что от слез ничего не вижу. Так бы и зарылась в подушки, чтобы ничего не видеть, не слышать... Так и пришлось терпеть до утра.

— Много, значит, довелось вам стрелять?

— Без конца-а!.. Я думала, что это мучение никогда не кончится.

— Ну потом-то, наверно, вы все-таки осмелели?

— Что вы... господи!.. Да разве от этого можно осмелеть? Вот как-то мой папа из охотничьего ружья воров пугал — там я понимаю... А тут я сама стреляла, правда, в белых, но так страшно мне было, что я ничего не понимала.

— Зачем же тогда вы стреляли?

Голубые глаза ее округлились в отчаянном изумлении.

— Как это зачем? Но если все так делали? И как бы на меня посмотрели, какие бы разговоры пошли, уйди я с палубы... А тут ничего такого не было, даже, наоборот, меня все хвалили. Минеев меня «молодцом» назвал... и вообще отношение ко мне было очень хорошее. Конечно, это далось не легко, но ведь зато я была спокойна.

Я представляю себе черную, осеннюю Волгу, унылое шлепанье дряхлой речной посудины, свист ветра, выстрелы — и женскую фигурку в шинели, с винтовкой на плече. Какой искусительный случай для рассказа о «незаметном геройстве» женщины, о самоотверженном «пробуждении души», не правда ли? Дрянной пароходишко, нагруженный до отказа ранеными красноармейцами, женщинами и детьми, винтовками и патронами для фронта, борется с черными холодными волнами. Полтора десятка людей, сдирая себе до крови ладони, грязные, задыхающиеся от бешеной работы, но забывшие об усталости, толкают вперед жалкое суденышко,— тут ли не почувствовать величие борьбы? И уж тут ли не радостен вымысел о смелой девушке?.. Но жизнь невероятно изобретательна и хитра. Вдруг оказалось, что каждая линия этого человеческого ав-

топортрета настолько ясно обозначена, что уже почти нечего в нем отгадывать. Но... обозначить свой собственный облик до беспощадной четкости хорошо проявленной фотопластинки, как делала это Любовь Андреевна,— не есть ли это одна из беглых загадок жизни, капля ее ядовито-смешливой мудрости?..

— Саша Минеев, правда, некрасивый,— уже под стук колес щебетал смеющийся голосок моей соседки,— но так меня любит! Нынче, когда ездил в командировку, так каждый день мне писал... Вот, прочтите. Разрешаю.

Она сует мне письмо, сложенное пополам, и водит пальцем по строкам. Крупным, твердым почерком написано:

«...и я очень рад, что после моей первой неудачной женитьбы я снова встретился с тобой. Ты уже давно показала свой характер с самой хорошей стороны. Ты именно такая женщина, которая будет для меня любящим, стойким товарищем...»

Дальше я не читала — ясно было, что это писал решительный и доверчивый парень.

— Он очень вас хвалит, однако.

Она спрятала письмо в сумочку и самодовольно улыбнулась.

— Еще бы ему меня не хвалить! Нелегко мне ладить с людьми. Я ведь не такая, как всем надо... Вот и запрешь бедную душу на замочек; внутри-то у тебя тихо-тихо, а ты должна вертеться в этом вечном шуме... Ах!

Это относилось к другому — ее часы показывали одиннадцать.

— Батюшки, как мы заболтались! Спать, спать... Завтра мне рано вставать. Саша придет к поезду.

Собираясь лечь, она опять виновато и деликатно улыбнулась.

— Вы как спите — при огне или без огня?

— Без огня, конечно.

— А-а... хорошо, я потушу,— покорно вздохнула Любовь Андреевна — должно быть, она предпочитала спать при огне.

Уже в темноте, когда поезд где-то стоял, она боязливо спросила:

— А как вы думаете... проводник у нас порядочный человек?

Я (не очень любезно):

— Это вам зачем понадобилось?

— Да, видите ли... Пишущая машинка там, наверху...

Не получив ответа, Любовь Андреевна тихонько кашлянула и повернулась на бок, уже готовясь ко сну. Осторожненькие ее вздохи и шелесты одеяла напомнили мне боязливое скольжение рыбы в речных зарослях. Я вдруг вспомнила об одной рыбной породе, знакомой еще со школьной скамьи, вспомнила о премудром пескаре из щедринской сказки. О, живучая это порода!.. Только в щедринские времена пескарь был простодушнее: он прятался в свою нору и дрожал там.

Не чаще ли у нас, думалось мне, другая порода пескарей и пескарих, которые, напротив, выходят из нор и смешиваются с людской волной. Они будут стараться жить «как все», будут даже делать что-то в ущерб себе,— только бы смешаться с массой, чтобы их «не замечали». Но при этом по-прежнему лениво течет в их жилах сонная рыбья кровь, по-прежнему они равнодушны ко всему на свете, кроме своей темной подводной норы. Если они не «на виду у всех», они дадут волю своим косноязычным жалобам и шепотам; с легким сердцем пропустят мимо самый плодоносный человеческий порыв. Сирени, задыхающиеся в тесноте голубых и розовых палисадников,— вот предел их мечтаний.

Утром моя соседка была как-то растерянно задумчива и хоть улыбалась предупредительно, но отвечала неохотно — можно было думать, что после вчерашней ее разговорчивости она уже боялась и меня...

Я следила потом из окна, как от чистенького вокзальчика бежал к поезду широкоплечий большой человек с седеющей макушкой.

— Любочка! — радостно кричал он, проталкиваясь к ней и яростно махая кепкой.— Я чуть было не опоздал, родная, вот бы штука была... Лошадь нас уже ждет.

Обняв ее за плечи и весело поматывая сивой растрепанной головой, он вел женщину, оберегая ее, как отвоеванное сокровище. Говорят: о счастливых не заботятся. Но этого счастливца мне было искренне, по-хорошему жаль.

Потом в купе вошел несуразный, длинный человек с тугим затасканным портфелем. У нового пассажира

было усталое, желчное лицо, но показалось — он с собой принес столько свежести, что сразу стало легче и свободнее дышать.

ЯБЛОКИ

Поезд стоял на большой станции. В опустевшем вокзальном садике осыпались клены и липы. Сорванный ветром большой кленовый лист слетел прямо на плечо девушки, которая держала в руках дорожный клетчатый чемоданчик. Улыбнувшись, девушка продела кленовый лист, как ручную красноперую птицу, в петлю своего синего драпового пальто. Полюбовавшись этим украшением, девушка вновь обратила лицо к двум молодым людям, которые разговаривали с нею.

Первый — высокий, плотный, с непокрытой смолево-черной головой — что-то настойчиво ей доказывал. Его большие, сильные руки то чертили в воздухе крутые, быстрые круги, то вели плавную линию вверх, словно путь в гору. Смолевой его чуб вскидывался над выпуклым лбом, выражая неукротимую энергию. Видно было, что этот высокий молодой человек в франтоватом серо-голубом кашне вокруг шеи хотел, чтобы внимание девушки было направлено только на него.

Второй юноша, ростом ниже среднего, широкоплечий, казался еще приземистее благодаря круглой мерлушковой шапке, надетой на самые брови. Ему тоже хотелось участвовать в разговоре, и он временами торопливо вставлял свои замечания, но чернявый каждый раз ловко оттеснял его в сторону. Вдобавок широкоплечему трудно было жестикулировать: в одной руке он держал корзину с яблоками. Поставить ее на землю он не решался: неподалеку вилась стайка буйных мальчишек, которые каждый миг готовы были броситься на его корзину. Но молодой человек в мерлушковой шапке ревниво оберегал яблоки и не подпускал мальчишек ни на шаг. Все же, как провожающему, ему обязательно хотелось говорить. Упрямо поднимая плечи и смешно выставляя голову вперед, он с видом спорщика бросал несколько быстрых фраз. Высокий еще более энергично вскидывал чубом и в сдержанном нетерпении потопывал ногой по гравию.

Потом он вновь овладевал разговором, еще более настойчиво. Но девушка, смеясь, то одним движением руки ободряла широкоплечего, то начинала говорить сама, обращаясь к обоим своим провожатым. Они слушали, не сводя с нее глаз.

Трое молодых людей и не замечали, что из окна вагона за ними следят любопытные глаза. Маленькая, в старинном «ковровом» платке, тонкогубая старушка, из тех, кому до всего есть дело, недоумевала вслух:

— Не поймешь, какой промеж них разговор идет?.. Не то спорят, не то мириться хотят... Этакие непонятные!

— Что ж тут удивительного, бабинька,— возразил ей пожилой сивоусый человек бывалого вида.— Молодежь у нас — немаловажная спица в колеснице, говорить есть о чем. Может, какой-нибудь важнейший производственный вопрос разбирают. У них не только гулянки на уме.

— Ой, не похоже!.. Провожатели-то до чего к девке ластятся, прямо как на королевну какую глядят,— продолжала свое старушка.— Ежели бы братья, так опять лицом все на отличку, а ежели просто знакомцы, так что-то уж больно уважительны!.. Да и годится ли перед женским полом этак шапку ломать? Ишь ты, ишь ты, так оба и улещают ее! Подумаешь, какой клад, злато-серебро нашли!..

После второго звонка девушка вошла в вагон, держа в одной руке клетчатый чемоданчик, а в другой — корзину с яблоками. Взяв пару яблок, девушка с улыбкой подошла к окну вагона и весело крикнула:

— Коля, Петя!.. Держите, обоих угощаю!.. Ну! И ловко бросила яблоки прямо в раскрытые ладони молодых людей.

Поезд тронулся. Широкоплечий снял мерлушковую шапку и, махая ею, пошел рядом с вагоном, провожая девушку ласково-просительным взглядом.

— Яблоки-то кушай, Катя! Сам выбирал...

Высокий, подняв смуглую руку, сказал баском:

— Я тебя, Катя, прошу, в случае чего напиши...

— Да ведь вы же знаете, я в Москву всего на полмесяца!..— рассмеялась девушка.— Ну идите, идите, бригаде от меня кланяйтесь!

Катя еще раз махнула платочком, повесила пальто и села, аккуратно подобрав платье. Заметив, что ста-

рушка в «ковровом» платке испытующе-строго посмотрела на нее, а бывалого вида человек, наоборот, ободряюще улыбнулся, Катя привстала и продвинула корзину в сторону суровой соседки:

— Яблочков не желаете ли? Из нашего колхозного сада, мичуринские сорта.

— Покорно благодарим,— сухо ответила старушка.— Для такой сладости у нас зубов подходящих нету.

Но каждый мог видеть, что зубы у старушки прекрасно сохранились. Зубастенькой нижней челюстью она прикусила тонкую сморщенную губу, словно насмехаясь над всеми глядящими на нее. Катя хотела что-то возразить, но, пожав плечами, отвернулась. Ее круглое, чуть скуластое, еще в нежно-золотом загаре, подвижное лицо с яркими карими глазами выразило недоумение и смущение: для чего старой женщине нужна такая грубая ложь?..

— А я вот, каюсь, любитель хороших яблок,— распушив сивые усы, сказал бывалый человек.

— Кушайте, кушайте! — обрадовалась девушка и так энергично встряхнула корзинку, что яблоки подпрыгнули, будто приплясывая.

— И вы, товарищ, угощайтесь, пожалуйста,— обратилась Катя к красноармейцу, который сидел напротив.

Тот неловко поклонился, стесняясь, должно быть, своего большого костистого носа и некрасивых рябин на щеках. Но карие глаза девушки смотрели на него ласково, как на союзника,— и он, быстро поборов застенчивость, взял большое яблоко.

— Не выбирал, а какое досталось! — сказал он, смачно нюхая крупный плод и любуясь им.

Под тонкой золотисто-желтой кожицей плодовый румянец играл, наливался, и яблоко, круглобокое, облитое шелковистым блеском, казалось, горело сладким пламенем изнутри.

— До того красивая штука, что даже есть жалко!

— Ну! Кушайте на доброе здоровье. Если бы оно одно такое было, а то ведь они все как на подбор! — И Катя, погрузив руки в корзину, гордым движением раскрытых ладоней подняла вверх несколько крупных, с детскую голову, прекрасных яблок.

— Это все наши сады родят!

Она рассказала, как началось у них в колхозе «движение за культурные сады», как затеялась переписка с Иваном Владимировичем Мичуриным, как «без малого всем селом» посадили сотни яблонек-четырехлеток «на самых что ни на есть солнечных угорах».

— Мне тогда десять лет было, я все хорошо помню. Мы, малолетки, с первых же дней сразу в дело вмешались. Наша учительница, Марья Степановна (она и сейчас у нас в колхозной школе учит), дочь старого садовода, была главнейшим агитатором насчет яблонь. Ну, ясное дело, мы, школьники, такой агитацией вмиг увлеклись и совались всюду, где надо и где не надо: уж очень нам хотелось скорей-скорей любоваться, как важные яблоки в садах наших наливаются да к нам в рот просятся. Вначале у нас в колхозе немало нашлось спорщиков, которые под сомнение брали наши будущие сады, а некоторые даже прямо-таки противниками садов выступали: к чему, да зачем, лишние хлопоты... Но ясное дело: победили те, кто вперед глядел. И ведь — смейся не смейся — все детные колхозники сторонниками садов оказались! Выходит, как потом у нас говорили, что и мы, ребята, тоже вли-я-ли!.. Когда в садах сбор начинается, мы не хуже других под яблонями хозяевами ходим!.. Недавно секретарь райкома к нам заехал. «Ну, молодежь,— говорит,— богатые сады отцы вам в наследство вырастили, так уж вы потом их чести не роняйте!» А мы отвечаем: «При таком наследстве, когда мы сами отцами будем, наши деревья в богатырей обратятся!»

И Катя с таким значительным видом тряхнула головой, что красноармеец невольно захлопал ей:

— Верно, товарищ, верно!

Ему в этой девушке все нравилось. Быстрое и твердое движение руки, которым она оправляла плотно уложенные на голове тугие, ржаного цвета косы; манера в увлечении торопливо переводить дух, часто даже не договорив слова; привычка, оставшаяся от детства, в особо приятные минуты крепко прикладывать ладонь к щеке — все это выражало ее характер, живой, порывистый, сердечный. Красноармеец с привычной горечью подумал о своих некрасивых оспинах. Ох ты, дремучая деревенская глухомань, в которой прошло его детство!.. Деревушка за сто верст от больницы, безлошадное хозяйство, бабкины наговоры и молитвы

над пылающим в жару детским телом — и вот на всю жизнь отметины! «Черти ночью горох молотили! — усмехался про себя красноармеец.— Нет, на такие лица девушки не заглядываются».

Но он не мог не заметить, что этой крепкой и, несомненно, удачливой девушке нравятся многие его мысли и ответы. Несколько раз она взглянула на него серьезно и ласково-уважительно, словно ободряя его: «Совсем, совсем напрасно горюнишься, товарищ! Разве за одно лицо любят человека?»

Бывалый, с сивыми усами, порассказав о своем колхозе, где только недавно стали заниматься садами, спросил девушку:

— Ну, а у вас, поди, яблочков немало на трудодень приходится?

— Еще бы! — гордо ответила она.— Яблоки, что мне в дорогу подарили, откуда они? Из трудодней же!

— А кто же они, девушка, провожатели-то твои? — вдруг подала голос старушка.— Братья, что ли?

Девушка повернулась к строгой соседке:

— Нет, они не братья мне, просто мы все товарищи.

— Товарищи-и...— недоверчиво протянула соседка, поджимая губы.— Уж больно оба они ластились, обхаживали тебя, как соловья слушали!

Девушка усмехнулась, помялась немного и, наконец, морща улыбкой губы, сказала:

— У нас их «женихами» зовут.

— Чьи же они женихи-то?

— Выходит, мои.

— Враз? Оба?

— Что поделаешь, оба!

— Да на что ж это похоже, люди добрые? — возмутилась старушка и даже заговорила смешным скрипучим басом.— Гнать таких надо, пусть не балуются!

— Зачем же гнать? Работники они прекрасные, я уважаю обоих и дорожу тем, что у нас в бригаде такие люди имеются.

— Удивляться, уважаемая старушка, не приходится,— наставительно возразил красноармеец.— Цена человеку у нас выросла, его превыше всего ценят. И самая молодая девица может большим уважением пользоваться за работу свою на общественном участке и на производстве.

Бывалый распушил усы:

— А вот спросим у нашей пассажирки: сколько вам, товарищ, трудодней насчитали?

— Шестьсот сорок четыре.— И, приосанясь, девушка добавила тише: — Орден Трудового Знамени в прошлом году дали...

— Вот видите, бабинька! — И бывалый человек многозначительно сверкнул темными зоркими глазами.

— Да я не о том! — с сердитым нетерпением перебила старушка.— Чудно все у них выходит, даже веры нету!.. Ну, может ли такое статься: двое об одной пекутся — и, скажи на милость, ни у кого руки не чешутся!.. Другое дело,— может, ихнее женихсвство нашей девушке во сне приснилось?

— Ну, что вы! Я правду сказала! — И молодая колхозница вспыхнула от обиды.— Мне смысла нет выдумывать, тем более что я... ни за кого из них выходить не собираюсь...

— Эх, какой у вас, однако, характер жестокий, бабушка! — вспылил красноармеец.— Вы, что ни говори, свой век прожили... а теперь новую жизнь по своей старой мерке судить беретесь...

— Ух ты, ух ты! — бесцеремонно фыркнула старушка.— Ты, военна косточка, с мое поживи, тогда и говори. Уж я людей повидала, что зерен на пашне, уж от зла человеческого поплакала, повыла-а... В мире жить — во зле бродить, как в густом лесу... Зло в человеке ехиднее, чем ржа в железе сидит. Добро-то, словно росу, по капле собирать надо, а злочинство всякое на тебя возами валит и едет, из-под земли, как полынь-трава, выползает, ветром-туманом вокруг человека вьется, корчит его, словно гроза ивушку бесталанную. Привык человек за себя трястись, о своей рубашке ранее всего помнить да своим имуществом дорожиться... а ну-ко, посмей кто его кровное, собь его затронуть,— так тигром и бросится на тебя...— Старушка даже перекрестилась.— Страшные тыщи лет так было, не скоро тае болезь изведешь... А ты, девушка...

Старуха обернулась к молодой колхознице и пророчески затрясла острым, как обломанная ветка, пальцем.

— Ох, девка, яблокам не радуйся, не верь!.. Где слыхано, чтобы двое одну красну лису добром дели-

ли?.. Двоим об одном сказать «мое» нельзя... У нас в деревне, в стары годы, коли, бывало, двое одну обхаживать начнут, добра не жди: вскорости нож загуляет, а девице срам и позор: гляди, еще ворота дегтем распишут.

— Да что вы такое говорите! — вскрикнула девушка, заливаясь стыдливо-гневным румянцем.— Уж не за себя мне, а за нашу колхозную жизнь обидно!.. Я старой жизни не видела, но знаю, какая она для народа была... Тогда в нашем селе таких яблок быть не могло, а вот мы общими трудами эту красоту вырастили... Вы вот о ноже вспоминаете, радоваться мне и верить не советуете, а я как раз и верю, что яблоки мне подарены от ясного сердца.

— И правильно, уважаемый молодой товарищ! — подхватил сивоусый.— Если в дело рук своих не верить, так куда же мы тогда годимся?

Он помолчал, затянулся трубкой и продолжал задумчиво:

— Вы, бабинька, мне об одном напомнили: прежде, в стары годы, мы, народ трудовой, не очень-то к вере привычны были. Мужик слушает, а сам свое думает, не верит, что на земле его что-нибудь хорошее ожидает. Ад с чертями да калеными сковородами в нашем уме легче укладывался, потому что в крестьянской нашей жизни адских моментов было несчетное множество. Как говорится, где мера, там вера, не верь ни ушам, ни очам, ни ласковым речам, а верь счету да мере. В те времена, сами знаете, мы, трудовой народ, счетом и мерой не владели, а потому правды и верности ни в чем не видели, сами правду говорить боялись и во всем усомнялись. Теперь у нас в руках свой счет и мера, но прежняя наша сумнительная душа нет-нет да и дает себя знать: «Ой, да уж так ли хорошо это выходит? Да уж яблоко ли это, может, просто камень?» Иногда, бывает, хорошему в самих себе не верим, а оно в нас новой жизнью заронено и упорно, как яблоко, цвести и зреть желает, а старая крестьянская, сумнительная наша душа, случается, этому ходу не дает.

Он оглядел собеседников маленькими зоркими глазками и подкрутил густые усы.

— После этой недоверчивой старушки самым старшим здесь являюсь я, пятидесятилетний. Мнение этой

пассажирки меня очень сильно затронуло за живое, прямо вам скажу. И хочу я ошибку ее доказать одной историей. Тянулась эта история со мной много лет, жизнь победила ее, и, таким образом, все и разъяснилось.

— Расскажите, расскажите! — послышались голоса: пассажиры из других купе, оказалось, уже довольно долго прислушивались к разговору и, наконец, столпились все в проходе.

— Что ж,— сказал сивоусый,— рассказать можно; в каждой правде свое поученье... Ну-с, так вот... В тысяча девятьсот тринадцатом году задумал я жениться. Из восьмерых детей выжили у родителей я да сестра, которая в ту пору уже замуж вышла в дальнее село. Мать моя все чаще недужилась, о помощнице думала, да и внуков скорей хотелось понянчить. Стала она меня с женитьбой торопить. А у меня уж и была на примете одна, Настей звали, пригожая девица: глаза голубые, коса русая, длинная. Обмотает она косу вокруг шеи, а сама этак степенно да ловко несет воду на коромысле и капли не расплеснет! Так мне лицо ее и повадка нравились, что и во сне она мне постоянно снилась. Бывало, в праздник у завалинок прежде всех ее глазами ищешь, орехами, пряниками прежде всех ее угощаешь. Кто не знал, что она и мать ее, вдова солдатская с русско-японской войны, живут бедно, батрачат, с хлеба на воду перебиваются? Потому вдвойне приятно было сластями девушку порадовать. А только она, бывало, все отворачивается, не принимает, на меня не смотрит. «Эх ты,— думаю,— гордячка!» Посватался я к ней. Мать ее возрадовалась. Понятно: у них избенка да коровенка-бутылошница, а у нас исправное середняцкое хозяйство: крепкая изба, корова что надо, лошадь, овечки, куры. Сделали сговор, ударили по рукам. Вышел я вечером невесту провожать, а она вдруг шепчет: «Николай Семеныч, не губи меня: я другому обещала». Этот другой-де наш же деревенский, в городе работает; вот-де подкопит денег, приедет, и тогда они свадьбу сыграют. Меня от обиды в жар бросило: вот как пренебрегает она моей добротой! Сама почти нищая, а туда же, выбирает, за кого ей лучше пойти, хорошей жизнью со мной гнушается, честного человека не жаль ей радости лишить... И тому подобные зряшные размышления. Обозлился

я вконец и назло ей все и сделал. Поженили нас, а наутро избил я в кровь молодую жену. Хоть и очень малосознательный я был в ту пору, однако понял, что душа ее против меня на дыбки встала. Снаружи ее взять — тиха, обиходна, слова плохого не скажет, но и не усмехнется, будто иголку проглотила. Чую, лежит жена в руках моих, как мертвая, и не будет мне от нее ни спасиба, ни ласки. Не мог я тогда в толк взять, в чем моя вина перед ней, и чем больше привязывался, тем больше и свирепел. Пока старики мои живы были, сдерживали меня — в открытую я ее бить стеснялся. А как померли старики, я совсем разошелся. Иногда зубами скриплю: так мне жалко ее,— а гнев сдержать не могу, бью, кляну ее нехорошими словами.

Еле год мы с ней прожили, а уж высохла она, пожелтела, точно с одра болезни. На пасхе в тысяча девятьсот четырнадцатом году напился я от одного ее горестного вида — во что красота обратилась! — и уж избил же я ее в тот веселый колокольный день! К вечеру мою Настасью добрые люди из петли вытащили. Отходили мы ее. Я устрашился, отрезвел, жалость во мне на время злобу да ревность пересилила.

Летом германская разразилась. Меня в ту же осень — на фронт! У людей жены на прощанье воем воют, а моя только низенько поклонилась. «А-а,— думаю,— уж как покойника меня провожаешь?» — и с мрачной злобой к ней уехал воевать, вспоминал о ней, как о яром моем недруге. А в окопах, поди ж ты, тоскую о ней, как мальчонка зеленый... После ранения приехал я домой на побывку. У людей жены на шею кидаются, хохочут, плачут от радости, а моя, словно постница, ручка в ручку поздоровалась, будто только вчера мы расстались. В покорстве ее да молчанье увидел я своего рода заговор, всегда против меня... И такая ненависть и обида разгорелись во мне на жену, что презрел я всякий стыд пред людьми и бил ее аккуратно каждый день, как дело делал! Однажды пала она мне в ноги: «Отпусти ты меня, Христа ради, странничать пойду!» Но я тогда не таковский был человек. «Ты что,— кричу,— хозяйство бросать вздумала? Мне в окопах вшиветь, а тебе странничать?»

Через несколько месяцев получаю от нее письмо: скоро младенца ждет. Обрадовался я: авось наша с

ней жизнь получше станет. В шестнадцатом году, после второго ранения, опять домой приехал и уже сына застал. Ребеночек такой удивительный, беленький, легонький, весь, словно свечечка, светится, и не слыхать его совсем. А как взглянешь на него попристальнее, так он глазки свои синенькие раскроет и даже замрет весь: пугливый да нежный такой уродился. Однажды, глядя на него, подумал я, что вся в страхе предо мною зачала его мать; и горько и стыдно стало мне за себя, и поклялся я себе с тех пор жену ни словом, ни рукою не обижать.

В конце семнадцатого вернулся я домой в большевистском настроении, а в восемнадцатом на гражданскую пошел. В двадцать втором родилась у нас дочь и через два года померла. В двадцать пятом родился сын, пожил четыре годочка и тоже помер, а следом за ним сошел в могилу и первый наш сынок. Настя давно уж задумывалась, а тут совсем замолкла, не спит, не ест — смотреть тяжко! Однажды поклонилась мне земно: «Прощай, Николай Семеныч, уж теперь уйду от тебя. Не удержишь, время иное, прощай!» Я — просить, молить ее; шутка ли — шестнадцать лет вместе прожили! Она стоит на своем: «Нет нам с тобой жизни, все смерть выходит... Что силком взято, не свято. Оледенело во мне сердце, может, на воле оттает». Меня как по загривку двинуло: «Вот оно что!» Да уж поздно понял... Ушла она от меня, поступила в сельсовет сторожихой. Встретимся с ней, кивнем друг дружке, как чужие. Зато в колхозе мы с ней чаще стали встречаться. Первые годы колхозной жизни мы, как и многие, то в одном, то в другом провирались: дело новое, громадное, люди разные. Враги страшно вредили, баламутили народ, скот резали, портили, строенья поджигали. Двух таких поджигателей Настасья у себя на ферме словила, шум подняла, не дала скрыться проклятым бандитам. Я, двух войн солдат, в восторг пришел от смелости ее и первый внес предложение, чтобы премировать ее за такой самоотверженный поступок. У ней, сердешной, по сю пору на руках следы от ножевых ран, что ей враги нанесли. Отвлекаясь в сторону, не могу упустить такого факта: когда она их за черным делом застала, столкнула она их одним махом — откуда и сила взялась! — в открытый люк, в котором денной рацион для скота складывали. Накинула крышку. За-

щелка-то плохонькая — надо руками держать. Она держит, а сама народ скликает. Бандюги снизу в дощатые щели давай ножи совать да по рукам ей, по рукам! Народ прибежал, а у ней, голубушки, ладошка и тыл в ленты исполосованы. Вот какая женщина оказалась! Надо сказать, что с первых же дней назначили Настасью главной колхозной животноводкой. Сколько она старательностью своей коров и молодняка спасла! К советам ее все прислушивались, а я, как член правления, постоянно с ней советовался. Смотрю, собой она посветлела, зла на меня не имеет, помогает очень охотно, от всего сердца. У меня на нее зла будто и не бывало никогда. Когда свобода между нами появилась, отпали от меня и все обиды на нее. Только сердце щемило: не мог я ее забыть. Пробовал жениться, да и года с той ошибочной женой не прожил, разошелся подобру-поздорову. Вдовушка, что мне сосватали, была работящая, крепкая, разбитная, а не прилепился я к ней душой. Эта мне и угождать стремилась, а меня не с ней, а с Настей тянуло разговаривать. Прежде, когда мы с Настей в браке жили, мы только о болях да занозах наших помнили и потому слов настоящих человеческих не находили. Тут, за общим делом, мы как на одном корабле очутились. Она мне советует, я ей помогаю, на сердце у нас одна благородная забота: как нашу колхозную жизнь укрепить да улучшить. Известно: куда сердце летит, туда и глаза глядят. Видно, она стала во мне что-то хорошее примечать. Да я к тому времени и верно переменился: готовился к вступлению в партию, книги, газеты читал; да и время, как говорится, разум растит. Живя врозь, мы друг друга внове узнавали с самой уважительной стороны.

В прошлом году получился для нас громаднейший сюрприз: вдруг прочли мы в «Правде», что партия и правительство многих колхозников нашей области наградили орденами. Прочел я, что полевод такой-то награжден орденом Ленина,— и глазам своим не верю, стою, как дурной: да неужели обо мне речь?! Опять и опять читаю: область, район, колхоз наши; имя, фамилия тоже с моей совпадают,— значит, действительно это меня перед всей страной отличили! Читаю дальше. Батюшки, да ведь и Настя орден Ленина будет на груди носить!.. Понесся, будто на крыльях, поздравить ее. Дверь широко распахнул, как раньше никогда не ос-

меливался. Настя еще ничего не ведала. Выходит, я первый ей о награде сообщил, первый и поздравил. Она так и всплеснулась вся, вспыхнула, как молоденькая, руки мне жмет! «Радость какую ты мне принес!» С тех пор стал я к ней все чаще захаживать. И чудесное дело: будто не тогда, при давнем моем, насильном сватовстве, а только теперь стал по совести жениться, невесту себе бережно приглядывать. Однажды сидели мы этак с ней под новешенькой, яркой лампочкой — колхозное электричество обновили! — вдруг, как при дневном свете, увидел я в русых ее волосыньках белые прядки... Да как же она поседела, бедная моя!.. А ведь ей еще и сорока нет! Это все мои руки не ко времени снег ей на головушку сыпали!.. Поклонился я ей земно, покаянно: «Прости ты меня, Настасьюшка, прости! Вон оно, старое зло мое, каленым снегом на меня смотрит, очи мне обжигает!» Она поняла, рядышком с собой усадила: «Ох, да ведь и ты седой!.. Видно, сердце сердцу дорого обошлись!» «...Так дорого,— сказал я,— что и забыть нельзя, и заменить никем невозможно. Видишь, я пробовал, даже ошибочно женился для твоего спокойствия, а толку не вышло... Пойдешь за меня, Настенька?..» Ну что там дальше рассказывать!.. На улице-то поздний вечер, мороз мосты мостит, а мы с ней будто в вешнем саду сидим, а вокруг нас яблони цветут...

— И будто вышла она за тебя? — грубовато спросила старушка.

— А то как же, бабинька? — весело отозвался из вечерней полумглы бывалый человек.— Теперь я председатель колхоза, а свою жену уважительно председательшей зову... Вот какие дела, строгая, сумнительная старушка!.. Простите, если резковато оказалось. Нашему поколению, поскольку вышло оно из захламленной, несчастной и жестокой жизни, порой куда труднее до истинного человеческого понимания дойти... Зато им, нашей молодежи...— председатель кивнул на склоненную, словно окутанную бархатистой дымкой голову задумавшейся девушки,— им такого тяжелого воза за собой тащить не приходится, им до хорошего доходить легче.

Девушка быстро подняла голову, и буроватая мгла будто раздалась от свежего звука ее голоса:

— Пока я вас, товарищ председатель, слушала, думала я о своих друзьях, что меня провожали. Очень

наша спутница, бабушка, меня своим недоверием задела. Мне всегда таким людям хочется доказать, в чем они не правы. Я все хотела вообразить, что было бы, если б мои товарищи повели себя не так, как сейчас, а совсем наоборот...

— Ну да, так, чтобы бабушка скорее поверила! — насмешливо произнес красноармеец.

— Пусть бы, например, изругали избранницу сердца, а то, чего доброго, рукам бы волю дали! — поддержал его чей-то сочный иронический бас.

— Очень, очень трудно мне представить такую картину! — почти с отчаянием воскликнула девушка.

В вагоне вспыхнуло электричество и осветило ее полудетски-круглое лицо с недоумевающе поднятыми черными крылышками бровей.

— Ну, ладно... Оба мне симпатизируют, и на этой почве между ними происходит, скажем, крупный конфликт... Начнут они кричать, оскорблять друг друга... Скажем, сегодня их никто не услышит, а завтра, послезавтра обязательно узнают об этом другие ребята.

— Обязательно расскажут комсомольскому комитету! — с торжеством заключил чей-то совсем юный, девичий голосок.

— В комитете спросят: «Откуда и почему появился этот антитоварищеский тон?» — подхватил красноармеец.

— Это женихов-то потянут? — неумолимо проскрипела старушка.

— Ну да, женихов,— повторил красноармеец.— Потому их положение будет еще сложнее: «поддались собственническим чувствам».

— Да они оба члены комсомольского комитета,— напомнила девушка,— с них спрос еще строже будет...

— Пусть бы они в разные стороны разошлись, что ли,— заворчала старушка.

— Они в одной бригаде или в разных? — деловито осведомился председатель колхоза.

— В одной... в нашей бригаде, а я бригадир...— И девушка, прижав руку к щеке, с жалостливым видом покачала головой.— Если, как бабушка советует, разойтись им в разные стороны, то есть в другую бригаду вписаться?.. Но они на это не пойдут, ни за что не пойдут!

— Ишь какая!..— фыркнула бабушка.— Заяц прыток, да плох прибыток — и его ловят... Как можешь ты все наперед знать?

Она сердито махала сморщенной ручкой, не замечая, что на нее смотрят с понимающе-снисходительной улыбкой, как на слабосильного, который упрямо стремится в неравный бой.

Лицо девушки пылало, как плод на тяжелой, урожайной ветке.

— Я знаю, почему им невозможно из нашей бригады уйти... Во-первых, почета жалко: ведь наша бригада во всей области самая первая. Кто стахановское движение на полях начал? Наша бригада! Уже два года, как переходящее красное знамя от области держим в своих руках. Оно и на поле с нами, в нашей полевой палатке, на почетном месте стоит. Во-вторых, мы все вместе хорошо сработались, а для этого тоже время и силы нужны.

— Чай, у вас и другие хорошие бригады имеются? — ворчливо прервала старушка.

— Конечно, кроме нашей, краснознаменной, можно, скажем, к Мите Шилову в бригаду записаться... Он как раз собирается весной в соревнование с нами вступить. «Будущим летом,— говорит,— знамя будет наше!..»

Катя задорно вскинула брови.

— Ну, это мы еще посмотрим!.. Да, значит, можно к Мите. Однако к Мите им не велик расчет идти. Митя прекрасный работник, но к нему не сразу приноровишься. Характер у него резок да крутоват, он не к каждому умеет подойти, забывает, что ведь люди-то разные... У Мити из-за этого дважды состав бригады менялся. Нет, к Мите они не пойдут! Это — третье соображение. Можно к Марусе Зыбиной — очень хорошая женщина. Но ее участок совсем в другой стороне: у нас бригады ведь территориально расположены, чтобы времени на лишнее передвижение не тратить. Это — четвертое соображение. Я тоже не кривая, не слепая — дальновидно ли с моей стороны премированных стахановцев из своей бригады отпускать? Уговаривать их буду изо всех сил, мирить, смешить, тормошить — и, вот вам слово, одержу верх!

— Ишь ты, ишь ты! Василиса Премудрая сыскалась... Рукавом махну — тучу спугну, бровью пове-

ду — хоромы возведу... Бойки больно стали!..— бормотала неугомонная спорщица, но и ребенку было видно, что она сдавала, бесславно сдавала, обезоруженная вчистую, побежденная.

— А если такую картину себе представить? — рассудительно заговорил бас.— Оба юноши внешне ведут себя безукоризненно, а внутри, в душе каждого, все кипит, завидует, ненавидит. Как быть в таком случае?

Девушка не ожидала такого поворота:

— Как быть?.. Гм... Значит, они неискренне поступают...

— К этой картине подход тоже вполне ясный,— вмешался председатель колхоза.— У нас на каждый факт открытыми глазами смотрят. Внутри кипит, говорите? Пусть молодой человек покипит, только бы заказы нашей социалистической жизни толково понимал. А какой главный их смысл? Честью живешь — мил да пригож, затоптал честь — головы не снесть! Побурлит молодой человек, а потом, о жизни размышляя, пусть себя в сообразность с ней приведет. И все станет ему в высшей степени ясно: может, ему уж как нравно выкинуть бы коленце с огнем да с перцем, ан это ба-альшим позором пахнет!

Все дружно рассмеялись. Только старушка качала головой. На нее уже никто не обращал внимания, разговор продолжался сам по себе.

— Вот-вот! — шумно радовался председатель, и его зоркие глазки искристо слезились от восторга.— Человек в самом себе научился плотину воздвигать. Кипишь, мутишь, вода? Хо-хо!.. А я тебя даже не пущу! Крепись, молодец, на ранней заре, ни буен, ни пьян,— к старости вечер будет румян. Эх, товарищи, говоря по-научному, я оптимист, да!.. Твердо знаю и вижу: много мы секретов знаем, чтобы человека к труду и правильной жизни привораживать, увлекать его, поднимать, отчего он, сам того не замечая, в герои всей страны выходит!.. Эх, еще какую силу да красоту наши советские люди миру покажут!..

— Ах, ты! — спохватился председатель.— Какая дискуссия получилась!

Он испытующе взглянул на старушку, привалившуюся к стене, и наклонился к ней:

— Вы спите, бабинька? Ложитесь-ка на покой, говорю. Вон ведь какую уйму разговоров вызвали вы, несмотря что старенькая!

— Нечего, нечего на меня взъедаться-то! — И старуха вдруг с неожиданной силой топнула сухонькой ногой.— Ну, вызвала всех на разговор и довольна осталась!

Некоторые даже слегка поперхнулись от изумления, будто на глазах у всех начал оживать умирающий. Кто-то почтительно спросил:

— В Москву едете, бабинька?

— В Москву. Там у меня внучка-летчица, к себе на жительство приглашает. Когда в гражданскую ее отца, мать убили, я внученьку и выпестовала, опорой ее стала. Ныне она моя опора. Совершила недавно знаменитый полет, награждать ее будут. Вот я прямо к празднику и еду.

— Стой, бабка! — с грубоватой лаской сказал председатель.— Выходит, ты у нас хитростью горячие речи выманивала?

— Как хочешь, так и считай, сынок,— с лукавым смирением ответила бабушка знаменитой летчицы.— Мне уж восемьдесят стукнуло, я еще при крепостном праве родилась, за всеё-то жизнь чужих слез и горя вдосталь навидалась и своего выше горла наглоталась. Вот и интересно мне, как ныне народ хорошую жизнь бережет... Вот и пытаю, не балуется ли народ-ат.

— Ай да бабинька! Ай да хитрая старушка! — И председатель, ударив себя по лбу, залился восхищенным смехом; потом, вытирая глаза, удивленно спросил:

— Но все-таки помоги понять: на кой ляд ты столько тут чудачила, бабинька?

— А то моя, как ты верно назвал, сумнительная крестьянская душа людей пытала. Мы, древние, в гроб ее с собой положим. При жизни нам она опостылела, так пусть вместе с нами в могиле истлеет, людям перестанет мешать. Как увижу я веселье людское, беззаботное, так взыграет иногда во мне старинная оглядка на горе да на слезы: ох, да не больно ли уж вы веселы?.. И начну я тогда чудачить, по-старинному воркотать. Люди на древние глупые мои слова полным новым зерном ответы дают, а мне и любо! Потом от-

кроюсь, конечно, как и вам открылась: довольна, мол, что народ не балуется, крепко работает народушко мой родный!.. Ох, ребята, ребята!..

Старушка вдруг поднялась с места — и все пораженно переглянулись: она оказалась совсем не маленькой, а высокой, костистой и даже величавой. Она сорвала с головы платок, и ее белые волосы засверкали, как чистое серебро. Потом посмотрела на всех долгим взором, полным широкой, важной грусти, как одна из могучих матерей человечества, которая обращается с последним напутствием к оставляемому ею поколению:

— Ох, похозяевала бы и я теперь на своей-то трудовой земле!.. Уж жила бы я сейчас да жила бы, до ста лет и более, дышала бы во всю грудь да любовалась бы на цвет земли моей!.. Да нет, вижу, недолго уж мне на цветы глядеть: погоревано, поработано, похожено... Косточки новые не заведешь. Ох, не глянется мне глаза навечно закрыть, утречка красного не видать!.. Вот и пытаю народ, из хозяйства уходя: а ну, как растешь, племя новое, как силушку копишь, как умом дела решаешь?.. Пытаю народ — и вижу: не балуется, не спесивится, крепкий, самостоятельный народ... Такому голову не снять!.. Ну, значит, и хорошо, мне в домовину уходить веселее...

Она усмехнулась мудро, тихонько и медленно села. Все молчали. Только председатель осторожно кашлянул в ладонь и просительно сказал:

— Да живите вы, бабинька, на доброе здоровье! Смотришь — правнучков дождетесь!..

Но старушка опять мудро и тихо усмехнулась и поманила рукой девушку.

— Слышь-ка,— шепнула она Кате, лучась каждой морщинкой,— хоть бы кто догадался, что у старухи во рту пересохло... Угости-ка ты меня яблочками, внучка!

Девушка легко вскочила, поднесла свою полновесную корзину и радостно заулыбалась, когда старые, узловатые пальцы выбрали самое крупное, румяное яблоко.

ВЛАДИМИР ЛИДИН

ЗВЕНИТ ЗОЛОТАЯ ПШЕНИЦА

Весной окончил мужицкий свой срок, отлютовал Дмитрий Голубень. Отлютовал, как жил напоследок: тишиною протаял, забелился от кончика острого носа до комьев тяжелых рук, и улыбка ли, что ли, прошла на лиловых его губах. Так он и лег в углу, со своей лиловой улыбкой, с начесанными височками русых волос, в холщовых смертных портах. И весна поплыла над ним, сибирская тугая весна, третья по счету, как испортила война человека, первого мужика на селе, как лютовал он два года и как медлила смерть принять русую такую сосну и мужицкую силу. Три дня голосили бабы,— мать и жена Голубеня,— пекли шанички и заупокойный хворост, и стало на сибирском большом селе одной вдовьей избою больше. Много в эту весну не засеяли мужицких полос, и густо пахли огороды полынным сиротским духом.

А под осень на вдовьих незасеянных полосах заколосилась пшеница-самосейка. Жадно хотела земля рожать и сама затяжелела золотым пшеничным колосьем в свою пору. И с залетным пшеничным семенем засеяло землю голубым васильковым цветом. Были эти цветы как голубые сироты,— много стало на сибирском просторе таких безотцовых сирот,— и только Дмитрий Голубень ничего не оставил бабе на память, не засеял ее своей напрасной силой и беречь дитятю не завещал.

Бабы отпричитали все песни, какие знали, отплакали мужика,— и села у окна Агафья, высокая и пустая,

как безлистое дерево, повязалась по брови черным платком, сидела и глядела сухими глазами на белую степную дорогу, так что страшно было смотреть на бабу со стороны. И за днем пошел отмеряться день, как холстина. Так дала погоревать ей весь срок бабка — мать Голубеня, а потом пришла и села с ней рядом. Было ей семьдесят лет, и третьего сына собрала она в путь; глаза у нее были не серые и не синие, а словно рыбье серебро — от слез и бабьей вековой беды.

— Ну, будет, Гаша,— сказала она,— покуковала, и будет. Твое горе большое, а моим землю зальешь.

— Пустая я,— сказала Агафья тоскующе,— без дитяти хожу, сохну я. Хоть бы дите мне оставил на утешение на мое. Вон пшеница цветет, сама засеялась, а я как пустырь.

— Дите тебе нужно, Гаша, это верно. Мой мужик помер, четверых оставил, с ними и жизнь как трава пошла.

Бабка подперла щеку и тоже стала глядеть серебряными своими глазами на дорогу. Далеко идет степная дорога, много степных крестов, а пуще братских бескрестных могил за эти годы понасыпано. И звенит пшеница: не сеял никто, сама взошла, как показано земле рожать в свое время. Так сидели бабы у окна, глядели на степь, и были у одной глаза — незрячие будто, и в черных других глазах тосковал и клонился степной ковыль.

А неделю спустя повстречался бабке на околице прохожий человек. Был человек в степной пыли, крепко ожжен солнцем, была у него шея, как ствол, в открытом вороту, и золотые волосы выгорели овсяно. Человек посмотрел на бабку синими нетревожимыми глазами и спросил:

— А где мне здесь передневать, бабушка?

Бабка оглядела его всего, пыльную его голову, загорелую шею.

— А далеко путь держишь?— спросила она погодя.

— Я-то? Далеко,— весело сказал паренек и тряхнул пыльными своими, все же золотыми волосами,— на Волгу, в Саратов.

Бабка подумала и сказала:

— Через степ-то как, на крыльях летишь?

— Когда на крыльях, а когда и киргиз подвезет,— ответил паренек совсем весело.

— Вот ты ястреб какой, поверху через степ летишь... это и ярочке каждой от тебя хорониться надо.

— Сверху виднее мне, это верно,— сказал паренек смешливо, и он сел с нею рядом на степной придорожный камень.

— Ну, как тебя такого в дом пустишь,— сказала бабка еще и покрутила головой,— ты и бабу мою улестишь, как ястреб кругом обойдешь... под самую твою ястребииую жадь баба, мужика схоронила, скучает, сил моих нету с ней.

Человек быстро поглядел на нее, и вдруг добавила бабка так, что дрогнуло у него горячо виутри:

— Хоть бы ты ее развеселил, что ли, парень... а я тебе на дорогу соберу, до самой Волги дойдешь — вспомииать будешь.

Он раскрыл было рот, хотел спросить еще о чем, но ие спросил ничего. Так, на седом придорожном камне, сговорились они без слов, и старуха повела его в дом.

И прохожий паренек остался дневовать. Был он весь, как степной ястребок, и рассказывал бабам про все свое житье, о том, как в двадцать два своих года узнал он три полных смерти, как убивали его на крутом косогоре и как скатился он с косогора вниз и сам себя убитым считал, и такая у него грусть была, когда целились в него солдаты,— а потом ои понял, что не убит, и бежал восемь верст без сапог по осеннему жнивью, потому что сияли с него сапоги перед смертью. Рассказал он еще, как подался от смерти он в сторону, как подался в Монголию, и как жил в степях, и какие степи в Монголии. Прожил он в двадцать два своих года целую жизнь и смерть, а теперь затосковал на чужой стороне и идет к дому, на Волгу, из самой Монголии.

Смотрела Агафья на человека, был такой же смоляиою сосной в свою пору Дмитрий Голубень, только ростом повыше, да глаза построже. Зашел пареиек в избу на день, а остался на целый месяц. Был он в работе ловок и спор, и когда запахло мужицким трудом — повеселело в доме, словно светлее стало. Десять дней убирали пшеницу, вязали ее бабы в снопы, и было все так, словно в дальнюю пору, когда добытчиком был — молодой и веселый — Дмитрий Голубень. Тут увидела бабка, что потеплело лицо Агафьи, отошло от вдовьей беды, и розовеет баба, как девка, когда покри-

кивает на нее по-мужицки паренек на работе. Есть такая человеческая отрада на свете, что не век дано горевать человеку и дана ему легкость забывать беду и печаль и по новой любовной игре тосковать.

Отзвенела пшеница, забили ею амбары,— отродили поля и легли в осенней слюде и пустынности. Стал паренек сниматься — дальше плыть, и вот в последний этот вечер, в самые ро́сстани, оставила бабка дом и ушла сама в степь. Там, на том же камне, на котором сидела она с пареньком в первую встречу, села она в степи, и месяц, народившийся только, поплыл над ней не спеша, как жемчужная птица, голубел и плыл, и была в степи бабка сама, как камень, брошенный на дороге. Так эту ночь провела она на степи, а наутро, вернувшись, увидела, что закрылась Агафья платком по глаза и глаз не поднимет. Стали бабы собирать в путь захожего человека. Положили ему в мешок две смены ношеного белья Голубеня, и увидела бабка еще, что перебирает Агафья белье в сундуке и не решится никак достать новую мужнину рубаху, которую сама вышивала... Полдня собирали бабы человека, паренек взял путевой свой мешок, просунул руки в петли, тряхнул на спине — готов человек дальше плыть, никогда чтобы, верно, назад не вернуться и не оглядываться. Шли бабы за ним к околице, и у самой околицы остановился паренек, поглядел еще на баб напоследок: одна, как камень в степи, и другая — высокая, смутная, и улыбнуться хочет напоследок, и не может. Взял ее руку в свою, поглядел в глаза — и поплыло вдруг что-то из этих глаз, словно дунули в самое сердце.

— Ну, прощай, Гаша,— легко хотел сказать, весело, как по жизни шел,— и не вышло весело. И понял вдруг человек, что впервые, может быть, не уйдет без оглядки, назад оглянется и вспомянет степную эту дорогу, и как отдала ему баба свою вдовью тоску, и как умирал три раза и жив остался... Так, на степи, простился он с бабами и пошел прочь по степной дороге. А на повороте услышал — бежит за ним человек. Бежала за ним по степи бабка, седые волосы по ветру, черный рот раскрыт, не отдышится. Подбежала и сует в руку:

— С собою на счастье возьми, митькино это... спасибо, что горем нашим не побрезговал.

И назад понесло, как перекати-поле несет. Паренек посмотрел — бумажка в ладони, развернул бумажку, увидел: пупочек человеческий, сухая пуповина, какую берегут бабы от первенца. Подержал на ладони, подивился, хотел бросить в пыль человеческий этот прах и не бросил. Завернул снова в бумажку, сунул в карман и дальше зашагал по степи. И оттого, что не бросил в пыль, такая вдруг радость захватила: дальше по жизни плыть, вот как бы ястребом именно над степью кругами кружить, белое овечье руно высматривать — душу человеческую. Осеннее зарево лежало над степью, разгорелось слюдою. Так шел по степи, глядел в это марево и в сердце дул ветер, какого не знал никогда.

...Под самую зиму, когда покрыло уже инеем степь и были над степью ветра и стыль, пришли во вдовью избу бабы на посиделки. Бабы сели по лавкам в круг, посумерничали, покуковали — и запели. Пели бабы негромко, как поют всегда ввечеру бабы, и была среди них одна тяжелая баба. Агафья слушала бабьи песни и сама пела, а когда спели бабы свое и ушли — подошла к бабке, стала перед ней на колени и схоронила голову у нее на груди. Так стояла на коленях и не смела поднять лица; и вот погладила сухая рука ее голову, гладила и к себе прижимала — и сказала бабка наконец:

— Вот и твой свет зажегся, Гаша, вымолила я тебе утешение... отродишь — как земля от воды насытишься. А парень он ласковый был, жалостливый до чужой беды.

Тогда подняла Агафья темные свои, запавшие, сияющие глаза, она глядела на лицо бабки, было это лицо дивно и таким словно светом светилось, что зашло ее сердце от покоя и радости, каких не знала она никогда, и никогда еще не хотелось так жить — во всю меру, насколько хватит дыхания и бабьей вот этой горячей воли...

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

МАЛОЛЕТНЫЙ ВИТУШИШНИКОВ

1

Ночь была проведена беспокойно. Дважды поднимался и окидывал комнату строгим взглядом. Потом было сказано:

— То-то,—

и сразу же, завернувшись в боевую шинель, уснул.

Он лежал на узкой походной кровати. Похода не было, но иногда к вечеру он уединялся в «походную» комнату, свой боевой кабинет, и там, завернувшись в простую серую шинель,— засыпал.

Было замечено, что такие уединения совершались обычно после дней, когда он бывал отягощен семейными и государственными делами.

Вчера и был такой день: Варвара Аркадьевна Нелидова отлучила императора от ложа.

Проведя ночь на боевой постели, он обычно вставал полный решимости. Всегда умывался холодной «солдатской» водой, растирал мускулы и несколько секунд гладил то место, под которым должна быть грудобрюшная преграда. Предложение лейб-медика Мандта для снятия излишнего. Затем быстро одевался и внезапно являлся.

Так было и теперь. Завтрак прошел превосходно. Он приласкал наследника и сказал любезность. Затем отправился в телеграфную комнату — год назад первый электрикомагнитический телеграф был проведен из его зимнего дворца к трем нужным лицам: шефу жандармов Орлову, главноуправляющему инженерией Клейнмихелю и фрейлине двора Нелидовой, которая

жила по Фонтанке. Изобретение ученого сотрудника III отделения, барона Шиллинга фон Капштадт. Чуждаясь обыкновенной азбуки, он предпочитал собственную систему шифров — le système Nicolas [1]. Выслав вон телеграфного офицера, он сам послал особое слово к фрейлине Нелидовой, означавшее:

— Barbe [2].

Несмотря на то, что депеша, вероятнее всего, достигла назначения, ответа не было.

Повторено:

— Barbe.

Затем, с поспешностью и огорчением, послано сразу:

— Вы все еще сердитесь?

Вскоре электрикомагнитический аппарат принял ответ:

— Ваше величество...

Обычно для сокращения употреблялось: «Sire — государь».

— ...увольте...

Император с длинным карандашом в руке расшифровывал значение слов.

— ...на покой...

Он положил карандаш.

Легкий вздох, он нахмурился, и с телеграммами на этот день было покончено.

Потом был выход и прием различных дел.

2

Ссора имела следующую причину.

Будучи образцовым, являясь по самому положению образцом, император желал одного: быть окруженным образцами. Варенька Нелидова была не только статна фигурою и правильна чертами, но в ней император как бы почерпал уверенность в том, как все кругом развилось и гигантскими шагами пошло вперед. Она была племянницей любимицы отца его, также фрейлины Нелидовой, что, как человека, его вполне оправдывало,— и для отошедшей эпохи получалось невыгодное сравнение. Та была мала ростом, чернява и дурна, способна на противоречия. Эта — великолеп-

[1] Система Николая *(фр.)*.

[2] Варвара *(фр.)*.

но спокойного роста, с бледной мраморностью членов и с тою уменьшенной в отношении к корпусу головой, в которой император видел действие и залог породы.

Несколько дней назад, при обычном представлении императору, она вдруг скрыла лицо на его груди и заявила, что понесла. Это было вопросом столь же семейным, сколько государственным.

Как человек император был приятно удивлен. Днем он особенно милостиво шутил, легко подписал государственный баланс, внезапно наградил орденом св. Екатерины кавалерственную даму Клейнмихель (родственница), и все ему удавалось. Затем обдумал будущий герб и некоторые мероприятия. Для герба он полагал — овальное голубое поле и три золотых рыбки. Титул: герцог или ниже — граф. Фамилии еще не выбрал, но остановился на трех: Николаев, Романовский, Нелидовский. О том, что может быть дочь, женского пола, он не думал. Затем обдумал поведение матери. Она должна ежедневно гулять по Аполлоновой зале или по Эрмитажу не менее часу. Окруженная со всех сторон статуями, видя вокруг себя мраморные торсы и колонны, будучи сама таким образом центром изящества, молодая мать может произвести только изящное.

Но вслед за этим император немного увлекся. Думая в этот вечер исключительно о предметах, связанных с женщиной и ее назначением, он живо представил себе событие всего и ясно увидел сцену: как он впервые приветствует младенца.

Розовый младенец лежит на руках у кормилицы, и он по простонародному русскому обычаю кладет тут же на подушку, «на зубок», маленький свиток — герб и прочее.

На руках у нарядной кормилицы. И незаметно, может быть, мимоходом, вспомнив о форменных фрейлинских платьях, нахмурился: с женской формой дело не удалось и вызвало много толков. Тут же он вдруг подумал о форме для кормилиц. И сам удивился: у кормилиц самых высших должностей не было никакой формы. Полный разброд — включая невозможные кофты-растопырки и косынки. Назавтра он сказал об этом Клейнмихелю: пригласить художников, а те набросают проект. Клейнмихель распорядился быстро.

Через два дня художники представили свои соображения.

Головной прибор: кокошник, окаймляющий гладко причесанные волосы и сзади стянутый бантом широкой ленты, висящий двумя концами как угодно низко. Сарафан с галунами. Рукава прошивные.

Художники ручались, что дородная кормилица в этой форме широкими и вместе стройными массами корпуса поставит в тень кого угодно.

Форма вызвала одобрение императора, приказавшего только озаботиться ввести более резкие отличия от парадного, также простонародного, костюма фрейлин. И она же вызвала ссору.

Вареньку Нелидову вдруг стали поздравлять, и дело получило самую широкую огласку.

Форма для кормилиц временно оставлена под сукном, но третий день уже длилось охлаждение.

3

Пройдя по Аполлоновой зале, он увидел на мгновение в зеркале себя, а сзади копию Феба, и невольно остановился — он почувствовал свое грустное величие: император, получив горький ответ на свои чувства,— проходит для приема воинов в Георгиевскую залу. И в Георгиевской зале сразу принял эту осанку: старее, чем всегда, много испытавший, император принимает парад старых воинов.

Представлялись старослужилые жандармского корпуса офицеры. Император остановился взором на самом старом из них. Ему припомнилось, что где-то он уже видел его.

— Мы уже где-то встречались? — сказал он грустно.

— Точно так, ваше величество, имел счастие. Позвольте в отставку,— сказал старец, слезясь.

— Подожди, мой старый... драбант,— сказал император,— мы вместе пойдем в отставку.

Все дрогнули.

Император хотел было сказать: старый товарищ, но решительно не помнил, где видел жандарма, и поэтому сказал: мой старый драбант. И об отставке.

Увидя слезы у всех на глазах, остался доволен.

— Входите во вкус делать добро,— сказал он.

Прием кончился.

Двум солдатам Егерского полка карабинерной роты захотелось выпить. Браво солдатствуя уже десять лет, эти двое солдат, соседи по нарам, только раз штрафованные, но не бывшие на замечании, одновременно захотели выпить водки. Ночью, ворочаясь с боку на бок, они сказали об этом друг другу. Предприятие было опасное.

— Рыск,— сказал старший и заерзал спиною.

Казармы стояли в одном из невидных мест, которых было много в Петербурге: в десяти минутах ходьбы были присутственные места, Нева, мост, соединявший Петербургскую часть с Васильевским островом, значительные и важные сооружения; но кругом — сады, голые и черные, табачная лавочка, богадельня, в которой виднелись бодрые инвалиды, а дальше — совершенно прозрачная, белесая дичь. По направлению к присутственным местам был кабак. Старший солдат работал в полковой швальне, и ускользнуть можно было, напросившись в одну из перевозок или на поручение. Речь шла о втором. Но и у второго была надежда: его употреблял по сапожному мастерству ротный командир, и могло случиться, что он мог быть вызван на квартиру для снятия мерки с ног супруги ротного командира.

— Рыск,— сказал сапожник,— без рыску нельзя.

Первый же был озабочен. Он сомневался.

В полку у солдат не было излишнего времени, которое не на что употребить, а излишнее время, оставшееся от строевой службы, швальных и пошивочных дел, чистки обмундирования и сбруи и т. д., заполнялось детскими играми. Если же бывали упущения, командир трактовал солдат как людей совершенно другого, зрелого возраста. Также в праздники делалось исключение — выдавалось по шкалику водки, которую звали «пенник» и «добрый пенник», а шкалик — «чаркой»; тогда же, во время праздника, ребята допускались «до девок», что в полку звалось также «попастись» и «на травку». Больные же и наказанные солдаты пользовались в госпиталях.

В утро того дня обоим солдатам посчастливилось. Выйдя из ворот казармы, каждый по служебному делу, они разошлись в разные стороны, один подождал

другого, и вскоре, сойдясь, они вытянулись, выровняли шаг и маршем направились по дороге в кабак.

Был час дня.

5

Принужденный вникать во все стороны подведомственной жизни, император после краткого отдыха принял главноуправляющего путями сообщений и публичными зданиями, генерал-адъютанта Клейнмихеля.

Небольшого роста, очень плотного сложения, с рыжими, чуть потолще императорских, усами, граф Петр Андреевич Клейнмихель был сложной натурой. Управляя, он не любил подписываться на бумагах, а производил дела по личному сговору и устному приказанию. Для быстроты суммы пересчитывались тут же, на месте, при самом заинтересованном лице. Перемещаемый с одного высокого поста на другой, он получил пестрое образование. Девиз его был: усердие все превозмогает. Будучи толст, рыж и усат, имел нежную девичью кожу. Проходя по строю подчиненных, говорил с ними звонким голосом и бывал скор. Допускал при провинностях короткость: трепал карандашом по носу. Но был и откровенен. При докладах открыто трактовал, например, министра финансов Вронченко — скотиной. Когда упоминалось это имя, он сразу заявлял:

— Скотина! —

и более не слушал доклада. Но трепетал, как смолянка, чувствуя приближение императора. Войдя в его кабинет, он становился меньше ростом, бледнел, усы поникали, он видимо таял. Говорил хриплым страстным шепотом, когда же находил обыкновенный голос,— это был тонкий, детский дискант. Близость императора имела на Клейнмихеля чисто физиологическое действие: когда император сердился, генерала начинало тошнить. Отойдя в угол, он некоторое время с трудом удерживался от спазм. Император знал за ним эту слабость и уважал ее.

— Сам виноват,— говорил он генералу, когда тот терялся.

Вместе с тем эта слабость была силой генерал-адъютанта Клейнмихеля. Она внутренне подстрекала его быстро исполнять приказания по строительной ча-

сти, а с другой стороны, доказывала полное уничтожение перед волею своего государя.

Постепенно он научился избегать гнева. Будучи дежурным генералом, он каждое утро являлся с экстренным докладом ко дворцу. Его лошади были скоры как ни у кого, что он считал особо необходимым для начальника путей сообщения. «Пух и прах!» — таков был его обычный наказ кучеру.

Ровно к двенадцати часам он прибыл во дворец, привезя с собою в санях черный, плотный, как гроб, портфель.

Мелкими шагами, запыхавшись, с беспечностью на розовом лице, он прошел к императору и на пороге побледнел.

Сдвинув ноги в шпорах, издал тихий звон. Произнес приветствие. Сразу же стал доставать из портфеля различные предметы — и вскоре разложил перед императором желтый шнур для выпушки, пять отрезков темно-зеленого мундирного материала разных оттенков, маленькую, нарочно сделанную для образца, фуражечку путейского ведомства и жестяную, плотно закрывающуюся баночку с черной краской.

Это были образцы.

Император посмотрел на них непредубежденным взглядом; он взял со стола шнур и, поглядев на графа, намотал на указательные пальцы. Генерал выдержал взгляд. Император рванул шнур. Шнур выдержал испытание. Приоткрыв баночку, император понюхал и спросил брезгливо:

— Это что?

— Краска, представленная для покрытия буток, государь.

Император понюхал еще раз и отставил.

— Новую смету приготовил?

— Приготовил, государь.

— Сколько?

— Пятьдесят семь миллионов, ваше величество.

— Сорок пять — и ни полслова более. У меня деньги с неба не падают.

Дело шло о сметных деньгах по новой Николаевской железной дороге. Первоначальная смета была отклонена. Работы же вообще производились по справочным ценам.

Император посмотрел пристально на Клейнмихеля.

— Я прикажу быть инженерам честными,— сказал он.— Тумбы у тебя поставлены?

От здания таможенного ведомства вдоль по Неве тумбы имелись только с одной стороны. Со стороны набережной был переход прямо на холодный невский гранит. Стремясь к симметрии не только во внутренних вопросах государства, но и во внешнем устройстве столицы, государь, проезжая, обратил на это внимание генерала.

— Стоят, ваше величество,— грустно ответил генерал.

Государь указал на шнур, фуражечку и баночку.

— Возьми.

Прием был закончен.

6

Выйдя из дворца, граф Клейнмихель сел в сани и закричал отчаянным голосом опытному кучеру:

— Гони, скотина! В управление! Пух и прах!

Три прохожих офицера стали на Невском проспекте во фрунт. Чиновники чужих ведомств снимали фуражки. По быстроте проезда все догадались, что скачет граф Клейнмихель по срочному делу.

Он пробежал в свой кабинет, не глядя ни на кого.

— Позвать скотину Игнатова,— сказал он.

Скотина Игнатов, статский советник, явился.

— Тумбы! Где Еремеев? Брандмейстер! Брандмейстер! — кричал генерал.

«Брандмейстер» было прозвище статского советника Еремеева, смотрителя уличного благоустройства, неизвестно откуда происшедшее.

Дело объяснялось так: генерал-адъютант Клейнмихель забыл отдать распоряжение о тумбах.

Чувствуя во рту сладкий вкус — предвестие тошноты,— генерал Клейнмихель распоряжался. Тумбы оказались заготовленными, но еще не поставленными. Через пять минут была послана на место производства работ рота строительно-инженерных солдат. Каждые пять минут прибывали с рапортом лица внешнего отделения полиции. Они рапортовали, что все в порядке; ничего особенного по месту производящихся работ не

произошло. Слабея, генерал ходил по кабинету и все реже хриплым голосом кричал:

— Я прикажу им быть честными!

Через четверть часа тумбы воздвигнуты в установленном порядке, а следы недавнего внедрения, насколько возможно, скрыты щебнем. Император в местах производства работ не замечен.

Генерал Клейнмихель опустился в кресла.

— Пух и прах,— сказал он.

7

Именно в это утро, более чем когда-либо, император ощущал потребность в государственной деятельности. Образцы, среди них маленькая фуражечка, не удовлетворили его. Ни одной минуты не должно быть потеряно даром. Разве заехать к вдове полкового командира Измайловского полка и сказать потрясенной горничной девке:

— Доложи: приехал генерал Романов...—?

Старо и не следует повторять более разу. Можно устроить чрезвычайный смотр Преображенского полка. Обревизовать внезапно конюшенное ведомство. Затребовать план нового кронштадтского форта, составленный Дестремом. Заняться делом о краже невесты поручиком Матвеем Глинкою.

Он приказал заложить лошадей и поехал внезапно ревизовать С.-Петербургскую таможню.

Он прекрасно знал город как стратегический пункт. С того времени, когда в городе случились неприятные беспорядки при его восшествии, он привык по-разному относиться к частям города. Так, например, не любил Гороховой улицы, не ездил по Екатерингофскому проспекту и всегда подозревал Петербургскую часть. Прекрасно зная план своей столицы, он, однако, выезжая, испытывал иногда чувство удивления, как улицы в их грубом пригородном начертании, усеянные посторонней толпою и зрителями, мало походили на план. Любил поэтому знакомые места — Миллионную, правильный Невский проспект, бранное, упорядоченное Марсово поле.

С Васильевским островом мирился за его немецкий и забавный вид — там жили большею частью булочники и аптекари. Он помнил водевиль на театре

Александрины, этого, как его... Каратыгина, где очень смешно выводился немец, певший о квартальном надзирателе:

И по плечу потрепал.

Он тогда сказал Каратыгину: очень неплохо.

— Недурные водевили сейчас даются на театре. Глаз да глаз.

А до таможни проездиться по Невскому проспекту.

Прошедшие два офицера женируются и не довольно ловки.

Фрунт, поклоны. Вольно, вольно, господа.

Ах, какая! — в рюмочку, и должна быть розовая... Ого!

Превосходный мороз. Мой климат хорош. Движение на Невском проспекте далеко, далеко зашло. В Берлине Linden[1] — шире? Нет, не шире. Фридрих — решительный дурак, жаль его.

Поклоны; чья лошадь? Жадимировского?

Вывески стали писать слишком свободно. Что это значит: «Le dernier cri de Paris Modes»[2]. Глупо! Сказать!

Кажется, литератор... Соллогуб... На маскараде у Елены Павловны? Куда бы его деть? На службу, на службу, господа!

У Гостиного двора неприличное оживление, и даже забываются. Опомнились наконец. А этот так и не кланяется. Статский и мерзавец. Кто? Поклоны, поклоны; вольно, господа.

Неприлично это... фырканье, cette pétarade[3] у лошади — и... навоз!

— Яков! Кормить очищенным овсом! Говорил тебе!

Как глупы эти люди. Боже! Черт знает что такое!

Нужно быть строже с этими... с мальчишками. Что такое мальчишки? Мальчишки из лавок не должны бегать, но ходить шагом.

Поклоны, фрунт.

А эта... вон там... формы! Вольно, вольно, малютка!

---

[1] Unter den Linden (*нем.*) — буквально «Под липами» — одна из главных улиц Берлина.

[2] «Последний крик Парижа. Моды» (*фр.*).

[3] Эта трескотня (*фр.*).

Въезжая на мост, убедился в глянце перил. И дешево и красиво. Говорил Клейнмихелю. Вожжи, воздух. Картина! Какой свист, чрезвычайно приятный у саней, в движении. Решительно Канкрин глуп. Быть не может, чтоб финансы были худы. А вот и тумбы... Стоят. Приказал, и тумбы стоят. С тумбами лучше. Только бы всех этих господ прибрать к рукам. Вы мне ответите, господа! Никому, никому доверять нельзя. Как Фридрих-дурак доверился — и aufwiedersehen [1].— Стоп.

Таможня.

8

Он заметил, как покачнулся толстый швейцар и как сразу выцвели и померкли его глаза в мгновение перед тем, как упасть корпусом вперед в поклоне. И он вступил в здание.

Он любил внезапное падение шума, чей-то отчаянный шепот и затем, сразу, тишину. И появляется — он.

Его глаз замечал все — писец за столиком вдруг перекрестился, как бы шаря у пуговицы.

Он отдал громко приказ:

— Продолжать дела!

Шел обычный досмотр вещей, и чем обычнее были вещи, тем яснее чувствовалось значение происходящего. Его присутствие придавало смысл всем досматриваемым вещам, даже ничтожным; произносились названия. Он стал у весов.

— ...золотые дамские, с горизонтальным ходом, женевские...

— Водевиль-Канонес — сигары — ящика: два; Дос-Амигос-Трабукко — ящика: один; Водевиль-Рояль...

— Рококо столовых ложек: двенадцать; ренессанс черенков: двенадцать...

— Книги немецкие, в книжный магазин Андрея Иванова.

— Вскрыть.

Книги ему показались дурного тона. Он отобрал из них две неприличные. «Цацениаммер» — сборник грязных анекдотов с изображениями женщин, у которых виднелись из-под юбок чулки, и «Картенишпиль»— руководство к выигрышу. Карточная игра в последнее

[1] До свидания *(нем.)*.

время очень развилась, что серьезно его заботило. Перевод сочинения Александра Дюма «Графиня Берта» отложен за ненадобностью.

Неприметно он увлекся досмотром вещей. Было наперед ясно, что в каждой прибывающей партии товаров имеются вещи злонамеренные. И он ждал их. Но вместе была и полная неизвестность: а вдруг ровно ничего не окажется?

— Подсвечники кабинетные для вояжа, штуки: две.

— Канделябры...

— Сигарочницы, бритвенницы разной величины, штук: десять...

— Машинка для языка...

Он стоял.

Досмотр шел; вскрывались ящики, вещи извлекались.

Оставались всего два ящика, большие и хорошего вида.

— Экспедицьон офицель [1],— сказал таможенный тихо.

Ящики с такою надписью отправлялись на министерства, посольства и вскрытию не подлежали.

Он посмотрел поверх должностных лиц, бесстрастно.

— Expédition — это вы,— сказал он,— officielle — это я. Вскрыть.

Легкий вздох прошел по залу.

Началось вскрытие клади, которая много лет безмолвно пропускалась лицами таможенного ведомства, не имеющими права интересоваться содержанием.

— Досмотреть и перечислить.

И здесь произошло событие, не предвиденное даже императором.

— Сорочки женские шелковые, штук: двадцать,— сказал чиновник.

— Одеяла ватные, шелковые с кистями, штук: пять...

— Полотно батист, мануфактур Жирард, кусков: десять...

— Зеркала филигрань...

Бросились к ящику проверять адрес — оказалось в порядке: груз казенный, expédition officielle. И что

[1] Expédition officielle *(фр.)* — официальная посылка; экспедиция — отделение почтамта.

впопыхах раньше не прочли: для отдельного корпуса жандармов шефа графа Орлова.

— Чулок женских шелковых, пар: двадцать...

Император, несколько опешив, стоял.

Вдруг манием руки он прервал пересчет.

— Доставить к нему на квартиру,— сказал он.

Близкостоящему чиновнику послышалось как бы еще:

— Свинья! —

но чиновник не осмелился расслышать и до самой смерти донес воспоминание, что император сказал вовсе не «свинья», а «семья», желая таким образом объяснить содержание официального пакета семейными обстоятельствами шефа жандармов графа Орлова.

И большими шагами, производя звон большими шпорами, еще возвысясь в росте, император, посмотрев на всех, удалился в негодовании.

9

Император страдал избытком воображения.

Обычно он не только гневался, но еще и воображал, что гневается. Он даже отчетливо видел со стороны всю картину и все значения своего гнева. Вместе с тем его раздражительность была чувство не простое. Составив себе определенное законными установлениями представление об окружающем, он негодовал, находя его другим. Но как он понимал, насколько ниже его все окружающие, то ничего, в сущности, не имел против того, чтобы они имели свои слабости.

Однако случай с графом Орловым его озадачил.

Направляясь в таможенное ведомство, он думал, что откроет там какое-нибудь злоупотребление, неясно представляя, какое именно. Он знал, что шеф жандармов берет большие взятки и даже переписал на себя чьи-то золотые прииски, но мирился с этим ввиду больших, чисто политических размеров взимаемого. Здесь же эти одеяла и двадцать штук беспошлинных женских сорочек удивили его, так сказать, домашнею осязательностью предметов. Зачем ему нужны эти двадцать сорочек? Тысяча свиней!

Он не любил бывать озадаченным. Ноздри его были раздуты. Выйдя на совершенно опустевшую улицу, он пешком дошел до угла. Кучер Яков ехал мерным

шагом за ним, соблюдая расстояние. Перед тем как сойти с панели к саням, император в раздражении ударил носком сапога в тумбу.

Многими историками отмечалось, что бывают такие дни, когда все кажется необыкновенно прочно устроенным и удивительно приложенным одно к другому, а весь ход мировой истории солидным. И напротив, выдаются такие дни, когда все решительно валится из рук. Тумба, в которую ударил носком сапога, находясь в дурном настроении, император, внезапно повалилась набок. Кучер на козлах крякнул от неожиданности. Улица была безлюдна.

— Где мерзавец Клейнмихель? — спросил себя император, глядя в упор на кучера.

Но кучер Яков был муштрованный и на государственные вопросы не отвечал.

Он тихонько произнес, как всегда в этих случаях:

— Эть (или даже: эсь),— и слегка натянул вожжи, так что это слово, если только это было словом, могло быть отнесено и к лошадям.

Между тем вопрос имел свое значение, что обнаружилось впоследствии.

Если бы здесь, под рукой, оказался Клейнмихель, как всегда в таких случаях, все хоть бы отчасти улеглось. Генерал мог бы сослаться на грунт или отдать под суд роту своих инженерных солдат. Здесь же, имея перед глазами Неву, невдалеке мост, построенный генерал-инженером Дестремом, дальше Петербургскую часть, а у ног тумбу,— император излучал гнев, не находивший применения.

В чисто живописном отношении его лицо чем-то, своею быстрою игрою, напоминало в такие минуты молнию в «Гибели Помпеи» Брюллова и «Медном змии» Бруни.

Он почувствовал старое военное состояние, в котором был тогда — при Енибазаре — тогда, когда военный совет просил его об удалении с поля битв из-за опасности быть окруженному подобно Петру Великому на берегах Прута. Полный горького сознания, что такой гнев растрачивается впустую, он сел в сани и приказал:

— Через мост, на Петербургскую часть. Кругом, в обход!

Сани помчались.

— Посмотрим, посмотрим, господа мерзавцы!

Был час дня.

10

В это время обер-полицеймейстер генерал Кокошкин, получив ложные донесения о движении императора на Васильевский остров, выехал наперерез, имея в составе полицеймейстера и трех чинов внешнего отделения полиции. Не встречая на своем пути ничего подозрительного, генерал Кокошкин распорядился, однако же, через четверть часа двинуть одного из чинов, поручика Кошкуля 2-го, в обход, по направлению к казармам Егерского полка, на Петербургскую часть.

11

События развивались быстро.

Петербургская часть, при неустроенности мостовых и обилии непроезжих пустырей, имела свои преимущества: редкую заселенность, приземистое строение домов, открывавшее глазу широкую перспективу и отсутствие скопления людей на улицах. Сани, управляемые опытным кучером, неслись.

Была перепугана водовозная кляча, плеснувшая из бочки воду, чуть не понесшая, скрылись две салопницы, мелькнули уличные сцены из жизни простонародья, а там пошли пустыри и осталась позади будка градского стража.

В это время император на повороте, невдалеке от Невы, заметил двух солдат, по форме как будто Егерского полка. Солдаты, бодро идя по чистому зимнему воздуху, не слышали звука саней и оба разом зашли в низенькую дверь строения, не напоминавшего по виду ни одного из зданий военного ведомства. Поравнявшись с дверью, император прочел на вывеске: «Питейное заведение» и надпись мелом рядом, на заборе: «кабак».

Сомнений не было никаких. Двое рядовых лейб-гвардии Егерского полка, или, во всяком случае, какого-то гвардейского полка, вошли, неизвестно как отлучившись, в кабак.

Это было нарушением, которое надлежало пресечь лично.

Когда нарушение началось, но еще не совершилось или по крайней мере не достигло своей полноты,— дело командования пресечь или остановить его.

Но, если оно уже началось, необходимо остановить нарушение в том положении, в каком оно застигнуто, чтобы далее оно не распространялось.

Здесь же, хотя дело шло о посещении кабака, которое только что началось и, во всяком случае, не достигло еще своей полноты, однако нельзя было довольствоваться такими мерами. Предстояло восстановить порядок, обличить виновных и обратить вещи в то положение, в котором они состояли до нарушения.

Порядок и расположение пунктов были к этому времени следующие: П — пустырь, Б — будка градского стража, К — кабак, С — сани государя-императора, с кучером и с самим императором, остановившим сани, но из саней еще не выходившим.

Император крикнул звучным голосом, обратясь в сторону Б — будки:

— Стра-жа!

В служебное время на каждую будку полагалось три стража. Один из них, по очереди, стоял у будки на часах, вооруженный и одетый по форме, другой считался подчаском, а третий отдыхал.

На беду было как раз такое положение: вооруженный алебардою страж сдал с утра свою команду другому, другой отдыхал, а подчасок отлучился по своей надобности.

Положение еще осложнилось тем, что император заметил на безлюдной ранее улице, правда, на довольном расстоянии, зевак.

Заметен был равнодушный чухонец с горшком из-под молока, две какие-то бабы-раззявы и совсем юный и розовый малолетный подросток.

— Стража! — повторил металлическим голосом император.

В это время из среды простонародья неожиданно отделился подросток и быстрыми шагами подбежал к саням.

— Осчастливьте приказать за стражей, ваше величество,— сказал он довольно бойко.

Император жестом изъявил согласие, но сам между тем рванулся из саней так быстро, что кучер не успел отстегнуть полость, и ее в последний момент отстегнул тут же случившийся подросток.

12

Рядовые карабинерной роты, вошедши в питейное заведение, вели себя как люди, расположившиеся отдохнуть и выпить, или, как говорилось среди унтерофицерства, дерябнуть.

Они вежливо спросили у хозяйки два шкалика водки, а на закуску по ломтю хлеба, соли и вяленого снетка.

Хозяйка, рыхлая и расторопная женщина, стала хозяйственно нарезать хлеб, а солдаты сели у окошка и хотели приступить к разговору. Один из них, как всегда в таких случаях, смотрел в запотелое окошко, без дальних мыслей, но все же наблюдая на всякий случай улицу.

Вдруг в окне, справа, мелькнули: конская морда, блестящий мундштук, кучерская шапка, и взлетел шпиц каски.

— Частный! — успел крикнуть солдат.

13

Настежь распахнув дверь, император сразу подошел к стойке и безмолвно оглядел, как бы уравнивая взглядом, хозяйку, початый бочонок с медным краном и какую-то снедь на стойке, названия которой не знал. Этого было довольно.

Хозяйка, как сраженная пулей, упала в ноги императору, согнувшись всем станом, рыдая и пытаясь лобызнуть лакированные сапоги с маленькой ступней.

— Тварь,— сказал император.

— Не погуби, батюшка,— сказала хозяйка.

— Тварь,— повторил император.— Разве не знаешь, что запрещено пускать состоящих на службе?

— А что я с ними, окаянными, поделаю,— рыдала хозяйка.— Не губи. Нету у меня никого и не бывало.

Кончиком носка император отшвырнул ее и, несколько опомнясь, осмотрелся. Обои были не то с мраморными разводами, не то с натуральной плесенью. В комнате было три стола с запятнанной скатертью,

на стене дурная картина, изображающая похищение из гарема, на стойке армия шкаликов, бочонок с медным краном, нарезанный хлеб и какая-то снедь, названия которой он не знал.

Солдат не было.

14

Бойко, весь подобравшись, подросток вернулся к саням, но не застал императора.

Тогда он обратился к кучеру Якову и, почтительно указав пальцем на раскрытую дверь кабака, спросил:

— Находятся там?

Осторожный кучер Яков сказал было, натягивая вожжи: «Эть» или «Эсь», но, видя, с одной стороны, что обстоятельства чрезвычайные, а с другой, что подросток еще малолетный, ответил:

— Там.

— Могу ли я спросить ваше благородие,— спросил отрок,— должен ли я дожидаться его величества здесь или пойти доложить?

— Дожидаться,— ответил кучер Яков.

Потом, отчасти сам любопытствуя, спросил, не оборачивая головы:

— А стража,— эть?

— Стража в горячке, и послано за подлекарем,— ответил подросток.

— Эсь,— сказал кучер Яков.

Потом, полуобернув голову к юноше, он внимательно его разглядел и кивнул головой.

— Вы рассудительный. Благородство.

15

Еще раз окинув взглядом помещение питейного заведения и не найдя солдат, император, отошед в сторону, но отнюдь не сгибаясь, заглянул под стол.

Никого не было.

Тогда, ничего не понимая, но воздержась от дальнейших расспросов, он внезапно двинулся вон из заведения.

Прибывший в это время на место происшествия поручик Кошкуль 2-й застал в отдалении от императорских саней некоторое скопление народа, императора стоящим у самых саней и тут же подростка среднего

роста, с обнаженной головой, рапортующего о чем-то императору.

Завидя поручика Кошкуля 2-го, государь спросил его, с приметным гневом и одушевлением:

— Кто?

После того как поручик Кошкуль 2-й назвал себя, государь погрозил ему пальцем и приказал:

— Место оцепить.

По отношению к окружавшему, пока еще редкому, скоплению публики император отдал распоряжение:

— Осадить и прогнать.

А затем, указав на близстоящего подростка, произнес:

— Отличить.

Тут же случившийся малолетный Витушишников помог его величеству сесть в сани.

16

Через десять минут поручику Кошкулю 2-му удалось стянуть к месту происшествия сильный отряд внешней полиции и оцепить окружающее пространство. Скопление любопытных рассеяно. Малолетнего Витушишникова во все время производства операций поручик содержал при себе. После тщательного осмотра местности ничего подозрительного не найдено, за исключением одного пьяного, никогда не состоявшего в военной службе, а числившегося в с.-петербургских шарманщиках.

Тут же на месте была допрошена и тотчас вслед за этим арестована кабатчица, а питейное заведение со всем находившимся внутри инвентарем закрыто на ключ и опечатано. Допрос кабатчицы мало что выяснил вследствие сильного расстройства, в котором она находилась, и затемнения памяти, на которое ссылалась. Выяснилась только одна любопытная подробность, которую поручик Кошкуль 2-й не счел, однако, удобным помещать в протокол.

Неоднократно говоря о том, что у нее отшибло память, она каждый раз упоминала о каком-то «новом»:

— Как новый наехал, так все затемнилось.

И еще раз:

— Еще до нового, я и сама говорю им (то есть солдатам) — запрещается...

Наконец поручик Кошкуль 2-й нашелся вынужденным спросить бабу, о каком *новом* говорит она, и оказалось, что она говорит о новом частном приставе, только вчера приступившем к исполнению обязанностей в Петербургской части.

Заинтересовавшись этим обстоятельством и ничего не зная о посещении кабака частным приставом, Кошкуль 2-й вскоре выяснил, что вздорная баба все время принимала государя императора за нового частного пристава Петербургской части.

Обругав до последней крайности глупую бабу и сам испугавшись, поручик Кошкуль 2-й прекратил допрос, арестовал допрашиваемую, а сам отбыл в санях вместе с подростком для подробного допроса в полицейском управлении.

Малолетный Витушишников, проживающий на 22-й линии Васильевского острова, сын коллежского регистратора, пятнадцати лет, показал: будучи ребенком, он пробирался на Рыбацкую улицу в Петербургской части, где, на углу у Введенья, как он слыхал, устроилась карусель и производили за плату катанье детей.

С раннего детства воспитываемый отцом в правилах особо живого почитания всей августейшей фамилии, имея у себя портрет в красках всегда висящим на стене,— он, переходя вышеупомянутое место, увидя некоторое скопление народа и сообразив происшествие, сразу же узнал венценосца и, приблизившись, испросил распоряжений. Далее, подойдя к будке градских стражей, нашел стража в сильной слабости, качающегося на ногах и с бессвязною речью, которой пояснил, что подчасок сейчас им послан не то за лекарем, не то за липовой,— о чем доложено.

— Однако же, вы хорошо нашлись,— с уважением сказал поручик.— Доложу о вас господину оберполицеймейстеру как о молодом человеке, лично известном с самой лучшей стороны государю императору. Честь имею кланяться. Не преминете засвидетельствовать почтение папеньке. Не извольте беспокоиться, вас доставят домой казенные сани.

17

Если бы солдаты хоть на минуту могли вообразить, что у дверей питейного заведения остановился государь император,— они без сомнения растерялись бы

и погибли. Их спас, а кабатчицу погубил единственно недостаток воображения. Увидя шпиц каски, первый солдат сразу же подумал о частном приставе, и все дальнейшие действия в питейном заведении протекали именно в этом направлении и были продиктованы желанием спастись от частного пристава, никак не больше.

Но и этого было вполне достаточно. Оба на мгновение вдруг ощутили зуд в спинах от будущих и отчасти бывших палочных ударов. Пока на улице раздавались призывы стражи, оба разом, наклоня головы, сорвались с мест и сунулись в соседнюю комнату, бывшую в личном пользовании кабатчицы. Там, черным ходом, минуя чулан и отхожее место, они спустились по узкой лесенке во двор.

Кабак выходил задним своим фасом на пустырь, и огороженного двора, в буквальном смысле, вовсе не было. Забор имелся только с одного фланга. Картофельная шелуха, яичная скорлупа, кучка золы и вылитые помои означали пограничную черту двора. Поэтому без всяких помех, пока снаружи шли переговоры, солдаты, наклоня головы и таясь по правилам военных маневров, прошли, нимало не теряя времени и не производя шума, вдаль. Там они свернули в переулок, некоторое время намеренно плутали, а затем, находясь уже в другом районе, разъединившись, деловым стройным шагом отправились каждый по служебным надобностям. До конца жизни они сохранили воспоминание о том, как ловко улизнули от частного пристава.

Императора же в данном случае сбили с толку непривычные условия местности. Питейное заведение было оклеено мрачными мраморными обоями, на которых к тому же местами выступила в большом количестве плесень. Обои от времени лопнули и расселись в разных местах и направлениях. Поэтому небольшая дверь в дощатой перегородке, отделявшая заднюю комнату кабатчицы от питейного зала, ускользнула от внимания императора.

18

Конь был в пене. Император проделал весь обратный путь молча, не отвечая на поклоны, с решимостью. То, что солдаты, вошедшие в кабак, как сквозь землю

провалились, нисколько его не занимало. Он не любил неразрешимых вопросов, объясняя их волею провидения. Если бы он застиг солдат — это на многих навело бы страху, а затем даже могло стать легендою и, изложенное приличным слогом, впоследствии заняло бы свое место. Но, устремясь на солдат, он не настиг их, и это его оскорбляло.

— Я покажу им,— повторил он несколько раз.

Только пройдя несколько зал, миновав ряд мраморных колонн, лабрадоровые столы, фарфоровые вазы с живописью, порфировые изделия, император снова вошел в легкую атмосферу дворца и вернулся к исходному пункту.

Был вызван генерал-адъютант Клейнмихель.

— Поди, поди сюда, голубчик,— сказал император.

Генерал-адъютант помедлил в дверях.

— Ну что же ты, подойди,— сказал тихонько император.

Подошедший генерал-адъютант Клейнмихель был внезапно ущипнут. Он был так метко и ловко застигнут врасплох, что не имел времени податься ни вперед, ни назад и предоставил императору свою руку без малейших возражений.

Только когда наступила обычная тошнота, император отпустил генерала и произнес:

— То-то. Вот тебе тумбы.

Вообще в течение дня утраченная бодрость восстановилась. По всему было видно, что император принял решение. После обеда он выслал вон дежурного при телеграфе офицера и сам направил по адресу шефа жандармов Орлова телеграмму без обращения и подписи:

— Свинья.

Именно в этой телеграмме некоторые историки видели причину и зародыш болезни, сведшей впоследствии графа Орлова в могилу. Как известно, на старости лет граф стал воображать себя свиньей, что впервые обнаружилось на одном из парадных обедов в честь графа Муравьева, когда он внезапно потребовал себе корыто, отказываясь в противном случае есть. Но до этого было еще пока далеко.

К вечеру император принял вполне определенное решение.

— Я покажу им,— сказал он.

Он вызвал обер-полицеймейстера Кокошкина и на секретном докладе спросил о результатах поисков. Поиски оставались, как он и ожидал, безрезультатными. Тогда император перед самою вечернею молитвою наложил на доклад резолюцию:

«Отдать под суд откупщика, которому кабак принадлежит, с прекращением его откупа, а в случае замешанности — со взятием имущества в казну».

— Я покажу им,— произнес он,— что в России еще есть самодержавие.

19

Кабак оказался находящимся во владении винного откупщика Конаки, проживавшего по Большой Морской улице. Назавтра он был арестован по обвинению в злостном содержании лично ему принадлежащих кабаков. Конаки был человек небольшой и недавний. Всего три года, как он прибыл с юга, где имел свой обширный ренсковый погреб. С молодых лет он состоял по винным делам; был наследственный винник. Знал, как нужно давить виноград, чего подмешать; понимал процессы брожения. Торговал крупно. Расхаживая у себя на юге по прохладной виннице, чувствовал вкус довольства. Но неудержимо растущее состояние оторвало его от этих мирных воспоминаний. Он прибыл в Петербург, чтобы приглядеться, стал понемногу прививаться, осел с большой шумной семьею на Большой Морской, начал уже входить во вкус операций — и вот — среди бела дня, неожиданно — сел в яму.

Впрочем, не так уж неожиданно. Имея в лице молодых Конаки-сыновей дельных агентов по налаживанию жизни в питейных заведениях, он уже спустя два часа знал об опечатании кабака, представлял себе в примерных размерах случившееся и успел посоветоваться с несколькими лицами. Но все же он не мог ожидать такого быстрого, молниеносного лишения свободы. Как только дверь затворилась за жандармами, уведшими отца, потерявшего при этом все присутствие духа, Конаки-сыновья предоставили женщинам плакать и метаться по обширным комнатам, а сами сразу же отправились на Конно-гвардейский бульвар к главному петербургскому откупщику Родоканаки.

Если Конаки был еще совершенно свеж и в нем еще держался дух ренскового погреба, то начало Родоканаки было далеко и всеми забыто. Известно было, что он из Одессы, и сам он всегда любил это подчеркивать.

Однажды он явился в Петербурге, небольшого роста, в черном сюртуке и отложных воротниках, и купил место против самых конных казарм, что было смелостью для человека статского. Пригласив к себе видного архитектора, он заказал ему планы и чертежи дома, чтоб дом не напоминал ни одного из петербургских, а все южные, роскошные дома, как у итальянцев.

— Я негоциант,— пояснил он.

На воротах он велел вылепить две черные мавританские головы с белыми зубами и глазами, постарался обвить окна плющом и стал жить. Плющ скоро засох, но Родоканаки получил в винных откупах большую силу. Если бы он старался слиться по образу жизни и вкусам с окружающим с.-петербургским населением и благородными лицами,— все бы о нем говорили, что он грек, а может быть, даже «грекос». А теперь все к нему ездили и говорили о нем: негоциант, и он был вполне петербургским человеком.

Он открыто предпочитал Одессу, ее улицы, строения, хлебную биржу, и даже одесские альманахи ставил в пример петербургским.

У него были свои вкусы.

Обивку стен он сделал из черного дерева. Везде у него было черное, красное и ореховое дерево. Мрамора он не терпел.

— Это мой дом,— говорил он.— Если я хочу мрамор, я пойду в Экономический клуб обедать и спрошу у лакея карту.

В Экономическом клубе, старшиной которого он был избран, случалось ему играть в карты со знаменитыми писателями, и он уважал из них того, который его обыграл:

— Без двух в козырях. Это человек!

Пушкина он считал раздутым рекламой.

Особенно не нравился ему «Евгений Онегин», где говорилось об Одессе:

В Одессе пыльной...
В Одессе грязной...
Я сказал...
Я хотел сказать...

— Что это за стихи? — говорил он.

Вообще же не чуждался поэзии. Был склонен ценить Бенедиктова:

Взгляни, вот женщины прекрасной
Обворожительная грудь.

— Это картина,— соглашался он.

Ему нравилось также изображение цыганского табора у этого поэта и знаменитой Матрены, которую он лично слышал у Ильи:

А вот «В темном лесе» Матрена колотит,
Колотит, молотит, кипит и дробит,
Кипит и колотит, дробит и молотит,
И вот поднялась, и взвилась, и дрожит.

— «Дрожит» — это картина,— говорил он.

И отзывался о поэте:

— Его даже Канкрин считал очень способным человеком.

Больше всего его здесь удовлетворяла, как он выражался, *аккуратность* поэта, которую он видел в этих стихах:

— Сначала он говорит: колотит, молотит, кипит и дробит, без разбору, а потом уже с разбором: кипит и колотит, дробит и молотит. Это человек.

Ему нравился большой размах, хотя сам он был человеком сдержанным.

Так, например, из женщин он ценил Жанетту с Искусственных минеральных вод, которая первая ввела таксу на каждую руку и ногу в отдельности.

— Это женщина,— говорил он.

Но допускал существование и других.

Когда кто-то отозвался тут же о покойной актрисе Асенковой, что она — святая, Родоканаки согласился:

— Это другое дело. Это святая.

При величайших операциях, которые он вел, он вовсе, однако, не был каким-нибудь отвлеченным человеком. Он живо понимал людей, и для него не было понятия «человеческая слабость», а только: «привычка».

Комбинации он составлял ночью.

На кроватном столике всегда стояли у него сушеная седая малага, сигары, вино. Он обдумывал план, жевал малагу, запивал глотком красного желудочного вина, выкуривал сигару — и крепко засыпал.

Когда Конаки-сыновья, связанные с ним деловым образом, посетили его, он прежде всего приказал им успокоить женщин:

— Пусть не плачут и сидят дома.

Затем, расспросив подробности, некоторые записал и отпустил их, успокоив.

В голове у него не было еще ни одной мысли.

Ночью он сжевал ветку малаги, выпил зеленый ремер-бокал и выкурил цигарку.

Он составил предварительный план действий и заснул.

21

Назавтра стало известно, что у Родоканаки будет дан фешьонебельный бал, на котором будет петь сама дива, госпожа Шютц.

Комбинации свои Родоканаки обычно строил на привычках нужных лиц. Если чувствовалась нужда в каком-либо определенном лице с известными привычками, оно приглашалось почтить присутствием обед.

Ни мраморов, ни мундиров; открытый семейный доступ к человеку. Разговор все время о Карлсбаде, Тальони, Жанетте из Минерашек, строительстве нового храма и конного манежа архитектором Тоном, о крупном проигрыше барона Фиркса в Экономическом клубе, о гигантских успехах науки: гальванопластике — все это смотря по привычкам лица; наконец о сигарах Водевиль-Канонес.

— Я люблю Трабукко,— говорил Родоканаки.

Если гость также любил Трабукко, ему назавтра же посылались с лакеем две коробки отборных.

Разговор велся пониженным голосом; Родоканаки был внимателен и относился серьезно даже к вопросу о Жанетте. В судьбе ее принимал участие министр финансов, и предметом беседы как бы выражалось уважение к собеседнику. По части винных откупов Родоканаки считался самым сильным диалектиком. Он не любил, когда лакей докладывал о срочном деле.

— Меня нет дома,— говорил он сдержанно и не оборачиваясь.

А при прощании говорилось что нужно, и если условия заинтересованных лиц бывали приемлемы,— все кончалось. Если же нет,— производились розыски, знакомства, обходные действия и подыскивалось более важное и при этом более сговорчивое лицо.

Все происходило перед лицом прочных деревянных стен, паркетов, старых ковров и коллекции китайской бронзы и имело спокойный и глубоко основательный, даже исторический вид. И действительно, у каждой вещи была своя история — пивную кружку на камине подарил князь Бутера в Карлсбаде, а бронза — из Китая.

— Негоциант,— говорили со вздохом очарованные лица.

Так бывало, когда дело шло о каком-либо одном ясном деле.

Когда же дело по сфере действий было рассеянное или даже неуловимое, когда предстояло еще наметить лиц, нащупать их привычки и уловить моральный курс дня,— давался вечер, бал. Главное внимание уделялось дамам, и тут бывали простые, верные комбинации. В это время учреждались и раскассировывались разом многие комиссии, комитеты и пр., выплывали новые люди, и дамы являлись тою общею почвою и предметом, которые объединяли самые различные ведомства, утратившие единый язык. У самых чиновных лиц был принят легкий тон.

На этот раз были созваны самые видные питейные деятели, один молодой по юстиции, один действительный по финансам, несколько чужих жен, литераторы, карикатуристы.

22

С внешней стороны бал удался. Принужденности не было, а только полное внимание к чину или заслугам. Лакеи разносили лимонад и содовую воду. Подавались пулярды по-неаполитански, рябчики в папильотках, яйца в шубке по методе барона Фелкерзама. У Родоканаки был славный повар. Каждое блюдо имело свою историю: устрицы из Остенде, вина от Депре.

У самого буфета черного дерева сидела госпожа Родоканаки в вуалевом платье, средних лет, обычно таившаяся в задних комнатах, исполнявшая роль хозяйки.

Из питейных деятелей пришли: в черном фраке Уткин, Лихарев и барон Фитингоф (подставное лицо). Уткин был человек, умевший изворачиваться как никто, но по самолюбию попадал в ложные положения: лез в литературу. Дал деньги на издание журнала с политипажами, а там вдруг появилась карикатура на него же. Лихарев был московской школы, в поддевке, с улыбающимся лицом, стриженный в скобку. Барон Фитингоф был подставное лицо, брюки в обтяжку.

Дива, госпожа Шютц, пропела руладу из «Jdolmio» [1] и тотчас уехала, получив вознаграждение в конверте.

Поэт прочел стихотворение о новейших танцах:

Шибче лейся, быстрое аллегро!
В танцах нет покорности судьбам!
Кавалеры, черные, как негры,
Майских бабочек ловите — дам!

Чужая жена хлопнула его веером по руке.

— Ах, как Матрена скинула шапочку: «Улане, улане!»

— Поживите, Клеопатра Ивановна, у нас в Петербурге, полюбуйтесь этою ежечасною прибавкою изящного к изящному.

— Том Пус лилипут, это совершенно справедливо, но он и генерал. Ему пожаловано звание генерала. Как же! В прошлом году.

— И вот она подходит ко мне: а в Карлсбаде все девицы в форменных кепи и белых мундирах — там строго.

— Звонит в колокольчик, ест вилкой. На вопрос, сколько ему лет, лает три раза. Пишет свое имя: Эмиль, и уходит на задних лапах.

— Она сказала ему: ваше сиятельство, если вам не нравится мой голос, вы должны уважать мои телесные грации.

— Теперь шелк для дам будут делать из иван-чая. Уже продают акции.

— Это другое дело. Это иван-чай.

---

[1] «Мой идол» *(ит.)*.

И все же Родоканаки был обеспокоен.

Кой-кто не явился, чужих жен и поэтов пришло слишком много. Жанетта с Искусственных минеральных, на которую возлагались надежды по особой ее близости с министром финансов, отлучилась на гастроли. Юстиция прислала извинение, а тайный напустил такого холоду и туману, что остальные, из разных комиссий, почувствовали каждый служебные обязанности. Знаменитый уютный характер Родоканакиных вечеров как бы изменился. Испортился стиль. Одна дама с плотным усестом была положительно развязна. Литераторы много пили. Чувствовалось, что образовался тайный холодок, пустота, и — испытанный барометр — Пантелеев из комиссии смотрел по сторонам слишком бегло и кисло.

Ушли раньше обычного.

Тогда, оставив чужих жен и карикатуристов доедать пулярды, Родоканаки незаметно увел к себе в кабинет питейных деятелей: Уткина, Лихарева и барона Фитингофа (подставное лицо).

Последние его слова за этот вечер были следующие:

— Жив Конаки или нет, меня это не касается. Больше одним греком или меньше. Но арест — арест это другое дело.

23

Назавтра министр финансов, тайный советник Вронченко, принял коммерции советника Родоканаки.

Министр был человек грузный. Принимая его на службу, бывший министр Канкрин решил, что он «пороху не выдумает». Теперь наступило время, когда требовались именно такие министры. Говорили о нем еще, что он «задним умом крепок». Пригодилось и это. Став министром, Вронченко обнаружил отличные мужские качества и шутливость. Его поговорки пошли в ход. Например, когда министр соглашался, он говорил:

— То бе,

если же нет:

— То не бе,

и нюхал при этом табак.

Говорили, что он таким образом парафразировал известную фразу Гамлета: to be or not to be — быть иль не быть.

Вообще же он был вполне государственным чело веком, лично понимающим всю важность финансов.

Родоканаки он принял холодно, но вежливо.

— Прошу пожаловать и сесть сюда, на диван.

Родоканаки изложил цель посещения и высказал пожелание, чтобы кабатчица была наказана самым строгим образом, а Конаки освобожден, если возможно.

Министр Вронченко не согласился и даже нахмурился.

— Бо он сам виноват, il est coupable.

Родоканаки сказал, что лица, несущие откупные труды, не могут отвечать за лиц, посещающих питейные заведения, и что Уткин, Лихарев, барон Фитингоф ожидают, что Конаки не будет предан суду.

— То бе,— сказал министр и равнодушно нюхнул табаку.

Тогда коммерции советник Родоканаки, вздохнув, тут же примолвил, что говорит не от своего имени: он — это другое дело, потому что давно готов на отдых и смотрит на откупные операции как на непосильные, но принужден передать от имени вышеупомянутых, да уж и своего, его высокопревосходительству, что все они намерены учредить акционерный капитал по разматыванию шелка, не могут поэтому долее нести откупа и принуждены отказаться.

— То не бе? — сказал изумленный Вронченко и подпрыгнул на стуле.

— К душевному сожалению, ваше высокопревосходительство, то бе,— сказал с печальною улыбкою, кланяясь, Родоканаки.

24

Только после ухода Родоканаки Вронченко опамятовался:

— Что за бес? Иль э фу [1],— сказал он тут же случившемуся секретарю.— Какой там к бесу шелк?

Но сам он вскоре понял, что шелк имеет во всем деле лишь чисто формальное значение, и вспомнил, что сумма питейных откупов равняется двадцати миллионам. А всех чрезвычайных доходов, огулом и кру-

[1] Il est fou *(фр.)*— он с ума сошел, одурел.

гом, на глаз, дай бог, сорок. Чрезвычайные же расходы вовсе неопределимы и непреодолимы.

Министр Вронченко почувствовал одиночество. Он задал себе вопрос, как поступил бы на его месте великий Канкрин, и даже приложил руку ко лбу козырьком, так как тот, страдая слабым зрением, всегда надвигал на лоб в служебные часы зеленый козырек, предохраняющий от света.

Решительно не находя ответа, Вронченко сказал секретарю фразу, в которой выразил положение:

— Вся совокупность такая...

Ответа не было.

Надув щеки и пофукав, он отдышался и решил, что возможны перемены.

Он решил посетить некоторых товарищей по министерским обязанностям, а лично до вечера ничего не предпринимать.

25

Как всегда бывает с человеком растерянным, он поехал на верный провал, к министру юстиции Панину.

Министр юстиции отличался прямолинейностью. Буквально понимая принцип непреклонности, он ни перед кем, исключая императора, не преклонял головы, и если ему, например, случалось уронить носовой платок или очки, то, при высоком росте, приседал за нужною вещью на корточки, не склоняя корпуса. Он отличался нравственностью, преувеличенные слухи о которой дошли даже до иностранных дворов.

Объяснив суть дела Панину, Вронченко указал на то, что, если рассудить антр ну дё [1],— кабатчик не может уследить за всеми и за всех отвечать, и просил о помощи:

— Бо трещим.

Панин ответил ему с откровенностью:

— Всегда рад, любезный Федор Павлович, вашим представлениям, когда они касаются правосудия. Заверяю, что виновные будут строго наказаны. Преступление, подобное описанному вами выше, не может в просвещенном государстве остаться без наказания. Но

[1] Entre nous deux *(фр.)* — между нами двумя.

приложу все старания, дабы охранить спокойствие вашего министерства.

Нюхнув табаку, заехал к Левашову, но генерал делал свою утреннюю гимнастику, и из комнаты доносилось:

— Ать! Два! — Рыв-ком!

Пробираясь на усталой лошади к Алексею Федоровичу Орлову, Вронченко опустился, обмяк, почувствовал, что погода изменилась, тает и что баки у него мокрые, как будто он никогда и не был министром.

Алексей Федорович Орлов принял его с всегдашнею осанкою воина.

Первые фразы, произнесенные им, были энергичны:

— Садитесь! Что такое?

Но потом, со второй же фразы Вронченка, он стал совершенно рассеян, смотрел все время на свои каблуки, завивал крендельком конец аксельбанта и наконец, как-то странно хрюкнув, сказал:

— Хоша я и понимаю, что финансы нужны, да в кабак ходить строго воспрещается.

Выйдя на улицу и найдя там уже совершенную слякоть и разлезлое таяние снега, Вронченко посмотрел на осиротелую лазурь и, сказав сам себе:

— В отставку! —

приказал кучеру:

— Отвези меня на квартиру.

26

На очередном докладе государю Вронченко крепился и наконец, побагровев, доложил, что с откупными операциями обстоит неблагополучно.

Он долго готовился к этому докладу.

Император прервал его.

— Утри нос,— сказал он строго.

Это могло быть понято буквально, потому что в сильном волнении министр действительно почасту и помногу нюхал табак, так что позднейшие домыслы о том, что в эту минуту у него «повисла капля», может быть, имели основание. У императора было наследственное отвращение к табаку. Но, с другой стороны, это могло быть понято как приказ об отставке.

Сразу же после этого доклада стало известно, что министр финансов на днях выходит в отставку.

27

Когда граф Клейнмихель прослышал, что у Вронченка неладно с откупами, он пришел в хорошее расположение духа.

— Скотина,— сказал он,— пусть посидит без миллионов, скотина, с миллионами всякий умеет.

Когда же разнесся слух об отставке Вронченка, он окончательно повеселел.

— Уходит в отставку,— сказал он в разговоре со своим любимцем директором департамента публичных зданий.— И уходи, скотина.

Директор тоже выказал радость, но прибавил, что с балансом и бюджетом теперь, по-видимому, произойдет перемена.

— Какая перемена? — спросил граф.— К чему?

Директор объяснил, что откупа отпадают, и это дает в ведомстве финансов будто бы разницу в двадцать с лишком миллионов.

— Конечно, отпадают, пусть посидит без миллионов, скотина,— сказал граф, но тут же вспомнил, что скотина-то выходит в отставку, а он, граф, остается.

Он посовещался кой с кем.

К вечеру погрузился в размышления и начал быстро ходить по кабинету.

Поставлена на стол бутылка зельцерской, что всегда делала в таких случаях заботливая графиня.

Ему стало вдруг ясно: отпадают миллионы — не на что строить железные дороги и мосты. Не на что строить — не строятся. То есть исчезают в первую очередь подрядчики.

Граф Клейнмихель увидел перед собою бездну разорения.

28

Слухи, которые поползли разом и вдруг, имели особенно злонамеренный характер.

Передавалось на ухо и с оглядкою, что двое солдат угрожали жизни императора, но его спас малолетний подросток. Другие же, главным образом из военных, с досадою возражали, что, напротив, юный наглец бросил снежком в императора, но был задержан полицейским поручиком, а теперь нахал содержится в Петропавловской крепости.

Отставка министра финансов широко огласилась, хотя и не была еще объявлена. Причина была, по общему мнению,— скандальная Жанетта с Искусственных минеральных вод.

В донесениях французского атташе своему правительству о деле рассказывалось более точно. Группа знатных откупщиков, нечто вроде fermiers généraux[1] старого режима, d'ancien régime, во Франции, предъявила иск правительству на пятьдесят миллионов рублей; население в панике; министр финансов не у дел и проводит дни у известной Жанетты на Мещанской улице. На императора сделано покушение во время выезда на охоту (oblava russe).

Атташе писал: Aut nunc, aut nunquam — теперь или никогда.

29

Он сидел в кругу семейства. Ощущение семейного счастья заменяло ему все остальные. В такие дни он требовал, чтобы к чайному столу подавался настоящий самовар и чтобы сама императрица разливала чай. Он все время шутил с молоденькими фрейлинами и рассказал исторический случай из своей молодости: когда кавалер, состоявший при нем, задал ему тему для сочинения: «Военная служба не есть единственная служба дворянина, но есть и другие занятия»,— император, которому в то время шел пятнадцатый год, подал по истечении часа с половиною чистый лист бумаги. У фрейлин вздрогнули плечи при этом рассказе.

Ни за чаем, ни в какое другое время не упоминалось о Вареньке Нелидовой.

Однако же состояние духа не могло назваться спокойным. У императора, кроме всего прочего, была хотя и застарелая, но сильная натура, которая требовала своего моциона. Это сказывалось и на его лице, которое один придворный сравнил с эоловой арфой, отражающей все движения природы.

В государственном же отношении он был тверд. Клейнмихеля, который попробовал в доклад о мосте вплести выражение «финансовая смета», он просто выгнал вон.

[1] Генеральных откупщиков *(фр.)*.

После обеденного сна устроился небольшой семейный вист по маленькой; император выше двадцати пяти копеек поэнь не играл. Приглашены были три камергера: двое молодых, один старый. Пальцем поманив маленькую фрейлину, у которой при этом покраснела грудь, он сделал ее своей советчицей.

Фрейлина, в прекрасном оживлении, старательно советовала, а император поступал по своему усмотрению. Так, вопреки ее советам, он сразу взялся за туз, что, как известно, в висте при тузе, короле и трех маленьких не годится.

— Ваше величество,— сказала счастливая, но испуганная фрейлина,— но так никто не делает!

Император ответил внезапно сухо:

— Так делаю я.

— Ваше величество,— пролепетала фрейлина,— но обычная система виста...

Император открыл туз.

— Le systéme Nicolas,— сказал он.

Молодой камергер, заметно побледнев, долго выбирал карту, наконец выбрал — положил — и проиграл.

— Le systéme Nicolas,— повторил император.

Начался второй роббер. Играющие переменились местами, чтобы каждому за вечер выпало играть с императором на одной руке.

Старому камергеру шел восьмой десяток; он был глух и не замечал кругом ничего, даже женских глаз. Он был углублен в игру.

— Le systéme...— начал император.

В одну минуту дрожащими руками камергер покрыл все карты императора.

Император выложил на стол три проигранных рубля и повернул спину играющим.

— Я недостаточно богат, чтобы играть в карты,— сказал он и показал улыбку под усами.— Пренебречь,— добавил он неожиданно, строго взглянул на всех играющих и грудью вперед вышел вон из комнаты.

Семейный круг расстроился. Старый камергер более ко двору не приглашался.

К вечеру того же дня получено известие о колебании ценностей на бирже.

На Васильевском острове были замечаны невдалеке от места происшествия двое студентов, подозрительно молчавших.

Мещанин на Кузнецком рынке предлагал «пустить петуха».

Все трое задержаны.

Фаддей Венедиктович Булгарин был потревожен в своем уединении.

Это уже не был брызжущий жизнью и деятельностью ученый литератор, которого знал Петербург в старые годы. Но жил и теперь в непрестанных трудах. Только что недавно определился членом-корреспондентом специальной комиссии конпозаводства и по случаю нового служения стал издавать журнал «Эконом».

— Лошадки, лошадки — моя страсть,— говорил он.

За труды жизни был представлен к чину действительного статского советника.

Из капитальных вещей подготовил к изданию «Победа от обеда. Очерки нравов XVII века» и приступил к печатанью на собственный кошт с рисунками, награвированными на дереве.

Летом жил в деревне, а зимою на просторной петербургской квартире, где завел, соревнуясь с Гречем, громадную клетку в полкомнаты, содержа там певчих птиц. Весною он открывал окно и выпускал какую-нибудь птицу на волю, произнося при этом стихи покойного Пушкина:

На волю птицу отпускаю.

Это вызывало большое скопление мальчишек, торговцев вразнос и соседей, знавших, что литератор Булгарин ежегодно выпускает по одной птице на волю.

Обдумывал план своих воспоминаний. Говоря с молодыми литераторами, он утверждал, что существенной разницы между ним и Пушкиным не было.

— Всегда оба старались быть полезными по начальству.

И добавлял:

— Только одному повезло, а другому — шиш.

И, наконец, конфиденциально наклоняясь к собеседнику, говорил на ухо:

— А препустой был человек.

Теперь Фаддея Венедиктовича посетили по важному делу.

Пришли трое: полковник особого корпуса жандармов, поручик Кошкуль 2-й и одно из статских лиц.

От Фаддея Венедиктовича просили и ждали помощи как от редактора «Северной пчелы», чтобы успокоить умы.

Фаддей Венедиктович попросил поручика Кошкуля 2-го подробно описать все происшествие и с пером в руке стал думать. Все трое с невольным уважением следили за переменами его лица, понимая, что это вдохновение.

Фаддей Венедиктович хлопал глазами. Глаза его были без ресниц, в больших очках.

Он стал рассуждать вслух:

— Представить можно, что две бешеные собаки напали, а отрок храбро... Нет, не годится.

— Можно также себе представить, что два волка из соседних деревень забежали... Волки — это весьма годится, это романтично... А отрок... нет, не годится...

Все оказывалось неудобным и не годилось по той простой причине, что император был образцом для всего. Так, например, статья о том, что на императора напали две бешеные собаки, а отрок храбро оказал им отпор, была бы очень прилична, но не годилась: если уж на императора напали, то других и подавно покусают.

Рассказ о двух волках из соседних деревень был романтичен, но несовместим с уличным движением. Замена лисицами обессмысливала вмешательство отрока.

Вдруг взгляд Фаддея Венедиктовича остановился.

— А ну-косе, благодетель, попрошу,— сказал он поручику Кошкулю 2-му,— извольте-с начертить мне план происшествия. На этом лоскуточке.

Поручик Кошкуль 2-й обозначил пустырь, будку, питейное заведение, сани государя императора.

— Попрошу реку,— сказал нетерпеливо Фаддей Венедиктович.

Поручик сбоку отчеркнул реку.

Тогда Фаддей Венедиктович описал за чертой кружок, а внутри кружка с размаху поставил точку и написал «У».

— Утопающая,— пояснил он ничего не понимающему поручику Кошкулю 2-му,— в проруби.

31

Назавтра же в «Северной пчеле» появился в отделе «Народные нравы» фельетон под названием: «Чудо-ребенок, или Спасение утопающих, вознагражденное монархом».

На окраине столицы (рассказывалось там) в реке Большой Невке молодая крестьянская девица брала ежедневно воду из проруби. Вдруг — кррах! Неверный лед подломился и рухнул под ее ногами. Несчастная, не видя ниоткуда спасения, погрузилась в воду. Она издает только время от времени протяжный вопль и смотрит со слезами в открытое небо. Но провидение!.. Она слышит над собой чей-то голос — к ней спешат на помощь. То был отрок, малолетний г. Витушишников, проживающий на 22-й линии Васильевского острова с престарелым отцом своим, коллежским регистратором Витушишниковым. Будучи ребенком, он спешил для детских забав на Петербургскую часть, но, услышав жалобные вопли, повинуясь голосу сердца, обратился на помощь погибающей. Однако неокрепшие руки отрока не в силах были удержать жертву. Казалось, и девица и юный спаситель равно изнемогали. Но монарх, в неусыпных своих попечениях проезжая мимо, услышал вопль невинности и, подобно пращуру своему, простер покров помощи...

Вскоре спасенные отогревались в будке градских стражей, и жизнь их ныне объявлена вне опасности. Провидение!..

В знак исторического сего дня не замедлится прибитием памятная доска на будке градских стражей— в память отдаленным потомкам.

Принимая близкое участие в жизни чудо-ребенка г. Витушишникова, редакция объявляет сбор доброхотных пожертвований на приобретение дома для него. Устроителем счастия вызвался быть г. поручик Кош-

куль 2-й, который заведует сборами при помещении газеты «Северная пчела».

На доброхотные сборы согласие изъявили: его высокоблагородие г. Алякринский — 3 рубля серебром; его высокоблагородие г. Булгарин — 1 рубль серебром; его благородие г. поручик Кошкуль 2-й — 1 рубль серебром; коммерции советник Родоканаки — 200 рублей серебром.

Тут же принимается подписка на изящное издание со 100 картинками исторического нравоописательного романа: «Победа от обеда. Очерки нравов XVII века». Сочинение г. Ф. В. Булгарина.

32

И все же успокоение не наступило.

Император услышал фамилию Родоканаки. Это была новая, доселе не встречавшаяся фамилия. Император спросил у церемониймейстера де Рибопьера. Всегда откровенный Рибопьер ответил ему честным недоумением. Он знал только две сходных фамилии: Родофиникин и Роде; о последней, как принадлежащей музыканту, в разговоре не упомянул. Из камергеров не оказалось знающих Родоканаки или желающих в этом сознаться. По виду фамилия была, впрочем, греческая.

Греческий посол, приятель Рибопьера, был немец, говорил по-немецки, родился в Баварии, был на лучшем счету у короля Отто и вообще не был знаком с греческими фамилиями.

С холодным видом император внезапно спросил во время доклада графа Клейнмихеля:

— Что такое Родоканаки?

Графу Клейнмихелю показалось, что его в чем-то подозревают.

— Не знаю, ваше величество.

— А я знаю,— сказал государь.

Клейнмихель побледнел, однако государь действительно не знал, кто такой, или как он сказал, что такое Родоканаки.

К концу дня он наконец добился ответа. Родоканаки оказался совершенно частным лицом, *откупщиком*, имеющим смелость проживать противу кон-

ных казарм. С тайным содроганием император повторил:

— Родоканаки!

Он решился на крайние меры.

33

Был вызван министр двора. Император спросил у него ведомости о расходах. Просмотрев, остался недоволен и вздохнул:

— Я не могу тратить столько денег. Возьмите от меня эту маппу.

Он потребовал уменьшения количества свечей в люстрах, в каждой на две, что по всему дворцу давало экономию в свечах. Запросив ежедневные обеденные меню, собственноручно вычеркнул бланманже.

— Я требую, ты слышишь, требую, чтобы в государстве не было долгов,— сказал он, глядя в упор на министра.

Дворец притих.

Выйдя в Аполлонову залу, император вдруг велел убрать статую Силена.

— Это пьяный грек,— сказал он.

Вечером услышали старинную фразу, которая заставила побледнеть:

— Le sang coulera! [1]

34

Родоканаки совершил свой поступок в надежде, что дело скоро разъяснится. Он вовсе не собирался прекращать откупные операции. Сохраняя все привычки и наружное спокойствие, Родоканаки был внутренне не спокоен и даже проигрался в Экономическом клубе. Хуже всего было то, что в своих действиях он был связан с другими лицами. Очень шаток был Уткин по мнению Родоканаки, готовый продать в любую минуту. Лихарев стал молчалив, барон Фитингоф (подставное лицо) — излишне развязен.

Все это сказалось уже в том, что все они, не исключая и самого Родоканаки, стали, точно сговорясь, прибавлять к имени Конаки ругательное словцо:

— Когда болван Конаки еще был на свободе...

[1] Прольется кровь! *(фр.)*.

— Что бы этой дурынде Конаки подумать...

— Вы помните, в клубе, когда еще оболтус Конаки обожрался севрюжиной...

Их жертва, принесенная такой мизерной личности, начинала казаться им самим смешной, дурацкой и совершенно неуместной. И, ничего пока не говоря друг другу, они говорили своим, а то и чужим женам:

— Ввязались с этим подлецом Конаки...

Они даже преувеличивали свою жертву, потому что откупные операции не были прекращены, а были только словесные и отчасти письменные, правда далеко зашедшие действия. Колебания биржи заняли, впрочем, на некоторое время все их силы и воображение. Все играли на понижение, даже Конаки из тюрьмы давал указания Конаки-сыновьям, какие бумаги продавать.

Все питейные деятели безропотно прислали следуемые с них доброхотные даяния в «Северную пчелу».

Родоканаки сказал при этом:

— Это другое дело. Это ребенок.

По ночам он жевал малагу.

Он составлял комбинации.

Между тем министр Врончено, если и не засел в публичном доме на Мещанской улице, как о том ложно доносил французский агент, то, во всяком случае, действительно уделял все свое внимание и свободное время Жанетте с Искусственных минеральных вод, уже вернувшейся с гастролей и приступившей к исполнению своих обязанностей.

Не имея, после исторической фразы, точных инструкций, а с другой стороны, видя нежелание откупных деятелей примириться с изъятием Конаки, тайный советник Вронченко как бы повис в воздухе и с тупым равнодушием наблюдал колебания биржи.

Министерство финансов, так сказать, отправляло свои естественные ежедневные потребности чисто механически, ничем не одушевляемое,— чиновники приходили, уходили, комиссии заседали, но дух отлетел.

В этот период безвременья лихорадочную деятельность развил поручик Кошкуль 2-й. Подписка на приобретение дома для чудо-ребенка шла хорошо. Его благородие Мендт фон — 1 рубль серебром, мать семейства г-жа N — 1 рубль серебром, купец 2-й гильдии Мякин — 10 рублей серебром.

И счастие его устроилось.

Был высмотрен на Крестовском острове маленький домик и куплен у бабы, коей принадлежал. Приглашен был художник, который изукрасил крышу резьбой наподобие кружев, а ставни искусно расписал цветками в горшках и снопах. Получился такой домик, в котором как бы самой природой назначено жить инвалиду, состарившемуся на царской службе, а ныне скромно воспитывающему своего сына. На оставшиеся деньги поручик Кошкуль 2-й купил малолетному г. Витушишникову барабан, чтобы ребенок мог учиться в свободное время барабанной трели. Барабан был отличный, со звуком светлого и пронзительного тона. Обо всем этом было сообщено подписчикам и читателям «Северный пчелы» в отделе С.-Петербургских происшествий.

Больше всего возни было с отцом, коллежским регистратором Витушишниковым. Прежде всего он вовсе не оказался таким престарелым, как предполагалось. Затем воспротивился переселению на Крестовский остров, где отныне должен был исправлять обязанности отца.

Ссылался при этом на доводы такого характера, что ему далеко будет с Крестовского острова на службу, что он живет на Васильевском острове семнадцать лет и т. п. Поручику Кошкулю 2-му пришлось даже прикрикнуть на него. С другой стороны, поручик прельстил его курятником, имевшимся при доме, где можно будет содержать кур.

По переезде малолетный Витушишников научился бойко барабанить зорю. Его сразу же было решено отдать в одно из закрытых военно-учебных заведений.

Затем разыгрался эпизод, о котором упоминает один из историков.

Молодые великие княжны совершенно случайно на прогулке проезжали мимо домика, где жил малолетный г. Витушишников со своим престарелым отцом-инвалидом. Отрок стоял у ворот, одетый в мундирчик закрытого военно-учебного заведения, и, завидя проезжающих, ударил барабанную дробь. Тут же стоящий инвалид-отец поднес великим княжнам на простом блюде, покрытом чистым полотенцем с кружевами, хлеб-соль.

Между тем не была забыта и будка градских стражей. На ней над самым окошком воздвиглась простая белая мраморная доска с золотыми буквами: «Император Николай I изволил удостоить эту будку своим посещением в день 12-го февраля 184...-го года и присутствовать при отогревании утопающей».

36

Граф Клейнмихель был в упадке. Выгнанный за выражение «финансовая смета», непозволительно проворонив случай с вопросом о Родоканаки, он видимо опустился. С трудом принуждал себя бриться, порос рыжим пухом. Ему ставили припарки, давали грудные порошки, его непрерывно тошнило. Появились признаки геморроидального состояния. Изредка электрикомагнитический аппарат принимал слабые стуки. В минутной надежде на то, что стучит император, граф бросался в телеграфную каморку, отталкивал дежурного офицера, но аппарат затихал. То ли воля императора, то ли действие атмосферных колебаний. При всем том был еще обременен обязанностями. Как раз в это время решался трудный вопрос о железнодорожных тендерах. Граф всегда считал тендера особым видом морских шлюпок и теперь решительно не знал, что делать с ними на суше. А суммы требовались большие.

Приезжавшая к графу его сестра, пожилая девушка, видя брата в отчаянном состоянии, просила его пойти в кирку помолиться.

Граф ответил ей, что в кирку не пойдет, потому что Лютер — скотина.

— Православие, самодержавие и народность,— сказал он потрясенной девушке,— а Лютер — скотина.

37

Министерство двора сосредоточивало в себе фрейлинскую часть, императорскую Академию художеств, охоту, духовенство и конюшенную часть. Заведующий государственным коннозаводством Левашов быстрым шепотом говорил:

— Стать, стать и стать, милостивые государи! Какая стать! Какие статьи! Бока!

Прусский художник Франц Крюге, которого специ-

ально приглашали из-за границы писать портреты, говорил о знаменитой Фаворитке:

— Главное ноги; поджарость ног — признак породы. Овальный круп и крутые бока.

Опытная камер-фрау Баранова так определяла состояние и служение фрейлин:

— Фимиам. Готика, готика, готика. Вы слышите запах?

Камер-фрау Баранова учила молоденьких фрейлин твердости. В Петергофе, в домике императрицы, куда она иногда заезжала, было чрезвычайно сыро, капало со стен. Домик напоминал более всего античный небольшой храм, но был устроен на крошечном острове среди озера, ранее бывшего болотом.

В этом озере была поставлена гипсовая статуя девушки, которую воды омывали ниже пояса. Когда какая-нибудь фрейлина жаловалась на сырость, камер-фрау брала ее за руку и указывала на статую:

— Учитесь у нее,— говорила она.

Император убрал домик разными вещами античного характера. Были сделаны точные копии с лампад, открытых при раскопках языческого города Помпеи, засыпанного пеплом вскоре после рождества Христова. К общему скандалу, все лампады оказались крайне двусмысленного вида и вызывали на неописуемое сравнение. Фрейлинам было раз навсегда запрещено об этом думать, а по своему призванию они даже не могли знать о предметах сравнения.

Камер-фрау Баранова объяснила им лампады.

— Это готика,— сказала она,— это, правда, еще языческая готика, но все же готика.

Храм, который император приказал соорудить у себя в Александрии, своей петергофской даче, «малютка-храмик», как называли его, был чистой готикой и не походил на пузатые купола. Указывая на стрельчатые окна и каменные кружева и оборки по углам, камер-фрау Баранова говорила:

— Учитесь у них.

Фрейлины были полны какого-то воздушного стремления и по утрам сообщали друг другу сны. Они отличались большой чуткостью и ловили неясные намеки. Фантастика владела ими. Мисс Радклифф была их моральный катехизис.

— Магнетизм, магнетизм, о, этот магнетизм! — говорили они.

Со времени ссоры императора с Нелидовой — все пришло в необычайное волнение. Ловили друг друга в углах и пожимали украдкою значительно руки. Обменивались взглядами. Составлялись партии, между которыми шла война, незаметная для посторонних. Почти все перестали спать, почти всем снился то император, то Варенька Нелидова. Одной из фрейлин явилась тень Марии-Антуанетты. Другой фрейлине во сне явился император Александр I и сказал: «Это я»,— но к чему, точно неизвестно.

Между тем сама Варенька Нелидова, обнаружив при разрыве с императором изумившую всех смелость, после разрыва сразу же пала духом. Явиться самой или постучать по электрикомагнетическому аппарату она боялась до смерти.

38

Утром вдруг произошло чудо.

Пришел человек удивительно обыкновенного вида, в чуйке, и принес пакет со вложением двухсот тысяч рублей асс. На пакете была надпись: A M-lle Nelidoff[1]. При деньгах обнаружена записка: «На детский приют. Коммерции советник Р.». Человека спросили, не сказано ли ему передать что-нибудь изустно, на словах. Человек попросил помолиться за заключенных и ушел, оставив всех в недоумении.

К кому поехать, кому сообщить, с кем посоветоваться о деньгах?

Были еще живы обломки старых фрейлинских поколений, знавшие эпоху Марьи Саввишны Перекусихиной. Но донельзя опытные, эти ветеранши были глухи или слепы, ничего не знали о магнетизме и употребляли убийственные конногвардейские слова.

Из эпохи предшествующего царствования, которая среди фрейлин называлась эпохой Мари — по имени Марии Антоновны Нарышкиной,— были фрейлины, но они оставались в полном небрежении и, когда являлись ко двору, семенили от волнения, как маленькие девочки.

[1] Мадемуазель Нелидовой *(фр.)*.

Затем, уже при новом императоре, была вначале эпоха маскарадов, когда он сливался со страной и нисходил к дамам третьего сословия, а вслед за нею — эпоха разнообразия.

С камер-фрау Барановой можно было говорить о чуде, но о деньгах неуместно.

Советоваться было не с кем.

Нелидова поехала к графу Клейнмихелю. Граф Клейнмихель и жена его, кавалерственная дама, родственница Нелидовой, пришли в сильное волнение. Граф дрожал как бы под действием электрикомагнетического тока.

— Двести тысяч,— говорил он.— Для малолетних бедных! Это для них много.

Прежде всего он спросил Нелидову, о каком приюте шла речь в записке. Но Нелидова и сама не знала. Тогда кавалерственная дама, просмотрев списки всех существующих приютов, установила, что Нелидова действительно является членом-покровительницей дома призрения малолетних бедных.

Ни адрес этого учреждения, ни его размеры не были указаны; Варенька Нелидова никогда в нем не бывала.

Граф Клейнмихель посоветовал деньги принять, а о приюте навести справки.

— Деньги немедля принять,— сказал он Нелидовой,— и без всяких отлагательств молиться за заключенного.

— За какого заключенного? — спросила в ужасе Нелидова и зажмурилась.

— За этого...— сказал граф,— за скотину... за откупного.

И граф довольно связно рассказал о том, что в тюрьме сидит откупщик-скотина, которого необходимо во что бы то ни стало выпустить или — все пропало. Он хриплым шепотом заявил глубоко тронутой Вареньке Нелидовой, что она может стать спасительницей государства, наподобие Жанны д' Арк.

И граф распорядился.

Адрес дома призрения малолетних бедных был разыскан. Штатный смотритель дома был вызван. В тот же день малютки шваброю истребляли запах кислой капусты. В честь покровительницы устроен бал. Вечером малютки подвигались довольно точно, учебным

шагом по скромному, только что выбеленному залу дома призрения, вытягивая носки, а потом с помощью штатного смотрителя пели кантату «Гремят и блещут небеса» и затевали шалости.

Вечером успокоение вернулось к ней.

Вспоминая детский учебный шаг и кантату, она уснула.

Назавтра она посетила кавалерственную даму. Граф, который был в обычном припадке, с утра ходил в туфлях. Вдруг из кабинета донесся четкий и ясный стук.

Стучал электрикомагнетический аппарат.

39

Сильная натура императора не выдержала напряжения. Он стучал беспрерывно, домогаясь немедленного прибытия фрейлины двора Варвары Аркадьевны Нелидовой. Отговорки болезнью были заранее отвергнуты.

Граф Клейнмихель застегнулся перед аппаратом на все пуговицы и шлепнул туфлями.

— Слушаю, ваше величество,— сказал он тихо.

— Живо! — показал аппарат.

Выйдя военною походкою к дамам, граф сказал со слезами на глазах, обращаясь к фрейлине Нелидовой:

— Зовет.

По отбытии Нелидовой граф едва успел натянуть сапоги, как аппарат снова застучал.

— Отбыла,— протелеграфировал граф и щелкнул каблуками.

— Молодец,— ответил император по системе Nicolas.

Граф тотчас велел звать цирюльника побрить его.

40

Иной раз в течение каких-нибудь десяти минут разрешаются сложнейшие исторические вопросы.

Варенька Нелидова вернулась к дисциплине. Простая, даже суровая обстановка походного, боевого кабинета императора придала сцене примирения особую значительность.

— Простите,— сказала она.

— Простил,— ответил император.

— Откупщика,— вдруг сказала она.

Снаружи, за стенами, протекала жизнь его столицы, здесь — жизнь его сердца. Маршировали по улицам столицы гвардейские полки, выкидывая ноги; готовились симметричные проекты; над рекою Невой воздвигались мосты полковником инженером Дестремом. Финансовые колебания кончались. Можно разрешить к завтрему бланманже.— Вольно, вольно!

41

Становились в тупик перед внезапным освобождением откупщика Конаки, уроженца города Винницы, проживавшего по Большой Морской улице, в доме купца Корзухина, обвинявшегося в побуждении к пьянству рядовых лейб-гвардии Егерского полка.

Историк юридической школы колебался, чему приписать тот факт, что никто, даже в министерстве юстиции, не догадался, что самое наличие в кабаке особой комнаты было уже актом противозаконным, и таким образом заключение Конаки под стражу, в камеру для производства следствия, было актом сугубо законным.

Психологическая школа, анализируя состояние императора, все приписала внезапным проявлениям его характера.

Вице-директор Игнатов, которого граф Клейнмихель называл скотиной и чем-то впоследствии обидел или обошел, оставил мемуары, в которых заявляет, что император испугался биржевых колебаний и отступил перед Конаки, что прошение фрейлины Нелидовой и было потому так быстро уважено, что сам император будто бы ждал с нетерпением, как бы наконец покончить с инцидентом.

Дело было проще.

Во-первых, откуда мог так называемый «скотина Игнатов» знать об этом деле? Затем, если уж говорить о ком-нибудь, так разве о Родоканаки, а никак не о Конаки. Конаки был вполне ничтожный человек и принужден был даже на год отсрочить возмещение Родоканаки расходов по своему делу. Да и сам Родоканаки был частным лицом, нигде не служил и уже по одному этому, как указывали историки юридической школы, не мог иметь влияния на государственные дела.

Он был негоциант, откупщик — и только.

Дело объяснялось тем, что император, как это нередко бывало с ним, просто прекратил самый вопрос.

Финансы были на время оставлены, он не желал ими более заниматься. Самое это слово опускалось в докладах. Свечи зажжены, бланманже вновь подавалось к столу. Он вычеркнул в своем сердце весь этот вопрос. Врончено снова приступил к своим обязанностям. Таможня продолжала действовать.

Может быть, в глубине души император даже пожалел заключенного Конаки и вполне удовлетворился ссылкою в каторжные работы преступной бабы-кабатчицы. При этом, по своему рыцарскому пониманию мужских обязанностей, он и не мог изменить обещанию, данному женщине в такую минуту.

42

Через два дня господином Родоканаки дан раут на сто кувертов.

Дива, госпожа Шютц, в мужском костюме, впервые исполнила победный марш из новой оперы «Пророк» г. Мейербера.

Парижский магнетизер магнетизировал редкого медия. Медий исполнял все желания гостей.

Жизнь малолетнего Витушишникова была описана в одном из нумеров «Чтений»: «Детство ста славных мужей», в то время издававшихся магазином живописных книг Андрея Иванова, на Невском проспекте, в доме Петропавловской церкви: герцог Веллингтон-ребенок, Фультон-ребенок, граф Клейнмихель-ребенок, Чудо-ребенок. Последний нумер и содержал описание жизни и полную апофеозу малолетнего Витушишникова. Иногородние платили за пересылку по количеству веса и сообразно с платой, взимаемой по почтовой таксе. Требования исполнялись с первоотходящей почтой.

43

Последующая его жизнь целиком связана с историей закрытых военно-учебных заведений, затем 5-го Апшеронского, имени его величества короля Прусского, полка и, наконец, с внешним отделением с.-петер-

бургской полиции (пристав 3-й части). Но это уже относится ко времени полицеймейстера Бларамберга.

Еще в 1880 году военный историк С. Н. Шубинский, редактор «Исторического вестника», посетил историческую будку с сохранившейся в целости памятной доской. Ему удалось еще застать стража. Бодрый старик сидел за столом, на котором стояла деревянная тарелка с нарезанным ломтями хлебом и неприхотливый водочный настой на липовых почках.

— Помню, как же, ваше сиятельство,— такой бравый из себя, видный. Идет, вижу, себе. А потом распоряжался.

— Но ведь он еще был ребенок? — спросил историк.

— Нет,— сказал старик,— какой там ребенок, такой бравый. Это только его звание было такое, что малолетный. Он уж при самом императоре состоял малолетным. Так значился.

— А самый случай помнишь? — спросил историк.

— И случай,— ответил старик.— Я и при случае был. Вижу — кто едет? Та-та-та, император. Я эту медаль на шею навесил. Ну, не эту — эта мне за тот самый случай и дадена,— другую навесил. Вышел, стою, жду. Вдруг — снегом как фукнет мне в лицо. Думаю: неужели сам государь император? Он и есть. «Что, говорит, делаешь?» — «Охраняю, говорю, вас, ваше императорское величество». А потом вот и произошел случай. Младенец утоп.

— Но это, кажется, было не так, это опровергается,— сказал историк Шубинский.— А императора помнишь?

— Помню,— ответил инвалид.— Я его как вас видел. На нем был серый походный сюртук. И шинель надета была нараспашку... Император... Как же... Делал посещения... При нем турецкая кампания была...

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ВЕЧНЫЙ ТРАНЗИТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нарастаев лежал на верхней полке жесткого вагона. Он не спал. Лихорадочное мутное вдохновение кружило голову.

О, как мучительно известно писателям такое сумеречное состояние. То, что он для себя называл большой темой, было пока напластованием бесформенных воспоминаний, множеством лиц, хаотически утвержденных в памяти, набором сцен, пережитых в разные времена, толпой догадок, таблицами разноречивых пометок в записных книжках.

Собранные воедино наблюдения отказывались служить ему, убегали в сторону, притворялись ненужными, доводили его до бешенства своей неприступностью. Измученный этой внутренней борьбой, он лежал, как бы пресмыкаясь перед ними. Он не сползал с трясущейся на ходу верхней полки жесткого вагона,— закрыв глаза, изнемогал часами в пестрой битве тяжеловооруженных мыслей.

Вдруг казалось ему, что он дошел до дна собственного мастерства, что он иссяк. Перед ним лежала глина сухого колодца. Исписанные страницы были только словесной пылью. Отвращение к листу чистой бумаги вырастало в непобедимое чувство.

Он завидовал тогда тем своим товарищам, что писали прямо на пишущих машинках красивым языком романы, доступные широким читательским массам. Он завидовал товарищам, не обремененным ни тяжелым

раздумьем, ни необходимостью проводить бессонные ночи в поисках того, что он называл про себя величием и ужасом эпохи.

Вокруг видел он желтые, крашенные масляной краской доски вагона, но они не могли помешать ему углубляться в тайники противоречий.

Мог ли он уловить в свой будущий роман, как в тенета, гремящие события века? Несколько лет усиленного литературного труда сделали его глаз тонким глазом охотника, научили строить сюжетные лабиринты с такой легкостью, с какой сложная сигнализация повинуется нажиму маленькой кнопки. Он научился погружаться в разные ритмы повествований, звенеть точным звоном сравнений, пользоваться умело глухим языком восклицаний.

И всего этого было мало. За гордость быть настоящим изобразителем людей и дел неповторимого времени он пожертвовал бы своим здоровьем, огромным самолюбием, тысячами бессонных ночей, отказом от личной жизни.

Он готов был стать бухгалтером эпохи, рыться в ее материальных и инвентарных книгах, подбирать оброненные записки, копить и угадывать ее цифры, ее тайные счета, ее просчеты и ошибки. Он готов был стать чиновником истории, чтобы высматривать для будущего романа бесчисленные акты рождений, браков и смертей, чтобы корпеть над протоколами контрольных комиссий, жактов, фабричных собраний, заседаний, ГПУ и МТС. Он готов был превратиться в последнего батрака, чтобы снова и снова пережить падение древнего земледелия, этого Перуна, брошенного в Днепр времени, он готов был потерять ногу или руку, чтобы узнать тайну передачи в слове той силы, которая зажигала огни новостроек. Как это все преодолеть в искусстве, которому он принадлежал, он не знал. И за это знание он боролся изо всех сил. Правда, никто из его современников не обладал этим знанием в совершенстве.

Он развил в себе отшельничество. Уходя от мелочей, запретив себе вкус к развлечениям, к изысканной пище, к деньгам, к вину, к вещам, к одежде, впадая временами в нищету, порой не замечая повседневной жизни, он, как хладнокровный воин, тренировался только для будущей битвы, для своего романа.

Вечернее небо за узким окном проникалось состраданием к его мучениям. Розовые венки облаков летели рядом с поездом. Они, казалось, старались смягчить суровый обет.

По примеру некоторых неистовых писателей прошлого, он работал по шестнадцать часов в день. У него почти не было друзей. Расстояние между ревнивым искусством и повседневной жизнью увеличивалось так быстро, как вода между пристанью и отходящим пароходом. Он не пугался этого.

Если Сервантес написал свой побеждающий время роман в тюрьме, почему он в добровольном одиночестве труда не сможет дать такое же сильное запечатление века?

Роман по кускам жил в нем. Всякий раз как он подходил к анализу целого, он падал под бременем ответственности и болезненного сомнения в силе своего дарования. Он говорил: еще рано, будем копить силы.

Он словно пробовал свои писательские мускулы и убеждался, что они лопнут от такой непосильной тяжести. Отдельные типы и отдельные сцены он обрабатывал с упорством каменщика. Он собирал материалы с придирчивой жадностью старьевщика. Каждая мелочь могла пригодиться, нельзя было ничего пропустить мимо недреманного ока, возбуждаемого воображением. Ярость заменяла ему здоровье. Хорошо написанную страницу он предпочитал обществу немногих друзей.

Лежа на спине на грубом одеяле, втрое сложенном, видел он над собой ровный блеск масляной краски, точно он лежал в новом гробу с приподнятой крышкой.

Он боялся ранней смерти. Он боялся ее потому, что если он умрет, не окончив своего большого произведения, то ничего не останется от него, кроме нескольких книг средней прозы в зыбких переплетах на плохой бумаге и множества черновиков, в которых никто не сможет и не будет разбираться.

Он всегда отгонял такие мысли. И сейчас, почувствовав, что эти мысли начинают занимать его все больше, он резко повернулся и лег на правый бок. Тогда ему открылась внутренность его купе. Он увидел спящую женщину, лежавшую на противоположной полке.

Голова ее сползла с подушки, и сонные руки тщетно старались ее удержать. Казалось, женщина вот-вот

упадет с полки головой вниз. Нарастаев видел худую нежную шею, охваченную легким и смятым синим воротничком, подстриженные темные волосы, кусок уха, тонкие руки с ногтями, неумело отполированными. Юбка у женщины была короткая. Чулки кое-где заштопаны, туфли пыльные и разношенные.

Нарастаеву в его ранних произведениях не удавались женщины, ему приходилось просто выдумывать психологию своих героинь. Тогда для оправдания он ссылался на Шиллера, который очень редко бывал в женском обществе, когда писал свои первые трагедии. Амалия в «Разбойниках», Луиза Миллер и Леонора были явно условны, и это было утешением.

Он рассматривал спящую соседку совершенно равнодушно. Припадок мутного вдохновенья, на смену которому пришли мысли о смерти, проходил. Хотелось пить. Ноги затекли. Он вытянул их, упер в стенку. За окном совсем стемнело. Сначала робко, отдельными иглами, потом единым сиянием вспыхнула лампа под потолком.

Полукружие ее желтого света охватило женщину. Она шевельнулась. И тут, к своему удивлению, Нарастаев увидел, что он ошибался, принимая ее за спящую. Поза, в которой она лежала, была избрана ею самой вовсе не для сна. Она перевесилась через край верхней полки, чтобы не спускать глаз с того, что делалось под ней, внизу. Она внимательно смотрела, глаза ее были широко раскрыты и даже улыбались. Она взглянула косо на Нарастаева. Тогда Нарастаев, приняв и отразив холодно ее пристальный взгляд, тоже посмотрел вниз. Он не обращал до тех пор никакого внимания на пассажиров, часто менявшихся в его купе. Сейчас они заинтересовали его совершенно случайно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Нарастаев смотрел вниз с вниманием мальчика, попавшего впервые на верхнюю галерею цирка. Самые простые вещи представлялись ему иногда в несуразной торжественности. Так было и сейчас. Два пассажира, поставив в проходе боком чемодан, играли в карты.

Один из них — веснушчатый молодой блондин с обветренным лицом, другой — смуглый пожилой толстяк с щеками ожиревшего коршуна. Губы его неприятно походили на дольки мандарина.

Толстяк называл юношу «Водхозной личностью». Юноша часто кричал ему, тасуя карты: «Побереги нос, Восточный тип, побереги нос». Играли они на щелчки.

Когда выигрывал Водхозная личность, он бил по носу своего врага очень спокойно и смеясь от души. Восточный тип дышал в карты тяжело, как будто отогревал руки, срывал банк с кряканьем и хрипеньем и, прежде чем ударить противника, долго крутил карты в воздухе и щелкал пальцами.

Часть ремесла сыщика входит в ремесло писателя. Нарастаев подивился нелегкой азартности игры на щелчки. Он глядел на игроков и на женщину, на тяжелые, багровевшие все гуще и гуще щеки Восточного типа, на юношеское вихлянье рук Водхозной личности, на полураскрытый темный рот женщины, длинными глазами смотревшей на них сверху.

Карты ложились на чемодан с особым смыслом, как будто они были не только кусками раскрашенного картона. Щелчки по носу звучали не просто, а каким-то предупреждением.

Юноша проигрывал все больше и больше. Щеки Восточного типа налились багровостью до отказа. Когда юноша проиграл еще раз, женщина коротко хихикнула и повалилась на спину. Так лежала она, не оправляя юбки, поднявшейся выше колен, и пробовала свистеть, но свистеть она не умела.

Игроки снова взяли карты.

— Настя! — позвал юноша.

Женщина села на полке, свесив ноги, став очень серьезной.

Игра возобновилась. Теперь она протекала в тишине и почти судебной строгости. Все движения игроков отяжелели. У Насти слегка дрожали плечи, может быть, просто от тряски вагона.

«Щелчки ни при чем,— сказал себе Нарастаев.— Они играют на нее. Она приз».

Поезд замедлял ход. Юноша проиграл. Он бросил карты прямо на пол и вскочил. Чемодан ему мешал. Он опрокинул его и задвинул под нижнюю полку. Восточный тип слабо протестовал, отдуваясь.

Юноша волновался. Он протянул руки женщине. Она спрыгнула и села рядом с Восточным типом. Юноша не сел. Он стоял, шатаясь, и говорил каким-то пенистым голосом:

— Настя, хотите, я спрыгну сейчас с поезда? На ходу. И пробегусь — хотите?

— Хочу,— сказала Настя очень просто.

Юноша ринулся к двери. Он откатил дверь, и в окно коридора замелькали разноцветные фонари. Поезд дернулся, покатился назад, вперед, еще раз назад и остановился. Гул толпы долетел сквозь стекла. По коридору побежали люди, гремя чайниками.

— Яблоки, яблоки,— кричали за окном где-то внизу.

Нарастаев вышел на платформу. Ему ничего не было нужно, кроме ночного неба и ночных деревьев. Небо было над головой, оно опиралось на два железных мостика, перекинутых по обе стороны станции, и было украшено разноцветными фонарями.

Деревья стояли поодаль, словно совещались. Иногда они трясли головами, точно откидывали волосы со лба, и тихий ропот их разговора ласково касался Нарастаева.

Пролетела молча тяжелая птица, и от того, что она пролетела низко, валко и тяжело, Нарастаеву стало скучно. Он вспомнил ночь в одном путешествии, где он так же стоял на маленькой ночной станции и кричала бессонная дикая птица, потом вынесли на носилках заболевшего проводника его вагона, потом девушка рядом стала стучать зубами от холода, серый гнет лег ему на плечи, он заснул, а через четыре часа померк свет, удар сбросил его на пол, вагон покатился и замер, всхлипывая.

Он столкнулся в коридоре с обезумевшим человеком в одной рубашке, человек хватал его за руки и кричал: «Не убивайте, не убивайте!..»

Он оттолкнул человека и выскочил. В тумане под насыпью на боку лежал отдельно паровоз, завернутый в пар, и поезд, кроме трех последних вагонов, оторвавшихся и оставшихся на рельсах, причудливо взгромоздив вагон на вагон, как издыхающее животное, тихо стонал на разные голоса. Голое пространство ночи веяло холодом. Иные обломки шевелились...

Ударил медленный, глубокий колокол. Нарастаев пошел к вагону. Он знал, что воспоминания о той ночи пришли к нему в противовес женщине, о которой он думал все время, стоя на станции.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он не замечал сознательно людей в вагоне. Они мешали его одинокому сосредоточению, его работе, не прерывавшейся нигде — ни в поезде, ни на улице. Маленькие люди окружающей его действительности были только крохотными человеческими значками перед гигантскими переворотами мира.

Женщину на его глазах, очевидно, с ее согласия, разыграли в карты. Бескровная борьба соперников остановила его внимание только некоторой сложностью положения. Этот оригинальный факт, может быть, как мелочь стоил занесения в дорожный блокнот.

Он не ездил в мягких вагонах даже тогда, когда у него были деньги, вовсе не от скупости. Пассажиры мягких вагонов любили поговорить, похвастаться, поделиться впечатлениями. Они мешали ему. В жестких — люди уважали больше чужое молчание.

Женщина рылась в своем чемодане. Она стояла спиной к Нарастаеву. Он слегка толкнул ее, когда, приподнявшись на руках, перенесся в свое владение. Она отодвинулась и ничего не сказала. Он же хотел услышать ее голос только затем, чтобы запомнить ее гневное восклицание. Он лег и стал рассматривать ту, которую пассажиры звали просто Настей.

Она заперла чемодан, вынула папиросу, села и начала быстро курить. Когда она, не затягиваясь, выкурила три папиросы, Восточный тип отнял у нее коробку жестом хозяина. Юноша положил карты на вагонный столик и предложил сыграть еще по одной.

— Зачем? — уныло, но с твердостью сказал Восточный тип.

— Носа жалко?..

— Нос при себе, зачем его жалеть,— отвечал победитель, беря карты.

Настя смотрелась в зеркальце своей коричневой сумочки, неслышно водила по губам красной мягкой палочкой. Едва игроки взяли карты в руки, как дверь

откатилась. Нарастаев увидал женщину в полотняной служебной куртке с синими петлицами на воротнике, в синей юбке. Женщина-проводник сказала громко, как у себя дома:

— Я вас оштрафую, граждане, на три рубля. Уберите карты. Дома не наигрались? Эх, сознательные!

Настя вздрогнула. Карандаш упал в сумочку. Даже Нарастаев, при всем умении наращивать сюжет на любую мелочь, не мог бы догадаться об истинной причине Настиного испуга. Испуг пробился в одно мгновение из самых глубин ее существа. Она не сводила глаз с высокой женщины, повелевавшей вагоном.

Семнадцать месяцев назад Настя неудачно родила дочку. Дочка жила неделю. Когда, лежа на белом мрачном столе, сведенная дикими судорогами, забывшая все, кроме красных кругов перед глазами, Настя пришла в себя (дочь уже была унесена), она увидела сквозь слезы и распавшийся красный туман, как нехорошо смеется доктор. Она проследила его смеющийся рот, наклонившийся к уху сестры. Сестра посмотрела на нее, засмеялась и сейчас же убрала смех.

— Почему вы смеетесь? — спросила она одними губами, чуть тряхнув головой.

Доктор наклонился над ней, громко и укоризненно сказал: «Эх, вы!..» — и перед глазами Насти возникло зеркало. В нем при ярком фиолетовом свете увидала она алебастровое лицо, перекошенное черными и бурыми полосами. Тогда она покраснела от стыда так, что ей показалось, будто вся кровь ушла в уши. Она поняла, что хотел сказать доктор этим — «эх, вы». Она перед самыми родами накрасила себе губы, как никогда, густо. Начернила ресницы так, что они стояли черными стрелками, и подвела брови.

Крепчайший пот родовой работы смыл это легкомыслие, нелепое в такие очищенные от человеческих условностей часы. Стыд того дня ушел глубоко в Настю. Иногда он являлся наружу, чтобы напомнить ей о существовании вещей, грозных и мстительных.

Женщина-проводник стояла, как тот доктор, и даже, как он, засмеялась и, как он, сказала: «Эх, вы!»

Правда, это сейчас не относилось к ней. Нарастаев не заметил краски, залившей уши и щеки Насти. Он заснул, не раздеваясь. Среди ночи его толкнули в плечо. Настины глаза прищурились у самого его носа.

— Смотрите,— сказала она.

Из его кармана торчала пачка пятерок, перевязанная суровой ниткой. Нарастаев не признавал кошельков и бумажников. Он носил деньги просто в кармане. В дороге деньги торчали из всех его карманов, так как он не признавал и аккредитивов.

— Спасибо,— сказал он небрежно и запихал деньги поглубже. Но заснуть он уже больше не мог. Первый сон прошел. И он видел, как вышла Настя из купе и как через минуту за ней с воровской поспешностью вышел, строго поглядев на спящего юношу, Восточный тип.

Нарастаев усмехнулся печально. Припадок мутного вдохновенья возвращался с новой силой, а это обещало явно бессонную ночь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утренний равнодушный свет как бы выпячивал ребра железного ящика, переполненного мусором. Окурки лежали вокруг на полу. Настя стала смотреть в окно. За окном бежала природа. Природа освежилась за ночь и жила самостоятельной жизнью, не похожей на вагонную жизнь Насти. Восточный тип прошел мимо, ущипнув Настю за плечо.

Настя гневно качнулась от него. Уборная предстала ей как место, презираемое людьми. В ней невозможно было долго задерживаться, в ней тоже жила тоска мусорного ящика, в ней заскучала бы и собака. Настя хотела вымыться вся с ног до головы, отмыть чужого человека, ночь и усталость, но воды в умывальнике не было. Несколько тяжелых капель скатились ей в руку. Она проспала, все уже помылись и завтракали, каждый сидя на своей полке.

Она пошла в соседний вагон через качающиеся щиты перехода. Она бросала воду на щеки так щедро, что вода текла за платье.

С удовольствием вдыхая снежность полотенца, она остановилась у купе проводника. Купе было заполнено людьми. Проводник с шафранным лицом и усами, опущенными как в воду, походил на китайца. Вокруг него молча сидели и смотрели на него другие провод-

ники. Изредка один из них поднимался и уходил, ничем не выразив своего отношения к общему молчанию. На место ушедшего приходил другой и сидел неподвижно, как будто его предшественник передал ему особый жезл молчания. Поодаль стояла, заложив руки за спину, женщина-проводник из Настиного вагона.

Проводники сидели, как горцы на камнях совета, и, казалось, думали об одном и ничего не могли придумать. Женщина-проводник увидела Настю и подошла к ней. Они вместе вернулись в свой вагон. В тамбуре Настя задержалась. Она даже взяла за локоть нравившуюся и пугавшую ее женщину. Строгие глаза взглянули на нее.

— Дело-то какое,— сказала женщина-проводник, сказала так по-хорошему, как будто говорила с подругой. В голосе ее, однако, легко ощущались покровительственные нотки: — Видишь, как вскакивал на поезд, всю книжку и обронил, а теперь сидит... что беды-то!

— Какую книжку? — спросила робко Настя, боясь, что ей не удастся наговориться всласть с ней, что та прогонит ее в вагон. Однако проводница без всякого неудовольствия объяснила сейчас же:

— Книжку-то, где билеты от всех пассажиров хранятся. Он возьми да и урони, да под откос она и пошла, а поезд уже на ходу был. Что вы с ней теперь сделаете?.. Сколько езжу — первый случай такой. Большая беда ему пришла.

Она развела руками и хотела уйти.

— Поговорите со мной,— сказала Настя, сжимая полотенце,— я очень несчастная.

— Да что вы,— насмешливо ответила проводница, смотря на нее через плечо.— Зачем же это вы несчастная. Муж-то у вас, поди, интересный.

— Никогда не видишь его,— быстро бормотала Настя.— Замужем два года. Сначала прибегал домой три раза на дню, не скучно ли, а теперь никогда дома нет. Отпуск третий год не берет. Купи пальто, говорит, себе хорошее. Я хохотала — купить пальто! Он вопиющий эгоист. Двадцать два года мне всего.

— Первый муж — не муж,— сказала шутя проводница.—А кем он служит?

— Он шоссе строит. Никогда дома нет. Далеко где-нибудь болтается. Хочешь видеть — и нет его, выйдешь — пыль по дороге стоит.

Ей самой стало жалко себя. Слезы закипали в углах глаз.

— А вы что ж, и ездите оттого, от печали своей? — спросила лукаво проводница.

Она стояла подбоченившись, с выражением недостижимого превосходства в серых больших глазах.

— Я так думаю,— сказала она, заглянув в вагон, где стучали двери,— люди, девушка, не все еще расставлены по местам. Иные стоят, муж ваш, например, у дела, а иные и ездят себе и ездят, места в жизни ищут. Я насмотрелась по дорогам. Я такого насмотрелась, что дальше некуда. Заниматься трудом тебе надо, девушка,— вдруг, как родственница, задушевным шепотом сказала она.— В руки профессию какую-нибудь взять надо. Никогда не трудилась?

— Никогда,— уже всхлипывая от непомерной жалости к своей пропадающей жизни, отвечала Настя.— Как это сделать, как это сделать?

Проводница пожала плечами.

— Не учительша я. Одно могу сказать — смелости нужно. Дети есть?

— Была дочка, умерла.

— Нехорошо, девушка, себя не бережешь. Да ты не плачь.

— Да я так.

— А ты и так не плачь. Вот тому,— она мотнула головой в сторону другого вагона,— не по-твоему крепко сейчас. Книжку-то обронил он. Это что такое? Это на каждой станции вылезай, да иди, да доказывай, какому пассажиру где транзит, да какие документы, да одними актами замучат. А он-то ведь не первый год вагоны обхаживает. И сидит вот как кремень, пожелтел с лица.

Так стояли они, твердолицая, с большими плечами проводница в форменной фуражке и Настя, все сжимавшая полотенце, слизывая с губ одинокие крупные слезинки. Проводница шумно хлопнула дверью и пошла по вагону с той самоуверенной ловкостью, с какой ходят люди, чувствующие, что справляют постоянное и нужное всем дело.

Настя боялась вернуться в купе, потому что там сидел грузный человек с тяжелыми руками, мокрогубый и досадный, как бородавка.

ГЛАВА ПЯТАЯ

По ходу действия по плану шестнадцатой главы его романа требовался кулак. Он стоял, изможденный собственной злобой, в разорванной рубахе, в новых сапогах. Он сжег последнее зерно, чтобы оно не досталось никому, и вывел детей на дорогу, голых и голодных. Бурные потоки бурьяна вместо пшеницы шумели над степными просторами. Кулак плыл на плоту по северной реке и пел озорные песни, путая их с похоронными. Он ненавидел все окружающее.

Кулак явно не удавался. Шестнадцатую главу приходилось откладывать. Нарастаев никогда близко не видел такого кулака, какой нужен был его роману, но разве Бальзак видел настоящего Видока, и, однако, он превратил его снова в Вотрена — служителя полиции вернул в личину беглого каторжника.

Нужно было сложить всех проводников этого поезда, изучить их сложную природу и создать тип — одного проводника, который останется как формула, понятная любому, который останется и тогда, когда железная дорога придет к своему естественному концу, как пришла конка или телега.

Нужно развить острейшую наблюдательность. Поезд прошел станцию без остановки. Нарастаев успел заметить, что люди спали на скамейках, чуть не касаясь земли головой, человек курил на фоне черного дуба, в яркий полдень в тени дым папиросы светился.

«Я по шуму узнаю свой паровоз»,— говорил ему один машинист.

Нарастаев хотел, чтобы стиль его узнавали по одной строчке. «Вероятно, пассажиры принимают меня за больного. Я все молчу»,— подумал он.

В раскрытую дверь проходил ветер, шуршала бумага, звенела от толчков поезда плевательница, расплескивался по столику чай из кружки, в раскрытую дверь смотрел человек.

Сметанные волосы его, гладко зачесанные, напоминали Нарастаеву белую ночь, озеро и сосны с черными мохнатыми лапами, застывшими над розовым вереском. Человек стоял в дверях и смотрел на Настю. Настя читала газету. Человек изнывал от восторга и страха. Нарастаев кашлянул. Белая ночь не нужна была ему, на Настю он беспричинно сердился. Человек у двери исчез. Настя подняла голову из-за газеты. В купе не было никого, кроме них двоих.

— Кто вы такой? — спросила Настя.— Вы что-то очень про себя все думаете.

— Да,— отвечал Нарастаев,— я плохой попутчик.

— Неужели вы даже и женщин не уважаете? — спросила она, осматривая его почти враждебными глазами.

— Я уважаю женщин молчаливых,— сказал он тихо.

Настя взяла газету и отвернулась.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Против Насти сидел краском. Он прерывисто рассказывал об одном местном выдающемся работнике.

— Так вы его, выходит, знали?

— Знала,— отвечала Настя бойко.— Я вот такая маленькая была. Он мне Москву показывал — за уши поднимал. У него руки только жесткие, грубые.

Краском смеялся.

— А я его нагайкой-камчой отхлестал раз.

— Ах, как интересно,— спрашивала Настя, хорошея от волнения,— как же вы решились?

— Решаться, товарищ дорогой, тут нельзя было иначе. Он такое напутал, по тому времени один разговор — пуля. Ну, а он уже был тогда выдающийся. Я его отозвал и веду допрос примерно так: «Ты что,— так его, простите, на простоту дело пошло,— ты что же это? Знаешь, что тебе полагается? Так вот, никуда под суд за твой проступок не отдам, а получай лично от меня наказание». И всыпал собственноручно. Помирились потом. Теперь, конечно, ему напомнить — не вспомнит, давняя история.

— Не вспомнит,— сказала Настя,— он так занят, так занят, до него и не добраться. И все заняты, ужас как. В такое деловое время я родилась, зачем не померла маленькая!

— Уж действительно,— сказал краском.— Померли бы маленькая, ничего самого у нас интересного и не увидели бы.

— Какой с вас прок,— вздохнула Настя.— Тут тоже ехали двое со мной — молодой да пожилой. В Водхозе молодой человек служит. Вчера телеграммой из поезда сняли, срочное дело, а он в отпуск ехал. А этого пожилого,— она сморщила нос,— начальство в мягкий вагон вызвало, отчет на ходу среди поезда заканчивать. Где это видано, спешка такая. Одни дела, никакой жизни.

— А где вы служите? — спросил краском.

— За меня муж старается.

В купе вошла женщина, простоволосая, угрюмая, в рваном платье, на плечах ее висели обрывки трех платков, сшитых вместе. Она вела за руку девочку, хромую и темноглазую. Увидав Настю и краскома, девочка разразилась тонкими стенаниями, женщина вытерла ей нос, и когда стенания отзвенели, степенно сказала:

— Дай погадаю тебе на счастье, без очереди. Спереди и сзади погадаю, все скажу, дай на ребенка, дай.

Настя задумала простое, про мост на сто двадцатой версте. Если размыло перед ним насыпь, поезд будет стоять, а если нет — без опозданий поезд придет в Карабазар. Цыганка взяла ее левую руку, поковыряла ладонь нечистым пальцем.

— Дай ухо, я тебе правду скажу.

И на ухо Насте она нашептала всякую чепуху про мужчину с красными волосами, про разные любовные горести и радости, все то, чему, знала Настя, цена двадцать копеек.

— Уж ты и сказочница тоже,— недовольно сказала она.

— Я и тебе погадаю,— сказала цыганка краскому.— По книге погадаю.

Она вытащила тощую и большую растрепанную тетрадь в серой обложке. Краском взял у нее тетрадь и захохотал.

— «Календарь Гатцука на тысяча девятьсот пятый год»,— прочел он, очень довольный.

— Что ты, красавец, смеешься, календари тоже мудрецы сочинили, не кто-нибудь. Дай на ребенка, дай, погадаю.

— Ну, погадай,— сказал красков, польщенный словом «красавец».

— От тебя,— сказала медленно женщина, подмигивая,— и черные и белые вьются. Ты для женщин — силок.

Красков откинулся к стенке, посмотрел серьезно на гадалку и, вынув папиросу из кожаного портсигара, задумчиво постучал мундштуком о колено.

— А ведь ты, гражданка, не цыганка.

Женщина замахала на него руками.

— Я не цыганка, видишь, ты знаешь, я не цыганка. Я тебе песню спою нашу.

И, не дожидаясь приглашения, она пропела басом, чуть приплясывая. Девочка испуганно смотрела на мать.

Алтын-балтын яртанга
Бисборамис баттанга
Бисборамис баттанга
Манке шимес Бухара
Перстеней, золотой.
Таныш мама
Чжан ссыгда будет дорогой!

— Дай двадцать копеек,— сказала она обыкновенным голосом побирушки,— ну, дай.

— Не цыганка ты,— сказал красков,— не верю.

— А кто ж я, по-твоему?

— Черт тебя знает. Может, ты классовый враг какой. Поди тебя разбери.

— А девочку обижать зачем, зачем враг говорить? Плачь, дочка.

Девочка пронзительно заревела. Настя дала ей пятнадцать копеек.

— Это что?— раздался за спиной цыганки прохладный голос проводницы.— Цирк, гражданка, не тут помещается. Тут люди по делам едут, иди, иди,

Цыганка заторопилась к выходу.

— Вот тоже безместная в жизни, только и смотри. Прямо не вагон тебе — проселок какой-то. Бродят и бродят.

— Какой вы сомнительный, во всем сомневаетесь,— сказала Настя, когда проводница ушла.— Вы и во мне сомневаетесь?

— Не имею причин.— Красном пускал дым кольцами.— Вы и без гаданья в превосходном виде.

Настя встала.

— Здесь душно, не правда ли, пойдемте на площадку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пассажира со сметанными волосами звали Рюмин. Это он заглядывал всю дорогу восторженными глазами в купе, где сидела Настя. Сейчас он стоял с Нарастаевым и курил в маленьком проходе возле уборной. Они увидели на остановке, как из-под вагона запыленной мышью, точно выкинутый пружиной, взлетел беспризорный и покатился в кусты.

— Я не женат, детей не имею, только в школах их и вижу,— сказал Рюмин.

Нарастаев пропустил его замечание, как клубок дыма.

— Мне рассказывали о научных детях,— продолжал Рюмин,— вы не слыхали о них?

— О научных детях? — переспросил недоверчиво Нарастаев.

— Да, говорят, есть такие ясли или дом целый — точно не могу сказать,— где отобраны лучшие младенцы и их воспитывают для будущего. Окружают их только научными играми, развивают воображение, ум, ловкость, ну, там гимнастика и все под надзором врачей, нянек, и все по последнему слову науки и техники.

— Зачем? — удивился Нарастаев.

— Для познавания и создания будущего человека.

— Новые Адамы,— засмеялся Нарастаев. Мысль ему понравилась.— Новые Евы...

— Если хотите — так. Это очень даже замечательно. Они живут в таких условиях, какие будут в будущем. Они не будут знать ни наших трудностей, ни нашей борьбы, ни нашей работы.

— Это уже плохо,— прервал его Нарастаев,— если они не будут закалены, им нельзя будет показываться

на свежем воздухе, их заедят противоречия, сомнения, как комары, будут жужжать и сосать их кровь.

— Противоречия исчезнут к тому времени, ей-богу исчезнут,— сказал сметановолосый человек.

— Какая ваша профессия? — спросил Нарастаев.

— Шелковод. Моя фамилия Рюмин. Я инструктор по шелководству. Старый такой червячок. Вы не смотрите, что я молод, я давно по своей профессии ползаю. Давно...

Он прервал разговор и побледнел. Лицо его сжалось в ко́мок. В дверях стояла Настя. Пунцовые губы ее были чуть раскрыты, черные стрелки ресниц поднимались.

«Червячок начинает корчиться»,— подумал не без ехидства Нарастаев.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На месте выбывшего краскома теперь безвыходно сидел, смиренно сложа руки на животе, Рюмин. Настя ушла мыться. Она мылась теперь каждые два часа. Она хотела торжествовать розовыми щеками своими над пылью и тусклым спокойствием вагона.

Нарастаев отдыхал от прибоя образов. Голова его нуждалась в отдыхе. Он не без интереса смотрел на Рюмина, точно из его нарастаевского романа выбежал мелкий персонаж, вырвавшись из цепких лап романиста, и, сев на пенек напротив, начал свои, никак не укладывавшиеся в отведенную ему роль речи.

— Обязательно,— говорил Рюмин,— во всех школах завести шелководство. Четыре раза в день надо кормить червей. Они милые такие, хрупкие, пепельно-оранжевые. Они не едят пожухлых листьев. И, конечно, их надо переносить со стола на стол. Осторожно переносить, с удобствами. И в этой комнате стоит хруст такой, очень, уверяю вас, очень своеобразный. Вот вы как геолог (Нарастаев сказал, что он геолог),— вам все равно, у вас там этакие грохоты, взрывы, обвалы. А тут такой тоненький, тоненький хруст, очень специальный. Зато и получаете коконы. Как они кипят, вы видели, как они волнуются, коконы,— совсем безумные, некая, знаете, кисельная вздорность, и.

оттуда из нее ниточки шелковые выходят, мокрые лезут, одна за другую цепляются. Вам нужно увидеть.

— У вас не служба, а балет,— сказал Нарастаев,— не то что мы, геологи.

— Ах, если б вы знали,— серьезно возразил Рюмин.— Я свое дело очень люблю, но уж измотали меня, измотали. Какой-то перелетной птицей я просто стал. Я ведь и в Крыму работал, и в Закавказье, и на Дальнем Востоке, и в Персии, и в Туркмении, и вся моя жизнь — одна командировка. Отдых предлагали. Поеду — с полдороги вернусь. Не могу — дело тянет.

— А семья? — спросил Нарастаев.— Ее-то, как шелковую ниточку из котла, не потянешь.

— В своих странствиях семьей обзавестись не успел. Впрочем,— он стал совсем тихим и хрупким, совсем шелковым,— я по секрету вам очень скоро что-то скажу. Я еду дальше вас, но я, может, сойду в Карабазаре.

— Со мной? По какому случаю?

— По особому случаю. Только — молчок. Всю жизнь мечтаю, а она проходит.

— А, понимаю! — сказал протяжно Нарастаев.

— Ничего вы не понимаете, ничего,— сказал важно Рюмин.— И ничего вам понимать не нужно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Роман должен был нести философию социальной революции. Философия эта должна была быть раствором, цементирующим характеры основных героев. Новый вечер расстилал туман за окном. Маленькое купе на пятый день пути становилось невыносимым.

«Вот мученичество писателя. Вот нищета и слава его,— думал Нарастаев.— Я могу обогатить десяток начинающих авторов богатейшими материалами, по существу мне не нужными. Я переболел ими, чтобы отобрать граммы сосредоточенной энергии. Только некоторые слова, некоторые типы, некоторые сцены останутся мне. Все остальное я забуду, всем остальным не воспользуюсь. Я тюрьма многих мыслей и сам пленник величайших сомнений, о которых я не могу рассказать ни одному критику. Я обладаю страшной властью ре-

шать судьбу воображаемых людей на долгие годы. Если бы Сервантес не послал Дон-Кихота сражаться с ветряными мельницами, мир не додумался бы до этой драмы. Если бы Гамлет не сказал «быть или не быть», никто бы не сказал этих слов за него».

Рюмин почти прижался к нему в первую минуту.

— Я женюсь,— сказал Рюмин глухо.— На Насте. Но она замужем.

Нарастаев одним шагом перешел из-под огромных сводов литературы под низкий потолок вагона.

— Она замужем,— говорил Рюмин.— Но мы договорились. Я выхожу в Карабазаре, хотя мне надо ехать дальше. Я поговорю с ее мужем, с этим бесчеловечным человеком, с этим вопиющим эгоистом (этим словом снабдила его Настя), я отобью ее. Это хорошо. Я женюсь, и вот тогда я буду ездить, ездить, но знать, куда возвращаться. Что же вы молчите?

— Я не молчу, я говорю.

— Что вы говорили, я вас совсем не слышу.

— Я только что говорил про себя, что, если бы Гамлет не сказал «быть или не быть», никто бы не сказал этих слов за него.

— Что это значит?

— Вы, кажется, принимаете поздравления. Так я вас поздравляю. Вот и все.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Последнюю ночь в поезде Нарастаев проводил опять без сна. Он сидел на скамеечке в конце пустого коридора. Из купе вышли Настя и Рюмин. Можно было поклясться, что они мало что соображали. Луна в окне была спокойная, как дыня. Непомерной длины встречный состав закрыл луну. Сначала шли штабеля досок, бревна, холмики песка, потом на платформах возникли машины, наполовину закрытые брезентом. Нарастаев узнал тракторы. Это была встреча с инвентарными героями его романа. Карабазарское строительство, куда он ехал, высылало как бы вестников, чтобы приветствовать его еще ночью.

«Хорошее предзнаменование,— подумал он.— Вот идет эшелон за эшелоном по бескрайнему простору

Союза, самые диковинные машины вызваны к жизни, самые замечательные события будут совершаться беспрерывно. Великие мысли не имеют сна.

О маленькие люди без воображения,— сказал он, обращаясь к закрытым плотно дверям всех купе.— Спите! В бесконечной жизни коконов вы честно тянете свои нитки, ваш маленький котел кипит, вы накапливаете энергию поколений, вы трудитесь, вы пожираете листву каждого дня, и тихий хруст ваших обеденных часов напоминает, что все в порядке. Большие головы наверху думают за вас. А я имею ревнивое желание изобразить вас не такими, какие вы есть, а такими, какими вы должны быть. Я не сплю ночи, я изнашиваю сердце и мозг, я курю сотни папирос, когда мне нужно курить десятки, я ломаю голову над вещами, над которыми вы бы засмеялись, найдя их бесполезными. Вы думаете, я не знаю вашей жизни, ваших маленьких тайн, ваших больших надежд. Все известно мне. И только законы моего искусства в глубочайшей простоте своей не позволяют сочетаний слов ради забавы или ради заработка. Я не постиг еще всей глубины этих законов, только накапливаю силы. Спите, мои спутники, ваш сон оправдан. Вы трудились, и вы устали. На платформах, идущих мимо меня, я читаю одно и то же слово — транзит, транзит, транзит.

Да, мои милые современники, вечный транзит влечет нас всех. Кто скажет, что он достиг станции назначения, и назовет адрес, куда можно доставить последний багаж? Мы будем стремиться в будущее, пересекая новые дни и ночи, как эти машины, накрывшие плечи брезентом, чтобы не простудиться».

Он посмотрел, спокойный, в тот угол вагона, где стояли Рюмин и Настя. Они целовались.

— Вам мешает только недостаток воображения,— сказал он с горечью.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На Карабазарском вокзале Нарастаев добродушно распрощался с Рюминым. Рюмин откровенно рассказал ему свой порядок дня.

— Я сейчас пойду по делам в шелкотрест. Потом куда-нибудь погулять. А вечером — самое главное. Сейчас идти к Насте неудобно. Пусть она своего дикаря подготовит, тут я и нагряну. Как вы думаете, это правильно?

— Вам видней,— уклончиво сказал Нарастаев.

— Вот какой вы, геологи, народ каменный,— пожурил его Рюмин.— Минеральный какой-то народ.

Он похлопал его по плечу и ушел. Нарастаев раньше уже бывал в Карабазаре. Он знал город. От вокзала до места службы его приятеля — конторы Карабазарского строительства — было довольно далеко. Чемодан его ничего не весил. В нем помещались две пары белья, горка записных книжек и кое-какая вещевая мелочь, необходимая в дороге.

Приятель его еще спал, так как было очень рано, и потом это был его выходной день. Приятель выскочил из постели и потребовал воды на двоих. Они разделись и, прыгая над двумя тазами, намыливая себя со всех сторон, спешно обменивались впечатлениями и сообщениями.

— Завтра поедем на участки работ,— сказал за чаем приятель.— А сегодня дыши и отдыхай.

После чая они пошли к одному местному писателю, который одновременно был и художником, причем писатели считали его художником, а художники — писателем. Таким образом, удобство объединения двух профессий в одном человеке не признавалось его согражданами.

Художник как раз иллюстрировал поэта; когда они пришли, он делал рисунки к своей поэме. Увидав Нарастаева, он тут же стал читать ему наизусть длиннейшие строки и показывать собственноручные зарисовки. Нарастаев назвал его поэму эпигонской, рисунки — тупыми. Они поссорились. Приятель сбегал за вином. За вином они помирились.

Все вместе пошли к знакомому инженеру, от него к археологу. От него пошли к знакомой девушке. У девушки болела голова. Она сидела в плетеном кресле и кормила голубей. Курицы отгоняли голубей и пожирали все крошки. Нарастаев сказал, что он зайдет к ней вечером. На улице компания рассыпалась, и остаток дня Нарастаев провел уже в одиночку.

Дальняя родственница Нарастаева, ныне уже покойная, в свое время объехавшая вокруг света, рассказывала юному двоюродному племяннику, что, посещая дальние страны, она никогда не могла отделаться от чувства неловкости.

— Люди живут всюду нормально, у них свой уклад жизни, ничего особенного у них в одежде, в еде или в жилище нет, а для меня это все особенное, как бы не настоящее. Точно театр, где кончится спектакль, актеры разгримируются и пойдут домой, а спектакль-то и не кончается.

Странствуя по городу, Нарастаев неожиданно вспомнил эти тетушкины слова и тут же отчитал покойницу.

«Это случилось потому, что для человека с душой эксплуататора все будет казаться принадлежащим только ему. Это жалкое удовольствие собственника считать, что вся страна разыгрывает для него пьесу своей жизни, а не живет, как обычно. Что может быть ужасней такой несвободы! Почему я здесь, в Карабазаре, принимаю как естественное и водоноса, не имеющего соперников в моем родном городе, и даже толстых высоких зверей, несущих ящики на спине, хотя эти звери в моем приморском порту стоят как редкость за решеткой зоологического сада. Сколько на свете еще рабских привычек, подлежащих изгнанию».

Нарастаев обедал один. Он ел всегда медленно, хотя ему было безразлично, что есть. Покинув столовую, он столкнулся на бульваре с Рюминым.

— Ну как,— спросил он, вдруг ощутив интерес к гладенькой фигуре шелковода,— куда спешите?

— На вокзал,— отвечал бегло Рюмин, отводя глаза.

— Один?

— Один.

— Это уже интересно,— сказал Нарастаев, увлекая его к скамейке.— Это почему же так — один? А будущая жена, а будущие дети? А Настя?

Рюмин сел и смутился.

— Я уже размяк от мыслей, знаете. Сначала думал — от жары размяк, а это от мыслей. Я ее полюбил с первого раза, вот как в книгах.

— В книгах так не бывает,— строго сказал Нарастаев.

— Вы откуда знаете?

— Я сам пишу.

— Вам шутить хочется,— дребезжал Рюмин.— А вот у меня другое. У нее муж кто? Ответственный работник. Тут все работники на счету. Что это значит — работник? Такой же труженик, как я, вечно дома нет, работы выше головы. Он ее любит? Любит! Она ему расскажет сейчас — он расстроится. Он там дорогу строит какую-то, дело незаметную трещину даст, он пить начнет, расчеты путать, собьется с пути, дорога уже не строится, а стоит. А кто этому виной? Шелковод Рюмин. А шелководу Рюмину завтра нужно быть в совхозе номер шесть. А совхоз его и не увидит. Уважаемый товарищ женится, видите ли! В совхозе дело встает. Вот и выходит — одни неприятности и никаких удовольствий.

— Вы это всерьез?

— В самый серьез.

— Да вы страшный человек! — воскликнул с иронией Нарастаев.— Как это вы ловко из донжуанской шкуры вылезли и на гвоздь ее повесили!

— Я не донжуан, а тут две отрасли промышленности страдают. Ну, как я приду к человеку и буду бороться с ним, а ведь он-то из колеи выбьется!

— Да какое вам дело до него, выбьется он или не выбьется? Вы — трус, вы РКИ боитесь, вы думаете, как бы чего не вышло.

— Я не боюсь. Я не могу долгом своим общим жертвовать. Ведь если б мужа у нее не было, все дело было бы улажено. А с этим ответственным гражданином, она меня предупреждала, у нас счеты будут горячие. Я все передумал, перемучился, весь в поту. Сейчас вечер, и я уеду. Буду страдать так, внутренне, один. Зато работа торжествовать будет. А если мне на эту любовную дорожку встать, то как раз до показательного процесса и дойдет. Муж ее так любит, что

она сказала, чтобы я с оружием,— вы слышите,— с оружием приходил. Я спросил, ну, а как же дальше? Она отвечает: «Дальше — если вы меня действительно любите, вы ни на что не посмотрите». Я настаиваю, что еще дальше? «Еще дальше, говорит, посмотрите на меня — какая я!» Я посмотрел — щеки розовые, губы полные, ресницы тяжелые. «Посмотрели, говорит, так вот, мой муж все дело бросит, сопьется, сумасшедшим станет, такая будет борьба». Я сгоряча сказал: «Настя, пусть погибает!..» А теперь я вижу — нет, товарищ Рюмин, за это не будет тебе тихой жизни. Ты необходимого человека с работы снимаешь. Ну и конец, я уезжаю и постараюсь все, все забыть. Поверьте, если бы не муж...

— Дайте ее адрес,— сказал сурово Нарастаев.

— А зачем вам адрес?

— Дайте, я вам говорю.

— Зачем?

— Я женюсь на ней.

— Зачем?

— Давайте адрес,— мрачно сказал Нарастаев,— и идите к черту.

— Пожалуйста, возьмите.— Рюмин растерянно рылся в кармане.— Вот он.

Нарастаев взял бумажку и поднялся со скамейки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Нарастаев долго путался в неживых глиняных переулках, собаки рычали на него из-под ворот, канавы шли поперек дороги, он промочил ноги, пока взору его открылся маленький домик, где жила Настя.

Он постучал. Быстрые шаги показали ему, что хозяйка чутко прислушивалась. На улице было совсем темно. Едва он шагнул в распахнутую дверь, две руки легли ему на плечи и мягкие губы приблизились к его лицу. Он мотнул головой и сказал:

— Уберите руки.

Женщина отскочила, даже не вскрикнув. Он вошел в комнату, сел на первый попавшийся стул и огляделся. Настя, онемев, стояла в углу, как в вагоне. Нара-

стаев проверил комнату опытным глазом литератора. Нищета смотрела на него. Плохонькая кровать с коричневым солдатским одеялом, две подушки, веер старых открыток, ветхая скатерть на столе, бутылка разливного красного вина, тарелка с яблоками, бутерброды и чайник на примусе. Стоптанный ковер вылезал из-под кровати.

Настя с ненавистью следила за ревизией ее логовища.

— Где же ваш муж? — спросил он без улыбки.— Строитель великой дороги в неизвестное?

Настя подошла к столу. Лицо ее горело.

— У меня нет мужа и не было,— закричала она ему в лицо,— какое вам дело до меня? Вы себе лежали там, наверху, бока отлеживали. «Я люблю женщин, которые молчат»,— передразнила она его.— Какой черт вас прислал сюда? — Она стучала кулаком о стол.

— Зачем вы солгали? — спросил ее тихо Нарастаев.

Настя дышала, как те обломки крушения, которое когда-то пережил Нарастаев.

— Кто вы, в самом деле?

— В самом деле,— просто сказала она,— кто я? Вам так интересно? Машинистка, вот кто я. Да. Машинистка Карабазарского строительства, вот и все. Вот моя анкета коротенькая.

— Зачем же вы придумали себе...

Она не дала ему договорить.

— Да поймите, дурак вы безмозглый, откуда вы свалились? Меня все бросают. Живут со мной и бросают. Кого в эту дыру заманишь? — сказала она, злобно осматривая комнату.— Таких, как Рюмин, таких сволочей...

— Он не такая сволочь,— сказал Нарастаев.— Он ничего не знает.

— Как ничего?

— Он шел к вам и вернулся. Но это уже другое дело. Стойте. Есть выход. Если мои часы не остановились...— Он посмотрел на часы, часы шли. Тогда он поспешно покинул дом, оставив женщину в полной растерянности.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ночью, как известно, меняется даже самый знакомый город, тем более Нарастаев не мог разобраться в ночном Карабазаре. Он торопливо спрашивал прохожих, пугал редких милиционеров, бесил лохматых собак, все напрасно. Вокзал украли. Вместо вокзала висела черная стена сада. Сквозь деревья долетел глухой свисток.

Нарастаев задыхался. Он добежал до семафора. Линия огней уходила за край горизонта. Где-то на краю света плыл освещенный вокзал. Он не мог больше бежать. Он сел против шлагбаума на траву.

«Какой главе романа пригодится этот вечер? — спросил он себя.— Никакой. Это не вечер. Это вчерашний день. Это прошлогодний снег».

Он вспомнил, что у него сердце не в идеальном порядке. Он задыхался. Его стал трепать кашель. Он откашлялся, и теплая беспощадность ночи пронесла мимо него тяжелую горячую глыбу паровоза.

Паровоз прошел совсем рядом, и за ним скользили десятки освещенных окон. В окнах висели спокойно лица людей, освежавших лбы, глаза и щеки после жаркого дня. Поезд прошел. Нарастаев встал и пошел не торопясь. Он вспомнил Настю в убогой ее комнате, стоящую у стола, с обкусанной губой, жалкий ужин и стоптанный ковер у кровати.

— Нет,— сказал он,— уж, пожалуйста, только не к ней. Куда угодно, только не к ней!

МИХАИЛ СЛОНИМСКИЙ

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Мужчина и женщина приближались к станции. У мужчины лицо казалось жестяным: черная пыль осела на его загорелой коже, черной жесткой щетиной обросли щеки и подбородок. Его длинный нос блестел на солнце. Полотняные штаны этого человека приняли цвет чертополоха, холщовая толстовка загрязнилась, пыль покрывала желтые ботинки.

На женщине некогда все было белое: блузка, юбка, чулки, туфли. Теперь все это позеленело, потемнело, изодралось. Кожа на ее лице, на открытой шее и обнаженных до локтей руках загорела до черноты.

Когда серое, как дым, здание станции мелькнуло впереди, сквозь листву деревьев, оба остановились, как будто силы их оставили окончательно. Потом снова двинулись вперед.

Станция была защищена от степного зноя зеленью белых акаций, вязов и кленов. Из сада выскочили два человека. Один — приземистый и смуглый, как француз,— бежал быстро, держа винтовку наперевес, и кричал в восторге:

— Стой! Выпалю! Клянусь честью, выпалю! Стой!

Потное лицо его, в особенности виски и скулы, блестело. Другой человек, длинный и худой, нарочно сокращал бег, чтобы не опередить смуглого. Светлые волосы свисали ему на лоб, брови лезли на глаза, нос тянулся к губам, а усы спустились ниже подбородка. Волосы, брови, нос, усы — все смокло. Голова наклонялась вперед. Винтовку он держал дулом к небу, но

винтовка его была страшнее винтовки смуглого: слишком равнодушны и светлы были узенькие глаза длинного человека, и слишком привычно руки его сжимали винтовку.

— И тут тоже! — воскликнула женщина.

Мужчина сказал угрюмо:

— Зря бежали.

Смуглый ухватил женщину за руку, завращал не по-русски глазами, потом выпустил женщину и толкнул для чего-то мужчину в бок. При этом он чуть не выронил из рук винтовки. Он обернулся к длинному:

— Милеш, веди их на станцию.

Милеш не косился пленников. Он только встал позади них, и мужчина с женщиной сразу двинулись вперед, как будто Милеш толкнул их. Смуглый шел впереди крупным шагом, неестественно разворачивая при ходьбе носки. На нем были синие с белым кантом штаны, запущенные в высокие сапоги, и белая рубаха, распахнутая на груди и стянутая у талии широким зеленым поясом. Шея у него была такой же ширины, что и затылок.

Он провел мужчину и женщину через сад в здание станции и остановился у двери, на которой висел плакат: «Посторонним вход воспрещается». Отомкнул ключом замок, отворил дверь, толкнул обоих пленников в комнату, и ключ снова щелкнул в замке.

В комнате, у окна, лицом к двери стоял человек. На ногах его, поверх белых носков, желтые сандалии. Белокурые волосы вились над сдавленным у висков лбом. Глаза у него — серые, губы — розовые.

Мужчина спросил его:

— Вы тоже с поезда?

— Нет. Я — начальник станции.

Оба замолкли.

Женщина беспокойно перевела взгляд с одного на другого. Их спокойствие пугало ее. Наконец она обратилась к начальнику станции:

— Что мы будем делать теперь?

Тот пожал плечами.

— Вот единственное наше оружие.

И он, взяв с кровати свернутую кольцами длинную веревку, кинул ее на пол.

— И вот еще.

Он вынул из кармана и показал два ржавых гвоздя.

— Прямо хоть вешайся.

Женщина побледнела. Возбуждение прошло. Она зашаталась и вдруг опустилась на пол.

Мужчина поморщился.

— Нельзя ли без обмороков!

И пока начальник станции поднимал его жену, он кратко передал о крушении поезда, о нападении бандитов, об их бегстве.

— Я это предвидел,— отвечал начальник станции.— Они, наверное, и на востоке разобрали путь. Это мой подчиненный, телеграфист, привел сюда шайку. Сегодня ночью они вырезали всех, кто не пошел с ними, а меня заперли пока. Не везет этой станции. Не так давно она была взорвана белыми, и пришлось деревянную надстройку делать, а теперь...

Мужчина оглядел комнату.

— Простите,— перебил он,— но я страшно устал. Должно быть, нас будут убивать или что-нибудь в этом роде, но, право, мне сейчас все равно. Я хочу спать.

Он растянулся на полу и мгновенно захрапел.

Начальник станции имел свои строгие понятия о долге. К обязанностям своим он относился с такой серьезностью, как будто не глухая станция была поручена его попечениям, а целое государство. И теперь он считал, что жизнь этих пассажиров тоже на его ответственности. Он должен их спасти.

Когда женщина открыла глаза, он промолвил:

— Вы не беспокойтесь. Я придумаю что-нибудь.

Дверь отворилась. В комнату вошел Милеш, молча подал ему письмо и удалился, оставив дверь открытой. Начальник станции развернул письмо.

Прочел:

«Уважаемый Николай Леонтьевич, я решил не работать больше на всякую сволочь, кто катается в поездах. Я решил избрать деятельность более подходящую для меня, чем должность телеграфиста захолустной станции. Я встал во главе отряда, и мир услышит обо мне и моих целях. Я не хочу вас убивать. Я хочу, чтобы вы пошли вместе со мной. Вот мое предложение: в зале, в углу, приготовлено моими людьми все, чтобы

поджечь станцию. Ждать мне некогда. До восьми часов вечера я предлагаю вам поджечь станцию. Это будет тот поступок, который обозначит ваше согласие со мной. Кроме того, вы должны отказаться от защиты схваченных вместе с вами мужчины и женщины. Они должны сгореть на станции. До восьми часов вечера вы можете свободно гулять по станции, но при всякой попытке выйти в сад или на платформу вы будете убиты. Вы будете убиты также в том случае, если до восьми часов сегодняшнего вечера не выполните поставленных мною условий. Еще раз заявляю: я не хочу убивать вас. Вы — единственный человек тут, который по-настоящему может понять меня и мои цели. Но если вы не пойдете со мной, моя рука не дрогнет, убивая вас.

С искренним уважением остаюсь в ожидании

Валериан Благодатный».

— Какая ерунда,— пробормотал начальник станции.— Поглядите-ка!

И он бросил письмо женщине.

Та прочла.

Губы ее дрогнули, брови сдвинулись. Она села, спустив ноги с кровати. Локтем левой руки она оперлась о колено и щеку положила на ладонь. Лицо у нее от загара смуглое, как у креолки. Только глаза — желтые, как у лисы, и волосы — цвета лисьей шкурки.

— Что ж вы думаете теперь делать? Вы еще можете спастись, а мы двое так или иначе погибли.

— Что вы! — усмехнулся начальник станции.— Если погибать, то мы погибнем вместе.

Он сунул письмо в карман кителя.

— Но мы еще посмотрим.

И он вышел из комнаты.

Женщина сразу же вскочила, заметалась по комнате, потом кинулась будить мужа.

Тот проснулся и сел на полу, охватив колени руками.

— Что такое? Что случилось?

Женщина зашептала:

— Пока ты спал, он хотел меня... Я вовремя открыла глаза. Послушай, я не спала, я притворилась, что сплю, и подслушала разговор. Он вошел в сношения с бандитами. Они решили поджечь станцию и нас

убить. То есть в том-то и дело, что не нас, а только тебя. Меня он силой уведет с собой. Но я тебя спасу. Я ради тебя пойду на все. Только слушайся меня и верь.

— Для меня важно одно,— перебил ее муж,— он бандит?

— Да.

— Ты наверняка это знаешь?

— Ну вот... клянусь... клянусь твоей жизнью, пусть ты меня бросишь, если я вру... Пусть... Неужели даже в такую минуту ты мне не веришь?

— Скажем, что верю.

— Тогда ты должен вот что...

Пока она шептала, начальник станции прошел в залу.

В зале, в углу, брошена солома. На соломе — кипа казенных бумаг. Тут же, на полу, рядом,— коробок спичек. Чиркнуть спичкой — и жизнь спасена.

Начальник станции даже не поглядел в угол.

Он распахнул окно в сад и позвал Благодатного. Из-за деревьев вышел приземистый смуглый человек, тот самый, который схватил женщину и ее спутника.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Я на ваши условия не могу согласиться,— сказал начальник станции.— Но все же, может быть, столкуемся.

— Мое слово твердо,— отвечал Благодатный.— Я ни на одну йоту не отступлю от условий. Мое письмо и мои условия — плод зрелых размышлений о жизни человечества. Поджог станции — это отказ от ложного чувства долга. Я нарочно, для искуса, посадил с вами еще двоих моих пленников, и ваш отказ от их защиты — это протест против мещанского, унижающего человека чувства любви. Нужно стать выше маленьких, обывательских чувств.

Благодатный выпрямился, чтобы казаться выше, но все же он был маленького роста.

— В таком случае,— сказал начальник станции,— в восемь часов вечера вы можете меня убить.

Он затворил окно и повернул назад. Остановился перед кипой бумаг, сваленных на соломе. Он ничего не мог придумать. Он стоял и тупо глядел на коробок спичек.

Вдруг петля пригянула его руки к туловищу. Он дернулся, не понимая, откуда это брошен на него, как на дикую лошадь, аркан. А веревка все крепче вязала тело. Та самая веревка, которую он сам нашел. Вот н ноги уже не стоят. Начальник станции упал на пол. Он уже видел: это муж той женщины стянул его мертвой петлей, а она стояла рядом и командовала:

— Заткни ему рот!

Начальннк станцин бился, разрывая узы, но веревка крепка. Мужчина запихнвал в рот ему платок.

Начальник станции затих на полу, связанный. Он следил глазами за женщиной. Та взяла коробок спичек с полу, чиркнула и поднесла горящую спичку к соломе. Сухая солома вспыхнула.

Женщина обернулась к мужу:

— Теперь вынеси его!

— Но...

— Не возражай. Ты же видел, что он хотел поджечь станцию, тебя оставить, меня спасти и под предлогом пожара... Нет времени болтать. Неси его!

Благодатный заметил пламя в зале н вышел к крыльцу. Он улыбнулся. Он победил гордеца. Да он и не сомневался в этом. Упорная воля победит все.

И он перестал улыбаться. В сад вышли беглецы с поезда. Мужчина нес на руках связанного начальника станции.

Он опустнл беспомощное тело на землю.

Его жена подлетела к телеграфисту:

— Вы начальник?

— Я,— отвечал Благодатный.

— Я сразу поняла это по вашему лицу и...— Она закраснелась слегка.— Он не принял ваших условий, и мы связали его и подожгли станцию.

— Мадам,— отвечал телеграфист,— ваш поступок поражает меня. Вы неожиданно оказались людьми высокого строя мысли н соучастннками моей ндеи. Вы пойдете со мной.

— Мы не герои,— возразила женщина,— мы маленькие люди. Отпустите нас на свободу.

— Мадам,— сказал телеграфнст,— вы выполнилн те условня, которых не понял этот жалкнй гордец, и моя идея обязывает меня предоставнть вам полную свободу действий. Вы и ваш спутник — свободны. Вот вам пропуск.

Он вынул из кармана большой кожаный кошелек, вытащил оттуда лоскуток зеленой материи и передал женщине.

Та схватила мужа за руку:

— Идем!

Мужчина бормотал, уходя с ней:

— Ничего не понимаю, решительно ничего.

За садом их нагнал мужик с широкой, как у швейцара, бородой. Он встал на их пути и сказал, глядя прямо в глаза женщине:

— Подлюга! Ух, подлюга! Вот ведь какая подлюга! Лиса хитрая!

Та съежилась, сжалась, хватаясь за руку мужа.

Мужик поглядел на нее, сплюнул и пошел назад.

— Что ты сделала? — спросил мужчина, хотя он уже о многом догадался.

Жена отвечала отрывисто:

— Идем! Сейчас поздно рассуждать.

А начальник станции недвижно лежал лицом к закату. В степи предзакатное солнце не слепит глаза. Оно, окрашенное красным вишневым соком, закатывается быстро. Глазом можно следить, как уходит оно в зеленую землю. Быстро снижается солнце. Вот коснулось оно земли. И земля уже режет диск. Ломоть за ломтем режет земля солнце. Вот уже половина только осталась в небе, вот четверть, а вот земля совсем проглотила солнце и облизала край неба красным языком. Дню — конец. Ночь.

Благодатный подошел к бывшему своему начальнику и освободил рот от платка.

— Вы мой друг,— сказал он,— но мы служим разным идеям. Это не я убью вас, а одна идея убьет другую.

И он вынул револьвер.

— Эту дрянь спрячь,— отвечал начальник станции спокойно,— и развяжи меня.

— Мое слово твердо,— возразил телеграфист.— Но до восьми часов у вас есть время раскаяться.

— Развязывай!

— Ты отказываешься от своей идеи?

— Развязывай!

— Ты хороший материал для моей идеи возрождения личности и героев,— сказал телеграфист (ему не

хотелось убивать этого человека).— Эта идея оплодотворит твою душу.

— Развязывай,— еще раз повторил начальник станции.

Благодатный приказал:

— Милеш, развяжи!

Милеш распутал веревки, стянувшие тело начальника станции. Тот встал, разминаясь.

Милеш вскочил на коня и поскакал туда, где среди поваленных под откос вагоиов еще стонали раненые. У станции — сборный пункт. Долго ждать опасно: из городка может прийти карательный отряд. Надо узиать, почему не идут те, что напали на поезд. Надо поторопить их. Длиниая фигура Милеша болталась в седле, как виитовка на плече иеопытного солдата. Но это кажущееся иеумение было энергичнее красивой посадки истого кавалериста.

Дым клубами громоздился вокруг станции и, подымаясь к звездам, терялся в быстро темнеющем воздухе. Пламя шумно полыхало иа крыше и в стенах здания, рвалось кверху и в стороны, рассыпалось искрами, и искры тухли. Листья деревьев сохли и свивались. Ближиий тополь тлел. Бревна трещали в огие, треск этот похож был на ружейную перестрелку.

Люди из-за деревьев глядели на пожар. Их — иемного, человек двадцать. Но в руках у них винтовки, и они сильией тех безоружных, что частью разбежались, частью полегли сегодня ночью. Стреиоженные, но не расседланные лошади жевали траву за садом. Коиь Благодатного был привязан к дереву отдельно от остальных.

Благодатный шагал по аллее, заложив руки за спину и голову опустив на грудь. Десять шагов к стаиции, десять шагов от станции. Серого сюртука и треуголки иа нем не было, и горящая стаиция — это не то, что горящая Москва сто восемь лет назад. Но этот пожар — только начало многих пожаров. Может быть, загорится и Москва.

Молодой парень добыл из пламени длинный бамбуковый мундштук с загнутым кверху концом, затушил о землю и подошел к Благодатиому.

— Що це таке? — спросил он, улыбаясь добродушио.

Благодатный даже не повериул к нему головы.

Парень обратился к начальнику станции:

— Що це таке?

Начальник станции недвижно стоял, опершись о ствол тонкого ясеня.

Он глянул на парня.

— Это мундштук,— сказал он.

— Що таке мустук? — удивился парень.

— Курить,— объяснил начальник станции и, взяв мундштук, стал вдруг длинно и подробно объяснять, как это курят с таким мундштуком: — Нужно вот этот конец вложить в рот, понимаешь? А сюда вставить папиросу. Мундштуки обычно бывают короткие, такой же длины, как папироса, но мне иногда скучно бывало на станции одному, и вот для развлечения я и завел себе такой длинный мундштук. Это мой мундштук. Лягу, бывало, на кровать и пускаю дым, и мне кажется, что я в Турции и у меня — гарем и фонтаны.

— Що таке Туреция? — спросил парень.—Що таке харем?

— А Турция — это держава, страна такая... да... А мундштук я тебе дарю. Можешь взять. Мундштук этот больше мне не нужен.

Восклицания и крики прервали этот разговор. Милеш вернулся с неожиданным известием: главные силы отряда, ограбив поезд, ушли в степь. У поезда Милеш не нашел никого. По пути он также никого не встретил. Он расспросил одного умирающего пассажира, и тот указал ему на запад: туда ушли люди, которые изранили его. Милеш добил пассажира и прискакал к станции. С главными силами отряда ушла и вся добыча.

Люди бросились к лошадям в степь.

Благодатный, подбежав, крикнул:

— Смирно! Слушать мои приказы!

Но никто не слушал его.

Молодой парень, пробегая, задел его локтем. В руке у парня — мундштук. Благодатный ударил его по щеке. Парень споткнулся, остановился и, повернувшись к Благодатному, взмахнул мундштуком. Благодатный вырвал из рук его мундштук и сломал о колено.

— Я — начальник! — кричал он грозно, не по-русски вращая глазами.— Я приказываю слушать меня!

И он крикнул Милешу, указывая на молодого парня:

— Пли! Стреляй в него!

Винтовка в руках Милеша вскинулась к плечу. Дуло на миг глянуло прямо в лицо молодому парню, и тот, закрыв лицо руками, отшатнулся. Но в следующее мгновение дуло винтовки направилось на Благодатного. Милеш выстрелил, и Благодатный упал, вскрикнув дико. Все французское слетело с него. На земле лежал русский телеграфист. Глаза его не вращались грозно. Глаза его выкатились, как у рыбы, и, не мигая, глядели на Милеша. Струйка крови вытекла из его рта, и, увидев эту кровь, Благодатный закричал и заплакал:

— Я умираю! Спасите меня!

Крик его переходил в хрип.

— Николай Леонтьевич... спасите...

Милеш снова прицелился.

Благодатный вжимался в землю, томясь в смертном страхе.

— Не надо... Я ничего больше не буду... Не убивайте...

Милеш выстрелил, и Благодатный, дернувшись судорожно, затих. Руки его раскинулись, пальцы вошли в землю.

Милеш поднял винтовку, целясь в начальника станции.

Но молодой парень встал на пути. Лицо у него было бледно, он боялся винтовки Милеша, а из горла шла бессвязная, убедительная речь о том, что этого убивать не нужно.

Милеш закинул винтовку на спину и повернулся к уже ожидавшему его отряду. Молодой парень, как и все, вскочил на коня, и отряд унесся во тьму. Топот копыт стих в отдалении.

Начальник станции остался один у пылающего здания. Он отвязал коня Благодатного, вскочил в седло, и конь вынес его в степь.

Красная уродливая луна торчала в небе: не половинка, не четверть, а какие-то три седьмых, да еще отрезанные неровно. Зато небо обсыпано было, как солью, звездами, и это было красиво. Среди звезд не было Южного Креста. Полярная звезда, русская, северная звезда, не оставляла неба. Но все же это небо над степью — южное небо: иссиня-черное и глубокое. И тумана в степи — нет.

Начальннк стаицни въезжал на бугры, иа рысях спускался вниз, в карьер летел по ровным местам, минуя глубокие, поросшне чертополохом балки. И когда в котловине открылся иакоиец город, ои почувствовал, что устал так, как будто весь деиь ходнл по песку иа ходулях.

Начальником одиой нз крупных стаиций Юга, уже позабывшего о войне, был человек, отличавшийся щепетильностью и аккуратностью в служебных делах и чрезвычайиой осторожностью в обращеиии с людьми. Ои так взглядывал иа каждого иового человека, как будто у того кармаиы были набнты бомбами для разрушения стаицин.

Когда ои был раздражеи илн иедоволен, он всегда начинал выговор так: «Поменьше бы заботилнсь о себе — побольше бы думалн о деле!».

Иные уважали н цеиилн его. Миогнм ои казался просто скучным, нсполнительиым чнпушей.

Он был жеиат, н всем было известио, что жепа влюблена в иего и повторяет все его слова и мысли.

Станцня была проездная. И с юга н с севера поезда приходили уже переполиеиные, особенио летом, когда северяне стремились в Крым и иа Кавказ н возвращались оттуда обратио. Для тех, кто саднлся на этой станцни, мест оставалось немного. Билеты выдавались только по заявкам нсполкома, и начальинк стаицин обычио сам проверял заявки.

Летом длинные очереди выстранвалнсь перед кассами. И те, за кем нсполком ие броинровал места, иной раз должны былн ждать следующего и еще следующего поезда. А поезда ходили только раз в сутки.

Касса открывалась только тогда, когда с соседней стаицни сообщали, сколько в поезде свободных мест. В летние месяцы случалось, что на весь поезд можно было выдать только два или три бнлета,— тогда и те, кто нмел заявки, не попадали.

Одиажды, в однн нз нюиьскнх вечеров, оказалось только трн места иа всю длииную очередь желающнх. В такнх случаях начальиик стаиции распоряжался о выдаче билетов ие только в порядке живой очереди, ио и по важиости дел, по которым командированы

былн люди. Но когда поезд подкатил к платформе, оказалось, что мест гораздо больше, что для всех хватит.

Началась спешка, суетня, толчея.

Начальник станцнн следил за выдачей бнлетов, готовя в уме гневный рапорт на своего коллегу, начальника соседней станцнн, давшего неверные сведення о колнчестве мест в поезде. Он лнчно знал и презнрал этого добродушного, путаного н почти всегда нетрезвого человека.

Людн, схватнв бнлет, мчались на платформу: поезд стонт всего пять минут.

Наконец все утнхло. Касса закрыта. Начальннк станцнн вышел на перрон — отправлять поезд. Все пассажнры уже расселнсь по вагонам.

Вдруг с площадки одного из вагонов соскочнл человек с чемоданом, за ннм женщнна с саквояжем. Онн рннулись к соседнему вагону, но проводник немедленно же захлопнул перед ннмн дверь.

Начальник станцин был достаточно опытен для того, чтобы понять, в чем дело: этн пассажиры второпях попали не в свой вагон, а проводннк их вагона пользуется случаем, чтобы не пустить их. Он хочет получнть взятку.

Начальннк станцнн нздали так обругал проводника, что тот немедленно пустнл пассажнров. Сначала вскочнла женщина, за ней — мужчина.

Свисток.

Мужчнна и женщина обернулись с площадкн, чтобы поблагодарнть спаснтеля. И сразу же все трое узнали друг друга.

Уже тогда, когда этот мужчнна показывал у кассы командировочный документ (он приезжал сюда нз Москвы для какой-то ревнзин), лицо его показалось начальннку станцнн знакомым. Но ему некогда было вспомннать — пассажнры рвалнсь к кассе. Теперь он вспомнил.

Он шагнул к поезду, поднял руку. Но что он может сделать? Как доказать?

Мужчнна и женщнна вмнг скрылись в темную глубнну вагона.

Поезд двннулся.

Начальник станцнн опустил руку.

А. ЗОРИЧ

ЭПИЗОД

Если ехать из Москвы на юг и проехать Федоровку и Мелитополь, в перелеске, на холмах, близ глухого полустанка Утлюжка, мелькнут вдали веселые цветные крыши утопающих в зелени построек. Из окна вагона виден большой белый дом с колоннадой в стиле монументальных работ Монферрана, низкие флигеля, расходящиеся ижицей, службы и венецианская кружевная беседка над обрывом; внизу, под холмами, раскинулась крытая черной прелой соломой убогая деревенька, и на околице бросается в глаза странная большая изба с заколоченными окнами и с черными пятнами дегтя на стенах и на дверях. Дощатый забор, которым она обнесена, сгнил от времени и перекосился. Двор сплошь порос густым и высоким бурьяном, и крыша, где торчит и скрипит жалобно ржавый флюгер на ветру, вся покрылась мхами; видимо, целые годы никто не входил в этот двор, где замерло всякое дыхание жизни, и мрачный дом выглядит так, точно на нем лежит печать тяжкого преступления. Крестьяне, когда проходят мимо по улице, отворачиваются и смотрят вбок; бабы крестятся, шепчут что-то, кривя губы, и плюют через плечо.

Когда-то в усадьбе на горе живал степной магнат помещик и гвардии ротмистр Никита Романовский. Большой белый монферрановский дом помнит еще и балы, на которых под звуки старинных клавикордов кружились в томных вальсах сентиментальные девицы в воздушных татьянинских платьях, и сцены, когда

пороли на конюшне парикмахеров, неровно выстригавших шерсть на графских пуделях, и псовые охоты, и гвардейские кутежи с цыганами, с французскими шансонетками из Харькова, с фейерверками и пьяной стрельбой по ночам; он пережил и блестящие времена дворянского расцвета, и бесславную войну с японцами, и революцию пятого года; в течение ста лет он хранил в своих стенах вместе с ароматом дорогих и тонких духов и с запахом английских сигар и армейских ботфортов воспоминания и традиции уходивших одна за другой эпох; его история началась еще во времена освободительного манифеста царя, который спешил предотвратить мирным бунтом сверху кровавый бунт снизу, и кончилась совсем недавно, когда в усадьбе организованы были районная больница, школа и ясли для детей. И больница, и школа, и ясли названы Первомайскими. Здесь нет случайности, которая сопутствует часто таким наименованиям; первое мая того года, когда произошел случай, всколыхнувший всю деревню, надолго, может быть навсегда, останется здесь в памяти у людей.

Весна тогда выдалась ранняя и радостная. Предвещавшие урожай теплые дожди выпадали один за другим, оживляя и насыщая влагой оттаявшую землю; от земли, то стелясь, то клубясь, поднимался полный одуряющего аромата пар. По утрам стояли легкие заморозки, воздух в полях бывал особенно чист и прозрачен, и в изумительно звонкой тишине далеко разносились песни жаворонков; мягкие синеватые сумерки точно покрывалом окутывали по вечерам холмы и перелески, и старики выходили посмотреть звезды в высоком синем небе и предсказывали, что с Николина дня начнет уже колоситься рожь. Была благодатная чудесная пора, когда, сияя радостью, пробуждалось и тянулось жадно к солнцу все, что было живого на земле.

Граф и гвардии ротмистр Никита Романовский приехал в имение через месяц после того, как эти места были заняты наступающими деникинскими частями. Он приехал с начальником уезда в коляске на штабных лошадях и, пока начальник, не снимая шинели, пил водку и завтракал на террасе под колоннами, долго бродил по усадьбе, хмурясь и покусывая длинный холеный рыжеватый ус. Холодное, высоко-

мерное и презрительное безразличие, с которым граф относился до этих пор к крестьянам, уступало сейчас место закипавшей в нем ненависти к людям, превратившим в пепелище его родовое гнездо. Мебель, рояли, картины, книги — вся обстановка была растащена из опустевшего и грязного дома и пошла, как он подумал, по рукам; двери и оконные рамы во флигелях повсюду сняты были с петель, и квадраты отверстий зияли черной зловещей пустотой; столетние липы в парке были вырублены, и на прогалинах бродил, обдирая кору с уцелевших молодых деревьев, крестьянский скот; пруд, где разводились когда-то форели, порос зеленой скверной ряской, и от него шла нестерпимая вонь; мраморным статуям на берегу кто-то покалывал носы, и переплеты венецианской беседки испещрены были озорными ударами ножей и топоров. Печать разрушения, печать бунта на всем лежала в усадьбе, покой и неприкосновенность которой казались так незыблемы на протяжении ста лет. Это были руины, возбуждавшие своим видом тоску и тревогу и гнетущую мысль о том, что никогда не возродится из них прошлая, беспечная, легкая и радостная жизнь.

Постояв над обрывом, граф Никита Романовский, обходя в аллеях ямы, вырытые свиньями, и морщась от злобного отвращения, вернулся в дом, на террасу. Они коротко переговорили о чем-то с начальником уезда и уехали почти тотчас же, бешеным аллюром промчавшись по безлюдным улицам притихшего, точно вымершего села. Крестьяне прятались в домах, украдкой выглядывая поверх пестрых занавесок в окна.

Через три дня в село пришел и расположился на постой военный отряд, и у крестьян начали искать и отбирать господские вещи в клунях и амбарах, наложили на село штраф и согнали баб и девок со всего села приводить в порядок усадьбу на горе. Вещей нашли мало, потому что вся обстановка из белого дома давно вывезена была в санаторий под Харьковом, но начальник отряда не поверил этому, и штраф, когда обыски не дали результата, был вдвое увеличен. Платить его оказалось положительно нечем в этой нищей, убогой деревеньке, где уже второй месяц люди жевали мякину, с надеждой ожидая нового урожая. И крестьяне выбрали стариков и послали делегацию к на-

чальнику отряда просить о снисхождении. Но начальник не принял делегации, а вызвал караул и велел перепороть ходоков. На смятой клумбе в цветнике перед белым монферрановским домом разложили рогожу, и по бокам в две шеренги молодцевато встали казаки с нагайками, выпустив чубы из-под бескозырок; седые старики из делегации по очереди, снимая штаны, ложились на рогожу, и казаки хлестали нагайками по их иссохшим бескровным телам; старики лежали молча, затыкая углами грязной рогожи рты, и только подергивались от боли и стыда. Бабы и девки смотрели на эту сцену из сада и из окон дома, узнавали своих отцов и мужей и плакали тихонько, размазывая перепачканными руками грязь и следы слез по лицам.

Выпоров, стариков отпустили, объявив через них, что, покуда не будет уплачен штраф, бабы и девки останутся заложницами в белом доме на горе. И они действительно были заперты там, и по вечерам оттуда слышны были далеко разносившиеся в тишине, прерываемые возней и грубым мужским смехом, задыхающиеся, умоляющие женские крики и плач. Обезумев, крестьяне кинулись распродавать скот и скарб на базарах и занимать деньги в соседних деревнях и через три дня внесли собранную по грошам штрафную сумму. Баб и девок выпустили из белого дома. Они шли по улицам, руками придерживая разорванное платье, опустив глаза, вздрагивая часто, как в ознобе, не отвечая на расспросы и стараясь не встречаться глазами с прохожими.

Штраф был уплачен, и отряд ушел, оставив большой конвой в белом доме, куда через несколько дней прибыл с оравой каких-то штатских и военных людей, крашеных женщин и с приказчиком Васькой Копанем сам граф Никита Романовский.

Приказчик Васька Копань считался когда-то егерем и собачником в графском дворе. Но он умел угождать и развлекать господ, бил без промаха в медный пятак, подброшенный в воздух, объезжал лошадей, знал как свои пять пальцев все заводи и тока в округе, водил гостям красных девок и даже собственную жену из деревни и вскоре стал доверенным графским лицом. Он боготворил хозяина и был жесток и беспощаден с крестьянами, которых очень скоро на-

учился презирать так же, как презирал их граф, и из которых сложной системой постоянных штрафов за потравы и за порубки и недоимок за аренду выколачивал, никогда не давая им выбраться из нищеты, последние гроши. Деревня ненавидела его дружной, затаенной злобной ненавистью. Он вовремя скрылся, когда началась революция, и крестьяне, поискав и не найдя его в округе, спалили только его дом в выселках.

И то, что он вернулся сейчас обратно и ему в неделю отстроена была на околице новая, просторная и богатая изба с резными карнизами, с петушками и флюгером на крыше, и то, что в прибранном господском парке и в белом доме на горе зажглись опять повсюду с вызывающим торжеством огни и цветные праздничные фонарики в аллеях и там воцарилось былое пьяное и праздное веселье с музыкой, с пикниками, с ракетами,— все это говорило, казалось, о том, что прежняя жизнь и прежние порядки опять вступили в свои права, отвоевав попранное, наверстывая потерянное. Вконец разоренная штрафами и поборами, измученная унижениями, угрюмо притихла внизу, под горой, деревня. Старая, привычная глухая ненависть к господам из белого дома смешивалась в крестьянах с новым зарождающимся и растущим чувством злобы к тем, кто поднял деревню на бунт, на революцию, вызвал ее к поступкам, за которые придется теперь, когда все пойдет по-старому, так долго и так жестоко расплачиваться. Так в страхе, в мучительном ожидании новых наказаний и несчастий потянула деревня полные затаенной тревоги дни. Село точно вымирало теперь, едва спускались сумерки. Не было ни огней в хатах, ни прохожих на улицах, ни обычных песен на речке, и только собаки во дворах тоскливо лаяли и выли на звезды.

В один из таких вечеров — потом уже было установлено, что это был первомайский канун,— в деревню пришел человек со станции. Сейчас имя этого человека и его лицо по множеству портретов и фотографий знает вся страна, но тогда это был никому не известный случайный прохожий, чужой человек в городской бобриковой куртке и кепи, низко надвинутом на глаза. Он пошатывался, бредя вдоль плетня по улице. С первого взгляда могло бы показаться, что он пьян,

если бы не землистый цвет и заострившиеся черты его лица, сразу бросавшиеся в глаза. Он был болен и изнемогал, трясясь в ознобе, от усталости и слабости. Черные запекшиеся губы его вздрагивали и дергались, точно он что-то шептал про себя на ходу; обведенные синими кругами глаза блестели лихорадочным, мутным блеском; на лбу крупными каплями выступил холодный нездоровый пот. Пошатываясь и судорожно цепляясь дрожащими, ослабевшими руками за плетень, он дошел до перекрестка, остановился, постоял с минуту, опираясь о забор и в полузабытьи опустив голову на руки, потом открыл глаза, оглянулся с недоумением, плохо понимая видимо, что с ним и где он находится, и постучал в неосвещенное, темное окно ближайшего дома. Там подняли занавеску, в окне на секунду показалось и тотчас же спряталось чье-то лицо, и глухой голос сказал изнутри:

— Не подаем по ночам! Проходи!

Человек в бобриковой куртке молча постоял опять некоторое время, закрыв глаза и вздрагивая частой мучительной дрожью, потом вздохнул, собираясь с силами, отошел от окна и поплелся дальше вдоль улицы, стучась теперь у каждых дверей и просясь переночевать. Его нигде не пускали и всюду отвечали, что не подают, что у самих спать не на чем и что теперь не такое время, чтобы отпирать прохожим двери по ночам. В одном месте, когда он постучал, ему, не отвечая и не открывая окна, погрозили топором, в другом науськали на него собаку, в третьем, когда он спросил, вспомнив о чем-то или на что-то вдруг решившись, где живет Сизов Михаил, ему ответили, помолчав, испуганным и ненавидящим голосом:

— В чижовке твой Сизов, в город деникинцы увезли. Мотька, тут шляется какой-то, Мишку Сизова спрашивает,— бежи за урядником!

Так он брел шатаясь все дальше и дальше, по кривым деревенским улочкам, стучась в окна и всюду встречая отказ и слыша лишь брань и угрозы в ответ. Наконец он дошел до хаты Ильи Шелгунова, который был одно время попечителем в школе и считался передовым человеком в деревне. Илья Шелгунов отпер ему. Он вошел в избу, с радостью ощутив тепло и запах жилья, и, не добравшись до лавки, в изнеможении опустился на топчан у дверей. Хозяйка огляде-

ла его и с состраданием, качая головой, молча стала готовить постель на лавке под образами. Илья Шелгунов, помолчав и пожевав губами, настороженно спросил:

— Ты откудова же будешь, из каких?

— Приказчик Спасского завода,— слабеющим голосом сказал неизвестный человек, с трудом приподняв и тотчас же опустив отяжелевшую голову на грудь. И вдруг он заговорил торопливо и бессвязно, спутавшись, забывшись и чертя в воздухе поднятой рукой:— Давайте явку, давайте явку! Где шифры? Наташа! О, боже мой!

Илья Шелгунов опять помолчал с минуту, потом поднялся и твердо и сухо сказал, коснувшись руками его плеча:

— Вот что, приказчик. Уходи ты, ради Христа, от беды. За тюрьмою, как бы сказать, мы не скучаем, у нас и дома делов хватает...

— Наташа! — в тоске прошептал, не слыша его, не поднимаясь и не открывая глаз, неизвестный человек.— Дитя мое, девочка!

— Бери его за ноги, Мавра! — торопливо сказал Шелгунов и, подойдя сзади, поднял, обхватив, горячее тяжелое тело с топчана.

Вдвоем с женой они вынесли и посадили неизвестного человека на улице под забором. Он был без сознания, голова его моталась, руки висели, как перешибленные, вдоль тела, и, чтобы он не упал, они положили под него сбоку деревянный обрубок: кепка свалилась по дороге с его головы, и они второпях нахлобучили ее задом наперед. Они посадили его, прислонив к забору, и пошли, озираясь с испугом, и тотчас же погасили огонь в хате.

Некоторое время он неподвижно сидел у плетня, опустив голову на грудь и изредка что-то бормоча; потом сознание вернулось к нему, он поднял, с трудом приоткрыв отяжелевшие веки, голову и огляиулся вокруг. Надо было что-то делать, как-то двигаться, куда-то уходить. Рассчитывать на сострадание, рассчитывать на помощь здесь, очевидно, не приходилось,— такая глухая и жестокая враждебность сквозила в словах и поступках людей. Он поднялся, с трудом передвигая налитыми свинцом ногами, и пошел было,

опять цепляясь за плетень, но тотчас же ощутил мучительную тошноту и непереносимую, страшную слабость во всем теле, увидел раздвигающиеся, сверкающие круги перед глазами, зашатался и упал прямо в грязь среди улицы.

— Значит, конец? — вслух хриплым шепотом спросил он сам себя, и тотчас же все возмутилось в нем, и, стиснув зубы и страшным усилием воли превозмогая новый приступ слабости и тошноты, он приподнялся, на четвереньках дополз до плетня и встал на ноги. Злоба, которую испытывал он к гнавшим его мужикам, сменилась вдруг чувством острой жалости к этим забитым и темным людям, которые сами топили, швыряя в нее камнями, последнюю соломинку, за которую можно еще было уцепиться, чтобы не растерять надежд на лучшую жизнь впереди.— Дикость, дикость! — шептал он, подергивая запекшимися губами и проводя ладонью по горячему и влажному лбу.— Ах, Наташа, девочка, мой милый друг...

Мысли путались в его разгоряченном, больном сознании. Вдруг он выпрямился во весь рост, сдернул кепи с головы и заговорил, неизвестно к кому обращаясь и бросая бичующие слова в черную пустоту ночи. Пошатываясь, он говорил твердо и громко, как на митинге, хотя на этом странном митинге не было ни одного человека перед трибуной. Его слова далеко разносились и звучали в тревожной напряженной тишине. В ближайших хатах, прислушиваясь с изумлением, вглядываясь в темноту, открывали, щелкая запорами, окна и двери; крестьяне, переговариваясь шепотом, выходили на улицу, кучкой собираясь вокруг него. Он говорил не останавливаясь, и толпа росла с каждой минутой, точно люди только и ждали, пока кто-нибудь заговорит громко, чтобы собраться сюда. Торопливо и озабоченно, как будто предстояло услышать и решить что-то очень важное, они сходились со всех концов деревни, встревоженные неожиданным ночным шумом. Он продолжал говорить, и вначале все подумали, вглядываясь в его серое, изможденное и суровое лицо, встречаясь глазами с его воспаленным, невидящим взглядом, что это юродивый, кликуша, божий человек, но чем он больше говорил, тем яснее становился волнующий, огромный смысл его слов. Он говорил страстно и бессвязно, как никогда не говорил

уже потом ни на одном из тех сотен собраний, митингов и докладов, на которых ему приходилось выступать, вкладывая в эту странную и путаную речь все свое сердце, всю свою огромную душу, всю любовь свою к людям и к делу, которому без остатка отдано было его существо. Он говорил о правде, о единственной суровой правде на земле, о новой, светлой наступающей жизни, в тяжких боях за которую льется сейчас кровь обездоленных, восставших людей в стране, об умершей в тифу своей дочери, о своей жене, которую ждет в эту весеннюю сияющую ночь расстрел в Харьковской тюрьме, о себе, о своих товарищах, о тысячах и десятках тысяч таких, как он, людей, без остатка отдавших жизнь делу революции и ожидающих и требующих сейчас помощи и жертв от народа, во имя интересов и будущего которого эта революция творится. Его горячие слова были сумбурны и беспорядочны, но в них звучало что-то изумительно искреннее и неповторимое, что проникало в самые сокровенные тайники души и сознания каждого человека в обступившей его молчаливой, сосредоточенной, взволнованной толпе. Это были страстные слова, которых никто и никогда не слышал еще здесь, в глухой, убогой, забитой деревеньке; они будили первые смутные и дерзкие мысли в сознании, и боль, и гнев, и тревогу, и надежду в сердцах... Злоба, которая зародилась в мужиках, когда начались поборы и унижения, против людей, толкнувших их на поступки, за которые приходилось теперь так жестоко расплачиваться, и страх, который они испытывали, ожидая новых несчастий, проходили с каждым этим словом, и с каждым словом у них появлялось и крепло ощущение, что сверкающие огни в монферрановском доме освещают тризну, а не праздник и что старое вернулось только на короткие часы, чтобы справить панихиду на пепелище, из которого растет и вырастет другая жизнь, о которой говорит этот странный человек. В них поднималась и росла неожиданная готовность к борьбе. Они уже не боялись последствий, они уже почти с радостью ждали и готовы были принять их, чтобы через них вступить в ту обновленную, лучшую жизнь, которая будет все-таки торжествовать! Толпа все тесней сжималась вокруг него, и он в полубреду ощущал касавшееся его лица ее горячее дыхание...

Следом за ним приехали со станции на почтовой таратайке два штатских человека. Они торопливо прошли в большой белый дом на горе, вызвали графа и гвардии ротмистра Никиту Романовского из розовой гостиной, где шла партия на биллиарде, и о чем-то пошептались с ним в прихожей. И тотчас же был поднят на ноги караул, размещенный во флигелях, и казаки зажигали, одеваясь, высокие факелы и щелкали затворами винтовок, и к толпе, собравшейся у хаты Ильи Шелгунова, где говорил неизвестный прохожий человек, через несколько минут неслышно подошел сзади, точно выросши из-под земли, приказчик Васька Копань. Кто-то из мужиков оглянулся на его шаги, вскрикнул, и толпа обернулась как по команде, и Васька дрогнул и побледнел сразу, увидев обращенные на него десятки, сотни горевших незнакомой открытой ненавистью взглядов.

— Уйди, Васька! — глухо сказал ближайший рябой мужик.— Уйди от греха, убьем! Иуда!

И Васька повернулся, не сказав ни слова, и пошел назад, стараясь быть спокойнее и не ускорять шагов, понимая, что его действительно убьют на месте, если он побежит. Он шел, и ненавидящие взгляды жгли его спину и затылок, и он ощущал горечь и сухость во рту и дрожь в коленях.

— Уходить надо! — тотчас же, едва он завернул за угол, нарушив общее тяжелое молчание, сказал рябой мужик и, протискавшись к толпе, дотронулся огромной шершавой рукой до плеча неизвестного человека.— Уходить надо, милый! — повторил он, и неожиданная теплая, трогательная и благодарная ласка прозвучала в его грубом осипшем голосе.

Неизвестный человек двинулся поспешно вперед, но тотчас же зашатался и повалился на плетень. Но десятки рук мгновенно протянулись к нему из толпы; эти руки подняли его заботливо и осторожно и передали кому-то через плетень. Теряя сознание, он видел близко склонившиеся над ним чьи-то лица, и тревога и участие, которые были на этих лицах, и особенно влажный блеск, которым светились их глаза, сразу наполнили его спокойной уверенностью и за себя и за то дело, острой тревогой о котором жила каждая клеточка его существа. Он вздохнул легко и закрыл глаза.

Из-за угла показались и шли на толпу сам граф Никита Романовский, люди в штатском, приехавшие со станции, и казаки из конвоя, высоко державшие зажженные факелы над головами. Зловещие отблески дрожащих красных огней скользили по их лицам.

— Где комиссар? — быстро спросил, подходя, Романовский и схватил за плечо стоявшего впереди рябого крестьянина.

— Не лапай, ваше сиятельство! — со сдержанной злобой сказал тот и, сжав его руку с такой силой, что хрустнули суставы, отвел ее в сторону.

— Негодяй! — вырвав руку и задыхаясь, гневно крикнул Романовский.— На осине вздерну!

— Всех не перевешаешь,— спокойно сказал рябой.— Осин не хватит.

— Взять его, казаки!

Казаки двинулись вперед, но толпа, расступившись, мгновенно поглотила рябого мужика. Толпа подалась вперед и замерла, дрогнув. В зловещей, предостерегающей тишине слышно было только частое, тяжелое и взволнованное ее дыхание. Секунду Романовский стоял неподвижно, не зная, видимо, на что решиться, потом он медленно и высоко поднял руку с нагайкой над головой ближайшего из толпы. Тот не мигая и не отрываясь глядел, закусив губу, ему в лицо. И в этом взгляде и в безмолвии толпы, которая неподвижной грозной стеной стояла перед ним, было что-то новое и страшное, отчего у него прошел мороз по спине. Они встретились с ним глазами, и Романовский опустил руку.

— Мерзавцы! — хрипло и бессильно сказал он.— Всех перепорю!

Ночью неизвестного человека вынесли тайком, глухими закоулками в ночное, где паслись лошади на свежей траве. Он бредил и что-то беспрестанно говорил горячим шепотом, подергивая черными запекшимися губами. На покрасневшем лице его пятнами выступала тифозная сыпь. Двое верховых осторожно подняли его, положили поперек седла и, заботливо придерживая его опущенную голову, тропинками увезли куда-то вдаль, в перелески, в темень...

Этой же ночью был убит в своей новой избе Васька Копань, графский егерь и приказчик, ворота и двери

его дома нзмазаиы былн позориыми пятнами дегтя, и никто не заходит сюда н не прикасается к ннм с той памятиой ночн, и крестьяие отворачнваются угрюмо, н жеищииы крестятся и плюют, обходя это погаиое место.

И в такую же иочь, но год спустя, был назван по общему желанию нменем Первого мая н именем человека, память о котором иавсегда сохраиится здесь в сердцах людей, белый дом иа горе, где размещены сейчас школа, ясли н больннца.

Каждый год осеиью, второго нлн третьего сентября, от скорого поезда, проходящего в Крым, отцепляется н стонт до вечера на глухом полустанке блнз Мелитополя большой синий салон-вагон. Каждый год осенью, второго или третьего сентября, навещает эти места человек, в тифу, в бреду говорившнй здесь нзумительиые слова в ту незабываемую ночь. Ои сильио постарел за это время, его внскн серебрятся, иа его суровом аскетическом лице прорезались морщииы... Но какой прекрасиой и светлой улыбкой озаряется и сияет это лицо, когда ребятншки радостио окружают его и гирляндамн повисают на ием, цепляясь за его платье, обхватывая пухлыми ручонками его шею, едва ои подинмается иа гору в белый монферрановскнй дом! Он сидит здесь часамн, вслушиваясь в нх веселое щебетаиье, вглядываясь жадио н пристально в их лица, точио иадеясь увндеть или воскресить какие-то зиакомые родиые черты, он улыбается задумчиво и иемиожко грустио, и губы его иачниают вздрагивать мииутамн совсем как в ту ночь. Потом ои уходит иа стаицию, и мужики толпой провожают его; проходя мимо хаты Ильн Шелгуиова, оии остаиавливаются и наперебой начииают вспомииать.

— А помнишь — вои плетень? А ие забыл — вон каиавка?

На стаицин оии заходят в вагон, пьют обжигающе горячий чай с блюдечка и долго сидят и говорят о разиых крестьяиских делах. Потом подходит поезд, вагои прицепляют, мягко подкатив его иа руках, в хвост. Мужнки долго стоят на дощатой платформочке, когда трогается поезд, провожая немнгающнмн взглядами убегающий красный яркнй огоиек на последием буфере...

С НАТУРЫ

Слева от меня обычно лежит на пляже с женой Манюсей и сыном Мариком бухгалтер воронежского финотдела Пестряков. Они всегда выходят раньше всех, чтобы занять лучшее место на пригорке, за кустами пыльных ослиных колючек; как утверждают курортные врачи, на пригорок попадает больше ультрафиолетовых лучей.

Бухгалтер сверхъестественно худ и похож на Пата; жиденькие, чахлые его усики обвисают вокруг рта, как приклеенная мочала, на бритой голове видны следы чернильного карандаша, который он по канцелярской привычке закладывает за ухо. Жена, Манюся, сварливая и злющая баба с пятнами засохшего кармина на тонких губах, третирует его и упрекает, что он сгубил ее молодость. На шее, на цепочке, она носит серебряный жетон, якобы выданный ей как приз за красоту на благотворительном вечере в воронежской прогимназии в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Если в словах ее нет преувеличений, то приходится только удивляться разрушительной работе времени.

Они выходят, и бухгалтер, прежде чем раскинуть простыню, долго ползает, кряхтя, по холмику и выбирает камни из песка.

— Мерзавцы! — говорит он при этом неизменно.— Курортный сбор дерут, а пляжа не чистят. Вот напишу в «Известия».

— Писатель! — язвительно фыркает жена.— Чириков, Боборыкин.

— А вот и напишу. Чего бояться? Конечно, без фамилии, дипломатично.

— Дипломат! Чемберлен! Пуанкаре!

Раздевшись, она мажется, чтобы лучше загорать, какой-то вонючей смесью, подозрительно оглядываясь по сторонам. Ей мерещатся нескромные мужские взгляды.

— Посмотри-ка направо! — говорит она, растирая ладонями обвисший живот.— Опять улегся какой-то с биноклем. Это невозможно, прямо прохода не дают! Наводит, наводит! Какие наглецы мужчины!

Бухгалтер смотрит нехотя, прикрывая от солнца глаза ладонью.

— Ничего он не наводит. Это не бинокль. Это он кефир пьет из бутылки.

— Знаем мы этот кефир. Зачем же он сюда повернулся? И вон рядом какой-то брюнет с усиками. Нахал!

— Не вижу никаких усиков! — лениво говорит, отворачиваясь, бухгалтер.

— Это забавно! Его жену весь пляж лорнирует, а ему и дела нет! Не видишь отсюда, так сбегай посмотри! Тюлень!

— Ты бы, матушка, меня еще в Севастополь послала проехаться посмотреть, не разглядывает ли кто тебя оттуда в подзорную трубу.

Они ссорятся. Она говорит, попрекая его, что могла бы, если бы не он, выйти за корнета или за какого-то провизора Клюгенау и найти свое настоящее счастье; он же напоминает, что из семи подушек, обещанных в приданое, до настоящего времени получил только три.

— Но я отдала тебе любовь!

— Любовь, матушка, сама по себе, а лебяжий пух тоже восемнадцать рублей кило стоит.

За завтраком они мирятся и, рассевшись на простыне, долго жуют бутерброды с брынзой и обсуждают, перебирая десятки имен, кандидатуру нового заведующего финотделом, которого должны застать по приезде в Воронеж, и способы, какими возможно получить сахар без карточек в дачном кооперативе. Сын, восьмилетний Марик, получив бутерброд, жует булку, а брынзой залепляет себе, чтобы удобнее было нырять, нос и уши.

— Марик! Дрянь! — визгливо кричит мать.

— Марик! Выдеру!— говорит, не двигаясь с места, отец.— Где ремень?

— На ремне висит окорок в погребе,— злорадно отвечает Марик, дитя своего века, и бормочет, надувшись: — Какие нервные! Нечего было и рожать, если такие нервные!

Уходя, бухгалтер вырывает на холмике, чтобы там не ложились другие, две аккуратных ямки, насыпает туда колючек и, слегка забрасывая их сверху песком, довольно говорит:

— Забронировано! Как говорится, голым профилем не сядешь!

И все-таки одиажды, когда оии вышлн, как всегда, ровно в семь, их место оказалось занятым. На пригорке лежал, подложив под голову свернутые штаиы, какой-то тучный и необычайио белый, вндимо только накануне приехавший, человек. Ои ворочался и чертыхался, вытаскивая колючки, поминутио вонзавшиеся в тело.

— Это место занято, граждании! — подойдя, сказал бухгалтер Пестряков.

Тучиый человек, добродушно улыбаясь, приподнялся иа локте.

— Тут же места ие плацкартные. Кто первым вышел... Ой, ч-черт! Хотел бы я зиать, какой идиот иасыпал здесь колючек!

Вперед выступила, поджав губы, жена Маиюся.

— Оригнналыно! — сказала она.— Мы здесь лежим уже девятнадцать дней.

— Так ложитесь и на двадцатый,— добродушно сказал тучный человек.— Песка иа всех хватнт. Господи!

— Я не могу лежать рядом с чужим мужчиной.

Тучный человек вздохнул, почесал в затылке, подобрал свой узелок, покорно отполз на четвереньках в сторону и лег на живот.

— Что я, кусаюсь, что ли? Гав! Гав!

— Как глупо! Не кусаетесь, но я порядочиая женщина и мать, а ие финтифлюшка, чтобы меня разглядывали.

— Да чего мне вас разглядывать? Цнрцея какая, подумаешь!

— Нахал! Грубиян! Толстяк!

— Вы ие выражайтесь, уважаемый! — строго сказал бухгалтер и угрожающе выкатнл впалую грудь.— За Цирцею в мнлицню можно. За такне слова по портрету бьют.

Тучный человек воинствеиио засопел было н прнподнялся, ио тотчас же опять лег на жнвот и добродушно сказал:

— Ну, чего ссориться? Посмотрите, благодать какая? Море, солнышко, парусок! Грешно тут ругаться, ей-богу. И я ничего такого не сказал.

— Все ж такн надо поосторожиее. Она семейиая жеищииа, а ие Цирцея.

— Ну ладно, ладио. Извиняюсь, если вам угодио.

Отворачиваюсь, закрываюсь, зажмурился, ослеп и не буду смущать добродетелей вашей Пенелопы.

— Ермолай, он опять!

— Уважаемый! — сказал бухгалтер, вставая и подтягивая трусики.— Вы что же? В протокол желаете попасть?

Тучный человек махнул рукой, молча повернулся на бок и лег к ним спиной.

— Дурак! — злобно сказала Манюся, начиная раздеваться.— Связываться только не хочется, а то бы показала я тебе Пенелопу! Урод!

Некоторое время все лежали молча, потом тучный человек, обуреваемый, видимо, желанием высказаться, сказал, приподнявшись и ни к кому, в частности, не обращаясь:

— Хорошо, конечно, но чертовски в горле пересохло. Ни одной будки с квасом! И ракушки, проклятые, жалят. Как клопы впиваются. Что ни говорите, а на речке, по-моему, лучше. Ляжешь, этак, растянешься, песок как бархат, ветерок, осока шуршит, утки крякают. И напиться можно, не то что из этого, черт его подери, моря. И уху сваришь, и стаканчик опрокинешь от сырости.

— По́шло! — сказала Манюся, фыркнув и вздернув костлявым плечом.— Только о водке и думают. Все мужчины одинаковы.

— Вот приеду в Воронеж,— не отвечая, продолжал тучный человек,— насмотрю себе местечко на речке, только меня и видели по воскресеньям. Речонка там хоть и паршивая, говорят, но заводи есть.

— А вы что, там проживаете? — насторожившись, спросил бухгалтер.

— Буду жить. Я туда назначен заведовать финотделом. Прямо из отпуска и покачу.

С минуту бухгалтер лежал неподвижно, бессмысленно и растерянно хлопал глазами; потом он вскочил вдруг, бестолково засуетился.

— Да, река, река! Великое дело река, совершенно верно изволили заметить. Мы с женой на реке и днюем, можно сказать, и ночуем. Ветерок, камыши, утки крякают...

— И напиться можно! — жалобно сказал человек.

— Совершенно справедливо. Не то что из этого, черт его действительно побери, моря. Но у нас есть

кипяченая вода в бутылке. Осмелюсь ли предложить? Манюся!

Манюся, которой бухгалтер делал знаки глазами, поспешно натягивала за холмиком капот. Лицо у нее стало жалкое и растерянное. Застегиваясь на ходу, она подала бутылку.

— А я вас не обопью? — облизнувшись, спросил тучный человек.

— Что вы, что вы! Как можно! Такое приятное знакомство! Сами не допьем, а уж вас напоим!

Тучный человек, запрокинув голову, жадно припал к бутылке, Марик посмотрел на него с беспокойством, захныкал и сказал:

— Он все вылакает, не для него несли!

— Молчать, негодяй! — свирепо зашипел, сделав страшные глаза, бухгалтер.— Где ремень? Выдеру! Современные, знаете ли, дети! Пейте, пейте, не стесняйтесь! Если не хватит, я сбегаю в лавочку, возьму сифон.

— Что вы! — смутился тучный человек.— Я и сам могу в случае чего.

— Нет уж, зачем же, позвольте уж мне, если понадобится. Да вы что же, прямо на песке лежите! Ведь так и чирей схватить можно! Манюся, простыню!

— Не надо, не надо! — растерянно сказал тучный человек и замахал руками.— Как же вы-то сами?

— Нет, уж разрешите. Все поместимся. На простыне, да не в обиде, хе-хе. На коммунальных началах, так сказать. Я хоть и беспартийный, но глубоко сочувствую. Манюся, подложи им чего-нибудь под голову. Вы уж ее извините, если что лишнее сказала: женщина, знаете, нервы. Разрешите представить — жена моя, Марья Павловна.

— Очень приятно! — жеманно сказала Манюся.— Вы любите природу? Мы с мужем обожаем природу!

— А я сразу, как вас увидел,— говорил, суетливо расстилая простыню, бухгалтер,— как увидел, так и решил познакомиться. Такое, вижу, симпатичное, открытое лицо, дай, думаю, разговорюсь. Очень, очень приятно. Головку вам не напечет? Вот, разрешите косыночку. Скоро собираетесь в Воронеж?

— В Тамбов, вы думаете?

— К-как в Тамбов?

— А разве я сказал в Воронеж? Оговорился, значит. В Тамбов, милейший, в Тамбов. Недельки две попекусь, а там и двину. Не засидишься, дела ждут. Извините, мне, право, совестно, но не разрешите ли еще глоточек?

Но бухгалтер отодвинул бутылку и сухо сказал:

— Что ж вы голову-то морочите? Сначала Воронеж, а потом, оказывается, Тамбов?

— Ну, оговорился, в чем дело?

— А вот в том дело, что отдай простыню! — визгливо крикнула вдруг Манюся.— Самозванец! Хлестаков! Гришка Отрепьев!

Она рванула из-под него простыню; тучный человек перевернулся и вывалился на песок.

— Позвольте, что же это? — сказал он, вставая.— Я не понимаю! Вы с ума сошли!

— Не понимаешь? А чужую воду хлестать понимаешь? Разлегся, как барин, на всей простыне, а ребенок должен калечить себе ягодицы? Выпил всю воду, а дитя должно мучиться от жажды, как в пустыне? Ермолай, возьми от него косынку, может, у него голова паршивая. Как не стыдно приставать к посторонним людям! Нахал! Еще глоточек? А этого не видал?

Она сложила и сунула ему под нос кукиш; розовые ногти были отполированы и блестели на солнце...

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

БРОНЕПОЕЗД «СПАРТАК»

— Встать!

— Вста-ать!

И бойцы, повстанцы Украины, встают. Они встают медлеино н грузно... В походах прнлип чернозем Украины к ногам бойцов. Ноги натружены, огромны н тяжелы. Как ими идти, как имн ступать по степям Таврии?..

— Вста-ать!

Встань и ты, если наш. Встань и слушай повелительный возглас, вскаляющнй кровь,— возглас следующий по уставу, блюдимому иами,— «Встать!»

А если ты не иаш, если ты враг,— присутствуй здесь н гляди на то, что произойдет. Гляди, недострелянный! Гляди, пока жив! И слушай, слушай!

Бойцы, повстаицы Украииы, встали. И за возгласом «Встать!» по степи Таврической лег клич:

— Вперед!

— Вперьод!

Вперед, хлопцы! Вперед, товарищи! С нами! Мы идем в атаку! Мы идем брать Мариуполь. Сегодня, 24 марта 1919 года.

Ты был, родной, в атаке? Был? Дай, старый боец, руку на ходу. Шире шаг! Пошли!.. Идем сегодня снова!

А ты, комсомолец? Идем, браток. Ты много увидишь н поймешь сегодня...

* * *

По степи Таврической — тяжелая поступь бойцов. Нет еще встречных пуль, но сердце бьется неровно. Что будет сегодня, что будет сегодня?

Город молчит... Море молчит... Небо молчит... Только степь гудит... Наши глотки гудят... В твою славу, за твою жизнь, Украина, и — пусть!— гудят перед нашей смертью!

Город заговорил:

— Дывись, Яким Хруш упал.

— Хто там около ранетых остановывсь? А ну, вперьод!

— Дывись, Трохим Конура упал.

— Вбыт. А ну, ходом!

Дивись, Украина! Дивись! Партизаны идут, не идут — летом рвут. Ах, пули бьют, бьют... По наше мясо плачут, кричат. Чуешь, Украина? Чуешь, мати?!

В цепи и матросы, бригаде в помощь данные, летят. Ходом! Ходом!

Жарко бежать в атаке, тяжело бежать. Двести патронов на теле, и каждый патрон более пяти золотников.

Пули бьют, бьют... Глухим бы сделаться. А ну, не робеть! Швидче! Кто там в землю лезет?..

— Партизани! Товариство! А ну, разом, а ну, возьмем! Вперьод!

И, наискось держа винтовки затворами у глаз — хоть одна бойцу от пули защита! — кидаются партизаны к первым домам. За вильну Украину!

Опалены вражьими выстрелами брови и ресницы, и опять падают повстанцы. Умирающие дышат кислым запахом бездымного пороха.

Залегли все. Сливают кровь раненые, и идет от нее пар.

Примолк город. Белые держатся.

И когда примолк,— еще раз рев по его стенам шарахнул:

— Виддай Мариуполь!

Братки хрипят:

— А ну, дай море!

От бега тяжелых ног задрожал город.

— Отдай!

— Видда-а-ай!..

Третья бригада повстанцев вошла в Мариуполь. Бе-

лых — в пыль. Штаб бригады быстро и победно дал телеграмму: «Мариуполь занят». И дальше стучат юзы...

Что будет сегодня! Что будет сегодня!

* * *

И в тот же день, следом за атакой, паровоз по рельсам прыгает, мотается, семьдесят верст в час идет, ветер свистит,— рот и нос забивает. Стук на стыках, как пулеметный — в одно сливается. Рви, ай, рви!

К Азовскому морю три матроса летят в третью бригаду, чтоб обстановку узнать. Машинист из окошка руку свесил, на руке стальная цепь-браслет — знак силы и верности. Машинист свой — с эскадренного миноносца Черноморского флота «Гневный».

Приазовская степь. Таврия. Морем пахнет. Чуют матросы, ох, чуют, не ошибутся! Море вновь увидят, на море глаз положат! Дай море, дай!

Дыханье азовское флотские ленточки вьет, распластаны они по ветру. На тендере матросы, на каменном угле открыто стоят, качаются, грудями воздух секут. Рви, ай, рви!

Едут матросы на дело, о судьбе голов своих про себя думают... А ветер бьет, хлещет. Камышом, тиной, рыбой, солью пахнет. Рви, машинист, прибавь там ходу,— эй!

— Под откосом будем!

— Фактéц — буде-ем. Прибавь!

— Есть прибавить!

Смех, ой, смех с такого дела! С такого хода рельсы разболтать на этой ветке можно. Петрушка выйдет. Но парни не в шалость ход прибавляют — парни о боевом приказе думают. Успеть надо.

— Который час?

— Одиннадцать.

— Час имеем.

За Волновахой на прямую к морю вынеслись. Бушлаты поскидали, к топке кинулись. Лопаты звенят, уголь в расплавку идет, глядеть нельзя. Манометр стоп кричит, парни уголь в топку садят. Скорее, скорее! Именем морской бригады путь на Мариуполь для паровоза освобожден. Прямой провод работает, телеграфисты стучат, как только паровоз мимо станции прогрохает... Прошел... Прошел... Прошел...

рви, прибавь еще! Осатанели матросы. Машинист на манометр глядит, кричит:

— Большой кошьмар выйдет!

Ничего не слышат матросы. За руку машинист их хватает, пальцем тычет — стрелка куда за красной чертой.

— Кошьмар выйдет!

— А... чтоб ты понял — во!

На манометр бескозырку надели. И не видно — чего там стрелка беспокоится.

Парни, рви! Дело за дело идет. Свое мясо пожалеете — беда будет!

Влетели в Мариуполь...

— Который час?

— Одиннадцать часов тридцать пять минут. Так!

С ходу — стоп сделали, на землю спрыгнули. Двое матросов — по-украински балакают, один — нижегородский.

— Где штаб?

— Ось там.

Летят — шаг в сажень. Часовые стоят, на их поясах рядами висят немецкие гранаты — деревянными ручками вниз. Матросы к часовым. Часовые глядят:

— Це ж вы видкиля?

— З Александровська!..

— Так. А що ж вы с Александровська?

— Трэба.

— А що ж вам трэба?

— А ну, что я с тобой буду балачками заниматься! Кличь товарищей — начальство. Ну!

— А що ж я буду клыкать, як воно и само идэ.

Щус подходит, матрос черноморский со «Свободной России», вторая голова повстанья. Венгерка на братке ярко-синяя с золотом, фуражка — с ленточкой георгиевской черноморской и шпалеруха «Стейер» в пол-аршина.

— Здоров.

— Товарищки дорогие!

— Гостэчки дорогие!

Не знает, как принять, как посадить.

Матросы о командире третьей бригады спрашивают:

— Як батько?

— Батько живэ.

— Ну, и добрэ.

Вежливость сначала. Теперь пора чуть-чуть и к делу:

— Щус, як воюетэ?

— Дякую, гадов бьемо, аж пыль лэтыть. Зараз бой хранцюзам даемо... У порту эскадра...

* * *

«Мариуполь занят»... Но в порту французская эскадра. Не тороплива ли была телеграмма третьей бригады?

* * *

Дальше разговор:

— Знаем. С того, друже, и летели сюда. Как там на эскадре?

— Ультиматум им с Красной Армией дали, шоб убирались к боговой матери.

— Так, лихо им в рот!

— Порушимо. В двенадцять годын по хрянцюзам огонь откроемо з вашего бронепоезда, як з Мариуполя не повыкатяться. Вы тильки доглядайте за бронепоездом. Воны там аутономыю разводьят... Бис их знае, що воны думають... Ескадры, мабуть, пугаются...

Бронепоезд «Спартак» — недавно сформирован,— по портовой ветке пошел. Партизаны глядят:

— О, идэ!

Три товарища с паровоза идут на «Спартак» и дают пакет командиру бронепоезда. Три товарища летели с пакетом потому, что прямые провода во фронтовом районе — нам не гарантия.

В 12 часов, в полдень, истекает срок ультиматума, от имени Красной Армии предъявленного командованию французской эскадры: «Красная Армия требует очистить Мариупольский порт. Красная Армия требует прекратить погрузку угля на французские суда. Уголь — достояние Украинской Советской республики».

Ответ гласит:

«Французская республика. Правительству России в свое время были предоставлены Францией суммы, кои не возмещены, и принимаемый по необходимости военного времени уголь из запасов Мариупольского порта

является компенсацией, получаемой Францией за означенные выше невозмещенные суммы, как упомянуто и как подчеркивается повторно, в свое время предоставленные ею правительству России. К сему командующий французской эскадрой.

Рейд Мариупольский. 24 марта 1919 г.»

Ответ на ответ гласит: «Суммы, упоминаемые командующим французской эскадрой, предоставлены были правительству царской России, но не правительству Советской Республики. И потому за этими суммами надлежит обращаться именно к тем, кто эти суммы получал. Напоминаем свое требование: в 12 часов сего числа французским судам надлежит сняться с якорей и покинуть Мариуполь».

Ответ гласит: «Французская республика. Доводится до вашего сведения, что погрузка угля будет продолжаться. К сему командующий французской эскадрой».

«Спартак» стоит. Эскадра в порту. В бинокль видно — уголь грузят. А уголь донецкий, знаменитый. Угля этого в Балтике ждут, угля этого заводские кочегарки Украины и России ждут!

В двенадцать часов будет решение дела. «Спартак» поступит согласно революционной необходимости. Пакет-приказ доставлен. Три товарища об этом просили, и обещала команда — выполнить.

* * *

Щус спросил:
— Ну, як? Выполнят?
— Выполнят.
— Без аутономыи?
— Все будет в порядке.

* * *

На «Спартаке». Часы вынуты. Снаряды из гнезд погреба вынуты. На случай боя в городе, если будет французский десант, гранаты ручные вынуты. Пулеметные ленты из ящиков концами вынуты.

У носового орудия матросы стоят. На корабли Франции смотрят.

— Стоят, гады!

Матросы и ругаются, и любуются кораблями Франции, скользят глазом по бортам, мачтам и трубам... Фартовые корабли! Дадут залп — бож-же мой! — пропадешь. Мысли сразу являются на этот счет...

— Сколько осталось?

— Без восьми.

— Охо-хо!.. Фартовые корабли! А наши — потопленные в Новороссийске лежат... Ы-ых!..

Стоят французы один-в-один — миноносцы и транспорта. Горят, блестят — красота, помереть можно! Комендоры спартаковские тихо на скрещение нитей прицела самую красоту эту и блеск уже взяли. Взяли исподтишка. Приходится... Да, вот: хорошо, удобно брать прицел, когда у противника блестят корабли, когда спасательные круги белеют отчетливо, когда медь горит.

— Ну, как?

— Без семи.

К бронепоезду Щус подходит:

— Здоровэньки булы, хлопцы!

— Здорово, Щус.

Оглядел. Видит — готовятся. Улыбается Щус — боевой дьявол!

— Гарнэнько. Як там, товарищки, скильки осталось?

— Пьять минут.

— Поковиряемо! (Видит — лица боем не горят.) Хлопцы, вы не бойтэсь... Вы ще нэ бачили, яки ми бои на Украине приймали! Потроха хранцюзам пораскидаемо. Никому угля не дамо. Партизаньский уголь. Ми им нагрузимо!

— Щус, дай по банке!

— Могу усю команду угостыть. Тилько постарайтэсь.

Дернули по банке, кишки ожгли. Хорошо!

Балакают со Щусом, на часы поглядывают.

Партизаны берегом вперед выдвигаются — на эскадру цепью идут. Лихие хлопцы!

Петр Попов к прицелу орудия прилип. Минута осталась.

— Глаз выдавишь, Петро!

— Не бойсь.

Глядит Щус на эскадру. Оценивает. Сам моряк. Петру Попову командует:

— Наводь, на полный!

— Есть.

* * *

Коротка минута. Поглядишь и дашь приказ,— и истекла минута.

На часах двенадцать.

Полдень!

Полдень!

Корабли французские уголь грузят.

Полдень!

Даже не видно, чтобы на палубах кто-нибудь к концам вышел.

«Спартак» стоит, не дымит — кочегары дело знают в совершенстве. Тут за один дымок — с кораблей плевок, и ваших нет. Действуют поэтому кочегары, как надо. Пропадать неохота. Из трубы только теплый воздух, а дыму нет. Уметь надо.

Щус командует:

— Хлопци, а ну, вдарьтэ!

— У-ух, считай остаток жизни, французский адмирал!

Щус — матрос черноморский, рука Повстанья Украины,— огонь с бронепоезда открывает, всей Антанте вызов бросая!

— Вдарьтэ, хлопци!

Даже не шевелятся матросы.

— Огонь, кажу, хлопци!

И не глядят матросы.

— Огонь, хлопчики! Партизаны ждуть!

И не глядят матросы.

— Що ж вы — не подчиняетесь? А!

— Не кричи. Ша!

Помолчал Щус, и желчь в рот пошла.

— Измэна! Пострелять усих. Пьянии?

— Не кричи на ветру. Простудишься.

Щус командира бронепоезда в грудь бьет. Долой такого командира!

Щус командование берет на себя. Во имя Повстанья! Во имя вольности Украины!

Щус другого в грудь бьет.

— Кацапы!

Попов от прицела отходит. Щусу нос на сторону сворачивает, сурик из этого носа пускает, за волосы держит, в ухо дает, в морду Щуса, как в бубен бьет, о броняшку стукает и просит:

— Не авраль.

— А-а-а-а-а!..

— А не кричи.

— А-а-а-а-а!..

— А не кричи.

* * *

Приказ штаба третьей бригады не выполнен матросами.

Ты улыбаешься, враг? Ну, кричи: на командование бригады матросы руку подняли! Ну, кричи: предательство!..

* * *

Кого побили? Щуса — второго в третьей бригаде, руку повстанческих сил Украины побили!

Ой, быть человечьей смерти! Ой, быть человечьей смерти! Гнев качает Щуса...

А матросы меж собой разговаривают:

— Выкинь его за борт.

Сбросили.

Потом:

— А ну, подымись! Подыми головку, скажи «а».

И тут сорвали с фуражки Щуса ленточку. Оскорбили насмерть.

Ой, быть человечьей смерти!..

* * *

Гнев качает Щуса!

Щус бежит, кровь свою пьет.

В штабе повстанцев зубами скрипят: кого побили — Щуса!

И к повстанцам весть бежит: «Измена!»

12 часов 10 минут.

Эскадра стоит. Уголь берет. На ультиматум Красной Армии крест кладет.

* * *

Что делать, товарищи? Сейчас — прикинув — будем действовать...

* * *

Щус в штабе бригады шумит:

— Продали! На часы смотрите! 12 часов 15 минут! Продали матросы.

12 часов 16 минут.

В штабе бригады решенье: диктует командир третьей бригады Нестор Махно:

— Бросай бригаду на бронепоезд. Давить изменников всих чисто!

* * *

Кричит сигнальщик на «Спартаке»:

— Сходни убирают!

— Так.

— К концам идут!

— Так?

Корабли французские покидают порт.

Дым стелят черный и уходят в него. Не видно в дымовой завесе кораблей.

* * *

Прикинуть, я говорил, надо. Ведь могут же часы у французов отставать или у нас спешить. Бывает же?..

— Действовать, я говорил...

* * *

Спартаковцы тихо и не спеша садятся обедать на палубе — орудийной площадке. Сегодня макароны. Ну и макароны наварили, ай, макароны!

Сели товарищи. Лица их безмятежны... Боем не светят...

Чья-то мысль в эти лица бьет: «Боязливо выждали!»

Не надо, товарищ! Кто сидит, знаешь? Ведь не видно, не написано... Коммунары сидят, военные моряки Волжской военной флотилии, старые матросы.

Первый: командир бронепоезда Степанов, краснознаменец дважды, ибо на груди у него орден и корабль его — сторожевик «Борец за свободу» имеет флаг с орденом.

Второй: Попов Петр, машинист самостоятельного управления с краснознаменного военного корабля «Ваня-коммунист» № 5. По требованию необходимости — ныне у орудия. Трижды ранен, и раны его — из первых в революцию ран матросских.

Третий: Донцов Михаил, с краснознаменного военного корабля «Ваня-коммунист» № 5. Будет товарищ убит в бою с Шкуро в июне 1919 года. Отдайте больше, чем он!..

Сидят коммунары...

Фыркнул Попов, и макароны фонтаном изо рта вылетели:

— Ой!.. «Наводи,— говорит,— на полный...» Адмирал Щус...

Ржут парни.

— А он Юхименко ударил и кацапом назвал!

— Ну, и кацап! Юхименко, чуешь, ты кацап!..

— Го-го-го!

— Пьяный, говорит... Ай, дура! С одной банки — матрос пьяный?!

Михаил Донцов чешет:

— Щус, пожалуй, на тебя обидится, а? Смотри, Петро.

Попов гудит:

— Ну, а что он мне сделает? Не скажет разве завтра «доброе утро»? А? Дела! Ой, братва, макароны, ну, и макароны сегодня!

Обедают товарищи боевые, уплетают макароны коммунары. Про эскадру вспоминают. Ничего эскадра, солидная эскадра, красивая эскадра республики Франции. И ход хороший, быстро от берегов наших смывается.

* * *

Опять мысль чья-то: в чем же дело?! Как же так? Разберем.

У товарищей боевых глаз веселый — обработали дело. Еще раз командир бронепоезда секретный пакет, с паровоза доставленный тремя товарищами (двух

убьет — один довезет, вот трех и послали), перечитывает:

«Имея в виду огромное превосходство противника и сложность обстановки, ни в коем случае первым не начинать артиллерийского боя, ибо в этом случае Красную Армию французское командование обвинит в предательском нападении и извлечет из этого пользу. Вызвав противника на ответ, мы поставим Мариуполь в опасное положение, будут напрасные жертвы среди населения, возникнут пожары, и, возможно, пострадает и бронепоезд — единственный на участке 3-й бригады. Действовать поэтому осмотрительно, не сообщая о сей инструкции махновцам, иначе они сами откроют огонь, и не поддаваясь требованиям махновцев, склонных втягиваться в операции без расчета. Командование рассчитывает добиться ухода французов мерами переговорными, имея в виду общую обстановку, вынуждающую союзников к отступлению.

В остальном вам надлежит действовать строго сообразно обстановке».

Есть, так держать!

* * *

Эй, радовавшийся предательству! Гляди, что будет еще впереди!

А ты, браток, понял?

* * *

Ветер спал. «Спартак» стоит, коммунары макароны убрали, доели, утерлись, покурили. Жизнь! Зачем и помирать!

Команде — по морскому уставу положено иметь время послеобеденного отдыха...

Нежнейше овевает всех бриз с моря. Нежнейше в тишине дня гитара заиграла «Страдание»... Струны источают тончайшее и грустное, сладкую печаль на матросов наводят, и головы их к броне клонятся... И кого-то жаль, и кого-то нет...

И необъяснимы мысли у матросов, такие неясные, неопределенные,— шевелится затаенная боль...

Кто там играет так, гей?! Отчего печаль?

Играет Петро Попов. Возит с собой гитару, уку-

танную в кожаную тужурку, чтобы при стрельбе не побилась. Гитару возит везде и, когда руки не заняты орудием, вынимает ее, расправив нежный бантик на грифе.

— Слабость у вас, товарищ, слабость по мещанской гитарке, а еще партиец и военмор!

— Правда ваша, строгий и точный товарищ, что ж делать? — Слабость!

Петро меланхолично уже «Марусеньку» играет. Товарищи слушают, стараясь не шуметь.

Играет Петро. На гитаре бантик нежненький и надпись трогательная: «От Реввоенсовета Республики. За штурм Казани 10 сентября 1918. Команде военного корабля «Ваня-коммунист» № 5».

* * *

Трое матросов, что из Александровска, до Щуса идут — в штаб третьей бригады.

— Щус, давай говорить.

— А ыдыть вы, пока я вас всих не пострилял!

Ходит Щус по комнате, морду руками поддерживает. Кольца на пальцах.

— Да ты не горьячись, чудачька ты, Щус.

Щус кольт вынимает, в упор в одного бьет, а пуля мимо — в стенку идет. Матросы к стенке — смотрят, хвалят:

— Вот здорово!

— Ой, дирочка!

— Дырочька, как у курочьки! (И медленно, так, между прочим.) Щус, ты, может, думаешь, что мы этого делать не умеем?

И видит Щус шесть глаз, как шесть смертельных дыр на теле своем. Щус тогда садится. Дверь открывается. Махновский палач входит:

— Чего шумэлы?

— Так.

— Щус, дэ арестованных вэсти?

— Котори направо сидьят — постриляй, Костичька; котори налево — до батька на разборку.

— Добре.

— Потим придешь, доложишь, Костичька.

— Добре.

Вышел.

Матросы опять:

— Щус, брось, вот взял — в бутылку залез! Брось! Ну, поспорились — помирились. Эскадра ушла же.

— Та ще подывлюсь, як воны мырытьца прийдут... Воны у менэ сльозамы вмываться будуть — я им кипятку в душу поналываю!

Дверь открылась. Махновский палач снова вошел:

— Вже. Котри налево були — пострилял, котри направо — построил, до батька вэду...

— Ошибка в тебэ, Костичька, выйшла. Трэба було пострильять тих, що направо.

— От-то ж бис попутал! Ай, и попутал!.. Ну... Що ж, добре.

Ушел.

Матросы опять:

— Щус, давай по-доброму. Гад будешь... Что мы на тебя зло имеем? Да умереть на месте!

Задание выполняют свято.

— Та и я, мабудь, зла на вас троих не маю... Тилько ции спартаковськи коммунисти жить нэ будуть.

Дверь открылась. Махновский палач опять вошел:

— Вже пидправил. Котри направо булы — пострилял.

— Так. И тих и тих пострилял?

— Эге ж. Воны уси контрики. И з дочками своими. Воно и так по карточкам видно.

И два колечка Щусу отдал. Маленькие колечки. На мизинец не влезут Щусу.

С моря выстрелы. В чем дело? Но со Щусом разговор надо вести — инструкция о нем говорит, а не о выстрелах.

— Щус, мы до партизан пийдэм,— поговорим.

— Идыть, идыть. Як за каммуну рот раскроетэ, зараз и проглотыте свинця. (Спохватился и ласково.) Вы, хлопцы, говорыть за анархыу, за мать порядка. Щоб не було властэй, ни якого насылля. Костичька, ыди соби, больше тебя не трэба. (К матросам.) Переходыть, хлопцы, в анархыу, й-бо!

Матросы на лицах раздумье изображают. Все нужно уметь...

* * *

Слушайте,— если надо для дела,— знаете, на что мы способны?.. Я много вам скажу теперь, когда стал книгами говорить о бойцах первого призыва революции... Я день за днем покажу два десятилетия, создавшие нас...

* * *

На берегу стоят партизаны. Гул идет. Спартаковцев смять хотят. Без огня французов упустили! Продажа!

Трое матросов до партизан идут, наганов с собой не берут.

— Га-а, кацапня идэ!

Идут матросы. Загоготали партизаны:

— Каммуныстам в хронт! Гэй!

Один матрос говорит:

— Товарищи, здравствуйте! Мы расскажем вам...

— Про то як Щуса вбыть хотэли? На партизан пийшлы!..

— Хранцюзам тикать далы! Упустылы!

— Измэна!

— У-у, вражья сила!..

— Товарищи, дайте говорить. Мы вам обрисусм...

— Рисуй жинке по пузу!

— Воду варыть будэте? Душа вон!

— Та што там, бэй их!

Один партизан винтовку навел. Из трех матросов один — украинец — говорит:

— Стриляй, хлопче! (За ворот свой голубой взялся.) И утопысь у крови моий и товарищей моих. Хай вена, кровь моя, тут у моей Мариупольщини уся выйдэ.

Стоит партизан, на матроса глядит и говорит:

— Хиба ты мариупольский?

— Мариупольский.

— Мабудь брэшит? А ну, перекрэстысь.

— Ни, не перекрэщусь.

— Чого?

— Бог с довольствия в нас снятый.

— Гы-ы!..

Один кричит:

— Хлопцы, брэшет матрос, якый вин мариупольский!

Другой подходит, в лицо матросу глядит:

— Ни, не брэшет... То Павло, хромого Нечипора сын с Мангуша. Вин у моего дядька наймытом був...

— А тепэр, дывысь, якый цаца!

— Та брось — то ж хворма флотцка...

* * *

Тут корабли Франции по берегу страны,— войны Франции не объявлявшей — огонь открыли. По горизонту желтые вспышки прыгнули. На берегу дерево взлетело на воздух... Морские орудия берег рвут...

Упал еще залп. И в пыль обратился один дом. Удирают партизаны боевые, залегли в канавах. Еще залп упал. И еще один дом раскололся...

А что было бы, если бы в 12 часов тронули эскадру Франции и она открыла бы огонь в упор?! Ну?

* * *

«Спартак» в стороне стоит. Попов на командира смотрит. Командир на Попова смотрит. Оба на машиниста и кочегара смотрят. Все ясно.

«Спартак» дымить начинает. В небо черный, как тучи ночные, дым пошел. Кочегар, что делаешь?

— Что делает? Показывает эскадре место «Спартака».

Как?!

Так:

«Спартак» на себя принимает огонь эскадры. В этом есть революционная необходимость: нельзя допустить истребления партизан, нельзя допустить гибели рабочей слободки и потери угля. Ясно же говорится — и это наш закон — «действовать строго сообразно обстановке».

Матросы у орудий стоят. Стрелять нельзя: из 75-миллиметровых снаряды не долетят до эскадры. Но под обстрелом стоять можно. И шире и выше, и выше черный дым «Спартака».

По горизонту желтые вспышки мечутся. И через четыре минуты залп кораблей Франции ударил по

«Спартаку», Степанов, Попов и Донцов, когда пронесло грохот, гарь, пыль и дым, переглянулись без улыбки. Какая улыбка — убить может сейчас! Какая улыбка — сердце стучит! Какая улыбка — жалобно о себе думает каждый! Какая улыбка, когда страх убивает... Но — замечен дым — стреляют по нас!

Один французский корабль приблизился... На сорок три кабельтова подходит... Сорок три кабельтова ставит на диске прицела Попов.

— ...Товсь!

— Залп!

Стекла посыпались в домах. Гильза упала. Пороховым газом понесло. Гремит на море.

Дыханье азовское ленточки вьет, распластаны они по ветру. На палубе «Спартака» матросы с эскадрой Франции бой ведут.

— Перелет! И лево!

— Сорок два!

Сорок два кабельтова ставит на диске Петро. И десять делений право берет орудие.

— Товсь!

— Залп!

Опять стекла посыпались. Гильза упала. Опять залп с моря упал. Дым французского разрыва с дымом «Спартака» смешался. Броня гудит. Кричит наблюдатель:

— А, запарил! Запарил!

Кричат:

— Уткнулся, стоит!

Вторым снарядом подбил «Спартак» корабль Франции. Спасибо флоту российскому за артиллерийскую выучку! Давай, крой дальше, «Спартак»!

— Петро, крестников во Франции завел!

— Го-го!

— Товсь!

— Залп!..

* * *

Цел порт, цел уголь, целы партизаны, цел «Спартак». Повезло 24 марта товарищам боевым!

Повезло?

Расчет, товарищи!

* * *

Ночью пишет один из трех матросов:

«Комиссару бригады бронепоездов. На то, что делается в бригаде Махно, необходимо нам обратить самое серьезное внимание. Те «львы» создают угрозу, и свободный дух течет не в тех берегах, не в том русле, каковое требует жизнь. Анархистические элементы в настоящее время разлагают бригаду, и нам предстоят опасности большие, ибо тут определенно говорят: бить коммунистов. Еще: людей убивают, хотя бы и контрреволюционных, но без суда и следствия, что не соответствует взятому Махно имени-марке «Красная Армия». Когда мы переговаривались, то была против нас со стороны адъютанта Махно стрельба и был таковой же случай через час в одном полку, но остановлен нашими разъяснениями. Герои-бойцы батько Махно — заблуждаются. Необходимо доказать, что партизаны ослеплены в деле понимания идеи революции. Работу таковым курсом ведем и просим с политотдела литературу. «Спартак» поддерживает и имел бой с эскадрой, но на провокации не пошел и поэтому был инцидент со Щусом, несколько потерпевшим. Имеем цель, как удастся, насчет угля принять меры».

Пишут матросы на палубе...

Дыхание азовское ленточки вьет, распластаны они по ветру.

Ночь спускается, укутывает родную Украину тихо, тихо. Матросы не спят. Море вновь взято, на море глаз кладут матросы. Ночной ветер ленточки колышет, у орудий на броневых рубках матросы вахту несут. Волна рядом плещет, камышом, тиной, рыбой и солью пахнет... Часть товарищей с боем возвращенный уголь грузят. Грузят Харькову, грузят Питеру, Балтике эшелоны угольных пульманов.

Служба родимая! Погрузка угольная!

Ночью телеграмма идет: «Мариуполь занят Красной Армией».

Последние два слова — гарантия.

Красная Армия! Померкло солнце в глазах твоих, враг!

ВЕНИАМИН КАВЕРИН

СТРАУС ФОМА

Во всем виноваты были фламинго. Ноги у них были похожи на циркуль, клюв — на табакерку. Один из них спал, положив голову под розовое крыло. Он спал, как солдат на часах, а потом проснулся, выполоскал ногу и почесал ею у себя за ушами.

— Крак,— пробормотал он, и вслед за ним все фламинго заорали «крак», как будто в целом доме разом захлопнулись и распахнулись двери.

И фламинго замахали крыльями, но никуда не улетели, а пошли в пруд и стали ловить рыбу. Важные, с достоинством расхаживали они, и ноги их — длиннейшие, тончайшие — казались еще длинней и тоньше, отражаясь в спокойной воде пруда.

Я засмотрелся на этих почтенных птиц и потерял своих друзей, с которыми отправился осматривать Асканию-Нова.

Их было двое, одного звали Чеберда, другого Куликов. Чеберда был длинный, сутулый, мрачный, Куликов — маленький, смешливый.

Между ними не было ни малейшего сходства. Чеберду, например, очень уважали на таборе, Куликова не очень. Чеберда за работой молчал, Куликов пел. И тем не менее в последние дни они от усталости стали походить друг на друга.

Желтые, скуластые, как китайцы, они бродили по табору и с каждой новой бессонной ночью делались, кажется, несколько ниже ростом.

Но почти весь хлеб был уже снят, он уже скатывался по трубам элеватора в вагоны, его уже грузили на пароходы в днепровских портах,— можно же наконец,— так я убеждал их,— отдохнуть два-три часа от лязганья тракторов, от жары и лигроиновой вони.

— Что же, я в зверинце не был?— спросил Чеберда, а потом всю дорогу ворчал, что вот он тут шляется, отдыхает, видите ли, а пока учетчики на опытном поле что-нибудь напутают, наврут.

А я всю дорогу ругал его и доказывал, что учетчики не наврут, что Аскания вовсе не похожа на зверинец, что в зверинцах звери сидят за решетками, а в Аскании можно встречаться с ними на улицах, как с добрыми знакомыми, можно поболтать со страусом, а с байбаком поздороваться за лапу.

Долго я убеждал его и Куликова, убедил в конце концов, а вот теперь вдруг потерял их и остался один с этими смешными птицами, которые все расхаживали по воде, да ловили рыбу, да чесали у себя за ушами.

— Это вы, прохвосты, виноваты во всем,— сказал я фламинго,— если бы у вас были не такие тонкие ноги, не такие смешные клювы, не такие розовые крылья, я бы не потерял своих друзей, которых не очень-то легко было вытащить на эту прогулку. Ну, куда они пошли — налево или направо, назад или вперед,— отвечайте!

Фламинго молчали. Один из них обернулся ко мне и вдруг убрал ногу куда-то в живот. Он стоял на одной ноге и задумчиво поглядывал на меня своими плоскими красными глазами.

Тогда я попрощался с ним и ушел, и долго бродил по запутанным дорожкам Асканийского парка, разыскивая своих друзей. Один раз мне было показалось, что где-то в кустарниках мелькнули сутулые плечи Чеберды. Я бросился туда. Да нет, никого не было, только вежливые красавки-журавли расхаживали по лужайке и почтительно кланялись друг другу.

— Ну что же, нет так нет,— сказал я себе.— Ничего не поделаешь, милый друг, придется одному возвращаться на участок.

Едва произнес я эти слова, как легкий свист послышался неподалеку. Он был такой отчетливый, такой переливчатый, этот свист, что я подумал сначала, что это вовсе и не человек свистит, а птица. Но это

был человек, и вскоре я увидел его, обойдя густые заросли камыша и выйдя на открытое место.

Мальчик лет десяти — двенадцати прохаживался по степи за прудом.

Он шел и свистел, и целое стадо страусят, пища, послушно бежало по его следам.

Он останавливался на мгновенье — и они сейчас же сбивались в кучу, толкались, лезли друг на друга; он двигался дальше — и, бросаясь из стороны в сторону, страусята сломя голову летели за ним.

Мне пришлось обогнуть пруды, чтобы добраться до него, а когда я добрался, страусята уже больше не гуляли, мальчик больше не свистал. Страусята сидели в своем доме (дом был очень хороший, только невысокий, мне как раз по пояс, без крыши) и пищали, а мальчик сидел на корточках и кормил их ячневой кашей с луком.

Теперь я отчетливо рассмотрел его.

Он был небольшого роста, загорелый, круглолицый, в тюбетейке, в синей майке, которая плотно обтягивала плечи, шнурок был небрежно повязан на груди. Волосы у него были черные, прямые, а скулы широкие, татарские, и, если бы не вздернутый нос да не голубые глаза, я бы без колебаний сказал, что вижу перед собой татарчонка.

Мой школьный приятель Таканаев, на котором в четвертом классе мы изучали отличия монгольской расы от европейской, вспомнился мне, когда я рассматривал страусячьего пастуха. Он был самый ловкий во всем классе, этот Таканаев, и, когда нужно было драться с кадетами, мы в первую голову выпускали его. Он был отчаянный, задорный и один раз держал пари, что во время большой перемены въедет верхом на лошади в гимнастический зал. И въехал. В тот же день его исключили, и больше я его не встречал.

Рассматривая мальчика, кормившего страусят ячневой кашей с луком, я, разумеется, не знал, что по смелости и ловкости он ничуть не уступит моему отчаянному школьному другу...

Лопоча, размахивая крылышками, страусята храбро налетали на кашу. Мальчик называл их по именам и, по всему было видно, держал в ежовых рукавицах.

— Маруська,— строго сказал он одному, самому

маленькому, который еще и ходить-то, кажется, как следует не умел, а все-таки лез вперед, отчаянно крутя шеей,— ты куда? Стоп! Задний ход, третья скорость!

Я разглядывал страусят.

— А почему у них колени такие толстые?

Мальчик отхватил ложкой кусок каши и отнес его Маруське, которая хоть и отлетела на третьей скорости в самый дальний уголок, но так разевала рот, так тянулась за кашей, что, кажется, голова у нее готова была оторваться.

— У них рахит,— с презрением пробормотал мальчик.

Я удивился.

— Вот бедняги! Рахит? Что же, им тут, в Аскании, солнца не хватает?

Присев на корточки, мальчик кормил страусят с ладони.

— Не хватает! — иронически сказал он.— Тут, брат, солнце такое, что целый день только одно дело и знаешь, что рубаху выжимать! А им не хватает, скажи, пожалуйста! Избаловали их, вот что!

Он встал и подошел ко мне поближе.

— Вы откуда, с табора?

— С табора.

— Ну? — с радостным изумлением сказал мальчик.— А правда, что на табор еще один катерпиллер прислали?

Я вспомнил, что, и в самом деле, несколько дней тому назад Куликов ездил на Главный хутор принимать новые тракторы.

— Вот только не знаю,— добавил я,— был среди них хоть один катерпиллер или не был.

— Наверно, был,— поспешно пробормотал мальчик,— катерпиллеры — они сильные, как черти. Я, брат, подсчитал. Если в одном бизоне три с половиной лошади, в катерпиллере — семнадцать и одна седьмая бизона. Семнадцать и одна седьмая — да ведь это целое стадо!

— Как это одна седьмая?

— Постой-ка, а если на страусов прикинуть,— сказал мальчик с увлечением, и голубые глаза его заблестели.— На взрослых, конечное дело, не на этой мелкоте. Так что выходит? В одном страусе три четверти

лошади ровно! А в катерпиллере шестьдесят лошадиных сил. Значит, восемьдесят взрослых африканских страусов. Вот это я понимаю, это сила!

Я посмотрел на мальчика. И под загаром видно было, как разгорелось у него лицо. Глаза стали большие, счастливые.

— Ну, и что же? — сказал я равнодушно.— В Сальских степях я видел машину в сто лошадиных сил. Трактор «монарк». Это, брат, тебе не какой-нибудь катерпиллер. Пожалуй, он один всех ваших и бизонов и страусов перетянет!

Мальчик зажмурил один глаз. Он зашептал, зашептал, зашевелил пальцами, потом прикусил губу и зажмурил другой глаз. Он считал в уме.

— Двадцать восемь с половиной бизонов,— объявил он с восторгом.— Здорово! Вот бы посмотреть на такую штуку! А какой он, большой? Гусеничный или на колесах?

Стараясь выведать из меня всю правду об этой необыкновенной машине в двадцать восемь с половиной бизоньих сил, он и думать забыл о страусятах, которые, должно быть, съели вдвое больше каши, чем им полагалось. Он вытащил из кармана клочок бумаги и нарисовал на нем все знакомые ему системы тракторов — и маленький, корявый «фордзон» с кривыми зубьями на переднем колесе, и тяжелый, похожий на танк, «катерпиллер» с одной длинной фарой, и «интернационал» с трубой, из которой валил густой, кудрявый дым.

Он замучил меня, добиваясь подробностей о «монарке», и успокоился только, когда я откровенно признался, что видел эту машину только один раз, да и то мельком, и не знаю всех отличий ее от других тракторов.

— Ну, ладно,— сказал я наконец.— Мне пора. Пятый час, когда еще до табора доберусь. Скажи-ка на прощанье, как тебя зовут; может, еще выберусь в Асканию, найду тебя, поболтаем.

— Петька Ковалев,— сказал мальчик, любивший тракторы.

Он задумался, потом добавил:

— Вам по дороге верст семь, а через Большой загон едва ли три наберется.

Я понял, что Большой загон — это какая-то часть Асканийского парка.

— А через Большой загон нельзя?

Мальчик покачал головой. Он еще немного повозился со страусятами, потом запер их на крючок и остановился передо мной с задумчивым видом.

— А вы никому не скажете, если я вас через Большой загон проведу?

— Никому.

— Честное слово?

— Честное слово.

Он еще раз заботливо оглядел своих питомцев.

— Ну ладно, коли так. Айда!

Я никак не ожидал, что высокий дощатый забор, видневшийся неподалеку от домика страусят,— это и есть ограда Большого загона.

Мы добрались туда в пять минут и еще по меньшей мере двадцать шли вдоль забора, потому что Петька, пугая сторожами, все не давал перелезть.

Наконец он остановился.

— Здесь,— сказал он шепотом, хотя на полкилометра от нас не было ни одного человека,— и вдруг, разбежавшись, сиганул, как кошка, через забор.

Я перелез вслед за ним.

Так вот что такое этот Большой загон!

Это был просто огромный кусок земли, такой широкий и длинный, что даже и не видать было противоположной ограды, и по этой земле ходили олени, лани, антилопы, зебры, яки и другие животные. Они гуляли и ели траву.

Я много раз бывал в Зоологическом саду и животных этих видел не раз. Но впервые я видел их такими ясными, спокойными, такими равнодушными к человеку, перед которым они чувствуют себя здесь как перед равным равный...

Я думал об этом, идя вслед за Петькой по Большому загону.

Мы обошли пруд, в котором стояли по колено в воде три нарядных маньчжурских оленя. Горная лань, узкомордая, с заложенными назад ушами, пряталась от солнца в тени деревьев, окружавших маленький родник.

Она плюнула в нашу сторону, когда мы проходили мимо, и Петька выругал ее довольно крепко.

— Ты что же, Петя, должно быть, не очень-то любишь животных? — спросил я, вспомнив, что и со страусятами он обращался сурово.

Петька пренебрежительно пожал плечами.

— А за что же мне их любить? — спросил он.— Они все слабосильные. Ну, какой самый здоровый зверюга? Слон? А сколько слонов один «монарк» перетянет?

И он, должно быть, снова пустился бы в свои вычисления, если бы в это время мы не спугнули стадо очень странных овец с большими носами. Они спали на кургане, а когда мы приблизились, лениво поднялись и пошли, переваливаясь, прочь.

— Вот так нос!

— Это антилопа-сайгак,— объяснил Петька не без важности,— это такая антилопа, у которой очень большой нос.

Да, уж это был всем носам нос! Толстый, хрящеватый, весь в морщинах, он шевелился, как хобот. Он был какой-то недовольный, глупый, и по этому носу видно было, что и вся антилопа — дура.

Потом мы прошли еще немного и встретили гну — маленькую голубую лошадь с огромной бычьей рогатой мордой.

Когда мы проходили мимо, она вдруг подпрыгнула и, наклонив рога, бросилась прямо на нас. Если бы не Петька, я бы во все лопатки побежал от этой сердитой скотины. Петька схватил меня за рубаху и придержал.

— Она не тронет,— крикнул он, когда гну была уже в десяти шагах от нас, и я отчетливо видел ее злобные глаза, густо обросшие белыми щетинистыми волосами.

И верно — гну остановилась, немножко не добежав до нас.

Потанцевав с минуту на месте, она чихнула и вдруг ни с того, ни с сего помчалась за мирно гулявшим неподалеку стадом длинногривых баранов.

— А здорово она затормозила, правда?— быстро спросил Петька.— Это она так играет.

Но мне эта игра показалась не очень забавной...

Мы добрались до середины Большого загона,— уже видны были вдалеке очертания противоположной ограды, когда, невзначай обернувшись, я увидел большого

африканского страуса, который мчался к нам во всю мочь.

Плавно потряхивая хвостом, он подбежал, встал на цыпочки, сделал напоследок еще один огромный шаг, а потом положил голову набок и заморгал. Подумав немного, положил голову на другой бок и опять заморгал.

Это был очень почтенный страус, очень солидный, несмотря на то, что у него были совершенно голые ноги.

Моргал он, без сомнения, Петьке, и Петька, как ни старался скрыть, был все-таки этим очень доволен — тем, что страус бежал за ним, а теперь стоит и моргает.

— Ну, ты чего, Фома?— строго спросил он у страуса.— Чего пялишься?

Фома стеснительно топтался на месте.

— Это не простой страус,— сказал Петька,— это герой гражданской войны. Он у деникинского офицера пакет с донесением украл и съел.

— Как съел?

— Очень просто. Здесь, в Аскании, в девятнадцатом году деникинцы стояли. Вот один ихний офицер подошел к забору и хотел Фому по спине потрепать. А у самого за обшлагом пакет с донесеньем был. Только он просунул руку, Фома хап пакет, да и съел. Так ведь что было! Офицер за ним по всему загону носился, все хотел его ухлопать и пузо вспороть. Ну, не дали.

Загнув голову куда-то в район хвоста, герой гражданской войны ловил у себя на спине мух во время этого рассказа. Клюв свой он при этом разевал так широко, точно каждая муха была величиной с дыню.

— Мы с ним старые товарищи,— сказал Петька,— вот он теперь до самого забора за мной следом пойдет.

И верно, мы двинулись, и страус пошел за нами.

Важно поднимая крылья, он шел, похожий на старомодную степенную даму в кринолине, в пышном платье, с белыми перьями по бокам...

Мы оставили его за оградой Большого загона, и Петька хоть и повторил несколько раз с презрением, что сила у него, у страуса, самая пустяковая, ну, не больше, чем три четверти лошади, но все-таки ласково погладил его по шее и, вытащив из кармана кусок хлеба (надо думать, свой собственный завтрак), сунул его прямо в разинутую пасть Фомы.

Начинало темнеть, когда, благополучно перебравшись через забор Большого загона, мы увидели внизу, в котловине, четырехугольные, раздутые ветром паруса палаток, зеленые вагончики и высокий шест, на котором раскачивался фонарь. Это было табор.

Здесь жили механики, плугаторы, учетчики, тракторные рулевые и другие рабочие зернового совхоза. Здесь, окруженные колючей проволокой, стояли цистерны с горючим и между ними столб, на котором был выжжен череп с двумя перекрещивающимися костями.

Огромный комбайн стоял здесь, похожий на старинный парусный корабль морских пиратов.

Петька приостановился...

— Вот тебе на,— сказал он с беспокойством,— это еще что такое?

Я посмотрел: по левую руку от табора, далеко в степи, видны были облака дыма, темно-прозрачные, круглые, освещенные снизу.

— Ну, что ж такого, это стерня́ горит,— сказал я.

— Нет, не стерня́.— Петька прикрыл глаза ладонью.— Это не стерня́, там еще и не снимали. Это, брат, опытное поле горит.

Опытное поле? Я вспомнил, как, беспокоясь за него, Чеберда отказывался от поездки в Асканию, как я доказывал ему, что ничего не случится с его опытным полем. Горит! Стало быть, он беспокоился не напрасно!

Петька давно уже со всех ног бежал по направлению к табору, я шел все быстрее и быстрее. Вот, наконец, походные кухни и таборные палатки и знакомый душ, построенный из ящиков, в которых пришли катерпиллеры — любимые Петькины тракторы...

Я обошел душ: при свете карбидного фонаря люди, впряженные в поясные ремни, вертели круглую клетку колодезного столба, и две бадьи на цепях попеременно спускались в глубокий колодец.

Оглушительный крик стоял вокруг колодца, клетка дрожала от напряжения, старая, разбитая на все четыре ноги колодезная кляча стояла подле и с тупым изумлением смотрела на столб, который за всю свою жизнь еще ни разу, должно быть, не вертелся с такой быстротой.

Ящик, в который выливали воду, был уже почти полон, два небольших трактора, впряженные в оглобли водовозных бочек, стояли подле него, и Куликов, лох-

матый, страшный, в расстегнутом грязном комбинезоне, стоял на одном из них, распоряжаясь работой.

Я окликнул его,— он только махнул рукой...

А Чеберду я нашел в конторе.

Похудевший, почерневший, он стоял у телефона, и трубка дрожала в его руке. Он молчал, когда я вошел. Должно быть, со станции не отвечали.

Немного погодя он тихо нажал рычажок. Всё не отвечали.

В конторе было полутемно, только «летучая мышь» освещала узкие нары.

Тихий, сутулый, стоял Чеберда у телефона и молчал. Он повесил трубку, наконец, и обернулся ко мне.

— Не отвечают, линия повреждена,— не своим голосом сказал он.

— Линия повреждена, должно быть, столбы повалило,— повторил он Куликову, который подбежал к нему, едва Чеберда показался на ступеньках конторы.— Надо ехать.

— Куда?

— На Главный хутор.

— Зачем?

— За пожарной командой.

Куликов вдруг взялся обеими руками за голову. Он покачал головой, а потом с размаху ударил себя кулаком в грудь

— Да на чем же ехать-то?— прокричал он с отчаянием.— Все машины в разгоне, лошадей нет, не на своих же двоих за тридцать пять километров?

Я припомнил на следующий день, что Петька вертелся где-то неподалеку от нас во время этого разговора. Сперва он ходил кругом да около, а потом подошел и встал рядом с Чебердой. Маленький, черный, стоял он, тюбетейка торчала на голове, глаза так и бегали, и, когда Куликов заорал, Петька заглянул ему прямо в рот.

Вскоре он пропал куда-то,— а тут оказалось, что нужно бежать в кладовую за лопатами, в кухню за ведрами, и я забыл о нем.

Между тем отойдя от нас, Петька тихонько пошел вдоль палаток, не обращая никакого внимания на поднявшуюся в таборе суматоху. Так он шел, шел, а потом вынул из карманов руки и во весь дух пустился к Большому загону.

Темно было, хоть глаз выколи, когда он перелез через забор. Темно и тихо, только разбуженные скворцы, принявшие зарево пожара за рассвет, болтали свой вздор, набранный всюду, где они побывали.

Петька посвистал. Потом прислушался и снова посвистал. Так-то, посвистывая да прислушиваясь, он шел некоторое время по Большому загону.

— Фома!— наконец сердито позвал он.

Блеянье овец, свист пастухов послышались в ответ, ржанье жеребят, кваканье лягушек, шум мельниц, лай собак — это скворцы подражали звукам, которые они слышали в течение дня.

Должно быть, не менее получаса бродил Петька по Большому загону. По временам он оглядывался на зарево, поднимавшееся все выше, уже полнеба было покрыто неподвижным темно-красным отражением горящей степи,— и продолжал искать страуса еще старательнее и упорней.

Он уже совсем было отчаялся найти его, когда большая, высокая груда перьев на длинных ногах вдруг вышла навстречу ему из темноты. Это был Фома.

— Ну, куда запропастился?— спросил его Петька с укоризной.

Он вывернул карман, высыпал на ладонь хлебные крошки.

— На, брат, больше пока нету, приедем, курятиной накормлю,— сказал он и двинулся вдоль забора, а страус пошел за ним.

Так они добрались до калитки, которая вела прямо в степь из Большого загона.

Петька размотал проволоку, запиравшую калитку вместо засова, и страус, наклонив голову, чтобы не стукнуться о верхнюю доску, вышел в степь.

— Ну что, брат, полный ход, третья скорость?— спросил Петька.

Фома стоял перед ним, моргая, положив голову набок. Он, понятно, не умел говорить, но если бы умел, так сказал бы, без сомнения:

— Что ж, полный так полный. Третья так третья!

Но сесть на него верхом — это было не так-то просто. Держа его одной рукой за шею, Петька вскарабкался на забор.

— Ну, страусик милый, теперь держись,— сказал он и сел на страуса, как на коня.

И Фома, раскачиваясь, сделал первый шаг...

Все это Петька рассказал мне на следующий день. Он не вдавался в подробности.

О том, например, как он слетел со страуса на крутом повороте, он упомянул вскользь, между прочим. О том, что в двух-трех километрах от Главного хутора страус вдруг стал, как осел, и ни с места,— он сказал загадочно: «Тут мой мотор забуксовал, и мне пришлось поддать ему газу».

О том, как при въезде в Главный хутор страус наступил на выводок спящих утят и торжественно проглотил их одного за другим, а потом заглянул в кооператив и закусил утят дверной петлей, валявшейся без присмотра на прилавке, Петька тоже рассказал кратко:

— После утят я давай рулить его к пожарному депо, а он задним ходом пошел к церабкопу. Я только хотел притормозить, а он сунул голову в окно, сожрал петлю и айда дальше.

О том же, как был Петька встречен в Главном хуторе, он и совсем ничего не рассказал. Об этом мне рассказал знакомый механик...

Он работает в третьей смене, этот механик, а третья смена работает ночью. Он сидел в кухне и ел суп, а кухарка жарила для него оладьи на плите.

Вдруг дверь распахнулась, и в кухню вошел страус. Кухня была большая, но все-таки весь он войти не мог, и хвост остался наружи. Кухарка опрокинула сковородку с оладьями в огонь и завизжала, а механик подавился супом и от растерянности вскочил на стол. Тут он разглядел, что верхом на страусе сидит мальчишка.

— Где директор?— спросил мальчишка и заболтал от нетерпения ногами.— Давай его сюда, пятый табор горит, пускай пожарную команду высылает...

А между тем, пока Петька мчался на Главный хутор за пожарной командой, мы, ничего не зная о его затее, воевали, как могли, с бедой, нежданно-негаданно свалившейся на табор.

Два трактора двинулись вокруг палаток навстречу друг другу, и за каждым, пропахивая широкую полосу, шел трехлемешный плуг.

Куликов, отчаянный, косматый, вел один из этих тракторов, и хотя машина шла со всею скоростью, на которую она была способна, он все-таки ругал ее последними словами. И трактор так лязгал, скрипел и

трещал, что, кажется, готов был от усердия развалиться на составные части.

А мы с Чебердой отправились спасать опытное поле.

Шаткие темные столбы дыма стояли над степью, ветер гнал их прямо на нас, и едва мы отъехали от табора два-три километра, как уже дышать было нечем. Я посмотрел на Чеберду,— он сидел сгорбившись, угрюмо поджав рот.

Опытное поле было теперь не более как в полуверсте от нас, над ним стояла красная, кривая луна без лучей, и все было так, как бывает, когда смотришь через закопченное стекло во время солнечного затмения.

— Здесь, налево,— крикнул рулевому Чеберда.

И мы свернули налево.

На катерпиллере, тащившем за собой два трехлемешных плуга, мы должны были пересечь опытное поле, которое было в ширину ни больше, ни меньше, как пять километров,— вот что задумал Чеберда.

И не целину должны были мы вспахать, не стерню, нет,— созревшие хлеба, которые косить бы нужно, а мы мяли их тяжелой машиной, засыпали вывороченной плугом землей.

Я видел, как по правую руку скользил параллельно с нами огонь, то подходя к машине так близко, что испуганный тракторист невольно поворачивал руль, то удаляясь в хлеба, легкий, осторожный и рыжий.

Мне подумалось, что он обгоняет нас, и я уже совсем было собрался сказать об этом Чеберде (он все сидел, молчаливый, угрюмый, и плечи его посерели от пепла), но он предупредил меня:

— Обходит, налево!— крикнул он рулевому.

И снова мы повернули налево.

Поминутно протирая слезящиеся глаза, я смотрел на гулявшие в хлебах красно-рыжие фигуры огня. Он был легкий, этот огонь, осторожный, и крался по земле так низко, что, если бы не колосья, которые вдруг вспыхивали и рассыпались, его можно было и совсем потерять из вида.

Зато небо было такое низкое, что стоило, кажется, только встать на ноги, чтобы достать до него головой. Оно было низкое и тяжелое, террасами стлался дым, и медная луна висела среди окрашенных заревом туч.

— Обходит,— крикнул Чеберда,— налево!

Когда на этот раз мы повернули налево, я увидел, как черные шарики выкатились из дымящейся пшеницы и перебежали через полосу, примятую нашей машиной. Это были ежи, удиравшие от огня.

А за ежами, смешно подпрыгивая, пробежал длинноухий тушканчик...

Чеберда встал, надвинул кепку на лоб, тень его головы и острых плеч упала на левую руку от нас. Он смотрел исподлобья не на горевшее поле, которому было отдано столько трудов и забот, а в степь, в ту сторону, где смутно угадывались белые паруса палаток.

— Он обходит нас кольцами,— хрипло сказал Чеберда.— Он обгоняет нас, ничего с ним поделать нельзя. Мы еще и до середины поля не доберемся, а он уже далеко в степь зайдет. В степь зайдет,— вдруг закричал он.— В степь! А что, если они базу горючего опахать не успели?

Только теперь я понял, в какой опасности находится табор,— да и не только табор, вся окрестная степь.

База горючего, та самая, которая до отказу была набита цистернами с керосином, бочками с лигроином, банками с бензином, та самая, посреди которой стоял столб, а на столбе череп с двумя скрещенными костями,— эта база была расположена между табором и опытным полем. И если огонь перекинется в степь...

Два голубых луча вдруг легли в темноте, в той стороне, где проходила дорога.

Звон колокольчика послышался, рев сирены.

— Стой!— крикнул Чеберда рулевому.

И мы остановились. Все ближе слышался этот рев, все громче заливался колокол, голубые снопы автомобильных фар тянулись к нам, как длинные дружеские руки. И вот, наконец, большая красная машина вылетела из-за поворота дороги. Пожарные в широких брезентовых штанах ехали на ней стоя, и медные каски блестели в отогнутом назад факельном свете. Один из них вертел ручку сирены, другой звонил в колокол, а третий — маленький усач — дул в трубу. С ревом, с грохотом, со звоном машина на полном ходу обогнула наш трактор и остановилась, и вдруг все пожарные разом скатились с нее и побежали к нам...

Наутро, грязные, закоптелые, мы сидели под тентом в кухне и пили чай с медом. Ни табор, ни база

горючего не были тронуты огнем, а опытное поле сгорело, и только на четверть его удалось отстоять.

Долго пили мы и молчали. Мы все были тут — и Чеберда, и Куликов, и пожарные, и Петька, мальчик, не любивший зверей. А страус стоял рядом с нами, привязанный за ногу к походной кухне.

Я первый кончил свой чай и отдал чашку соседу.

— Ну что, Петя,— сказал я,— вот ты говорил, что звери никуда не годятся. А смотри-ка, если бы не твой Фома, пожалуй, вся бы степь от Аскании до самого Азовского моря сгорела.

Все посмотрели на страуса. Он переступил с ноги на ногу, положил голову набок и заморгал, заморгал...

— Да,— сказал Петька и вылил свой чай в глиняную суповую миску. Он накрошил туда же хлеба, луку, сунул чашку страусу под нос, ласково потрепал его по шее и сел на свое место.

— Да,— повторил он,— но ведь это только к случаю так пришлось, что все машины были в разгоне. А найдись тут на таборе хоть завалящий «форд»...

Петька вдруг зажмурил один глаз. Он зашептал, зашептал, зашевелил пальцами, потом прикусил губу и зажмурил другой глаз. Он считал в уме.

— Если в «форде», скажем, двенадцать с половиной сил, а страус — три четверти лошади ровно, ну-ка, прикинь, во сколько раз быстрее я доехал бы до Главного хутора? В шестнадцать и одна восьмая раз...

— Ну, вот и наврал,— сказал я.— Одно дело — скорость, а другое — сила. И счет наврал. В шестнадцать и две трети.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Это было на том самом участке, где я был однажды свидетелем разрушения кладбища. Чечевица вертел ручку киноаппарата, а кухарка, выгнавшая меня из кухни в ту памятную ночь, сидела на первой скамейке нашего позднего кино, открытого звездам и вечернему небу, и спала величественно и откровенно.

Она спала, другие дремали. Не спал только Чечевица да киномеханик, маленький, голова яйцом, не пропускавший ни одного кадра без язвительного замечания.

Отчаянный, белолобый, Кастусь Калиновский скакал, поднявшись на стременах, замахиваясь палкой на лошадь, а у лошади было умное лицо, умное и надежное.

Потом ночные бабочки блеснули в прозрачном конусе света, и на кухонной стене, заменявшей для нас экран, появился Муравьев-Вешатель со своим адъютантом.

Низенький, с короткой шеей и длинным султаном, он ехал в открытой коляске, озираясь по сторонам великолепными глазами моржа...

— Они себе катаются, гады, а я тут крути,— пробормотал Чечевица.

Стало свежо, я встал и отправился за пиджаком. Знакомый длинный дед сторож сидел в красном уголке и читал газету. Он был в очках и газету держал крепко, обеими руками. Мы поговорили с ним о том, что ночи становятся все холоднее, о волках — что при уборке встречается много волков, и об урожае...

— Урожай хорош,— строго сказал дед.

Когда я вернулся, никто не спал, и последние ругательства еще слышались в то время, как я пробирался к своему месту, между лежавшими на земле людьми.

Никто не спал. Никто даже не улыбнулся, когда Чечевица вдруг бросил крутить ручку киноаппарата, и Кастусь Калиновский, перекидывая ногу через седло, повис над лошадью в стра́нной позе прерванного движения.

Мой спутник с плоскими бритыми губами и американской бородой сидел на ящике под расширяющейся полосою света и смотрел прямо перед собою, настороженный, тихий.

Я узнал его не по лицу, а по тому, что он сидел так, как если бы никого не было вокруг, и он был один, и все было для него безразлично...

Не знаю, чем была вызвана ссора, которую, покамест я ходил за пиджаком, затеяли с ним рулевые.

Я слышал только несколько крупных слов, на которые не последовало ответа, да кухарка вдруг сказала наставительно и откровенно:

— Не велик сверчок, да поганит горшок,— и встала, зевая, похлопывая себя ладонью по широко разинутому рту.

А он так ничего и не сказал. Скука и презрение прошли по лицу, и вот уж с прежним вниманием он принялся смотреть на экран, на эшафот, на Кастуся Калиновского, который был разбит наголову и взят в плен, и теперь его везли на казнь, отчаянного, молодого, с закрученными на спине руками.

Шел уже третий час ночи, когда он был, наконец, казнен. Зрители, все без исключения, ожидали этой минуты с очевидным нетерпением; спать оставалось до смены всего полтора часа.

Кто тут же и прикорнул на траве, а некоторые разошлись по палаткам. И трое рулевых (из тех, кажется, что молчали во время ссоры) прошли рядом с моим спутником, почти задевая его локтями, один оглянулся, и у него были косящие, недобрые глаза.

И вот мы остались одни — я и этот человек, враждовавший со всеми, не любимый никем.

— Вот уже шестнадцать лет,— сказал он мне, когда после получасовых уловок мне удалось затеять с ним этот разговор,— как я скитаюсь по бивакам, военным ли, гражданским, не все ли равно? Едва окончив гимназию, я попал на войну,— считайте же, с четырнадцатого года,— и с тех пор все кажется мне непрочным, случайным. Все на время, все шатко. Не всегда я был таким, как теперь, ко всему хладнокровный, не верю уже ни во что. Я был другим — это война научила меня равнодушию. Что же делать, я знаю, что меня не любят здесь так же, как и везде. Я нигде не живу больше года. Во мне чувствуют чужого человека — и правы, потому что мне все равно, кому служить, какому правительству, какому государству. Многим правительствам служил я и многим государствам. Не вижу разницы. Должно быть, потому, что и не хочу ее видеть!

Но когда я спросил, что же привлекло его в эти места, где труд так тяжел и выкупается верой в его высокие итоги, где люди не жалеют себя,— я не получил никакого ответа.

Он только пожал плечами да качнул головой полуравнодушно, полупечально.

Потом ушел, и я остался совсем один. И остаток ночи провел в борьбе с комарами и в размышлениях, прерываемых лишь, когда, уставая лежать на одном боку, я переворачивался на другой, и западное небо

сменяло восточное, и полусонные глаза начинали невольно отыскивать знакомые сочетания звезд.

«Для него все война, все продажно,— думал я о нем,— наемник, не доверяющий даже собственной расчетливости, он ценит, кажется, одну только смену местностей, последнюю привязанность кочующего человека. Но каков взгляд, какова манера держаться!»

Начинало уже светать, вдруг сразу пропали комары, и небо стало подниматься и подниматься, и уже не казалось, как ночью, что стоит лишь встать на цыпочки, чтобы дотронуться до него руками. Утро близилось, я озяб и, надеясь согреться, почти бегом вышел за палатки, в степь. Она была еще тихая, высокая, пустая. Как облако, стлался по травам беловатый туман, и все было открыто, открыто со всех сторон.

Открыто и пусто,— только там, где солнце поднималось и уже лежала на земле его рыжая дуга с прозрачными спицами сияния, там шла какая-то заблудившаяся машина.

Она была заблудившаяся, потому что шла не в ту сторону, где колючей проволокой были оцеплены цистерны с горючим, а прямо на участок — на участок, в неурочный утренний час.

Я забыл о ней, задумавшись о чем-то, а потом вспомнил снова: пересекая поле, она прошла почти рядом со мной.

Это была очень странная машина, и ее вели, против обыкновения, двое рулевых, а грохот ее, казалось, был чем-то похож на звуки похоронного марша.

Двое рулевых вели ее, или, вернее, один, как всегда, а другой сидел подле, опустив голову на грудь, беспомощно раскинув руки.

Задумчивый сидел он, равнодушный, и только губы были едва тронуты каким-то последним сожалением.

— Его плугатор нашел! — жалобно прокричал первый рулевой и подбежал к заведующему, который вышел на крыльцо, чтобы узнать о причинах неурочного возвращения машины.— Насилу вытащили! По нему плуга прошли. В земле лежал, только ноги торчали.

И уже сломя голову бежали из кухни бабы, поднимались пологи палаток, и сонные люди говорили один другому: «Вставай, корыш, айда смотреть, никак, кто-то механика тюкнул»,— а потом пришел длинный стро-

гий дед, посмотрел мертвецу в лицо и сказал: «Запахали!»

«Запахали, механика запахали»,— говорили бабы, но заведующий отогнал их прочь и велел снять механика с машины, и он лежал теперь на крыльце, высоко вверх была закинута плоская борода, и земля валялась здесь и там на измятом, изорванном комбинезоне.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Если вы прислушивались к голосам диких гусей, не слышали ли вы: «Здравствуй! Долженствующие умереть приветствуют тебя».

Хлебников

— Нет, не гусеницами трактора,— сказал я Эшли,— был он задавлен в темном, ночном поле. Здесь была глубокая вражда,— недаром его так не любили,— вражда между человеком, уже кончавшим жизнь, и теми, которые ее едва начинают. И не плуги, случайно или не случайно, запахали его. Его запахало время, которое не прощает ни равнодушия, ни презрения.

Сам не знаю, почему я говорил так высокопарно. Быть может, потому, что был вечер и отдых, и мы гуляли по улицам Главного хутора, и фонари, как в черном зеркале, отражались в накатанной шинами мостовой.

А может быть, потому, что я хотел понравиться этому старому плотнику с добрыми измятыми губами.

— Дело не в том есть, что он уже кончаль жизнь,— сказал Эшли.

Он очень плохо говорил по-русски, едва ли не хуже, чем я по-английски. Он любил, например, говорить: «В пук и прак». Тем не менее мы прекрасно понимали друг друга.

— Это ничего, что один родился немножко лет перед другой,— продолжал он.— Вы знаете мой друг Бой-Страк? Попробуйте говорить с ним о сельском хозяйство. Он сказаль: «Земля, зачем нам этот земля?

Чтобы даваль зерно? Так много земля? Пустяки, нонсенс! После немножко лет мы будем засеваль только один га, и мы будем снималь хлеб с этот га, который хватайт для вся страна. А на остальной земля мы будиль стройт сиитры и купалки. В пук и прак! А на люна мы будиль имейт молочний погреб. А на Венера...» Тут он сказал, чтобы женчин его не слюшаль, и сказаль, что он устройт на Венера. Он мой друг, но он есть комик, comical fellow. Я очень часто ругался с ним, очень часто...

Я слушал Эшли с удовольствием.

Всеобщий любимец Зерносовхоза 3, он появился в этих местах в те полулегендарные времена, когда грязь еще лежала на дорогах, тихая, толстая, и свет играл на смазочном масле, которое она сдирала с машин, когда ходили еще в болотных сапогах и управляли ими при помощи веревки, переброшенной через шею, когда главная улица была едва намечена избушками на курьих ножках, построенными из тары, в которой пришли из Америки тракторы. Он был одним из пионеров Зерносовхоза 3. Он любил жить только в таких местах, куда являлся первым,— чтобы вокруг были только лес и степь и чтобы звери не знали, как к нему относиться. Девятнадцати лет он — «в пук и прак» — окончил сельскохозяйственный колледж в Канзасе, а потом отправился в Аляску и вывел там— «в пук и прак» — новую породу свиней. У него большие твердые, распухшие от работы руки — руки человека, который все может сделать сам: построить дом, стачать сапоги, сложить печь...

— Бой-Страк шутил,— сказал я,— а вы приняли его слова за чистую монету.

Он вскинул брови.

— Чистая монета?

Я понял, что ему представилась настоящая монета, чистая, только что отчеканенная. Я объяснил точнее.

— Да, он шутиль,— сказал Эшли,— но он шутиль как комик, comical fellow. Здесь есть несколько комик. For instance, комик есть садовник, который засадиль этот парк. Он комик есть, он хочет растить эукалипт на 30° восточной дольгота и 43° северная широта...

Только теперь я заметил, что мы шли по парку. Вовсе не удивительно, что я заметил это только теперь, потому что парк был таков, что его трудно было заме-

тить. Самое высокое из деревьев вряд ли было выше школьника первой ступени, да все они и напоминали школьников, в особенности когда ветер начинал раскачивать их тонкие руки. Они стояли ровные и гибкие, как в гимнастическом зале.

— Мы еще вернулься сюда, когда он будиль вырастайт,— сказал Эшли,— а теперь, может быть, в степь? Туда ветер сегодня, корошо, прокладно...

И верно — в степи было хорошо, и ветер, и прохладно. Мы долго бродили без дорог, а потом наткнулись в темноте на курган — каменная баба стояла на нем, плоская, как могильный камень.

Эшли бросил на траву макинтош, и мы уселись подле ее ног.

Главный хутор был теперь виден с фасада, светились окна пятиэтажных зданий, черным квадратом лежал заездный двор, купол театра как бы стоял в воздухе, высокий и легкий, освещенный снизу, и везде были огни — как одни и те же слова, разбросанные здесь и там по странице.

Это был город, который вырос скорее, чем успели придумать для него подходящее имя.

— Три год перед этот год,— сказал Эшли,— на этот мест кочеваль киргизы. Они приятный люди, и с несколько я очень подружилься, в пук и прак. Вы встречаль киргиз во время ваших поездок на участки, встречаль?

— Встречался,— сказал я,— с киргизами, с татарами. Но, знаете ли, они так мало отличаются от других работников совхоза, что я, признаться, даже как-то и забывал, что они киргизы. Только иногда, как увидишь на рулевом баранью шапку, вспомнишь о том, что это исконные киргизские места. Баранья шапка да комбинезон, заправленный в ичиги,— это, кажется, последнее национальное отличие киргиза.

Эшли засмеялся.

— Я очень рад слышаль это от вас,— сказал он,— один год перед этот год они не очень мало отличалься от других, не очень мало. Они отличалься от всех других в пук и прак...

И он рассказал мне о возвращении киргизов.

Осенью 1929 года они вдруг появились в степях, граничащих с землями Злодейского табора — одного из самых отдаленных.

Они шли тучей, с женами, утварью, верблюдами и детьми.

Галдя, размахивая камчами, они вошли в город и прежде всего загнали баранов в автомобильный гараж.

На главной улице и вокруг ремонтных мастерских они разбили юрты, разложили кибитки, зажгли костры.

Они были очень приветливы, и все им очень нравилось, и всем они говорили «джаксы, биг джаксы», и не было никаких сомнений в том, что на Главный хутор они смотрели как на законного наследника своих зимовок.

В пестро расшитых халатах, они слонялись по улицам и вежливо снимали перед бородатыми свои малахаи.

Бородатых было только трое — чистильщик сапог, сторож да механик, и киргизы насильно тащили их к себе, запаивали араком, закармливали бараном,— должно быть, думали, что это начальство; трудно поверить, что они так уж уважали старость.

А во дворе элеватора засел народный поэт. Он пел целый день, играл на домбре, и выгрузка зерна стала занимать вдвое больше времени, потому что всем нужно было постоять возле него и послушать.

Он пел письмо Татьяны к Онегину — любимую песню всех киргизов.

Я тебе посылаю это письмо. Чего тебе еще нужно?
Теперь ты можешь считать меня ослицей.
Но все-таки пожалей меня,
Не оставь меня...

И длинную поэму о судебной реформе 1868 года, после которой

Богачи из-за распрей стали бедняками
И, растратив свои состояния на получение должностей,
Стараются возместить произведенные расходы,
Беспощадно обирая своих же детей.

Он пел:

«О милая, плесни водой перед порогом, чтобы отец твой, если ему вздумается погнаться за мною, поскользнулся и упал...»

И старые киргизы сидели вокруг него на корточках и говорили:

— Ай, кудаим ай! Ай, как поет! Какой уляпгчи!

Но особенно досаждали всем киргизята. Голые, пузатые, они разбрелись по всему Зерносовхозу, днем прицеплялись к тракторам, ночью, обнявшись с ягнятами, спали на мостовой, выбирая почему-то именно те перекрестки, на которых было наиболее живое движение.

Их находили в зерне, перевозившемся с участков на элеватор. Они старались курить и раскладывать костры непременно где-нибудь вблизи сеновала или склада с горючим.

Они забрались в кладовую и съели около ста арбузов, предназначавшихся участку, который выиграл первенство по уборке урожая.

На неоседланных лошадях они носились по окрестностям и никому не уступали дороги.

Это был террор, и первыми начали сдавать рулевые.

Один из них, утомленный десятичасовой работой, возвращаясь на базу, не пожелал объехать юрту, стоявшую поперек его пути, и от юрты осталось только цветное пятно кошмы, да торчащие здесь и там брусья сломанных решеток. По счастью, она оказалась пустой.

Другой ночью украл киргизку и увез ее на самый далекий табор. Он прожил с нею три дня, а потом приехал муж и сунул ему нож между ребер.

— Она бы мне, стерва, сказала, что замужняя,— жаловался рулевой в больнице, где ему зашивали бок,— так ведь нет! Джаксы да джаксы, да глазами чешет! Пойми тут!

Тогда Эшли решил заняться киргизскими делами.

Как-то утром, отправляясь к себе в мастерскую, он зашел на четверть часа к директору Зерносовхоза. Отработав после этого разговора положенные восемь часов, он вернулся домой, побрился, причесался и надел самый свой лучший костюм — мохнатый, с толстыми чулками. Посасывая трубку, хрипя английскую песенку, которая была модной в дни его молодости, в восьмидесятых годах, он спустился этажом ниже, поднял с постели Лурья — библиотекаря и отправился вместе с ним в юрту аксакала.

Еще не старый киргиз, темнолицый, в полосатом лиловом халате, в ичигах и глубоких калошах, встре-

тил их у порога. Три волоса, окрашенных хной, торчали на его подбородке.

— Селям алейкюм,— сказал он гостям и ввел их в юрту.

Эшли сел на ковер и поджал под себя ноги. Он молчал несколько минут.

Он осмотрелся. Расшитые коврики и покрывала висели на решетчатых стенах, мягкая кошма устилала пол, тяжелые кисти на цветных тесемках спускались с куполообразного потолка. Аккуратно сложены были на сундуках подушки и одеяла, аккуратные лежали за ситцевым пологом седла, сбруи, мешки для кумыса, ларцы с посудой.

Но стропила, поддерживавшие крышу, были красные, чонгарак для выхода дыма — зеленый, ковры на полу желтые, черные...

Это было жилище человека честолюбивого, скрытного и очень уважающего себя.

— Я очень рад,— сказал по-английски Эшли,— что имею удовольствие приветствовать представителя племени, которое осчастливило Зерносовхоз своим посещением.

Лурья перевел.

— И я очень рад,— на чистом русском языке ответил киргиз.

Они помолчали. Две женщины внесли огромный дымящийся котел, выложили баранину на плоское деревянное блюдо и поставили блюдо между ними. Аксакал вымыл руки, засучил рукава, Лурья смотрел на него с ужасом, Эшли равнодушно. Ворча, аксакал рылся в горячем мясе. Наконец, баранья голова — страшная, с остановившимися глазами — появилась в его жирных руках. Любезно поклонившись, он поднес эту голову Эшли. Эшли оторвал ухо и съел.

— Я был очень огорчен,— сказал он,— услышав, что ваши овцы дохнут здесь из-за отсутствия хороших пастбищ. Разумеется, если бы мы были извещены о том, что вы вернетесь, мы оставили бы часть земли под пастбища для вашего скота. Не зная этого, мы, к сожалению, вспахали все, до последнего гектара. И вот теперь ваши овцы дохнут, как жаль, ах, как жаль!

— Да, очень жаль,— вежливо согласился киргиз.

— А бедные верблюды? — продолжал Эшли.— Здесь нет колючек, которыми они питались в степи,

они жрут что попало, и это очень плохо отражается на их здоровье, очень плохо.

— Да, очень плохо,— равнодушно сказал киргиз. Эшли съел второе ухо.

— А между тем,— продолжал он,— в полутораста верстах отсюда, за Вонючим холмом, есть отличные тучные пастбища, водопой в двух шагах, и ваши овцы разжиреют на этих пастбищах в три недели.

— Своя плохая земля — это своя земля. Чужая хорошая — это чужая,— отвечал киргиз.

Они помолчали. Старшая жена в высоком белом, перевитом позументами джуалыке, принесла чай. Аксакал остановил ее. Наклонившись над блюдом с бараниной, он набрал полную пригоршню сала и сунул его Эшли в рот. Лурья застыл, ужаснулся. Эшли снял очки, чтобы удобнее было жевать, и проглотил сало, не поперхнувшись.

— Ай, какое вкусное сало,— равнодушно сказал он.— Мы тоже хотим есть такое сало, такую вкусную баранину, такой вкусный сыр. И пить такой вкусный айран. И ходить в таких теплых халатах из бараньей шерсти. И сидеть на таких мягких кошмах. Мы хотим хорошо жить и поэтому тоже решили разводить баранов. Да, да, мы решили их разводить...

Аксакал перестал жевать и выплюнул мясо. Он подавился.

— У нас есть отличные пастбища в полутораста верстах отсюда, за Вонючим холмом,— с сожалением сказал Эшли.— И вот мы решили устроить там овечий совхоз. Глубокоуважаемый аксакал знает, что такое совхоз?

— Знает,— пробормотал киргиз.— Совхоз — это кстау[1]. Очень хороший кстау. Баранам тепло, казакам тепло.

Несомненно, он думал про автомобильный гараж.

— Эти кстау построены не для баранов, а для машин,— сказал Эшли.— А вот в овечьем совхозе мы построим настоящие кстау, пятиэтажные кстау, с ваннами и паровым отоплением. Мы проложим туда две дороги — одну для верблюдов, другую для машин. И нам будут очень нужны разные люди, такие толковые люди, которые знают, как разводить овец.

---

[1] **Кстау** — зимовка (*киргиз.*).

Киргиз взялся за бороду. Он чесался. Потом долго ел.

— Это надо думать, надо крепко думать,— сказал он, наконец.— Надо крепко думать, надо стариков звать...

Наутро они снялись. Поднимая пыль, галдя, размахивая камчами, они двинулись к Вонючему холму, и впереди на отборном рыжем коне ехал Эшли в мохнатом костюме, в толстых чулках. Посасывая трубку, скрипя песенку, которая была модной в дни его молодости, в восьмидесятых годах, он ехал разводить овец. Ему приходилось строить дома, тачать сапоги, приручать медведей,— с овцами он встречался впервые. Это мало смущало его. Он сопел трубкой, отплевывался от пыли. На привалах он вытаскивал из кармана курс овцеводства и прочитывал наскоро несколько страниц...

Из года в год киргизское племя, которое он вел теперь за собой, кочевало по одному и тому же пути, останавливаясь у тех же ключей и колодцев, у которых останавливались его предки сотни лет назад, и постоянно возвращаясь на ту же зимовку. В первый раз оно свернуло в сторону. Это был конец кочевья. С этого дня свою историю оно начинало снова...

— Я прожил с ними половина год,— сказал Эшли,— это очень хороший народ, очень приятный. Я рассказывал им, как в Канзас улучшают пород скота, и они очень серьезно занимаься этим делом. Они называль меня «улажатель ов запутаний дел».

Он помолчал, потом засмеялся.

— А потом мне пришолься убегать от них. Они говорют, чтобы я вышель замуж на какой-то девочка, на дочь аксакаль, такие комики, comical fellows. Она была очень симпатичный, такой живой, веселий. Но я — старый колостяк, мне уже поздно жаниться. Они очень жалель, а потом подариль мне вот этот пояс, и я уехаль.

Он расстегнул куртку и снял с себя пояс, темномалиновый, с овальными чеканными бляхами из позолоченного серебра, с застежками из черепаховой кости,— старинный наследственный пояс, быть может изделие хазарских мастеров...

Уже светало, когда он кончил историю о возвращении киргизов.

Он рассказал ее лучше, чем я, хоть и предпочитал всем падежам винительный, а ударение ставил на любых слогах, кроме тех, которые нужно произносить с ударением.

Он кончил, и мы долго сидели у ног каменной бабы и молчали.

А потом дикие гуси блеснули в небе и разделили его на три голубых куска. Они летели треугольником, и у них были высокие ноги, похожие на готический шрифт.

Эшли встал, закинул голову, я увидел его старый кадык, поросший редкими седыми волосами.

Он следил за полетом гусей.

А я забыл о них, заглядевшись на каменную бабу — она сидела загадочная, кривобокая, наклонившись вперед, подняв вверх плоскую, низколобую морду.

Эшли схватил меня за руку.

— В пук и прак,— сказал он с торжеством.— Они боются спускаться down, вниз!

Я поднял голову. Растерянные, с криками метались над Главным хутором гуси.

Все еще прямо летел вожак, но вот и он приостановился, ринулся вниз, вверх, потом повернул, и за ним повернула стая.

— Они не узналь свой родин,— сказал Эшли.— Как жаль, что я не может говорить, как гусь. Я бы объясниль им, в чем дело. Я бы показываль им, куда лететь. Мне очень жаль, что они обижаться на нас, очень жаль!

ВИКТОР КИН

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Амундсен летит открывать Северный полюс. Скоро грузный, блестящий металлом дирижабль тихо отделится от земли и бесшумно двинется в седой первобытный туман Ледовитого океана.

Надо иметь смелую голову, чтобы отправиться в этот трагический путь, отмеченный обломками кораблей и застывшими трупами путешественников. Надо иметь большую самоотверженность, чтобы отдавать свою жизнь за право взглянуть на обледенелый, бесплодный клок земли. Честь первому ступить на эту землю, овеянную мыслями и надеждами нескольких поколений, увидеть прямо над головой слабый свет Полярной звезды,— цель скорее почетная, чем полезная.

Многочисленные организации приветствуют Амундсена, газеты полны его портретами. Академия наук устраивает торжественное заседание, на котором 60 учреждений и организаций будут чествовать путешественника. Амундсену нечего заботиться о славе,— его имя войдет в историю в блестящем ореоле открытий.

Что же касается комсомольцев никулинской ячейки Нижегородской губернии, то их судьба не так счастлива, как судьба Амундсена. Эти комсомольцы тоже заняты открытиями и исследованиями, но их имена вряд ли будут увековечены в Советской Энциклопедии. Никакие организации не собираются их чествовать, и единственная награда, полученная ими за от-

крытие, заключается в двух словах, брошенных скупой на слова деревней:

— Дельные ребята...

Вот и все. Правда, маловато?

Если бы ячейка имела дирижабль и открыла застывшую, мертвую, загроможденную льдами землю, на которой ничего нет, кроме холода и Северного полюса, то, может быть, слава никулинской ячейки была бы обеспечена. Но ячейка открыла самую обыкновенную песчаную землю, лежавшую под боком у деревни. Земля эта, вместо того чтобы величественно поворачиваться вокруг полюса при свете северного сияния, каждую весну запахивалась крестьянскими плугами. На никулинской земле рос лен. Лен, конечно, не выдерживает сравнения с полярными мхами, но, каков бы он ни был, население кормилось с этого льна, являвшегося основным подспорьем в крестьянском хозяйстве Городецкого уезда.

История открытия никулинской земли началась с того, что ячейка выпросила у общества кусок земли и засеяла его льном под руководством агронома. И когда собрали лен, то оказалось, что комсомольская земля дала 35 пудов с полосы, а крестьянская — от 15 до 20 пудов. Это открытие поразило деревню. Под руками комсомольцев и агронома старая, скупая дедовская земля дала льна вдвое больше. Вдвое больше — это новый плуг, это племенная корова вместо отечественной буренки, это, может быть, общественный трактор. Вдвое больше — это шаг к той неведомой новой деревне, которая до сих пор находится только на обложках календарей и брошюр. Об этой деревне человечество мечтает, может быть, больше, чем о Северном полюсе. Дорога в нее трудна, и на ней осталось больше трупов, чем на ледяных горах Полярного круга. Это открытие произвело на деревню такое впечатление, что деревенский сход на одном из собраний вынес постановление:

«...с весны 1926 года всем перейти на многополье...»

Так в деревне Никулино была открыта новая советская земля.

Открытие есть, а чествовать некого. Я даже не знаю имен этих смелых людей, отправившихся в далекий путь к новой деревне. Как, какими словами похвалить и ободрить комсомольцев деревни Никулино

за их открытие? Может быть, и в самом деле им больше будет к лицу сдержанная, задушевная похвала деревни:

— Дельные ребята...

КТО НУЖНЕЙ?

— У меня,— пишет комсомолец Р.,— есть запросы...

Мы с радостью приветствуем этот отрадный факт. Если у человека запросов нет, то, конечно, винить его за это нельзя. Но если запросы есть,— тем лучше. Вот и отлично.

Комсомолец Р. придерживается того же мнения. Но у него случилось неприятное обстоятельство, на которое он жалуется нам и ищет сочувствия у читателей. После пасхи комсомолец Р., рабочий Ново-Узденского сахарного завода, решил малость развлечься и отправился в деревню к родным. Время он провел весело и разнообразно, играя в футбол и прохлаждаясь с девицами. По возвращении на завод его ждала неприятная новость: местком и ячейка устроили над ним показательный суд за прогул пяти дней. Ввиду проводившегося на заводе сокращения штата, суд решил подвергнуть Р. этому сокращению. Таким образом, комсомолец Р. был сокращен и теперь, считая свое увольнение несправедливым, обращается к общественному мнению.

— Я совершенно не согласен с моим сокращением,— пишет Р.— Во-первых, прогулы числятся не за мной одним, а почти что за каждым. Во-вторых, я комсомолец, у меня есть запросы, и если я провинился, то зато я веду общественную работу и имею политические взгляды. Другой хотя и работает без прогулов, зато живет как чурка, без понимания общественной жизни, с мещанскими понятиями. Если будут разгонять сознательных рабочих, мы не очень-то скоро построим социализм. Я знаю, против меня сговорились член месткома Нефедов и секретарь нашей ячейки Копылов. Эти лица подвели меня под сокращение из-за личных счетов.

Увольнение не столько огорчило, сколько ошеломило Р. Он — квалифицированный рабочий, и его не

пугает безработица. Его беспокоит другой вопрос. Обойдется ли без него завод? Подвинется или, наоборот, замедлится строительство социализма с его увольнением с завода? Ему кажется, что замедлится, что он, человек с запросами, с общественным кругозором, необходим на заводе. Это кажется ему настолько очевидным, что он может объяснить свое увольнение только личными счетами.

Оставим на время обиженного судьбой комсомольца Р. и обратимся к другому случаю. Недавно праздновали 125-летний юбилей Путиловского завода. На празднике в заводском клубе произносили речи, дарили знамена, играла музыка. Показывали достопримечательности старого завода. Среди них самой интересной был дедушка Филат, рабочий завода. Дедушка Филат за всю свою жизнь не сделал ничего особенного — он не изобретал машин, не одерживал военных побед, не открывал полюсов. Этот старый человек интересен тем, что за 55 лет работы на Путиловском заводе у него не было ни одного прогула, ни одного больничного отпуска. Известен он стал только благодаря тому, что праздновался юбилей Путиловского завода. Дедушку Филата привели в клуб, поздравили и сняли для кинохроники. Не будь этого юбилея, мы, может быть, никогда и не узнали бы о дедушке Филате и его 55-летней работе.

Арифметика — это очень неразговорчивая наука. Она кратка, немногословна и длиннейшие периоды человеческой жизни укладывает в несколько скупых цифр. Язык арифметики сух, сжат, он не сообщает подробностей. О себе и о своей обиде комсомолец Р. написал длинное письмо, в котором обстоятельно рассказал — кто был его отец, кто такой он сам и какие у него запросы. Дедушка Филат сказал о себе коротко — 55 лет работы без одного прогула. Вот и все. И мы не знаем, есть ли запросы у Филата и кем был его отец.

Послушай-ка, дед Филат! Что ты думаешь о социализме? Имеешь ли ты запросы? Комсомолец Р. очень строг на этот счет. «Другой,— говорит требовательный Р.,— хотя и работает без прогулов, зато живет как чурка, без понимания общественной жизни, с мещанскими понятиями». Как у тебя, дед Филат, на этот счет? Не замечен ли ты, случаем, в мещанских

понятиях? Кто из вас двоих больше нужен на социалистическом предприятии — ты или прогульщик с запросами и политическим кругозором?

Дед Филат стар и вряд ли имеет время для споров. Кроме того, Р. не один, у него есть единомышленники. На заводе Морзе молодые рабочие натирают себе солью под мышками и идут на освидетельствование. Врач ставит термометр, и совершенно здоровый человек идет в отпуск по болезни. И,— кто знает,— может быть, эти прогульщики «по болезни» тоже, как и Р., имеют «запросы» и употребляют свободное время на разрешение общественных проблем? И когда их выведут на чистую воду и подвергнут взысканию, может быть, и они, как Р., будут чистосердечно изумляться и жаловаться, что против них «сговорились» враги и сводят с ними личные счеты?

Не обвиняйте напрасно Нефедова и Копылова! Это не они сговорились против вас. Против вас сговорились комсомол, партия, советская власть. Это они сводят с вами длинные, неоплаченные счеты за прогулы, за простой машин, за растраченное с девицами и бутылками дорогое рабочее время. С вами борются за то, чтобы, когда дед Филат, отработав честно, без прогулов больше полстолетия, уйдет на покой,— то за его станок не стал бы слюнтяй, лодырь, все равно — с запросами или без таковых. Борьба идет за то, может быть, недалекое время, когда на юбилеях заводов будут как редкость показывать не деда Филата, а вымирающего, полузабытого прогульщика и лодыря.

КРАЙНОСТЬ

Среди событий этого года в селе Бородаевке, Днепропетровского округа, наиболее крупным было появление Антона Антоновича Заворотнева. На воображение жителей Бородаевки он подействовал с неотразимой силой.

В Бородаевке появился он незаметно, под вечер, напился у баб воды и покурил с мужиками на бревнах около Совета, а через несколько дней внезапно объявился магом, хиромантом и прорицателем. Оказалось, что ему известно прошедшее, настоящее и будущее, что

он отыскивает тайные клады и угадывает конокрадов. Говорили, что он умеет отводить глаза, вызывает духов и запросто держится с нечистой силой, основным же его занятием является подача нуждающимся советов на все случаи жизни.

И к Антону Антоновичу пошли за советами. Сначала пришли девушки и, краснея, шептали в его волосатое ухо свои вздорные и робкие просьбы. Потом пошли бабы рассказать понимающему человеку бесконечные бабьи жалобы, а дальше двинулись уже хозяева и степенно расспрашивали мага: не знает ли маг, случаем, почем будет рожь в следующий базар, есть ли бог и как лечить чесотку у лошадей. Маг принимал всех запросто, справлялся в секретных книгах, смотрел на воду, рассыпал золу и давал загадочные ответы. Мало-помалу известность его стала расти, из окрестных деревень потянулись крестьяне.

Он привык к своей жуткой славе. Он сделался необходимым в деревне человеком. Если угрожала засуха или нападал на хлеб прожорливый червь, то шли сначала к отцу Панкрату, а затем и к Антону Антоновичу, потому что рачительный хозяин старается обезопасить себя и от бога и от нечистой силы — так все-таки верней.

Этой осенью в соседней деревне шефы чинили мост через топкое, заросшее очеретом болото. Антон Антонович ждал, пока его позовут, но потом отправился сам.

На старом болоте кипела работа: крепко врезались топоры в дерево и свежая стружка густо желтела в болотной траве. Паровой копер, тяжело бухая, вгонял в землю острые сваи. Маг, потолкавшись среди этой суеты, направился к человеку в кожаной куртке, который бегал с карманной рулеткой и кричал осипшим голосом о каких-то бревнах. Маг поймал его за рукав и сказал зловеще:

— Нехорошо. Неладно дело ведешь. Плохо это кончится.

Человек в кожаной куртке бросил на него тревожный взгляд:

— А что? Крепления расшатались?

Маг наклонился и начал тихо шептать ему на ухо жуткую правду о болоте. В его тинистых, зацветших

водах водилась всякая нежить — безглазая, бесформенная, страшная, по ночам вспыхивали синеватые огни. По мохнатым болотным кочкам бродил неизвестный голый мужик, который исчезал как дым, когда к нему подходили. На болоте была особая, странная жизнь, дикая, столетняя глушь, нельзя безнаказанно врываться сюда с дымом и грохотом машины. Но делу, конечно, можно помочь: хорошо, например, действует баранья лопатка. Есть вещи и почище лопатки, но это самое дешевое...

Руководитель дико взглянул на него и кинулся в сторону, где наводили настил на бревна. Маг обиделся, но идти домой по мокрой осенней дороге, ничего не добившись, не хотелось, и он снова поймал руководителя.

— А еще образованный,— сказал он укоризненно,— а еще беретесь мосты строить. Совестно. Ну вот, шкура черного кота, она дороже, но зато это — вещь.

— Почем?

— Отдам за пять.

Человек в кожаной куртке зевнул, обнажив тридцать два зуба.

— Вот что, папаша,— сказал он.— Вон там есть сухое место. Положи свой узелок с чертовщиной и возьмись-ка лучше таскать бревна с ребятами. Работа поденная, полтинник в день. Больше заработаешь.

Маг пошатнулся, ошеломленный. Этот упрямый человек ни во что не ставил его древнюю деревенскую мудрость.

— А... голый мужик? — спросил он неуверенно.

— Да уж как-нибудь... авось...

Маг пожевал сморщенными губами. Кругом стоял деловой шум. Люди работали быстро, уверенно, острой сталью блестели топоры и падали белые щепки. Долго смотрел старик по сторонам. Машина с грохотом вбивала могучие сваи в болото. Что могут сделать против ее жадных железных лап ветхие болотные призраки? С другой стороны, и полтинник — тоже деньги.

Маг положил узелок с бараньей лопаткой и черной шкурой, подвернул штаны и сказал тоном человека, идущего на крайность:

— Ладно. Но за болото я не ручаюсь.

МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

НЕМНОГО В СТОРОНУ

Мы ехали по геологоразведочным делам и совсем не собирались заниматься каракулем совхоза № 7. Утром по дороге мы свернули на железнодорожную станцию. Станция называлась Уч-Кудук. Уч-Кудук означает «Три колодца». Это был грязный дом с плоской крышей, с земляным перроном, с видом на рыжие горы у горизонта. Висел колокол, под ним валялась поломанная дрезина, начальник смотрел в окошко. Начальник попросил нас обождать немного; он даст нам кое-какую почту для совхоза № 7. На таких разъездах каждый раз обязательно находится какое-нибудь попутное поручение. Мы привязали коней к столбу с надписью: «Ключ от воды у начальника», сели на перрон и свернули папироски.

Ветер в степи швырялся в станционный домик верблюжьей колючкой. Ржавый почтовый ящик болтался на одном гвозде. Он выглядел символическим, этот странный предмет, здесь, где кончаются последние дороги; словно он хотел сказать: «Какая тут регулярная почта: ветер, степь, зыбкие тропы, черт знает что...»

Вот извольте теперь — совхоз № 7 неожиданно вплелся в наши дела. Мы отправлялись в совхоз, о котором знали только, что дал он за последнее время очень много двоен. Он был расположен в песчаной степи, километров за пятьдесят от железной дороги, этот № 7.

Меньше всего, очевидно, этим двойням радовался начальник станции. Его мучила почта. Он сложил все накопившиеся здесь пакеты, поджидая оказию.

— Ребята молодые... Небольшой крюк... Подумаешь... Подумаешь, лишних пятнадцать километров...— бодрясь, говорил он нам, выглядывая поминутно в окно. Он боялся, чтобы мы не уехали.

Три скучающих пассажира, сидя на корточках, играли в кости. Они кутались в халаты. Лето в этих краях еще не кончилось, но было уже холодно. С Каспия летели зябкие птицы. За рельсами на пригорке стояла собака. Ветер топорщил шерсть на ее спине, хвост был зажат между задними лапами. Собака посмотрела на станцию и убежала. Пассажиры ушли с перрона. Наконец начальник вынес свои пакеты. Что за корреспонденция может быть на этой станции? Инструкция Каракулетреста, тощая бумажка о нерозыске трех, каких-то «трех овец за тавровыми №№ 716, 893, 2015, подлежащих списанию по ведомости формы 6/10», газета «Туркменская искра» за истекшие две недели и несколько частных писем.

Среди этих писем выделялось одно, с надписью: «Елене Павловне Неджвецкой». Мы обратили внимание на его изящный, но очень потертый и местами прорванный конверт. На нем стоял штемпель: «Париж, 5-е отделение Сены». С любопытством повертев в руках этот сиреневый парижский конверт, адресованный почему-то сюда, на край Уч-Кудукской степи, мы бросили его в сумку, отвязали коней и вскочили в седла.

Дорога в совхоз была утомительной. Дождь, прошедший ночью, размочил всю землю в глиняную жижу. Лошаденки наши не раз скользили, спотыкались и, наверное, вместе с нами проклинали эту дорогу, глину, дождь и однообразие пути. Больше всего устали наши глаза; впереди были только степь и лужи.

Это очень плохо и утомительно, когда не на что смотреть. Тогда мы вспомнили о письме. Вынутый из переметной сумы, конверт оказался тоже пострадавшим от этой дороги; теперь на нем сохранилось только имя адресата, а вокруг него из дыр конверта выглядывали строчки письма. Как бы став случайными свидетелями чьей-то наготы, мы опустили его обратно в сумку, но, одолеваемые скукой дороги, пренебрегли скромностью. Правда, нам удалось прочесть лишь первую строчку письма.

«Моя маленькая девочка»,— говорилось там. Сознаемся, это нам скрасило дорогу. «Моя маленькая девочка,— кричали мы друг другу со своих седел, имитируя воображаемого автора письма,— мой ангел, моя курочка». Мы хохотали, подхлестывали своих лошадок, подмигивали друг другу и отпускали насчет молоденьких девушек обычные мужские шутки, в которых участники умышленно переусердствуют, стараясь перещеголять друг друга.

Но этого хватило нам ненадолго. Вскоре мы опять молчаливо покачивались в седлах, и в памяти лишь осталось чувство некоторого любопытства к неизвестной Елене Павловне — адресату нашей почты.

К ночи мы увидели первые признаки жилья. Это была груда старых консервных банок, два шакала рылись в них; вскоре показался совхоз.

Ночевать нам пришлось здесь, у директора совхоза.

Эта ночь нам помнится как смесь рассказов директора, шагающего сквозь свет керосинового фонаря, и обрывков сна, в котором мы еще ехали по степи, сквозь дождь. К утру мы знали все новости совхоза: три отары переведены на осенние пастбища, в поселке построена баня на триста человек, умерла какая-то учительница музыки, приехал ученый скотовод, получены волейбольные мячи. На волейболе мы и заснули. Проснулись мы в маленькой глинобитной комнате с итальянским окном. У окна сидел директор. Засунув руку в голенище сапога, он палочкой счищал с него глину. Потом он вынул из глубины письменного стола аккуратно свернутый пиджак с орденом. Тряпочкой он вытер орден.

— Вот и все,— сказали мы.— Как говорят, наша миссия окончена. Статистика двоен ясна. Да, еще от начальника станции тут вам кое-что...

Мы вытащили из сумки почту и передали директору.

— Кто эта гражданочка? — спросили мы, указав на сиреневый конверт.

— Я же вам говорил,— ответил он.— Ночью я вам все рассказывал про нее. Идемте туда, пора...

Мы подошли к длинному зданию барачного типа с надписью «Клуб».

Войдя в него и протискавшись между рядами людей на скамьях, мы вдруг увидели гроб, стоящий на

сцене перед столом президиума. В гробу, оклеенном фестонами из крашеной газетной бумаги, лежал труп старухи. Покойница была в старинном молескиновом платье, с высоким воротником, подпиравшим подбородок. На пальце ее левой руки поблескивал серебряный перстень с голубым цветочком. Сухое и строгое лицо старухи как бы смотрело на свисающую сверху декорацию облака, сшитого из мешковины.

Это была учительница музыки Елена Павловна Неджвецкая... Так вот кто получатель нашего сиреневого конверта!

Это было неожиданно. Письмо вручать было некому. Но как раз теперь нас взволновала неизвестная нам Елена Павловна. Геологические дела мы решили отодвинуть на следующий день.

Нам рассказали, что учительница приехала в совхоз недавно — пять месяцев назад — с новым директором. С ним в поселке появились неожиданно вещи: сорок детских кроватей, десяток патефонов, электрические дойки, чертежи ветродвигателя для подъема воды из колодца. Совхоз наполнили зоотехники, ветеринары, специалисты по сыроварению, рытью колодцев и стройке дорог.

Среди них вдруг появилась маленькая старушка. Сначала никто даже не понял, к чему здесь такая старушка. Потом все понемногу привыкли к ее строгой и немного чопорной фигуре и к тому, что она учительница музыки.

Она была не совсем к месту. Сквозь сутолоку шерстезаготовительной, случной и кормовой горячки она приходила в канцелярию совхоза со своими странными музыкальными разговорами, с напоминаниями о нотах и инструменте. Больше она ничего не признавала и, наверное, не понимала. Вообще видели ее редко. Мимо силосных ям она проходила в клуб, приподымая двумя пальцами подол молескинового платья. Рабочие звали ее «мадам». Жила она в фанерной комнате с розовой занавеской вместо двери. Три дня назад, собирая в степи цветы, она простудилась и умерла.

Тогда все вдруг почувствовали отсутствие этой одинокой старухи. Ее пребывание в поселке стало уже привычным и даже необходимым, как десятки знакомых лиц, с которыми незаметно роднишься среди общей занятости и работы.

От нее остались платья, несколько альбомов, четыре портрета, бронзовый подсвечник и кровать с шарами, повязанными, точно котята, голубыми ленточками. На столе в фанерной комнатке директор нашел незапечатанное письмо без адреса, видно, учительница не успела его отправить. В поисках адресата директор прочел письмо. Адрес он нашел в старых письмах учительницы. «Париж. Станиславу Керн. Улица Тиволи, 174».

Гроб поставили в клубе и созвали траурное собрание. За роялем в ряд сидели со строгими лицами ученики Елены Павловны. В клуб непрерывно входили жители поселка; умолкая у дверей, помявшись немного, они на носках проходили к скамейкам.

Когда все собрались, на сцену поднялись секретарь парткома и директорр.

— Товарищи,— начал директор, с трудом подбирая слова,— мы хороним товарища с нашего трудового фронта... которая не занималась каракулеводством или полеводством... Но она тоже честно делала свое... Она учила наших детей музыке. Я, товарищи, в музыке мало понимаю... Я не буду говорить, какой человек была Елена Павловна. Вот я нашел ее письмо. Я его прочту.

Здесь секретарь парткома взял со стола лампу и поднес к директору. Свет лампы упал на желтое лицо покойницы и бумажные листки в руках директора. С трудом разбирая письмо, директор прочел следующее:

«Дорогой Станислав!

Я твердо верю, что скоро наконец мы снова увидимся с тобой,— тебе не кажется, что это много? Я бы все отдала за то, чтобы посмотреть, каким ты стал, мой хороший. Помнишь ли ты, как мы с тобой играли в четыре руки... Это поразительная вещь! Сколько связано у нас с ней надежд, мечтаний...

Ты знаешь, я и сейчас часто исполняю ее. Тогда на душе становится теплее, я вспоминаю многое, смотрю, как за окном плывут куда-то облака, в степи, у гор, колышутся кусты тамариска, идут верблюды, вьюченные сеном. «Сеноуборочная» у нас сейчас в самом разгаре. Все бегают как угорелые. Нигде толку не добьешься. А моим детишкам пора уже переходить на что-нибудь более взрослое — они все еще сидят на эк-

зерцициях,— у меня же только первые номера. Правда, директор,— это довольно удивительный персонаж,— всегда принимает меня очень вежливо и находит время поговорить. Вообще, странные вокруг меня люди. Часто я думала: зачем им понадобились тут мои экзерциции и Шопен?.. Кругом степь и овцы... Привезли меня на голое место, инструмента нет, ничего нет,— как же учить детей музыке?! Проходит месяц. Когда же, наконец, привезут рояль? — спрашиваю у директора. «Я,— говорит он,— сам мучаюсь этим. И вы не смейтесь, только я вот что придумал: пока там рояль придет, нельзя ли разрисовать клавиши на длинных таких бумажках и по ним учить ребят нотам». Ты понимаешь — на бумажках! «Давайте, говорит, использовать внутренние ресурсы»,— и хлопнул меня по плечу. Я остолбенела, конечно,

Ну, что же ты думаешь — действительно сделали бумажки, и ребята по ним прекрасно усвоили ноты. Я «использовала внутренние ресурсы».

В последнем письме ты пишешь, что я должна всматриваться в окружающее. Я глубоко понимаю тебя, я надеюсь, что и ты поймешь мои чувства, странные и противоречивые чувства человека, живущего здесь. Что факты! Сухие обозначения нот, не приведенные в гармонию. Лишенные взаимной связи, они только звуки, не дающие колебаний души. Изволь, я перечислю тебе наши «факты».

Семейные рабочие уже переселены из общего барака. Ликвидирован наконец бруцеллез — наш особый овцеводческий бич. В мальтийской лихорадке лежат, правда, два наших специалиста, но лекарств теперь вполне достаточно. Рабочие по вечерам не так уж пьют, меньше играют в карты; плохо то, что они иногда ужасно сквернословят. Но в общем все они простые, хорошие и славные люди. Я их начинаю понимать. Однажды, когда все их ребята стали уже прилично играть, ко мне пришли с петицией — составить нам кружок пения. И я не могла отказать в этом. Сейчас они даже выступают перед публикой.

Недавно праздновали Октябрьскую годовщину. У нас это выразилось в том, что все мы демонстрировали по главной дороге и дошли до конца поселка в степи. Дул страшный ветер. К тому же я очень волновалась: вечером в клубе должен был выступать хор

моих ребят, я все время уговаривала детишек не петь на ветру. Но, представь себе,— вечер прошел с триумфом: разученные нами песни были исполнены с таким подъемом и вызвали такое бурное сочувствие в зале, что я, признаться, даже прослезилась.

Теперь у меня отношения такие: соседи по бараку меня научили надевать портянки, чтобы в мокрую погоду выходить в сапогах. На собрании мне преподнесли шкурку каракуля на воротник. Председатель рабочкома сказал: «Вы перевыполнили свой план, а мы — свой, носите на здоровье».

А когда рояль перевозили в клуб, его несли торжественно, как на демонстрации, и все поздравляли меня.

Я смотрю за окно, там уже вечер. Одинокая звездочка зажглась над горами, любимая звездочка — как когда-то, в окне моей детской спальни. А я уже старуха... В дальнем ауле трубит карнай, призывая мусульман на молитву. Мои соседи играют на гармошке. Я думаю о своей странной жизни и не знаю, кто мне ответит на мои вопросы?.. Тучи мыслей теснятся в моей бедной постаревшей голове, и хочется все это тебе высказать, но не нахожу слов. Уж как-нибудь в другой раз.

Как твои офорты и натюрморты? Целую тебя. Целую так, как, помнишь, в тот далекий вечер. Твоя Л и л я».

Секретарь парткома перенес лампу обратно на стол, тень профиля старухи качнулась вправо. Директор постучал карандашом по столу.

— Товарищи,— сказал он,— я предлагаю послать письмо по адресу и приписать еще неизвестному нам гражданину, что Елена Павловна позавчера скончалась на своем посту. Начатое ею дело мы будем продолжать.

Добавление это было тут же приписано, и письмо было вручено нам для доставки на станцию.

Мы вышли на двор одновременно с похоронной процессией. Когда шестеро мужчин выносили гроб из клуба, раздались звуки рояля: ученики Елены Павловны играли выученные ими упражнения.

Мы вскочили в седла и, промчавшись без отдыха остаток дня и весь вечер, непрерывно подхлестывая коней, в ту же ночь доставили на станцию Уч-Кудук это письмо, адресованное неизвестному в Париж.

ТЕНИ КОРСАРОВ

Мы жили тогда на Грызловской улице. Это была кривая улица, очень далеко, на окраине города. Она кончалась баней. Здесь мы прятали папиросы и мечтали стать разбойниками. Все мальчики с нашей улицы в свое время хотели стать разбойниками, но не каждому из них это удавалось сделать.

Почти все жители нашей улицы мечтали о чем-нибудь хорошем в жизни.

Они покупали в рассрочку швейные машины, затевали мелкую торговлю, вкладывали сбереженные копейки в выигрышные билеты. Торговые предприятия, состоявшие из ларьков с ландрином и чайной колбасой, прогорали, а швейные машины отбирались агентами «Зингер и К°», так как не окупались ожидавшимся наплывом заказов; на нашей улице отдавать рубашку шить портному могли позволить себе только безумные богачи и франты.

Самыми интересными предметами на нашей улице были четыре фруктовых сада, ломовые лошади извозодержателей, постоянно пьяный и буйный бондарь Мотя и... и баня. Каждый из нас помнит до сих пор эту баню и все окружавшее ее. Это было отличное место; тут росли бурьян и репейник в рост человека, спали косматые бездомные собаки, возвышались горы из мусора, разбитых бочек, бутылок и других замечательных предметов.

Самой привлекательной особенностью бани было то, что это не баня. Это был просто дом, без дверей и окон. От бани здесь остались только деревянные полки, ржавый котел в подвале и сломанный кран. Все остальное давно было унесено соседями. Банные шайки на нашей улице жили как ведра и хлебные дежи. Между досками растрескавшегося пола в бане росли шампиньоны и какая-то травка. В баню можно было заходить через двери и влезать в окна. Мы предпочитали — в окна, мы влезали в окна потому, что дома всегда входили в двери. Дома мы находили только грызловскую обычность. Из бани мы могли делать все, что хотели: иногда это был пожарный сарай, другой раз — цирковая арена, или магазин, или церковь, или пещера.

Я помню странную игру, которая называлась «солдат ловит курицу». В ее основе лежал, видимо, настоящий солдат. Он вошел в наши игры из каких-то серых еще впечатлений детства; действительно, какой-то пьяный солдат, забредший на нашу улицу, хотел стащить чужую птицу. Ему это не удалось, и он давно уже ушел своей дорогой,— мир с ним. Он не подозревает, что солдатская его тень в суконных обмотках застряла на нашей улице, тронув воображение многих поколений мальчиков и пережив много перевоплощений. Мы его украсили с годами и заставили делать невероятные вещи, сообразно со странными нашими представлениями. Он у нас не только ловил курицу, но и стрелял при этом из ружья и поджигал дом, и его ловили и убивали. После этого он почему-то просыпался и вдруг попадал сразу в пещеру. Иногда в поимке солдата участвовали пожарные и ночной сторож с колотушкой. Этот почему-то был в старом котелке, украшенном петушиными перьями. Так, нам казалось. гораздо приличнее для него. Каждый из нас когда-то побывал ночным сторожем, прежде чем заняться другими делами.

Время очень быстро бежало тогда. Каждый месяц и каждый день сменялись, подобно частям в кинокартине. Мы менялись, как менялось все окружающее: город, жители, репейник на нашем пустыре; он вырастал так же быстро, как ребята за лето. Следующей же весной мы вспоминали только, что все было совсем другое. Нас не волновали больше палочки-забивалочки и ночной сторож. Мы ходили в город в кинотеатр под названием «Чары».

Всю зиму мальчики нашего города переживали восемь серий нашумевшей кинокартины «Тайны Нью-Йорка». В каждой серии было по два эпизода и по шесть частей. В каждой части сыщики ловили одного таинственного горбуна, который был неуловим, как пьявка. Он носил клетчатые брюки и черную полумаску. Он прыгал с башни, летел на воздушном шаре, прятался в гробу, в водосточной трубе и в несгораемом шкафу... В нашем кино каждые три минуты рвалась лента, горбун шел кверху ногами, на экране застывали опиекурильщики и контрабандисты с открытыми ртами. Тогда зажигался свет, мы кричали и топали ногами; под ногами была подсолнечная шелуха,

люди сидели в шубах. За билеты платили миллионы рублей.

На улице нас охватывали холод и темнота. Фонари были разбиты и унесены. На кооперативах висели вывески с гербами, на которых две руки пожимали друг дружку. Звезды гасли над нами на посеревшем небе. Мы становились в очереди у кооперативов. Под утро нас сменяли матери. Целый день мы ходили с застывшими ладонями, разрисованными номерами. Один номер был на хлеб, другой на воблу, третий на повидло, гвозди, засахаренные ананасные корки, корыта. Номера писались в очереди мелом или чернильным карандашом. С ними мы ходили на станцию, чтобы потолкаться среди мешочников, красноармейцев, отправляющихся на фронт, тифозных беженцев, бродяг, людей в кожанках, с портфелями, непонятных нам проезжих людей, спешащих куда-то. Мы искали среди них горбуна в клетчатых брюках. Мы хитрили, так как прекрасно понимали, что нет уже горбуна, нет его в этой жизни, где люди мчатся мимо нас с серьезными лицами, в теплушках с железными печками... Эх, солдат, солдат, который ловил курицу, как-то теперь ты?..

Станция была видна из нашей бани. Она виднелась водокачкой и дымом паровозов, за полем, усеянным болотными кочками и свалками. Туда ходили машинисты, жившие у нас. Они отправлялись на станцию с сундучками в руках, их усы были пропитаны мазутом. Туда уходил за новостями бондарь Мотя — главное украшение нашей улицы. Этот человек притягивал нас жуткой и заманчивой своей необычностью.

Это был человек в длинной рубахе, без пояса, босиком, с косматой бородой, в которой, как звезды, застряли колючки репейника. Он жил в лачуге возле бани, среди бочек, которые стояли, рассыхаясь грудой ненужных деревянных скелетов. Иногда Мотя бродил среди этого кладбища, что-то мастерил, но только когда был трезв. Это случалось редко. Основное назначение Моти заключалось в том, чтобы шляться по белу свету, буянить на улице, кричать людям резкие слова. Пьяным он был страшен. Начиналось с того, что мы замечали его фигуру, пересекающую поле, возбужденно размахивающую руками. Мы знали тогда, что Мотя «дошел».

Прежде всего он отправлялся к бане и начинал топорищем крушить свои бочки.

— Бога нет! Царя нет! — кричал он при каждом ударе топора.— Есть слободная жизнь, кудряшечки. Люди огурцов не солють. Капусту не квасють. Им ни к чему бочки! Им теперь гробы надо делать, в самый раз!

После этого он шел на улицу. Мы бежали поодаль. Мотя бранился и рычал. Он разговаривал со всем светом.

— Слышь, в Козловском, говорят, собрали всех жителей на собрание. Отдавайте, говорят, штаны, какие есть лишние, рубахи. На оборону! Вот, тетка!..

— Да как же, батюшка? — отвечала ему женщина с крыльца.— Что же это будет? Что же это за жизнь? Лихо наше!

Мотя не любил ни согласия, ни противоречия. Он был сам наполнен противоречиями.

— А ты что, мадам?! — кричал он вдруг тетке.— У тебя раньше, может, березовый гардероб стоял с платьем? Ты жизнью недовольная, да? Ты была купчиха галантерейная, мед жрала?

Мотя спокойно мог разговаривать только с ребятами, и то в трезвом виде. В остальное время он презирал всех людей на свете и самого себя.

Кончал Мотя тем, что возвращался на свой пустырь и, взмокший от буйства и хождения, отправлялся к бане. Мы следовали за ним. Мотя знал это; он любил, чтобы на его представления смотрели люди. Он ложился на землю. Голову он клал в одну из бочек. Мы рассаживались вокруг, слушая глухие раскаты его бессвязных слов, которые доносились к нам из бочки. Потом Мотя засыпал.

Утром, натощак, мы выбегали на улицу посмотреть, не произошло ли чего за ушедшую ночь. Мы ожидали необычайных потрясений. Но ничего не случалось. Мотя стучал молотком в своей конуре. Ломовые лошади выезжали на станцию. Только они стали еще тощее. В выпуклых их глазах отражались тоска и недоумение. Мотя кричал им из своего чулана:

— Что, каурые? Контора пишет?! Хватит! Завтра, может, все капут принимать будем!

Лошади понимающе кивали ему головами и ши-

рокими дугами. На дугах их написаны были крупные слова: «Заря коммунизма», «Красный возчик», «Победа».

Мы не знали, что такое «Заря коммунизма». Мы не знали ничего из того, что происходило кругом, но чувствовали в воздухе острый запах необыкновенного времени. Мы лежали на буграх и смотрели через поле на станцию. Там гудели далекие поезда, отправляющиеся в неизвестные земли. Они гудели такими тревожными и будящими голосами, что внутри начинало что-то тоскливо дергаться.

Нам казалось, что нас на Грызловке обидели в этой жизни; все происходило где-то на стороне. Мы должны были играть в солдата и курицу, в то время как другие люди заняты необыкновенными делами.

Самым главным мальчиком у нас был Митька Булдан, младший из четырех сыновей извозодержателя Булданова.

Все четыре сына его были здоровы, как лошади. Отец когда-то занимался извозом, но теперь кони были на том свете, а папа промышлял самогонкой, мануфактурой, солью и золотом. Все его четыре сына ездили в Симферополь и в Киев спекулировать.

В промежутки между поездками Митька царствовал на улице. Он был главным судьей всех дел, и каждый мальчик искал его дружбы.

Мы повторяли его слова и перенимали его походку. Он ходил вперевалку, на ногах его были широкие брюки матросским клешем. Он же давал нам первые уроки сквернословия. Все, что делал Митька, нам казалось обязательным для человека, желающего прожить смелой и красивой жизнью.

Остальные мальчики были самые обыкновенные, с обыкновенной жизнью и такими же названиями: Митя Косой, Цыган, Федя Косичка и просто Ежик.

Однажды на нашей улице появился новый мальчик, он появился внезапно, и первый раз ребята увидели его в окне. Это был незнакомый нам мальчик. Он сидел у окна и читал книгу. Это было уже достаточно необычно.

— Его не пускают на двор, потому что он прикован цепями. Он там живет уже двадцать лет,— сказал Ежик.

— Ничего подобного,— сказал Федя Косичка.— Он приехал вчера с матерью из Харькова. Его отец портной. Они беженцы.

Наконец мы решили, что мальчик хотя и приехал с отцом и матерью из Харькова, все-таки привязан цепями. Так нам было гораздо удобнее.

Но на четвертый день, рано утром, неожиданно прибежал Косичка и сказал, что увидел мальчика на улице. Это была обидная правда. Действительно, он шагал по улице и смотрел вдаль, на поле, теми же задумчивыми глазами, что и в окошко.

Один его вид уже говорил нам, что такой парень никогда не мог бы стать разбойником. Худой, ушастый и молчаливый мальчик, постарше нас, с длинными волосами и согнутой фигурой. Прежде всего он шагал по улице со скрипкой. Во-вторых, он носил очки. Если бы до того нам сказали, что может существовать мальчик в очках, мы бы этому не поверили.

Однако это было так: на нашей улице поселился мальчик в очках и со скрипкой под мышкой. Вскоре про него все стало известно: он — Миша, его родители — Блиндеры, они мечтают сделать из него знаменитого музыканта.

Все стало просто.

Блиндеры жили в маленьком отдельном домике с окнами, затянутыми причудливыми занавесками, с еврейским знаком «мезузе», прибитым на кривой парадной двери. Но за этой дверью билась жизнь, неизвестная нам, грызловским мальчикам.

Старый Блиндер ходил по улице медленно и сердито, с седыми прядями волос под шляпой, с цепочкой на жилетке. Он смотрел на всех поверх очков, сморщив лоб и упираясь в грудь подбородком. Мы его звали Козел.

Сына его мы сразу назвали Цыпкой. Он был рябоватый, близорукий, с худым и острым лицом. Когда он шел по улице, мальчики кричали:

Цып-цып-цыпка!
Поиграй на скрипке!
Поклюй носом,
Дам тебе проса!..

При этом ребята приплясывали и играли на руке палочкой, как на скрипке.

Цыпка обыкновенно ничего не отвечал. Оглянувшись и внимательно осмотрев нас, он продолжал шагать дальше. Это нас окончательно выводило из себя.

— Нужно будет ему устроить кое-что...— говорил Митька Булдан.— Он тогда будет знать, почем елки-палки.

Мы понимали, почем елки-палки. Для нас было уже ясно, что Булдан выполнит свое намерение.

Но от Цыпки нас отвлекли другие события.

Сначала был большой пожар: на Зверковской улице горела аптека. Это доставило нам много хлопот. Пять дней мы таскали с пепелища склянки с мазью и свертки компрессной бумаги. Мятные таблетки стали тогда разменной монетой для всех мальчишек города. Все кошки в ту весну ходили, непрестанно чихая от разнообразных лекарств, а баня наша стала аптекарским складом.

Потом в городе появились прыгуны-разбойники. Таинственная их слава ползла по всему свету. В те времена приходили в города грабители разных систем и разновидностей, они шли артелями. Они грабили на улице и в квартирах, в вагонах поездов — везде, где только можно было что-нибудь украсть.

Прыгуны будто бы завели себе резиновые баллоны или пружины на ногах или еще чего; на них они выскакивали из-за заборов, словно черти из бутылки, пугали людей, снимали с них одежду.

Самым ловким прыгуном-разбойником у нас был Федя Косичка. На этом основании он влез однажды в окно Блиндеров и схватил оттуда первую попавшуюся книгу Цыпки. Это был ценный трофей, однако мы не знали, что с ним делать.

— Наверное, брехня,— сказал Ежик, сплюнув, как Булдан.

К печатному слову мы не испытывали сочувствия. Единственным человеком, понимающим в книгах, считался у нас тот же бондарь Мотя. Мы нашли его в бане; он там в прохладе починал бутылку самогонки. Он сначала допил бутылку, потом вытащил из кармана сломанные очки, потом воткнул черный и кривой палец в книгу и принялся читать по слогам, хриплым голосом.

Нужно сказать, что это была странная книга. В ней не было ни начала, ни конца, ни середины. Многие

страницы в ней были оторваны так, точно ее долго грызли мыши и наконец отказались дальше грызть и только после этого она перешла к нам. В ней рассказывалась история путешествия капитана Фернандеса на неизвестные острова Атлантического океана. Он искал таинственный клад. Он дрался на шпагах с корсарами, и произносил клятвы, и освобождал какую-то женщину, и ездил верхом на диких лошадях.

Мыши оставили нам только поступки и диалоги, уничтожив всякие причины и следствия. Нам было неизвестно, почему капитан все это проделывал. Но он нам нравился, мы понимали, что это был мужественный и благородный человек.

Странно, но книга произвела необыкновенное впечатление на всех нас и даже на Мотю. Он достал из своей лачуги еще бутылку, и в тот же день мы, запершись в бане, перечитали ту книгу шесть раз от корки до корки. В бане было холодно. От зеленых полков пахло плесенью и грибами. Уткнувшись локтями в полки, мы следили за похождениями капитана Фернандеса. В книге не хватало целых кусков в самых интересных местах, но зато было множество совершенно непонятных нам слов. В бане звенели пезеты, дул бриз, бражничали старые корсары, плыли корветы. «Ха-ха! Плачьте, тени корсаров! Наконец старый Фернандес у цели своей жизни! — воскликнул капитан, спрыгнул на бе...», «...рел всех своих друзей, и его грудь затрепетала от нахлынувшего вос...». Дальше была оторвана целая страница. Потом над островом всходила луна, потом пролетал легкий ветер, потом опять было оторвано.

— Ха-ха... Плачьте, тени корсаров! Капитан спрыгнул на бе...— сказал бондарь Мотя и вдруг заплакал.

Дальше он долго не хотел читать, потом наконец еще глотнул из бутылки и снова взял книгу в руки.

Наконец капитан открывал свой клад, и тут начиналась такая буря обрывков и таинственных фраз, точно все демоны острова поработали, чтобы помешать капитану у самой цели его путешествия. «...Хватаясь за пистолет и подняв руку...», «Проклятые ма...», «В сундуке лежала груда золотых монет и большой ве...».

Этой неизвестности не мог выдержать даже самый спокойный из всех нас.

— Что такое «ве»? — спросил Косичка.— Может быть, веник?

— В сундуке лежала груда монет и большой веник? Зачем корсарам было закапывать веник?

— Тогда великан,— решил другой Федя.— В сундуке лежал большой великан, очень просто.

— Великан должен быть большой... Маленьких великанов не бывает,— разъяснил Мотя.— Это, ребятишки, очень задушевный вопрос. Один Мотя может только понять, к чему он тут подводит. Не вашего ума это дело...

Он махнул рукой и зашагал к станции.

Странная книжка неожиданно сделала дело. Сам Цыпка вдруг стал в наших глазах совсем другим человеком; словно это он обладал тайной корсаров и принес нам ветер моря. Мы не могли больше называть его Цыпкой. Один только Митька Булдан оставался верен себе.

Мы сидели на улице. Был конец дня. Луна вылезала из города за кирпичными заводами. Митька прохаживался, играя клешем, подрыгивая ногами, ловкий и приглаженный, как жонглер в цирке. Ребята с радостью и восторгом смотрели в его рот. Там блестела папироса высшего сорта «А».

В это время на улице показался Цыпка. Он тащил в руках большой скрипичный футляр. Увидав его, мы замерли, предчувствуя нехорошее. Цыпка шел опустив глаза, бледный среди сумрака улицы. Митька Булдан стал поперек его пути, широко расставив ноги. Он выплюнул папиросу на тротуар.

— А, скрипун! — крикнул Булдан и прибавил ругательство.

Малыши взвизгнули от предстоящего удовольствия.

И вдруг тут мы впервые как следует заметили Цыпку. Он остановился против Митьки и осмотрел его сверху донизу, как дерево. Потом он взял его за пуговицу. В другой руке он сжимал скрипку.

— Вы проходимец и кретин,— сказал он, сверкнув глазами, но тихо.

Мы остолбенели. Еще никто никогда на нашей улице не говорил таких слов Митьке. Больше всего поразился сам Митька. Он два раза открыл и закрыл рот, словно он подавился словом, которое хотел только что

произнести. Мы ждали, когда он начнет отрывать Цыпке голову.

Но тут из Цыпки вдруг посыпались слова. Это был целый водопад, непрерывный поток слов; только тут мы поняли, как много фраз может произнести один худощавый еврейский мальчик в очках, обучающийся игре на скрипке. Нам казалось, что он решил произнести теперь все, что знал до сих пор, так как раньше ему удавалось говорить на нашей улице очень мало.

Фразы его были круглы и звенели, как в книжке; так мог говорить еще разве только один капитан Фернандес. В то время мы еще не читали книжек и не знали, какой толк может извлечь из них образованный мальчик. Цыпка нам показался тогда капитаном Фернандесом.

— Мы прекрасно знаем, кто ваш папа! — кричал Цыпка, опрокидывая волосатую голову назад.— Это не тайна, кто ваш папа,— хозяйчик, спекулянт, эксплуататор рабочего класса во всем мире!.. У меня не было папы-извозодержателя, не было папы-банкира и генерал-губернатора... Я презираю вашего генерал-губернатора!..

Многие слова, которые он произносил, мы слышали первый раз в жизни. Подняв указательный палец, он сказал наконец о мировой революции и даже о том, что она сметет и Митьку Булдана, и его папу, и генерал-губернатора с лица земли. Мы тут же представили себе лицо земли, революцию и как она сметает Митьку. Странно, но нам не стало смешно. Мы поняли, что в груди у Цыпки пышет огонь, о котором мы не подозревали.

Так же неожиданно, как начал Цыпка говорить, так он и замолчал и пошел своей дорогой.

Все, что он произнес, было настолько ошеломляюще, что Булдан не успел вставить ни одного звука. Только когда Цыпка уже отошел, он бросил ему вдогонку:

— Будь я гад. Я его искалечу...— Он пытался оставаться Булданом. Но все поняли, что его слава покачнулась. Он начал паясничать и поносить Цыпку последними словами и сулить ему все на свете, но вскоре мы разошлись.

Мы не сказали друг другу ни слова, но ночью нас мучили горькие чувства: ненависть к Митьке, зависть

к Цыпке и презрение к себе. Это было первое чувство собственной подлости, толкнувшееся в наши тринадцатилетние души. В мечтах каждый из нас ставил себя на место Цыпки: произносил его красивые фразы, вступал с Митькой в дерзкое единоборство и в конце концов убивал его.

Мы почувствовали непонятную для нас правду на стороне Цыпки. С тех пор он стал для нас Мишей Блиндером.

С тех пор его стали называть на нашей улице жутковатым и заманчивым словом: «комсомол». Мы искали знакомства с этим скрипачом. Мы не играли больше за его спиной на палочке. Но с другой стороны продолжал стоять Митька.

Мы сидели возле логова бондаря Моти и наблюдали хитрые его занятия. Мотя был на среднем взводе. Он ходил по свалке и осматривал свои рассохшиеся бочки. Он постукивал по ним топорищем и, наклонив голову, слушал. Он искал у них ответа на какие-то вопросы. Бочки отвечали ему непонятным голосом.

Мотя еще раз стукнул по бочке и задумчиво склонил ухо. Ничего нельзя было понять в этой жизни — то ли начинать крушить бочки, то ли, наоборот, клепать их?

В это время над забором появилась голова Митьки Булдана.

— Дуй, вали их, чего смотреть,— усмехнувшись, сказал он Моте.— Бога нет! Царя нет!

Мотя взглянул на него. Он собирался говорить.

— Сейчас я буду со скрипок должок получать,— сказал вдруг нам Митька.— Вон идет комсомол волосатый.

Мы взглянули на улицу. Миша Блиндер приближался к Митьке. Он смотрел на него прямо.

— Ну-с,— сказал Митька,— какой я есть эксплуататор?

Он вынул кулак из кармана. Миша остановился.

— Я не боюсь тебя. Ты и есть эксплуататор. Шкура. Гад.

Он не успел кончить. Митька размахнулся. С Мишиного носа упали разбитые очки. Миша поднял оправу и снова выпрямился.

— А все-таки факт,— сказал он, побледнев.

Митька замахнулся еще раз. Мы вскочили.

— Стой, Булдан!— закричал Федя Косичка, хватая камень.— Не трожь его, а то я тебя покалечу.

Все мы схватили камни.

— Шкура! Да, шкура!— отчаянно закричал вдруг Ежик. Голос его звенел слезой.

Митька обернулся к нам. Лицо его перекосилось. Схватив булыжник, он наступал на нас. За Митькой поднималась улица, висело серое грызловское небо. Бледные звезды остановились на нем. Мы не знали, что будет дальше.

Звериный рык в этот миг вдруг раздался со стороны бани. Из-за бочек выскочил бондарь Мотя. Мы поняли, что он дозрел. В руках его качался обух.

Внезапно он схватил Митьку за ворот.

— Малый, я тебя сейчас рвать буду,— закричал он ему.— Ты Булданов сын, я с тебя клепки выпущу. Ты не трогай парня.

— Ты за советскую власть, Мотя?— сказал Булдан, иронически подрыгивая ногой.— Красный гвардеец первой статьи?! Пролетария всех стран, да?

— Ты за советскую власть не встревайся, гад!— закричал бондарь, тряся Митьку.— Это моя обязанность... Мотя сам рассчитается с ею! А дите ты не трогай, пусть скрипит. Я человек известный — Мотя. А от него, может, хорошее в далеком будущем будет. Христос с ним, хотя он и антисемитской веры...

Он швырнул Митьку о забор. Митька отскочил и быстро зашагал по улице. Мы оглянулись на Мишу Блиндера. Тот шел обратно, в руках он держал очки. Он не завернул к себе домой, а прошел мимо, в конец улицы. Стук и рычание огласили в это время улицу за нами. Это Мотя начинал рвать свои бочки.

Мишу мы догнали в поле. Он сидел на камне, рукавом вытирал глаза. Он встал и принялся трясти нам руки.

— Миша Блиндер,— представлялся он.— Михаил Самуилович... Товарищ Блиндер... Знаете что, приходите ко мне в гости. У меня мама и папа. Только вы не думайте, что я поеду учиться в консерваторию. Я вам прямо скажу: я поступаю в комсомол, оттуда еду прямо на фронт, сражаться в рядах Красной Армии... Знаете что, приходите прямо в следующую субботу.

Так мы и условились: в следующую субботу.

Нас никогда не приглашали в гости на квартиры.

Это было не принято в нашем кругу. В случае необходимости мы вкладывали два пальца в рот под окошком приятеля; свист был у нас общепринятым сигналом для всех мальчиков.

Идти же в гости к такому необыкновенному человеку, как Миша Блиндер, было совсем не простое дело. Пять дней мы готовились к этому событию. Мы рассказывали всем мальчикам нашей улицы и соседних о том, что за человек Миша и что он позвал нас к себе. Это было встречено всеобщим одобрением.

Наконец в субботу мы надели чистые рубахи и даже вымыли ноги. На квартиру к Блиндеру нас явилось ровно шестнадцать человек. Вереницей подступили мы к парадному и постучали.

Миша, едва ли рассчитывавший на такой наплыв гостей, впускал нас сам, каждому по очереди пожимая руку. Толпясь и наступая друг другу на ноги, мы вошли в комнату. Тут стояли комоды, сундуки, в полумраке висели портреты старых евреев в котелках. Они смотрели на нас сурово. Робея, мы проследовали за Мишей в следующую комнату. Здесь впервые в жизни мы увидели пианино.

Это был Мишин заповедник. На пианино лежали груды нот, книги, стоял кувшин с бумажными цветами. Над ними висел плакат, черный и красный, с надписью «III Интернационал». Красная рука писала буквы, а скорченный капиталист в ужасе смотрел на них. Под плакатом висели портреты композиторов и скрипачей, а также была приколота иллюстрация из старого журнала. Она состояла из двух половинок и называлась: «Ухо Бетховена и ухо обыкновенного человека». С испугом и уважением мы посмотрели на ухо Бетховена. Оно отличалось от обыкновенного тем, что было длиннее и имело больше извилин и всяких закорючек.

Мы заняли места вдоль стен, пряча ноги под стулья и не зная, что делать с руками. Миша указывал каждому на стулья, но стульев уже не было. Те из нас, кто не мог уместиться в маленькой комнатке, толпились в дверях. Мы полагали, что должны быть какие-то чаи, важные разговоры,— словом, начало какой-то чрезвычайно приличной жизни. Но с чего ее начинать? Что говорить?

— Хотите, я вам сыграю на скрипке?— спросил Миша.— Что бы вы хотели послушать?

Мы не знали, что бы мы хотели послушать. Музыкальный репертуар, о котором мы имели сведения, состоял из нескольких уличных песен, которые тогда пели.

— «Яблочко»,— робко предложил кто-то.

— Хорошо. Я вам сыграю «Яблочко». Только на пианино,— согласился Миша, не выказывая никакого презрения. Он поднял крышку пианино и, глядя перед собой черными серьезными глазами, ударил по клавишам.

После «Яблочка» он достал скрипку из футляра.

— Теперь я вам сыграю концерт Паганини,— сказал он,— это хорошая вещь.

У нас не было оснований возражать против этого. Начался Паганини. Тонкие и судорожные его звуки, запрыгавшие по комнате, были нам очень малопонятны, но они нам понравились возвышенностью. Мы переводили глаза с бетховенского уха на Мишино. Оно нам казалось почти таким же. Потом мы осторожно взглядывали на зеркало в углу. Мы отклонялись, стараясь не сдвигаться с места, изгибались и вообще всячески манипулировали, чтобы увидеть в зеркале свои собственные уши. Уши были грязные, совсем обыкновенные уши. Вздыхая, мы возвращались к музыке. Она нам казалась прелюдией к чему-то более важному и торжественному, что должно было произойти.

В это время открылась дверь и раздался громкий голос Мишиной матери.

— Это можно повеситься! Кто напустил сюда столько голодранцев?— закричала она, взвизгивая.

В одну секунду с нас соскочила музыка. Мы посмотрели на окна, готовые в следующую минуту выскочить в них, так как отступление через дверь было отрезано толстой мамой Блиндера. Миша остановил нас знаком.

— Мама, не орите, как торговка,— сказал он, откладывая Паганини в сторону.— Это мои гости.

— Его гости!— закричала мама, всплескивая руками.— Вы когда-нибудь видели таких гостей?! Разве твое дело — заниматься с уличными мальчиками? При них нужно только следить за подсвечниками!

Мы взглянули на подсвечники. При других обстоятельствах, может быть, мы действительно не прочь были бы и стянуть их на всякий случай. Но теперь наши мысли были далеки от этого, потому мы почувствовали горькую несправедливость.

— Мама, вы говорите неизвестно что!— сказал Миша, размахивая смычком.— Вы рассуждаете, как мелкий буржуа! Вы мне не родители. Вы держитесь только за свои подсвечники. Нате, подавитесь своими подсвечниками.

Он взял один подсвечник со стола и швырнул его на пол. Бросить второй ему не дала мамаша. Она с визгом подлетела к Мише.

— Ты мне... ты говоришь такие предметы своей матери, которая тебя поила и кормила день и ночь! Это я — мелкий буржуа! — закричала она и схватила Мишу за ухо.

Это было наконец самое ужасное. Ухо Бетховена, во всяком случае, ухо, которое вызывало у нас столько почтения, теперь находилось в руках мамаши и трепалось ею туда и сюда, как у всяких других мальчиков... В полном смущении топтались мы в комнате, которая вдруг стала для нас обыкновенным жильем, темным и грязным, с обыкновенными жителями, грызущимися из-за собачьих пустяков. Клеенка на столе была в пятнах, в углах стояла сырость, причудливые занавески были засижены мухами.

Дверь в результате передвижения мамаши между тем освободилась, и мы, воспользовавшись проходом, юркнули в дверь друг за другом, все шестнадцать человек. Не оглядываясь на продолжающуюся борьбу, прошли мы через другую комнату, чтобы найти выход.

Но тут двери квартиры открылись, и перед нами оказался Мишин папа, то есть Козел. Он остановился на пороге, удивленно разглядывая нас поверх очков.

— Здравствуйте, господа мальчики,— сказал он.— Интересно, откуда вас взялась такая акционерная компания? Что это за такое общее собрание тут у вас происходит?

В руках он держал палку с костяной ручкой. Мы с испугом посмотрели на нее. Никто из нас не смог объяснить папе происходящего; это было бы слишком сложно. Но тут из соседней комнаты выскочила Мишина мама.

— Это он! Вот! Что такое теперь дети! Мы ему не родители, а мелкие буржуи. Они пришли к нему в гости! — кричала она, хватая воздух руками перед самым лицом папы.

— Ну, ну, хорошо,— сказал старый Блиндер осторожным голосом.— Ведь, я надеюсь, они не подожгли нашу квартиру или не зарезали тут кого-нибудь?

— Как ты можешь говорить так?! — закричала старуха.— Ты мне скажи, куда идут теперь наши дети? Скажи, что все это такое? Скажи, что это будет дальше?

Блиндер сел за стол и вытер платком лицо.

— Я не знаю, что будет дальше. Я ничего не знаю. Теперь все перевернулось. Кто мне скажет, будем ли мы, Роза, с тобою завтра живы? Будет ли наш сын играть на скрипке? Все поползло, Роза.

— Ты не отец! — закричала Роза.— Сын растет безбожником. Кто даст ему дорогу? Эти вот мальчики?

— Я тоже был мальчиком,— сказал старый Блиндер.— Мне приятелей не выбирала моя мама. Тут ты ничего не можешь поделать. Не порти мне кровь, ее осталось и так мало.

Мишина мама здесь еще раз всплеснула руками и вдруг залилась слезами. Она стала кричать на папу и причитать о том, что жизнь у них плоха и папа безумен, а сын их разбойник с большой дороги. Старый Блиндер вскочил и тоже начал кричать, бегая по комнате. Мама схватила тот самый подсвечник и теперь уже сама бросила его на пол, папа стучал палкой об пол. Миша же швырнул скрипку на пианино и, бледный, прошагал через комнату, позвав за собою нас. Мы вышли на улицу.

Теперь кончились мечты о приличной жизни. С грустью посмотрели мы на свои чистые рубашки.

Но мы вспомнили, что у нас есть баня.

— Это ничего,— сказал Миша, кивая головой на свою квартиру и пытаясь казаться спокойным.— Вы не обращайте на них никакого внимания. Они отсталые беспартийные люди.

— Конечно, ничего,— сказали мы ему ободряюще. Кто-то даже попытался шутливо заметить насчет уха: все-таки Мише досталось; но это только смешно, нам попадало еще сильнее. Мы все засмеялись и подтвердили, что, конечно, нам влетало еще не так.

— Конечно, смешно,— рассмеялся и Миша.— А насчет уха — так мне совсем не было больно. Ни капельки, это ерунда. Я даже сам нарочно очень часто дергаю себя за уши, ничего...

— Для чего же это сам?— удивился было Ежик, но остальные зацыкали на него, говоря, что совершенно понятно, для чего. Хотя, по совести, это было и не совсем правдиво.

— Ясно, для чего. Нужно привыкать,— сказал Миша.— Если будет больно от такой ерунды, то что же, когда меня ранят на фронте? Мне не больно. Вот каждый из вас может даже попробовать дернуть.

Мы понимали, что это он сейчас только придумал про уши, но мы по очереди дергали его за ухо, он смеялся, и оно стало красным, хотя мы и дергали очень почтительно. Все мы выказали удивление. Мы согласились, что нужно привыкать, так как все мы будем на фронте и, возможно, будем ранены. Это решилось уже как-то само собою. Настроение поднялось. Кто-то предложил даже сразу отправиться на фронт, но только никто не знал, как это делается.

Так мы, обсуждая и делясь проектами, шли, убыстряя шаг, в конец нашей улицы. Прежде всего мы решили устроить собрание. Мы уже знали, что такое собрание и что без них нельзя начать никакого порядочного дела.

Так пришли мы к старой нашей бане. Раздвигая бурьян, мы вошли в нее, как в далекое прошлое; дорожка сюда успела за это время зарасти травою и подорожником. Все говорило о забвении. Тонкая паутина была натянута между верхушками репейника. Запах разлагающихся собак тянулся по ветру. В горячем воздухе дрожали стрекозы. Никто, кроме них, давно уже не посещал здешних мест. Время без нас постаралось состарить и еще больше разрушить наш дом. Только еще в начале лета мы искали здесь клады корсаров, а теперь уже нам было не до них. Нет, что там говорить, время бежало тогда слишком быстро для нас. Его гудки долетали со станции и звали нас, мы спешили за ним, боялись, что оно промчится мимо... Без сожаления перешагнули мы через труп капитана Фернандеса и вошли в баню.

Прежде всего мы выбрали президиум и все, что полагается в таких случаях.

— Товарищи! — произнес Миша слово, в первый раз прозвучавшее в нашей старой бане на Грызловке.

Уже наступил вечер, но мы еще слушали волнующие слова Миши. Грызловка была темна. За темными разбитыми окнами, без света, с коптилками, отсиживались люди. Время бежало. Вздыхая, наши матери бранили советскую власть и по букварям ликбеза учились грамоте. «Мы не рабы. Рабы не мы»,— было написано там крупными буквами на шершавой полукартонной бумаге. Из труб восходили к небу тайные дымки самогонных аппаратов. Булданов дрожащими руками считал падающие деньги. Спали нищие, спал горбун в клетчатых брюках, спал уже рядом с нами буйный бондарь Мотя; наполнившись самогонкой, он кричал во сне, проклинал и приветствовал комиссаров, рычал и плакал. Спал где-то солдат, ловивший когда-то курицу. Где? Может быть, убитый в гражданской войне, лежал, раскинув руки, где-нибудь на поле под Ростовом или Белой Церковью?.. В домике с «мезузе», за причудливыми занавесками, освещенном масляной плошкой, тихо металась тень старого Блиндера. Старик молился о поступлении сына в консерваторию, о судьбе выдающегося музыканта.

БОРИС ГОРБАТОВ

РОДЫ НА ОГУРЕЧНОЙ ЗЕМЛЕ

На Огуречной Земле случилось несчастье. Огуречная Земля — далекий, уединенный островок в Полярном море,— напрасно вы будете искать его на карте под таким названием. На карте у этой крошечной точки есть свое, вполне благозвучное и даже поэтическое имя. Но полярные радисты упрямо зовут ее Огуречной Землей, и попробуйте-ка разубедить их! Это такой народ, радисты! Пересмешники. Скучно им в своих рубках, что ли?

Впрочем, странное это название имеет свою историю. Островок открыли недавно, совсем недавно, и начальник партии, лихо и наспех произведя съемку вновь открытой земли (его торопили льды, убедительно смыкавшиеся вокруг ледокола), тут же составил донесение, в котором писал: «Вновь открытый остров имеет форму огурца». И радисты,— а через их руки неминуемо проходит все,— окрестили нового гражданина семьи полярных островов Огуречной Землей.

Островок вскоре приобрел немалое значение,— он был так далек! Исследователи потирали руки: теперь-то мы доберемся до многих тайн Ледовитого моря. Синоптики облегченно вздохнули: еще одна печь появилась на кухне погоды. Молодые полярники мечтали об Огуречной Земле, как о невесте. Им грезились несказанные ее прелести, и не было таких подвигов, на которые не пошли бы они, только бы ее завоевать. Они снисходительно говорили: «Что Диксон, Тикси,

Челюскин? Это уж освоено. Это все равно что дома. А там...» И волнующим шепотом прибавляли: «Шутка ли! Семьдесят восьмой градус...»

Итак, земля, имеющая форму огурца, стала обитаемой. На нетронутом снегу, рядом с большими, круглыми, как чаша, следами медведя появились острые, напористые, человеческие следы. Возникли здания. В торосах родилась жизнь. И были уже у людей свои будни, и кипел кофе в медном начищенном кофейнике, и свои радости, и вечерние часы за шахматной доской, и свои заботы, волнения... И вот было уже и свое несчастье. Или скорее — счастье. Ну да, счастье!.. Впрочем, ничего еще не было известно,— как обернется. Дело в том, что женщина кричала страшным, нечеловеческим криком, а бледный толстый мужчина стоял над ней, и его руки беспомощно тряслись, а по лбу катились тяжелые круглые капли пота.

Тот очень ошибается, кто думает, что в Советской Арктике на далеких островах люди живут уединенно, ничего не зная о своем ближайшем соседе. Правда, от соседа к соседу, от острова до острова, подчас тысячи километров — и каких километров! Но — радисты! И благодаря им вся Арктика знала, что на далекой Огуречно́й Земле женщина в муках рожает нового гражданина. И вся Арктика, затаив дыхание, следила за исходом этих родов, словно все они, эти хмурые, мужественные люди, горняки Нордвика, ученые Челюскина, радисты Диксона, строители порта Тикси, зимовщики Белого, стояли, стараясь не кашлянуть, не шелохнуться, у кровати роженицы и ждали появления на свет ребенка, чтобы услышать его первый требовательный крик и ласково, отечески ему улыбнуться.

— Ну, как? Ну, как? — спрашивали и утром, и в полдень, и вечером со всех зимовок.

Но женщина кричала, и казалось, ее стоны слышны во всей Арктике, муж ее, беспомощный, как и все мужчины в таких случаях, только плакал над нею, а доктор ничего не мог сделать, суетился и нервничал. Бедняга, он не был акушером, а случай выдался исключительный — поперечное положение плода.

С Огуречной Земли в этот день на радиоузел приняли отчаянную радиограмму.

«Спасите! Спасите! — радировал муж роженицы.— Сделайте, что можно тчк Спасите мать зпт ребенка».

Что можно было сделать? Радист, принявший радиограмму, страдальчески сморщился, снял наушники и пошел к начальнику. Что можно сделать? Ведь женщина... Ведь ребенок...

Начальник и парторг задумались. Как помочь роженице? Лететь туда не на чем. На зимовке — ни одного самолета. Зима, Полярная ночь. Разве долетишь? Парторг хмурился и пошел в больницу к доктору.

Доктора звали Сергеем Матвеичем. Что сказать о нем? То был обыкновенный врач, из тех, которых ничем уже не удивишь, не расстроишь и не испугаешь. И внешность у Сергея Матвеича была обыкновеннейшая: брюшко в меру, руки красные, большие, настоящие руки резника-хирурга; голос жирный, благодушный; лысинка благообразная, покрытая реденькой прядью; очки роговые черные; одежда, руки — все пахнет карболкой, лекарствами, больницей,— одним словом, партикулярная внешность врача. Так что, когда встретишь Сергея Матвеича в кают-компании в форменной тужурке с якорями, невольно подумаешь: «Отчего он не в халате?»

Одно было необыкновенно в докторе: уж очень он был... обыкновенен для арктического врача. Все-таки арктический врач — это, как хотите, фигура романтическая. Взгляните на карту. Среди имен полярных исследователей, память о которых нам хранит красноречивая карта, найдете вы имена врачей: остров доктора Старокадомского, мыс доктора Исаченко. На Диксоне вам покажут могилу фельдшера Владимирова, скромного северного героя, и вы с почтением поклонитесь знаку на могиле из серого плавника. На острове Врангеля вы уже сами первым делом станете искать могилу доктора Вульфсона, героя, самоотверженно погибшего в борьбе с врагом народа, проникшим в Арктику.

Но в Сергее Матвеиче до обиды не было ничего романтического. Обыкновенный прозаический врач. Не был он похож и на бравых корабельных врачей, привыкших ко льдам, штормам, качающейся палубе, консервному пайку и к запаху океанской соли. Но, может быть, он был врач-исследователь, врач-ученый?

В последнее время в Арктику охотно едут ученые-медики. Они и биологи, и зоологи немного, и ботаники.

Одни собирают рачков, любопытных земноводных, ящериц и увозят эти трофеи в спирту на материк; другие распластывают на листе гербария карликовую иву, которая вся — с корнями и «кроной» — умещается на ладони; третьи изучают заболевания в условиях Арктики, поведение людей, психику, возможности инфекции, влияние полярной ночи и полярного дня на человска...

Но Сергей Матвеич не заспиртовывал рачков, не засушивал лишайников и, кажется, даже не записывал в дневник «любопытные фактики из врачебной практики». Он, впрочем, кое-что попробовал было сделать, да времени... времени не было. Больные. Заботы. Больница. По всему было видно, что его зимовка не обогатит науку новыми открытиями.

Еще на корабле молодой магнитолог Модоров, один из тех бескорыстных энтузиастов науки, которые особенно ярко раскрываются именно на зимовках, подошел к врачу и, весело улыбаясь, сказал ему:

— А я понимаю вас. И ваш взгляд на всех нас, зимовщиков, понимаю. Вы ведь на нас смотрите, как на кроликов. Будете изучать нас, так ведь? Щупать пульс до и после аврала, слушать сердце во время полярной ночи и после нее. И потом напишете, конечно, научную работу? Так? Ну, так, что ли? Я рад, доктор, служить вам кроликом.

Сергей Матвеич испуганно посмотрел на него, смутился и ответил, что да, конечно, он кое-что, батенька, этакое затеял, но при этом он так неопределенно щелкнул пальцами, что и Модоров и все остальные «кролики» больше не спрашивали Сергея Матвеича о научной работе. Было похоже на то, что он приехал сюда с единственной целью: лечить людей, буде они заболеют, принимать у рожениц ребят, рвать зубы и вырезать аппендициты.

Для всего этого ему нужна была больница, ибо врач без больницы — «это, батенька, Колумб без корабля». И больница ему была нужна не какая-нибудь, а вполне благоустроенная, потому что Арктика там или не Арктика, а если человек заболеет, то надо, чтобы лечили его по-настоящему. Поэтому он сам при разгрузке баржи таскал на своей спине ящики с оборудованием и, если ему помогали, сердито кричал:

— Осторожно, осторожнее! Не разбейте!

Он сам и строгал и пилил, мастерил какие-то палочки, суетился около плотников, сам выкрасил белой масляной краской стены, покрыл линолеумом пол. Людей было мало, а дел у всех много. Строился радиоцентр, гремели взрывы в порту: строилась угольная база. То был тысяча девятьсот тридцать четвертый год — исторический для Арктики, когда, словно по волшебству, возникали на пустынных берегах Ледовитого океана среди диабазовых скал здания, порты, мастерские, шахты.

Возникла и больница. Она была маленькая, на пять коек, но этого было вполне достаточно. И все в ней было, как в настоящих больницах, в которых поседел, полысел и пропитался запахом йода и карболки Сергей Матвеич. Так же поблескивали маслом белые стены, так же играло солнце на никеле инструментария, на склянках с этикетками в стеклянном шкафу. И чистота. И тишина. И запах карболки. Появились и больные. Все больше женщины. Из отдаленных промысловых избушек, за сотни километров, на собаках приезжали они сюда загодя, за месяц, за два до «срока», и жили на зимовке. Приезжали и мужчины — с грыжей, с аппендицитом, с отмороженными пальцами, с увечьями, с больными зубами. Он лечил и зубы и даже пломбировал их; и многие, не успевшие на материке починить свои зубы, сделали это у Сергея Матвеича. Но чаще всего он говорил:

— Эх, батенька. Ну к чему вам этот дрянной зуб? Давайте-ка мы его... того...

А перед тем как выдернуть зуб, он выдавал больному для храбрости тридцать граммов спирта. Это было традицией. Но потом Сергей Матвеич заметил, что его стали обманывать. Спирт выпьют, а зуб рвать не дают. «Знаете, говорят, доктор, а зубу-то легче стало. Давайте-ка в следующий раз». С тех пор он стал выдавать спирт только после операции.

Как хирург по профессии и по складу души, он всегда предпочитал хирургические меры и даже, как смеялись на зимовке, оживлялся, если предстояло кого-нибудь «порезать».

— Мы, батенька, вас сейчас почикаем немного, и легче вам будет. Ну вот! Вот и отчикали. Вот ваша болячка.

К внутренним же болезням он относился подозрительно.

— Это там всякая терапия, панська хвороба. К чему вам этим болеть, батенька? Этакая дрянь! — И утешал: — Предоставьте это природе... Природа — она мудрее. Все рассосется... Климат здесь чудесный... Здоровый климат-с!

И было уж так заведено, что каждый день во время обеда кто-нибудь громко через стол говорил:

— Доктор, у меня что-то голова сегодня болит. Рассосется?

— Рассосется, батенька, рассосется,— убежденно отвечал он.

Таков был Сергей Матвеич, наш обыкновеннейший доктор. И если было в нем что-либо непонятное, то только — зачем он поехал в Арктику?

Собственно, Арктики он так и не видел. Больница, кают-компания, квартиры зимовщиков, больница... Собирался было на охоту сходить, да не собрался. Думал было промысловые избушки объехать, да не на кого было больницу оставить — все роды (удивительно много стали рожать в Арктике), и по промыслам поехал фельдшер. Один раз только, осенью, во время хода белухи, увязался доктор с молодежью на промысел, но только мешал всем, промок, чуть было сеть не упустил и, мокрый, но очень довольный, вылез на берег. Зато, когда белухи были уже на берегу, он, окруженный чуть ли не всем населением зимовки, стал ножом разделывать морского зверя. («Смотреть, нет ли у белухи аппендицита»,— смеялась молодежь.) Опытной рукой он вскрывал внутренности и показывал собравшимся легкие зверя, желудок: «Все, знаете, батенька, довольно похоже на человеческие органы».

Однажды, после вечернего кофе, когда в кают-компании было как-то по-особенному тепло и уютно, магнитолог Модоров подсел к доктору:

— Вы не обидитесь, Сергей Матвеич? Скажите: зачем вы поехали в Арктику?

Сергей Матвеич смутился и развел руками.

— Как вам сказать, батенька,— пробормотал он.— Кругом говорят: Арктика, Арктика... Думаю: дай-ка и я. Ведь не стар. Как находите: ведь не стар еще? — Он молодцевато покрутил усы.— Потом в больнице у нас, знаете, врач появился. Только что с Севера. Во-

сторженный этакий. Большое поле, говорит. Интересные случаи... Отчего же не послужить? Я и на фронте был... Всяко бывало... И потом...— Он поднял на собеседника свои честные голубоватые глаза и прибавил просто:— И потом — материальные условия очень хороши. Два года прозимую — ведь это, батенька, капитал. Домик мыслю себе купить под Москвой. Знаете, этак садик... гамачок... клумбы... Обожаю настурции, И еще — ночную фиалку под окном.

После этой беседы доктор показался всем еще более скучным и прозаичным.

Но какой бы он ни был будничный и прозаичный, вот такой, каков он есть,— с большими красными руками, с брюшком под халатом, с запахом карболки и йода,— он был все-таки единственным человеком на зимовке, который мог бы помочь женщине, рожавшей на Огуречной Земле, хотя и не было ясно, как он сможет это сделать.

Парторг зимовки, дядя Вася, пришел к доктору в больницу и уединился с ним в кабинете.

— Надо помочь,— сказал он, поднимая на доктора усталые глаза.

— Позвольте, позвольте, батенька! — удивился Сергей Матвеич.— Вы говорите, помочь. Давайте-ка сюда вашу больную. Пожалуйста. Но ведь не могу же я принимать роды, которые, извините... находятся... э-э-э... где-то в пространстве.

— Но надо помочь, доктор,— настойчиво повторил парторг.

— Нет. Это чудесно, право! — рассмеялся доктор и даже всплеснул руками.— Дайте мне руки длиною в тысячу километров, чтоб я мог протянуть их... э... к ложу больной. Дайте мне, батенька, глаза-телескопы... э... э... чтоб увидеть за тысячи километров, и я готов-с, готов.

— Мы вам дадим такие руки и такие глаза, доктор,— сказал парторг.— И тогда...

— Я вас не понимаю, батенька... Какие руки? Какие глаза?

— Радио. Вам будут говорить о состоянии больной и, как это, о положении плода, а вы будете руководить.

Опешивший Сергей Матвеич долго и молча смотрел на парторга.

— Вы как это... серьезно?! — наконец, осведомился он шепотом.

— Вполне. Иного выхода нет.

Сергей Матвеич встал, надел халат и решительно направился к двери.

— Идемте к больной,— сказал он. Потом остановился.— Впрочем, зачем же халат? Ну, все равно. Экие странные вещи на свете. Первый случай в моей практике... э... заочные роды... Роды по радио. Представляю, как удивятся мои коллеги... Ну, все равно. Идемте.

Огуречная Земля была вызвана к аппарату. Диспетчер объявил всем полярным станциям: «Ввиду того, что радиоузел будет все время работать с Огуречной Землей, связь с остальными станциями временно прекращается до... до исхода родов».

Все замерли. Тихо стало в эфире. Затаив дыхание, следила Арктика за родами на далекой Огуречной Земле. Сергей Матвеич подошел к аппарату.

— Ну-с,— произнес он, заложив руки за пояс халата, и растерялся.

Он чуть было не спросил по привычке: «Ну-с, как вы себя чувствуете, больная?» — но вспомнил, что собственно никакой больной перед ним нет. Пустота. Эфир. Некоторым образом... э... пространство.

Он был явно не в своей тарелке. Не было привычной рабочей обстановки, той, которая давала ему необходимое спокойствие. Он должен был видеть роженицу, слышать ее стоны, мольбы, привычно сочувствовать ее мукам, видеть кровь в тазу, ощупывать своими руками плод — это маленькое, скользкое, беспомощное тельце.

Ничего этого не было сейчас. И он чувствовал себя, как старый солдат, который спокоен под пулями, но пугается зловещей, недоброй тишины засады, как мельник, который может мирно дремать под шум жерновов и просыпается от тишины.

Здесь, на радиостанции, он был как белуха на берегу. Ровным светом горели лампы. Потрескивало что-то в репродукторе. И тишина. И ни больной, ни стонов, ни мук.

Ни мук? Но она мучится там... в пространстве. Очень мучится... и ждет помощи. И все вокруг ждут. Что же, доктор, Сергей Матвеич, ну-ка?

Он наклонился к радисту и сказал:

— Э... батенька... спросите доктора: а в каком положении сейчас плод?

И с любопытством посмотрел, как его слова, словно горох, рассыпались точками и тире и понеслись в эфир. Через несколько минут был уже и ответ.

Сергей Матвеич прочел его и сморщил лоб. Так началась эта необыкновенная «заочная консультация».

— Плод в поперечном положении,— размышлял вслух доктор.— Да-да... Случай! Спросите-ка у моего коллеги,— обратился он к радисту,— знает ли он, хоть понаслышке, поворот плода по методу Бракстон-Хигстона.

«Э, да откуда ему знать? Молодой человек. И терапевт к тому же»,— размышлял он сам с собой.

Терапевт! Как все хирурги, он относился к ним с легким недоверием.

Ответ пришел, какого и ждал Сергей Матвеич: «Понаслышке знаю, но прошу во всем, без стеснения, руководить мной».

— Вымойте руки спиртом и йодом. Все пальцы смажьте йодом. Минут десять мойте, батенька,— продиктовал доктор, и радист, послушно и словно священнодействуя, передал все, и «батеньку» в том числе. Кто его знает, может быть, и в этом «батеньке» есть свой медицинский смысл?

Доктор Огуречной Земли почтительно сообщил, что руки вымыты.

— Так! — удовлетворенно кивнул головой доктор.— Теперь асептика женщины.— Он подробно написал на бумажке инструкцию и передал радисту. И снова, любопытствуя и удивляясь, смотрел, как его слова, мысли, те, что еще минуту назад находились в одном его мозгу, сейчас чудодейственной силой переносятся за тысячу километров. И он впервые с уважением посмотрел на радиста.

Радист, ощущая важность момента, даже напружинился весь и покраснел от натуги. Он отчетливо выстукивал каждую букву, боясь ошибиться. Принимая отчет с Огуречной Земли, он записывал медленно, без той лихости телеграфиста, какой хвастался всегда. Он просил:

— Давай медленнее. Ведь тут букву изменишь, а ребенку и роженице повредишь.

— Ну-с,— сказал доктор,— теперь сделайте внутреннее исследование. Введите левую руку...

Вот он надвигается, решающий момент.

«Что, если шейка матки недостаточно открыта? — озабоченно думал доктор.— Ах, отчего я не там?! Ведь это что ж... Ведь не могу же я отвечать, батенька, за то, чего не вижу даже».

Ожидая ответа и непривычно волнуясь, он, чтобы успокоиться, отошел к окну и стал глядеть на улицу. На улицу? Была ли здесь улица? Сугроб снега под окном. Дальше амбар, бухта, а еще дальше — снег, снег, только снег. На крышах складов снег, на бухте снег, в тундре снег. Зеленоватый. Луна.

«Ах, и далеконько же ты забрался, Сергей Матвеич!» — вдруг подумал он и удивился даже, что так далеко забрался, словно эта мысль впервые пришла к нему, словно он не второй год зимует, а только первый день.

— Сергей Матвеич! — позвал его кто-то шепотом.

Он оглянулся. Перед ним стояли две женщины: жена радиста и жена геофизика.

— Голубчик, Сергей Матвеич, ну как? — волнуясь, спросила более смелая — жена радиста.

— Что — как? — рассердился доктор.— Вы у мужа спросите, Марья Ильинишна. Он вот у радио колдует. Он лучше меня знает. А я не вижу... ничего не вижу... Снег-с.

— Мы хотели только...— смутилась жена геофизика.— Видите, у меня подруга была. Так, знаете, она рожала, и такой же случай. Я все подробности знаю... может быть, вам пригодится? Я расскажу.

— Ох, голубушка! — поморщился доктор.— Вам-то что? Не подруга же ваша рожает. Вы-то чего?

— Как — чего? — удивилась женщина.— Это даже обидно, Сергей Матвеич.

Но радист в это время подал ответ с Огуречной Земли. Хороший это ответ или плохой, он не знал. Он ничего не понимал в медицинских терминах, но уже заранее волновался, как будто знал, что ответ плохой.

— Ага! — прочел доктор и улыбнулся.— Открытие два с половиной пальца. Ну что ж, голубушка? Будем делать поворот по методу Бракстон-Хигстона.

Он подошел к аппарату. Ему торопливо подвинули стул. Все как-то сразу поняли, что наступил, наконец,

решительный момент. Радист побледнел. Парторг прохрипел: «Тише», хотя и без того тихо, удивительно тихо было в комнате, где столпилось столько людей. Все замерли. Все с надеждой, с тревогой, с беспокойством глядели на доктора.

У него мелькнула мысль: «Откуда у меня такая смелость? И такая власть. Вот я сейчас скажу, и он там все сделает... И, может быть, все будет благополучно. И это я... я...»

Он произнес:

— Введите два пальца правой руки и старайтесь поймать ножку ребенка.

Застучал ключ, рассыпались в эфире точки, тире, и больше уже не было у доктора посторонних мыслей. Он видел перед собой роженицу. Это он вводил два пальца. И слышал стоны. И почувствовал мякоть детской ножки, такой беспомощной, такой...

— Да не ошибитесь! — закричал он (радист послушно постукивал).— Не спутайте ножку с ручкой. Найдите пятку. Пяточку, батенька. И зафиксируйте. А то еще за руку потянете... Это бывает...

На Огуречной Земле возле радиста также сгрудились в тревоге люди. Муж роженицы, потный, всклокоченный, бегал от аппарата к постели больной и обратно. Он передавал доктору радиограмму, выслушав ответ, бежал обратно к аппарату, шепча про себя слова доктора, боясь забыть их и перепутать.

Доктор был взволнован, но поддержка Сергея Матвеича его ободряла. Он видел устремленные на него налитые слезами и страданием глаза роженицы.

— Ничего, ничего,— бормотал он.— Мы с Сергеем Матвеичем поможем вам... Ничего... Вот и пятка... Какая нежная...

«Захватил ножку»,— пришла радиограмма Сергею Матвеичу.

— Ага,— произнес он.— Захватил ножку. Молодец.

И по комнате прошелестело приглушенное радостное: «Захватил ножку. Захватил ножку». Все задвигались, заулыбались, готовы были поздравлять друг друга. Но лицо Сергея Матвеича уже снова было хмурым, и все стихли.

— Так,— произнес он.— Теперь поворачивайте за ножку, а наружной рукой...

Он забыл уже о пространстве. Он словно стоял у постели роженицы и отрывисто бросал указания ассистенту. «А он молодец, молодец! — думал он при этом об ассистенте.— Хоть и терапевт, а прямо хоть куда. Молодец». И в нем уже росла уверенность, что все будет благополучно. И ему уже казалось, что он и раньше был уверен в полном успехе. Это пришло, наконец, рабочее спокойствие. Он снова был в привычной обстановке.

Проходили минуты, казавшиеся всем вечностью. Уже час сидел Сергей Матвеич у аппарата.

«Все ли я предусмотрел? Каких ждать сюрпризов? Справится ли терапевт? Ах, отчего я не там! Все ли я спросил?»

Он устремил взгляд на репродуктор, словно от него мог услышать ответ. И услышал: точки, тире, точки, тире... китайская грамота. Он заглянул через плечо радиста на бланк.

— По-во-рот,— читал он, следя за каракулями,— про-из-веден бла-го-по-по...

— Благополучно! — закричал, не выдержав, радист.

— Благополучно, благополучно,— всполошились все в комнате.— Доктор! Сергей Матвеич! Голубчик!

— Следите за сердцебиением ребенка! — закричал доктор сердито.

Это он на себя рассердился за то, что сам обрадовался радиограмме, как студент-первокурсник, как куратор на первой операции.

«Стыдно! Стыдно-с, врач! Срам-с!»

— Следите за сердцебиением ребенка! — крикнул он опять радисту, и тот, спохватившись, начал послушно выстукивать.

— Еще не родила. Да-с. Рано, батенька, рано,— произнес Сергей Матвеич укоризненно, обращаясь ко всем. И снова в комнате воцарилась тишина.— Рано,— пробормотал он уже тише и уставился в репродуктор.

И вдруг он почувствовал, что страстно, до боли, до неистовства, желает, чтобы ребенок родился живым. Живым, живым — и *мальчиком!* Кудрявым этаким... Он мечтал о нем, как будто был его отцом... Женщина спасена, но ребенок, ребенок...

— Следите за сердцебиением. Внимательно следите за сердцебиением!

— Сердцебиение отчетливое, ясное,— услышал он слова радиста.

Нет, нет, не слова радиста. Это он услышал биение сердца ребенка, еще находившегося в утробе матери. Это билось сердце человека, еще не появившегося на свет. Но человек сейчас появится и ликующе закричит, утверждая свои права. Какое у него будет сердце! Сердце человека, самою жизнью своей обязанного родине,— вот этим радистам, этому парторгу с трубкой, этому доктору-терапевту (а он молодец, молодец!) и... и... да и ему, Сергею Матвеичу. И он засмеялся. Засмеялся так, как никогда еще не смеялся. И не торжество, не гордость, не удовлетворение были в его смехе. Было что-то такое, чего он и сам еще не понимал.

Начались схватки. С Огуречной Земли теперь летели радиограмма за радиограммой. Доктор кратко сообщал о состоянии роженицы, о том, как проходят схватки, а муж роженицы от себя прибавлял: «Ужасно мучится... ох, как это ужасно! Кричит криком... нечеловечески... Что делать? Что делать, доктор? Как она мучится, бедная! Сделайте что-нибудь. Я не вынесу этих криков!»

И казалось: и здесь, у репродукторов, слышны были нечеловеческие стоны рожавшей женщины. Сергей Матвеич оглянулся и увидел бледное лицо парторга, стиснувшего зубами свою трубку.

— Ну, а вы что? Вы что, батенька? Что с вами? Ведь не ваша же жена рожает.

— Это верно,— слабо улыбнулся парторг,— не моя. Но ведь и женщина и ребенок, как бы вам сказать... наши.

Сергей Матвеич смутился и рассердился на себя за свой дурацкий вопрос, за то, что не понял чувств парторга и, может быть, обидел его. Но некогда, некогда было думать об этом.

— Следите за сердцебиением ребенка!

...Уже три часа прошло. Три часа назад он сел к аппарату и сейчас чувствовал себя необычайно уставшим, измученным, словно вымолоченным. Скоро ли, скоро ли это все кончится, эти необыкновенные роды по радио?

И вдруг он услышал, как радист вскрикнул, радостно, ликуя:

— Сын! Сын! Вот! Сын! — Он протянул Сергею Матвеичу радиограмму, и тот прочел:

«Доктор, товарищи, родные! У меня родился сын, сын, мальчик. Спасибо, спасибо вам всем за все! Сергей Матвеич! Спасибо, спасибо вам, родной вы человек. Спасибо!»

Со всех сторон тянулись к Сергею Матвеичу руки. Горячие, дружеские, взволнованные. Его поздравляли, им восхищались, его благодарили. Парторг долго тряс ему руку и улыбался, приговаривая:

— Ах, Сергей Матвеич!.. Ну и человечище вы! Ну и чудесно!.. И поздравляю... Вы действовали, как... как... как большевик, Сергей Матвеич!

А он сидел, растерявшийся и сразу обмякший; смотрел, ничего не понимая; читал радиограмму и не понимал ее; слушал поздравления и не понимал их. Он растерялся. Хирург, он потерял спокойствие.

Вдруг представилась ему в новом, неожиданном свете вся его жизнь, и сам он, и его профессия, и студенческие мечты, и все, что он делал, делает и может сделать.

Неужто это он вчера мечтал о спокойной старости, о домике — как, бишь, батенька: с настурциями и ночной фиалкой под окном?

ДРУЖБА

Когда все корабли отплыли, все самолеты улетели, а на бухту, скованную льдом, пал первый зимний пушистый снег, в арктическом эфире наступили тишина и порядок, радисты облегченно вздохнули, а Степан Тимофеич, впервые за три месяца, взглянул в зеркало. И обомлел.

— Рыжая...— изумленно пробормотал он и придвинул зеркальце к самому носу.

Сомнений не было: борода была рыжей.

В горячие дни арктической навигации Степану Тимофеичу некогда было ни бриться, ни смотреться в зеркало. Как и все радисты узла, он дневал и ночевал на радиостанции, а между вахтами спал в аккумуляторной, скорчившись на узкой скамейке, подложив форменную тужурку под голову. Через несколько часов

его уже будили; он окунал голову в пожарную бочку со студеной тундровой водой, фыркал, как морж, обтирал усы и заступал на вахту.

У него был «тяжелый» стол, стол № 3 — связь с судами.

По Северному морскому пути в это лето сновало великое множество судов: ледоколы, пароходы, теплоходы, лесовозы, гидрографические скорлупки, буксиры с караванами баржей и лихтеров, зверобойные боты, шхуны, экспедиционные суда.

У всех у них были радиостанции, у всех скопилась корреспонденция, деловая и частная, всем нужны были метеосводки, прогнозы погоды, всем немедленно требовалась связь с материком, все нервничали, торопились, злились и злость свою обрушивали на Степана Тимофеича — единственное ухо, которое их слушало.

Им были отведены короткие сроки, недостаточные, по мнению судовых радистов, скучающих в своих рубках, и они контрабандой пытались всучить Степану Тимофеичу все.

«Маруся, Маруся! — настойчиво выстукивал радист с гидрографического бота пылкую телеграмму второго помощника.— Шлю арктический привет и горячий поцелуй, которого не охладят льды, окружившие...»

— Да пойди ты к черту со своей Марусей! — взрывался Степан Тимофеич.— Деловые есть? Нету? Тогда куырыкс[1].

Но судовые радисты не унимались. То был народ характерный, своенравный, и Степану Тимофеичу с ними было много беды. Особенно бесновались радисты иностранных лесовозов. Пустячная льдинка, забелевшая где-нибудь далеко на горизонте, приводила их капитанов в неописуемую панику: они требовали немедленной, срочной, экстренной присылки ледокола и отправляли радиограмму за радиограммой.

С иностранцами надо было быть сугубо вежливыми — дипломатия, честь рации, и Степан Тимофеич, стиснув зубы, покорно принимал панические радиограммы и только плечами пожимал в ярости.

— Ничего не поделаешь! Не русский народ, не рисковый, ко льдам непривычный.

[1] Куырыкс *(код)* — кончаю работу.

А тут опять из эфира лезло в уши... точка, тире, точка, тире... «Маруся, помню, люблю тебя на семидесятом градусе северной широты».

Но совсем особый, ни с чем не сравнимый гвалт поднимали суда, столпившиеся поблизости на рейде. Их «пикалки» были оглушительны, суда перебивали друг друга, все звали Степана Тимофеича, все что-то выстукивали ему, и вся эта какофония звуков, визг, писк, свист, дикая кутерьма, в которой не было ни смысла, ни лада, врывались в бедное ухо Тимофеича.

Он в ярости бросал наушники на стол и кричал диспетчеру:

— Не могу я, Емельяныч! Как хотите... форменный аврал! Сбесились, что ли? Дай им милиционера.

Невозмутимый Емельяныч включал «радиомилиционера». Тот немедленно, но вежливо заглушал своими мощными звуками все рации и произносил насмешливым голосом диспетчера:

— Алло! Соблюдайте в эфире правила уличного движения. Не все сразу. Ледокол «Садко», вы имеете слово. Вас слушаем на волне... Кончили? Слово имеет «Хронометр». Волна...

Но теперь все это кончилось: все корабли отплыли, все самолеты улетели! И Степан Тимофеич смотрел в зеркало на свою неожиданно рыжую бороду.

«Ну разбойник! Ну чистый бандит! Главное дело: рыжая. Почему рыжая? Где в этом сообразность? Вот тебе и зепете!»

Он долго оглаживал, охорашивал нежданное украшение своего лица и в конце концов пришел к выводу, что совсем у него не разбойничий вид, а даже, напротив, этакий героический. Морской волк. Старый полярник.

Успокоившись, он подбрил щеки, расчесал бороду, подкрутил усы, подмигнул себе в зеркале и направился в кают-компанию.

На следующий день он был уже на новой вахте. Его определили на старую рацию — на «курорт», как пошутил диспетчер.

Старуха рация, древняя, заслуженная, одна из самых старых в Арктике, доживала свои последние дни. В ней давно уже сменили всю аппаратуру; ничего собственно старого, кроме почерневшего здания да стен, пропахших чесноком и бензином, тут не осталось.

А старушка рация все еще скрипит, бодро шлет в эфир свои позывные, обслуживает целый район — маленькие близкие зимовки, расположенные в стороне от широкой морской дороги. Она — словно нянька на старости лет ходит за маленькими ребятами.

Степан Тимофеич уселся за стол, вытащил трубку, раскурил ее. Он был один теперь в старом пустынном здании. Здесь было тихо, немного грустно и непривычно одиноко после новой рации. Там все время толпились люди, за столами, под зелеными абажурами, склонялись над бумагой товарищи, стучали ключи, стучал пуншир, стучала пишущая машинка, кричал в микрофон диктор и то и дело звенел телефон.

Здесь же, в старом здании, царила нерушимая тишина, такая, вероятно, как и десять лет назад. И Тимофеич невольно подумал, что если выглянуть в окно, пожалуй, увидишь еще медведя, бесстрашно приковылявшего на запах одинокого жилья.

Тимофеич даже невольно бросил взгляд в окно, но сквозь легкие морозные узоры увидел только ажурные мачты радиостанции да неясные очертания домов. Он рассмеялся, отложил трубку, взглянул на расписание, потом — озабоченно — на часы и взялся за ключ.

И сразу же исчезли тишина и одиночество. Мир ожил. Заговорил. Зашумел в наушниках. Точки, тире торопливо стали складываться в буквы, буквы строились в слова. Это происходило само собой, без всяких усилий Степана Тимофеича. Он слышал не точки и не тире, а готовые слова, угадывал окончания длинных, предчувствовал следующие, словно слышал голос и интонации человека.

Эфир был населен дружескими, знакомыми голосами; Тимофеич узнавал приятелей-радистов по стуку ключа, как узнают человека по почерку, художника — по кисти, мастера — по работе. Ему не нужно было спрашивать, кто у ключа. Он сразу называл радиста по имени,— это были давние знакомцы. Иных он знал лично по совместным зимовкам или выпивкам на берегу, других — только по ключу, по старым встречам в эфире.

Теперь он снова здоровался с ними, перекликался, дружески перебранивался. Он вел с ними шумные разговоры, принимал метеосводки, корреспонденцию, а в комнате по-прежнему было тихо, только слышалось

робкое чириканье ключа да скрип карандаша по бумаге.

Но то, что нельзя было услышать и понять в загадочном чириканье, можно было прочесть на лице Тимофеича. Оно менялось все время: озабоченность, смех, сочувствие, лукавое ожидание, тревога — все отражалось попеременно на его подвижном добром лице. Радость, труд, успехи зимовки, любовь, болезнь, смерть, выздоровление, известия об удачной охоте, о родившемся сыне,— мир жил в его наушниках. Мир любил, страдал, болел, рожал детей, строил станции, боролся, побеждал и во все эти тайны посвящал Степана Тимофеича, приобщая его к своим радостям и печалям.

«Маруся, Маруся, как сын? Как здоровье?» — принимал он радиограмму и ласково улыбался. «Метеоролог станции заболел, срочно помощь»,— и он озабоченно хмурился. «Сообщите способы консервации мяса белого медведя»,— и он беззвучно хохотал, размахивая дымящейся трубкой.

В этот день все станции явились по расписанию, со всеми он обменялся корреспонденцией, со всеми управился и поспел, кроме одной.

Не явилась станция бухты Надежда. Это была новая и незначительная станция. Ее построили, чтобы заткнуть какую-то дыру в метеосети. Где-то между двумя важными пунктами оставалось белое пятно, которое приводило в отчаяние синоптиков. Они утверждали, что именно здесь, в бухте Надежда, ломаются циклоны, решается погода. Впрочем, они имели обыкновение говорить так о каждом пункте, где не было метеостанции. Станцию поставили. И вот она не явилась в назначенный срок в эфир.

Тимофеич долго и тщетно звал ее. «УКЛ! УКЛ!» — стучал он с досадой, но УКЛ молчал. Тимофеич рассердился и записал в журнал: «УКЛ не явился».

Вечером он доложил диспетчеру:

— УКЛ не было сегодня. Там, видать, радист — сапог.

Диспетчер подхватил:

— Вот, вот! Посылают «сапогов» в Арктику. Разве место им здесь? Давно я говорил...— То был любимый конек диспетчера, и он мог долго на эту тему распространяться.

Не явился УКЛ и на другой день и еще в три следующих дня. Тимофеич бушевал, злился и размахивал трубкой. На пятый день УКЛ «вылез» в эфир и сам позвал узел. Тимофеич ответил бурей ругательств.

«Ты что же пропадал пять дней? Где метео? Такой-сякой!» — вот что должно было означать в переводе с телеграфного то, что выпалил Тимофеич радисту бухты Надежда.

Тот робко оправдывался:

— Один... один я... неполадки. Сам чинил. Извините, товарищ.

Он говорил вежливо, как и подобало радисту незначительной станции при обращении к радисту всесильного радиоузла. Кротость провинившегося умаслила Тимофеича.

Он постучал:

— Га! (давай) — и усмехнулся при мысли, которая вдруг пришла ему в голову: «А ну-ка, запарю я его в наказание!»

— Га, быстрей! Еще быстрей! Что как дохлый даешь? — простучал он и расхохотался.— Ну-ка, ну-ка, дружок!

И вдруг он услышал отчетливую, быструю, самую быструю дробь.

— Ого! — побледнел он.— Знаков на полтораста гонит,— и торопливо стал записывать, боясь, что отстанет.

В полсрока были переданы все метеосводки, скопившиеся за пять дней. «А он молодец!» — невольно подумал Тимофеич, впрочем больше довольный собой, что успел все записать.

У него ничего не было для бухты Надежды. Он решил израсходовать оставшийся срок для знакомства с радистом.

— Новый? — спросил он.— Что-то не знаю твоего ключа.

— Да. Зимую по первому году.

— Как звать?

— Колыванов.

— А меня Тимофеичем все зовут.

— Очень рад... Тимофеич!

— Боюсь, теперь Степкой Разиным будут звать... Борода, понимаешь, отросла. Рыжая.

— У Разина черная.

— А у меня рыжая.
— Ты покрась!
— И то.

Очень довольный новым знакомством, Тимофеич решил, что приличие требует, а время позволяет, чтобы он угостил нового друга музыкой, показав ему свое искусство, как было принято между радистами Арктики. Тимофеич выстукал на ключе «Тореадор» — свой обычный номер, своеобразный пароль, герб радиста, его познавательные знаки. Окончив, он подождал немного — сумеет ли радист Надежды ответить тем же? Не всякий умеет музицировать на ключе. Но вот он услышал мелодию, отстукиваемую с бухты Надежда. То был «Турецкий марш» Моцарта. У радиста был хороший вкус. И хорошая рука. Тимофеичу показалось, что он когда-то слышал эту руку.

«Колыванов? Нет, не знаю такого»,— покачал он головой, подумав.

Так началась эта дружба. УКЛ теперь являлся точно в сроки, и радисты сердечно приветствовали друг друга и между делом перебрасывались дружескими фразами. Эти ставшие теперь ежедневными приятельские разговоры, конечно, не были похожи на те, что ведут друзья вечером в кафе за кружкой пива или где-нибудь дома, раскуривая трубки и вытянув ноги под столом. Их разделяло пятьсот километров. Расписание строго ограничивало время для их бесед. У них были то одна, то целых три минуты, но и это не мало для радистов, умеющих простучать полтораста знаков в минуту. Иногда разговор их обрывался на полуслове, истекал срок (а дело прежде всего), и Тимофеич не успевал ответить на шутку товарища. Он ходил потом целый вечер и улыбался. Он обдумывал свою завтрашнюю шутку, оттачивал ее, ибо дружба мужчин не нуждается в телячьих нежностях и сентиментальных признаниях. Крепкая, ядреная шутка верней и теплей. И она действительно согревала их сердца.

Каждый день радист Надежды спрашивал:
— Как борода?
И Тимофеич неизменно отвечал:
— Ничего. Вашими молитвами. Растет. Чернеет.
— Ваксой пробовал?

Корреспонденции для бухты Надежда всегда было

мало. Тимофеич знал уже, что зимуют там только двое: его приятель, радист Колыванов, и метеоролог Савинцев. Савинцеву частенько случались радиограммы — то от матери, то от Лиды, в которой Тимофеич угадывал невесту, то от приятелей. Радиограммы были бодрые, шутливые. И Савинцев аккуратно отвечал на них, всегда повышенно бодро, немного напыщенно. И так как вся эта переписка шла через Тимофеича, он смело мог представить себе внешний облик Савинцева, товарища Колыванова по зимовке. Ему казалось, что он видит его перед собой: этакий молодой, очень молодой паренек, хороший, здоровый, с девичьим чистым лицом, немного увлекающийся, порывистый, обожающий свою морскую форму и галуны на рукаве, один из тех чудесных комсомольцев-романтиков, которые жадно рвутся сейчас в Арктику, за каждым торосом видят медведя, мечтают о приключениях и подвигах и досадуют, что приключений нет. Все это вычитал мудрый, бывалый Тимофеич между строк радиограмм Савинцева и Савинцеву и не сомневался в точности портрета.

Но ни разу не было в ящике под рубрикой УКЛ радиограмм Колыванову, и ни разу Колыванов не посылал радиограмм. Это удивило и обеспокоило Тимофеича. Он по себе знал, как важно, как необходимо получить здесь вовремя весточку из дому.

Тимофеич был человек добрый и суетливый. Он сразу представил, как томится в безвестии его приятель, как ходит большими шагами по рубке, нетерпеливо поглядывает на часы, ждет срока и, разочарованный, обманывается в своих ожиданиях, но из гордости молчит и не спрашивает.

Одну бы радиограмму ему! Куцую хотя бы. Вот бы чудесно! Можно было бы предварительно позлить его, побесить, поманежить. Танцевать его, конечно, не заставишь, как заставляют плясать в кают-компании счастливых получателей радиограмм. Но «Турецкий марш» пусть обязательно выстучит. Как выкуп. А потом уж и радиограмму ему сунуть, что-нибудь вроде: «Вася, милый, люблю».

Но радиограммы Колыванову не было. Напрасно Тимофеич сам ходил на новую рацию, рылся в журнале, перебрасывал пачку радиограмм на столе: не затеряна ли? Ничего не было. И Тимофеич, обеспоко-

енный этим, в тот же день вместо приветствия Колыванову простучал:

— Тебе нет ничего сегодня, дружище. Но уж завтра...

— А я и не жду,— ответил радист Надежды.

— Что так?

— Не от кого.

— А мать?

— Умерла.

— А жена?

Тимофеич долго ждал ответа, но срок кончился, и он, послав в эфир «куырыкс до завтра», стал вызывать другую рацию.

Во всяком случае, он понял, что не к чему было спрашивать Колыванова о жене и доме. И ему стало жаль приятеля, лица которого он не видел ни разу, но которое теперь представлял себе почему-то бледным, нахмуренным, страдальческим.

Из разговора по радио Тимофеич знал, что Колыванов часто остается один, совсем один на зимовке. Савинцев уезжает на охоту, рыщет по району, ищет подвигов, приключений, мечтает открыть новую бухту или хоть какой-нибудь неизвестный захудалый мысок. Колыванов остается один в бревенчатом домике. Несет и радио и метеовахту, готовит еду, кормит собак. И все-таки времени остается много, девать некуда.

И Тимофеич представлял себе, как тоскует в одиночестве радист, как глядит в окно, полузаваленное снегом, зевает, пьет чай, вскипяченный им тут же на примусе, и задумчиво посасывает засахаренный противоцинготный лимон. А собака трется о его колени, лижет ему руки... «Да есть ли у него и собака-то? Не упряжечная, а своя, комнатная, что ли... друг?» Эта мысль не давала Тимофеичу покоя, и он, дождавшись срока, тотчас спросил:

— У тебя хоть собака есть?

Колыванов не понял:

— БК. Повтори. Не понял,— простучал он, и Тимофеич смутился, догадавшись, наконец, о неловкости своего вопроса.

— Ничего. Давай сводку. Я просто так, лично интересуюсь, есть ли у тебя на зимовке собака.

— Как же! Есть «Дружок». Ласковый пес. Приятель мой.

И Тимофеич вдруг несказанно обрадовался этому. Обычная шутливость вернулась к нему. Он даже передал радиограмму Дружку, справляясь о его здоровье.

И с тех пор он часто спрашивал о собаке, передавал ей поклоны — все в те же две-три минуты, которыми они располагали между делом для дружеских слов, не регистрируемых вахтжурналом.

Иногда Колыванов спрашивал:

— Как у вас погода?

— Пурга, кажется,— отвечал Тимофеич, невольно взглянув в окно: по совести сказать, ему некогда было интересоваться погодой.

— И у нас пурга. Метет. Баллов восемь.

— Тоскуешь? — сочувственно спрашивал Тимофеич.

— Нет, ничего.

Но Тимофеич не верил. Пурга? Нехорошо, когда пурга. Он глядел в окно, прислушивался: ветер выл в проводах, бил о крышу, хлопал дверьми. Но Тимофеич пойдет после вахты в теплую кают-компанию, где электричество, люди, музыка, стук домино о стол, и толстый франтоватый повар в белом колпаке щегольским жестом подаст ему ужин да приправит еще кашу шуткой. А тот, в бухте Надежда, сидит один и слушает вой пурги и думает: рискнуть ли ему сходить за углем к амбару или лучше залезть с головой в спальный мешок да уснуть так. Тимофеич сам живал на таких зимовках,— он все это сам испытал. И еще крепче тянуло его к человеку из бухты Надежда, такому знакомому и незнакомому, такому одинокому на земле.

— Колыванов, Колыванов,— бормотал он.— А ведь я когда-то, пожалуй, и слышал это имя? — Но где и когда — вспомнить не мог.

Наступило седьмое ноября. Над Арктикой разразилась буря — буря приветственных радиограмм. Они сыпались на столы радистов в таком изобилии, словно вся страна в этот день только и думала, что о полярниках.

Много приветствий получил и Тимофеич. И от семьи, и от родных, и от друзей. Одна радиограмма — совсем неожиданная — была из Сухуми, от старых товарищей, уже давно забытых Тимофеичем, но вот

вспомнивших его: «Встретились на курорте вспомнили тебя старина зпт нашу фронтовую молодость тчк Поздравляем праздником пьем твое здоровье».

Растроганный Тимофеич смущенно вертел в руке листок .

— Ишь ты! — бормотал он.— Из Сухуми. У них сейчас, может быть, магнолии цветут. Или там персики... А вот поди ж ты, вспомнили же!

Так, с радиограммой в руках, он и направился на вахту. Приближался срок УКЛ. Тимофеич полез в шкафчик и вытащил тоненькую пачечку радиограмм. «Савинцев», «Бухта Надежда Савинцев». Еще Савинцеву. Савинцеву же.

— Постой! А Колыванову? Что ж Колыванову? — обеспокоился вдруг Тимофеич.— Колыванову ничего?

Он снова перелистал пачку. Нет, ничего.

— В такой день — и ничего?! Ах ты, бедняга! Одинокий ты на земле человек.

И вдруг, охваченный внезапным порывом, он бросился к столу и одним духом сочинил радиограмму:

«Бухта Надежда. Радисту Колыванову. Дорогой товарищ, сердечно приветствуем тебя и поздравляем праздником днем Великой Октябрьской революции. Желаем бодрости, здоровья».

И подписал: «Радисты узла».

Потом подумал и прибавил: «88», что на языке радистов всего мира означает — «лучшие пожелания».

Волнуясь, он передал эту радиограмму Колыванову и тотчас же получил ответ:

«Спасибо дорогие товарищи тчк Ваши теплые слова поддержка окрыляют меня тчк Уверенно несу свою вахту и буду нести с честью. Радист Колыванов 88 всем».

В этот праздничный вечер Тимофеич был весел, как никогда. Он рассказал ребятам о Колыванове и о своей радиограмме ему. И все одобрили ее, и даже всегда невозмутимый диспетчер сказал, волнуясь:

— А ты это правильно сделал, Тимофеич. Подумать только: все через нас, радистов, идет, а много ль нам пишут?

Тимофеич весь вечер не расставался с радиограммами: с этой, из бухты Надежда, и с той, из Сухуми. И одна напоминала ему о сегодняшнем дне, о пурге за окном, об одиноком радисте с далекой бухты, а

другая... другая — о далеких днях... о фронтовой молодости... о тачанках... о походах...

«Карякин. Самойлов. Чубенко»,— читал он вновь и вновь подписи под радиограммой и шептал про себя:

— Карякин, Самойлов, Чубенко. Радисты Южного фронта... Ребята!.. Полевой штаб... И ночь... И рожь кругом... Карякин... Самойлов... Чубенко... Колыванов...

И ему показалось вдруг, что он вспомнил, напал на след. Он сморщил лоб и стиснул виски пальцами.

— Карякин... Самойлов...

Сначала вспомнились ему почему-то запах вишни... вишни в цвету... И степь и медовый запах трав... Ночь лунная... серебряная... И голубые хутора... И песни дивчат на селе... И орудийные громы где-то... И вспомнился ему паренек в новенькой красноармейской форме, курносый, голубоглазый, молодой... Тогда не было еще у этого паренька рыжей бороды. И звали его не Степаном Тимофеичем, а Степой, просто Степой. Паренек только что кончил курсы и впервые встал на самостоятельную вахту... Робко надел наушники. Карякин... да, Карякин... подбадривал, помогал. Паренек Степа, подавив волнение, застыл с карандашом в руках над бланком. Вдруг услышал позывные. Звал Скадовск, штаб. Он трепетной рукой ответил. И вдруг посыпалась ему в ухо быстрая пулеметная дробь. На него обрушился целый каскад звуков, букв, слов. Он улавливал только одни обрывки, что-то вроде «пр», «кл», «бы». Ему хотелось закричать: «Погодите! Я не успеваю. Пожалейте! Я новенький». Карандаш суматошно прыгал по бумаге и фиксировал Степину беспомощность: «пр», «кл», «бы». Карякин... Да, Карякин... увидал это и сжалился.

— Погоди, я сам приму.

Опозоренный Степа не сошел, а сполз со своего места. Он чувствовал себя раздавленным. Сидел, уткнув голову в колени. И запах вишни — в окно, вишни в цвету.

— Это Колыванов,— сказал ему Карякин.— Колыванов у ключа. Это — черт. За ним угонишься разве? И мне тяжеловато. А ты ведь впервой.

С тех пор всякий раз Колыванов из Скадовска предварительно спрашивал перед приемом:

— Кто у ключа?

И Степа, узнав неумолимый ключ, покорно слезал со стула и уступал место Карякину или Чубенко. А сам садился к другому ключу. Разве может он принять Колыванова?

И вот тогда сокровенной, заветной, пламенной мечтой Степы стало: добиться такой работы на ключе, чтобы забить Колыванова. Да, забить. Не меньше.

Все свободное время тренировался он у ключа. 80, 90, 100, 120 знаков в минуту. Но это не удовлетворяло его: 130,140, 150.

Наконец однажды, когда Колыванов вызвал его, он не покинул, как всегда, своего места, а, покраснев от напряжения и стиснув зубы, стал принимать. Через несколько минут он расхрабрился и потребовал:

— Га, быстрей!

Через минуту еще:

— Га, быстрей!

Он слышал теперь сплошной пулеметный треск в ухе. Карандаш его не бегал, а летал по бумаге. А он все требовал: «Быстрей, быстрей!» Товарищи склонились над ним и молча следили за этим состязанием. А он ликовал. Наконец-то запарил он Колыванова! Да, Колыванов... Скадовск... Южный фронт... Ночи серебряные, лунные. И вишни в цвету.

Но тот ли это Колыванов? Как, каким чудом очутился он здесь? Именно он. Самого Колыванова Степан Тимофеич так и не видел ни разу. Колыванов скоро исчез из штабной рации. Больше с ним не пришлось встретиться ни на земле, ни в эфире.

«Что, если это он? Вот было бы любопытно!»

На следующий день, еле дождавшись срока, Тимофеич спросил радиста бухты Надежда:

— Ты в Скадовске служил?

— Да. А что? — ответил он.

— В каком году?

Оказалось, что это и есть тот самый Колыванов. Тимофеич несказанно обрадовался и разволновался.

— Нет, это чудесно, чудесно! — бормотал он, пыхтя трубкой.— Вот так встреча!

И в самом деле: чудесны эти арктические встречи. Чудесны встречи пилотов в воздухе, чудесен обычай приветствовать друг друга помахиванием крыльев, чудесны нечаянные свидания друзей на воздушных перекрестках, на маленьких неожиданных аэродромах за черным кофе в жестяных кружках, у раскаленной печки в сколоченном из досок скрипучем домике; чудесны знакомства путников у кочевых костров в тундре, когда рассказаны уже все новости, раскурены трубки, а беседа все тлеет и тлеет, как костер, теплая, задушевная, а над огнем шипит мясо, вокруг скрипит снег и собаки обнюхивают друг друга. Но всего чудеснее встречи радистов в эфире, когда, проталкиваясь сквозь хаос волн, сквозь свист и вой метели, находят друг друга голоса приятелей.

«Вот и встретились мы с тобой, Вася Колыванов! — думал, растроганно улыбаясь, Тимофеич.— Где встретились? В Арктике. В эфире. Юг — север. Ай, страна! Ай, люди! Куда забрались мы с тобой, Вася Колыванов! Где свиделись! А я даже не знаю, каков ты есть. Блондин, брюнет? Высок, мал? Каждый день беседую с тобой, и странно: я ведь и голоса твоего не знаю. Баритон, альт, бас? Вот встреть я тебя на улице, в трамвае — пройду мимо, не узнаю. А в эфире узнал. Ну, здравствуй, старик! Ну как? Ну как жизнь?»

Теперь главной темой их ежедневных бесед между делом стали фронтовые воспоминания. Им малы сделались сроки, отведенные расписанием, и они изощрялись в сокращениях, в условных знаках, нечаянно изобрели собственный сжатый код, только бы больше сказать друг другу. Они поведали один другому пути, по которым шли после армии. То были простые, будничные пути, и, однако, они привели обоих в романтическую страну — Арктику, которая для Колыванова была новой, еще непонятной, а для Тимофеича давно стала будничной. После Скадовска Колыванов плавал на подводной лодке. Демобилизовался. Остался в торговом флоте. Заграничные плавания. Балтика. Белое море. Потом вдруг решил нынешней осенью пойти на полярную станцию.

Что влекло его? Он не говорил об этом. Тимофеич не спрашивал. Это «вдруг решил» и так сказало ему о многом, больше он не допытывался. Для себя же он связал это «вдруг решил» с полным отсутстви-

ем радиограмм Колыванову и скорее почувствовал, чем понял, драму в личной жизни радиста из бухты Надежда. Раз навсегда решив не касаться ее, он стал еще заботливее и нежней к своему одинокому далекому другу.

Они начинали свои беседы неизменным: «А помнишь?»

— А помнишь Барыбу, писаря? — напоминал один из них.

И оба хохотали у своих аппаратов, разделенные пятьюстами километрами. Они вспоминали белобрысого щеголя писаря и все анекдоты, связанные с ним. Они не передавали друг другу подробностей своих воспоминаний, давали только скелет; одной фразой они воскрешали забытое, а затем уже каждый наедине вспоминал все с этим связанное и смаковал и перебирал на все лады. Они вспоминали людей, известных им обоим по армии, эпизоды, которые могли быть понятны обоим, те, о которых много говорили в свое время в штабах, на радиостанциях, в комендантских командах. Иногда, впрочем, оказывалось, что это известно только одному из них,— ведь они в конце концов служили в разных местах и даже никогда не видели друг друга! Тогда другой с грустью стучал, что этого он не помнит, и день был потерян для них. Но общих знакомых у обоих было так много, что это случалось редко.

Они жили теперь в атмосфере, которую сами себе создали: среди знойных украинских степей, в серых брезентовых палатках, они лежали в пахучем клевере у полевых аппаратов; они бегали, звеня котелками, к походной кухне за порцией каши без масла, они сдабривали кашу смехом. Они смеялись и пели, как может смеяться и петь только беспечная молодость под аккомпанемент артиллерийской канонады. И тогда над льдами, над торосами Арктики, над белым безмолвием окоченевшей тундры шумели для них степные ветры, и фронтовая молодость, воскрешенная и преображенная, обжигала их своим горячим дыханием. Они нетерпеливо ждали нового свидания в эфире, чтобы весело шепнуть один другому: «А помнишь?»

Если для Тимофеича, имевшего достаточно добрых друзей в эфире, жившего на шумной и дружной зимовке, среди веселых, говорливых товарищей, и регулярно получавшего вести из дому, эти беседы с Колывановым

составляли большую радость, то для одинокого радиста бухты Надежда они были всем.

Тимофеич догадывался об этом. Тем ценнее для него была эта дружба. Он принадлежал к тем людям, которые в дружбе больше дают, чем берут, для которых в дружбе нет корысти, и когда они отдают товарищу последний табак из кисета, то не ждут в обмен последней рубахи товарища. Тем и дорога была Тимофеичу дружба с радистом бухты Надежда, что в ней он давал больше, чем брал. И когда ему удавалось напомнить приятелю несколько веселых скадовских анекдотов, то он и сам был весел и счастлив. Он словно видел улыбку, раздвигавшую губы товарища. Он словно слышал его радостный смех. Он знал, что теперь целый день Колыванов будет улыбаться, мрачные мысли покинут его и ночь, полярная ночь за окном покажется ему светлей и приветливей.

Но вот между вахтами, беседами, шутками растаяла, наконец, долгая полярная ночь, и Колыванов первый сообщил Тимофеичу:

— Сегодня у нас показалось солнце. А у вас?

— Ждем его завтра,— ответил Тимофеич и весело поздравил товарища.

На следующий день Колыванов прежде всего осведомился, появилось ли у них солнце, словно он боялся, что солнце заленится или небесный механизм разладится и Тимофеич останется без солнца. Тимофеич, то ли по долгой полярной привычке к ночи, то ли потому, что жил среди товарищей, в освещенном яркими электрическими лампами доме, мало интересовался, появился ли сегодня узкий краешек солнца за холмами, или нет.

Он ответил, что солнце, кажется, появилось. Но по интонациям, которые он угадывал в вопросе Колыванова, даже не слыша его голоса, он догадывался, чем было солнце для радиста бухты Надежда. И снова поздравил его с солнцем.

Но однажды — это было в марте — Тимофеич пришел с вахты мрачный, расстроенный.

— УКЛ не явился,— сказал он в кают-компании.

— То есть как — не явился? — удивился диспетчер.

— Я его двадцать минут звал,— пожал плечами Тимофеич.— Звал и во второй срок, звал и в третий. И ничего, ничего не слышно. Могила.

— Но, может, просто непрохождение?— предположил кто-то.

— Нет. Все станции западного сектора явились. Отличная слышимость. Не пойму, не пойму — что с ним.

Весь вечер Тимофеич был расстроен, а когда и в ночной срок и в утренний УКЛ не ответил на позывные, он уже не сомневался, что с Колывановым стряслось несчастье. Но что? Что?

— Может быть, аккумуляторы сели,— успокаивали его товарищи.— Может, неполадки какие?

— Нет. Он сказал бы заранее. Третьего дня как раз на эту тему говорили. Недавно рации своей генеральный ремонт на ходу дал.

— Ну, тогда заболел, может быть? Какой-нибудь гриппок?

— И больной приполз бы к ключу,— отмахивался в отчаянии Тимофеич.— Радист он, до мозга костей радист. Приполз бы. А ты не приполз бы? А я? Нет, тут серьезным пахнет. Тут...— но он боялся самому себе сказать, что это катастрофа, и по-прежнему, и в сроки и вне сроков, звал УКЛ, и по-прежнему не получал ответа.

Ему показалось тогда, что он навек лишился друга, лучшего друга. А он даже не знал ни его лица, ни его голоса. Что он мог вспомнить о нем? Только точки, тире, которыми они обменивались. А какой он, Колыванов,— красивый, бритый, бородатый, какие у него глаза, как он смеется, курит, молчит — этого он не знал. Он не знал тех необходимых мелочей, которые сохраняют нам в памяти образ ушедшего друга, создают иллюзию, что он еще жив, здесь, рядом. Но Тимофеич и этой иллюзии был лишен. Точки, тире — вот все, что он мог вспомнить о товарище.

Грустно курил он свою трубку, нес вахту, работал, но думал о Колыванове. Когда подходил срок, в нем пробуждалась надежда. Он вытаскивал радиограммы для бухты Надежда — их скопилась уже целая пачка — и начинал упорно звать УКЛ. Срок проходил — УКЛ не являлся. Грустно перебирал он пачечку радиограмм, прежде чем положить их обратно в ящик.

И вдруг он заметил среди радиограмм одну, которая ошеломила его. «Бухта Надежда Колыванову»,— прочел он. Не ошибся ли он? Нет, точно: Колыванову.

Первая за все время. Он бросил быстрый взгляд на подпись. «Галя»,— прочел он.

— Галя! — произнес он громко.— Галя!

«Вася, прости. Была дурой. Вернись, без тебя жить не могу. Галя».

Он бросился к ключу. Он снова стал звать УКЛ.

— Вася, вернись! Вернись! Отзовись! Вася!— шептал он, отчаянно стуча ключом.— Тебе радиограмма. Галя любит тебя. Вернись! Вася! УКЛ! УКЛ! Вася!

Но бухта Надежда молчала. Он остановился, ждал ответа, снова звал. Он менял настройки. Он прижимал к ушам наушники, потом бросал их, прижимался к репродуктору, но слышал в ответ только свист в эфире. Он не отчаивался, не терял надежды, теснее приникал ухом к репродуктору, он хотел услышать пусть хоть слабые, непонятные, но утешительные точки, тире, но слышал только леденящий душу свист; порою ему в свисте слышались даже далекие приглушенные стоны, призывы: «На помощь! На помощь!» — и шепот: «Друг! Друг!» Он готов был поверить в то, что все это слышит, что слышит что угодно, но только не точки, тире. Нет, этого он не слышал. Тонкое ухо радиста не позволяло ему обманываться в этом.

Мрачный, измученный, возвращался он после вахты домой. Валился на койку. Молча курил. Табачный дым окутывал комнату. Синий дым...

Эта радиограмма... Она сделала бы Васю счастливым. Может быть, ее ждал он всю долгую полярную ночь. И вот она здесь, а Тимофеич не может передать ее Васе.

Заходили товарищи. Присаживались к койке.

— Ничего? — спрашивали они сочувственно.

Тимофеич яростно мотал головой.

— Отсутствие известий — лучшие известия, говорят мудрые,— утешали товарищи.— Ведь не один же Колыванов на зимовке. Его товарищ давно бы уже сообщил.

— Как? Как сообщил бы? — взрывался Тимофеич.— Голубями? Святым духом? Ведь он не радист.

Так прошло еще пять томительных дней — всего семь с тех пор, как замолчал УКЛ. На зимовку прилетел самолет, первый весенний самолет-ласточка, предвещая далекую весну. Голубая птица пронеслась по льду бухты, подымая за собой снежный прах. Из

пилотской кабины вылез толстый, неуклюжий, закутанный в меха человек. Он снял шерстяную маску, защищавшую лицо от мороза, и Тимофеич увидел, что пилот молод, красив, белокур. В комнате, отведенной для отдыха, пилот освободился от мехов, сбросил шарфы, опутывавшие его горло и крест-накрест завязанные за спиной, стащил обледеневшие оленьи бокари, мохнатые чулки из собачьего меха, комбинезон, шерстяную фуфайку, ватные штаны, и Тимофеич увидел, что пилот строен, худощав, молод. С надеждой глядел радист на этого энергичного парня с обветренным лицом, пропахшего морозом, бензином и пространством, настоящего линейного летчика, одного из тех лихих ребят, что летают в любую погоду на северных линиях, берутся доставить в любое место любой груз да еще шутят при этом: «А овес-то нынче почем?»

— Товарищ! — вкрадчиво сказал Тимофеич пилоту, завтракавшему в столовой, в то время как зимовщики уединились по комнатам, чтобы посмотреть привезенную им почту.— Вы как... очень промерзли?

— Нет, ничего...— улыбнулся пилот.— Хороший у вас кофе.

— Торопитесь вы? Нет?

— Как погода.

— А... могли бы вы, товарищ, спасти человека?

Пилот удивленно покосился на него, но ничего не ответил. Тогда Тимофеич рассказал ему все: об УКЛ, который не является в сроки, о Колыванове, одиноком радисте бухты Надежда, об их дружбе, о Гале, которая, наконец, прислала радиограмму, о...

— Но почему вы думаете,— сочувственно перебил пилот,— что с вашим приятелем случилась беда? Может быть, просто рация выбыла из строя?

Тимофеич печально покачал головой.

— Нет, беда! Знаю, что беда. Если бы ваш товарищ — пилот, настоящий пилот, вылетел бы, скажем, с Диксона на Дудинку и прошел бы день, два, три, а его все не было бы ни на Диксоне, ни на Дудинке, ни на станциях по пути, что сказали бы вы? Что пилот заболел? Вы знаете: в полете не болеют... Вы сказали бы: «Беда с моим товарищем». И полетели бы искать его. Так?

— Так, разумеется,— улыбнулся пилот.

— Так вот, я радист. Радист первого класса, по-

звольте вам сказать. И когда мой товарищ семь дней не является в срок, я говорю вам: с ним беда. Товарищ,— сказал он вдруг,— спасите моего друга!

Пилот встал и молча зашагал по комнате.

— Хорошо! — сказал он наконец, остановившись перед Тимофеичем.— Бухта Надежда? Напрямик через тундру два-три часа лету. Горючее возьмем здесь. Полные баки. С собой доктора. Найдем вашего товарища! Найдем! Но мне нужно разрешение Москвы.

— Москва разрешит! — закричал Тимофеич.— Москва не может не разрешить. Идет речь о человеке. Хотите, мы сейчас запросим Москву? — Он озабоченно взглянул на часы.— Через пятнадцать минут — прямой провод с Москвой, через час — радиотелефон с Москвой. Хотите, я сам составлю текст запроса? Мы напишем: «Человек в беде. Срочно нужна помощь».

Ночью же пришло разрешение Москвы (Тимофеич взволнованно ждал на рации, выкуривая трубку за трубкой, и, получив радиограмму, бросился, торжествующе размахивая ею, к пилоту), а на рассвете самолет с доктором на борту уже летел, взяв курс на запад, в бухту Надежда. В комбинезоне пилота лежала запечатанная в конверте радиограмма Гали.

— Это лекарство,— сказал Тимофеич, отдавая конверт пилоту.— Лучшее лекарство в мире.

Сам же Степан Тимофеич засел на рации, чтобы держать связь с самолетом. «Пролетели Каменную Губу,— лихорадочно записывал он в журнал.— Летим тундрой — снежные заносы, видимость плохая. Бредем в тумане».

«Вернутся,— в отчаянии подумал он.— Неужели повернут обратно?»

«...Пробиваемся сквозь туман».

«...Ничего не видно».

«...4.40. Идем сквозь метель».

«...5.10. Пробились. Находимся над мысом Чертов Камень».

«Пробились! Пробились! — ликовал Тимофеич.— Ай, люди! Ай, ребята!»

Его мысли, чувства, надежды, страхи — все было сейчас там, на голубых ребристых крыльях самолета, с ребятами, закутанными в меха. Он пробивался вместе с ними сквозь снегопад, проваливался в туман,

взлетал, снова падал, надеялся, отчаивался и все-таки продолжал пробираться вперед.

«Скорей, скорей! На выручку! Крепись, Вася! Мы летим. Мы уже над мысом Чертов Камень... 5.40... над заливом Креста... 6.10... над Тихой Губой... 6.40... Видим бухту Надежда... 6.45... Идем на посадку. Буду звать вас через УКЛ».

Идут на посадку. Связь обрывается. Проходят томительные десять минут. Сели? Нет? Все ли благополучно? Еще десять минут неизвестности. Что они делают сейчас? Вылезли из кабины. Идут по снегу к зимовке... Может быть, они сели в стороне... Еще десять минут, равных вечности. Что случилось? Почему молчат?

— УКЛ! УКЛ! — Еще десять минут.— УКЛ! УКЛ! Что случилось?

И вдруг точки, тире, отчетливые, звонкие:

— Я — УКЛ, я — УКЛ. Узел! Узел! Я — УКЛ! Слышите ли вы меня?

— Ок, ок. Слышу,— радостно отвечает Тимофеич. И ему кажется, что это, как и неделю назад, его вызывает Вася. Ничего не случилось, все померещилось... Но он вслушивается в стучание далекого ключа. Нет, это не Вася. Не его рука. Не его голос, не его почерк.

«Передайте немедленно погоду тчк Вылетаем обратно».

— А радист?! Радист Вася?! — задыхаясь, стучит Тимофеич.

— Очень худо. Берем с собой.

— Жив! Все-таки жив!

И вот самолет в воздухе. Теперь на нем Колыванов. Теперь они летят сюда.

— ...9.10... Выходим. Тихой Губе... 9.40. Прошли залив Креста.

— Что с Колывановым? — спрашивает Тимофеич.

— Худо... Был на охоте. Один... Пурга... Очевидно, заблудился... Гора... Упал... головой о торосы... Сотрясение мозга. Ас (подожди) минуту... посмотрю, где мы... Слушаешь? Прошли Чертов Камень... Нашел его Савинцев... Молодчага парень... Не растерялся... Привез на зимовку... Смотался в соседнее стойбище... Послал оттуда ненца с запиской за доктором в бухту Белую... Но мы поспели раньше... Сейчас без сознания... Доктор говорит...

— Что? Что говорит доктор?

— Доктор говорит — худо, но есть надежда... Главное — все без сознания. Подходим к острову... Видим ваш костер. Идем на посадку. Связь прекращаю...

Тимофеич без шапки выбежал на крыльцо рации и увидел, как кружит над бухтой машина; ее крылья, освещенные солнцем, казалось, были из расплавленного металла, на них было больно смотреть.

Когда он, одевшись, прибежал к самолету, там уже толпились оживленные зимовщики, догорал костер, ребятишки растаскивали головешки. Тимофеич протолкался к машине и увидел, как из кабины осторожно выносили человека в мехах. Он бросился на помощь, ему уступили место, принадлежавшее ему по праву, и он вместе с двумя радистами бережно понес Колыванова в больницу.

Когда больного освободили от мехов, Тимофеич впервые увидел лицо своего старого приятеля.

— Вот ты какой... Вот ты какой...— прошептал он, всматриваясь в острые, словно высеченные черты бледного лица Колыванова.

Он увидел седину на висках, глубокие, сильные морщины на щеках, сжатые губы. Глаза были закрыты. Он хотел бы увидеть их, почему-то решил, что они голубые. Бороды и усов у Колыванова не было, но на щеках, на крутом подбородке синела щетина, выросшая за дни болезни. И тогда увидел Тимофеич то, что не видно было другим. Он догадался о силе и воле этого человека, лежавшего без сознания перед ним. Он понял все.

Все было здесь, в этих синих щеках. Он брился ежедневно, тщательно, упрямо, боясь опуститься, расклеиться, ослабнуть. Вероятно, он сам часто стирал свои сорочки, менял ежедневно воротнички к форменной тужурке, следил за пуговицами. Вероятно, установил он для себя железный регламент дня и строго следовал ему. Он боролся с собой, со своими мрачными мыслями, со своим одиночеством и выходил победителем из этой схватки.

— Вот ты какой... Вот какой...— шептал Тимофеич и почесывал бороду.

Он просидел в больнице весь день. Только изредка выходил на крыльцо выкурить трубку, вдохнуть морозный воздух. Потом торопливо возвращался. Сидел,

нелепый и толстый, в белом больничном халате поверх ватной фуфайки, у постели больного, боясь пошевельнуться. Его мучили больничные запахи — карболки, хлороформа. Ему хотелось кашлять, чихать, но он сдерживался, боясь потревожить больного, нарушить таинственную и, вероятно, необходимую тишину больницы. Он сидел и испуганно озирался. Люди приходили и уходили, неслышно, как тени, а он все сидел, скорчившись на своем стуле, и глядел...

...Когда к Колыванову медленно, очень медленно вернулось сознание, он увидел, что лежит в незнакомой ему комнате, в которой он, наконец, признал больницу. Он не мог вспомнить, ни что с ним, ни как он очутился здесь.

Над ним склонялось какое-то незнакомое, но очень доброе лицо. Он увидел бороду. Рыжую бороду. Он вспомнил.

— Тимофеич! — прошептал он и улыбнулся.

КОММЕНТАРИИ

Александр Александрович Фадеев (1901—1956)

ОДИН В ЧАЩЕ

Впервые — «Юность», 1956, № 10. Опубликован после смерти автора. Этот рассказ являлся главой неоконченной повести «Таежная болезнь», над которой Фадеев работал в 1924—1925 годах в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Стр. 23. *Падь* — название глубоких, часто заселенных горных долин в Сибири и на Дальнем Востоке.

Стр. 24. ...*а тысяча рублей — пущай «сибирками» — деньги немалые.*— Летом 1918 года Советская власть готовила денежную реформу, которая была сорвана гражданской войной и военной интервенцией (1918—1920). В результате наступила бумажно-денежная инфляция. В обиходе появились денежные знаки, которые в Сибири и на Дальнем Востоке называли «сибирками», в других местах — «лимонами».

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Впервые — в газете «Правда», 1934, 19 декабря и в журнале «На рубеже», Хабаровск, 1934, № 4—5.

Стр. 40.. *В 1920 году по условиям перемирия, заключенного с японским командованием...*— В начале 1920 года после овладения Красной Армией Иркутском сложились благоприятные условия для дальнейшего продвижения на Восток. Однако это могло привести к войне Советской России с Японией. В этой обстановке по указанию В. И. Ленина наступление было приостановлено.

Константин Александрович Федин (1892—1977)

ТИШИНА

Впервые — «Русский современник», 1924, № 4, с посвящением Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову.

Стр. 54. *Ярица* — злак ярового посева.

...*Подожок* (о б л. подог) — опора при ходьбе, палка.

Пялы — приспособления для растягивания сетей.

Стр. 56. *Антаблементы* (а р х и т.) — верхний выступ в здании, опирающийся на стены или колонны и состоящий из трех горизонтальных частей.

Стр. 59. *На́вий* (у с т а р.) — относящийся к нави. Навь — усопший, умерший. Здесь: таинственный дух усопшего.

Семен Павлович Подъячев (1866—1934)

НОВЫЕ ПОЛСАПОЖКИ

Впервые — «Беднота», 1922, 14 апреля.

Стр. 68. *Страстная неделя* — последняя перед пасхой неделя великого поста.

Стр. 69. *...восьмиаршинной избенке.* Аршин — русская мера длины, равная 0,71 м.

Стр. 71. *Отец вон говорил про голодающих, в ведомостях читали намедни,— мертвых едят.*— В 1921 году в обширном районе Поволжья, Приуралья, Кавказа, Крыма, части Украины засуха уничтожила все посевы. К началу 1922 года в этих местах голодало около 22 млн. человек, к маю 1922 года от голода умерло 1 млн. человек.

ПОНЯЛ

Впервые — «Беднота», 1923, 6 и 7 ноября.

Стр. 81. *...нарисовал он картину того, что теперь творится в Германии...*— Речь идет, по-видимому, о Гамбургском восстании в октябре 1923 года, которое возглавил Э. Тельман. Восстание было жестоко подавлено.

Стр. 83. *Урядник* — в царской России нижний чин уездной полиции, ближайший помощник станового.

Ольга Дмитриевна Форш (1873—1961)

ЖИВОРЫБНЫЙ САДОК

Впервые — «Жизнь искусства», 1922, 10 января.

Стр. 89. *Далькроз* — Дальневосточный контрразведывательный отдел ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление).

КЛИМОВ КУЛАК

Впервые — сборник «Обыватели». М.-П., 1923.

Посвящен Надежде Александровне Секавиной (1875—1936) — подруге писательницы по Николаевскому женскому сиротскому институту в Москве.

Стр. 96. *Вахмистр* — в царской армии звание фельдфебеля в кавалерии.

Стр. 100. *Лечил декохтом... от декохта спился* (искаж. декокт — у с т а р.) — отвар из лекарственных трав.

Стр. 104. *Жантильно* — от фр. gentil (-le) — милый, слабый, любезный.

Стр. 106. *Благовещенье* — религиозный праздник, связан с христианским мифом о возвещении рождения Христа.

Стр. 107. *Малюта Скуратов* (Бельский Григорий Лукьянович; умер в 1573 году) — думный дворянин, ближайший помощник Ивана IV Васильевича по руководству опричниной.

Сомуститница (устар., простореч.) — смутьяиka, подстрекательиица.

Целовальник (устар.) — продавец в питейиом заведеиии, кабаке.

Стр. 109. *Егория первой степени* — Георгиевский крест, ордеи св. Георгия, учреждеи в России в 1769 году для иаграждеиия офицеров и генералов, с 1807 года — для иаграждеиия солдат и уитер-офицеров. Имел 4 степеии.

Алексей Силыч Новиков-Прибой (1877—1944)

В БУХТЕ «ОТРАДА»

Впервые — журиал «Прожектор», 1924, №№ 15—16.

Стр. 111. *Гришка Распутин* — настоящая фамилия — Новых Григорий Ефимович (1872—1916). Из крестьяи Тобольской губериии. В образе «провидца» и «исцелителя» приобрел иеограиичеиное влияние иа царя Николая II, царицу и их окружеиие. Вмешивался в государствеииые дела. Убит моиархистами.

Стр. 115. *Квартирмейстер* — в царском флоте младший уитер-офицер.

Шкафут — средияя часть верхией палубы военного корабля.

Стр. 124. *Эксцентрики* (спец.) — деталь машины для перевода вращательиого движеиия в поступательиое и иаоборот.

Мотыль (спец.) — шатун в механизмах, кривошип.

Кингстон (спец.) — клапаи, закрывающий отверстия в подводной части судиа.

Стр. 125. *Шпиндель* (спец.) — ось судового шпиля.

Иван Михайлович Касаткин (1880—1938)

ЛЕТУЧИЙ ОСИП

Впервые — «Красиоармеец», 1921, № 33—35.

ЧУДО

Впервые — «Крестьянский журнал», 1927, № 9.

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Впервые — «Правда», 1937, 4 сентября.

Стр. 149. *Поленов* Василий Дмитриевич (1844—1927) — русский живописец-передвижиник.

Левитан Исаак Ильич (1860—1900) — русский живописец-передвижник.

Федор Васильевич Гладков (1883—1958)

ЗЕЛЕНЯ

Впервые — «Новый мир», 1922, № 1, журнал издавался в Москве кооперативным издательством «Новый мир». Вышел всего один номер.

Рассказ назывался «Правда».

Стр. 165. *Очерет* (о б л.) — травянистое болотное растение, род камыша.

Стр. 167. *Прясло* (о б л.) — часть изгороди от столба до столба.

Стр. 168. *Городовик* (дореволюц. р а з г.).— Здесь: человек, ранее живший в городе.

Пантелеймон Сергеевич Романов (1884—1938)

ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ

Впервые — «Красная новь», 1928, № 4.

Стр. 174. *Покров Пресвятой богородицы* — христианский праздник, отмечается верующими 1 (14) октября.

Стр. 183. *Загнетка* (о б л.) — часть русской печи, куда сгребаются горячие угли.

ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ

Впервые — «Новый мир», 1929, № 6.

ПАНИКА

Написан в 1936 году.

Владимир Матвеевич Бахметьев (1885—1963)

ЛЮДИ И ВЕЩИ

Впервые — «Прожектор», 1930, № 1.

Стр. 210. *Как древний библейский бог, тетка моя ждала седьмого своего дня, чтобы почить от трудов...* — имеется в виду мифологическое представление о сотворении мира. Бог, создавая мир, трудился шесть дней, на седьмой отдыхал.

Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888—1982)

АГИТВАГОН

Впервые — «Красная нива», 1923, № 38.

Стр. 217. *Зеленые* — лица, которые в годы гражданской войны и интервенции в России, не желая служить, главным образом в белых армиях, укрывались в лесах (отсюда название),

Альпага́ — особая порода лам с превосходной шерстью, из которой делается высококачественная материя.

Стр. 218. *Ни на йоту* (р а з г.) — ни в малой степени, ни насколько.

Стр. 225. *Магнетизм* (устар.) — гипнотическое внушение.

Борис Андреевич Лавренев (1891—1959)

СРОЧНЫЙ ФРАХТ

Впервые — «Красный журнал для всех», 1925, № 12.

Стр. 232. *Фрахт* — плата за перевозку грузов или пассажиров различными видами транспорта, главным образом морским.

Каик — небольшое гребное судно.

Стр. 233. *Форштевень* (г о л л.) — брус по контуру носового заострения судна, в нижней части соединен с килем.

Стр. 235. *Ресконтро* — бухгалтерская книга для вспомогательного учета расходов.

Стр. 236. *Лаг* (г о л л.) — прибор для определения скорости судна и пройденного им расстояния.

Стр. 237. *Сатрап* (г р е ч.) — наместник провинции в древнем и раннесредневековом Иране. Здесь: о тех, кто, будучи у власти, проявляет крайнюю жестокость.

Стр. 251. *Про́тори* (у с т а р.) — издержки, расходы (обычно по судебным делам).

Стр. 253. *Лайдачить* — бездельничать.

Стр. 256. *Спардек* — верхняя легкая палуба на трехпалубных судах в XIX и начале XX века.

Рувим Исаевич Фраерман (1891—1972)

НА РЕКЕ

Рассказ написан в 1937 году.

Стр. 258. *Ичиги* (т ю р к.) — мужские и женские высокие сапоги из легкой кожи или цветного сафьяна, распространены у татар и башкир.

Владивосток был занят японцами, на Хабаровск наступали чехи, калмыковцы, семеновцы.— В январе 1918 года во Владивосток вошли два японских крейсера якобы для поддержания порядка в городе. Отвергнув все предложения Советской России об установлении добрососедских отношений, Япония начала открытую вооруженную интервенцию, опираясь на белогвардейские формирования (банды Семенова, Калмыкова, Унгерна) и начавшийся в 1918 году мятеж Чехословацкого корпуса.

Стр. 260. *Старатель* — рабочий по кустарной добыче золота.

Даба — китайская бумажная ткань, преимущественно синего цвета.

Стр. 262. *Гиляцкие стойбища* — гиляки (у с т а р.) — нивхи, народ, живущий в низовьях реки Амур (Хабаровский край) и на острове Сахалин.

НАЧАЛО

Рассказ написан в 1939 году.

Ефим Давыдович Зозуля (1891—1941)

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕВУШКА

Впервые — «Огонек», 1927, № 27.

Новеллы из цикла «Тысяча» написаны в основном в 1934—1937 годах.

ХЛЕБ — впервые — «Чудак», 1929, № 28.

ПАРИКМАХЕРША — впервые — «Рабочая Москва», 1935, 23 июня (под названием «Парикмахер»).

ВАСЕХА и ГЕРОЙ — впервые в журнале «Крокодил», 1934, № 17. Заголовок «Галерея лишних людей».

КРАСНЫЙ МЕШОЧЕК

Впервые — «Красноармеец — краснофлотец», 1937, № 8.

Стр. 286. ...*в 1919 году, в тяжелые месяцы борьбы с Деникиным...* — Летом 1919 года один из руководителей российской контрреволюции, главнокомандующий белогвардейскими силами на юге России в гражданской войне 1918—1920 годах генерал Деникин предпринял поход на Москву, потерпевший крах в результате мощного контрнаступления Красной Армии, начавшегося в октябре 1919 года.

СЛУЧАЙ ПО СЛУЖБЕ

Стр. 287. *Наркомат* — народный комиссариат, до 1946 года название высших центральных органов управления отдельной сферой деятельности или отдельной отраслью народного хозяйства. Впервые наркоматы были созданы после Октябрьской революции 1917 года, когда было образовано первое рабоче-крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров.

ЗНАМЯ

Стр. 289 ...*с ятями и твердыми знаками* — имеется в виду дореволюционная русская орфография, существовавшая до орфографической реформы 1917—1918 годов.

Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892—1975)

ПЫЛЬ

Впервые — «Красная новь», 1925, № 7.
Стр. 291. *Онýча* (у с т а р.) — портянка, обмотка для ноги.
Стр. 294. *Межень* (с п е ц.) — средний уровень воды в реке, озере.
Стр. 296. *Паперть* — крыльцо перед входом в церковь.

Анна Александровна Караваева (1893—1979)

ПЕСКАРИХА

Впервые — «Молодая гвардия», 1929, № 9, под названием «Цепкая порода».

ЯБЛОКИ

Впервые — «Октябрь», 1939, № 8—9.

Владимир Германович Лидин (1894—1979)

ЗВЕНИТ ЗОЛОТАЯ ПШЕНИЦА

Впервые — «Прожектор», 1926, № 11.

Юрий Николаевич Тынянов (1894—1943)

МАЛОЛЕТНЫЙ ВИТУШИШНИКОВ

Впервые — «Литературный современник», 1933, № 7.
Стр. 342. *Нелидова* Варвара Аркадьевна (ум. 1897) — любовница Николая I, постоянно жившая в царском дворце в качестве фрейлины.
...*Орлов* Алексей Федорович (1786—1861) — участвовал в подавлении восстания декабристов. С 1844 по 1856 год был шефом жандармов и начальником III отделения.
Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869) — выученик Аракчеева, в царствование Николая I был назначен руководителем строительства железной дороги между Петербургом и Москвой.
Стр. 345. *Драбанты* — дворцовая гвардия,
Стр. 346. *Егерский полк* — легкая пехота, формировалась из лучших стрелков.
Швальня — портняжная мастерская.
Стр. 347. *Вронченко* Федор Павлович (1780—1852) — министр финансов при Николае I.
Смолянка — воспитанница Смольного института.
Стр. 350. *Дестрем* Морис Гугович (1788—1855) — инженер-генерал и председатель совета путей сообщения.

...не любил Гороховой улицы, не ездил по Екатерингофскому проспекту... — названия улиц, по которым 14 декабря 1825 года проходили восставшие полки.

Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879) — актер-комик и автор множества водевилей, популярных в 30—40-х годах прошлого века.

Стр. 351. *...два офицера женируются...* — смущаются, стесняются.

Фридрих — решительный дурак... — Речь идет о Фридрихе-Вильгельме IV (1795—1861), с 1840 года занимавшем прусский престол. Революция 1848 года вынудила его на некоторые уступки конституционного характера, что не одобрялось Николаем I.

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — русский писатель; служил в министерстве иностранных дел, затем в министерстве внутренних дел.

Стр. 352. *Канкрин* Егор Францевич (1774—1845) — министр финансов с 1823 по 1844 год; довел до пределов все виды налогового обложения.

Стр. 355. *Брюллов* Карл Павлович (1799—1852) — русский живописец.

Бруни Федор Антонович (1799—1875) — русский живописец.

...при Енибазаре... — в 1828 году, во время русско-турецкой войны, Николай I находился при войсках, причем его решения ставили русскую армию в крайне трудное положение. Наконец он оставил этот участок фронта, когда намечалась угроза окружения превосходящими силами противника.

Стр. 357 *Алебарда* — холодное оружие — длинное копье, поперек которого прикреплен топорик или секира. Была на вооружении в XIV—XVI веках. Здесь: походное оружие.

Стр. 363. *Муравьев* Михаил Николаевич (1796—1866) — генерал, вошедший в историю под кличкой «Муравьева-вешателя». В прошлом декабрист, предал движение; участвовал в подавлении польского восстания 1830, 1863 годов, за что получил графский титул.

Стр. 365. *Негоциант* — в старину оптовый купец, коммерсант.

Стр. 366. *Бенедиктов* Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт, пользовавшийся популярностью в начале 40-х годов. У него есть строки:

Взгляни, как высится прекрасно
Младой прельстительницы грудь.

Изображение цыганского табора — в его стихотворении «Московские цыганы».

Асенкова Варвара Николаевна (1817—1841) — русская актриса.

Стр. 367. *Фешьонебельный* (фешенебельный книжн.) — отвечающий требованиям лучшего вкуса, светский, модный.

Тальони Мария (1804—1884) — итальянская балерина, в 1837—1842 годах выступала в России.

Тон Константин Андреевич (1794—1881) — русский архитектор.

Стр. 368. *Раскассировать* — расформировать, ликвидировать.

Пулярда (пулярка) — жирная откормленная курица.

Папильотка — специальная бумага. Здесь: фольга, в которую заворачивают кур для жарения.

Стр. 369. *Подставное лицо* — специально подобранный, ложный. Здесь: для слежки за гостями.

Стр. 372. *Панин* Виктор Никитич (1801—1874) — министр юстиции с 1841 по 1862 год.

Стр. 373. *Левашов* Василий Васильевич (1783—1848) — генерал-адъютант, председатель Государственного совета и комитета министров.

Аксельбант — наплечные шнуры на мундирах.

Стр. 376. *Поэнь* — в карточной игре «очко».

Роббер — в некоторых карточных играх (например, в висте): законченный круг игры.

Стр. 377. *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859) — русский журналист, издатель, писатель. Издавал газету «Северная пчела» совместно с Н. И. Гречем, журнал «Сын отечества», также с Н. И. Гречем. Автор псевдоисторических романов. Писал политические доносы на русских литераторов.

Стр. 380. *Роде* Пьер (1774—1830) — французский композитор и знаменитый скрипач; в 1803—1808 годах жил в России и был первым придворным скрипачом.

Греческий посол... был немец... на лучшем счету у короля Отто... — В 1832 году на греческий престол был возведен Оттон I (1815—1867), сын баварского короля Людовика I.

Маппа — папка для бумаг.

...услышали старинную фразу — намек на события 14 декабря 1825 года.

Стр. 384. *Железнодорожный тендор* — вагон с запасом воды и угля, прицепляемый позади паровоза.

Лютер Мартин (1483—1546) — глава церковно-реформационного движения в Германии, основатель протестантской церкви.

Стр. 385. *Помпея* — город в Италии, погибший от извержения Везувия в 79 году.

Радклиф Анна (1764—1823) — английская писательница, автор «исторических» романов «тайн и ужасов» о средневековье.

Стр. 386. *Мария-Антуанетта* (1755—1793) — французская королева, с 1770 года жена Людовика XVI. Дочь австрийского императора. С начала Великой французской революции была вдохновительницей контрреволюционных заговоров. По решению революционного суда казнена.

Перекусихина Мария Саввишна (1739—1824) — камерюнгфера Екатерины II.

Нарышкина Мария Антоновна (1779—1854) — жена обер-егермейстера Нарышкина, фаворитка Александра I.

Стр. 390. *Раут* (у с т а р.) — торжественный званый вечер.

Куверт (к н и ж н.) — прибор за обеденным столом.

Мейербер Джакомо (1791—1864) — французский композитор, пианист и дирижер.

Медий (медиум) — человек, по мистическим представлениям, наделенный способностью общаться с «духами».

Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель.

Фультон (Фултон) Роберт (1765—1815) — американский изобретатель, создатель парохода.

Николай Семенович Тихонов (1896—1979)

ВЕЧНЫЙ ТРАНЗИТ

Впервые — «Год шестнадцатый», 1933, альманах второй.

Стр. 393. *ЖАКТ* — жилищно-арендное товарищество, существовавшее до 1937 года.

Перун — бог грозы индоевропейской и славяно-русской мифологии.

Стр. 395. *Амалия, Луиза Миллер, Леонора* — героини пьес Шиллера.

Стр. 403. *Видок, Вотрен* — персонажи эпопеи «Человеческая комедия» Бальзака (1799—1850).

Стр. 405. *Водхоз* — водное хозяйство.

Стр. 414. *РКИ* — рабоче-крестьянская инспекция, Рабкрин (1920—1934)

Михаил Леонтьевич Слонимский (1897—1972)

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Впервые — в сборнике «Машина Эмери», издательство «Атеней», Л. 1924. В последующих изданиях рассказ подвергался авторской доработке.

Стр. 418. *Толстовка* — широкая и длинная блуза в складках и с поясом.

Стр. 425. *...горящая Москва сто восемь лет назад* — имеется в виду Московский пожар в сентябре 1812 года после вступления в столицу французских войск (во время освободительной войны России против наполеоновской агрессии.)

А. Зорич (Локоть Василий Тимофеевич) (1899—1937)

ЭПИЗОД

Рассказы написаны в тридцатых годах.

Стр. 430. *Монферран* Август Августович (1786—1858) — русский архитектор, по происхождению француз. С 1816 года работал в России.

Ижица — последняя буква дореволюционного русского алфавита.

Стр. 431. *...во времена освободительного манифеста царя...* — Речь идет, по-видимому, об отмене крепостного права в 1861 году.

Стр. 435. *Чижовка* (о б л.) — каземат, арестантская комната, помещение при полиции.

С НАТУРЫ

Стр. 442. *Чириков* Евгений Николаевич (1864—1932) — русский писатель. Испытал влияние декадентства. В 1920 году эмигрировал.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — русский писатель.

Чемберлен Остин (1863—1937) — министр финансов Великобритании. В 1927 году один из инициаторов разрыва дипломатических отношений с СССР.

Пуанкаре Раймон (1860—1934) — президент, затем премьер-министр Франции. Один из организаторов антисоветской интервенции в период гражданской войны в Советской России.

Стр. 444. *Цирцея* — в греческой мифологии волшебница. Здесь коварная обольстительница.

Стр. 445. *Пенелопа* — в греческой мифологии жена Одиссея, двадцать лет ожидавшая возвращения мужа. Образ Пенелопы — символ супружеской верности.

Стр. 447. *Хлестаков* — герой комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», враль, пустозвон, игравший роль важной персоны.

Гришка Отрепьев — самозванец, выдававший себя за Дмитрия, сына царя Ивана IV Грозного.

Всеволод Витальевич Вишневский (1900—1951)

БРОНЕПОЕЗД «СПАРТАК»

Впервые — «Красная новь», 1930, кн. 9—10.

Стр. 449. *Дывиться* (у к р.) — смотреть.

Золотник — мера веса, 4,266 г

Стр. 451. *Це ж вы видкиля?* (у к р.) — вы откуда?

Стр. 454. *Гарнзнько* (у к р.) — прекрасно.

Вениамин Александрович Каверин (р. 1902)

Все приведенные в сборнике рассказы впервые опубликованы в нескольких номерах журнала «Звезда», 1930, № 12, 1931, № 1 с подзаголовком «Путевые рассказы».

СТРАУС ФОМА

Стр. 469. *Катерпиллер (р а з г.)* — Здесь: тип трактора по названию машиностроительных монополий в США «Катерпиллар трактор». Трактора в 20-е годы поставлялись в СССР.

Стр. 470. *«Фордзон»* — трактор определенного типа, поставляемый в 20-е годы в СССР американским автомобильным трестом, позже изготовляемый в СССР.

Стр. 477. *Церабкоп* (правильно — церабкооп) — центральный рабочий кооператив.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Стр. 482. *Бивак* (у с т а р.) — стоянка вне населенных пунктов для ночлега или отдыха.

Виктор Павлович Кин (Суровикин) (1903—1937)

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Впервые — «Комсомольская правда», 1926, 21 апреля.

Стр. 493. *Амундсен* Рауль (1872—1928) — норвежский полярный путешественник и исследователь. Погиб в Баренцевом море во время поисков итальянской экспедиции У. Нобиле.

КТО НУЖНЕЙ?

Впервые — «Комсомольская правда», 1926, 6 июня.

Стр. 496. *Путиловский завод* — основан в 1801 году, назван по имени русского инженера и предпринимателя Н. И. Путилова; с 1922 по 1934-й год — «Красный путиловец»; с 1934 по 1973-й — «Кировский завод»; в 1973 году образовалось Ленинградское объединение «Кировский завод».

КРАЙНОСТЬ

Впервые — «Правда», 1926, 14 ноября.

Михаил Петрович Лоскутов (1906—1940)

НЕМНОГО В СТОРОНУ

Впервые — «30 дней», № 12.

Стр. 504—505. *Экзерции* (экзерсис, спец.) — упражнения для развития техники исполнения танца, музыки.

Стр. 505. *Мальтийская лихорадка* — бруцеллез, инфекционное заболевание человека и животных. Основным источником инфекции для людей служит мелкий и крупный рогатый скот, свиньи.

Стр. 506. *Рабочком* — комитет профсоюзной организации рабочих.

Карнай — духовой мундштучный музыкальный инструмент без клапанов и отверстий, используется как церемониальный инструмент (на массовых гуляниях, похоронах) в Таджикистане, Узбекистане.

ТЕНИ КОРСАРОВ

Написан в 1939 году.

Стр. 507. *Ландрин* (устар.) — сорт леденцов, монпансье.

Зингер и К° — название русского отделения международной фирмы швейных машин, основанной американским инженером и предпринимателем Исааком Зингером в 1864 году.

Стр. 507. *Дежá* — деревянная кадка, в которой обычно растворяют и месят тесто.

Стр. 509. *За билеты платили миллионы рублей.*— См. прим. к рассказу А. Фадеева «Один в чаще».

Стр. 512. *...с еврейским знаком «мезузе», прибитым на кривой парадной двери.*— Мезуза (дословно дверной косяк) — прямоугольный кусок пергамента со стихами религиозного содержания. Свернутый свиток помещается в деревянный или металлический футляр, прибивается к косяку двери.

Стр. 527. *Ликбез* — ликвидация неграмотности в СССР. Обучение грамоте взрослых и детей школьного возраста, не обучающихся в школах.

Борис Леонтьевич Горбатов (1908—1954)

РОДЫ НА ОГУРЕЧНОЙ ЗЕМЛЕ

Впервые — «Огонек», 1937, № 12. Рассказу предшествовала сходная с ним корреспонденция в «Правде», 1935, 27 июня под заголовком «Новорожденный на мысе «Желание».

Стр. 527. *Партикулярный* (у с т а р.) — невоенный, штатский. Здесь: самый заурядный, обыкновенный.

Стр. 529. ...Среди диабазовых скал...—диабаз—горная порода.

Стр. 530. *...паньска хвороба...*— Здесь: аристократические (может быть, надуманные) болезни.

ДРУЖБА

Впервые — «Октябрь», 1937, № 12, одновременно с рассказом «Роды на Огуречной земле».

Стр. 544. *«Тореадор».*— Здесь: мелодия (ария Тореадора) из оперы Ж. Бизе «Кармен».

СОДЕРЖАНИЕ

С56 **Советский рассказ 20—30-х годов /Сост. и ком. Г. П. Турчиной и И. Д. Успенской; Вступ. ст. В. М. Акимова.— М.: Правда, 1987.—576 с.**

В сборник вошли произведения известных и малоизвестных широкому кругу читателей авторов, которые занимали и занимают свое место в истории, становлении и развитии нашей литературы,— рассказы А. Фадеева, К. Федина, Ю. Тынянова, В. Каверина и других советских писателей.

С $\frac{4702010200-1380}{080(02)-87}$ 1380—87 84 Р 7

СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ 20-30-х ГОДОВ

Составители

Галина Петровна Турчина

Изольда Дмитриевна Успенская

Редактор
С. А. Суркова

Оформление художника
А. И. Babровного

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
Е. Н. Щукина

ИБ 1380

Сдано в набор 30.10.86. Подписано к печати 12.03.87.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,45. Уч.-изд. л. 30,63.
Тираж 500 000 экз. (5-й завод: 400 001—500 000).
Заказ № 1699. Цена 2 р. 40 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Восточно-Сибирская правда», 664009, г. Иркутск,
ул. Советская, 109.